

И. В. Нарский

Фотокарточка  
на память:

Семейные истории,  
фотографические послания и советское детство  
(Автобио-историко-графический роман)

# Фотокарточка на память.



## Фотокарточка на память:

Семейные истории,  
фотографические послания  
и советское детство  
(Автобио-историко-графический  
роман)

*Фотокарточка на память:  
Семейные истории,  
фотографические послания  
и советское детство  
(Автобио-историко-  
графический роман)*





ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ФАКУЛЬТЕТ ПРАВА И ФИНАНСОВ  
ЦЕНТР КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

И. В. Нарский

**Фотокарточка на память:  
Семейные истории,  
фотографические послания  
и советское детство  
(Автобио-историко-графический роман)**



- Н28 **Нарский, И. В.**  
Фотокарточка на память : Семейные истории, фотографические послания и советское детство (Автобио-историко-графический роман) / И. В. Нарский.— Челябинск : ООО «Энциклопедия», 2008.— 516 с.

ISBN 978-5-91274-028-2

Может ли исследователь интервьюировать близких родственников, использовать историю собственной семьи в качестве основы для изучения общих проблем семейной истории, выступать в качестве не только субъекта, но и объекта аналитических процедур, комбинировать факты с вымыслом семейных преданий и авторскими фантазиями? Вопросы, поднимаемые в этой книге, казалось бы, требуют сухого академизма и предельного соответствия процедуре «научности». Однако, несмотря на авторство историка-профессионала, это не научная монография в строгом смысле слова, а скорее исследовательско-беллетристический эксперимент, результатом которого явилось причудливое сплетение автобиографических, справочных и исследовательских эссе, выстроенных в определенные сюжетные линии. Проводя своего рода семейное расследование на основе фамильных фотографий, устных рассказов, домашних архивов и собственных воспоминаний, автор создает свой особенный и личный «фототекст», объединивший в себе черты не только автобиографического эго-документа, но и «места памяти» – мира, в котором, несмотря на всю невозможность восполнить чувство утраты фотографией или текстом, живут и будут продолжать жить дорогие и важные для него люди.

ББК 84(2Рос).79.3

ISBN 978-5-91274-028-2

© И. В. Нарский, текст, 2008  
© А. Ю. Данилов,  
дизайн и оформление, 2008  
© ООО «Энциклопедия», 2008

# Содержание

---

Разрешите представиться • 11

## ГЛАВА 1 О МАЛЬЧИКЕ, БАБУШКЕ, ДЕДУШКЕ И ФОТОГРАФЕ (Автобиографический калейдоскоп)

- В Горький! В Горький! • 19  
«Царственно поставленный над всем востоком России город» • 23  
Читая детский фотоснимок • 29  
Замысел • 35  
Летние детские пространства • 41  
Нижегородские фотографы XIX века • 49  
Фотография в «объективе» иконографического анализа • 54  
Первый круг: начало «раскопок» • 61  
Домашний уклад • 68  
Хазановы • 75  
Альтернативы иконографии и иконологии • 83  
В преддверии Берлина • 89  
Соседство, контакты, конфликты • 96  
Советские евреи • 103  
Ранние социологические интерпретации фотографии • 108  
Дебюты • 115  
Развлечения и радости • 122  
Корзухины • 129  
Визуальная социология частного фото • 136  
Осенние вояжи • 142  
Поход в фотоателье • 148  
Фотограф • 155  
Постфотографическая ситуация • 162  
Берлинский альбом • 168

## ГЛАВА 2 О ПОИСКАХ, ПОТЕРЯХ И НАХОДКАХ (Неоконченный детектив)

- Возвращение • 175  
Челябинские дворы, друзья и недруги • 182  
Няня • 190  
Мир детей и психология детства • 197  
Историк и произведение искусства • 202



«Спонтанные мысли» и новый рывок • 208

Театр • 215

Родители • 220

Коммуникация поколений • 230

Фотография и история • 237

Второй круг • 245

Школа • 253

Немецкий язык • 260

Стратегии выживания • 268

Изображение и слово • 275

Круг третий • 281

Школьные привязанности • 288

Сильные женщины • 297

Советское житье-бытье • 307

Фотолюбительство в СССР • 317

### ГЛАВА 3 СЕМЕЙНЫЕ ФОТОГРАФИИ И СЕМЕЙНАЯ ПАМЯТЬ

(Исследовательские эскизы)

Память • 326

Базельское отшельничество с рабочими «интермеццо» • 332

Бася и Абрам • 343

Письменная семейная память • 350

Первая любовь • 360

Почему он улыбается? • 369

Интервью как инструмент историка • 377

Швейцарские встречи • 387

Исай Рывкин • 395

Семейные реликвии • 407

«Культурный досуг» • 413

Фото и семейная коммуникация • 422

Биография и автобиография • 432

Последние штрихи • 438

Нарские • 447

Устная семейная традиция • 454

Дерево • 463

Фото, автобиография и память • 470

О чем эта книга? (Для тех, кому некогда) • 479

Список цитируемой литературы • 491

Тематическая библиография • 495

Именной указатель • 506

## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



Дневник исследователя



Фотографическая тема



Детские воспоминания



Информация



Семейные истории



Проблемы (семейной) памяти





*Нине,  
Александре,  
Игорю*



Человек что-то испытал, теперь он ищет историю того, что испытал.

*Макс Фриш*

Каждое фото, каждый «ЕДИНСТВЕННЫЙ РАЗ» во времени есть также начало какой-либо истории, которая начинается словами: «Как-то раз...»

*Вим Вендерс*

## Разрешите представиться

Разрешите представиться: мальчик на фотографии 1966 года, воспроизведенной на первой полосе обложки, – это я. Мне семь лет, и через несколько недель я пойду в школу. Я не очень уверенно читаю и еще хуже считаю, зато довольно бойко играю на пианино. Я понятия не имею, кем хочу стать. Но взрослые находят забавным расспрашивать меня о будущей профессии, и, чтобы в очередной раз их рассмешить, я с серьезной миной отвечаю, что стану продавцом мороженого или дирижером в театре. Первый ответ не требует дополнительных разъяснений – так отвечают все дети (не менее популярна, в качестве альтернативы, профессия космонавта). Второй провоцирует дополнительный вопрос – «Почему дирижером?» – и многократно воспроизводимый, неизменный, как ритуал, ответ, всегда вызывающий веселое оживление: «Потому что дирижер много зарабатывает». Я не знаю, почему они смеются, но не обижаюсь – мне нравится смешить.

Я еще почти ничего не знаю. Например, что в этом, 1966 году, финской художнице и пишущей на шведском сказочнице Туве Янссон, создательнице пока не известного мне Муми-тролля, присудили самую престижную международную награду за детскую книгу – золотую медаль Г. Х. Андерсена; что Давид Бунимович выпустил предназначенную фотолюбителям книгу «Практическая фотография» тиражом 22500 экземпляров; что Андрей Тарковский создал историческую кинодраму «Андрей Рублев»; что умер старый теоретик фотографии Зигмунд Кракауэр, а американская писательница и кинорежиссер Сьюзен Зонтаг прославится как фотокритик благодаря вышедшему в этом же году сборнику эссе «По ту сторону интерпретации»; что Владимир Набоков опубликовал автобиографические размышления «Память, говори!»; что состоялся суд над диссидентами Юрием Даниэлем и Андреем Синявским; что вышел указ Президиума Верховного Совета СССР «Об усилении ответственности за хулиганство»; что разразился скандал вокруг опубликованного в «Пари Матч» восьмистраничного фоторепортажа о вымышленной активности немецких неонацистов во Франции; что в СССР прохо-

дит школьная реформа. (Возможно, я уже знаю, что московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» начала производить шоколад «Аленка» с детской мордашкой в крестьянском платочке на обертке.)

Зато я точно знаю, что мама и папа недавно ездили с Челябинским театром оперы и балета на гастроли в Москву. Они каждое лето на гастролях, и на это время я уезжаю в Горький, к бабушке и бабушке. Вернее, улетаю: с пяти лет я летаю на самолете один, без взрослых, чем очень горжусь – вот уже три раза летал! Я точно знаю, что родители мамы очень любят меня, а я – их, а также мамину сестру тетю Миру и ее дочерей Таню и Наташу, которые живут в городе Дзержинске недалеко от Горького. Мужа тети Миры, дядю Колю, я тоже люблю, но немного побаиваюсь – он строгий.

Я точно знаю, что мальчиком быть лучше, чем девочкой. Я горжусь тем, что я мальчик, и терпеть не могу «девчачью» одежду, которую мне еще недавно навязывали: например, красную облегающую кофту в белую полоску или тесные шерстяные гамаши. И уж совсем невыносимы чулки на поясе – хорошо, что их не видно под длинными штанами. Но в детском саду, переодевшись в короткие штаны на помочах, я чувствую себя очень неловко: между чулками на неудобной резиновой прищепке и штанишками белеют полоски незащитно голых ног – прямо как у девчонок. С девочками играть неинтересно и стыдно, мальчики нравятся мне больше, особенно большеглазые, сильные и ловкие. Позируя перед фотографом в августе 1966 года, я еще не знаю, что на днях по-настоящему влюблюсь. В девочку, представьте себе!

Сам я довольно неуклюж, слаб, труслив и болезненно обидчив, поэтому избегаю игр, в которых нужно соревноваться, рисковать, проявлять силу и сноровку. Я не умею командовать. Это делают за меня мои боевитые друзья: Володя Клинов в Челябинске, Володя Гречухин в Горьком. Я сверх меры брезглив (меня дразнят «чистюлей»), застенчив и робок, но мне нравится, когда я в центре внимания, как дирижер над оркестровой ямой, которым я каждую неделю люблюсь из директорской ложи.

Я очень быстро расту и стесняюсь своего тела. «Израстаюсь» – так говорят взрослые. Еще недавно они ахали: «Какой красивый мальчик!» Теперь не ахают, и я озабоченно разглядываю себя в зеркале, когда никто не видит. Так и есть – глаза стали меньше, уши оттопырились, передние зубы вылезли широкие, лопатой. Поэтому я учусь улыбаться, не разжимая губ. Выглядит это довольно глупо.

Господи, неужели этот мальчик – я?! На последней полосе обложки – моя фотография, сделанная всего-то в паре сотен метров от места съемки 1966 года, но почти 40 лет спустя, в январе 2005-го. На ней мне без недели 46 лет, жизнь перевалила далеко за половину. Я достаточно успешен в профессии и, в общем-то, в жизни. Я навер-

ника знаю, на что гожусь и за что мне не следует браться. Я в меру способностей руковожу довольно известным исследовательским центром. Я многократно был стипендиатом и грантополучателем различных фондов, что без готовности к конкуренции, учета иногда неизбежного поражения и освобождения от бессмысленной обидчивости вряд ли возможно. (Нет, изжить обидчивость, пожалуй, не удалось.) Мне приходилось жить в разных городах, в том числе за границей, иногда – довольно подолгу. Вот и сейчас я пишу эти строки в Базеле, что могу себе позволить благодаря Швейцарскому национальному фонду и Историческому семинару Базельского университета, организовавшим мое трехмесячное пребывание здесь для работы над рукописью книги, консультаций со специалистами и чтения свежей библиотечной литературы.

Застенчивость и робость – плохие помощники в деле адаптации к новой среде, и с некоторых пор я избавился от них за ненадобностью. От маленького «чистюли», который содрогался от вида яблока с червоточиной, не осталось и следа. Мои гендерные ориентиры давно устоялись и заскорузли. В бане возможность заполучить какую-нибудь заразу раздражает меня гораздо меньше, чем необходимость лицезреть обнаженные мужские тела. Я много раз влюблялся, и женщины меня любили, слава Богу. Я живу во втором браке, у меня две дочери и внук, названные именами моей горьковской бабушки, челябинской няни и моим собственным. Им и посвящена эта книга.

Давно нет в живых дедушки, бабушки, дяди Коли. Тетя Мира все время прибалывает – от возраста никуда не денешься, да и Таня с Наташей находятся в тех годах, когда о безупречном здоровье остается лишь мечтать. Большинство друзей раннего детства бесследно исчезло из моей жизни. Я редко бываю в городе моего детства – вот только в последние два года опять зачастил туда в связи с этим проектом.

Никакого внешнего сходства между семилетним мальчиком и автором этих строк, пожалуй, не найти. Лысина, мимические морщины, сутулость, очки, борода – вот они, физические приобретения последних десятилетий. Мальчик исчез.

Мы привыкли говорить о себе: «Я помню себя со стольких-то лет». Мы искренне верим, что нечто в нас остается неизменным на протяжении всей жизни – какой-то стержень или хотя бы отдельные элементы нашего «Я». Человеку невыносима мысль, что он представляет собой хаотичную совокупность эмоций, мыслей, действий. Он старательно пытается собрать их (то есть себя) в определенное, устойчивое целое. И социальный мир, в котором он живет, помогает ему в этой работе, предоставляя средства создания и поддержания своей идентичности, заставляя его объединить свое «Я» в целостность, потому что в этом мире уверенность в себе приравнивает-

ся к нормальности. Мы заполняем бланки с хронологически упорядоченными личными данными при приеме на работу и по другим поводам, читаем и слушаем поучительные жизнеописания «великих» и берущие за душу некрологи. Пользуясь всем этим арсеналом тотализации, объединения, сплочения своего «Я», мы каждый раз утверждаемся в утешительной мысли, что наша жизнь – это наполненное смыслом, последовательное и целенаправленное движение.

Но разве, описывая себя семилетнего на сорок с лишним лет позже, возможно адекватно воспроизвести свое тогдашнее «Я», не примешивая себя нынешнего? Мог ли, к примеру, семилетний ребенок сформулировать изложенное в начале этого предисловия? Ответ очевиден. «...Из-за того, что бывший ребенок, юноша, зрелый человек исчезли, – считает вслед за Джорджем Гусдорфом исследовательница биографического жанра Сара В. Лозего, – говорит только нынешний человек, благодаря чему ему удается отрицать разделение на две части и предполагать наличным то, что еще должно быть доказано» (цит. по: Losego S. V., 29). Я не могу позволить себе говорить о ребенке, которым когда-то был, от первого лица. Пусть в дальнейшем изложении он именуется Мальчиком.

Сомнения в целостности человеческой личности, подлинности и непосредственности описания собственной жизни имеют прямое отношение к замыслу и воплощению этой книги. О чем она? Поднаторевший в научных ритуалах исследователь тщетно будет искать привычных для введения в монографию постановки вопросов, обзора литературы и источников, частых отсылок к монументальному подстрочнику. Ему придется пока удовлетвориться «телеграфным» перечислением основных тем в названии книги и запастись терпением – или сразу обратиться к послесловию для торопливых. Наконец, можно отложить ее как ненаучную и легкомысленную. Мне представляется более важным поставить здесь другой вопрос: зачем эта книга?

«Для чего это?» – спросила меня в Тюбингене в ноябре 2005 года, после моего доклада об этом проекте, московская исследовательница послевоенного СССР Елена Зубкова. «Нарциссическим проектом Нарского» назвала мою затею коллега по челябинскому Центру культурно-исторических исследований ироничная Юлия Хмелевская. «Кризис идентичности», – полушутя констатировала другая коллега, не менее язвительная Оксана Нагорная. «Напишите, но не публикуйте», – посоветовали мне другие. Почему же я взялся за эту работу и упрямо движусь к ее осуществлению?

Исследователи заметили, что человек обращается к автобиографическому жанру в состоянии личного кризиса, когда начинает остро ощущать угрозу утраты своей идентичности, когда его «Я» изнашивается и теряет убедительность. Это мнение меня пона-

чалу возмутило. Никакой дезориентации в момент принятия решения начать этот проект я, как мне казалось, не испытывал. Лишь значительно позже, в разгар работы, я почувствовал, что мое прошлое занимает меня значительно больше, чем личное будущее. «Человек всегда чувствует себя дома в своем прошлом», – подметил как-то Владимир Набоков (Набоков В., 86).

Итак, один из мотивов, подвигнувших меня потратить несколько лет собственной жизни на эту книгу, связан с желанием неторопливо разобраться в себе самом, укрывшись в «раковине» своего прошлого. Биография – это «творение (и драма) человека, который все отдает за то, чтобы в определенный момент своей истории прийти к самому себе» (Gusdorf G., 140–141). Кроме того, рефлексия по поводу личного опыта и желание выяснить, где я жил и живу, совпали с давним исследовательским интересом к истории повседневности, к восприятию и поведению исторических актеров, к их обращению с прошлым, к культурным кодам, вкусам, привычкам, которыми пользовались (и пользуются) обитатели России позднего XIX – раннего XXI века. На этот интерес наложилось желание прибегнуть к долгое время игнорировавшемуся историками виду источников – визуальным объектам, определиться с возможностями и проблемами их использования. Далее, меня давно привлекает важная в современной культурной истории проблема рефлексии исследователя по поводу собственных действий, влияний его «Я» на ход и исход исследовательского процесса. Первый опыт автобиографической рефлексии был эскизно предпринят мною в предыдущей книге – «Жизнь в катастрофе», – которая начинается сюжетом о влиянии детства и наполнивших его близких старшего поколения на личные представления о прошлом. Этот эксперимент был замечен и положительно оценен критиками.

Вопрос о том, «что делают, когда занимаются наукой» (Bourdieu P., *Soziologische Fragen*, 79), не утрачивает актуальности. Когда-то Эрнст Кассирер справедливо утверждал, что «историческая наука – это не познание внешних фактов или событий; она – форма самопознания» (Cassirer E., 291). Эту сентенцию можно распространить на занятие наукой в целом: она один из способов познать собственные границы.

Наконец – и этому пункту я придаю особое значение, – мне хотелось поэкспериментировать с формой изложения, попытаться скомбинировать автобиографию с исследовательскими наблюдениями, научное описание – с литературным, «строгие» факты – с художественным вымыслом. Полагаю, что это намерение вызовет наибольшее число возражений. Те историки, которые понимают язык исключительно как средство документирования событий прошлого, считают ясное отделение факта от вымысла необходимым условием



научного познания. Для них любой рассказ – сомнителен, литературная обработка текста – помеха, риторика и эстетика научного текста – неинтересны, диалог автора с читателем – не заслуживает внимания.

Но ведь возможно понимать изложение истории иначе – как часть процесса осмысления прошлого. При таком подходе использование факции перестает быть операцией, недопустимой для историка. Мои размышления о выборе формы изложения опирались на мнение социолога знания и повседневности Альфреда Шютца о том, что не жизнь определяет форму ее репрезентации в тексте, а, напротив, избранная форма повествования определяет оценку событий и опыта. Рассказчик волен избрать стратегию изложения, представив себя «сильным» или «слабым», действующим актером или пассивным объектом внешних обстоятельств и чужих манипуляций. Автобиографический рассказ представляет собой результат напряженных интеллектуальных усилий, влияющих на интерпретацию. Смыслы последовательного жизненного «пути» с началом, развитием, кульминацией, спадом и концом создаются в ходе написания рассказа, который, таким образом, является одним из способов конструирования жизни.

Но в осмыслении (авто)биографического текста участвует не только автор, но и читатель. Замечено, что повествования, выполненные в биографическом жанре, характеризуются наибольшей интенсивностью читательского восприятия. Следовательно, чтобы завоевать доверие читателя, добиться его готовности к сотрудничеству, автор должен особо постараться. Биографу необходимо создавать убедительный эффект реальности излагаемых событий. Читателю нужны от автора некие знаки, поощряющие к самостоятельным ответным усилиям по осмыслению (и переосмыслению) истории чужой жизни.

Именно поэтому при выборе структуры книги и формы изложения мне хотелось учесть (и, по возможности, даже усилить) законные сомнения читателя в достоверности автобиографических воспоминаний. Я стремился пошатнуть его веру в точность, непосредственность отражения реальной жизненной судьбы в биографическом описании – так называемую «биографическую иллюзию» (этот термин, введенный в оборот Жаном-Клодом Пассероном, получил широкую известность благодаря одноименной статье Пьера Бурдьё). Пусть же читатель почувствует себя самостоятельной критической инстанцией.

Для удобства чтения в книге отсутствует привычный в научных публикациях громоздкий справочный аппарат. Отсылки к научной литературе и источникам применяются только при прямом цитировании. (Курсив в цитатах принадлежит авторам приводимых

фрагментов.) Желаящим более подробно ознакомиться с литературой по тому или иному сюжету адресуется помещенная на последних страницах библиография.

Итак, эту книгу не следует воспринимать как надежный путеводитель по нескольким российским семейным историям XX века или советскому детству 60-х годов минувшего столетия. Она не является чистым, «незамутненным» источником, и с этим ничего не поделаешь. Во-первых, человеческая память – и моя, и тех, кто рассказывал мне о прошлом, – слишком фрагментарна, непоследовательна, субъективна, чтобы можно было полагаться на нее как на объективный и достоверный базис для (авто)биографии и исторического исследования. Во-вторых, и автобиографический, и научный текст всегда грешат искажениями, манипуляциями, умолчаниями и индивидуалистским отбором материала со стороны автора, неизбежно упрощающими его конструкцию реальности. Я совершенно сознательно не касаюсь периода моей жизни и истории страны (за исключением нескольких поясняющих вкраплений) с 1972 по 2004 год. Из повествования исключены сюжеты, связанные с подробностями моей мужской жизни. В книге не приводятся некоторые имена ныне здравствующих действующих лиц, из нее удалены (или изначально не включены) некоторые сведения, которые мои интервьюенты не пожелали придать гласности. Отдельные сюжеты из детства предположительны, поскольку я не могу надежно восстановить источник их происхождения – являются ли они моими свидетельскими воспоминаниями о реальных событиях, были ли кем-то рассказаны, привиделись ли во сне. Немногочисленные эпизоды – читатель без труда поймет, какие именно, – вымышлены. Они заполняют досадные пустоты в памяти или дефицит информации, но в целом, как ни парадоксально это звучит, помогают усилить эффект достоверности действующих персонажей.

В книге имеется несколько относительно самостоятельных линий. В первой главе их четыре, во второй – пять, в последней – шесть. Четыре из них являются сквозными: это детские воспоминания автора, семейные и биографические истории, проблемы анализа фотографии как исторического источника, исследовательский дневник. Во второй главе к ним добавляется «информационная», вспомогательная линия, служащая для понимания контекста советского детства и повседневности в СССР. В третьей главе возникают дополнительные линии, посвященные проблемам человеческой памяти в целом и семейным воспоминаниям в особенности.

Все эти линии не сконструированы в отдельные главы, а обрываются, пересекаются, переплетаются и вновь расходятся, подражая хаотичности жизни и спонтанности припоминания. Читатель волен последовательно читать всю книгу, следуя, таким образом, за

искусственной авторской непоследовательностью, или выбирать отдельные, предпочтительные для него линии, связывая оборванные концы. Для этого достаточно найти следующее эссе, которое начинается теми же словами, которыми завершается более раннее. Сигналом к окончанию линии является повторение ее начальной фразы.

Работая над этим проектом, я, прежде всего, удовлетворяю собственное любопытство. Тем не менее, мне ясен круг непреходящих читателей этой книги. Она предназначена для ее ныне здравствующих героев, прежде всего – моих родителей, а также для других родных, друзей, коллег, бывших учеников, фигурирующих на ее страницах. Я писал ее для всех, кому интересен, вне зависимости от природы и содержания этого интереса. И я очень надеюсь, что когда-нибудь ее прочитают те, кому она «официально» посвящена – мои дочери и внук. Для этого, «близкого» круга, в первую очередь, предназначены «детская», «семейная» и, в меньшей степени, «дневниковая» линии.

Вместе с тем, книга адресована и «анонимному» кругу читателей-незнакомцев. Для них мемуарно-семейная информация, возможно, не представит первостепенного интереса. Более полезным для таких читателей могут оказаться «дневниковая», «фотографическая» и «информационные» линии. Не исключено, правда, что автобиографические эссе и семейные зарисовки заинтересуют и кого-нибудь за пределами «домашнего» круга. Если «посторонний» читатель не только почерпнет из книги что-то полезное для себя, но и посопереживает ее действующим лицам, узнает кое-что о себе самом, я смогу с удовлетворением констатировать, что эффект проекта превзошел мои ожидания.

Базель, 3 мая 2007 г.  
*inarsky@mail.ru*

# 1 О МАЛЬЧИКЕ, БАБУШКЕ, ДЕДУШКЕ И ФОТОГРАФЕ

## Автобиографический калейдоскоп

---

Ощущение предельной беззаботности, благоденствия, густого летнего тепла затопляет память и образует такую сверкающую действительность, что по сравнению с нею паркерово перо в моей руке и сама рука с глянцем на уже веснушчатой коже кажутся мне довольно аляповатым обманом. <...> Все так, как должно быть, ничего никогда не изменится, никто никогда не умрет.

*Владимир Набоков*

Человек – существо, рассказывающее и слушающее истории.

*Хайко Эрнст*

Исследование истории и творение искусства объединяет определенный способ формирования образов.

*Йохан Хейзинга*

Изучай историка, прежде чем начнешь изучать факты.

*Эдвард Карр*

### В Горький! В Горький!



Мальчик проводит в Горьком каждое лето. Он не помнит, когда это началось. Ему кажется, так всегда было и будет. Еще бы: первый раз он приезжал в Горький с мамой в сентябре 1960 года, а затем Бабушка привезла к себе двухлетнего внука из Куйбышева, откуда ее дочь с мужем переезжали в Челябинск, в марте 1961 года. В Горьком он остался на полгода, пока его родители не устроились на новом месте и не побывали на гастролях с Челябинским театром оперы и балета.

Об этом Мальчик узнает от Бабушки. Она с гордостью вспоминает, каким хиленьким и бледненьким он был в Куйбышеве и каким крепеньким и красивеньким стал благодаря ее стараниям. Бабушка помешана на том, чтобы «синочка» – с ударением на первом слоге – правильно питался. «Синочка» – это «сыночек», искаженное неместным акцентом. У Бабушки нет сыновей, только две дочки, и у старшей, Миры, тоже две дочери – Таня и Наташа. Мальчик – ее единственный внук, она в нем души не чает и зовет «синочкой».

Конечно, Мальчик будет ездить в Горький не всегда. Последний раз он приедет туда на все лето в 13 лет, в 1972 году. Дедушка

в 1965 году выйдет на пенсию, но до конца 60-х его будут приглашать на прежнюю работу. Это хорошая работа. Он главный бухгалтер в организации с таинственным названием «Горэнерго». Зарплата – 280 рублей. Это столько же, сколько вдвоем зарабатывают в театре родители Мальчика. Большие деньги, их достаточно, чтобы Бабушка не работала и правильно «питала» Мальчика. В начале 70-х Дедушка совсем перестанет работать: руки будут дрожать так сильно, что он не сможет подписывать финансовые документы. Бюджет семьи сократится до 120 рублей Дедушкиной пенсии. Плюс старикивские болячки. Принимать на лето внука-подростка, который на голову перерос Дедушку и на две – Бабушку, станет материально и физически затруднительно.

Мальчику очень нравится ездить в Горький. Здесь тепло и не нужна зимняя одежда, в Челябинске – холодно и надо кутаться. В Горьком не нужно рано вставать, в Челябинске надо подниматься в темноте, чтобы отправляться в детский сад, после чего ждут занятия в музыкальной школе, к которой скоро прибавится еще одна – общеобразовательная. Здесь много зелени, в Челябинске – серо. В Горьком Мальчика не ругают домашние и не шпыняют старшие мальчишки во дворе, в Челябинске – бывает, и не редко. Здесь есть Волга, там – нет. Мальчик каждую весну с нетерпением ждет отъезда в Горький, который за месяц до того начинает снится ему каждую ночь.

С радостью ожидают внука и Дедушка с Бабушкой. Дедушка – «беспокойное хозяйство», по Бабушкиному определению, – заранее начинает готовиться к его приезду. С недавних пор он стал договариваться о месте, где Мальчик сможет заниматься музыкой, брать напрокат велосипед. Позднее Дедушка запишет внука в библиотеку и будет ежегодно продлять абонемент.

Но и Бабушка очень ждет Мальчика. В апреле 1965 года она отправит ему к 1 Мая поздравительную открытку. Она адресована Нарскому Игорю Владимировичу – Бабушка и Дедушка относятся к внуку серьезно. Вот текст того послания:

«Дорогой, любимый наш сыночек Игоречек! Дедушка и бабушка поздравляют тебя с Первомайским праздником и желают тебе крепкого здоровья, счастья и больших успехов в музыке. Ждем тебя в Горький. Целуем тебя, сыночек. Привет маме и папе».

Написанный Бабушкой текст проверен аккуратным, ответственным и дипломатичным Дедушкой. Он вставляет пропущенную букву «я» в слове «счастья» и приписывает последние слова после «целуем». Конечно, кого целуем? Тебя, сыночек! А родителям и привета достаточно, но забыть о них в поздравительной открытке – очень некрасиво.

Наконец, наступает долгожданный день. Утром в сопровождении родителей (или одного из них) или Няни Мальчик от-

правляется на площадь Революции, где в 60-х годах было расположено агентство «Аэрофлота». Там же можно зарегистрировать билет. Затем – сорокаминутная поездка в аэропорт на автобусе-экспрессе. Пока автобус петляет по улицам Цвиллинга, Тимирязева и Пушкина, Няня успевает дойти до перекрестка проспекта Ленина и улицы Пушкина – один квартал от площади Революции в сторону дома, чтобы еще раз на прощанье помахать рукой. Может быть, она при этом шепчет молитву? Быть может, благословляет Мальчика в дорогу?

Ил-18 летит до Горького всего два часа. Мальчик привычен к полету, уши не закладывает, дурнота не подступает. Приятно щекочет в животе на воздушных ямах и при снижении. Единственная неприятность – если не достанется места у иллюминатора или попадетса курящий сосед. От табачного дыма у Мальчика перехватывает дыхание.

Вот и посадка. У Мальчика внутри все поет от радости. Если повезет, то еще из иллюминатора он увидит за ограждением Бабушку и Дедушку. Бабушка на широко поставленных ногах, маленькая, кругленькая, в собственноручно сшитом платье и с дамской сумочкой в руке. Дедушка в коричневом костюме и соломенной шляпе, смешно, по-пингвиньи, под углом к корпусу, держит руки.

Потом – объятья, поцелуи, все говорят возбужденно и одновременно. Садятся в служебную машину Горэнерго или в такси. Приятно пахнет бензином. Мальчик рассказывает об успехах в музыкальной школе, о родителях и последних происшествиях в детском саду или во дворе. Ему нравится смешить Дедушку и Бабушку. Он рассказывает, например, как забавно Няня, курская крестьянка, обозначает его возраст: «Вот тебе уже пять, шестой», или – «Тебе уже шесть, сёмый». Старики смеются беззвучно и самозабвенно. Бабушка при этом закрывает глаза и кладет руку на грудь, Дедушкины плечи сотрясаются от смеха, его лицо краснеет.

За оживленными разговорами незаметно пролетает время. Через полчаса они уже в центре города. «Победа» или «Волга» поднимается по крутому Зеленскому съезду. Высоко слева видны красно-коричневые кирпичные стены и строгие башни кремля. Вот площадь Минина и Пожарского; не доезжая до Откоса – поворот направо, на тенистую, тихую улицу Минина. Решетчатый забор отгораживает от улицы зеленый двор, в глубине которого расположен светло-желтый трехэтажный дом 19а сталинской постройки конца 30-х годов, в котором Бабушка и Дедушка живут с 1948 года. В темном, прохладном, просторном подъезде с бетонным мозаичным полом и парадным и черным входами стоит устойчивый запах, не известный Мальчику по Челябинску, – странный, терпкий, но приятный. Так пахнет только здесь (позднее Мальчик выяснит, что это запах кошек). Они поднимаются на второй этаж мимо отполированных светлых перил и почтовых ящиков. Крайняя левая из пяти дверей площадки обита

черным дерматином. Вот они и дома, в квартире 18, маленькой, но тщательно ухоженной и уютной, как и ее хозяйка. Залитая солнечным светом двухкомнатная квартира кажется Мальчику большой, хотя размер комнат не более 15 и 12 квадратных метров (возможно, и меньше; в двухкомнатных квартирах напротив «полезная площадь» составляет всего 21 м<sup>2</sup>: 12 метров – «гостиная», 9 – «спальня»).

Пока Бабушка разбирает чемодан внука, тот по традиции осматривает квартиру и надолго задерживается у старинного золотисто-коричневого грабового буфета с латунными ручками. Огромный, трехстворчатый и трехъярусный, он занимает половину более длинной стены гостиной. Это – Бабушкина гордость и основное хранилище домашних вещей, воплощение солидности и порядка. Его нижняя часть заполнена аккуратно, по линейке, сложенным бельем и скатертями; в боковых отсеках – пакеты с фотографиями и прочие предметы, не предназначенные для ежедневного использования. В трех выдвижных ящиках над нижними створками хранятся документы, все для шитья, игральные карты, Дедушкины старинные золотые карманные часы со сломанной пружиной, несколько серебряных рублей и полтинников начала 20-х годов, прочие мелочи. Над средним ящиком – выдвижная доска с углублением, которую Мальчик обнаружит через пару лет. В верхней, менее выступающей части буфета, за овальными окошками с толстыми хрустальными стеклами, сложены лекарства и расставлена посуда. На буфет водружен коричневый глиняный баран – трехлитровый винный сосуд – такой большой, что Мальчику в раннем детстве разрешалось использовать его как коня, когда он играл во всадника.

Но внимание Мальчика притягивает ниша между нижней и верхней частями буфета. В ней на вышитой Бабушкой салфетке живописно расставлены два чайных сервиза из немецкого фарфора – белый с золотистыми мелкими цветочками и темно-синий с золотом, с вычурными позолоченными ручками, которые Мальчик, если бы было возможно, отколот и использовал как ключи в волшебную страну. Но чашки даже трогать нельзя. Зато можно ощутить в руке прохладную тяжесть китайских бронзовых розеток с эмалевыми ирисами и выполненных в таком же стиле пузатых солонки и перечницы.

Тем временем Бабушка разобралась с непритязательным гардеробом Мальчика и накрывает на стол. О, эти чудесные, неповторимые запахи Бабушкиной кухни! Обед в гостиной, за круглым столом, проходит чинно, почти в полном молчании. Говорить во время еды – нездорово и опасно. Единственное позволительное исключение – похвала Бабушкиному кулинарному искусству, от которой та начинает сиять. Обед у Бабушки всегда основательный и полноценный, из четырех блюд. За заправленным майонезом салатом из свежих овощей следуют суп или бульон с сухариками, клецками или

пирожками. Нежнейшие котлетки, светло-коричневые снаружи и розоватые внутри, обжаренные и тушеные в курином бульоне, сочащиеся золотистым жиром, с картофельным пюре или жареной картошечкой – любимое блюдо разборчивого в еде Мальчика. Дедушка все подсаливает из старинной серебряной солонки с крошечной ложечкой, к неудовольствию Бабушки: соль вредна для здоровья. В блюдах – никакого чеснока (Дедушка его не ест), никакого лука (Мальчик не выносит его запаха и вкуса), на столе – никакого алкоголя. Обед завершают кисель или компот из прошлогодних Бабушкиных запасов – не темно-коричневый, из сухофруктов, как в Челябинске, а ярко-розовый, из консервированной вишни или клубники (с середины лета – из свежих ягод и яблок с добавлением варенья). Тут же Бабушка выставляет выпечку собственного приготовления – темную коврижку, пропитанную черносмородиновым вареньем, или низкий плотный песочный ореховый торт с хрупкой золотистой корочкой на взбитых сливках, или домашнее печенье.

С задней стороны двора раздается тонкий голосок: «Иго-о-о-рь!» У Мальчика от радости екает сердце, Бабушка недовольно ворчит: «Вовка Гречухин!» Дедушка едва заметно морщится. Мальчик просит разрешения выйти из-за стола и выскакивает на балкон. Внизу, задрвав голову и щурясь на солнце, улыбается маленький, тщедушный Володя, его самый близкий горьковский друг. Впереди у них недели беззаботной жизни, увлекательные игры, общие секреты, опасные приключения. «Ура, – думает Мальчик, – я в Горьком!»

### «Царственно поставленный над всем востоком России город»

**1** Так назвал Нижний Новгород рубежа XIX–XX столетий художник И. Е. Репин, восхищенный его живописным местоположением. Действительно, география города уникальна. Он находится в месте слияния Волги и Оки, на так называемой Стрелке, и лежит выше всех приречных городов Европы. Правый, высокий берег Волги, с холмами, изрезанными оврагами, круто обрывающийся к реке, противостоит низкому, равнинному. Левобережные Заволжские луга в ясный день просматриваются с правого берега на десятки километров. «Таких ландшафтных картин мало в Европе», – отмечал известный публицист и музыкальный критик XIX века, нижегородец А. Д. Улыбышев (цит. по: Нижегородская фотография, 53).

На вершинах Дятловых гор живописно раскинулся аскетически строгий кремль каменной постройки начала XVI века. На этом месте после основания города (1221) были возведены деревянно-



каменные укрепления, а в конце XIV столетия – не сохранившаяся до наших дней каменная Дмитриевская башня.

Кремль, образующий основание исторически сложившейся радиально-полукольцевой структуры центральной части города, был объектом пристального внимания и благоустроительных экспериментов российских императоров и советских правителей. В 1770 году по инициативе Екатерины II, посетившей Нижний Новгород тремя годами раньше, началось осуществление генерального плана застройки города. В 80-х годах XVIII века кремль пострадал от «реставрации», проводившейся по указу императрицы, больше, чем от набегов ногайских и волжских татар, в среднем совершавшихся в XVI веке каждые пять – шесть лет: были разобраны три башни кремля и верхние части зубцов стен и всех сохранившихся башен. Зато в правление Екатерины II в Нижнем Новгороде были открыты редкие в провинциальной России того времени Первая градская больница, первая аптека и первая во всем Поволжье губернская типография.

Немало для благоустройства нагорной части города сделал и Николай I. Посетив Нижний Новгород в 1834 и 1836 годах, император был удручен его видом с Волги и якобы желчно заметил: «Природа сделала в этом городе все, чтобы его украсить, а люди – чтоб его испортить» (цит. по: Нижний Новгород, 36). По его распоряжению было проведено благоустройство кремля, построен Зеленский съезд, до 1840 года на круто спускающемся к Волге Откосе разбит Александровский сад в английском стиле (поэтому в старых справочниках он часто именуется Английским) и построена Верхне-Волжская набережная – с тех пор излюбленное место прогулок горожан. Был разработан очередной план застройки города (1839), по которому первый городской архитектор, выпускник Петербургской академии художеств Г. И. Кизеветтер построил в Нижнем Новгороде более 500 домов; из них несколько десятков сохранилось до наших дней. В царствование Николая I, кроме того, в городе был проложен водопровод и открыт Мариинский институт благородных девиц.

Подлинный расцвет Нижнего Новгорода связан с переносом в него в 1817 году сгоревшей годом раньше крупнейшей в России Макарьевской ярмарки, располагавшейся в сотне верст к северо-востоку от губернского центра. Александр I не поскупился отпустить на строительство Нижегородской ярмарки 6 миллионов рублей, первоначально ассигнованных на перестройку Зимнего дворца. Инженер и архитектор, генерал-лейтенант А. А. Бетанкур выбрал для строительства место на Стрелке, на левом берегу Оки, и возглавил возведение грандиозного архитектурного комплекса, которое завершилось к 1822 году. В XIX столетии Нижний Новгород стал именоваться «кошельком России», «карманом России», «третьей столицей».

Ярмарка, на которой умещалось 5520 лавок и 16840 магазинов, стала крупнейшей в Европе. На нее, работавшую ежегодно с 15 июля по 25 августа, приходилось до трети товарооборота России.

На всю Россию были известны имена нижегородских предпринимателей – мукомолов, чаеразвесчиков и пароходчиков Башкировых, исключительно у которых московские булочные Филиппова закупали муку; пароходчика и благотворителя Н. А. Бугрова; династии сталелитейного магната, «железного старика» Михаила Рукавишниковца; «хитрого Митрия» Д. В. Сироткина, Блиновых, Власовых, Зайцевых, Смирновых и целого ряда других.

Последний до революции 1917 года мощный импульс развитию города, обозначивший зенит славы Нижнего, придало проведение здесь в 1896 году XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки – первой в провинциальной России. Пятнадцать предыдущих прошло в Санкт-Петербурге, Москве и Варшаве. Город лихорадочно готовился к этому событию: выставку должна была посетить августейшая чета. К этой дате было приурочено открытие ряда новых зданий: театра, похожего на миланский «Ла Скала», первый спектакль в котором – оперу М. И. Глинки «Жизнь за царя» – дала труппа С. И. Мамонтова с участием молодого Ф. И. Шаляпина; суда на Большой Покровской улице, Волжско-Камского банка и электростанции на Рождественской улице, биржи на Софроновской площади. Кроме того, в кремле был построен фуникулер по типу цюрихского, пущен трамвай по центральным улицам нагорной части и на ярмарку через плашкоутный мост.

В последние два десятилетия существования Российской империи Нижний Новгород пережил грандиозный взлет, оставивший следы в его архитектурном облике.

«Новое богатство Нижнего отныне выражается в виллах Рукавишниковых, из которых открывается панорамный вид на Волгу, в неоготических фасадах пароходной конторы на набережной. Можно позволить себе лучших архитекторов. ПЕТЕРБУРГСКИЙ АРХИТЕКТОР СТРОИТ ГОРОДСКОЙ ТЕАТР. Здесь дебютируют братья Веснины – неоготической виллой, в которой теперь расположен Художественный музей. Здание Государственного банка 1913 года на старой Покровской улице с неорусским орнаментом и билибинскими фресками в кассовом зале демонстрирует бум перед скорым концом» (Schlögel K., 118).

Как ни странно, советские градостроительные эксперименты в Нижнем Новгороде, переименованном в 1932 году в связи с 40-летием литературной деятельности Максима Горького, оказались более щадящими, чем можно было бы ожидать, и, в общем и целом, не изуродовали архитектурного облика исторического центра города. Утвержденный в 1936 году генеральный план города Горького

был сориентирован на сохранение дореволюционной планировочной структуры его центральной части. Большинство из сорока с лишним христианских, магометанских, иудейских культовых сооружений было закрыто, но три четверти из них не снесено. В современном Нижнем Новгороде сохранилось несколько каменных гражданских построек XVII века – палаты Олесова, Пушникова, дом Чатыгина, – каких на всю Россию осталось менее двух десятков. (Странно писать об этом в Базеле, последние крупные разрушения которому нанесло землетрясение 1356 года; гуляя по старому городу, то и дело видишь жилые дома не только XVII века, но и значительно более древние, вплоть до XIII столетия, прекрасно сохранившиеся.)

В 1949 году под руководством архитектора С. Л. Агафонова началась научная реставрация кремля, длившаяся несколько десятилетий, в результате которой были восстановлены утраченные в XVIII веке башни. Правда, нынешние галереи и крепостные зубцы, шатры башен и целые прясла стен являются результатом достаточно вольной реконструкции 70-х годов прошлого века. В целом градостроительная активность в Горьком 60–70-х была довольно противоречивой. Так, в районе Ильинки, в Крутом переулке, в середине 60-х годов была проведена первая научная реставрация Успенской церкви XVII века. А в нескольких сотнях метров от нее застраивалась площадь Федоровского, которая наверняка возмутила бы Николая I: панорама нагорной части города выше кремля была обезображена безликими многоэтажными домами.

С Нижним Новгородом связаны имена и события всероссийского и международного масштаба. В нем жили знаменитости диаметрально противоположных мировоззрений, политических темпераментов и образа жизни. Здесь Козьма Минин организовал ополчение, двинувшееся на занятую поляками Москву и положившее конец Смутному времени начала XVII века. Нижегородцами были инициатор церковной реформы середины XVII столетия патриарх Никон и его яростный оппонент, идеолог старообрядчества протопоп Аввакум. Здесь жили и представители старинных аристократических и дворянских родов, богатейшие люди России – Голицыны, Ляпуновы, Строгановы, Абамелек-Лазаревы, – и непримиримые противники существующего порядка – Н. Г. Чернышевский, Н. А. Добролюбов. А. М. Горький прожил в Нижнем Новгороде в общей сложности четверть века. Пребывание В. Г. Короленко в «третьей столице» в 80–90-х годах XIX века стало временем его творческого расцвета. В Нижнем Новгороде жили и творили писатели П. И. Мельников-Печерский и В. Д. Боборыкин, композиторы А. Н. Серов и М. А. Балакирев. Город посещали российские цари и императоры от Ивана Грозного до Николая II.

С Нижним Новгородом связаны нововведения, смелые поиски, открытия и новаторские решения в различных областях человеческой деятельности. Здесь, в Печерском монастыре, в XIV веке действовала одна из первых на Руси школа первоначальной грамоты. Здесь, на Оке, в 1804 году испытано первое паровое судно, построенное механиком Иваном Кулибиным. А полтора века спустя, в 1957–1960 годах, под руководством Р. Е. Алексеева построены и спущены на воду первые в мире судна на подводных крыльях «Ракета» и «Метеор». Это позволило увеличить скорость водных транспортировок с предельно возможных в середине XX столетия 20–25 до 80 км/ч и, тем самым, открыло новую эру в речном и морском пароходстве. В 1896 году в городе был пущен первый в России трамвай, а выпуск в 1945 году нового легкового автомобиля «Победа» озаменовал переворот в советском автомобилестроении.

Первая в стране линия воздушного сообщения также связана с этим городом: она открылась в конце июля 1922 года, до официального создания советской гражданской авиации, между Москвой и Нижним Новгородом. Полеты были приурочены к открытию Нижегородской ярмарки, начавшей торговлю 1 августа того года. Между столицей и Нижним курсировал «Юнкерс» с пятью мягкими пассажирскими креслами. После создания в 1923 году Совета по гражданской авиации начались регулярные (по средам, пятницам и воскресеньям) полеты по трассе Москва – Иваново-Вознесенск – Нижний Новгород. Продолжительность полета составляла 2 часа 20 минут, стоимость – семь червонцев.

Нижний Новгород не может пожаловаться на провинциальный комплекс неполноценности и по многим другим причинам. В середине XIX столетия и в 80-х годах прошлого века он был полигоном и форпостом Великих реформ и «перестройки». В советское время он занимал четвертое место в РСФСР по численности населения. Он располагает одним из старейших и крупнейших художественных музеев, одними из лучших филармонией и консерваторией. Горьковскому симфоническому оркестру, которым с 1957 по 1987 год руководил И. Б. Гусман, доверяли первое исполнение своих произведений все современные советские композиторы. С 1962 по 1989 год филармония провела десять фестивалей «Современная музыка», в которых со своими произведениями и лично считали за честь участвовать Д. Д. Шостакович и Д. Б. Кабалевский, Г. В. Свиридов и Р. К. Щедрин, Т. Н. Хренников и А. И. Хачатурян, А. Г. Шнитке и А. Я. Эшпай, А. П. Петров и А. А. Бабаджанян.

В конце XX века вновь переименованный Нижний Новгород стал экспериментальной площадкой неомодерна и неоавангарда местных архитекторов-новаторов А. Е. Харитонова, Е. М. Пескова, И. А. Гольцева, С. Г. Попова. В 1992 году здесь открылся один из

первых в России музеев фотографии. В 2004–2005 годах стартовали международный фестиваль фотографии «Волжское биеннале» и Российский фотографический фестиваль молодежи.

Сведения о былой славе Нижнего Новгорода теперь можно найти в любом путеводителе. Однако в советское время они были известны лишь наиболее любопытным и дотошным. Конечно, среди жителей города, особенно с местными корнями, продолжали курсировать истории из прежнего времени, комичные, мистические, жутковатые, связанные с тем или иным зданием. Например, о Рождественской (Строгановской) церкви начала XVIII века рассказывали, что Петр I закрыл ее после своего посещения в 1722 году, узнав в двух иконах иконостаса работы кисти Луи Каравака, заказанные императором для Петропавловского собора в Санкт-Петербурге и тайком перекупленные Григорием Строгановым. (По другой версии, которой в советское время придерживались экскурсоводы, одна из икон писалась с самого Строганова, и Петр I, узнав «натурщика», отказался молиться «на Гришку».) За площадью Минина и Пожарского, на месте школы № 1, в XIX веке располагалась гостиница Деулина. Согласно местному преданию, в 1833 году в ней останавливался А. С. Пушкин по пути из Санкт-Петербурга в Оренбург, где он искал следы пугачевского бунта. Нижегородский губернатор принял поэта за высокопоставленного ревизора, следующего инкогнито, и переполошил оренбургские власти. Эту историю Пушкин подарил Н. В. Гоголю, положившему ее в основу фабулы комедии «Ревизор». Любопытную историю рассказывали и в связи с одним из самых необычных зданий Нижнего Новгорода на улице Пискунова, бывшим игорным домом А. И. Троицкого. Фасад здания в стиле модерн укрывает вход в форме подковы, крышу – скульптурные головы авгуров, словно бы склонившиеся над шахматной доской. История их происхождения даже вошла в современный справочник-путеводитель по Нижнему Новгороду:

«Якобы владелец игорного дома решил сыграть в шахматы с одним из посетителей и довольно быстро проиграл все свое состояние. Противником Троицкого оказался великий русский шахматист Михаил Чигорин. Благородный гроссмейстер отказался от выигрыша, взяв взамен с Троицкого клятву никогда не играть в шахматы на деньги» (Нижний Новгород, 59).

Бытовали в Горьком и другие, не менее странные, но более драматичные истории. В Литературном музее М. Горького был выставлен поврежденный портсигар из капа, спасший писателя в 1903 году от покушения, мотивы которого остались непроясненными. Об этом происшествии известно из частного письма Горького:

«Вчера со мной случилось нечто странное и очень глупое... в одиннадцатом часу вечера, гуляя на Откосе, я встретил некоего неиз-

вестного мне субъекта. Он спросил меня: “Вы Горький?” – и, получив ответ, ткнул меня ножом в левую сторону груди настолько сильно, что я упал» (цит. по: Нижний Новгород, 121).

Другое загадочное преступление, совершенное весной 1906 года в Нижнем Новгороде, вошло в роман М. Горького «Жизнь Клима Самгина» – оставшееся нераскрытым убийство хозяйки дорожного магазина, расположенного на первом этаже городской публичной библиотеки.

Время от времени внимание горьковчан к прошлому невольно приковывали и газетные публикации, а еще больше – слухи о кладах, найденных в старинных домах при ремонте или сносе. «Традицию» находок спрятанного от большевистской власти еще в 1918–1919 годах положили во время успешных поисков сокровищ в особняках Абамелек-Лазаревых и Строгановых местные чекисты.

И все же память о прошлом города бытовала исподволь, вопреки желанию новой власти. И не удивительно. Судьба Нижнего Новгорода в СССР круто изменилась:

«...ПРОИЗОШЛО НЕЧТО НЕВООБРАЗИМОЕ. ЯРМАРКА ЗАКРЫЛАСЬ, ГОРОД ПОЛУЧИЛ НОВОЕ ИМЯ, ОБЛАСТЬ, В КОТОРОЙ ОН НАХОДИЛСЯ, БЫЛА ОБЪЯВЛЕНА “ЗАКРЫТОЙ ЗОНОЙ”. ГОРОД ИСЧЕЗ С КАРТЫ И – ВСЕ БОЛЬШЕ И БОЛЬШЕ – ИЗ ПАМЯТИ ЛЮДЕЙ. РОСЛИ ДЕТИ, РОДИВШИЕСЯ В ГОРОДЕ, КОТОРЫЙ ТЕПЕРЬ НАЗЫВАЛСЯ ГОРЬКИМ. ИНОСТРАНЦЫ ТАМ БОЛЬШЕ НЕ ПОВЯВЛЯЛИСЬ» (SCHLÖGEL K., 112).

Ни Дедушка, ни Бабушка, ни, тем более, Мальчик о прошлом города почти ничего не знали...

## Читая детский фотоснимок



Передо мной лежит детский фотопортрет. Именно он спровоцировал этот проект, и вокруг него я надеюсь организовать изложение. На фотографии изображен мальчик лет шести-восьми. При внимательном разглядывании снимка можно заметить обнаженный улыбкой несоразмерно крупный резец – вероятно, следствие недавней замены молочного зуба коренным. Точнее определить возраст мальчика по снимку затруднительно, потому что он одет как маленький взрослый. На нем тщательно выглаженные белая рубашка с длинными рукавами и клетчатые брюки. Ноги в белых или кремовых носках обуты в заметно поношенные светлые сандалии с темными ремешками. На шее под воротником повязан импровизированный галстук из светлой бархатной ленты – «синельки» в терминологии первой трети XX века. По определению словаря С. И. Ожегова, синель – это «бархатный шнурок для бахромы, вышивания» (Ожегов С. И., 708). Ее использовали и в качестве украшений для девочек. Одна из моих интервьюенток, А. С. Пухальская, которая в свой черед будет введе-

на в повествование в качестве важного действующего лица, помнит «синельки» на девочках 20-х годов. Затем «синелька» в качестве украшения исчезла. Быть может, она перестала производиться или вышла из моды. Возможно, «синельки» на девочках 20-х годов были дореволюционного происхождения и в ранней Советской России донашивались в условиях хронического дефицита новой одежды и аксессуаров.

Ребенок сидит в старомодном деревянном кресле со светлой обивкой, произведенном, возможно, на рубеже XIX–XX столетий и стилизованном под ренессансное кресло-ножницы. Поскольку кресло для мальчика слишком велико, под его ноги, которые не достают до пола, подставлена коробка, кажется, обтянутая тканью, близкой цветом и фактурой к обивке кресла. Никаких иных предметов в кадре нет.

Фотография черно-белая, размером 11×16 см, снята, скорее всего, крупным студийным аппаратом и изготовлена с пластины контактным способом. Над нижним обрезом напечатаны адрес фотосалона и год изготовления: «Фото № 1, Горький 1966, улица Свердлова-4», а также изображен стилизованный олень в прыжке (как на капоте модели «Волги» ГАЗ-21 конца 50-х годов). На обороте второго, плохо сохранившегося отпечатка, имеющегося в моем распоряжении, имеется карандашная запись: «август 1966 г.». Более никаких надписей на лицевой и оборотной сторонах фотоснимка нет.

Меня притягивает эта фотография, мне хочется ее расшифровать. Кажется, она содержит какое-то послание. У меня нет ни малейшего сомнения, что оно адресовано лично мне. Почему? Об этом читатель узнает в свое время.

Но как читать фотографию? «Мы никогда не сможем понять изображение, пока не поймем, как оно показывает то, чего не видно», – считает один из основоположников «визуального поворота» гуманитариев к изобразительным источникам (и автор самого термина) Уильям Митчелл (Mitchell W., 50). Возможно ли в принципе черпать из визуальных объектов важную и на первый взгляд сокрытую информацию? Этим вопросом историки заинтересовались лишь в последние десятилетия.

В качестве причин длительного дефицита интереса ученых (кроме искусствоведов) к изображениям исследователи называют множество факторов. Это и привычка человека Нового времени смотреть экстенсивно, поверхностно и мимолетно; и превращение искусства в квазирелигию, в связи с чем красноречивое молчание перед возвышенным представлялось более уместным, чем кощунственное отношение к нему как к чему-то историческому. В этот далеко не полный реестр включается также привитое вульгарной критической теорией недоверие к органам чувств, в том числе к зрению, задача которого стала сводиться к чтению текстов. Наконец, кажущаяся простота восприятия изображения по сравнению с текстом и

длительное господство оптимизма по поводу «объективности» фотоснимка, создающие иллюзорное убеждение о ненужности специального инструментария для его анализа, также сыграли немалую роль в длительном игнорировании историками визуальных свидетельств.

«С помощью фотографии зритель сразу же получает представление о ситуации. Ее можно упорядочить на основе привычных образов восприятия. Фотографии устраняют избирательность человеческого восприятия и облегчают узнавание (типичных) ситуаций. <...> Но таким образом еще невозможно уловить смысла фотографии. От узнавания мотива к пониманию смысла нужны дальнейшие шаги, потому что на фото сначала видят только то, что хотят увидеть. Для использования фотографии в приватной сфере это – преимущество. Для ученого в области социальных наук это становится препятствием в поиске интерпретационных возможностей. Мнимое предварительное знание и сила навязывания изображенного препятствуют осмысленному пониманию фото» (GUSCHNER S., 30).

Лишь в последней четверти XX века в рамках «визуального поворота» произошел кардинальный пересмотр отношения к фотографии как источнику информации. В конкуренцию с современным (XIX – середины XX века) углом зрения на фотоизображение как на адекватный способ объективно запечатлеть действительность вступил постмодерный. Согласно ему фото не говорит само по себе и нуждается в интерпретации. Оптимизм в оценке «правдивости» фотографических свидетельств сменился пессимизмом, воплотившимся в дискуссиях о возможности перевода языка фотографии на язык слов. Их наиболее радикальные участники признали эту задачу неразрешимой.

Интерес историков к визуальным источникам был обусловлен, конечно, не только постмодернистским вызовом. Он совпал с поворотом от социальной истории макропроцессов и макроструктур к культурной истории – микромиру повседневности, восприятия, опыта и памяти «маленьких» людей, в большинстве своем безымянных и безмолвных участников истории. Однако и ныне, как и в начале 80-х годов, историки испытывают определенную растерянность по поводу методов работы с визуальными источниками. Хотя в последние десятилетия отмечается все более интенсивное использование изображений в исторических публикациях, лишь немногие исследователи обращаются с фото как с источником новых знаний. В большинстве случаев публикации фотографий в исторических сочинениях связаны с коммерческим аргументом и желанием издателя или, в лучшем случае, используются в качестве иллюстрации, не несущей никакой дополнительной информации к знаниям, добытым исследователем из письменных источников.



Тем не менее, можно констатировать, что ученые, признавшие за визуальными объектами статус исторических свидетельств, достигли общности взглядов по ряду принципиальных вопросов. Во-первых, это убеждение, что процедуры внешней критики визуальных и вербальных источников в основном совпадают: «...визуальная реальность (включая автоматизмы визуального восприятия в повседневной жизни) должна быть помыслена как культурный конструкт, подлежащий вследствие этого “чтению” и интерпретации в той же мере, в какой этим процедурам поддается литературный текст» (Усманова А., Визуальные исследования). Центральная задача и самый большой вызов в работе с обоими видами источников – это их контекстуализация. Вне контекста значение изображения резко понижается. В отношении фото внешняя критика подразумевает необходимость задать вопросы, где, когда, кем, зачем и для кого они снимались и изготавливались, являются ли частью серии и почему выделены владельцем, где хранились и занимали ли почетное место, как воспринимались и интерпретировались обладателями и пр. «Волшебное слово научной работы с фотографией – не правда и не действительность, а контекст» (Hägele U., 33).

Во-вторых, работа с изображениями требует иного инструментария, чем с письменными источниками; необходимо знать язык визуальных источников, без которого доступ к ним остается закрытым. В отношении внутренней критики письменных источников историки, идя по стопам теологов, философов и юристов, взяли на вооружение их аналитический инструментарий и довели его до совершенства. В эпоху визуальности требуется не менее богатая практика и не менее дифференцированная историческая теория обращения с изобразительными свидетельствами, однако пока она находится в стадии разработки.

В-третьих, изображение, особенно фотографическое, никогда не имеет одного-единственного, изначально заложенного значения. Природа фотографии отмечена парадоксальными чертами – реальностью и ирреальностью, правдивостью и обманчивостью, объективностью и субъективностью, привязкой ко времени и безвременностью. Интерпретация фотографии зависит от постановки вопросов и познавательного интереса исследователя.

Итак, будем исходить из того, что, как и всякий исторический источник, фотография представляет собой своего рода код или текст, несущий в себе зашифрованную информацию, которая может быть раскрыта с помощью некоторых методик. Визуальная антропология и социология, психология и искусствоведение, методы исследований материальной культуры и собственно исторические методики внешней и внутренней критики источников накопили богатый и разнообразный арсенал средств дешифровки

визуальных объектов, которые могут быть применены и для работы с фотоматериалами.

Однако вернемся к детской фотографии из Горького. Предпринятое выше описание фотоснимка выполнено в духе наиболее распространенного из используемых историками подхода – метода исследования материальной культуры и быта. (Realienkunde – «исследование реалий» – лаконично называется эта относительно молодая историческая дисциплина в немецкоязычном научном пространстве.) В его основе лежит так называемая «уликовая парадигма», получившая широкое распространение в гуманитарных науках в последней трети XIX века. Ядро метода составляет идея, согласно которой «даже если реальность и непрозрачна, существуют привилегированные участки – приметы, улики, позволяющие дешифровать реальность» (Гинзбург К., 224). «Уликовая парадигма» лежит, по мнению Карло Гинзбурга, в основе столь далеких друг от друга феноменов, как метод атрибуции произведений искусства по незначительным деталям Джованни Морелли, дедуктивный метод Шерлока Холмса и психоанализ Зигмунда Фрейда.

Господствовавший при обращении к визуальным объектам до последней четверти XX столетия, этот метод направлен на идентификацию и описание изображенных объектов. Он не устарел и сегодня и при определенной постановке вопросов может быть продуктивен. В любом случае анализ фотоизображения, как и текста, нужно начинать с его внимательного, медленного и концентрированного рассматривания (в отличие от взгляда современного человека, у которого после узнавания изображенных предметов и сюжета внимание ослабевает). В самом неблагоприятном случае, когда фотография не датирована и не подписана, она останется совершенно изолированной от контекста.

Конечно, фотография фотографии рознь. Есть фотопортреты, гораздо более выигрышные для «предметного» анализа, чем рассмотренный выше. Таков, например снимок, сделанный в 1857 году профессиональным лондонским фотографом Робертом Хаулеттом, который запечатлел на лондонской верфи известного английского инженера середины XIX века Изамбарда Кингдома Брунела (1806–1859), создателя корабля «Грейт Истерн», крупнейшего до начала XX столетия. Автор одного из современных введений в историческое исследование изображений Йенс Егер с помощью вышеназванного метода пространно описывает фотографию, ставшую своего рода «фотографической иконой» викторианской Англии:

«БРУНЕЛ, КОТОРОМУ В МОМЕНТ СЪЕМКИ БЫЛ 51 ГОД, ОДЕТ В ТЕМНЫЙ КОСТЮМ С ЖИЛЕТОМ И РАСПРОСТРАНЕННЫМ ТОГДА ШЕЙНЫМ ПЛАТКОМ. ЦИЛИНДР БЫЛ ДЛЯ БУРЖУА ОБЯЗАТЕЛЕН. БОТИНКИ, НЕСМОТЯ НА БРЫЗГИ ГРЯЗИ, ВЫГЛЯДЯТ ХОРОШО УХОЖЕННЫМИ. НА ЖИЛЕТЕ БРУНЕЛА

видны две цепочки: на одной из них, вероятно, висят часы, скрытые в левом жилетном кармане (значит, Брунел должен был быть правой); на второй цепочке мог быть медальон. Кроме того, на тесемке висит складное пенсне, указывающее на (легкую) слабость зрения инженера. На его груди виден ремешок. Известно, что Брунел таким способом носил с собой коробку сигар. Нет сомнений, что он курильщик. Согласно современным знаниям, курение сигар было распространенной привычкой. Социально приемлемым считалось курение после обеда, причем мужчины часто удалялись для этого в специально отведенные помещения. Невозможно однозначно ответить на вопрос, насколько приличным считалось появляться с сигарой во рту помимо этого ритуала. Хотя на фотографиях того времени можно часто увидеть сигары, кажется, что, в соответствии с избирательной традицией, сигара на время съемки вынималась изо рта.

Если вспомнить, что снимок возник на территории верфи, становится ясно, что технике безопасности не придавалось большого значения. Вряд ли цилиндр мог защитить от падающих предметов, а ботинки явно не были снабжены металлическими укреплениями. Из этого можно заключить, что и рабочие не имели спецодежды. Несчастные случаи на стройках викторианской эпохи были в порядке вещей.

Бросающиеся в глаза звенья цепи (имеется в виду огромная цепь, удерживавшая корабль на стапеле – *И. Н.*), образующие портретный фон, вероятно, были продуктом не массового производства, но и не сложного технического процесса, а, скорее всего, простого чугунного литья. Технические проблемы возникали как минимум из величины корабля. Верфей, на которых можно было строить такой огромный корабль, тогда не существовало.


Таким образом, фото предоставляет сведения о буржуазной одежде и габитусе успешного инженера и коммерсанта, а также указания на черную металлургию и проблемы производственной безопасности в судостроении около 1857 года» (*Jäger J.*, 163–164).

Да простит мне читатель долгую цитату. Она демонстрирует, что различные изображения предоставляют разные возможности их описания с помощью метода исследования материальной культуры. Фотопортрет из Горького 1966 года по понятным причинам не допускает столь детального описания изображения, как фотография Брунела. Однако и в нашем случае результаты самой предварительной атрибуции изображения не столь уж удручающи. Мы знаем, где и когда сделан снимок. Всякие дальнейшие умозаключения на основе материально-культурного описания будут, правда, неизбежно умозрительными предположениями, которые рискуют наделить изображение смыслом, чуждым ее автору, заказчику и самому объ-

екту съемки. Парадная одежда сфотографированного ребенка и сам факт съемки в профессиональном фотоателе позволяют предположить, что фото сделано по какому-то торжественному поводу, например, в связи с днем рождения или приближающимся поступлением в школу. Имея даже самые общие представления о состоянии детской моды и производстве одежды для мальчиков в СССР 60-х годов, можно с уверенностью констатировать, что данный снимок отражает не реальность, а некие ожидания и надежды, фиксирует желательный, идеальный порядок вещей, запечатлевает счастливый момент жизни.

Большого сказать о фото 1966 года на основе описания изображенных на нем объектов, к сожалению, невозможно. Фотография молчит или, в лучшем случае, туманно намекает.

### Замысел

 Я открываю свой дневник. Я благополучно дожил до 46 лет без ежедневных или выборочных записей и вот, нате вам – взялся за столь старомодное занятие. Нет, пару исключений я все-таки припоминаю. В 1968 году, во время летних каникул в Горьком, меня, девятилетнего мальчишку, отец моей матери Б. Я. Хазанов буквально заставил ежедневно протоколировать сделанное за день. Что я и делал, исключительно чтобы не огорчать его. Записи производились очень лаконично, едва ли на страничку выданного мне красного блокнота размером в половину альбомного листа, под присмотром деда и – часто – под его диктовку. Иногда я бунтовал и всегда – горел желанием поскорее покончить с этим скучным и, как мне казалось, бессмысленным занятием, чтобы убежать во двор. И еще я вел записи в блокнотах во время первых поездок за границу в 80-х годах, чтобы не заблудиться в плотной череде туристических впечатлений и в частокое достопримечательностей, о которых нужно было затем поведать родственникам и знакомым. Выезды за рубеж как накануне перестройки, так и во время нее для гражданина СССР были большой редкостью. Они воспринимались как радикальный разрыв с повседневной рутинной и знак избранности или везения. Но в 90-х, когда мои поездки в Германию стали приобретать регулярный и рабочий характер, надобность в дневниковых записях отпала.

В общем, я не мастак письменно фиксировать свои действия и впечатления. Открываю первую страницу дневника, силясь разобрататься в отрывочных записях, выполненных в телеграфном стиле:

«2 января 2005 г. Идея нового проекта – 1 декабря, в среду, совершенно неожиданно. 2 фотографии за стеклом. Стояли рядом несколько лет. Снегопад, морозно (градусов 12). Идея возникла в разговоре с Ю. Хмелевской: “Читая детский фотоснимок: ИСТОРИОГРАФИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ”.

1 ДЕКАБРЯ... СООБЩИЛ ЖЕНЕ. ПОЛНОЧИ НЕ СПАЛ, ОБДУМЫВАЛ.

4 ДЕК.– СООБЩИЛ ТЕТЕ МИРЕ.

7 ДЕК.– С БОРЕЙ В БАНЕ: ПОЯВИЛСЯ ПОДЗАГолоВок, КОТОРЫЙ  
Б. ПРЕДЛОЖИЛ ОСТАВИТЬ: “О БАБУШКЕ, ДЕДУШКЕ И ФОТОГРАФЕ”.

8 ДЕК.– ПРЕЗЕНТАЦИЯ СБОРНИКА “ВЕК ПАМЯТИ”.

<...>

СЕР. ДЕК.– СООБЩИЛ РОДИТЕЛЯМ, МАМА – ХОТЕЛА ПРИЕХАТЬ НА ИНТЕРВЬЮ.  
НА СЕГОДНЯ: “ЧИТАЯ ДЕТСКИЙ ФОТОСНИМОК: О МАЛЬЧИКЕ, БАБУШКЕ,  
ДЕДУШКЕ И ФОТОГРАФЕ (ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ ЭТЮД)”.

В этой абракадабре и самому-то не разобраться, а о том, чтобы в таком виде предлагать дневник читателю, и речи быть не может. Чтобы сделать его чтение удобоваримым, мне придется пойти на профессиональное преступление, именуемое историками «фальсификацией источника» – презентовать свой дневник читателю в расшифрованном и литературно приглаженном виде, в котором он реально не существует.

Но дневниковые зарисовки в этой книге, по моему убеждению, совершенно необходимы, их включение в текст – часть первоначального замысла. Теперь уже невозможно с уверенностью сказать, когда я впервые наткнулся на идею завести исследовательский дневник с последующей его публикацией: возможно, при чтении книги «Сыр и черви» классика микроистории Карло Гинзбурга в конце 90-х годов или, скорее всего, «Компендиума по культурной истории» Утэ Даниэль (2001). А может быть, еще раньше, погружаясь в теоретические дебаты вокруг «истории повседневности» в Германии. Во всяком случае, я достаточно давно пришел к мнению, что интенсивные размышления исследователя о том, что он делает, когда занимается наукой, являются неотъемлемой частью работы современного ученого. В том числе и историка, если он намерен контролировать свою исследовательскую практику, а не пребывать в счастливом заблуждении по поводу «объективности» своей работы, ограниченной добросовестным пересказом источников.

Зато я точно помню, когда необходимость исследовательской саморефлексии по поводу своих методических подходов впервые была воспринята мною как личная практическая задача. В 2002 году, накануне Рождества, я выступал с докладом в университете Эрланген-Нюрнберг. Речь в этом докладе шла, помимо прочего, о конструировании «виртуальных» социальных классов – того, что Пьер Бурдьё называл «теоретическими классами, фиктивными группировками, которые существуют только на бумаге, в силу принятого исследователем интеллектуального решения» (Bourdieu P. *Praktische Vernunft*, 32) – в отношении российского населения 1917–1922 годов. Во время дискуссии по докладу профессор Хельмут Альтрихтер задал вопрос, как я пришел к идее разделить обитателей революцион-

ной России на «активистов», «попутчиков» и «маргиналов» – к классификации, близкой той, что придумали победители после Второй мировой войны для послевоенной Германии. В первый момент этот вопрос, который я понял буквально, поверг меня в смятение. Понятно, что всякая претензия на оригинальность есть результат невнимательного чтения, как остроумно заметил Германн Хаймпель. Но под чьим влиянием я сконструировал собственную классификацию? Советских коммунистов, различавших «выдвиженцев», «попутчиков» и «лишенцев»? Или, может быть, американской исследовательницы Шейлы Фицпатрик, классифицировавшей стратегии выживания жителей СССР 30-х годов по степени их активности?

Через пару месяцев после выступления в Эрлангене я списался с московским историком Сергеем Журавлевым, который опубликовал в «Отечественной истории» пространную рецензию на мою книгу. На его не очень уверенное предложение организовать ее обсуждение в формате «круглого стола» я откликнулся идеей «круглого стола» продвинутых историков о шансах и границах саморефлексии исследователей. Идея, правда, так и осталась нереализованной, но во время этих переговоров я, между прочим, высказался о пользе ведения ученым дневниковых записей во время работы над исследовательским проектом, чтобы фиксировать и контролировать те влияния, которые оказывают на его реализацию чтение литературы и средства массовой информации, текущие политические события и повседневная рутина, встречи и разговоры с людьми.

Этот метод мне хотелось опробовать на каком-нибудь собственном небольшом проекте. А почему бы и нет? Почему не попытаться быть с читателем предельно откровенным? Почему не представить на его суд не только начало и результаты исследования – постановку вопросов и ответы на них, – но и сам исследовательский процесс?

Такая возможность вскоре представилась. Прошло уже более трех лет после опубликования последней большой книги. Меня угнетало вынужденное исследовательское безделье. Не то чтобы не было новых идей – просто никак не мог собраться с духом для их реализации, а в Челябинском государственном университете, в котором я работал до осени 2004 года, все никак не находилось денег на большую командировку в столицу для архивных разысканий. И вот как-то утром, 1 декабря 2004 года, собираясь на работу, я остановился перед книжным шкафом, за стеклом которого было прикреплено несколько фотографий: снимок во время доклада в Тюбингене летом 1996 года; солнечное затмение 1999 года на юге Германии; тошнотворный внутренний вид общественного туалета-«скворечника» на полпути между Челябинском и Екатеринбургом – неопубликованное фото, сделанное для «Жизни в катастрофе» в 2001 году. И – вот они,

рядышком – две черно-белые фотографии. На одной из них, открытке, подаренной мне в 2000 году тюбингенской коллегой Ингрид Ширле в связи с окончанием работы над рукописью книги, изображен молодой человек рубежа XIX–XX столетий, погруженный в чтение. На другой – я, сфотографированный в горьковском фотосалоне в 1966 году. Господи, как они похожи! Почему я не замечал этого раньше?!

Мой детский фотопортрет много лет простоял в нише буфета на родительской кухне – так долго, что его перестали замечать. Когда фотография пришла в совершенно неприличное состояние, потемнела и покоробилась от света, кухонных паров и нечаянно пролитой на нее жидкости, она оказалась под стеклом ученического письменного стола в моей детской комнате, постепенно исчезнув под последующими наслоениями более актуальных фото. Когда в 1985 году в Дзержинске умерла моя бабушка, Н. Я. Хазанова, я вместе с другими бумагами привез и ее экземпляр фотографии 1966 года. Не знаю, зачем. Может быть, потому что он был в отличном состоянии, словно бы и не прошло почти двух десятилетий. Но никакого особого значения я этой фотографии не придавал, это точно.

Когда в 1990 году на кафедре истории дореволюционной России ЧелГУ меня попросили сделать преподавательский стенд с «карманами» для записок сотрудникам, я вытребовал у коллег их фотографии, которые наклеил на «карманы», и без тени сомнения пожертвовал бабушкиным экземпляром фото на «общественно-полезные» нужды. В середине 90-х годов стенд оказался среди бумажного хлама, что меня тоже несколько не тронуло. Лишь весной 2003 года, после возвращения с преподавательской работы в Институте восточно-европейской истории и страноведения Тюбингенского университета, заведующая моей кафедрой в Челябинске Т. А. Андреева передала мне некоторые спасенные ею от уничтожения бумаги 80–90-х годов, среди которых обнаружился и снятый со стенда детский фотопортрет. Очень необычная фотография, заметила тогда Таисия Анатольевна. Это замечание я пропустил мимо ушей. Так фото 1966 года поселилось под стеклом книжного шкафа. Но почему я выставил его вместе с открыткой из Тюбингена? Или мне была ясна стилистическая близость обоих снимков, и они оказались рядышком неслучайно? Наверное, так и было. Тем не менее, понадобилось еще полтора года, чтобы эта фотографическая пара распалила во мне исследовательский инстинкт.

В тот же день, 1 декабря 2004 года, около полудня, за чашкой кофе в крохотной кухоньке Юлии Хмелевской, я вдруг совершенно спонтанно, но на удивление складно, начал рассказывать о новом, только что рождающемся проекте. Это будет, примерно так говорил я, рассказ о трех пожилых людях – родителях моей мамы и фотографе, – которые к моменту встречи прожили в СССР почти 50 лет, но выросли в

Российской империи, и запечатлели в детском фотопортрете свои совпадающие представления о том, что такое «хорошо» и «красиво».

Юлю я знаю целую вечность. Мы много лет работали на соседних кафедрах в ЧелГУ. Вместе с ней, Оксаной Нагорной и Ольгой Никоновой мы за несколько месяцев до этого разговора создали Центр культурно-исторических исследований на факультете права и финансов Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ). У Юлии очень хорошо организованные и, что особо важно для историка, скептически настроенные мозги. Фотографы всегда пользуются привычными клише, так что ничего особенного в этой истории нет, возразила она.

Но я не унимался. Пусть так, все равно я проведу это мини-расследование. Больших сложностей на пути реализации этой задумки я поначалу не видел. О бабушке и дедушке я знал, как мне казалось, достаточно, а недостающую информацию помогут восстанавить родственники, благо обе дочери Б. Я. и Н. Я. Хазановых живы-здоровы. Нужно всего-то – экая малость – собрать сведения о фотографе. Прошло менее 40 лет: расспрошу в фотосалоне, где он работал, покажу там фотографию, в крайнем случае, покопаюсь в архиве. (Кстати, а где этот салон? Улица Свердлова, дом 4. Да-да, кажется, это было на первом этаже где-то на перекрестке Свердловки и Октябрьской. Летом 2002 и 2003 годов неоднократно проходя мимо Дворца культуры им. Свердлова – бывшего Дворянского собрания, я видел на здании какое-то объявление о фотографиях. Зайти, подойти ближе или хотя бы остановиться я ни разу не удосужился.) За несколько месяцев подготовлю большую статью-расследование или, быть может, повесть страниц на сто.

Эта идея меня захватила. Я с воодушевлением поделился ею с близкими. Рассказал о замысле жене, старшей сестре мамы М. Б. Корзухиной, которой 4 декабря позвонил в Дзержинск с поздравлениями по поводу 82-летия, маме. Дочери Хазановых живо заинтересовались моей идеей. Тетя Мира – заядлая читательница, она охотно знакомилась с поставляемыми мною собственными опусами и даже кое-что конспектировала. Мама выразила готовность тут же приехать, чтобы предоставить нужную информацию.

7 декабря во время традиционных, еженедельных банных посиделок со старинным другом и недавним работодателем Борисом Ровным я поделился моими исследовательскими планами. Он внимательно слушает, глядя на меня сверху вниз – не из высокомерия, а из-за разницы в росте, усугубленной его джентльменской осанкой и моей сутулостью.

- О чем будет книга?– спрашивает он.
- О бабушке, дедушке и фотографе.
- Так и назови,– удовлетворенно кивает визави.



– Слишком похоже на «Я, бабушка, Илико и Илларион» Нодара Думбадзе, – сомневаюсь я.

– Ну и что? Это наше детское чтение, очень подходящее название для книги о детстве, – серьезно резюмирует голый Боря.

На следующий день в ЮУрГУ состоялась презентация нашего недавно вышедшего сборника «Век памяти, память века: Опыт обращения с прошлым в XX столетии». Деньги на издание, добротное в содержательном и полиграфическом отношении, в очередной раз выделил наш бывший студент, челябинский вице-губернатор Константин Бочкарев. На презентацию собрались челябинские историки, включая почти всю профессуру. Пришли и тогдашний ректор Г. П. Вяткин с проректором по науке А. Л. Шестаковым. Во время банкета я спросил ректора о маленьком «гешефте» в Болгарии в сентябре 1966 года, куда он ездил с группой из оперного театра, возглавляемой моей мамой. Дома когда-то говорили, что он в болгарском ресторане поменял советские часы на две бутылки «Мартини». Одна из них, с необычной для унылого советского торгового дизайнера яркой этикеткой, была приспособлена папой для напитков иного происхождения. Кажется, она до сих пор пылится на кухне у родителей между холодильником и массивным креслом главы семьи. Герман Платонович чуть-чуть обижается: не две, а четыре. И с улыбкой добавляет: «Вот так мы делали тогда свой бизнес».

Я начинаю интенсивно сживаться с проектом: в начале января провожу первые, довольно неуклюжие интервью с родителями; почитываю статьи по устной истории, которыми меня снабжает Юлия Хмелевская; готовлюсь к поездке в Москву, Дзержинск и Нижний Новгород. Возможно, недели через две у меня будет достаточно материала, чтобы начинать обдумывать будущий текст.

Накануне вылета в Москву, в ночь на 15 января 2005 года, вижу странный сон: я поднимаюсь на второй этаж старинного здания, в котором находится фотосалон № 1. Помещение почему-то наполнено множеством служащих, занятых своим делом. Им не до меня. Я показываю женщине, принимающей заказы, свою детскую фотографию, вставленную в странную, массивную старинную рамку. Ни она, ни подошедшие из любопытства фотографы не верят, что фото было сделано в 1966 году, а не десятилетиями раньше.

Проснувшись, я размышляю: почему фотосалон привиделся мне на втором этаже? И почему там так много людей? Я еще не знаю, что сон окажется почти «вещим». Не знаю, сколько сложностей ждет меня на этом пути. Мне пока неизвестно, как надолго затянется проект и какие неожиданные повороты он сулит.

## Летние детские пространства



«Ура, – думает Мальчик, – я в Горьком!» Он стоит на балконе, небольшом, но очень уютном. Стул, на котором по выходным (а после выхода на пенсию – почти весь погожий летний день) Дедушка читает газеты, занимает почти все пространство. Еще бы: по периметру балкона с внутренней и внешней сторон ограждения расположены ящики с цветами – анютиными глазками, петуниями, бархатцами (горьковчане называют их «бархотками»). Вдоль углов балкона поднимаются деревянные рейки, стянутые наверху поперечинами. Этот каркас имеет двойное назначение. Во-первых, сверху на него натягивается полосатый тент от солнца. Бабушка длинной палкой время от времени перемещает его с левой стороны на правую, ворча на Дедушку, который, погруженный в чтение, забывает это сделать, рискуя перегреться, или обгореть на солнце, или, по крайней мере, вызвать Бабушкино неудовольствие. Во-вторых, между цветочными ящиками и горизонтальными рейками натянуты веревочки, по которым все лето будут ползти вверх вьющиеся стебли декоративной фасоли. В июне они зацветут мелкими оранжево-красными цветочками, потом появятся тоненькие нежные стручки, которые в августе набухнут, затвердеют и потемнеют. Вызревшие в них матовые марморо-фиолетовые бобы будут храниться до следующей весны в нише буфета, в бронзовых китайских розетках.

Но главное – зелень к июлю образует живую изгородь и защитит балкон от посторонних глаз. Мальчик же, как с наблюдательного пункта, сможет беспрепятственно обозревать южную часть двора. Каждое утро первым делом, выскользнув из постели, Мальчик отправляется на балкон, жадно втягивает свежий воздух, пронизанный косыми, нежно ласкающими кожу лучами солнца и электрическим стрекотанием троллейбусов в соседнем депо, воздух, пропитанный сладковато-терпкой смесью цветочных ароматов. Во дворе уже разбирает рыболовные снасти дед Володи Гречухина или хозяйничает дворник-татарин дядя Костя.

Покинув балкон, Мальчик попадает в пока еще прохладную и сумеречную гостиную. Слева на двухстворчатой тумбе советского производства 50-х годов (такой же, как в челябинской квартире родителей и в Дзержинске у тети Миры) стоит телевизор с небольшим экраном и панелью цвета слоновой кости. Родители Мальчика телевизор еще не купили, поэтому телепередачи вызывают у него жгучий интерес. В тумбе покоятся запасы варений и компотов, а на верхней полке в коробке хранится запретно-вожделенная маца.

Далее по левую руку стоит обеденный стол, а еще дальше, в углу между дверными проемами без дверей (иначе было бы совсем тесно) в спальню и длинный узкий холл – этажерка с телефоном и пе-

рекидным календарем. На покрытом скатертью обеденном столе стоит ваза богемского стекла с всегда свежими цветами – настурциями, пионами, лилиями, в зависимости от сезона. Под столом, будучи еще совсем маленьким, Мальчик любил прятаться и играть в дом. Сейчас, в семь лет, залезать под стол неинтересно – и тесно, и стыдно.

На стене, над обеденным столом, в золоченой раме висит Бабушкина вышивка. На ней изображена светлая одноэтажная усадьба или дача на мощном фундаменте, в три высоких, полукруглых сверху окна, с белыми колоннами и двускатной красной черепичной крышей, над которой возвышаются каминная и печная трубы. К дому ведет широкая лестница с красными деревянными перилами, по которой можно попасть в белую каменную беседку с красной же крышей. Стоящий на берегу водоема дом утопает в зелени. Слева от него возвышается искривленное ветрами лиственное дерево, справа дом охраняют могучие ели.

Мальчик может подолгу разглядывать эту картину. Если пристально смотреть на нее, изображение начинает расти, рамка исчезает, и кажется, что ты вот-вот сможешь вступить на лестницу. Мальчику ужасно хочется жить в этом доме. Бабушка утверждает, что в молодости отдыхала на такой даче.

По правую руку от Мальчика, стоящего на пороге балкона, – узенькая легкая деревянная тумбочка с треснувшей хохломской вазой, стул из обеденного комплекта, маленький диванчик, контрастирующий с солидным буфетом, который царственно занимает всю остальную правую стену. Над диваном висит семейная фотография: во дворе дома на улице Минина перед центральной клумбой на скамейке сидят Бабушка, Дедушка, тетя Мира с двухлетней Танечкой на руках, дядя Коля и молоденькая мама Мальчика. На стене, справа от выхода в холл, между двойным дверным проемом и буфетом, приютилось радио с единственной ручкой – для включения и регулирования громкости. Радио работает постоянно.

Все окна квартиры выходят на южную сторону, и, чтобы днем в гостиной не стало слишком жарко, Бабушка задергивает шторы и по несколько раз смачивает пол, покрытый коричневым линолеумом с узором.

Через занавешенный дверной проем между обеденным столом и телефонной тумбочкой Мальчик входит в спальню. Справа стоит его коротенькая тахта. На ней, как и на диванчике в гостиной, лежат круглые и квадратные подушки-«думочки». Их серые льняные и черные шелковые наволочки украшены цветами и ягодами, вышитыми крестиком и гладью. Это тоже Бабушкино рукоделие прошлых лет, когда ее пальцы не были скрючены подагрой.

Над тахтой висит набивной, с кистями, коврик фабричной работы. На нем изображены два танцующих друг перед другом

павлина на лугу, за ними – горная река, за рекой – горы со снежными вершинами. Во время дневного отдыха, когда положено спать, Мальчик разглядывает ковер, а когда надоест – запускает руку в щель между ковром и тахтой и потихоньку отдирает обои. Только бы Бабушка не заметила!..

Напротив тахты, по обе стороны окна, стоят две металлические кровати с латунными никелированными фигурными шишечками-набалдашниками. У Дедушкиной кровати, которая стоит слева, шишечки более вычурные. Эх, как хочется их открутить! В изголовье Дедушкиной кровати на стене висит его парадный портрет, писанный в мрачных тонах масляной краской и подпорченный еще до рождения Мальчика домработницей Тосей, которая тщательно протирала картину влажной тряпкой. Над Бабушкиным изголовьем – ее вышивка крестиком в стиле силуэтного экслибриса. На белом фоне – черный контур девушки в пышном платье, задумчиво прислонившейся к плакучей иве, с розой в руке, поднесенной к лицу. Напротив нее – обнаженный мальчик с самоуверенно выпяченным животиком, целящийся в нее из лука. Бабушка объяснила – это не злой мальчишка и не хулиган, а Купидон, поражающий сердце девушки стрелой любви. Вдоль Бабушкиной кровати натянут ковер. Если присмотреться, в его узоре можно различить скалящиеся черепа. В сумерках, лежа в постели, когда взрослые еще смотрят телевизор или сидят за столом с соседями или гостями, Мальчик старается не смотреть на этот ковер.

В углу, между Бабушкиной кроватью и тахтой, стоит темный старинный платяной шкаф с поддоном. Дверца шкафа украшена крупными резными цветами на стеблях, изгибающимися мягкими, в стиле модерн, волнами. В шкафу – почти весь гардероб Бабушки и Дедушки.

По утрам в воскресенье Мальчик любит нырнуть под одеяло к Дедушке, потом – к Бабушке. В будние дни, когда в спальне к моменту пробуждения Мальчика уже никого нет, можно соорудить уютную норку под одеялом и выглядывать из-под него через узкую щелку.

Из спальни через гостиную Мальчик выходит в темный, узкий и длинный, жутковатый холл-коридор. Напротив дверного проема раньше стоял топчан, на котором мог заночевать гость. Летом 1963 года на нем спала Няня Мальчика во время путешествия всей его семьи по волжским городам, в Ростов-на-Дону, в Москву. Теперь на месте топчана стоит высокое, под потолок, старинное трюмо с толстыми зеркальными стеклами и широкими шлифованными гранями. На его столике расставлены милые мелочи, среди которых – пузатая стеклянная вазочка. Ее матовые оранжевые бока украшены накладными белыми цветами. В выдвижном ящике хранятся Бабушкины безделушки (дорогих украшений у нее никогда не было), в нижней, просторной части – черная, с золотыми узорами швейная машинка

«Зингер» в безупречном состоянии, накрытая огромными американскими шортами цвета хаки. С ними связана история, которую читатель узнает в свое время.

В углу, слева от трюмо, – тумбочка с проигрывателем. Когда он включен, на панели загорается светло-зеленый огонек, от которого Мальчик не в силах отвести глаз. В тумбочке лежат стопки толстых, тяжелых пластинок 20–50-х годов: советская эстрада и еврейская музыка. Между тумбочкой и трюмо втиснута изящная декоративная стойка. На ней – вытянутая четырехгранная ваза изумрудного цвета для одного цветка.

В этой части коридора Мальчик предпочитает не задерживаться. Напротив тумбы – пустой сумрачный угол, в котором на обоях темнеет жирное пятно. Оно кажется Мальчику шевелящимся живым существом, способным засосать в темноту, которой Мальчик панически боится. А ведь он помнит историю происхождения пятна и в этой связи испытывает чувство вины. В раннем детстве он ел невыносимо медленно, разборчиво, с капризами. Как-то во время ужина Бабушка, отчаявшись накормить внука, попросила Дедушку как-нибудь отвлечь ребенка, чтобы получить возможность вприхнуть ложку в упрямо сомкнутый рот. Дедушка стал неловко приплясывать, что-то напевая и выделывая руками причудливые па. Но и это не помогло. И тогда Бабушка «в наказание» поставила мужа в угол в холле. То ли пожалев Дедушку, то ли удовлетворившись странным поведением взрослых, Мальчик стал есть. Через несколько минут в комнату вошел растерянный Дедушка: «Нина, посмотри!» Все трое вышли в холл-коридор. На стене в углу расплылось темное пятно: основательный во всем Дедушка на самом деле простоял все это время в углу, прислонив жирный лоб к бумажным обоям...

Зато противоположная часть коридора вызывает у Мальчика совсем другие чувства. Здесь, справа от трюмо, находится этажерка, на которой стоит массивная мраморная чернильница с лежащим львом, чернильница поменьше в виде кремлевского Царь-колокола и, главное, термометр из серого металла в виде плоского готического замка. Замок имеет въездные ворота, сквозь которые Мальчик тщетно пытается исподтишка, пока не видит Бабушка, протолкнуть крохотную машинку. Они так низки, что игрушечный солдатик пробирается сквозь них только по-пластунски. У трехэтажного замка с остроконечной черепичной крышей есть балконы с узкими сводчатыми окнами, круглая остроконечная башенка, над шпилем которой развевается узкий длинный рыцарский флаг, раздвоенный на конце, подобно змеиному языку. Нижняя часть замка с обеих сторон оплетена плющом с неправдоподобно крупными листьями. Зато наверху слева, между башней и основной крышей, близ слухового окна, расположена реалистичная деталь, умиляющая Мальчика. Здесь при-

ютилось ласточкино гнездо – Мальчик видел точно такие же год назад в Оренбурге, где были на гастролях его родители. В центральной части замка, между въездными воротами и сводом крыши, закреплена фаянсовая пластина градусника с двумя шкалами, увенчанными буквами R (от  $-15$  до  $+40$  градусов) и C (от  $-8$  до  $+50$ ). От Дедушки Мальчик знает, что эти буквы обозначают Реомюра и Цельсия, предложивших свои системы измерения температуры.

В холле на стене слева висит большой фотопортрет старшей дочери Хазановых, Миры, в двух-трехлетнем возрасте, справа – портрет сидящей на ромашковой поляне молодой, красивой Бабушки с гладкой стрижкой 20-х годов.

Из коридора Мальчик выходит направо в крошечную прихожую. Здесь поместился только открытый шкаф с вешалками для верхней одежды и тумбой для обуви. Иногда, желая уединиться, Мальчик садится на тумбу, забираясь под тяжелые зимние пальто. Становится темно и душно, дыхание перехватывает от запаха нафталина, но зато как уютно, как защищенно!

Напротив вешалок – вход в длинную узкую кухню. Такую узкую, что и окно в ней половинное. Здесь – Бабушкино царство, границу которого никто не нарушает без ее разрешения, тем более что вдвоем в кухне не разойтись. Слева от входа втиснут разделочный стол, к нему примыкают газовая плита, тумба с кухонными принадлежностями, где стоит банка с кипяченой водой для питья (сырую воду Бабушка запрещает пить), раковина, под которой встроено место для мусорного ведра, с одиноким латунным краном – в доме нет горячей воды. Над разделочным столом подвешен посудный шкафчик. Из-за тесноты невозможно поместить что-либо вдоль правой стены кухни, кроме маленького стола, за которым старики и трапезничают в отсутствие Мальчика. Над столом еще одна Бабушкина вышивка гладью – большие, яркие ирисы на белом фоне. В кухне, как и во всей квартире, – идеальная чистота. Ни чада, ни неприятных запахов.

Если Мальчику нужно в туалет, он просит включить ему свет. Он уже и сам дотягивается до выключателя, но для этого из темного коридора нужно пройти, стараясь не коснуться на пятно на обоях, в еще более темное проходное помещение – чулан с холодильником марки «Зил – Москва» с ручкой и прорезью для ключа, как на дверце автомобиля (слева) и какими-то занавешенными вещами (справа). Туалет и ванная совмещены в маленьком пространстве. Напротив унитаза до середины 60-х годов стояла приземистая, округлая чугунная печь, которую нужно было топить дровами, чтобы принять ванну. Как приятно было сидеть в горячей воде, наблюдая красные всполохи за чугунной дверцей и вдыхать запах сухих потрескивающих поленьев!

Теперь на месте печки Бабушка поставила зеркало в полроста, так что, сидя на стульчаке, видишь себя целиком и не можешь избавиться от ощущения, что ты не один. Однако это не мешает Мальчику крепким ногтем указательного пальца сцарапывать со стены слева светло-синюю краску, под которой обнаруживаются более ранние слои других цветов. Если краски набьется под ноготь слишком много, бывает больно. Но это Мальчика не останавливает, как и возможное неудовольствие со стороны Бабушки – организатора и исполнителя регулярных квартирных ремонтов на своей территории.

С недавних пор в ванной и кухне появились газовые колонки. Бабушка довольна: чиркнул спичкой – и у тебя в любой момент есть горячая вода. Мальчику это нововведение не по душе, он воспринимает его как вторжение в его дом-крепость, где все должно быть незыблемо и неизменно.

«Игорь!» – раздается со двора Вовкин голос. «Можно пойти погулять?» – спрашивает Бабушку Мальчик. Она недовольно кивает: «Но только со двора ни ногой! Знаю я этого хулигана...»

Двор не менее уютен и защищен, чем сама квартира. С севера он огражден от улицы чугунной решеткой, обрамленной мощным беленым кирпичным фундаментом и такими же тумбами. Во двор можно попасть через калитку с массивной латунной ручкой-щеколдой или через двустворчатые ворота, открываемые для въезда редких машин. К дому от калитки ведут две дорожки, огибающие центральную, обложенную по периметру кирпичом клумбу с вазоном на постаменте, не менее основательном, чем у памятника К. Минину близ въезда на одноименную улицу с площади Минина и Пожарского. Эта клумба – предмет гордости обитателей дома. Северная сторона двора утопает в цветах и зелени. В тени кленов и лип вокруг клумбы стоят четыре деревянные скамейки. На них летом до глубокого вечера сидят соседки, обсуждая жите-бытье и охраняя от набегов непрошенных гостей в свой черед густо цветущие на клумбе анютины глазки, львиный зев, настурции, лилии, белый табак, «бархотки», над которыми целыми днями жужжат шмели и пчелы. За двумя из скамеек, тех, что ближе к калитке, благоухают кусты сирени и шиповника. Справа и слева от дорожек, ведущих к двум подъездам, в симметричном порядке по отношению к главной клумбе расположены две клумбы поменьше. На них ничего не высаживается из-за обильной тени деревьев. Они заглохли и заброшены, но для ребенка эти укромные уголки чрезвычайно притягательны. Здесь можно спрятаться от взрослых и из укрытия наблюдать за обитателями дома и прохожими на улице.

С востока и запада двор ограничен деревянным забором, за которым находятся деревянные же постройки: с восточной стороны – просторный двухэтажный дом, с западной к забору прилепи-

лись дровяные сараи жильцов приземистого каменного дома № 19 на углу улиц Минина и Семашко. Вдоль боковых сторон дома, а также через черные входы обоих сквозных подъездов можно попасть в более узкую южную часть двора. Проходя на южную сторону слева, приходится пригибаться: почти все пространство между забором и домом заняла сирень, образуя еще одно укрытое от посторонних глаз место для встреч и игр. С юга двор отделяет от троллейбусного депо кирпичная стена в полтора человеческого роста. В левом углу, между деревянным и каменным заборами, притулился низенький мотоциклетный гараж Бориса Шевчука, соседа с третьего этажа. Этот гаражик очень удобен, чтобы перелезть за границу двора, на запретную территорию. Когда Шевчук открывает гараж, на внутренней стороне двери можно увидеть нарисованное краской марганцового цвета неприятное мужское лицо в шляпе, от вида которого Мальчик бросает в дрожь.

Вдоль стены троллейбусного депо на полдома протянулись узенькие, огороженные штакетником садовые участки Гречухиных и Пчелиных – объекты вожелдений окрестных детей и неудовольствия соседей. В них, кроме цветов, растут яблони, груши и сливы. Однако доступ к ним для детворы ограничен: хозяева садов живут на первом этаже, и окна их квартир, выходящие на юг, – надежные пункты наблюдения за поползновениями ребятишек. За садиками, напротив бойлерной, у стены депо – заброшенная детская площадка: серый прямоугольный струганный стол на двух неустойчивых столбах с двумя узенькими, не очень надежными скамейками без спинок; чуть дальше – песочница, в которой играть стыдно – большой уже, да и Бабушка не разрешила бы («Там кошки писают», – говорит она). Дальше – гараж бывшего управляющего Горэнерго Ежелева. За ним – самое неприятное место во дворе: побеленный деревянный мусорный ящик с люком. Его содержимое издает невыносимое зловоние. Мальчик ни за что не подошел бы к нему, но, возвращаясь из троллейбусного депо или проходя по кирпичной стене после рискованного пробега на плодовые деревья Гречухиных и Пчелиных, незаметнее всего можно спуститься со стены в дальнем конце двора, за мусорным ящиком. А потом – задержать дыхание и протиснуться между ним и гаражом, вызывая дружный гул встревоженных мух со спинками, красиво переливающимися на солнце желтовато-зеленым металлом.

Раз в неделю Мальчик отправляется с Дедушкой в страшное место – подвал. Они спускаются к южному выходу из подъезда и, не выходя наружу, сворачивают направо, туда, где из дверного проема зияет чернота. Дедушка щелкает выключателем и спускается вниз по крутой лестнице. Внук следует за ним лишь после того, как внизу, напротив подвальной дворницкой, раздастся щелчок второго выключателя, освещающего подвал. Внизу сухо и прохладно. За второй слева решетчатой дверью из узких, грубо обструганных



досок, которую открывает Дедушка, – полупустое помещение. В нем в образцовом порядке уложены дрова и старые вещи. Среди них странный рыночный безмен с заржавленным крюком, свинцовым противовесом и металлической планкой между ними, позволяющей определять вес в фунтах; обшарпанные чемоданы с окованными углами; пахнущие сыростью связки книг. Вот разрозненные малиновые тома третьего изданий сочинений В. И. Ленина под редакцией какого-то Л. Б. Каменева. Вот томик из собрания сочинений Артура Конан Дойля в издании А. Ф. Маркса с кожаным коричневым корешком и зеленой, в мраморных разводах, обложкой. А вот огизовское издание «Поединка» А. И. Куприна в мягком переплете со сценой дуэли на первой странице.

Из подвала они идут в таком порядке: Мальчик поднимается первым, и лишь после этого Дедушка выключает свет. Возвращаются они с десятком поленьев; иногда Мальчик с разрешения Дедушки прихватывает из подвала какую-нибудь штуковину.

Если для гуляния в безопасном дворе достаточно спросить разрешения, то выход за его пределы возможен только в сопровождении взрослого. Есть несколько привычных для Мальчика маршрутов, которыми ограничено его перемещение во внешнем мире. Среди них – улица Минина, по которой он с Бабушкой ездит на автобусе или троллейбусе за продуктами на Мытный и Сенной рынки, до площади Минина и Пожарского, или в противоположную сторону, к площади Нариманова. На Мытный рынок можно попасть и на трамвае № 2. Мальчик с Бабушкой сворачивают с улицы Минина на Семашко, мимо троллейбусного депо и старинного желтого здания странной, овальной формы (бывшая конюшня купца В. Я. Башкирова) выходят на улицу Лядова к трамвайной остановке. Напротив нее стоят богато украшенный лепниной дом с кариатидами (особняк купца Зайцева) и бывшее суворовское училище (ни Бабушка, ни внук, конечно, не знают, что в середине XIX века здесь жил автор «Словаря живого великорусского языка» В. И. Даль). Они едут по улице Лядова (бывшей Большой Печерской) и Пискунова (бывшей Осыпной) мимо купеческих и дворянских особняков, деревянных домов с «глухой» и пропиленной резьбой, причудливых, с плавными формами, зданий в стиле модерн. Затем они выходят на улицу Свердлова, или Свердловку (на рассчитанном на минимизацию перемен жаргоне горьковчан так именуется бывшая Большая Покровская, или Покровка), около бывшего Дворянского собрания и за бывшей городской усадьбой купца Костромина (покровителя механика-самоучки И. П. Кулибина) ныряют в узкий спуск к Мытному рынку. Напротив Мытного высится обильно украшенный лепными узорами трехэтажный дом, принадлежавший когда-то торговой фирме Фроловых. Эркеры этого дома имеют по бокам небольшие овальные оконца. Каждый раз, проходя

мимо, Мальчик задирает голову. Он хотел бы жить в таком эркере, из которого так чудесно можно было бы наблюдать за прохожими, оставаясь незамеченным.

С Дедушкой Мальчик ходит по улицам Лядова и Пискунова во Дворец пионеров (бывшее здание Крестьянского поземельного банка в псевдорусском стиле), где он разучивает фортепианную программу на следующий учебный год. Мимо старинных особняков в стиле модерн на улице Минина они проходят к библиотеке. По улице Семашко вдоль семиэтажного Дома железнодорожников спускаются на Верхневолжскую набережную, откуда открываются захватывающие дух просторы Волги и Заволжские луга, в хорошую погоду доступные глазу на десятки километров. Втроем с Бабушкой они бьют по воскресеньям в кремле или гуляют по Откоосу, иногда спускаются к волжскому пляжу.

Мальчик осваивает пространство, которое становится для него все более родным. У него прекрасные вожатые – внимательные, заботливые, терпеливые. Мальчик знает точно, что он любим...

## Нижегородские фотографы XIX века

**7** Ни Дедушка, ни Бабушка, ни, тем более, Мальчик о прошлом города почти ничего не знали. Не знали они, конечно, и того, что до революции Нижний Новгород был одним из центров профессиональной фотографии с собственным почерком и всероссийскими и международными знаменитостями.

Главный импульс к развитию фотографии, как и других сфер городской жизни, исходил от Нижегородской ярмарки. Первые фотографии появились не в нагорной, а в заречной части города, на ярмарке, и это были, конечно, заезжие гости. Всего через четыре года после изобретения дагерротипии, в августе 1843-го, на ярмарке открыли свои временные заведения двое петербуржцев – придворный оптик М. Тицнер и поручик А. Я. Давиньон.

Предоставим слово специалисту нижегородского краеведения и фотографоведения.

«В течение восемнадцати лет совершались на Нижегородскую ярмарку десанты приезжих дагерротипистов из Кенигсберга, Москвы, Петербурга, Риги, Симбирска, Харькова. На ярмарку приезжали и торговцы “дагерротипными снарядами”, как в то время назывались камеры-обскуры с обязательным приложением светочувствительных дагерротипных дощечек. В конце 1850-х – начале 1860-х годов ярмарочных дагерротипистов постепенно заменили приезжие и местные фотографы» (Хорев М. М. Пионер).

В самом Нижнем Новгороде первое фотографическое заведение открыл в 1859 году Н. А. Козин, бывший крепостной крупного

нижегородского землевладельца князя Г. А. Грузинского, выученный дагерротипии в Москве по инициативе и на средства своего владельца. Однако центром фотографии в Нижнем Новгороде по-прежнему оставалась ярмарка. Сначала на ней появился Фотографический ряд, затем – Фотографическая улица и, наконец, Фотографическая линия.

Нижегородская фотография освободилась от ярмарочной конъюнктуры и стала восприниматься как самоценное явление, когда всероссийская и международная слава пришла к местному фотографу Андрею Осиповичу Карелину (1837–1906). Выходец из тамбовских крестьян, он в десятилетнем возрасте, проявив способность к рисованию, стал учеником иконописца. Соседский помещик принял участие в судьбе мальчика и отправил его в Санкт-Петербург, где тот в 1857–1864 годах обучался в Академии художеств. Одновременно молодой Карелин ради заработка занимался фотографией и ретушью в ряде столичных портретных заведений. В звании свободного художника он в 1866 году по совету врачей покинул Петербург и поселился в Нижнем Новгороде, открыв рисовальную школу, а затем, в 1869 году, – фотоателье на Осыпной улице. Характерно его название, свидетельствующее о том, что А. О. Карелин не собирался расставаться с пластическим искусством, – «Фотография и живопись художника А. Карелина».

Фотографическая техника того времени была далека от совершенства, и молодой художник-фотограф начал самостоятельные эксперименты в области оптики, стремясь получить нужную резкость изображения во всех планах. В доме на Осыпной он построил более длинный, чем было принято, павильон, в котором, помимо окон, были застеклены крыша и стена. В отличие от фотографов того периода Карелин создал в фотопавильоне не бутафорский, а подлинный интерьер. Используя дополнительные линзы, он в условиях павильона научился делать снимки без искажения пропорций и с нужной резкостью в двух-трех планах, на глубину до семи метров. Это позволило ему удачно соединить свои навыки художника с пионерскими достижениями в области фототехники и стать признанным основателем художественной фотографии в России.

Вскоре Карелину представился счастливый случай продемонстрировать свои достижения в области художественной фотографии на международном уровне. В 1876–1877 годах Эдинбургское фотографическое общество проводило всемирную выставку художественной фотографии. Возможно, мужество отправить на нее свои портретные и групповые снимки Карелину придал известный в истории отечественной фотографии эпизод, произошедший в августе 1875 года. Герцог Альфред Эдинбургский во время волжского путешествия остановился в Нижнем Новгороде и среди прочих до-

стопримечательностей посетил мастерскую Карелина, имя которого уже значилось в путеводителях по Волге. Герцог-фотолюбитель решил сняться на память и заодно подвергнуть испытанию мастерство фотохудожника. Вот как описывает случившееся восхищенный современник:

«Будучи сам знатоком дела, он нарочно сел так, что для обыкновенного аппарата фигура его была бы, если позволено так выразиться, “не фотографна”. Он снят лицом и фасом к аппарату, закинув ногу на ногу. Ноги его в обыкновенном снимке получились бы несоразмерно громадными, так как они находятся на переднем плане; находившиеся на второй плоскости руки тоже были бы велики, сравнительно с лицом, которое, будучи помещено в третьей, самой задней, плоскости, оказалось бы слишком маленьким. На карточке Карелина герцог представляется таким, каким он явился бы нашему взгляду. Это уже художественный портрет, полный соразмерностью всех деталей, а не фотография!» (цит. по: Хорев М. М. Мастерская).

После этого А. О. Карелин в качестве фотографа-экспонента принял участие в Эдинбургской фотовыставке.

«Шесть тысяч снимков из многих стран пришло на выставку. Высшая награда – золотая медаль – была единственной. Снимки представлялись под девизами; имена авторов были скрыты. Голоса экспертов разделились. Якобы два экспоната были признаны в равной степени достойными высшей награды. Кто же авторы этих лучших фотографий? Вскрыли конверты с девизами. В конвертах оказались листки с одним и тем же именем: Андрей Карелин» (Морозов С. А., 75).

А. О. Карелин и до этого участвовал во всемирных и международных фотовыставках – в Вене (1873), Париже и Филадельфии (1876), но Эдинбургская фотографическая выставка оказалась его первым несомненным международным успехом, за которым последовал второй, еще более решительный: он получил золотую медаль по итогам участия в Восьмой всемирной выставке в Париже (1878). Представленные им фотографии оказались настолько искусными, что русскому эксперту пришлось доказывать, что снимки групп изготовлены с одного негатива, а не с нескольких.

Нижегородский мастер приобрел всероссийскую и европейскую известность. На российских фотографических выставках он неизменно получал награды, в том числе на XV Всероссийской промышленно-художественной выставке 1882 года в Москве. В 1878 году он был избран членом Французской национальной академии искусств, в 1879-м получил золотую медаль на Станиславской ленте, в 1880-м стал действительным членом V (фотографического) отдела Императорского Русского технического общества в Петербурге. В 1886 году

по его инициативе в Нижнем Новгороде была открыта первая в провинциальной России художественная выставка.

А. О. Карелин был человеком разносторонних дарований. Он стал широко известен как коллекционер предметов старины – мебели, икон, одежды, посуды и пр. В течение 30 лет руководил собственной школой рисования, причем нуждающихся учеников обучал бесплатно. Об авторитете и разнообразии интересов этого человека свидетельствует, помимо прочего, его членство в Нижегородской архивной комиссии, Нижегородских отделениях императорского Русского музыкального общества, Российского общества покровительства животным.

Как фотограф Карелин прошел примечательную эволюцию, характерную для истории фотографии XIX века в целом, «от портретов и жанровых сцен к пейзажам, от павильонных съемок к пленэру» (Карелин А. О., 14). Его снимки были наполнены воздухом и светом, словно раздвигая стены павильона. Портретам работы Карелина были свойственны смягченность изображения, пластичность, игра полутонов, уход от достигнутых им в ходе технико-оптических экспериментов резкости и жесткого контраста.

Творчество А. О. Карелина подготовило почву для рождения в Нижнем Новгороде еще одной величины международного масштаба в истории фотографии – Максима Петровича Дмитриева (1858–1948). Хотя Дмитриев был на поколение младше Карелина и не являлся его прямым учеником, обоих фотографов роднит некоторая общность судьбы. Как и Карелин, Дмитриев происходил из непривилегированного сословия – из коломенских мещан – и пережил трудное детство. В 1937 году в письме председателю Горьковского облисполкома он напишет: «Свою трудовую жизнь я начал с 9-летнего возраста. Пройдя тяжелый путь “мальчика”, я был отдан матерью в одну из московских фотографий» (цит. по: Хорев М. М. Письмо из 37-го).

В 1877 году Дмитриев поселился в Нижнем Новгороде и в октябре 1881-го совместно с Л. Л. Галиным получил свидетельство об открытии фотографии на Большой Покровской улице, 7, в доме купца И. Мокеева. Однако в апреле следующего года Дмитриев оставил фотографическое заведение в исключительном владении Галина, поработал фотографом-лаборантом у А. О. Карелина, а затем жил в Орле и Москве. Лишь в 1886 году талантливый самоучка вернулся в Нижний Новгород и открыл собственную фотомастерскую «Новая фотография М. Дмитриева» на Осыпной, в том самом доме, где до него, в 70–80-х годах, работал А. О. Карелин.

В Нижнем Новгороде М. П. Дмитриеву пришлось начинать работать в иной обстановке, чем Карелину. Конкуренция городских фотографов росла, их профессиональный уровень повышался. В 1885 году здесь было уже шесть фотографических заведений, сосредото-

ченных в центре города, в районах Большой и Малой Покровских, Осыпной и Варварской улиц. Они принадлежали Карелину, мещанину Д. С. Лейбовскому, дворянину Стржеговскому, коллежскому секретарю И. Н. Успенскому, австрийскому подданному И. Гроссману, почетному гражданину Л. Л. Галину. В 1896 году в Нижнем Новгороде существовало уже десять фотозаведений. Однако большинство из них не выдержало жесткой конкурентной борьбы. К началу XX века обозначатся основные претенденты на лидерство – М. П. Дмитриев и москвич М. А. Хрипков. Однако Дмитриеву после долгого соревнования удастся сохранить за собой первенствующее положение.

В 1889 году дмитриевские работы – портреты и пейзажи – появились в Москве, Петербурге, Одессе на фотографических выставках, приуроченных к 50-летию «светописи». В этот период в одиночных и групповых портретах Дмитриева ощущалось влияние карелинского почерка. Лишь к началу XX столетия специалисты признают наличие у Дмитриева собственного стиля в портретной фотографии. В журнале «Фотографическое обозрение» критик выразится таким образом:

«В его портретах влияние его учителя А. О. Карелина. Тем не менее, несмотря на свою художественность, все портреты г. Дмитриева являют черты, характерные для профессионала. Это именно некоторая сухость позы и условность обстановки» (цит. по: Дмитриев М., 260).

Портретная павильонная съемка – основа существования всех профессиональных фотографов. М. П. Дмитриев отдал ей почти полвека своей жизни. Он создал огромную портретную галерею, более известную не парадными фотоизображениями нижегородских губернаторов, городских голов, начальников губернского жандармского управления и ЧК, а фотопортретами российских знаменитостей из мира литературы и искусства – М. Горького, Л. А. Андреева, И. А. Бунина, В. Г. Короленко, К. Е. Маковского, Ф. И. Шаляпина и др. Дмитриев не только мастерски снимал, но и психологически тонко работал с клиентами, беседовал с ними перед началом съемки, стремясь узнать и запечатлеть характер портретируемого, к чему призывал и других фотографов.

Однако славу М. П. Дмитриеву принесли не портреты. Сам он именовал себя «фотографом-этнографом». Ему была чужда карелинская картинно-романтическая трактовка окружающего мира. Он искал «правду жизни», которую, по его убеждению, была способна зафиксировать фотография. В конце 80-х годов у него созрел честолюбивый замысел – сфотографировать всю Волгу. На эту труднейшую работу ушло, начиная с 1894 года, девять летних сезонов, в течение которых было создано несколько тысяч негативов, документирующих реку, ее пейзажи и достопримечательности от истоков до устья с интервалом, в среднем, четыре километра. Часть фотографий из

«Волжской коллекции» вошла в «Художественный альбом Нижнего Поволжья» и «Художественный альбом Нижегородского Поволжья», изготовленные Дмитриевым в 1894–1895 годах в собственной фотомастерской. По предложению П. П. Семенова-Тян-Шанского Дмитриев за эту работу был избран действительным членом Императорского Русского географического общества.

Эффект разорвавшейся бомбы произвел изданный в 1893 году альбом «Неурожайный 1891–1892 год в Нижегородской губернии. Фотографии с натуры М. Дмитриева», положивший начало российскому публицистическому фоторепортажу. Когда в 1891 году на Поволжье обрушились засуха, эпидемия холеры, голод и тиф, Дмитриев объездил с фотоаппаратом наиболее пострадавшие уезды. Некоторые результаты этого, как бы сейчас выразились, «журналистского расследования» были представлены на Всемирной фотографической выставке в Париже 1892 года, принесли автору золотую медаль в номинации «Профессиональная художественная фотография» и мировую известность.

Российская интеллигенция встретила фотоальбом восторженно, консервативно настроенная «чистая» публика – с раздражением. Так, представитель «аристократического» фотолюбительства граф Г. И. Ностиц, посетивший парижскую выставку, высоко оценил техническое исполнение фотографий Дмитриева, но был возмущен выбором сюжетов. Ностиц даже сравнил Дмитриева с художником Парижской коммуны Г. Курбе, язвительно заметив, что «светописи г. Дмитриева были бы во вкусе этого “красного живописца”» (цит. по: Морозов С. А., 114).

Слава М. П. Дмитриева как первооткрывателя фоторепортажа продолжала расти. Лучшими его фотоальбомами стали «Виды Н. Новгорода и Нижегородской ярмарки» и «Всероссийская промышленно-художественная выставка 1896 года». Его работы многократно демонстрировались и имели огромный успех на международных выставках в Европе и США, получали преимущественно золотые медали, а также почетные отзывы и дипломы.

Но ничего о былой славе и традициях дореволюционной нижегородской фотографии не было известно Бабушке и Дедушке. Горьковчанами они стали только в 1940 году...

## Фотография в «объективе» иконографического анализа



Фотография молчит или, в лучшем случае, туманно намекает. К такому заключению можно прийти, применяя к детскому фотопортрету 1966 года «чистый» анализ форм и содержания вне контекста его создания и использования.

Попробуем дополнить полученную информацию, прибегнув к классическому искусствоведческому описанию изображения, которое также концентрируется на анализе визуального объекта. Применение этого подхода к фотоснимку вполне оправдано, так как фотография с первых лет существования подражала изобразительному искусству и брала на вооружения богатые традиции живописи, в течение десятилетий претендуя на статус одной из равноправных отраслей искусства и добиваясь признания своих высоких эстетических качеств. «Фотографию, – писал Р. Барт, – навязчиво преследовал и продолжает преследовать фантом Живописи» (Барт Р., 50).

Итак, перед нами портрет в полный рост, положение портретируемого 3/4 налево, фон – нейтральный. Фотограф использует богатый арсенал изобразительного искусства, чтобы сделать восприятие изображения приятным и удобным. Все важные части фотографируемого объекта находятся на линиях структурного плана плоскости, поровну делящих поверхность по вертикали, горизонтали и диагонали. Согласно наблюдениям художников и искусствоведов, это должно действовать на зрителя успокаивающе:

«...ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ПЛОСКОСТЬ ИМЕЕТ СВОЙ ЦЕНТР (ОН РАСПОЛОЖЕН В ТОЧКЕ, ГДЕ ПЕРЕСЕКАЮТСЯ ДИАГОНАЛИ), А ТАКЖЕ ОСИ, ДЕЛЯЩИЕ СТОРОНЫ ПОПОЛАМ. <...> Всякий пункт, расположенный на линиях структурного плана или в непосредственной близости, кажется спокойным. Но если он удален от линий, в нем ощущается напряжение, словно пункт жаждет покоя и жажда преобразуется в энергию. Это не физическая энергия самой плоскости или перемещенного пункта, она существует лишь в нашем восприятии...» (Михалкович В. И., Стигнеев В. Т., 54).

Автор детского фотоснимка максимально использовал также линии «золотого сечения», делящие плоскость по вертикали и горизонтали на три примерно равные части, причем нижняя линия «золотого сечения» почти совпадает с линией горизонта. Крайне удобно для глаза и расположение фигуры в кадре, так называемая «мизансцена тела». Известно, что левая и правая стороны изобразительной плоскости неравноценны по эмоциональному воздействию: объекты в правой его части воспринимаются как более спокойные, в левой – как более напряженные. Интересно в этой связи наблюдение (фото)художника и конструктивиста А. М. Родченко:

«Я БЫ РАЗДЕЛИЛ ИЗОБРАЖАЕМЫЙ МИР НА ТРИ РОДА КОМПОЗИЦИИ. ОБЫЧНОЕ – ВСЕ СПРАВА, НЕОБЫЧНОЕ – ВСЕ СЛЕВА, И... УМИРОТВОРЯЮЩЕЕ, РАВНОМЕРНОЕ В ЦЕНТРЕ. <...> НА ТЫСЯЧУ ПОРТРЕТОВ БУДЕТ СЕМЬСОТ, ИМЕЮЩИХ ПОВОРОТ ВЛЕВО, ДВЕСТИ ПЯТЬДЕСЯТ ПРЯМО И ПЯТЬДЕСЯТ НАПРАВО» (Родченко А. М., 112).

Смещение фигуры ребенка вправо и легкий поворот его корпуса влево облегчает наиболее привычный «маршрут» зрения



из левого нижнего угла изобразительной плоскости по диагонали вправо и наверх. Расположение тела в кресле позволяет эффектно играть с преимущественно скругленными, волнообразными линиями. Округлые, мягкие, они также должны действовать на зрителя успокоительно. В образованной линиями «золотого сечения» центральной зоне, считающейся в теории искусства наиболее спокойной, находятся руки мальчика. Фотограф умело пользуется светом, избегая контрастов. Он следует привычке воспринимать темное как более тяжелое и принадлежащее низу, а светлое – как более легкое и стремящееся вверх. На изображении преобладают светлые тона, делающие снимок нежнее и лиричнее.

Изобразительная плоскость, таким образом, является набором культурных шаблонов человеческого зрительного восприятия. Не только произведение живописи или графики, но и фотография, позаимствовавшая из изобразительного искусства богатый арсенал средств воздействия на человеческие эмоции, не отражает непосредственно первоизданную реальность.

«Когда фотограф накладывает плоскость на предметы (сначала в «облике» видеоискателя), в действие вступают «внутренние силы» плоскости. Композиция и образ, создаваемые фотографом, являются структурами. Благодаря «внутренним силам» плоскости структурирование начинается уже в момент съемки. Структура, «таящаяся» в изобразительной плоскости, базируется на противоположностях центра и периферии, верха и низа, правой и левой сторон. Противопоставления эти являются неотъемлемыми характеристиками изобразительной плоскости, и потому даже «прямые фотодокументаторы» не в состоянии обойти их. Вопрос лишь в том, насколько сознательно «фотодокументаторы» пользуются этими противоположностями. Однако в любом случае «внутренние силы» плоскости совершают свою работу, и тем самым видимый мир не попадает на снимок в девственном, непреображенном виде» (Михалкович В. И., Стигнеев В. Т., 62).

Как видим, описание фотографии под искусствоведческим углом зрения, натренированным на анализ произведений изобразительного искусства, кое-что сообщает о самом фотографе, его общих эстетических пристрастиях и конкретном замысле. Эту мысль немецкий кинорежиссер В. Вендерс метафорически выразил следующим образом:

«Камера – это глаз, который одновременно может смотреть вперед и назад. Впереди она «щелкает» картину, сзади она рисует контур души фотографа. То есть она смотрит назад, через его глаз, на его сущность. Да, камера видит впереди себя объект, а сзади – причину, по которой этот объект должен быть запечатлен. Она одновременно показывает ВЕЩИ и ТОСКУ по ним» (WENDERS W., 10–11).

Многое говорит в пользу предположения, что детское фото 1966 года – снимок, сделанный не просто опытным фотографом, но приверженцем пикториализма (от латинского *picus* – «писанный краской»; термин приписывается английскому художнику, фотографу и теоретику художественной фотографии Г. П. Робинсону), художественного фотопортретного канона, сложившегося в XIX веке и усвоенного советской художественной фотографией. Предоставим слово специалистам.

«Единого определения “пикториализма” не существует. Если в последнее время понятие в целом устоялось для обозначения определенной эпохи с некими стилистическими особенностями, то в более старой литературе для этого явления еще часто встречается общая формулировка “художественная фотография”. В языковом плане термин происходит от английского выражения *Pictorial Photography*, обозначения, в котором на первом плане стоит живописное воздействие фотографии, а не фотографическое отражение действительности, что бы под ней ни подразумевалось. Обозначение “художественная фотография”, напротив, исходит, прежде всего, из желания фотографов, чтобы их продукцию признали искусством» (WALTER C., 63).

Так называемая пикториальная фотография возникла в середине XIX века и первоначально ориентировалась на викторианскую живопись, а затем – на импрессионизм, натурализм и символизм рубежа XIX–XX веков. Соответственно, в пикториализме выделяется две фазы развития. Для первой была характерна работа фотографа-художника с инсценированными сюжетами, бутафорией и актерами. Для второй – фазы «мягкого фокуса» – типичен фотоимпрессионизм, отказ, вопреки достижениям фототехники, от резкости изображения (характерно, например, нанесение фотографами вазелина на стеклянную пластину перед объективом, чтобы усилить «живописный» эффект изображения) и попытка отражать не реальность, а человеческое восприятие реальности. Именно в пикториализме портрет был наиболее популярным жанром фотографии.

Интересно, что пикториализм второй фазы, которуюистики фотографии относят к периоду между 1890 и 1910 годами (кстати, это время наибольшего творческого расцвета нижегородского фотографа М. П. Дмитриева), не исчез в одночасье после 1910 года. Фотомастера продолжали пользоваться техникой и эстетикой «мягкого фокуса», и не только в России (СССР). Так, многие американские фотографы вплоть до 50-х годов XX века оставались носителями пикториальной традиции второй фазы.

Знаменитых нижегородских фотографов, по крайней мере, в отношении портретного жанра, по праву можно отнести к выдающимся представителям пикториализма. А. О. Карелин в большей сте-

пени отражал первую фазу этого явления в фотографии, М. П. Дмитриев – вторую.

Однако вернемся к фотопортрету 1966 года. Если бы не штамп советского фотосалона и стоптанные советские сандалии на ногах мальчика, анализируемый фотопортрет легко можно было бы ошибочно отнести к пикториальной фотографии рубежа XIX–XX столетий. То, что снимок бережно воспроизводит основные стилистические клише дореволюционной фотографии, вероятно, неслучайно. Не привлекая информации о конкретно-историческом контексте сделанного в Горьком снимка, с известной долей допущения можно предположить, что автор портрета 1966 года был коренным нижегородцем и принадлежал к фотографам с дореволюционной профессиональной социализацией.

Модель анализа содержания произведения искусства, дополняющего анализ его форм, предложил немецкий исследователь искусства Эрвин Панофски (1892–1968), самый значительный ученик гамбургского ученого А. Варбурга (1866–1929). Сам Э. Панофски называл себя психоисториком и исследователем культуры. Его подход представляет собой многофазный анализ, направленный на поэтапное движение от изучения структуры форм к структуре смысла изображений.

Первый этап, уровень или слой этого анализа – доиконографическое описание – нацелен на идентификацию на изображении отдельных предметов и событий. Вот как описывает его Панофски:

«Первоначальный, или естественный сюжет, подразделяемый на фактический и выраженный. Его осваивают, идентифицируя чистые формы, а именно некие конфигурации линий и цвета или некие своеобразно оформленные бронзовые или каменные предметы в качестве изображений естественных предметов, таких, как человеческие существа, животные, растения, дома, инструменты и так далее; идентифицируя их взаимоотношения как события; или воспринимая такие выраженные свойства как болезненный характер позы или жеста, или уютная и мирная атмосфера помещения. Мир чистых форм, которые таким образом познаются как носители первичных, или естественных значений, можно назвать миром художественных мотивов. Перечисление этих мотивов и есть доиконографическое описание произведения искусства» (PANOFSKY E., 210).

Второй этап – иконографический анализ – предполагает раскрытие «подлинного значения или содержания» – конкретного значения идентифицированных деталей изображения, запечатленных на нем тем и аллегорий. Он имеет своим объектом «вторичный, или обычный сюжет». В ходе этого анализа происходит следующее:

«...мы связываем художественные мотивы и комбинации худо-

жественных мотивов (композиции) с темами или концепциями. Мотивы, которые таким способом можно познать как носителей вторичного, или обычного значения, пусть называются образами (IMAGES), а комбинации таких образов... мы привыкли называть анекдотами (историями, фабулами) или аллегориями. Идентификация таких образов, анекдотов и аллегорий – это область того, что обычно обозначают термином “иконография” (там же).

Третий этап аналитической работы с изображением – иконологическая интерпретация – имеет целью расшифровку значений, репрезентации смыслов, неосознаваемых художником и якобы воплощающих дух времени или нации. Термин «иконология», впервые использованный в изданном в 1593 году лексиконе для расшифровки аллегорий «Iconologia» Ч. Рипа, изредка встречается – без теоретического обоснования – у А. Варбурга. «Подлинное содержание», по мнению Панофски, «...понимается, когда расшифровываются те основополагающие принципы, которые раскрывают базовые представления нации, эпохи, класса, религиозного или философского убеждения, модифицированное в личности и воплощенное в одном-единственном произведении искусства» (там же, 211). Панофски предложил пользоваться термином «иконология» применительно к комбинации иконографии с историческими, психологическими, критическими и прочими интерпретационными методами, определяя ее как «интерпретативно развернутую иконографию, которая тем самым станет интегральной составной частью искусствоведения, вместо того чтобы ограничиваться ролью подготовительного статистического обзора» (там же, 214).

В качестве инструментов трехфазного анализа произведений искусства Э. Панофски предложил практический опыт (на этапе доиконографического описания), знание литературных источников (на стадии иконографического анализа) и, на иконологическом уровне, сомнительную с научной точки зрения, почти мистическую «синтетическую интуицию (понимание существенных тенденций человеческого духа), воплощенную в личной психологии и “мировоззрении”» (там же, 223).

Создавая свою концепцию, Э. Панофски, по мнению английского историка культуры П. Берка, использовал сугубо немецкую традицию толкования текстов, распространив ее на изображения. Задолго до Панофски исследователь античной литературы Ф. Аст (1778–1841) разделял «слои» текста на грамматическую, историческую и культурную плоскости, последняя из которых якобы и содержит дух эпохи.

Иконология Э. Панофски прочно вошла в научный инструментарий обращения с изображениями несмотря на интенсивную критику предложенного им подхода. Предъявляемые к нему претен-

зии составляют внушительный перечень. К ним относятся, в первую очередь, невозможность перечисления присутствующих на изображении мотивов (доиконографического описания), свободного от их интерпретации; сомнительность гегельянского убеждения об отражении духа времени в произведении искусства; необоснованность веры в неперенное наличие аллегорических элементов на изображении; отсутствие в его модели социально-исторического измерения конкретной эпохи и равнодушие к общественному контексту создания произведения искусства; наконец, умозрительность выстраиваемых им причинно-следственных связей, которые не находят подтверждения в источниках. «Короче говоря, специфический метод интерпретации изображений, который был развит в начале XX века, можно подвергнуть критике в двояком отношении: с одной стороны, он слишком точен и узок, с другой – слишком произволен» (Burke P., 48). Симптоматично, что сам теоретик иконологии со временем усомнился в возможности практического применения своей концепции. В конце жизни он якобы заявил: «Долой его [понятие “иконология”], оно нам больше не нужно» (цит. по: Roesck B., 49).

Тем не менее, не только сторонники, но и критики иконологии Э. Панофски, в том числе историки, призывают не игнорировать его подход, а критически применять, дополняя иными методиками. Задача иконологии видится им в ограничении и вместе с тем усложнении постановки вопросов: вместо поиска пресловутого «духа времени» исследователь должен сосредоточиться на изучении с помощью изображений следов менталитета и эмоций людей прошлого, отраженных в способах репрезентации, в мимике и жестах изображенных персон.

Применительно к детскому портрету из Горького доиконографическое описание, задачи которого в целом совпадают с назначением исследования материальной культуры, в общих чертах исчерпано на предыдущих страницах. Второй и третий этапы иконографии и иконологии, которые одни исследователи различают, другие же используют как синонимы, затруднены без привлечения данных о конкретно-историческом контексте создания этого снимка. И все же некоторые дополнительные гипотезы на основе иконографического описания возможны.

Так, мальчик снят в позе, близкой к многократно зафиксированному в изобразительном искусстве языку тела европейской элиты. Аристократическая телесность опиралась на концепцию *vir gravis* (дословно – человек / мужчина величественный, притягательный, красивый), которая была известна еще во времена античности и, начиная с эпохи Возрождения, требовала избегать в поведении крайностей и соблюдать правила умеренности, внушающей почтительный трепет. К характерным телесным признакам при-

дворной мужской цивилизованности итальянского и французского происхождения относились правильная осанка и хореографически выворотные стопы; вызывающе отставленные локти, оберегающие пространство личной свободы, чести и достоинства; серьезность и сдержанность, сохранение дистанции по отношению к окружающему и контроль над эмоциями; задумчивый взгляд вдаль и легкая загадочная улыбка.

Телесное благородство, заимствованное у аристократии буржуазией в XIX веке, в первозданном виде воспроизведено на портрете 1966 года. Вряд ли советские заказчик и исполнитель фотографии задумывались над происхождением инсценированного ими языка тела ребенка. Возможно, они испугались бы, если бы могли предположить, что их вкусы «буржуазны». Неосознанные ими значения – остатки знания из прежних эпох – применены на фотопортрете, скорее всего, орнаментально, потому что «так положено». Тем ценнее это нечаянное свидетельство того, насколько прочно вошло представление о благородной телесности совсем не советского происхождения и содержания в советский иконографический портретный репертуар.

«Столько труда – и такая ерунда?!» – вправе воскликнуть читатель, воспользовавшись репликой персонажа российской компьютерной игры. Что ж, такова участь исследователя: выдвигать гипотезы и проверять их, опробовать наличные концепции и методы и изобретать собственные – с риском получить мизерный результат или же остаться без такового. Иконографические подходы в данном случае, действительно, «работают» не очень эффективно. И все же они не безнадежны. Несмотря на кажущуюся немногословность визуального объекта, анализ форм и содержания, сосредоточенный на самом изображении, позволяет сделать предположения – пусть умозрительные – о культурных предпочтениях заказчика и создателя изображения, об их намерениях и эстетической программе.

### Первый круг: начало «раскопок»



Мне пока неизвестно, как надолго затянется проект и какие неожиданные повороты он сулит. Однако уже первые интервью с родителями 6 и 7 января 2005 года вселяют беспокойство. Помимо того, что я не владею техникой интервьюирования, становится ясно, что о своих родителях они знают очень мало, особенно мама. Мне известно, что опрос близких родственников считается невыгодным предприятием, поскольку многие детали своей жизни интервьюируемые опускают как нечто общеизвестное, и я пока не представляю себе, как преодолеть эту сложность. Вместе с тем я не без смущения выясняю, что и мне-то самому о родителях моих родителей почти ничего

не ведомо, особенно о догорьковском периоде Хазановых. М-да, труд предстоит немалый, и одними интервью тут явно не обойтись...

Попутно обнаруживается, что родители следуют существенно различающимся стратегиям автобиографического рассказа. Папа выстраивает его как цепь случайностей, перемежая изложение событий жизни не очень оптимистическими стихотворными строками собственного производства. В его повествовании большое место занимают материальные тяготы предвоенного и военного детства и отрочества: хроническое безденежье и недоедание, связанные с шатким положением его матери – дочери священника – и усугубленные разводом родителей в 30-е годы. Мамин же рассказ выстраивается линейно, вдоль биографических дат – вех успеха: счастливое детство и домашнее благополучие, ступеньки карьеры, награды, которые она мне попутно демонстрирует. Нужно будет подумать о том, как выбранная для повествования структура воздействует на его содержание.

«7 января. Около 20 вечера – звонок В. Гречухина. Потерял и нашел мою телеграмму. Спросил отца (голос не изменился с детства)».

В тот вечер раздался неожиданный звонок, который меня взволновал и обрадовал, как добрый знак, словно бы подтверждающий, что с моим проектом все получится. С Володей Гречухиным мы не виделись с лета 1980 года, а по телефону последний раз говорили и июне 1989-го, после защиты моей кандидатской. Несколько раз, начиная с конца 90-х, приезжая в Дзержинск к родственникам, я навещал дом 19а на улице Минина, но Володю застать не мог. Старых жильцов в нем не осталось, и помочь мне в его поисках было некому. Наконец, летом 2004 года я получил в столе справок на Нижневолжской набережной его адрес, но поленился ехать наобум в новый, отдаленный район с риском никого не застать. В справке значилась дата его рождения – начало августа, всего-то через пару недель, – и я решил отправить ему из Челябинска поздравительную телеграмму и сообщить свои координаты. Конечно, шанс, что Володя откликнется после стольких лет обоюдного молчания, был невелик. И вот – почти через полгода после моей телеграммы – звонок. В трубке – незнакомый мужской голос:

– Это квартира Нарских?

– Да.

– Отца позови!

Я растерялся: круг обращающихся ко мне на «ты» вполне обозрим, а друзья моего отца знают, где его искать.

– Какого отца?

– Игоря Нарского.

– Это я.

– Надо же: у тебя совсем не изменился голос. Я думал, что говорю с твоим сыном. Это я, Володя Гречухин.

Вот это радость, вот это удача! Через десять дней я соби­рался отправиться в Москву, Дзержинск и Нижний Новгород, чтобы начать поиски по проекту. Володю нужно было разыскать непременно. И вот он сам нашелся. Мы договорились о скорой встрече.

Конечно, во мне пел не только «охотничий» азарт, извест­ный любому исследователю в преддверии важной находки. Эта буду­щая встреча была мне по-человечески дорога, я о ней давно мечтал. Возможно, в тот момент я мог ясно ощутить, что моя автобиографи­ческая затея эмоционально встряхнет меня, позволит наладить дав­но утраченные контакты, расспросить близких мне людей о том, о чем не решался прежде; рассказать о том, для чего раньше не пред­ставлялось возможности.

Утром 16 января 2005 года я вылетел в Москву. Командиров­ка была оформлена всего на десять дней, а сделать предполагалось очень много. У меня непростые отношения со «столицей нашей Родины». Каждый раз, отправляясь туда, я стараюсь эмоционально и даже физически перегруппироваться, как перед сложным и небезопасным прыжком. С Москвой связано много событий и переживаний совер­шенно разного свойства. Я много и успешно работал в московских архивах и защитил там первую диссертацию. Я с радостью встре­чался и встречаюсь с москвичами – родственниками, коллегами, зна­комыми, некоторых из которых, к сожалению, уже нет в живых. Но там пережиты и тяжелые моменты, травмы и унижения, о которых не хочется вспоминать – в конце концов, два провала при поступлении в МГУ что-то да значат. И я с трудом переношу московскую толпу на улице и в метро, агрессивную и беспардонную, толкающуюся и наступающую на пятки. Представляю себе, насколько тесно и неуютно в ней иностранцу с ярко выраженным чувством физической дистан­ции, охраняющей индивидуальную свободу. В Москве я предпочитаю передвигаться на максимальной скорости, чтобы по возможности сократить неприятное время пребывания в людской гуще. После Моск­вы в любом крупном городе, где бы мне ни доводилось бывать, возникло ощущение, что люди не идут, а прогуливаются.

Итак, я в Москве. В моем распоряжении всего четыре дня, в которые нужно втиснуть массу дел и встреч. Пару последних лет я останавливаюсь у Агнии Стефановны Пухальской (1918 г. р.), вдовы Абрама Павловича Хазанова, племянника моего горьковского деда. По моим представлениям, у нее выраженная польская внеш­ность – правильные черты лица, короткая стрижка, ясные, светлые глаза, удлиненные, как у Евы Шиккульской. До сих пор видно, что в молодости она была очень хороша. Несмотря на преклонный воз­раст, Агния Стефановна живет одна – в квартале от дочери и ее мужа, вполне справляется с домашними заботами и возрастными пробле­мами, потоками политических и культурных новостей. У нее ясный



ум, живое чувство юмора и натренированная память: вот уже сорок лет она собирает сведения о родственниках по всем линиям, а в последние годы пишет книгу-хронику о своей семье, начиная с 1938-го, года своего замужества. Один год прошлого – одна объемная глава; работа движется к завершению. А. С. Пухальская ведет обширную электронную переписку, поддерживает контакты с многочисленными родственниками, в том числе в Польше, относительно много читает, но меньше, чем ей хотелось бы (подводят глаза), следит за газетной и телевизионной информацией.

В первый же день, с места в карьер, я прошу Агнию Стефановну рассказать о своей жизни (записываю на диктофон). Рассказывает она уверенно и связно, плотный нарратив давно продуман, оформлен и записан. Разглядывая мою детскую «парадную» фотографию 1966 года, с уверенностью констатирует, что это фото необычно: так тщательно детей в 60-х годах, по ее убеждению, не фотографировали.

Утром следующего дня я еду в гости к Валентину Валентиновичу Шелохаеву, научному руководителю моей кандидатской, наиболее знающему и опытному в международном масштабе эксперту по истории российского либерализма. Спокойный, ироничный Валентин Валентинович по традиции расспрашивает меня о рабочих и домашних делах, о маме, с которой он познакомился еще в мой аспирантский период. Я не решаюсь рассказать ему о новом проекте (пока и рассказывать-то не о чем) и жалею, что вот уже четыре года не был в архивах и пописываю статейки, пользуясь «консервами» – старыми наработками и неиспользованными архивными запасами. В. В. Шелохаев реагирует не сразу. Расспрашивает о родителях, восхищается моей мамой, которая до сих пор преподает классическую хореографию. «Смотри, – говорит он, – что значит внутреннее напряжение, внутренняя энергия, одухотворенность. У нее не может быть тусклого взгляда. Можешь себе представить, что ей с утра до вечера все противно?» И, помолчав, добавляет: «Ты прав: если не работать в архивах и прыгать с темы на тему, начнешь питаться тухлятиной».

17–19 января были перенасыщены бегом и встречами. От усталости у меня вышибло из памяти PIN-код сотового телефона. После трех неверных комбинаций в поезде, перед отправлением в Дзержинск, я остался без мобильной связи.

Ранним утром 20 января прибыл на место назначения. Первоначально предполагалось, что я остановлюсь у двоюродной сестры Тани. Однако тетя Мира, которая только что выписалась из больницы, настояла, чтобы я перебрался к ней. Наскоро приведя себя в порядок, поехал в Государственный архив Нижегородской области. Водитель такси (маршрут от железнодорожного вокзала до архива был мне неизвестен), маленький, кругленький брюнет с певучим

средне-волжским говором, оказался в недавнем прошлом жильцом дома номер 19 по улице Минина, соседствовавшего с западной стороны с домом, в котором я провел в детстве столько летних сезонов...

В архив я приехал во время обеденного перерыва. Строгая седая дежурная со стрижкой 20-х годов – довольно распространенный тип привратницы провинциальных архивохранилищ, – выждав положенное время, звонит директору и отчитывает его за то, что он затянул обед на пять минут. В кабинете добродушного Виктора Алексеевича Харламова, который чаевничает с посетительницей, мне дается разрешение на работу с архивными документами и одобряется мой интерес к нижегородской фотографии (из тактических соображений тема исследования была сформулирована в официальном письме предельно нейтрально – «Семейная фотография как исторический источник»). Виктор Алексеевич рекомендует поработать также в расположенном в этом же здании архиве визуальной документации и непременно посетить музей фотографии. В этой связи я впервые слышу имена знаменитых нижегородских фотографов – А. О. Карелина и М. П. Дмитриева. Внутренне ликую: длительная фотографическая традиция Нижнего Новгорода прекрасно работает на мой проект. Свою постыдную неосведомленность лучше не показывать.

Заведующая читальным залом Галина Алексеевна Деминова, строгая симпатичная светловолосая женщина в очках, помогает мне сориентироваться в описях («Вы умеете работать с описями?» – спрашивает она, это меня-то!). Она советует обратиться к местному фотоведу М. М. Хореву, который пока, к сожалению, находится в больнице, и проводит меня на третий этаж, где представляет директору и сотрудникам архива визуальной документации. Юрий Николаевич Замахин любезно соглашается допустить меня к фотографиям без официального письма, на основании личного заявления, а начальница отдела использования Светлана Юрьевна Пожарская и главный специалист по использованию фотодокументов Светлана радушно принимают иногороднего гостя. Заказав несколько дел, я покидаю архив в приподнятом настроении. Как бы в подтверждение ожидающей меня удачи в городском транспорте мне выпадает счастливый билет – номер 406631.

Как и следовало ожидать, с наскака в архивах удалось найти лишь крохи; и ничего – о советских фотографах. Мой улов ограничился несколькими выписками из документов канцелярии нижегородского губернатора, знакомством с фотоальбомами о Карелине и Дмитриеве да полудюжиной скопированных типовых фотопортретов работы Дмитриева. Самое интересное и неожиданное обнаружилось за пределами архивохранилищ.

21 января я отправился в Нижний Новгород на поиски «Фотографии № 1». Они оказались тщетными. Мало того, что в реаль-

ности ателье находилось в другом здании, чем отложилось в моей памяти (и действительно на втором этаже, как и привиделось мне во сне, а не на первом!): его больше не существовало. Как я узнал в Русском музее фотографии, расположенном в нескольких сотнях метров от бывшего фотоателье, оно разорилось и закрылось совсем недавно, весной 2004 года. Помещение закрыто на ремонт, после чего в нем будет открыт магазин. В удрученном настроении я бродил по музею, на всякий случай делая в дневнике пометки о дореволюционных фотографах. При выходе из музея я наткнулся на крошечный фотосалон, а в нем – на кресло-ножницы, отдаленно напоминавшее то, из 1966 года. Вот тогда-то фотограф Виктор Бугаев, молодой, с залысынами и трехмиллиметровой растительностью на голове и лице, и провел фотосессию, результатом которой стало фото для задней обложки этой книги.

Более обнадеживающим оказалось знакомство с хранительницей музея фотографии Ольгой Ивановной Симоновой, миловидной приветливой женщиной средних лет. После того как я в общих чертах описал свой замысел, она любезно предложила оставить ей копию детской фотографии. 24 января она назвала мне имена пожилых фотографов, в 60-х годах работавших в «Фотографии № 1», – Староверов, Азизов, Иванов, Сидоров. Никого из них, естественно, давно нет в живых. Накануне моего отъезда в Москву (затем в Челябинск) Ольга Ивановна дополнила этот список. По словам местного потомственного фотографа В. С. Флягина, отец которого когда-то работал с М. П. Дмитриевым, в фотоателье на улице Свердлова, 4 служили еще два фотографа – Глинков и Голованов. Флягин высказал предположение, что последний мог быть автором моей фотографии. В 60-х годах он был пенсионером, но подрабатывал в «Фотографии № 1». От Ольги Ивановны же я узнал, что в здании советского фотоателье до революции действовало фотозаведение, принадлежавшее М. Н. Гагаеву. К тому периоду относился и старинный интерьер ателье, национализированный вместе с заведением.

21–24 января была проведена серия интервью с тетей Мирой. Помнит она значительно больше своей младшей сестры, особенно, конечно, о 20–30-х годах, о времени до переезда ее родителей в Горький. Рассказывает она с литературным изяществом, отличающим страстных любителей книги. Ей хотелось бы сохранить воспоминания для внуков. Она сетует, что, попытавшись рассказать о своей жизни внучке Ирине, натолкнулась на дефицит понимания и интереса.

22 января по предварительной договоренности с Володей Гречухиным я приехал в Нижний Новгород, на улицу Минина. Соседний дом разрушен, с западной стороны вплотную к дому моего детства возводится многоэтажный монстр, восточный забор сломан. В заснеженном дворе серо, голо, глаз режут приметы запустения. А вот и Во-

лодя – абсолютно узнаваемый, только узкое лицо стало жестче, да седоватые усы выдают возраст. Обнялись. «Вот уж не гадал, что встретимся. Думал, ты давно в Израиле», – с ходу огорошивает меня Володя.

Через час мы у него дома. Когда я снимаю шапку, Володя аж вздрагивает: «Где твоя шевелюра?!» Знакомлюсь с его женой Натальей, миниатюрной, симпатичной, словоохотливой женщиной нашего возраста. За праздничным столом, с периодическим включением диктофона, мы просидели с полудня почти до трех часов ночи. Пьем умеренно, курим нещадно, рассказываем друг другу, как жили последнюю четверть века. Вспоминаем детство и дорогих нам покойников. Как водится, показываем друг другу фотографии. У Володи, унаследовавшего от своего деда страсть к фотографированию, их бесчисленное множество. Доминируют армейские и ранние семейные фото того времени, когда дочь Светлана была маленькой. Я показываю свежие домашние фотографии, сожалея о том, что не привез детские, из Горького, в том числе те, на которых мы с Володей запечатлены вместе.

Улучив удобный момент, при выключенном диктофоне, спрашиваю, что за кошка пробежала между его и моим дедами, почему мы почти не бывали в гостях друг у друга. «Ведь твой дед был по снабжению? – спрашивает Володя, сопровождая вопрос пантомимой, которая должна мне объяснить, что для него значит “снабженческая линия”: с хитрым выражением лица алчно потирает руки. – Вот тебе и ответ на все вопросы!»

Вероятно, на моем лице нарисовалось столь явное изумление, что Володя, слегка смутившись, добавляет: «Дед не любил евреев».

У Володи цепкая память. Он помнит, как звали многих соседей по нашему дому, мальчишек из соседних дворов, с которыми я мало общался. Рассказывает о прошлом, в том числе дореволюционном, дедушки Леонида Ивановича Гречухина и бабушки Галины (Агафьи) Евдокимовны Лелюхиной – эту информацию собирал старший брат Володиного отца.

На следующее утро мы сидим в городской бане, в парилке с печью размером с кремационную топку концлагеря. Приходит отец Володи, Валерий Леонидович, которого я не видел более тридцати лет, постаревший, но еще крепкий мужчина. «Он тебе никого не напоминает? – спрашивает Володя, кивая в мою сторону. Конечно, подразумевается мой дедушка Б. Я. Хазанов. «Да, похож», – отвечает тот. От него я узнаю некоторые детали о его родителях, а также дворовые эпизоды из его детства, из 40-х, в том числе и такой: дети дурачатся и шумят во дворе, на балконе появляется Нина Яковлевна Хазанова и требует тишины – Борис Яковлевич составляет квартальный отчет.

24 января, под утро, в полусне, я ясно вижу залитую солнцем восточную сторону двора, полянку рядом с зарослями сирени,

где мы встречались с другом. Маленький Володя говорит мне, звонко щелкая себя пальцем по уху: «Твой дед... лопух!» Господи, я ведь в детстве никак не реагировал на его едкие реплики в адрес моего деда. Неужели я ему подыгрывал?! Просыпаюсь в холодном поту, с острым чувством стыда...

Вечером 25 января я отправляюсь в гости к двоюродной сестре Тане, у которой собрались дети – Ирина, ее муж Женя и их сын Валерочка. После ужина я записываю автобиографические воспоминания Татьяны. Когда я спрашиваю ее про деда, она изумляется: зачем рассказывать, если есть документы! Вот это да – передо мной выкладываются коллективные фотографии выпуска Быховского городского училища 1913 года, солдат Первой мировой войны за 1915 год, сотрудников Полесского спиротреста, снятых в 1923 году, акционерного общества «Сырье» за 1927-й...

В моем дневнике за 25 января 2005 года, помимо прочего, есть запись: «! Целый архив (черная папка с тисненными фамилией и инициалами)! Документы с 1907 г. Вернуться и подумать об иллюстрациях!» Папка, которую дед показывал мне в детстве и которую после смерти бабушки я считал пропавшей, цела и невредима! В тот момент я еще не понимал, что ее роль в проекте будет не только иллюстративной.

На следующий, последний в Дзержинске день я судорожно переписываю биографические данные из именной папки Б. Я. Хазанова: личные документы, отрывки интервью с ним в газете 1922 года. Перед самым отъездом в Москву, из которой мне на следующий день нужно лететь в Челябинск, я захожу к Тане, чтобы вернуть пару документов из дедовой папки. Меня ждет потрясающе щедрый сюрприз: «Забирай ее, – говорит сестренка, – хоть будет толк, а то лежит без дела».

Я начинаю понимать, что реализовать проект будет сложнее, чем я мог предположить, что мне еще, может быть, не раз предстоит приехать в Дзержинск и Нижний Новгород – ведь фотографа из 1966 года я так и не нашел. Но его поиски придется отложить на несколько месяцев. Впереди – долгое пребывание в Германии.

### Домашний уклад



...Мальчик точно знает, что он любим. Хотя он бывает неслышным, Бабушка и Дедушка как-то справляются с его упрямством и обидчивостью. Это – терпение, продиктованное любовью. Никто, к счастью, не додумался спросить Мальчика, кого он больше любит, Бабушку или Дедушку. Такой вопрос привел бы его в замешательство. Он очень любит обоих. Но в глубине души чувствует, что Дедушка для него важнее. Возможно, раньше, когда Дедушка работал и Мальчик почти все время проводил с Бабушкой, было иначе. Но ему кажется, что к Дедушке он всегда был более привязан.

В воскресенье утром Мальчик просыпается раньше обычного, чтобы первым делом юркнуть к Дедушке – не к Бабушке! – под одеяло и понежиться в его теплой постели. От Дедушки исходит легкий, чуть сладковатый и очень родной запах – такой родной, что становится странно тепло и щекотно в груди. Когда-то жгучий брюнет с густой шевелюрой и синевой на щеках от быстро пробивающейся щетины, Дедушка теперь совершенно безволос, только на темени в последнее время стал пробиваться тонкий светлый пушок. Лицо его абсолютно голо – ни бровей, ни ресниц, ни колючести на щеках.

Бабушка рассказывала, что, когда они поженились, Дедушка страдал частыми тяжелыми ангинами. От одной из них он чуть не умер. И тогда врач-немец прописал ему бо лимонов, которые он должен был съесть в течение десяти дней (об этом было так странно слышать в СССР 1960-х, а особенно 70–80-х годов, когда провинциальные продуктовые магазины стали пустеть и в конце концов перешли на карточки, а лимоны радовали покупателя только к Новому году). Больше Дедушка никогда не болел ангиной. Но стал тяжелым аллергиком, не переносил йод, пирамидон, еще какие-то медикаменты. Начали очень болезненно воспаляться кожа на голове и лице, отекают веки. На месте воспалений образовывались корочки, которые затем отпадали вместе с волосами. Болезнь усилилась в 40-х годах, а в начале 50-х он совсем облысел. Куда только ни обращались – вплоть до Москвы – чтобы избавиться от мучительного недуга. Ничего не помогало, пока горьковский профессор С. Н. Соринсон не сделал Дедушке инъекцию вакцины – вытяжки из его же миндалин. И все прошло.

Лысым быть нехорошо, смешно и стыдно. Про лысого Хрущева рассказывают анекдоты. Лысых дразнят дети. Мальчик сам как-то в Челябинске, в детском саду, вместе с товарищами показывал пальцем на прохожего и кричал «Лысый! Лысый!» Мальчик боится когда-нибудь облысеть. Но Дедушку ему жалко. Внук утешает его тем, что, во-первых, не нужно бриться, а во-вторых, волосы на голове еще отрастут – ведь появился же на темени пушок, и Дедушка даже расчесывает его. Тот в ответ смеется.

У него добрые светло-карие глаза, крупный мясистый нос, тонковатые губы. Уголки рта часто подрагивают улыбкой. Тело его – холеное, чуть полноватое, но без выпирающего живота. У Дедушки ухоженные руки с очень мягкими ладонями, ровными пальцами и аккуратно подстриженными ногтями. Большой палец далеко отстоит от ладони, в точности как у Мальчика. Ростом он ниже многих взрослых (160 см), но внуку кажется очень высоким. Ходит Дедушка неторопливо, мелкими шажками, смешно, по-пингвиньи отставляя руки. Когда он под радостные команды и

аккомпанемент радиопередачи вместе с внуком делает утреннюю гимнастику, Мальчик видит, что Дедушка не спортсмен: отечные ноги, лишенные мужественного мышечного рельефа руки, осторожность в выполнении движений. Гладкая, без морщин, мраморно-белая кожа переходит в кирпично-коричневую на плотной шее, кистях рук и легко салящейся голове. Дедушка похож на доброго Крокодила, каким его рисуют в сказке К. И. Чуковского. Говорит он негромко, медленно и правильно, как диктор, тщательно подбирая слова. Он никогда не повышает голос, всегда сдержан и вежлив.

Бабушка – она другая. Она ниже Дедушки на полголовы (146 см), и Мальчик в семь лет ей уже по плечо. Если застать ее утром в постели, что бывает нечасто, у Мальчика перехватывает дыхание от неприятного запаха изо рта. Он помнит, как тяжело Бабушка болела, когда ему было три-четыре года. Иногда она не могла выдержать боль и начинала стонать. Как-то, лежа в постели после обеда, Мальчик увидел в дверной проем, как Бабушка упала без сознания в гостиной, возле буфета. Он очень испугался, вскочил, сел на нее верхом и стал тянуть за волосы, крича сквозь слезы: «Вставай! Вставай!»

У Бабушки – грустные серо-голубые глаза, печально приподнятые брови, аккуратный пухлый носик, бесцветная и безволосая бородавка над верхней губой. Она до сих пор подкрашивает губы, которые беззвучно шевелятся, повторяя сказанное собеседником, которого она внимательно слушает – признак начавшейся тугоухости. Крашенные светло-каштановые волосы всегда аккуратно уложены с помощью химической завивки. Бабушка – кругленькая, фигуристая, с ловкими, несмотря на подагрическую деформацию, пальчиками. Она стремительно передвигается на плотных, широко расставленных ножках. Хотя ей за 60, в ней много силы и энергии. Еще пару лет назад она не только несла с рынка сумки с продуктами, но и тащила на руках крупного, упитанного благодаря ее стараниям внука, если тот капризничал и отказывался идти. Говорит она с легким, певучим, неволжским акцентом, заменяя «ы» на «и»: вместо «рынок» она произносит «ринок», вместо «рыба» – «риба». Наверное, из-за этого ее фамилия отличается от фамилии брата: она, согласно заполнявшемуся на слух свидетельству о браке, в девичестве была Ривкиной, ее брат – генерал-майор и гордость семьи – имеет фамилию Рывкин. В дурном расположении духа Бабушка сопровождает отдельные слова исковерканными двойниками: «соль-шмоль», «сеledка-шмеледка», «сыр-шмыр». В отличие от Дедушки, она может и вспылить, и прикрикнуть, и наказать. Ей не хватает терпения, потому что у нее мало времени. Как и положено главе семьи, Дедушка дома отдыхает. Она – работает.

В пять часов утра, за редким исключением, Бабушка уже на ногах. Накануне она спрашивает домашних, чего бы такого вкус-

ненького они хотели завтра поесть. С самого утра у нее уже готова еда на весь день и прибрана квартира. Раз или два в неделю она ходит за продуктами на рынок, чаще на Мытный, чем на Сенной. Мясо, рыба, яйца, овощи, фрукты, ягоды, цветы покупаются только там. Молочные продукты – густую, цвета слоновой кости сметану и нежнейший творог – в дом привозит женщина из Заречья. По воскресеньям ранним утром Бабушка устраивает банный ритуал. Моется сама, за ней – Дедушка; последним она моет Мальчика. Он бы еще посидел в ванной, вдыхая терпкий запах березового дымка из печки, но Бабушка торопит. Вытирая густые, непослушные, подстриженные под полубокс черные волосы внука, она наклоняет его голову из стороны в сторону, чтобы в ушах не осталось воды, и нараспев приговаривает: «Туда солнце – туда дождь, туда солнце – туда дождь...» Пока Дедушка и Мальчик нежатся после ванной в постелях, она заканчивает домашние дела и накрывает на стол.

В доме царит культ еды, вокруг нее организован распорядок дня. Едят немного, но качественно. На завтрак – обязательно что-то горячее: гренки на молоке и яйце, вареные «в мешочек» деревянные яйца с ярко-оранжевым желтком, подаваемые на таких же оранжевых пластмассовых подставках, или плотный омлет на майонезе и молоке с докторской колбаской, или глазунья; свежий творог со сметаной и сахаром (Дедушка ест творог с маслом и солью), некрепкий сладкий чай с молоком (Дедушка любит очень горячий чай, иногда предпочитает просто забеленный молоком кипяток с тремя кусочками сахара).

Между завтраком и обедом, как только в середине июня на рынке появляется садовая клубника, Мальчик ежедневно получает порцию в 10–12 ягод, засыпанных сахаром, со стаканом прохладного молока.

В молодости, когда дочери жили вместе с родителями, полноценный, из четырех изысканных блюд, обед – главная трапеза дня – подавался после возвращения Дедушки с работы. Теперь он сдвинулся в зимний сезон на 16 часов. Летом, когда в Горьком гостит Мальчик, обедают еще раньше. Из всего Бабушкиного кулинарного великолепия капризный в еде Мальчик предпочитает «холодный борщок» – окрошку на охлажденном свекольном отваре, сдобренном солью, сахаром и лимонной кислотой, – к которому подается вымоченная и обжаренная в масле вобла; упоминавшиеся выше телячьи или свиные котлетки с жареной картошечкой; телятину или курятину в кисло-сладком томатном соусе, подаваемую со свежей французской («городской») булкой. Если Дедушка работает, Бабушка кормит внука обедом и укладывает отдохнуть, а сама дожидается мужа. Мальчик каждый раз заявляет, что спать не будет, но, как правило, засыпает.



По окончании послеобеденного отдыха Мальчика ждет полдник: молоко или подсахаренный кефир, домашний компот или кисель из свежих ягод и фруктов или из прошлогодних законсервированных запасов. К столу подается собственная выпечка: свежие, еще теплые плюшки с корицей, песочное рассыпчатое печенье с пугающим Мальчика названием «утопленник» (тесто «доходит», завернутое в марлю, в ведре с водой, пока не всплывет), хрустящее печенье из теста, пропущенного через мясорубку, или обожаемые Мальчиком «минутки» – маленькие рассыпчатые шарики, склеенные черносмородиновым или вишневым вареньем из двух половинок. Бабушка умудряется катать в своих маленьких ладонях сразу по три шарика из жирного песочного теста, и они у нее никогда не слепляются.

Ужин, как и завтрак, не обилен, но разнообразен и качествен. Он завершается десертом из свежих ягод: клубники или земляники, смородины, вишни.

Устои в доме строги, но построены на взаимопонимании и любви. После трапезы Дедушка и Мальчик благодарят Бабушку. Внук, кроме того, должен спросить разрешения выйти из-за стола. На столе или в буфете всегда стоит выпечка, но, чтобы что-то взять, тоже нужно получить позволение. Отказа никогда не последует, но спросить надо.

По приходе домой первым делом нужно помыть руки: в доме ценят не только вкусную пищу, но и чистоту. Полы всегда вымыты, постельное белье – безукоризненно чисто и накрахмалено, одежда – в полном порядке. Бабушка гладит простыни, пододеяльники и наволочки по старинке, не утюгом, а длинным ребристым рубелем, с грохотом катающим тяжелую скалку с намотанным на него бельем.

Бабушка мастерски шьет на старинной, с дореволюционным стажем, машинке «Зингер», все ее платья – собственного изготовления. Вышивать она, правда, перестала: нет времени и былого увлечения, да и руки уже не те.

После еды, поблагодарив Бабушку, Дедушка пересаживается на стул у окна гостиной, поближе к свету, или уходит на балкон и закрывается газетой. Читает он не быстро, но внимательно и тщательно, от первой строчки до последней: «Правду», «Известия», «Горьковский рабочий», «Советский спорт». Он искренне верит прочитанному, которым изредка делится с Бабушкой, но предпочитает этого не делать. В противном случае начинаются непонятные Мальчику разговоры с постепенно повышающейся тональностью. «Ай, не морочь мне голову своими коммунистами!» – в сердцах ставит точку в диалоге Бабушка, демонстративно удаляясь на кухню.

Бабушка не читает газет: ей некогда и неинтересно. Перед сном и в свободную минутку она предпочитает отдохнуть за сентиментальным любовным романом или посмотреть художественный

фильм. Бабушка романтична и очень чувствительна. Она трепетно сопереживает героям книг и кинофильмов. Она не может выдержать сцену фильма с намеком на насилие, ее возмущает поведение отрицательных персонажей, которых она вслух порицает. Трагические сцены заставляют ее в слезах уходить на кухню. Тогда Дедушка идет следом за ней и утешает, гладя по плечу: «Ну, Нина, ну что ты...»

Их предпочтения расходятся не только в отношении советской власти и круга чтения. Бабушка любит ходить в театр, Дедушка – нет; она с удовольствием принимает гостей и ходит в гости, для него это – сущее мучение; она охотно организует пикники на природе, он не принимает в них участия.

Но в остальном их жизнь течет в полном согласии. Она называет его Борисом и Бонечкой, он ее – Ниной и Ниночкой. Они часто нежно прикасаются друг к другу, гладят друг дружку по плечу, целуют в щеку. Когда Бабушка, проходя мимо Дедушки, похлопывает его ниже спины – из нежности или чтоб он не преграждал один из ее маршрутов по квартире, – он неизменно говорит в ответ: «Войдите!» И оба смеются. Перед сном они на прощанье целуются, и Дедушка почему-то каждый раз говорит жене: «Спасибо тебе, Нина!»

Они почти не ссорятся. Единственный раз Мальчик стал свидетелем размолвки, которая его потрясла. С чего все началось, он не знает. Бабушка назвала Дедушку каким-то нерусским словом, вышла из-за стола и хлопнула входной дверью. Дедушка, с покрасневшим и окаменевшим лицом, крикнул ей вдогонку: «Базарная баба!» Потом он сокрушенно ушел на кухню, где они с Мальчиком мыли посуду и чистили картошку к ужину. Вскоре Бабушка вернулась домой, как ни в чем не бывало, и мир восстановился.

Их семейный уклад продуман до мелочей, тщательно организован и наполнен ритуалами. Периодически они отправляются в кремль, в доступную гражданам «обкомовскую» столовую или, реже, в ресторан «Россия» на Верхневолжской набережной, чтобы Бабушка передохнула от хлопот по дому. По вечерам они часто гуляют на Откосе, завершая прогулку в кафе-мороженом под кремлевской стеной или в кафе «Чайка», где такое вкусное ванильное мороженое, каким Мальчику больше нигде не доводилось лакомиться.

Бабушка умеет все обставить красиво, основательно и значительно, превращая прогулку по городу или Откосу в полноценное путешествие. Так было и раньше, когда девочки их старшей дочери, Мирочки, были маленькими. Бабушка отправлялась, например, с Наташей на трамвае на конечную остановку, где на траве расстилала покрывало и доставала бутерброды из неизменной плетеной корзинки с малиновой кожаной крышкой и овальным латунным замком. После «пикника» они шли в сосисочную, кафе, кино или на набережную. Вот и ее прогулки с внуком столь же основательны. Дедушка

тоже часто бывает с Мальчиком на Откосе, где они кормят засохшим хлебом воробьев. Голубей отгоняют: Дедушка не любит этих наглых прожорливых птиц.

Дедушка и Бабушка боготворят Мальчика. Для них он – самый умный, красивенький, вежливый, одаренный музыкальным слухом и чувством юмора. Его нужно хорошо «питать», ему надо расти и быть здоровым. На косяке дверного проема из гостиной в коридор они уже несколько лет с удовлетворением отмечают ручкой или химическим карандашом его рост в начале и конце пребывания в Горьком. «Бабушка, ты кормишь меня, как на убой», – с лукавым прищуром шутит Мальчик. Старики беззвучно хохочут.

Они очень гордятся, что растят его здоровым и хорошо развитым: что вовремя обратились к специалистам, когда Мальчик вставал и разговаривал во сне или когда врачи обнаружили у него ослабленные голеностопные суставы. Родители бы обязательно проглядели, считают Бабушка и Дедушка: им некогда уделять внимание ребенку, они вечно в работе.

Они воспитывают Мальчика исподволь, незаметно, без нажима. Прежде чем Мальчик съест любимый десерт, викторию с молоком, Бабушка предлагает ему угостить Дедушку, а тот – Бабушку: самую аппетитную ягоду Мальчик приучен отдавать близким. Разговаривая с ним один на один, Бабушка и Дедушка ставят друг друга в пример. Бабушка все – будь то собственный опыт или проказы внука – облекает в форму настоящих историй, рассказываемых от третьего лица. Дедушка, напротив, приписывает себе вымышленные происшествия. Его рассказы об участии в «германской войне» напоминают прозу раннего Льва Толстого. Но Мальчик еще не читал русских литературных классиков, и Дедушка для него – непререкаемый авторитет, которого он слушает, открыв рот, затаив дыхание, впитывая каждое слово.

Оба читают Мальчику книги – перед дневным сном и на ночь. Дедушка что-то с увлечением перечитывает или пересказывает внуку из газет. Но интереснее всего бывает, когда они достают коробки и пакеты с фотографиями, или Дедушка показывает заветное содержимое среднего буфетного ящика. Мальчик с любопытством разглядывает фото, на которых множество незнакомых ему людей, совсем молодые Бабушка и Дедушка, их маленькие Мирочка и Тамарочка; ветхие Дедушкины документы с «ерами» и «ятями» в черной папке с завязками; массивные испорченные золотые часы с двойной крышкой, серебряные полтинники и рубли с изображениями рабочего и крестьянина.

Среди снимков есть один, который пугает Мальчика. Это большая коллективная фотография. На ней изображены десятки людей, сгруппированных в несколько рядов. Лица мелкие, с ноготок, но

очень четкие. С десяток из них старательно стерты ластиком: вместо голов над плечами возвышается серое шершавое пятно вроде мохнатого воздушного шара. От их вида у Мальчика по спине пробегает нервная дрожь. Дедушка и Бабушка делают вид, что не слышат его вопроса о том, кто это. Много позже он узнает, что это были Дедушкины сотрудники в Балахне, объявленные в 1937 году «врагами народа». Но это будет позже.

А пока все иначе. Мальчику хорошо в Горьком. Он растет в атмосфере внимания и любви. Его переполняет восторженное чувство свободы. Он верит, что так будет всегда. Мальчик не сомневается, что Бабушку и Дедушку все должны любить.

## Хазановы



...Горьковчанами они стали только в 1940 году. Летом 1966-го они пожилые люди: Дедушке, по документам, уже за 70, Бабушке – 64. С момента женитьбы почти 45 лет у них общая фамилия – Хазановы.

Согласно всем документам Борис Яковлевич Хазанов [1894(?)– 1979] родился 7 (20) сентября 1894 года в городе Быхове Могилевской губернии в семье меламеда (школьного учителя) Якова Павловича Хазанова (1859–1933) и его жены Ханы (в девичестве Воловой, 1856–1939). Кроме него, в семье было четверо детей: Павел (1888–1941), Голда (1890–1941), Абрам (?–1915) и Сара (1898–1985). С 1907-го по 1909 год Борис учился в церковно-приходской школе, с 1909-го по 1913-й – в Быховском городском училище, получив, таким образом, полноценное среднее образование (второго разряда – в терминологии того времени). Его школьные успехи – помимо отличного поведения – были весьма скромны: за исключением чистописания, по которому в его аттестате значится хорошая отметка, итоги по всем предметам – удовлетворительные.

Его служебная карьера более успешна. По его словам, он никогда не был просто бухгалтером, а сразу начал с должности главного бухгалтера. Согласно данным трудового списка 1929 года и трудовой книжки, выписанной в 1939 году, 1 сентября 1913 года он получил место главного бухгалтера лаковой и металлической фабрики Школьниковова и Половца, входившей в состав Южно-Русского общества. В середине января 1915 года был призван на воинскую службу в действующую армию и окончил ее тремя годами позже в звании ефрейтора.

В январе 1918 года Хазанов стал главным бухгалтером Быховской продовольственной управы, с перерывом на четыре месяца, в течение которых он был безработным из-за оккупации Быхова поляками. В начале 1919 года устроился бухгалтером на чугунолитейный и механический завод «Двигатель», где в то время работал его старший брат Павел.

Частая смена мест работы Б. Я. Хазанова в 20-х годах, вопреки превосходным отзывам о его деловых и личных качествах, отражает хаотичное состояние управления советской промышленностью. В июне 1920 года он был переведен в Губметалл Гомельского совета народного хозяйства, откуда в конце 1921-го вновь перемещен ввиду ликвидации Губметалла. Прослужив полгода инструктором-контролером финансово-счетного отдела Гомельского губсовнархоза, Хазанов был откомандирован главным бухгалтером в Полесский спиртовой трест Гомельского ГСНХ. Там он проработал два года, по июню 1924-го, до ликвидации и этой организации. Затем последовала служба главным бухгалтером в различных и перманентно реорганизуемых учреждениях: полгода – в объединении «Гомспирт» ГСНХ, три месяца – на государственном химическом заводе «Красный химик» в Новобелице, девять месяцев – в районном отделении Центрального акционерного торгового общества, полтора года – в Западном отделении акционерного общества «Сырье».

В июне 1927 года Б. Я. Хазанов сдал дела и был уволен в связи со слиянием акционерного общества с Госторгом РСФСР. С этого момента его карьера была связана с советской энергетикой и постепенно пошла в гору. Он работал бухгалтером на Осиновских торфоразработках (с июня 1927 года); бухгалтером (с августа 1929-го), помощником главного бухгалтера (с декабря 1929-го), исполняющим должность главного бухгалтера (с мая 1930-го), главным бухгалтером (с ноября 1930-го) Осинстроя, строившего Первую белорусскую электростанцию.

Когда и эта организация была ликвидирована, Хазанова в той же должности откомандировали на Первую Белгрэс (март 1931 года), затем – в Белэнерго (июнь 1931-го), где он совмещал должности главного бухгалтера, начальника сектора учета и отчетности и заведующего сектором финансов и сбыта (сентябрь 1931 года).

В связи с ликвидацией Белэнерго в мае 1933 года Б. Я. Хазанов поступил в распоряжение Главэнерго. Оттуда-то его и направили в Балахну Горьковского края (вскоре – области). На новом месте он начинал заведующим финотделом Гогрэса, затем стал начальником планово-производственного отдела (июль 1933 года) и, наконец, главным бухгалтером Горьковского энергокомбината, реорганизованного в районное управление Горэнерго (декабрь 1936 года). В начале 1940 года он с семьей переехал в Горький (старшая дочь осталась в Балахне оканчивать учебу в средней школе). Хазановы получили квартиру на улице Красного милиционера (Ошарская), а в 1948 году переехали на улицу Минина.

Для них наступило долгожданное время стабильности. В должности главного бухгалтера Б. Я. Хазанов трудился почти 30 лет, до выхода на пенсию в августе 1965 года. Работа в Горэнерго стала

апогеем его служебного успеха. В 50-х годах в его подчинении находились две дюжины бухгалтеров с объектов, входивших в энергосистему.

Благодаря документам, которые Б. Я. Хазанов тщательно собирал, – аттестатам, удостоверениям, характеристикам, справкам и пр. – известны и другие детали его биографии. Свидетельство о приписке к призывному участку от 11 декабря 1914 года содержит описание внешности молодого Б. Хазанова: рост средний, волосы и брови темно-русые, глаза карие, нос, рот и подбородок обыкновенные, лицо чистое, особых примет нет.

Призванный в армию, он служил первые месяцы 1915 года в 169-м запасном пехотном полку в Козлове Смоленской губернии. Затем, с апреля 1915-го по август 1917 года, был рядовым 5-й инженерной дружины, квартировавшей в Проскурове на Юго-Западном фронте; в 1917 году участвовал в наступлении русской армии и под Лембергом (Львовом) был ранен в бедро, за что получил солдатский Георгиевский крест. Осенью 1917 года Б. Хазанов состоял писарским учеником в управлении воинского начальника, а в ноябре того же года получил двухмесячный отпуск по болезни, который затем был продлен до 1 марта 1918 года.

Судя по отзывам начальства, он обладал неординарными организаторскими способностями и профессиональными навыками. Вот несколько выдержек из его характеристик за разные годы.

«Настоящим Продовольственная Управа свидетельствует, что предьявитель сего Б. Я. Хазанов состоял на службе в сей Управе главным бухгалтером и за все время своей службы Хазанов был безукоризненно честного поведения и возложенные на него обязанности исполнял с усердием и аккуратностью к полному нашему удовлетворению, причем выказал полное знание и умение дела» (10.05.1918).

«За все свое время службы в Тресте тов. Хазанов, будучи высококвалифицированным работником, зарекомендовал себя с наилучшей стороны, как весьма опытный Главный Бухгалтер, обладающий организационными способностями и сумевший с успехом справиться с возложенными на него задачами постановки бухгалтерии Треста на должную высоту, устранив все те недочеты, имевшие место при его предшественниках. <...>

Благодаря такту и товарищескому отношению тов. Хазанову удалось тесно спаять работников бухгалтерии и вовлечь их в работу, создав твердый кадр сознательных работников» (30.01.1924).

«В данное время, с организацией Западного Областного Отделения (Акционерного сырьевого общества “Сырье” – И. Н.)

тов. Хазанов работает в качестве Главбуха в названном отделе. В Гомельском Отделении поставил прекрасно дело.

Делу был предан, не жалея ни труда, ни времени, как Главбух западного Отделения вполне соответствует; в коммерческой деятельности хорошо ориентируется. Политически довольно хорошо развит, предан Соввласти. Может быть выдвинут безошибочно в качестве Заместителя Управляющего Областным отделением, так как в этом деле хорошо разбирается» (16.02.1926).

«Тов. Хазанов организовал и поставил хорошо бухгалтерски свое дело, как в первом Отделении, так и во втором.

В работе проявил огромную настойчивость и умение в деле приведения в должное состояние бухгалтерии, каковая, к моменту его вступления в обязанности Главбуха, была страшно запутана и запущена.

Тов. Хазанов умело руководил подчиненными ему работниками. В деле хорошо ориентируется, имеет хорошие организационные способности.

Рекомендую тов. Хазанова как незаменимого и ценного работника бухгалтерского дела» (21.03.1927).

«Дана сия (справка – И. Н.) Главному Бухгалтеру Строительства Белорусской Районной Электростанции “Осинстрой” в том, что он... проявил себя высококвалифицированным работником, хорошим организатором и рационализатором бухгалтерского дела. Своим умелым руководством и трудолюбивостью ему удалось спаять коллектив работников бухгалтерии и при минимальном штате показать высокие ударные темпы. Финпланы, контрольные цифры и отчеты составлялись с особым умением и полностью нас удовлетворяли. Наряду с работой по своей линии, тов. Хазанов был организатором курсов по подготовке и переподготовке счетных работников при Осинстрое и был преподавателем производственного счетоводства на этих курсах» (4.04.1931).

«...тов. Хазанов является высококвалифицированным бухгалтером с 20-тилетним производственным стажем, удачно сочетая в себе отличные знания чисто бухгалтерского дела (учета и отчетности) с хорошей ориентировкой по всем финансово-экономическим вопросам» (10.02.1933).

В июне 1922 года Полесский спиртовой трест направил Б. Я. Хазанова в Могилев заведующим коммерческой частью и заместителем заведующего чугунолитейным заводом «Возрождение». В интервью, опубликованном 5 августа 1922 года в газете «Соха и молот», он поведал о том, что удалось менее чем за два месяца сделать

на заводе, который трест принял «в таком виде, словно он находился, ни дать ни взять, в полосе обстрела». В том, что за полтора месяца удалось восстановить технику, обновить штат работников, обеспечить завод заказами, начать переход на сдельную оплату труда, наладить работу администрации в режиме строжайшей экономии, нашли отражение организаторские таланты молодого советского «коммерсанта».

Многочисленные поощрения, премии и награды, записи о которых содержатся в трудовой книжке Б. Я. Хазанова за период между 1935 и 1965 годами, также свидетельствуют об успешности его службы.

Увлеченный делом и осознающий меру ответственности, Б. Хазанов стремился продолжить образование. Накануне Первой мировой войны он, по неточным данным, посещал в Гомеле бухгалтерские курсы. Осенью 1920 года был слушателем подготовительно-го отделения Гомельского техникума. В апреле 1921 года Гомельское районное отделение союза металлистов обратилось в местный техникум водников райкультотвода с просьбой принять Б. Хазанова на учебу: «Означенный товарищ прослушал полный курс 3-го семестра Гомельского техникума и ввиду его развала не имеет возможности продолжить свое образование». Но и эта задумка не была реализована. Лишь накануне войны ему удалось освоить специальные бухгалтерские дисциплины в объеме, предусмотренном программами экономических факультетов советских вузов: в 1940 году он с отличием окончил двухгодичные заочные курсы повышения квалификации главных и старших бухгалтеров при Московском заочном инженерно-экономическом институте.

Б. Я. Хазанов действительно был «предан Соввласти». В октябре 1939 года, еще в Балахне, после длительного пребывания в разряде «сочувствующих», он был, наконец, принят кандидатом в члены ВКП(б), в которую вступил в январе 1941 года. Занимая важные служебные посты и находясь на виду, он принимал активное участие в общественной жизни: в конце 1917-го – июле 1918 года был членом исполкома и правления профсоюза в Быхове, в 1920–1922 годах – председателем комитета служащих и ревизионно-контрольной комиссии в Гомельском губернском СНХ, профсоюзным активистом в Минске и Осиновке, участником художественной самодеятельности в Балахне. В 60-х годах он, пожилой и совершенно неспортивный человек, записался, к восторгу своей внучки, хохотушки Наташи, в добровольную народную дружину и общество пожарников.

Его материальное благополучие стабилизировалось еще в 20-х годах. В ноябре 1921-го комиссия по определению баллов «спецам» РКИ и Губметалла, оценив стаж деятельности Б. Я. Хазанова, определила ему оклад по 30-му разряду, одному из самых высоких,



в размере 50 тысяч рублей. В ноябре 1926 года акционерное общество «Сырье» заключило с ним трудовой договор, согласно которому обязывалось доплачивать к полагавшимся ему по коллективному договору 104 р. 80 к. дополнительно 120 р. 80 к., то есть платить солидную для середины 20-х годов сумму в 225 новых, полновесных рублей. В конце 50-х месячный заработок Хазанова колебался между 2100 и 3000 рублей, о которых «обычный» советский служащий в то время мог только мечтать. Такие заработки позволяли содержать семью, так что его жена могла заниматься исключительно домашним хозяйством.

После нее, Нины Яковлевны Хазановой [в девичестве Ривкиной, 1901(?)–1985], письменных свидетельств почти не осталось. Невозможно документировать ранние периоды ее биографии столь подробно, как в отношении Б. Я. Хазанова, по-бухгалтерски аккуратно сберегавшего свои следы в прошлом. Из ее собственных рассказов, припоминаний родственников и в скудном количестве сохранившихся документов известно, что она родилась в местечке Городцы Могилевской губернии в семье служащего в лесной промышленности Якова Ривкина (Рывкина) и его жены Евгении (Зельды, 1875–1966). Отец умер в 1901 году, и Евгения осталась молодой вдовой с тремя детьми на руках – Полиной, Исаем и Ниной. Вскоре она вновь вышла замуж за мещанина Григория Герберовича Лазарева, паромного контролера на реке Сожь, и родила еще троих детей – Фаину, Мотла и Эсфирь. Скудный заработок мужа пополнялся обедами, которые Евгения носила на паром или сервировала для клиентов у себя дома. Нина ухаживала за детьми, пока те были маленькими, а затем, из-за материальных затруднений семьи, была отправлена из Гомеля к дедушке. Сколько она там пробыла, неизвестно. Сохранилась фотография, на которой она, лет 16–17, запечатлена с подругами в гимназической форме. Известно также, что она немного умела музицировать на фортепиано (любимое произведение, которое она неуверенно воспроизводила по нотам – «Ноктюрн» Ф. Шуберта). Возможно, начаткам музыкальной грамотности и более ловким навыкам вышивания она обучилась в гимназии.

Революцию 1917 года и Гражданскую войну Н. Я. Ривкина пережила в Гомеле, в семье матери и отчима. До глубокой старости она вспоминала напряженное ожидание еврейского погрома во время мятежа А. М. Стрекопытова весной 1919 года. Для нее, 17-летней миленькой девушки, он закончился, что называется, легким испугом: какой-то солдат ворвался в дом, штыком сорвал с вешалки ее шубу и тут же удалился. Но шубку было жаль.

В те годы Нина жила под фамилией отчима и с его отчеством. До недавнего времени сохранялось ее удостоверение, выданное 24 февраля 1920 года, в котором значилось следующее: «Изобра-



Горький, лето 1964 г. Н. Я. и Б. Я. Хазановы на балконе своей квартиры.  
*«...зелень к июлю образует живую изгородь и защитит балкон от посторонних глаз. Мальчик же, как с наблюдательного пункта, сможет беспрепятственно обозревать южную часть двора».*



Горький, сентябрь 1960 г.  
Прогулка во дворе с парадной стороны дома номер 19а на улице Минина.  
*«...для ребенка эти укромные уголки чрезвычайно притягательны. Здесь можно спрятаться от взрослых и из укрытия наблюдать за обитателями дома и прохожими на улице».*



Горький, август 1963 г. Дворовые игры. Ребенок в вязаной шапке – Володя Гречухин.

*«Мальчик не помнит, когда он познакомился с Володей. Кажется, они были знакомы всегда».*



Горький, 18 июня 1963 г. Бабушка с внуком у вазона главной клумбы с фасадной стороны дома.

*«Эта клумба – предмет гордости обитателей дома».*



Друзья в южной части двора. Слева – В. Гречухин.

*«У них всегда есть, о чем поговорить, у них есть секретные места встреч и общие тайны».*

Горький, лето 1963 г.  
Южная часть двора.  
*«За садиками, напротив бой-  
лерной, у стены депо лежит за-  
брошенная детская площадка».*



Пикник на Откосе. Лето 1962 г.  
Н. Я. Хазанова с внуком,  
старшей внучкой Т. Корзухиной,  
соседкой В. П. Алексеевой  
и женой заместителя супруга,  
Е. Агрониной.  
*«Бабушка умеет все обу-  
строить красиво, основательно  
и значительно, превращая  
прогулку по городу или Откосу  
в полноценное путешествие».*



Горький, лето 1962 г.  
Прогулка по Откосу. В руках  
у Мальчика – машинка, защи-  
щающая его от оскорбитель-  
ных подозрений в принадлеж-  
ности к «девчачьему» миру.  
*«Мальчик помнит, как  
в общественном транспор-  
те его еще совсем недавно  
принимали за девочку».*



Горький, лето 1962 г.  
*«По вечерам они часто гуляют  
на Откосе, завершая про-  
гулку в кафе-мороженом под  
кремлевской стеной или в кафе  
“Чайка”, где такое вкусное  
ванильное мороженое, каким  
Мальчику больше нигде  
не доводилось лакомиться».*







Горький, лето 1964 г. Дедушка с внуком во дворе дома на Минина, 19а.  
«Дедушка похож на доброго Крокодила, каким его рисуют в сказке К. И. Чуковского».



Зеленый город, лето 1964 г. Бабушка с младшими внуками посещает мужа в санатории.  
«...их жизнь течет в полном согласии».

Быхов, 14 марта 1921 г. Семья Хазановых. Сидят Яков и Хана, стоят их дети Голда, Сара и Борис.

Помимо Бориса «в семье было четверо детей: Павел (1888–1941), Голда (1890–1941), Абрам (?–1915), Борис (1894–1979), Сара (1898–1985)».



Быхов, 1913 г. Выпуск городского училища. Крайний слева во втором ряду – Б. Я. Хазанов.

«С 1907-го по 1909 год Борис учился в церковно-приходской школе, с 1909-го по 1913-й – в Быховском городском училище, получив, таким образом, полноценное среднее образование (второго разряда – в терминологии того времени)».



Быхов, 1913 г. После коллективного фотографирования в фотоателье Б. Хазанов (слева) снялся на память со своими товарищами. «Его школьные успехи – помимо отличного поведения – были весьма скромны: за исключением чистописания, по которому в его аттестате значится хорошая отметка, итоги по всем предметам – удовлетворительные».



Быхов, 1913 г. Б. Я. Хазанов. «Его служебная карьера была более успешна... 1 сентября 1913 года он получил место главного бухгалтера лаковой и металлической фабрики Школьникова и Половца, входившей в состав Южно-Русского общества».





Зельда Ицкова (девичья фамилия неизвестна) Рывкина, затем Лазарева (1875–1966), мать Н. Я. Ривкиной (Хазановой). Фото 1895 г. «Зельда Ицкова Лазарева... любила читать, но никогда не рассказывала о своих родителях, братьях и сестрах».



Н. Я. Ривкина (справа) у профессионального фотографа. «Сохранилась фотография, на которой она, лет 16–17, запечатлена с подружками в гимназической форме».



Козлов, 19 апреля 1915 г. Б. Хазанов – справа в первом ряду. «В середине января 1915 года [он] был призван на воинскую службу в действующую армию и окончил ее тремя годами позже в звании ефрейтора».





Гомель, 25 сентября 1923. Первый справа во втором ряду – Б. Я. Хазанов.  
«...Хазанов был откомандирован главным бухгалтером в Полесский спиртовой трест Гомельского ГСНХ. Там он проработал два года, по июнь 1924-го, до ликвидации и этой организации».



Гомель, 1921 (?). Н. Я. и Б. Я. Хазановы.  
«Они поженились в октябре 1921-го, а в декабре следующего года родилась  
дочь, Мира».



Быхов, 1923 г. Судя по мебели, снимок  
сделан в том же фотоателье,  
где в 1913 г. снимался Б. Я. Хазанов.



Гомель, 15 марта 1927 г. Б. Я. Хазанов – третий слева во втором ряду.  
«Затем последовала служба главным бухгалтером в различных и  
перманентно реорганизуемых учреждениях».





Н. Я. Хазанова, лето 1925 (?). В горьковской квартире Хазановых в 60-е гг. висел «портрет сидящей на ромашковой поляне молодой, красивой Бабушки с гладкой стрижкой 20-х годов».



Балахна, 22 февраля 1940 г. Крайний справа – Б. Я. Хазанов.  
«Занимая важные служебные посты и находясь на виду, он принимал активное участие в общественной жизни».



Осиновка, около 1930 г. Н. Я. Хазанова – третья слева в первом ряду.  
*«Нина следовала за мужем, которого в 20-х – начале 30-х перебрасывали с места на место, в Оршу, Осиновку, Балахну».*



Балахна, 1930-е гг. Крайняя слева – Н. Я. Хазанова.  
*«В Балахне нашла применение ее кипучая общественная энергия...»*



Балахна, 1930-е гг.  
На переднем плане  
справа – Н. Я. Хазанова,  
на заднем плане  
в центре – Б. Я. Хазанов.  
*«...она играла в любительском театре  
(и привлекла мужа к  
участию в драмкружке –  
правда, только  
в роли суфлера)».*



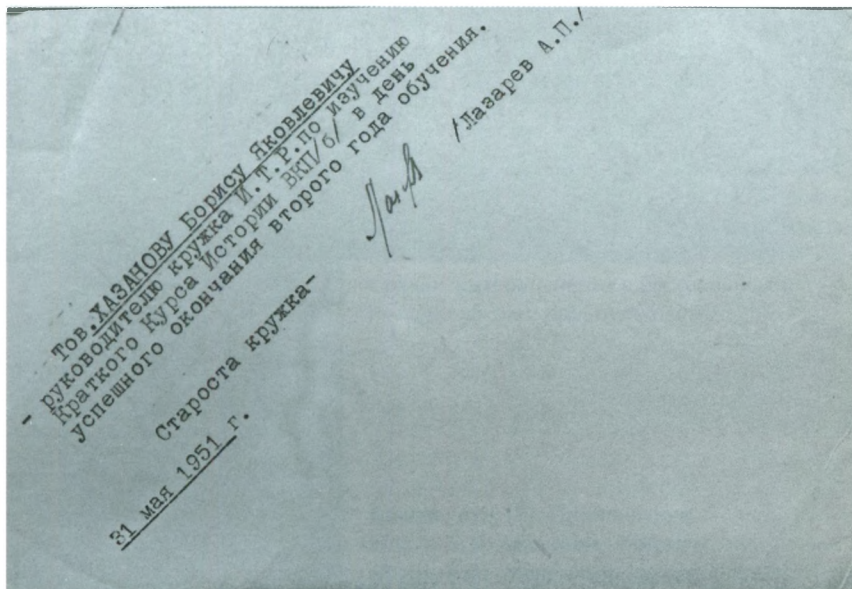


Балахна (?), 1930-е (?). Крайняя слева в заднем ряду – Н. Я. Хазанова.



Горький, 31 мая 1951 г. Б. Я. Хазанов (крайний слева) – руководитель кружка по изучению «Краткого курса истории ВКП(б)».

*«Разбирая коллективные фотографии из молодости Н. Я. и Б. Я. Хазановых, я обратил внимание на одну особенность... На групповых фото они всегда стоят с краю или на заднем плане, соблюдая принцип “не выпячиваться”».*



Тов. ХАЗАНОВУ Борису Яковлевичу  
руководителю кружка И. Т. Р. по изучению  
Краткого Курса Истории ВКП(б) в день  
успешного окончания второго года обучения.

Староста кружка –

31 мая 1951 г.

Лазаарев А. П.

Оборот фотографии, сделанной 31 мая 1951 г.

*«Б. Я. Хазанов действительно был “предан Соввласти”».*





Горький, 1960 г. Единственная публичная коллективная фотография, на которой Б. Я. Хазанов изображен в центре группы.  
«Он главный бухгалтер в организации с таинственным названием Горэнерго».



Дзержинск, 1946 г. М. Б. Корзухина (Хазанова) и Н. Н. Корзухин.  
*«Маленькая, изящная голубоглазая блондинка, она, к своему неизменному изумлению, производила на мужчин сокрушительное впечатление».*



Дзержинск, конец 1960-х гг. П. П. Милешина.  
*«Девочки, особенно Наташа, души не чаяли в этой маленькой седенькой женщине с рязанским акцентом и бесконечными крестьянскими прибаутками».*



Гомель, 1925 (?). Старшая дочь Н. Я. и Б. Я. Хазановых Мириам.  
*«В холле на стене слева висит большой фотопортрет старшей дочери Хазановых, Миры, в двух-трехлетнем возрасте...».*



Горький, 1963 (?). Слева направо: сидят: Т. Корзухина, Н. Я. Хазанова, Б. Я. Хазанов с внуком на руках, Т. Б. Нарская (Хазанова), стоят Н. Корзухина, М. Б. Корзухина, В. П. Нарский. Фото Н. Н. Корзухина. *«Раз в году, на рубеже июля и августа, в Горький съезжается большая семья: с гастролей возвращаются родители Мальчика, приезжает тетя Мира со всем семейством».*



Дзержинск, начало 1960-х гг. Татьяна (слева) и Наталья Корзухины. *«Корзухины много фотографируются, потому что в жизни много счастливых моментов. С фотографий смотрят радостные, беззаботные лица».*



Горький, 1962 г. Татьяна Козухина. *«Раньше она часто приезжала к Бабушке и Дедушке во время каникул и возила с маленьким двоюродным братцем: таскала его на руках, водила гулять на Откос или площадь Минина и Пожарского».*





Сентябрь (?) 1949 г. Перед центральной клумбой во дворе дома на улице Минина, 19а. Слева направо: Н. Н. Корзухин, М. Б. Корзухина с двухлетней Татьяной на руках, Б. Я. Хазанов, Н. Я. Хазанова, Т. Б. Хазанова. Фото управляющего Горэнерго В. Захарова.  
*«М. Б. Корзухина... не могла вспомнить обстоятельств возникновения фотографии, столько лет провисевшей на стене гостиной ее родителей».*



5 сентября 1949 г. Семья Гречухиных. Слева направо: Валерий, Николай, Л. И. Гречухин, Людмила, Г. Е. Гречухина.  
*«Как поясняет Валерий Леонидович, В. Захаров, получив направление в Ленинград, перефотографировал на память всех своих сослуживцев – соседей по дому, создав целый фотоальбом».*



Горький, август 1966 г.

*«Если бы не штамп советского фотосалона и стоптанные советские сандалии мальчика, анализируемый фотопортрет легко можно было бы ошибочно отнести к пикториальной фотографии рубежа XIX–XX столетий».*

А. О. Карелин.  
Автопортрет «Вдохновение».  
«Нижегородская фотография  
освободилась от ярмарочной  
конъюнктуры и стала воспри-  
ниматься как самоценное  
явление, когда всероссийская  
и международная слава пришла  
к местному фотографу  
Андрею Осиповичу Карелину  
(1837–1906)».

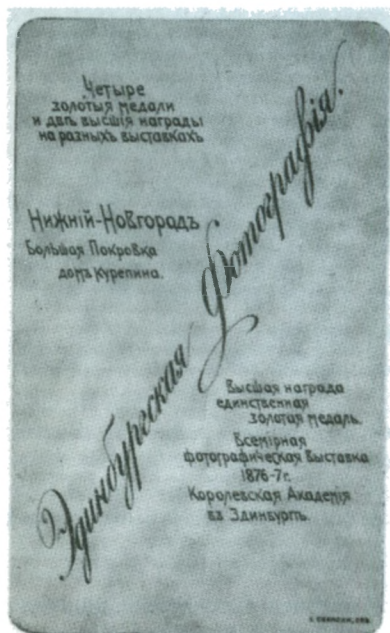


М. П. Дмитриев. Автопортрет. 1890-е гг.  
«Творчество А. О. Карелина подгото-  
вило почву для рождения в Нижнем  
Новгороде еще одной величины меж-  
дународного масштаба в истории  
фотографии – Максима Петровича  
Дмитриева (1858–1948)».

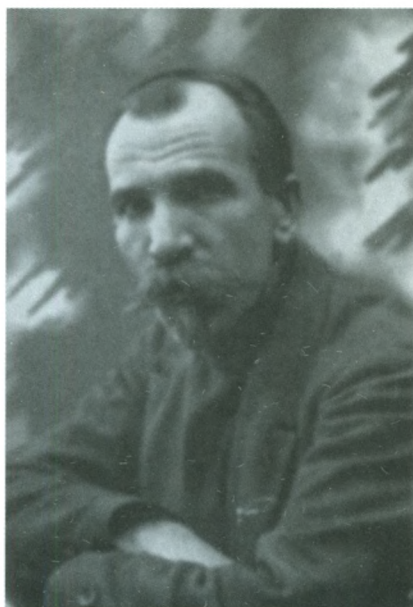




«В 1900 году фотосалон перешел к Ф. Г. Федорову (1857–1928), выходцу из крепостных крестьян, чиновнику, переехавшему в Нижний Новгород из Казани, где он преподавал графические искусства и имел свою фотомастерскую. Во дворе дома Курепина Федоров построил лучший в городе застекленный павильон. В 1904 году он продал заведение А. О. Карелину, назвавшему свой последний фотосалон “Эдинбургской фотографией”. После смерти Карелина в 1906 году фотозаведение приобрел М. Н. Гагаев (1878–1932), работавший фотографом в Нижнем Новгороде с 1896 года. Участник многих международных фотовыставок, Гагаев четырежды был удостоен наград, в том числе высшей на международной выставке в Мадриде. Наконец, в 1915 году у фотографии появился последний до революции хозяин, Н. М. Кузаев (1883–1971)».



А. О. Карелин



М. Н. Гагаев



Н. М. Кузаев

Владельцы фотозаведения на Большой Покровке, 4, в доме Курепина и обороты их фирменных паспарту.





А. А. Голованов с семьей.  
1910-е гг.  
*«Детский фотопортрет  
1966 года, скорее всего, создан  
Александром Александровичем  
Головановым (1890–1967),  
нижегородским фотографом  
с дореволюционным прошлым».*



Горький, около 1950 г. А. А. Голованов (крайний справа) в гостях у фотографа С. В. Флягина (слева), когда-то работавшего у М. П. Дмитриева.  
*«На пенсию Александр Александрович Голованов ушел с должности старшего фотографа Государственной фотографии № 1 объединения “Горьковгорфото”».*

женный на прикрепленной к сему удостоверению фотографической карточке тов. Лазарева (!) Нина Григорьевна (!) действительно состоит сотруд[ницей] Гомельского Единого Потребительского Общества в должности кассирши лавки № 2, что подписями и приложением печати удостоверяется». Одновременно она помогала матери с домашними платными обедами. Здесь Нина и познакомилась с одним из «клиентов» этого «пансиона», Борисом Хазановым. Они поженились в октябре 1921-го, а в декабре следующего года родилась дочь Мира. Нина следовала за мужем, которого в 20-х – начале 30-х перебрасывали с места на место, в Оршу, Осиновку, Балахну. В 1928 году у них родилась вторая дочь, Тамара.

В Балахне семейный быт вошел, наконец, в спокойное русло. У Хазановых появилась постоянная квартира, сначала двухкомнатная, потом трехкомнатная, да такая просторная, что Н. Я. Хазанова каждый летний сезон сдавала одну комнату актерам приезжавшей на гастроли оперетты – непременно примадоннам. В Балахне нашла применение ее кипучая общественная энергия: она играла в любительском театре (и привлекла мужа к участию в драмкружке – правда, только в роли суфлера), была активисткой организации жен инженерно-технических работников, в которой в 1938 году руководила финансовой секцией.

В связи с началом Великой Отечественной войны Н. Я. Хазанова была направлена по трудовой мобилизации на Горьковский автозавод. Однажды, по пути на работу, при посадке в трамвай она в давке чуть не угодила под колеса вагона. Упав с подножки, сильно, до сотрясения мозга, ударились головой. Как оказалось, ей повезло: в тот день немецкие самолеты разбомбили цех, в котором она работала.

С 1943 по 1951 год она трудилась в столовой Горэнерго. В семейном архиве Хазановых сохранилась выписка из материалов санитарного обследования этой столовой за май 1947 года. В ней коричневым карандашом выделен пункт 11, который, видимо, имел прямое отношение к служебным обязанностям Н. Я. Хазановой: «Книга жалоб и предложений имеется, и в ней жалоб на выпуск недоброкачественных обедов, со стороны посетителей столовой, не имеется».

Однако общего стажа работы для начисления нормальной трудовой пенсии ей не хватило. В последние годы жизни, после смерти мужа, Н. Я. Хазанова получала 45-рублевую «вдовью» пенсию.

В 50–60-х годах она развернула кипучую деятельность во дворе дома номер 19а на улице Минина. Ее любимым детищем стала центральная клумба перед домом, которая цвела с поздней весны до осенних заморозков. Сохранились грамоты домоуправления и районного отделения общества охраны природы, которыми ее наградили в 1967, 1968 и 1971 годах за участие в конкурсах цветов и смотрах по озеленению дворов.

Хазановы прожили в Горьком до 1976-го. Последние годы они «доживали» в Дзержинске, в просторной «сталинской» квартире в центре города. Нужно было быть поближе к врачам – дочери и внучке: с весны 1973 года Б. Я. Хазанову после операции на предстательной железе потребовались систематическое наблюдение медиков и внимательный уход, который был безупречно организован Н. Я. Хазановой.

Маркированные официальными биографическими вехами, жизненные пути Н. Я. и Б. Я. Хазановых представляются безусловно успешными и безоблачными. Однако в их прошлом были моменты, которые не следовало выставлять напоказ. Хазановы встретили советский период истории вполне сознательными молодыми людьми с собственным дореволюционным прошлым. Н. Я. Хазанова, вероятно, училась в частной гимназии, откуда вынесла «буржуазные» представления о семье и навыки ведения домашнего хозяйства. Она недолюбливала коммунистов. Б. Я. Хазанов когда-то работал на «капиталистическом» предприятии и в 20-х годах считался «буржуазным специалистом». К тому же в 1915–1917 годах он служил в царской армии, во время военных походов бывал за границей, в Австрии и Румынии. При желании его можно было обвинить в прислужничестве «панской» Польше: на обороте его отпускного билета за 1917–1918 годы стоит штамп и подпись быховского польского коменданта. Во время Гражданской войны он при неясных обстоятельствах избежал службы в Красной Армии. В мае 1919 года комиссия по освидетельствованию мобилизованных профсоюзами и партиями 1-го Гомельского пролетарского батальона якобы признала Б. Я. Хазанова негодным к несению военной службы. Копия этого документа за 10 июня 1919 года не вызывала бы никаких сомнений, если бы среди скрепивших ее подписей не было автографа его старшего брата, секретаря рабочего комитета завода «Двигатель» П. Хазанова. Месяцем позже, 14 июля, Б. Я. Хазанов стал обладателем сразу двух удостоверений: как житель Быхова он получил двухмесячную отсрочку от службы в армии; как житель Гомеля был освобожден уездным военным комиссариатом от воинской службы до особого распоряжения.

Неясности возникают даже в связи с официальными датами рождения Хазановых. В их свидетельстве о браке значится, что Н. Я. Хазанова родилась не в 1901, а в 1900 году. Согласно семейному преданию, она изменила год своего рождения в связи с тем, что ее брат Исай прибавил себе один год для поступления на работу. В противном случае разница между их датами рождения оказалась бы подозрительно маленькой – менее трех месяцев. Впрочем, разница в официальном возрасте брата и сестры – девять месяцев и одна неделя – тоже кажется не очень убедительной.

В упомянутом выше отпускном билете Б. Я. Хазанова, вы-

данном в ноябре 1917-го, указан его возраст – 22 года. Если это не опечатка, то он родился не в 1894-м, а в 1895 году. Может быть, поэтому официальное празднование его 70-летнего юбилея состоялось в 1965-м. Сам он, выходя в тот год на пенсию, говорил о несовпадении его официального и реального возраста на два года. Причины этих манипуляций с возрастом выяснить уже не удастся. Объяснения, которые я слышал от него более сорока лет назад, не запомнились.

И было еще одно обстоятельство в биографии Хазановых, которое осложняло их жизнь: Нина Яковлевна и Борис Яковлевич были евреями.

### Альтернативы иконографии и иконологии



Несмотря на кажущуюся немногословность визуального объекта, анализ форм и содержания, сосредоточенный на самом изображении, позволяет сделать предположения – пусть умозрительные – о культурных предпочтениях заказчика и создателя изображения, об их намерениях и эстетической программе.

При обращении к методам «чистого» анализа фотоизображений нельзя не упомянуть о многочисленных психоаналитических и структуралистско-семиотических подходах. Помимо отсутствия интереса к контексту создания конкретных изображений их роднят с иконографией поиск информации, не выраженной явно или скрываемой создателем визуального объекта, концентрация внимания на проблемах восприятия изображения и, не в последнюю очередь, высокий уровень умозрительности и затруднительность практического применения, ставшие мишенью массивной критики. Эти подходы ставят задачи, близкие к проекту иконологии, в связи с чем можно говорить о данных подходах как об альтернативах концепции Э. Панофски.

Вместе с тем, в отличие от иконографии Панофски, психоаналитические методы прочтения изображения ищут не его значение, сознательно вложенное в него создателем, а неосознанные символы и вызываемые им спонтанные цепочки ассоциаций. Психоаналитический подход по праву исходит из посылки, что в визуальном объекте могут быть отражены подавленные желания, эротические фантазии и страхи.

Это наблюдение, которое разделяют не только убежденные последователи Зигмунда Фрейда, справедливо и для фотографии. «Фотография – фрейдистское искусство», – считает искусствовед и журналист В. Виганд (Wiegand W., 10). В отличие от написанной картины фото сохраняет случайные детали, которые могут породить неожиданные ассоциативные ряды. Фотографией владеют подсознательные законы памяти.

Но «фото – это организованная случайность» (Равек К., 171). В подспудной, часто неосознанной работе по «организации» фотографии участвуют как его производитель, так и потребитель. Производимое фотографом изображение может быть цитатой произведения искусства, «воспоминанием» о нем. Ведь каждый фотограф следует образцам, и в этом смысле любая фотография неизбежно содержит эффект «дежа вю». Каждый зритель находит на фотоизображении то, что отложилось в его подсознании.

По мнению П. Берка, в этой связи существенную помощь историку, интерпретирующему источники, может оказать концепция «взгляда» Жака Лакана.

«Неважно, занимает ли нас намерение художников или то, как различные группы наблюдателей смотрят на их произведения: мы должны при этом всегда думать об определенном взгляде – например, о западном взгляде, научном, колониальном, туристическом или мужском... Взгляд часто выражает позиции, которые не обязательно осознаются наблюдателем – будь то ненависть, страх или вожделение, направленные на других» (Burke P., 140).

Однако психоаналитические подходы к истории в целом и к визуальным свидетельствам в частности имеют очевидные уязвимые места. В отличие от психоаналитика историк не может положить исторического актера на кушетку, вызвать у него ассоциативные цепи и зафиксировать их. Кроме того, он имеет дело не с индивидуальными, а с коллективными страхами и надеждами – весьма хрупким и неосязаемым предметом.

По справедливому замечанию П. Берка, «для историков, которые работают с изображениями... психоаналитический анализ необходим и одновременно невозможен» (там же, 198). Его необходимость связана с тем, что люди проецируют на изображения собственные подсознательные желания и страхи. Вместе с тем, психоаналитический подход невозможен с точки зрения «нормальных» для историка научных критериев в связи с отсутствием достаточно доказательного материала. Следовательно, психоаналитическая интерпретация не может быть ничем иным, кроме спекуляции.

Действительно, что можно предположить, рассматривая анализируемую фотографию 1966 года с психоаналитической точки зрения? Зная, что заказчиками детского фотопортрета были пожилые люди (подробности об этом читатель узнает позже), можно предположить, что в нем отражена возрастная, поколенческая проекция, конфликт «доброе старое время» со вкусами и поведением современной молодежи. Возможно, в ней зашифровано желание видеть в ребенке (и в его будущем) успешного положительного героя, чистого, аккуратного, воспитанного, сдержанного и благородного – диаметрально противоположность грязному и ленивому совет-

скому хулигану? Быть может, в ней скрыто раздражение против нонконформизма подрастающего советского поколения, представители которого в середине 60-х годов шокировали гуляющую по Верхневолжской набережной Горького публику длинными неухоженными или, напротив, искусно уложенными волосами, брюками-дудочками и вызывающе яркими пиджаками, галстуками и носками, настоящими джинсами или самодельными – из брезента, с необъятными клешами, в которые вшивались бубенцы и даже лампочки? Спекулировать на эту тему можно бесконечно; желательно, однако, не забывать, что все умозаключения в русле психоаналитического подхода к визуальному остаются не более чем предположениями.

Приведенное выше высказывание П. Берка о необходимости и невозможности использования историком психоанализа можно распространить и на структуралистско-семиотические предложения по дешифровке изображений. Структуралисты и семиотики рассматривают изображение как знаковую систему, концентрируя внимание на неочевидных и не выраженных явно элементах изображения в ущерб отраженной на нем реальности, историческому контексту и иконографическим деталям. Так, Ролан Барт (1915–1980), один из самых влиятельных структуралистов – исследователей фотографии, сосредоточивал свое внимание на воздействии языка изображения, на риторике визуального образа. В эссе «Camera lucida» он выделил два вида внимания: *studium* (дословно «изучение») – не сосредоточенное рассматривание изображения, доставляющее удовольствие, и *punctum* – предельно концентрированное внимание, вызванное некими (случайными) деталями изображения, провоцирующими концентрацию внимания и рождающими лавину ассоциаций.

Эти виды внимания и восприятия фотоизображения Р. Барт характеризовал следующим образом:

«...фото вызывают у меня обычный аффект, связанный с особого рода дрессировкой. Я не нахожу во французском языке слова, которое просто выражало бы этот вид человеческого интереса, но мне кажется, что нужное слово существует на латыни; это слово *studium*, которое значит прежде всего не “обучение”, а прилежание в чем-то, вкус к чему-то, что-то вроде общего усердия, немного светливого, но лишённого особой остроты. Именно благодаря *studium*’у я интересуюсь многими фотоснимками – потому ли, что воспринимаю их как политические свидетельства, потому ли, что дегустирую их как добротные исторические полотна; в этих фигурах, выражениях лица, жестах, декорациях и действиях я участвую как человек культуры (эта коннотация содержится в слове *studium*).

Вторая часть разбивает *studium* (или его прерывает). На этот раз не я отправляюсь на ее поиски (подобно тому, как поле *studium*’а покрывалось

МОИМ СУВЕРЕННЫМ СОЗНАНИЕМ) – ЭТО ОНА КАК СТРЕЛА ВЫЛЕТАЕТ СО СЦЕНЫ И ПРОНЗАЕТ МЕНЯ. СУЩЕСТВУЕТ СЛОВО ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЭТОЙ РАНЫ, УКОЛА, ОТМЕТИНЫ, ОСТАВЛЯЕМОЙ ОСТРЫМ ИНСТРУМЕНТОМ; ЭТО СЛОВО ТЕМ БОЛЕЕ МНЕ ПОДХОДИТ, ЧТО ОТСЫЛАЕТ К ИДЕЕ ПУНКТУАЦИИ И ЧТО ФОТО, О КОТОРЫХ ИДЕТ РЕЧЬ, КАК БЫ ОТМЕЧЕНЫ, ИНОГДА ДАЖЕ КИШАТ ЭТИМИ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫМИ ТОЧКАМИ; ИМИ ЯВЛЯЮТСЯ ИМЕННО ОТМЕТИНЫ И РАНЫ. ЭТОТ ВТОРОЙ ЭЛЕМЕНТ, КОТОРЫЙ РАССТРАИВАЕТ *studium*, Я ОБОЗНАЧИЛ БЫ СЛОВОМ *punctum*, ИБО ОНО ОБОЗНАЧАЕТ В ЧИСЛЕ ПРОЧЕГО: УКУС, ДЫРОЧКА, ПЯТНЫШКО, НЕБОЛЬШОЙ РАЗРЕЗ, А ТАКЖЕ БРОСОК ИГРАЛЬНЫХ КОСТЕЙ. *Punctum* В ФОТОГРАФИИ – ЭТО ТОТ СЛУЧАЙ, КОТОРЫЙ НА МЕНЯ НАЦЕЛИВАЕТСЯ (НО ВМЕСТЕ С ТЕМ ДЕЛАЕТ МНЕ БОЛЬНО, УДАРИЕТ МЕНЯ)» (БАРТ Р., 44–45).

Это различие между бартовыми типами восприятия фотографии Е. Петровская определяет образно и лаконично:

«ПЕРЕВОДЯ РАЗГОВОР О *STUDIUM*'Е И *PUNCTUM*'Е НА ЯЗЫК ВОСПРИЯТИЯ, КАК К ТОМУ, ПО СУТИ, И ПРИЗЫВАЕТ БАРТ, ПОЛУЧАЕТСЯ ТАК, ЧТО ЕСЛИ В ПЕРВОМ СЛУЧАЕ МЫ ЧИТАЕМ ФОТОГРАФИЮ, ТО ВО ВТОРОМ ОНА ЧИТАЕТ НАС. ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО МЫ ИМЕЕМ ДЕЛО С ДВУМЯ РЕЖИМАМИ ВОСПРИЯТИЯ ФОТОСНИМКОВ, ОДИН ИЗ КОТОРЫХ ВОПЛОЩАЕТ ДИСТАНЦИЮ, ДРУГОЙ – ЕЕ МГНОВЕННОЕ ИСЧЕЗНОВЕНИЕ. ЭТИ РЕЖИМЫ НЕ СТОЛЬКО СМЕНЯЮТ ДРУГ ДРУГА, СКОЛЬКО СУЩЕСТВУЮТ ВО ВЗАИМНОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ (В КАЖДОМ ИЗ НИХ ЗАЛОЖЕНА ВОЗМОЖНОСТЬ ДРУГОГО)» (ПЕТРОВСКАЯ Е., 128).

Следует особо подчеркнуть, что различия видов внимания имеют для Р. Барта отношение прежде всего к тому, что зашифровано в самом изображении. Эта структуралистская позиция особенно наглядно проявляется в бартовском представлении, зафиксированном в эссе «Риторика образа», о том, что фотография содержит три послания: «лингвистическое послание, кодированное иконическое (символическое) и некодированное иконическое (буквальное) послание» (Кемп В., III, 142). Если выделить первое из них (надписи на изображении и подписи к ним) не составляет труда, то различать между вторым и третьим значительно сложнее. Несколько упрощая аргументацию Р. Барта, можно констатировать, что символическое послание культурно кодировано, сознательно и бессознательно организовано и использует знаки другой системы. Это послание фотографии он назвал коннотированным образом. Третья, буквальная весть фотоизображения не кодирована, случайна и есть прямое проявление собственной природы фотографии, а не заимствований из других культурно-знаковых систем. Буквальный образ Барт определяет, в противоположность коннотированному, как денотированный. Именно отсутствие кода в денотированном образе создает миф о «естественности», «подлинности» фотографии. Вмешательство человека в ее организацию с помощью видеоискателя, определения расстояния, резкости, выдержки, степени освещения, принадлежащих

к сфере коннотации, как бы камуфлируется техническим происхождением и случайностью фотографического изображения. «Денотированный образ натурализует символическую весть, он придает невинность искусственности семантических коннотаций, особенно навязчивых в рекламе» (там же, 145).

Теорией коннотаций и денотаций Р. Барт развил иконологический метод в структуралистском направлении. По сути, коннотированные образы близки тем, которые Э. Панофски предлагал расшифровывать на стадии иконографического анализа, денотированные – ближе объекту иконологической интерпретации.

Между тем, не приходится сомневаться, что восприятие визуального объекта зависит от степени подготовки, от индивидуальных особенностей социализации и опыта воспринимающего субъекта. Сам Р. Барт признавал, что прочтение одной фотографии – и даже одним и тем же индивидуумом – может быть различным в зависимости от инвестированного в изображение «практического, национального, культурного, эстетического знания» (там же, 146), от позиции наблюдателя. «Остерегайтесь показывать другим “вашу” фотографию, – предостерегает Е. Петровская, – ту самую, где все уже есть, хотя, казалось бы, ничего нету: нет ничего в смысле каких-то открытых, разоблачающих вашу тайну жестов, но есть все в смысле той эмоции, которая, однажды появившись, уже никуда не уйдет. Мы видим в фотографии следы своих эмоций...

И точно так же бессмысленно показывать собранные Бартом снимки, говоря: посмотрите, вот те “уколы” (*punctum*’ы), о которых он решил написать. Место укола, а значит, фотография... у каждого своя» (Петровская Е., 26–27).

В определенном смысле можно утверждать, что, выделяя *studium* и *punctum*, три типа фотографического послания, коннотированный и денотированный образы, Р. Барт пытался объяснить особенности собственного восприятия языка и зрительных образов. «У меня изъян, – писал он, – я вижу язык».

Мы можем гадать, что на фото 1966 года увидел бы Р. Барт, разглядывая бы он его рассеянно или обнаружил бы на нем деталь, которая могла бы его взволновать. Может быть, он бы заметил случайно зафиксированный на фотографии контраст между стоптанными советскими сандалиями и буржуазной «синелькой»? Или несоответствие детской улыбки отставленному левому локтю – маскулинному жесту завоевателя пространства?

Если не знать, кому адресовано изображение, кто был его реальным пользователем, неизбежна подмена восприятия конкретных исторических актеров восприятием анализирующего субъекта. Исключительно на основе структурно-семиотического подхода, без знания контекста возникновения детского фотопортрета из города



Горького ничего конкретного о восприятии данного изображения его заказчиками и адресатами сказать невозможно.

Следует отметить, что в отличие от Р. Барта, который, различая между коннотированным и денотированным образами, дерзко заявил о возможности черпать информацию из фотографии напрямую, многие структуралисты-семиотики сосредоточились на разработке сложных систем кодирования визуальной информации. В результате было создано множество моделей дешифровки изображений, не прижившихся в прикладных визуальных исследованиях, отличающихся эзотерическим языком «тайной» науки, высокой степенью трудоемкости при ненадежном эффекте и анахронизме результатов из-за игнорирования специфической ситуации, в которой производилось и использовалось фото.

Характерным примером такого подхода является теоретическое исследование Умберто Эко «Критика образа». Иконические знаки, по справедливому утверждению автора, обладают лишь некоторыми качествами объекта, без учета чего любая интерпретация изображения страдает произвольностью. Символы воспроизводят некоторые условия восприятия и воспринимаются как доступные пониманию сообщения благодаря культурным кодам, предшествующим актам познания. У. Эко выделяет десяток кодов, позволяющих распознать зрительный образ: перцептивные коды, коды распознавания, трансмиссии, тональные, иконические, иконографические, риторические, стилистические коды, коды вкуса, чувств и бессознательного. Предложение Эко представляется слишком затратным, так как коды не универсальны и, по признанию самого автора, каждая культура имеет собственную систему кодирования и отсылок. Интересно в этой связи мнение Р. Барта, что инвентаризация кодов, или коннотаторов, не главное в интерпретации изображения.

Впрочем, усиленное теоретизирование при скромных практических результатах, вероятно, является общей чертой вновь рождающихся научных дисциплин до их узаконения профессиональным сообществом. Трудно не согласиться с наблюдением Альмиры Усмановой о «более общей ситуации, связанной с непризнанием какой-либо новой дисциплины в качестве легитимного направления академических изысканий и преподавания», которой, «для того чтобы доказать собственное право на существование, пришлось в первую очередь изобретать высокую теорию, чтобы отстоять... права на академическое признание» (Усманова А. Научение видению, 191, 192).


Как бы то ни было, историк не может игнорировать структуралистские подходы к интерпретации изображений, признать, менее инновативные в отношении визуальных источников, чем в отношении текстов. Умение анализировать организацию изображения может оказаться столь же полезным, как и понимание того, что

визуальная знаковая система является лишь частью культурного целого, из которого она черпает, что-то выбирая и о чем-то умалчивая.

Попытка применения пунктирно очерченных выше подходов к конкретному фотоснимку показывает, что незнание исторического контекста позволяет кое-что узнать о «послании», содержащемся на изображении, но эти знания, во-первых, весьма ограничены и, во-вторых, ненадежны и гипотетичны. Эти подходы не учитывают, например, что конкретные условия бытования визуального объекта могут оказывать влияние на его восприятие. Так, фотографии, будучи помещены в фотоальбом, скорее, вызовут, пользуясь терминологией Р. Барта, «обычный аффект», побудят к листанию в режиме «studium'a». Те же самые снимки, выделенные владельцем из фотографического собрания и помещенные в настольные или настенные рамки, приобретут гораздо больше шансов привлечь повышенное внимание постороннего наблюдателя в модусе «rpinctum'a».

Вне знания контекста возникновения и использования визуальный объект остается малоинформативным источником и сопротивляется интерпретации. Методы, ориентирующиеся на «чистый» анализ зримых образов, в той или иной мере базируются на характерной для XIX века вере в «правду» изображения. Двадцатое столетие подорвало доверие к «подлинности» визуального послания.

## В преддверии Берлина

 Впереди – долгое пребывание в Германии. Но до этого в последней декаде февраля мне предстояло получить заказанную в январе в московском немецком консульстве визу и встретиться с московскими Нарскими. Если одним из адресатов детского фото-портрета 1966 года была мать моего отца, М. А. Нарская, сюжет о ней должен быть в книге.

Прилетев утром 20 февраля 2005 года в Москву, я прямо из аэропорта отправляюсь к Елене Алексеевне Нарской, папиной двоюродной сестре, благо живет она на пути из аэропорта Домодедово, в Борисовском проезде, неподалеку от станции метро «Домодедовская». Тащусь с сумкой на колесиках, буксующих на неочищенном от обильного снега тротуаре, по неуютно широкой, типичной улице «спального» московского района.

Елене Алексеевне 82 года, но она в хорошей для ее возраста физической форме: охотно рассказывает и много смеется, вспоминает легко и складно. Она очень похожа на сестру своей матери, Марию Александровну, мою подмосковную бабушку: маленькая (только полнее), с такими же чертами и выражением лица, говорит такой же скороговоркой с легко узнаваемыми интонациями. Глаза, в отличие от М. А. Нарской, не карие, а серые, как у большинства Нар-

ских старших поколений. Как и все Нарские, она весьма музыкальна. Почти всю жизнь проработала музыкальным работником, в том числе 37 лет – с детьми; владеет гитарой, балалайкой, фортепиано, аккордеоном и баяном. Во время войны она познакомилась в офицерском доме отдыха с находившимся там на лечении легендарным А. П. Маресьевым, прототипом главного героя романа Б. Н. Полевого «Повесть о настоящем человеке». Сама Елена Алексеевна послужила прообразом медсестры, научившей безногого летчика танцевать, только, конечно, не залихватский гопак, как показано в одноименном фильме, а фокстрот и танго.

Мы сидим в тесноватой кухне, в однокомнатной стариковской, довольно запущенной квартире, чаевничаем и беседуем втроем, с участием ее кухни Людмилы Борисовны. Беспреданно трезвонит телефон: деятельная Елена Алексеевна, как многие московские старушки, проводит много времени в телефонных разговорах – их излюбленной и почти единственно возможной форме общения в гигантской Москве.

Меня, несмотря на мое сопротивление, усердно пытаются угостить по-походному нагроможденной на маленьком кухонном столе едой. Разговор крутится вокруг священников Нарских, особенно Владимира Алексеевича, дедушки Елены Алексеевны (она – Нарская и по матери, и по отцу, дочь двоюродных сестры и брата), расстрелянного в 1938 году в Бутово. О происхождении московских Нарских – есть еще и польские – мои собеседницы, к сожалению, ничего не знают, кроме смутного семейного предания, согласно которому их предок, обладавший прекрасным голосом, был вывезен в Москву то ли из Польши, то ли с Украины и пел в хоре одной из первопрестольных церквей.

В связи с моими вопросами о Нарских Елена Алексеевна звонит племяннице репрессированного отца Владимира, 87-летней Марусе. Та многократно перезванивает и расспрашивает обо мне. Во время одного из очередных звонков на том конце провода трубку берет Марусина внучка Галя: она отчитывает Елену Алексеевну за то, что та пустила в дом невесть кого и отказывается сообщать какие-либо семейные сведения. С такой ситуацией я столкнулся впервые, но она мне понятна. И все же от неприятного осадка невозможно избавиться.

На следующий день, между как всегда многочисленными встречами, я сдал документы на получение визы и двумя днями позже – почти набегу – получил ее: как водится, пока на три месяца. Поздним вечером 21 февраля, взяв напрокат цифровую камеру у находившейся в Москве челябинской коллеги Оксаны Нагорной, я провел первую (крайне неудачную) пересъемку фотографий из собрания А. С. Пухальской.

Утром 22 февраля я отправился в город Железнодорожный на встречу с младшей сестрой моего отца Виолеттой и семьей ее дочери Веры. Я давно не бывал у них и, признаться, испытывал внутреннее напряжение. С Верой мы в детские годы были очень дружны. Но в начале 90-х между нами произошла нелепая телефонная размолвка, после которой мне появляться в Железнодорожном не хотелось. С тех пор тетя Виолетта несколько раз приезжала на встречу со мной в Москву. С Верой же я разговаривал по телефону лишь дважды – в мае 2001 года, когда останавливался у Елены Алексеевны по пути в большое турне с докладами в Германию, Швейцарию, Австрию и Израиль, и в январе 2005-го, чтобы договориться о встрече месяцем позже.

И вот я сижу в гостиной трехкомнатной, загроможденной мебелью квартире дома по улице Советской, в которой живут Виолетта Павловна (Кузнецова) и Вера (Демина) с мужем Евгением и сыном Романом. Мы с тетей Виолеттой одни в комнате; Веру я толком еще не видел – она хлопочет на кухне, готовя праздничный обед. Тетя, очень похожая на своего отца – широкоскулая и сероглазая, – рассказывает мне о своих родителях и бабушке, Надежде Васильевне Протопоповой, о моем отце и их общем голодном предвоенном и военном детстве. Повествует она несколько путано, как и ее старший брат, перескакивая с эпизода на эпизод, забегая вперед и неловко возвращаясь назад.

Наконец, члены семьи собираются за столом с обильным угощением. Скванность постепенно спадает, не без помощи приличной порции алкоголя. Языки развязываются, рассказы о нынешних заботах перемежаются с воспоминаниями о совместно пережитых случаях из детства и ранней молодости.

Вера – человек одаренный: поэтесса, музыкант, художница, специалист по иконописи и народным росписям. Она читает мне свои стихи последних лет, лиричные, с философским оттенком, иногда, на мой вкус, несколько вычурные. С таинственным видом, прикрывающим явное, тем не менее, смущение, она выуживает из одной из объемистых папок стих под названием «Кручина» – реакцию на нашу давнюю, глупую ссору:

Пена белого жасмина  
Опьяняла ароматом.  
И какая в том причина,  
Что поссорилась я с братом?

Разговор идет холодный  
На далеком, на немецком.  
Я змеюкой подколодной  
Обитаю на Советской.

Он исполнил все мечтанья –  
Академик и историк.  
Я забыла все желанья  
И страдаю от риторик.

Жизнь прошла. Забытой птицей  
Я кукую на болоте,  
Рядом с суетной столицей,  
Вся в волненьях и заботе.

Пена белого жасмина  
Опьяняла ароматом...  
А на сердце лишь кручина,  
Что не свижусь больше с братом.

После застолья по моей просьбе на стол выкладываются фотографии в коробках из-под конфет и старинный зеленый фотоальбом малого формата – под визитные фотокарточки – с золотым обрезом и изящной латунной пряжкой в стиле модерн. Это альбом нашей бабушки, оформленный, по всей видимости, в связи с окончанием ею епархиального училища. В нем – выцветшие фотографии ее родителей, дедушек и бабушек, вплоть до 70-х годов XIX века, друг по училищу, неизвестных молодых людей. Я переснимаю фотоальбом, фотографии деда, П. П. Нарского (Кузовкова), сделанные на состязаниях по легкой атлетике в 20-х годах, его студийный фотопортрет с маленькими детьми, Володей и Виолеттой – снимок на память перед вынужденным отъездом в Сибирь в 1934 году...

Ранним вечером Вере предстоит работа в художественной школе. Я провожаю ее. Мы прощаемся. Вера просит не забывать ее, в глазах и в голосе – слезы. Я и сам чуть не реву: сестричка, несмотря на творческие успехи, не производит впечатления безусловно счастливого человека.

В тот же вечер дома у Агнии Стефановны Пухальской и при ее языковой поддержке я делаю выписки из польского биографического справочника о поляках – участниках русской революции, а именно о Ксаверии Нарском и Бруно Янишевском-Нарском. О Ксаверии Станиславовиче я впервые узнал в челябинском архиве. Мне показывали его учетную партийную карточку начала 30-х годов, когда он работал в Магнитогорске. На его личные данные я вновь наткнулся в январе 2005 года, листая польский биографический справочник. После фамилии «Нарский» в скобках стояла другая – Насберг (еврейская? немецкая?). Может быть, Нарские были выкрестами?

Зная о сложном отношении папы к евреям, я издавна поддразнивал его, высказывая предположение, что у Нарских, несмотря

на православное священство, могут быть польско-еврейские корни. Такие конфессиональные переходы действительно не были редкостью в XIX веке.

Папа пописывает стихи, с технической точки зрения довольно неловкие. Среди них есть милое четверостишие:

Живу в профессорской семье,  
Их двое – мать и сын.  
Я слишком русский, лень учиться было мне,  
Пришлось таскать на сцене балерин.

Когда-то на мои предположения о возможном еврейском прошлом Нарских папа отреагировал внесением поправки в первую строку. Новое начало – «Живу в еврейской я семье» – разом изменило смысл стиха, еще более подчеркнув защищаемую отцом собственную русскую идентичность. Несмотря на очевидный комизм этого эпизода, мама всерьез возмутилась и заявила, что если он будет настаивать на новой версии, она с ним поссорится.

Интересно, что к мысли о еврейском происхождении Нарских я вернулся в январе 2005 года, но выписку из справочника о поляках-революционерах сделал лишь спустя месяц. Между двумя поездками в Москву у меня состоялся разговор, заставивший серьезно задуматься о месте еврейской проблематики в будущей книге. В конце января, после празднования моего дня рождения, когда большинство гостей уже разошлось, мы со священником Владимиром Андреевичем Устюговым неторопливо беседовали у распахнутого окна, с наслаждением вдыхая морозный воздух вперемежку с табачным дымом. Отец Владимир, стильно одетый приземистый брюнет с живыми темными глазами, примесью еврейской крови, светским (историческим) образованием и офицерским прошлым, сетовал по поводу запроса депутатов Государственной думы о запрещении в России еврейских организаций в ответ на убийство одного из московских раввинов – чуть ли не в день памяти Холокоста! Этот разговор наложился на недавнюю встречу с Володей Гречухиным, во время которой выяснилась подоплека конфликта между нашими дедами. Тогда-то я и решил, что еврейская тема будет одной из центральных в моем проекте.

Однако вернемся в Москву. Поздним вечером 23 февраля я сидел на кухне у Игоря Владимировича Кузнецова, давнишнего – с детских лет – папиного друга. Воздух сиз от клубов табачного дыма, мы попеременно пьем пятизвездочный «Арагат» и домашний самогон. Передо мною сидит высокий худощавый мужчина в летах, который мог бы без грима играть пожилого Дон Кихота: узкое лицо с выразительными глазами обрамлено седой шевелюрой и бородкой

клинышком. Игорь Владимирович, в честь которого я назван, рассказывает о моем отце времен учебы в хореографическом училище и работы в донецком театре, о спецнаборе в армию и военной службе; о неприятностях, обрушившихся на семью Игоря Владимировича в связи с браком его сестры в начале 40-х годов с сотрудником американского посольства (сестру в середине 40-х не выпустили из страны, а мать И. В. Кузнецова заставили уволиться с поста помощника коменданта Большого театра); о своих ухищрениях вырваться из армии, в которой он задержался на девять лет, поставив крест на карьере балетного танцовщика...

Следующим утром меня поднял на ноги звонок тети Виолетты, которая передала трубку Вере. Та говорит, что от бабушки остались документы: два паспорта, в том числе дореволюционный, трудовая книжка, удостоверения. Ну что ж, посмотрим в следующий раз, после Берлина...

Вечером я ужинаю у Лоры и Феликса Ивановых. Лора – дочь Исая Яковлевича Рыбкина, родного брата моей горьковской бабушки, генерал-майора, гордости и иконы семьи Хазановых (его фотопортрет долгое время, еще до моего рождения, висел в холле их горьковской квартиры). Муж Лоры Феликс Александрович (через два с половиной года он попросит меня, чтобы в будущей книге он фигурировал исключительно как «муж Лоры») – одно из главных действующих лиц операции «Карфаген» 1962–1963 годов, многомесячной акции Службы внешней разведки по выемке сверхсекретных документов из центра курьерской связи вооруженных сил США в Париже – только что выписан из больницы после операции. Я не видел Лору почти 30 лет (у Ф. А. Иванова я останавливался на пару дней в ее отсутствие в 1995 году), и вообще плохо ее знал, поэтому решил на первый раз обойтись без диктофона. Стол сервирован под изысканный европейский ужин, вино – безупречно. Между ужином и чаем Лора показывает мне архив отца – послужные списки, аттестационные листы, справки, автобиографию – и, конечно, семейные фотографии, в том числе моей мамы, каких я никогда не видел. Она сопровождает просмотр документов рассказом, начатым за столом, об отце и матери, о Большом терроре, войне. Когда я спрашиваю ее о моем деде, она мягко улыбается: «Я очень любила дядю Борю. Такой добрый, такой мудрый...»

Я внимательно слушаю, стараясь ничего не упустить, чтобы на обратном пути, в метро, подробно записать услышанное. Феликс Александрович, имя которого значится в учебниках для разведчиков разных стран, тоже внимательно слушает и молчит...

Через девять дней предстоит полет в Берлин. В Челябинске меня ждут хлопотные сборы, чтение и копирование отечественных книг о художественной фотографии, сканирование фотографий, ко-

торые понадобятся мне для докладов о проекте в Германии и Швейцарии, последние интервью, встречи, звонки.

Во время просмотра книги известного советского фотографа В. А. Никитина «Рассказы о фотографах и фотографиях» взгляд мой падает на название одной из глав: «Снимок на память». Надо бы поколдовать над ним – из него может получиться заголовок будущей книги...

Как это со мной часто случается во время всякой суеты, подготовка к отъезду сопровождается утратами. Правда, на этот раз все потери удалось вернуть: вечером 1 марта, проведенным в бане «Римские термы» в компании Бориса Ровного и Анатолия Молодчика, я оставил там свою любимую нательную иконку-складень; 2 марта, сканируя фотографии, забыл в копировальном салоне главную из них – портрет 1966 года.

Вечером 2 марта я показал эту фотографию Александру Данилову, моему однокласснику и оригинальному художнику. Саша долго рассматривает снимок и медленно, с паузами, высказывает свое впечатление: стилистика фотографии, конечно, более ранняя, скорее всего, довоенная; приятны композиция, поза, освещение, проработка, индивидуальная художественная постановка. Если бы не сандалии, догадаться о времени съемки было бы невозможно.

На следующее утро, после визита к врачу и другу Александру Зелю (в моем возрасте перед долгим отъездом из дому манкировать вердиктом хорошего российского врача было бы легкомысленно), я сижу в кафе близ «Киномакса». Мой визави – Дмитрий Григорьевич Графов, профессиональный фотограф высокого класса и директор издательства «Каменный пояс», с которым мы давно сотрудничаем. Мне нужно вернуть ему книги по истории и теории художественной фотографии и заодно – показать свой детский фотопортрет. Фото – самое обычное на первый взгляд, считает он. Чувствуется опытный взгляд и набитая рука горьковского фотографа: правильный свет, ракурс; все нужные элементы присутствуют. Но не все так просто: необычны кресло, шейная ленточка, тщательно подобранная одежда, хорошо инсценированное выражение лица и взгляд. Фото, считает он, сделано с пластины размером 18×24 или с листовой пленки 10×15, точнее сказать он не берется.

Перед отлетом делаю последний звонок в Нижний Новгород, в Русский музей фотографии. Как оказалось, Ольга Ивановна Симонова продолжала работу со старыми фотографами. Итог формулируется осторожно, но обнадеживающе: автором фотографии действительно мог быть Александр Голованов, известный среди горьковских фотографов начала 60-х годов.

Ну что ж, кажется, все необходимое для того, чтобы, покинув дом на несколько месяцев, продолжить на новом месте работу над проектом, сделано. 6 марта, в воскресенье, я лечу в Берлин.



## Соседство, контакты, конфликты



Мальчик не сомневается, что Бабушку и Дедушку все должны любить. Так оно и есть, на первый взгляд. В доме на улице Минина, принадлежащем Горэнерго, большинство из обитателей 28 квартир уже четверть века являются соседями, главы семей хорошо знают друг друга по службе. Дом спаян крепким, стабильным и в целом доброжелательным соседством.

Поздней весной несколько наиболее активных женщин, в том числе Бабушка, дружно хлопочут над высаживанием цветов на дворовой клумбе. Вечерами женщины, преимущественно из второго, более дружного подъезда (в первом, с более просторными, трехкомнатными квартирами, живет начальство, включая управляющего Горэнерго), подолгу сидят во дворе, обсуждают новости, «перемывают кости» менее общительным обитателям дома. С середины лета эти посиделки приобретают дополнительный смысл: нужно охранять клумбовые цветы от молодых людей, пробирающихся во двор за вожделенными букетами.

Когда Бабушка печет коврижку или печенье, часть выпечки она относит соседкам, прежде всего Вере Петровне Алексеевой с третьего этажа. Вера Петровна и Бабушка часто заходят друг к другу в гости. Иногда Бабушке удается уговорить Дедушку подняться к Алексеевым, и они вчетвером играют в карты. Но Дедушка не жалуется мужу Веры Петровны, Ивана Терентьевича: тот многословен и позволяет себе недоброжелательные замечания в адрес советского руководства. Посидев немного у соседей, Дедушка находит предлог, чтобы удалиться.

Бабушка очень общительна. Она любит ходить в гости и принимать дома людей, для Дедушки это – подлинная пытка. Он замкнут, сдержан и немногословен. «Нина, о чем я буду с ними говорить?» – каждый раз спрашивает он. Бабушка хотела бы принимать у себя и начальство, но все ее попытки давно разбились о принципиальное несогласие Дедушки. Так что горэнерговские руководители в их квартире никогда не появляются. Дедушку вытащить в гости почти невозможно: он ест только приготовленное Бабушкой и в гостях к пище едва прикасается – скорее из вежливости, чтобы не обидеть хозяев.

Круг их общения за пределами двора – Агронины, Беловицкие, Вербицкие, Орманы, Фридманы. К ним Дедушка относится по-разному. Он благоволит Максу Агронину, своему заместителю в Горэнерго, который моложе Дедушки лет на двадцать, и терпеть не может его супругу, пухлую яркую брюнетку: по его убеждению, она, как все работники торговли, нечиста на руку. Ему симпатичны талантливый строитель улыбчивый Матвей Фридман и его жена Феня и неприятен грузный Орман, сцепляющий руки на необъятном жи-

воте и покручивающий указательными пальцами, что так смешно копирует Мальчик, подложив под рубашку подушку. Ормана Дедушка считает жуликом.

Бабушке хотелось бы иметь обширный и веселый круг надежных друзей и знакомых, как это было в молодости, в Осиновке и Балахне. Иногда она делает на листочках выписки из книг, в том числе такие: «Жизнь – счастье в труде, друзья – большое богатство»; «Хороший друг дороже золота, хороший сосед – сокровище». Но сдержанность Дедушки, к сожалению, ставит ее активность в жесткие рамки.

Единственная соседская семья, с которой у Дедушки и Бабушки, мягко говоря, натянутые отношения (а сказать по правде – многолетняя «холодная» война), – это Гречухины с первого этажа их подъезда, с внуком которых, Володей, дружит Мальчик. Давным-давно, лет двадцать назад, отношения между Гречухиными и Хазановыми были другими. Когда младший сын Гречухиных отправлялся на рыбалку, Нина Яковлевна делала ему заказ: «Валерка, принеси щуку!» Когда тот возвращался с уловом, она спускала с балкона длинную палку для сушки белья с крюком на конце, которым подтягивала наверх увесистую рыбину. Приготовив заливную или фаршированную щуку, она делилась и с соседями-рыболовами.

Теперь все не так. Правда, Бабушка иногда покупает рыбу у старика Гречухина, но их соседские отношения безнадежно испорчены. Бабушка и Дедушка между собой именуют Гречухиных не иначе как «Гречухами» или «Гречушкиными». Они ревниво следят за каждым шагом Гречухиных, попадающим в их поле зрения, – будь то работа в садике, якобы незаконно, по убеждению Бабушки и Дедушки, разбитом на дворовой территории, приведение в порядок рыболовных снастей на южной стороне двора или разговоры на скамейках.

Конечно, внешне все вполне прилично: они сухогато здороваются друг с другом, Бабушка может поддержать разговор с Галиной Евдокимовной в компании женщин на скамейке у клумбы, но часто, завидев приближающуюся Гречухину, Бабушка демонстративно покидает скамейку, сославшись на дела.

Леонид Иванович Гречухин – Володя зовет его «деда Ленья» – полная противоположность Дедушке, которого он, наверное, считает белоручкой и неумехой. «Деда Ленья» вечно что-то мастерит, строгаёт, пилит. Он заядлый рыбак и во дворе часто занят приведением в порядок своей рыболовной «амуниции». У него ловкие, сильные огрубевшие руки с пожелтевшими от курения пальцами, из которых он складывает замысловатые фигуры, превращающиеся в тени птиц и животных. Он с удовольствием возится с детьми, показывает фокусы с монеткой, загадывает загадки, рассказывает рифмованные истории без начала и конца:

Вот иду я через мост:  
На мосту ворона сохнет.  
Взял ворону я за хвост,  
Положил под мост –  
Пусть ворона мокнет.

Вот иду я через мост:  
Под мостом ворона мокнет.  
Взял ворону я за хвост,  
Положил на мост –  
Пусть ворона сохнет и т. д.

«Деда Леня» – высокий, сухощавый и сутулый, с седой щетиной на щеках. После того, как его сбила машина, он туг на ухо. Говорит громко, так что Дедушка, читающий на балконе газету, может его хорошо слышать. Гречухин тоже частенько разворачивает газеты, сидя на скамейке у своего садика. «Болтология! Демагогия!» – зычно комментирует он хриплым, с металлом, голосом написанное в «Правде» и «Известиях», прежде чем погрузиться в удовлетворенное молчание при чтении «Советского спорта». Дедушку его комментарии приводят в бешенство.

К Мальчику «деда Леня» относится без особой симпатии. Будущий мужчина не может ограничиваться занятием музыкой и чтением книг. Он называет Мальчика «маменькиным сынком» и «чистюлей», видя, как тот с отвращением смотрит на копошащихся в консервной банке жирных белых личинок мух и на зловонный сухой рыбий корм. Все эти рыболовные приманки, к ужасу Мальчика, Л. И. Гречухин перебирает голыми руками. Он тушит папиросы смоченными слюной пальцами с толстыми нечистыми ногтями и предлагает любопытному Мальчику проделать такой же фокус. Мальчик обжигает пальцы, довольный «деда Леня» смеется: так и есть, белоручка!

Гречухины не любят евреев. Как-то раз Мальчик и Володя, играя во дворе, сломали детский велосипед Игоря Лернера из соседнего подъезда, внука знаменитого кораблестроителя М. И. Лернера (из 54 подводных лодок, построенных в СССР во время войны, 12 построил Михаил Исаакович). Велосипед был красивый – красный, в форме ракеты. Маленький, тщедушный белобрысый Игорек с плачем побежал жаловаться своей бабушке, строгой Зинаиде Федоровне (Пономаревой). Мальчик тут же ретировался домой и тайком, с балкона, из густого зеленого Бабушкиного укрытия, наблюдал за происходящим во дворе. А Володя юркнул в густые заросли сирени и конопли между восточной стороной дома и деревянным забором. Безуспешно пыталась тетя Люся, младшая дочь «деды Лени» и «бабы

Гали», обнаружить племянника. Когда, наконец, он покинул укрытие и «с повинной» вернулся домой, Галина Евдокимовна выговорила ему: «Сколько тебе раз говорили – не связывайся с Лернерами. Яврей – он и есть яврей!»

Дедушка, наблюдая с балкона за передвижениями Гречухина, утверждает, что он типичный царский унтер-офицер, бывший солдат по «мордам». Может быть, Дедушку в армии тоже бил унтер-офицер? Может быть, Б. Я. Хазанов, проведший детство в преимущественно еврейском Быхове, впервые столкнулся с проявлениями антисемитизма в армии? Не поэтому ли юдофобия Гречухина вызывает в его памяти образ царского унтер-офицера – образ, который заставляет Дедушку багроветь и дрожать от ненависти?

В домашнем быту Хазановых – множество следов их еврейского прошлого. В кулинарном репертуаре Бабушки – кисло-сладкая курица или телятина (эссиг флейш), фаршированные мукой с шкварками куриные шейки и заливная рыба, фаршированная щука (гефилте фиш) и форшмак (геакте эренг), печеночный паштет (геакте лебер) и бульон с клецками, холодный свекольник (калте буречкес) и цимес, маковая баба и тейглах. Разговоры, не предназначенные для ушей ребенка, ведутся на идиш, в котором к 60-м годам Бабушка и Дедушка чувствуют себя не очень уверенно. По праздникам на проигрывателе слушаются пластинки с еврейскими песнями, в которых Бабушка еще способна кое-что перевести.

Дедушка пытается обучить внука еврейскому алфавиту, но дальше написания имени «Игорь» справа налево дело не идет. Нетерпеливый внук после первой же описки впадает в истерику, и Дедушка оставляет свои попытки. Зато он с успехом поет Мальчику еврейские песни. Несильным, чуть дрожащим баритоном он выводит песенку про несчастья, которые падают на бедную еврейскую голову:

Хот а ид а вайбеле,  
Хот ер фун ир цорес,  
Хот а ид а вайбеле,  
Тойг зи ойф капорес.

Или песенку с очень красивой мелодией про учителя, который обучает детей грамоте в жарко натопленной избе, заставляя их снова и снова повторять звук «О»:

Ойфн припечик брент а файерле,  
Ун ин штуб из хейс,  
Ун дер ребе лернт клейне киндерлех  
Дем алеф-бейс.  
Зет же, киндерлех, геденкт же, тайерле,

Вос ир лернт до;  
 Зогт же нох а мол, ун таке нох а мол:  
 Кометс алеф – О.

Вытягивая долгий звук «О», Дедушка смешно выпучивает глаза.

Мальчик, обладающий недурным слухом, усваивает песни сходу. Довольные Дедушка с Бабушкой смеются, слушая, как внук коверкает непонятные слова в залихватском марше на смеси русского и идиш:

Марш вперед, их гее бот,  
 Крац мир ум ди плейце,  
 Марш вперед, их гее бот,  
 А данк дир фар ди рейце.

Но знакомство с еврейским миром не будет веселым путешествием по экзотическому прошлому. Дедушка расскажет внуку о погибших во время войны старшем брате Павле и любимой сестре Голде. Массовое убийство евреев нацистами в Советском Союзе не является официально одобряемой темой публичного обсуждения, хотя пронзительное всеобщее молчание уже прервано опубликованной в 1961 году поэмой Е. А. Евтушенко «Бабий яр». В Израиле еще не сложилась культура Холокоста. Рассказывая, Дедушка очень волнуется, в глазах у него стоят слезы, губы горестно подрагивают – такого Мальчик раньше не видел. «Они убили мою Голю...» – в отчаянии шепчет Дедушка. Каждый раз, когда по телевидению транслируется фильм «Цирк», Дедушка и Бабушка напряженно ждут, когда на экране на несколько секунд появится Соломон Михоэлс – самый известный советский еврей, убитый в 1948 году сотрудниками НКВД. Старики хотят непременно показать его внуку. Говорить о преследовании евреев сталинским режимом в советском обществе тоже не принято.

Однако через год, летом 1967-го, попытки Дедушки хоть чуть-чуть познакомить внука с культурой своего народа будут прекращены. Смолкнут и разговоры на идиш. В июне 1967 года произойдет шестидневная израильско-арабская война. Первой реакцией на эту новость сидевшего вечером 10 июня перед телевизором Дедушки, лицо которого от волнения покраснело и напряглось, было смешанное чувство возмущения и отчаяния: «Что они делают?! Они не думают о том, что будет с нами?!»

Я представляю себе, в какое смятение повергла Б. Я. Хазанова первая полоса «Горьковской правды» за 12 июня 1967 года. Она была озаглавлена «Обуздать агрессоров! Гневный протест горьковчан» и вся посвящена этой неожиданной войне. Статьи – одна хлеще другой: «Верные интернациональному долгу» – о митинге рабочих

мартеновского цеха завода «Красное Сормово»; «Нота советского правительства правительству Израиля» – о разрыве дипломатических отношений с угрозами принятия санкций; «Заявление ВЦСПС» – в поддержку позиции правительства, с гневным осуждением «израильских империалистов»; «Серьезное предупреждение» – о митинге на телевизионном заводе имени В. И. Ленина в поддержку «свободолюбивых народов Арабского Востока». Со снимков газетного репортажа смотрят суровые рабочие лица. А вот и международные отклики, тоже не всеяющие оптимизма: «Чехословакия и Болгария порвали отношения с Израилем»; «Заявление правительства Венгрии» с угрозой принять «необходимые меры в отношении между двумя государствами»; зарубежные отклики на заявление руководителей семи социалистических стран на встрече в Москве о готовности «дать решительный отпор Израилю»... действительно, что же теперь будет с советскими евреями?

Кажется, тем же летом произошла история, которая повергла Мальчика в растерянность. Теплым тихим вечером они с Бабушкой и Дедушкой спустились по деревянной лестнице Откоса на пляж, чтобы посидеть на берегу Волги, полюбоваться закатом. На Дедушке – коричневый костюм с вузовским ромбиком на лацкане, рубашка с галстуком и неизменная соломенная шляпа; Бабушка – в сшитом ею ярко-желтом с черными листьями платье. Они разулись на опустевшем пляже и стали неторопливо подыскивать место почище и поближе к воде. Наверное, забавно было наблюдать со стороны за пожилой супружеской четой с внуком, нарядно одетой и босой, которая осторожно передвигалась, отбрасывая длинные тени, по теплому песку, розовому в лучах вечернего солнца.

Едва они расположились на покрывале в нескольких метрах от воды, как об их одежду зашуршали брошенные им в спину пригоршни песка. Недалеко от них сидела семья – муж, жена и двое детей лет восьми-десяти в купальных нарядах. Широкое славянское лицо главы семьи, красное то ли от солнца, то ли от алкоголя, сияло довольной улыбкой. Он и его дети продолжали обстреливать песком непрошенных соседей, вынудив их поспешно удалиться.

Вероятно, старики с ребенком испортили им вид на величественную «русскую» реку. Резко обернувшись к мужчине, поощрявшему детей на обстреливание нежелательной тройцы, Дедушка пришел в состояние, в котором его мало кто видел. Он побагровел, затрясся от ярости и громко выкрикнул незнакомое Мальчику слово: «Антисемит!»

Это столкновение с демонстративной юдофобией было первым для Мальчика, но не для Дедушки и Бабушки. Время от времени они должны были испытывать чувство незащитности, ощущать недружелюбие местного населения.

«Простые» горьковчане были народом приветливым и словоохотливым. В отличие от москвичей они с удовольствием останавливались с приезжими и охотно помогали им найти дорогу. Они говорили нараспев, подчеркивая ударную «о» и проглатывая безударную, заменяя «э» на «а», «е» на «я», безударную «а» на «о». В местном говоре «железобетонный» превращался в «жалезбятоннай», «еврей» – в «яврей». Свое удивление или восхищение жители Горького выражали очаровательно-наивным междометием «эх-ай-яй».

Но их поведение на улице, их «культурность» далеко не соответствовали представлениям Бабушки и Дедушки о нормах общепития. Если бы Хазановы были знакомы с исторической литературой, они не удивились бы, узнав, какие новые слова вынес из общения с нижегородской аристократией немецкий путешественник XVII века Олеарий: «блединсин», «суккинсин», «бутцвиу матир». В XX столетии от старинной элиты не осталось и следа – об этом позаботились репрессии, голод, эмиграция, «лишенство», – а «старинные» слова остались.

Во время игры в карты с Вербицкими Дедушка и особенно Бабушка могли себе позволить разговоры о русском хамстве и антисемитизме, за карточной игрой с милейшей Верой Петровной и ее мужем – ни за что. Когда в 60-х годах младшая внучка Хазановых Наташенька при получении паспорта собиралась из принципа записаться еврейкой (к тому времени она уже неоднократно сталкивалась с проявлениями юдофобии по отношению к себе и своим близким), Дедушка настаивал на том, чтобы она выбрала национальность своего русского отца: он был убежден, что в России евреем быть нельзя.

Однако вернемся на Минина, 19а. Напряженные отношения Хазановых с Гречухиными, конечно, осложняли дружбу их внуков. Дедушка и Бабушка не одобряли этого приятельства, Володя не был вхож в их дом. Правда, Володю они жалели. Он жил в то время с матерью неподалеку, на улице Лядова, в старинной, обветшалой двухэтажной постройке. Возвращаясь с рынка, Бабушка первым делом, завидев во дворе внука, открывала заветную сумочку-корзинку, в которой на бумаге, чуть тронутой розовыми пятнышками клубничного сока, были уложены душистые ягоды «виктории». Достав самую красивую ягоду, она угощала внука, а затем, мгновение помедлив, вынимала следующую и протягивала Володе: «На, держи, хулиган!»

Как-то утром друзья сидели в своем любимом укрытии, в конопле на залитой солнцем восточной полоске двора. Неожиданно Володя сказал, вероятно, воспроизводя услышанное дома от «деды Лени»: «А дед-то у тебя – того...» И смачно щелкнул себя указательным пальцем по уху. Мальчик смолчал. Он не знал, что обозначает этот жест, но заподозрил недоброе. Вернувшись домой, он какое-то время помучился, а потом, не вытерпев, обратился к Бабушке за разъ-

яснением. Та, выпытав у внука обстоятельства, при которых он стал обладателем «нового знания», возмутилась и поспешила в комнату к Дедушке. «Борис, ты только послушай!» – донеслось до Мальчика. Отношения между соседями становятся еще более натянутыми.

## Советские евреи

**И** Нина Яковлевна и Борис Яковлевич были евреями. Отцов Хазановых (хазан – главный певчий в синагоге) звали не Яковами, а Янкелями, и отец Бориса был не учителем, как записано в партийном регистрационном бланке Б. Я. Хазанова, а меламедом в хедере (дословно меламед – «тот, кто побуждает к учению»). Мать Н. Я. Хазановой звалась не Евгенией, а Зельдой Ицковой. Старший брат Бориса Хазанова (как и его дед) был не Павел, а Палтиел. Свою старшую дочь Нина и Борис называли не Мирой, а Мириам, и самому Борису при рождении дали совсем другое имя. 22 июля 1907 года Быховский общественный раввин выписал свидетельство № 166 для предъявления в учебное заведение. В нем говорилось:

«...в метрической книге части 1-ой о родившихся евреях по городу Быхову за 1894 год под № 60 мужеской графы записан акт следующего содержания:

Тысяча восемьсот девяносто четвертого года, Сентября седьмого дня от отца Быховского мещанина Янкеля Палтиелева Хазанова и матери Ханы родился сын, которому при совершении над ним обряда обрезания дано имя “Борух”».

В 1919 году Борух Янкелев «превращается» в Боруха Янкелевича, а с 1922 года он значится во всех документах как Борис Яковлевич. В служебной карте государственного служащего 1925 года он еще записал в качестве родного языка еврейский, но пятнадцатью годами позже считал родным русский, наряду с которым свободно владел еврейским и белорусским. Несмотря на отсутствие документальных свидетельств можно с уверенностью предположить, что аналогичную ассимиляционную эволюцию пережила и его жена.

Их дети не знали ни единого слова ни на идише, ни на иврите. В семейном предании Хазановых сохранился анекдот, согласно которому маленькая Мириам, пожелав попросить у родителей пирожок с маком на тайном языке, чтобы присутствовавшие гости остались в неведении, изобрела выражение «пíрожкис макес». (Вероятно, родители все же, вопреки воспоминаниям Миры Борисовны, в 20-х годах еще пользовались идишем, по крайней мере, если не желали посвящать ребенка в свои секреты.)

У Бориса и Нины не осталось и следа иудейской религиозности. В конце 20-х Б. Я. Хазанов руководил в Осиновке кружком «безбожников», а в 60-х пересказывал внуку библейские сюжеты по



«Забавной Библии» Лео Таксиля. Хазановы могли наизусть продекларировать кое-что из Пушкина и Некрасова и считали себя советскими интеллигентами, хранителями русской культурной традиции.

И все же в их повседневной жизни настойчиво проступали приметы еврейского происхождения. Дом был идеально чист, правила личной гигиены соблюдались неукоснительно; дети воспитывались в строгости и уважении к родителям; в круг общения входили почти исключительно евреи. Хазановы не чтили субботу и не придерживались иудейских предписаний ведения домашнего хозяйства, но на стол подавались почти одни восточно-еврейские блюда. Борис Яковлевич отказался от чеснока – обязательного ингредиента еврейской кухни и предмета антисемитских насмешек, но наложил на себя строгие пищевые табу, ограничив набор «кошерной» (то есть годной к употреблению, «правильно» приготовленной) пищи исключительно тем, что готовила Нина Яковлевна. Они не праздновали еврейских праздников, но в пейсах на столе всегда стояла маца.

Н. Я. и Б. Я. Хазановы прошли жизненный путь, типичный для большинства «простых» советских евреев. В конце XIX и в XX веке, наряду с исходом в США и Палестину (Израиль), российские евреи пережили две грандиозные внутрироссийские миграции: за последнее 20-летие существования Российской империи более миллиона их переселилось из деревень и местечек в большие города, не покидая черты оседлости. Примерно столько же покинуло черту оседлости в 20–30-х годах, чтобы пополнить городское население СССР. К 1939 году почти половина советских евреев проживала в 11 крупнейших городах Советского Союза. Хазановы участвовали в обеих миграциях.

Индустриализация страны в эпохи Витте и Сталина подорвала еврейскую экономику и, одновременно, открыла евреям новые возможности, помимо прочего приведя в движение еврейскую молодежь. Царское правительство осуществляло промышленный рывок без отмены сегрегации в отношении евреев, до предела обострив «еврейский вопрос». Советское правительство отменило «еврейский вопрос», преследуя в 20-х – начале 30-х годов антисемитов и превратив евреев в подобие немцев царской России – в опору советской бюрократии. Для успешного продвижения в раннем СССР Б. Я. Хазанову не нужно было менять ни имени, ни веры, ни профессии: он уверенно делал карьеру в типично «еврейской», финансово-коммерческой сфере, в профессии, в которой он и до революции чувствовал себя, как рыба в воде.

Так же, как повсюду в Центральной и Восточной Европе, успех советских евреев сопровождался уходом из родительского дома, разрывом с иудейской традицией и овладением культурой титульной нации (в СССР – русской культурой). Хазановы пределали

этот путь вместе с большинством соплеменников. Для Боруха Янкелева, как для многих его сверстников, «проводниками» в новый, русский мир стали русское образование и Первая мировая война. К моменту переезда в Балахну Хазановы были образцовыми советскими интеллигентами: «Быть советским интеллигентом 30-х годов значило быть безусловно советским (преданным делу строительства социализма) и одновременно истинным интеллигентом (преданным делу сохранения культурного канона)» (Слезкин Ю., 308).

Большой террор 30-х в СССР задел евреев куда меньше, чем другие этнические группы: в 1937–1938 годах по политическим обвинениям был арестован 1 % евреев, в отличие от 16 % поляков и 30 % латышей. Они оказались единственной советской диаспорой без исторической территории в границах СССР, не подвергшейся этнической «чистке».

Из родственников Хазановых от репрессий непосредственно пострадал только старший брат Бориса Павел, получивший небольшой по тем временам срок лишения свободы и вернувшийся из ссылки накануне нападения Германии на СССР. Причиной доноса, скорее всего, стало стремление завладеть жильем Павла, так как вскоре после ареста в одну из принадлежавших ему комнат въехала другая – кстати, тоже еврейская – семья. Но младший брат полагал, что Павел пострадал за прошлое своей жены, которая в молодости была членом Всеобщего еврейского рабочего союза Бунд. Поэтому сомнений в обоснованности наказания старшего Хазанова у Бориса, скорее всего, не возникало.

Жертвой Большого террора в Балахне стало почти все начальство Гогрэс. На допросы вызывались и Хазановы. Тем не менее, Б. Я. Хазанов на волне репрессий сделал еще один – самый решительный – шаг в своей карьере, став главным бухгалтером огромного предприятия и перебравшись из уездного захолустья в один из крупнейших городов СССР. «Чистки» 30-х годов не были связаны с охотой на евреев. Многие из них попали в эту мясорубку, но как политические, а не этнические враги.

«А потом произошли сразу две подспудные революции. Во второй половине 30-х годов, вслед за установлением развитого сталинизма и особенно во время Великой Отечественной войны Советское государство, управляемое выдвиженцами из русских рабочих и крестьян, начало ощущать себя законным наследником российского имперского государства и русской культурной традиции. И одновременно с этим, вслед за приходом к власти нацистов и особенно во время Великой Отечественной войны, некоторые представители советской интеллигенции, недавно клейменные биологической национальностью, начали ощущать себя евреями» (Слезкин Ю., 355).

Ощущение несправедливости по поводу того, что евреи стали «хозяевами жизни» в СССР, владевшее в межвоенный период теми, кто не одобрял большевиков и не мог примкнуть к советской интеллигенции, овладело в 40-х годах и новой партийно-политической и профессиональной элитой. Чувство этнических корней, с которыми советские евреи без сожаления расстались в русской революции, вернулось к ним с новой, причиняющей боль силой. Оно подпитывалось нацистским «окончательным решением» еврейской проблемы и ростом бытового антисемитизма на оккупированной территории, в эвакуации, а затем – расцветом государственного антисемитизма в последние годы сталинского режима.

В послевоенном СССР евреи почувствовали вокруг себя двоякую пустоту – пустоту окружавшей их неприязни и зияющие дыры утрат: около миллиона советских евреев погибло от рук нацистов (по другим данным – каждый второй советский еврей). Из троих сестер и братьев Б. Я. Хазанова погибли двое. Во время попытки эвакуироваться из Белоруссии вместе с Голдой Хазановой летом 1941 года погибли ее муж Адам Бокановский и четверо детей – Люба, Адам, Яков и Хана; в ноябре 1941 года в гетто в Клинцах Брянской области сгинули Павел Хазанов и его жена Фаня Гезенцвей.

После начала «холодной войны» и образования государства Израиль отношение советского государства к евреям драматично изменилось. Они превратились в этническую диаспору, у которой появилась родина. И эта родина была буржуазной и враждебной Советскому Союзу: «еврейская национальная форма стала признаком враждебного буржуазного содержания» (Слезкин Ю., 385). В 1946 году началась травля литераторов, писавших на идиш. Газеты в ядовитом тоне стали говорить о «безродных космополитах», пересидевших в Ташкенте Великую Отечественную войну. После убийства 13 января 1948 года председателя Еврейского антифашистского комитета, крупного театрального и общественного деятеля с международной известностью Соломона Михоэлса советские евреи почувствовали себя незащищенной мишенью безжалостного государства. Год спустя были произведены аресты членов Еврейского антифашистского комитета. В 1952 году 13 из 15 арестованных осуждены на смертную казнь. В марте 1949 года кампании по разоблачению «безродных космополитов» провели «сливки» советской интеллектуальной элиты: историки и экономисты АН СССР и московская секция Союза писателей СССР.

Антиеврейская кампания достигла апогея в начале 1953 года в связи с «делом врачей». Леденящая кровь история о евреях – «убийцах в белых халатах» – вызвала массовую панику и истерию. Опустели клиники – люди боялись идти на прием к врачам-евреям; волна антисемитских слухов, оскорблений и физических расправ захлестнула общество, захватив и детей. В первые месяцы 1953 года и евреи,

и неевреи активно обсуждали слухи о готовящейся депортации диаспоры. В том, что она неизбежна, сомнений не было: на памяти были массовые принудительные переселения немцев, крымских татар, чеченцев. Некоторые к ней готовились. По воспоминаниям Иосифа Бродского, его родители накануне смерти Сталина продали рояль, начав тем самым избавляться от наиболее громоздкого имущества, бесполезного в дальнем вынужденном путешествии.

Гонения на евреев задели Хазановых больше, чем Большой террор. Но в целом урон, причиненный антиеврейской кампанией, был не столь тяжким, как можно было бы предположить. Брату Н. Я. Хазановой, генерал-майору И. Я. Рывкину, не присвоили очередное генеральское звание, к которому он был представлен в 1945 году, и вскоре вынудили выйти в запас. (То же самое, вспоминает И. Бродский, произошло с его отцом якобы в связи с каким-то решением политбюро, запрещавшим лицам еврейской национальности иметь высокие офицерские звания.) Его дочь Лору не хотели принимать в аспирантуру и ординатуру. Не приняли в аспирантуру и сына старшего брата Б. Я. Хазанова, Абрама Павловича. Младшую дочь Нины и Бориса, Тамару, учившуюся в Ленинградской консерватории, на рубеже 1950–1951 годов обвинили в краже у сокурсниц трико (для занятий хореографией) и чуть не исключили с последнего курса вуза и из кандидатов в члены КПСС.

Но Хазановы считали, что могло быть и хуже, и они отделались малой кровью. Когда ленинградская история дочери разрешилась относительно благополучно (дело ограничилось партийным замечанием и вручением диплома с отличием не в торжественной обстановке, в актовом зале, а кулуарно, в отделе кадров), отец вздохнул с облегчением: она должна благодарить Бога, что все так закончилось.

Сам он в мае 1952 года был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Начальство Горэнерго готовило документы на орден Ленина, но на партбюро кто-то выступил против. Б. Я. Хазанов не сомневался, что за возражениями против высокой награды скрывалось его еврейское происхождение. В тот вечер, когда было принято решение партбюро, он вернулся домой белый как мел. «Но почему? Почему?!» – всплеснула руками Н. Я. Хазанова. «А ты не гадываешься, почему?» – возразил он. Больше эта тема дома не обсуждалась. Орден Ленина достался его заместителю.

Старшая дочь Бориса, Мириам, светловолосая молодая женщина-врач с русской фамилией, на счастье оказалась во время «дела врачей» на курсах повышения квалификации в Москве, где благополучно переждала антисемитскую травлю. Действительно, могло быть и хуже.

После смерти Сталина антиеврейская кампания выдохлась. В апреле 1953 года арестованных врачей отпустили, Лидия Ти-

машук, на показаниях которой строились обвинения, была вынуждена вернуть орден Ленина, доставшийся ей незаконно. В 50–60-х антисемитизм официально не поощрялся. Однако слово «еврей» оставалось в русском языке редко употребляемым. Как заметил И. Бродский, «по статусу оно близко к матерному слову или названию венерической болезни» (Бродский И., 74). Положение советских евреев оставалось двойственным. Они вернулись в советскую элиту, и их официально не преследовали. Они не были угнетены больше других национальностей, но «ощущали себя более униженными по причине их более высокого и более уязвимого положения в советском обществе» (Слезкин Ю., 436).

Б. Я. и Н. Я. Хазановы чувствовали бремя этой двойственности. Время от времени им – говорящим по-русски лучше многих русских – давали понять, что они чужаки, занимающие не положенное им место. Оскорбление в городском транспорте или косой взгляд соседа «заботились» о поддержании у них ощущения чужеродности и мании преследования. И даже то, что обе дочери вышли замуж за русских, не вселяло спокойствия за завтрашний день внуков.

### Ранние социологические интерпретации фотографии



Двадцатое столетие подорвало доверие к «подлинности» визуального послания. Острое ощущение «лживости» визуальных свидетельств, в том числе фотографических, получило освещение в трудах «классиков» истории фотографии второй трети XX века: Вальтера Беньямина (1892–1940), Зигфрида Кракауэра (1899–1966), Гизелы Фройнд (1912–2000), Вилема Флюссера (1920–1991), Пьера Бурдье (1930–2002), Сьюзен Зонтаг (1933–2004). Их анализ фотографии был связан с критическим восприятием современных социально-политических порядков и в ряде случаев, особенно у В. Беньямина и Г. Фройнд, опирался на марксистскую критику капитализма. Так, фотопортрет XIX столетия, по убеждению Беньямина, находился на службе поднимающейся буржуазии, а его закат Фройнд в своей докторской диссертации о французской фотографии XIX века связывала с выходом на политическую арену мелкой буржуазии. З. Кракауэр и С. Зонтаг критиковали фотографию как средство манипуляции и сокрытия действительности. Кракауэр, анализируя иллюстрированные журналы, еще в конце 20-х годов пришел к выводу, что фотография не может удержать информацию и без знания контекста ее создания ничего не дает. В этой связи он оценивал иллюстрированные журналы как мощное средство забастовки против познания в руках правящей элиты. С ним солидаризировался Беньямин, выражая уверенность, что директивы, которые получает в виде подписей к фото-

графиям читатель иллюстрированных журналов, в фильмах, с помощью последовательности кадров-изображений, станут еще точнее и повелительнее. Фотография создает фиктивную действительность и является инструментом контроля на службе политики и капитала, ее сила – в способности рождать иллюзию реальности и достоверности, считали Фройнд и Зоннтаг. По мнению В. Флюссера, изображения «должны были стать путеводными картами, а становятся ширмами: вместо того, чтобы представлять мир, они скрывают его, так что человек в конце концов начинает жить в функции созданных им изображений» (Flusser V., 9). Фотография становится своего рода моделью жизни, и люди начинают думать в категориях фотографии, которая заменила базовые структуры человеческого сознания. Флюссер был озабочен созданием философии фотографии, считая, что она должна заново поставить и решить вопрос о человеческой свободе в новом контексте индустриального массового общества, которым овладевают технические аппараты. Фройнд также разделяла характерное для ранних социологических интерпретаций фотографии опасение, что жизнь будет подменена фотоснимками, а текст – изображениями, замечая, как семейный фотоальбом успешно вытесняет дневники, письма и мемуары.

Однако для создателей ставших хрестоматийными текстов по теории и истории фотографии последняя не являлась исключительно поводом для критики современного общества. «Классики» фотографии, в отличие от защитников ее принципиальной принадлежности к искусству, выдвинули тезис о том, что фото качественно отличается от произведения искусства и является совершенно самостоятельным медиумом, теснящим конкурентов. Они отказались от нормативного подхода к фотографии в пользу подхода понимающего, опираясь на феноменологию и теорию восприятия.

Фотография, по мнению В. Беньямина, не просто потеснила искусство, но и в определенном смысле оказала на него влияние: *«На рубеже XIX и XX веков средства технической репродукции достигли уровня, находясь на котором они не только начали превращать в свой объект всю совокупность имеющихся произведений искусства и серьезнейшим образом изменять их воздействие на публику, но и заняли самостоятельное место среди видов художественной деятельности»* (Беньямин В., 72). Эпоха технического воспроизведения искусства лишила его прежней ауры и масштаба подлинности.

Г. Фройнд характеризовала фотографию как величайший прогресс в истории человечества, поскольку она научила видеть мир другими глазами. В. Флюссер был убежден, что двумя важнейшими вехами в истории культуры стали изобретение линейного шрифта в середине II тысячелетия до н. э. и «изобретение технических изображений» (Flusser V., 7), причем второе он оценивал как не менее зна-

чимое историческое событие, чем первое. Флюссер пришел к выводу, что кризис современной культуры – это кризис перехода от текстовой культуры к визуальной как одно из воплощений движения от индустриального общества к постиндустриальному. С. Зонтаг также была убеждена, что «...воспитание через фотографию – вовсе не то же самое, что воспитание на более старых изображениях, в большей степени отмеченных ремесленной техникой» (Sontag S., 9). В эссе «В пещере Платона» она подчеркивает, что массовое фотографирование создает новую культуру зрительного восприятия:

«...НЕНАСЫТНОСТЬ ФОТОГРАФИЧЕСКОГО ГЛАЗА ИЗМЕНЯЕТ УСЛОВИЯ, В КОТОРЫЕ МЫ ЗАКЛЮЧЕНЫ В ПЕЩЕРЕ НАШЕГО МИРА. ОБУЧАЯ НАС НОВЫМ ВИЗУАЛЬНЫМ КОДАМ, ФОТОГРАФИИ ИЗМЕНЯЮТ И РАСШИРЯЮТ НАШЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ТОМ, ЧТО ДОСТОЙНО СОЗЕРЦАНИЯ И ЧТО МЫ ИМЕЕМ ПРАВО РАЗГЛЯДЫВАТЬ. СУЩЕСТВУЕТ ГРАММАТИКА И, ЧТО ЕЩЕ ВАЖНЕЕ, ЭТИКА ЗРЕНИЯ» (там же).

Сущностная черта фотографии – фикция, считала Г. Фройнд. Сила фотографического изображения в том, что оно создает иллюзию реальности, искусственную действительность. Фото способно представлять ситуацию или настроение в качестве реального и достоверного, вне зависимости от того, соответствует ли ситуация или настроение действительности.

Признание за фотографией статуса оригинального, самостоятельного медиума с неизбежностью поставило вопрос о необходимости иных подходов к интерпретации фотографий, чем к толкованию произведений искусства. Фото работает по принципу психоанализа, считал В. Беньямин: оно прорывает поверхность реального, открывает сокрытое, случайное и иррациональное. Но этот прорыв фотография осуществляет не сама, а усилиями интерпретирующего субъекта. «За фотографией человека, – писал З. Кракауэр, – его история погребена, как под снежным покровом» (Kracauer S., 26).

У В. Беньямина и С. Зонтаг, и не только у них (а, например, у Ф. Кафки и Р. Барта), встречается ассоциация фотографирования со смертью – ощущение, не возникающее при контакте с произведением искусства и другими визуальными объектами. «Фотография – элегическое искусство, искусство, отмеченное тенью настроения гибели» (Sontag S., 20). Подобно огню в камине, она возбуждает фантазию, поскольку рождает иллюзию присутствия прошлого, но одновременно маркирует отсутствие изображенного на ней. Фото рождает ностальгию и является своего рода *temento mori*, демонстрируя смертность, хрупкость и изменчивость людей и вещей.

За расшифровкой фотографий виделось большое будущее, соответствующее растущему значению этого феномена в современную эпоху. «...Неграмотным в будущем будет не тот, кто не владеет алфавитом, а тот, кто не владеет фотографией», – утверждал в нача-

ле 30-х годов Беньямин (Беньямин В., 90). В. Флюссер, озабоченный возвращением человеку свободы, самым рафинированным образом отнятой постиндустриальным обществом, пришел к интересному заключению о связи между упрощением техники фотографирования и усложнением интерпретации фотоизображения:

«Тот, кто ФОТОГРАФИРУЕТ, ДОЛЖЕН ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ ВСЕ БОЛЕЕ ПРОСТЫХ ПРАВИЛ, ЗАПРОГРАММИРОВАННЫХ В ВОЗМОЖНОСТЯХ АППАРАТА. ЭТО И ЕСТЬ ДЕМОКРАТИЯ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА. ПОЭТОМУ ЛЮБИТЕЛЬ НЕ СПОСОБЕН РАСШИФРОВАТЬ ФОТО: ОН СЧИТАЕТ ФОТОГРАФИИ АВТОМАТИЧЕСКИ ЗАПЕЧАТЛЕННЫМ МИРОМ. ЭТО ПРИВОДИТ К ПАРАДОКСАЛЬНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ, ЧТО РАСШИФРОВКА ФОТОГРАФИИ СТАНОВИТСЯ ТЕМ СЛОЖНЕЕ, ЧЕМ БОЛЬШЕ ЛЮДИ СНИМАЮТ: КАЖДЫЙ ВЕРИТ, ЧТО ФОТО НЕ НУЖДАЕТСЯ В РАСШИФРОВКЕ, ТАК КАК КАЖДЫЙ ПОЛАГАЕТ, ЧТО ЕМУ ИЗВЕСТНО, КАК ДЕЛАЮТСЯ ФОТОГРАФИИ И ЧТО ОНИ ОБОЗНАЧАЮТ» (FLUSSER V., 54).

Возмущение против угрозы новой «неграмотности» – против бездумного обращения с изображениями – объясняет пафос, с которым В. Флюссер задается вопросами о смысле и глубине интерпретации фото:

«Что я делаю, когда РАСШИФРОВЫВАЮ ФОТОГРАФИЮ? РАСШИФРОВЫВАЮ ЛИ Я ЗНАЧЕНИЕ [СЛОВА] “ЗЕЛЕНЫЙ”, ТО ЕСТЬ ПОНЯТИЯ ХИМИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА? ИЛИ Я ДОЛЖЕН ПРОДОЛЖАТЬ ПОИСК, ВПЛОТЬ ДО НАМЕРЕНИЙ ФОТОГРАФА И ЕГО КУЛЬТУРНОГО КОНТЕКСТА? КОГДА Я МОГУ УДОВЛЕТВОРИТЬСЯ РАСШИФРОВКОЙ?» (там же, 41).

Социологическая критика фотографии 20–70-х годов пыталась за фотографическую иллюзию рассмотреть проблемы современного мира. Она обнаружила, помимо прочего, как казалось, прямую связь популярности фотографии в XX столетии с распадом традиционных семейных отношений – открытие, на которое в значительной степени будет ориентироваться наиболее влиятельный социолог второй половины XX века П. Бурдьё. Вот, например, наблюдение С. Зонтаг на этот счет:

«С ПОМОЩЬЮ ФОТОГРАФИЙ КАЖДАЯ СЕМЬЯ КОНСТРУИРУЕТ СВОЮ ПОРТРЕТНУЮ ХРОНИКУ – ПОРТАТИВНУЮ КОЛЛЕКЦИЮ ИЗОБРАЖЕНИЙ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИХ О СЕМЕЙНЫХ УЗАХ. НЕВАЖНО, КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ ФОТОГРАФИРУЮТСЯ, ПОКА ВООБЩЕ ДЕЛАЮТСЯ И БЕРЕЖНО ХРАНЯТСЯ ФОТОГРАФИИ. ФОТОГРАФИРОВАНИЕ СТАНОВИТСЯ РИТУАЛОМ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ КАК РАЗ В ТОТ МОМЕНТ, КОГДА В ИНДУСТРИАЛЬНЫХ СТРАНАХ ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ НАМЕЧАЕТСЯ РАДИКАЛЬНАЯ ПЕРЕМЕНА В ИНСТИТУТЕ СЕМЬИ. В ТО ВРЕМЯ КАК КЛАУСТРОФОБНАЯ ОБЩНОСТЬ – НУКЛЕАРНАЯ СЕМЬЯ – ВЫРВАЛАСЬ ИЗ ГОРАЗДО БОЛЕЕ ОБШИРНОГО СЕМЕЙНОГО КОЛЛЕКТИВА, ФОТОГРАФИЯ ПОСПЕШИЛА УДЕРЖАТЬ И СИМВОЛИЧЕСКИ ЗАНОВО СФОРМУЛИРОВАТЬ ОКАЗАВШУЮСЯ В ОПАСНОСТИ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И ИСЧЕЗАЮЩУЮ СФЕРУ ВЛИЯНИЯ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ. ЭТИ ПРИЗРАЧНЫЕ



СЛЕДЫ, ФОТОГРАФИИ, ТЕПЕРЬ ЗАБОЯТСЯ О НАЧЕРТАННОМ ПРИСУТСТВИИ РАЗБРОСАННЫХ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ. СЕМЕЙНЫЙ ФОТОАЛЬБОМ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТСЯ К СЕМЬЕ В БОЛЕЕ ШИРОКОМ СМЫСЛЕ – И ЭТО ЗАЧАСТУЮ ВСЕ, ЧТО ОТ НЕЕ ОСТАЛОСЬ» (SONTAG S., 14).

С ЭТИМ, ПО МНЕНИЮ ЗОНТАГ, СВЯЗАНО ТО ОБСТОЯТЕЛЬСТВО, ЧТО ЛЮДИ, ЛИШЕННЫЕ ДОЛГОГО ПРОШЛОГО (НАПРИМЕР, АМЕРИКАНЦЫ ИЛИ ЯПОНЦЫ), – САМЫЕ УСЕРДНЫЕ ФОТОЛЮБИТЕЛИ.

Среди социологических подходов 20–70-х годов XX века к интерпретации фотографии наиболее влиятельной оказалась концепция П. Бурдьё, замеченная, правда, исследователями визуальности с опозданием почти на четверть века. В середине 60-х годов в коллективном проекте, выполненном по заказу фирмы «Кодак-Пате», он интерпретировал производство и использование фотографии как социальную практику. Фотография, по мнению Бурдьё, субъективна, так как всегда связана с выбором, но социум изначально приписывает ей объективность. Фотопрактика принадлежит определенным социальным группам, этос и нормы которых отражаются на фотоизображениях.

В основу социологической интерпретации фотографии П. Бурдьё положил свою концепцию «габитуса», под которым понимал «геометрическое место встречи внешних детерминант и индивидуального решения, просчитываемых вероятностей и живых ожиданий, объективного будущего и субъективных планов» (Bourdieu P. *Eine illegitime Kunst*, 16). Габитус – это «усвоение внешнего положения дел» (там же), «принцип ограниченного изобретения» (Bourdieu P. *Rede*, 101), «система усвоенных образов» (Bourdieu P. *Zur Soziologie*, 143), третья величина между двумя социальными реальностями – вещами и представлениями. Габитус заставляет человека действовать определенным, привычным образом – этим он близок к менталитету.

Габитус определяет человеческое поведение, в том числе и фотографическую практику, считал П. Бурдьё. Когда индивидуум принимает решение о том, что достойно быть сфотографированным, он тем самым подспудно ориентируется на фундаментальные ценности социальной группы или общества в целом. Самая незначительная фотография наряду с явными намерениями ее производителя выражает, таким образом, систему схем мышления, восприятия и предпочтений, общих какой-либо группе. Этим Бурдьё объясняет распространенность фотопрактики при ограниченности мотивов фотоизображений.

Таким образом, полагал П. Бурдьё, фотография может рассказать исследователю о положении дел в обществе – о структурах и иерархиях, о расстановке социальных групп и взаимоотношениях между ними: «Отношение индивидуумов к фотографической прак-

тике по своей сути является *опосредованным*; оно включает отсвет отношения представителей прочих классов к фотографии и поэтому – ко всей структуре отношений между классами» (Bourdieu P. *Eine illegitime Kunst*, 20–21).

П. Бурдьё был уверен, что семейная фотография прежде всего выполняет функцию интеграции семьи. Этим он объясняет и наиболее благоприятную конъюнктуру фотопрактики во время отпуска – кульминации семейной жизни, и усердное фотографирование маленьких детей – основы энергичного сплочения семьи, и редкость комичных семейных фото – своего рода святотатств, подчеркивающих значение семейной фотографии:

«Разве это не вполне естественно, что у фотографии постепенно РАСТЕТ ЗАДАЧА СОХРАНИТЬ СЕМЕЙНОЕ НАСЛЕДИЕ ПОДОБНО СОКРОВИЩУ? <...> В действительности, в рамках существенно сократившейся шкалы семейных производственных занятий ФОТОГРАФИЯ ЛУЧШЕ, ЧЕМ САДОВОДСТВО ИЛИ „ДОМАШНЯЯ“ ВЫПЕЧКА – ЭТИ ФИКТИВНЫЕ УСТУПКИ ТОСКЕ ПО НАТУРАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ, – ЛУЧШЕ, ЧЕМ ОБУСТРОЙСТВО ДОМА ИЛИ СТРАСТЬ К КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЮ... ПОДТВЕРЖДАЕТ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И ИНТЕГРАЦИЮ ДОМАШНЕЙ ГРУППЫ И УКРЕПЛЯЕТ И ТО, И ДРУГОЕ, ВЫРАЖАЯ ИХ» (там же, 40–41).

По наблюдениям П. Бурдьё, разделение поводов для фотографирования между профессиональными фотографами и фотолюбителями – не случайно и напрямую связано с функцией интеграции семьи. Профессионалу доверялись (и поныне доверяются) съемка более важных моментов семейной жизни (свадеб, приема в христианскую общину), изготовление детских портретов. Критериями разделения труда между фотолюбителем и профессиональным фотографом были сфера фотографирования (интимная или публичная) и круг последующих пользователей фото (только «свои» или также и «чужие»).

Многие взгляды «классиков» теории и истории фотографии первых двух третей XX века представляются ныне наивными и устаревшими. Поиск прямых взаимосвязей между фотографическими изображениями и состоянием общества не учитывал того, что авторы визуальных объектов ведут диалог между собой; что изображение является ответом не только на актуальные вопросы жизни, но и на другие, образцовые изображения; что прорывы в изобразительных практиках, как правило, не имеют ничего общего с социальными изменениями. Сегодня, например, утверждение В. Беньямина об отражении в сумеречном тоне и неподвижности поз на фотографиях эпохи модерн «бессилия того поколения перед лицом технического прогресса» (Benjamin W., 56) вряд ли может быть воспринято серьезно, равно как и предложение З. Кракауэра проследить тесную связь между существующим общественным порядком и художественной

фотографией. Не меньше скепсиса вызывает тезис П. Бурдые о том, что напряженная поза фотографируемого перед камерой указывает на стиль коммуникации, типичный для статичных и иерархизированных обществ, в которых происхождению и семье придается больше веса, чем личности, а расположение фотографируемых способно пролить свет на внутрисемейную иерархию.


Сегодня социологи более осторожно относятся к интерпретации фотографии как средства семейной интеграции и к менее убедительному, в силу бурного развития любительской фототехники после 60-х годов, наблюдению П. Бурдые о выполнении фотографией функции социального престижа.

Самая серьезная претензия к ранним социологическим интерпретациям фотографии состоит в том, что все они, справедливо ставя под сомнение ее объективность, рассматривали отношение фото к предшествующей, а не к последующей «правде», то есть больше уделяли внимания изображению, чем его последующему использованию. Даже проект П. Бурдые – самая амбициозная в социологии попытка преодолеть разрыв между «микро» и «макро» и первое эмпирико-социологическое исследование фотографии с целью выразить в аналитических категориях социальные механизмы фотографической практики – подозревается в наличии разрушительного вируса иконологии, поскольку и он не избежал искушения искать «дух времени» в визуальном объекте.

Вместе с тем, соображения П. Бурдые о разделении труда между профессиональными фотографами и любителями и об инструментализации фотографии для укрепления семейных уз кажутся не бесполезными для истолкования горьковской фотографии 1966 года, возникшей одновременно с проектом французского социолога. Привлечение профессионала к фотографированию семилетнего ребенка накануне поступления в школу подчеркивает важность запечатленного момента для заказчиков фотопортрета. Он адресовался членам семьи, рассеянной по Советскому Союзу, и тем самым может рассматриваться как акт символического сплочения.

Социологические попытки контекстуализации и расшифровки фотографии содержали интересные идеи и наблюдения, большинство из которых, правда, не нашло практического применения в последующих исследованиях. Вместе с тем, эти идеи побудили к дальнейшим поискам научного инструментария, пригодного для адекватного обращения с изобразительными свидетельствами. Одним из результатов поиска ключа к «шифрам» фотографии стало появление визуальной социологии.

## Дебюты

 6 марта, в воскресенье, я лечу в Берлин. Мне кажется, я всегда легко снимался с места. Мне нравится сладостно-щемящее ощущение одиночества и свободы. В конце концов, путешествуя, всегда ищешь дорогу к самому себе. А если едешь туда, где когда-то уже бывал, то перемещение в пространстве превращается в поездку в прошлое.

Хотя я почти с младенчества живу в Челябинске, есть несколько городов, в которых я в совокупности провел по несколько лет. Первое место среди них занимает Горький (сейчас Нижний Новгород) – город моих летних каникул. Здесь я провел около трех лет. Второе место делят Москва и Тюбинген; в каждом из них мною прожито чуть более двух лет. Москва – место архивных разысканий 1985–2001 годов, подготовки и защиты в конце 80-х кандидатской диссертации. В Тюбингене между 1995 и 2003 годами я был стипендиатом Фонда Александра фон Гумбольдта, гостем исследовательского коллектива «Военный опыт. Война и общество в Новое время», гостпрофессором. В 2005 году третье место в этом списке предстояло занять Берлину: мое пребывание в нем растянулось на десять месяцев.

В бывшем гэдээровском аэропорту Шенефельд меня встречает Йорг Баберовски, профессор восточно-европейской истории в Гумбольдтовском университете, где мне предстоит работать в течение летнего семестра. Йорг – мой сверстник. Я знаю его много лет, еще по Франкфурту и Тюбингену. Когда я пристегиваюсь в его машине, он спрашивает по-русски: «Чего ты боишься?» – и самозабвенно смеется. Эта фраза – из его бакинского опыта, где он собирал материал для второй диссертации, о цивилизаторской миссии царских чиновников и советских коммунистов в Азербайджане: тамошние лихие водители, как и российские, воспринимают меры безопасности пассажира как недоверие к своему мастерству и чуть ли не личное оскорбление.

По пути в университетскую гостиницу Йорг предлагает мне продлить пребывание в Берлине еще на три месяца, до конца декабря, за счет стипендии исследовательского коллектива «Изменяемые репрезентации социальных порядков». Энергично протестую: мне почему-то тоскливо; не представляю, как выдержу запланированные семь месяцев.

Йорг сопровождает меня в гостиницу – унылое строение из социалистического прошлого, правда, расположенное в самом центре города, в десяти минутах ходьбы от университета. Маленькая, убогонькая квартирка, небольшая комната с окном на помойку и – для каких ученых предназначено это жилье?! – без рабочего

стола; кухня смонтирована в темном коридоре, санузел до предела аскетичен. В Германии это называется Appartement и не имеет ничего общего с русским представлением об апартаментах. Распаковываю вещи, закупаю продукты в недешевом сетевом маркете «Edeka» на близлежащей станции городской электрички «Фридрихштрассе», пытаюсь обжиться.

В первую берлинскую ночь я вижу во сне Горький, дом на Минина: подвальная дворницкая, окончательно покинутая жильцами в 1967 году, вновь обжита, из нее пробивается полоска света. Меня в большой компании незнакомых людей пускают осмотреть кладовую Хазановых. Я уверен, что там сохранились архив и вещи деда.

Берлин вызвал у меня двойственные чувства. Огромный город с 3,5 миллионами жителей, каждый восьмой из которых – иностранец, представляет собой живой, открытый и многоликий мегаполис. Его отличает высокая концентрация культурных артефактов – музеев, памятников, театров, концертных залов, умноженных многолетним разделением города на Восточный и Западный Берлин. В нем все представлено в двух экземплярах, от университета и государственной оперы до телебашни и зоопарка. При этом Берлин, в отличие от многих столиц, утопает в зелени и хорошо приспособлен для отдыха на природе прямо в городской черте: более трети его территории занимают леса, парки и водоемы. Транспортная сеть не перегружена; общественный транспорт не переполнен даже в часы пик, хотя по соотношению населения и личных автомобилей – показателю благосостояния жителей – город занимает одно из последних мест в Германии. Берлин рождает смешанное ощущение столичного бурления и провинциального покоя.

Концентрация культуры в немецкой столице с лихвой компенсируется обилием пользователей социальных пособий – безработных, бездомных, иммигрантов, в том числе выходцев из бывшего СССР (чуть ли не каждый шестой житель) – и собачьих экскрементов. При ходьбе по улицам Берлина желательно внимательно глядеть под ноги. Это был первый город в Германии, в котором я чувствовал себя в безопасности исключительно на пешеходной «зебре». В поздний час за пределами центра на улицах и в пивнушках можно было встретить типов без пола и возраста, которые без грима могли бы убедительно сниматься в кинолентах о пиратах или в фильмах ужасов.

В архитектурном плане Берлин, за исключением восстановленной после войны Унтер-ден-Линден, показался мне довольно унылым городом. Причиной тому не только бомбежки времен Второй мировой войны: в 50–60-х годах большинство уцелевших домов в стиле модерн потеряло свое лицо. Лепнина с их фасадов была безжалостно сбита под влиянием «антибуржуазных» настроений не только восточных, но и западных берлинцев, к вящему удоволь-

ствию домовладельцев, освободившихся таким способом от необходимости дорогостоящей реставрации.

Берлин надолго отвлек меня от работы над «фотографическим» проектом. Во-первых, подготовка к трем еженедельным учебным занятиям – лекции, семинару и «чтению источников» – отнимала много времени. Во-вторых, бюрократические процедуры по получению вида на жительство оказались более утомительными, чем в Тюбингене, где чиновники были внимательны, обходительны и оперативны. Мне показалось, что их берлинские коллеги странным образом сочетают прусскую непреклонность в соблюдении формальностей с поразительным головоуятием. Вид на жительство мне удалось получить после нескольких многочасовых стояний в очереди перед Службой по иностранцам, более чем через месяц после пребывания в Германии. На самом же деле ожидание должно было растянуться на три месяца, но мне повезло: берлинские чиновники посеяли папку с моими документами и ускорили процедуру – вероятно, из чувства вины.

Атмосфера в Гумбольдтовском университете тоже отличалась от привычной мне по Тюбингену. Помпезное здание на Унтер-ден-Линден (в прошлом дворец принца Генриха, брата Фридриха Великого), где когда-то преподавали Г. Гегель и А. Эйнштейн, М. Планк и Р. Кох, с порога кажется гермафродитом доброй старой науки и социализма: над парадной лестницей, ведущей в галерею с портретами 29 давнишних нобелевских лауреатов, когда-то работавших здесь, крупными золотыми буквами красуется высказывание К. Маркса, позаимствованное им у Л. Фейербаха: «Философы лишь различным образом объясняли мир; но дело заключается в том, чтобы изменить его».

В университете ощущалось некоторое напряжение между профессурой, в основном приглашенной из Западной Германии с сохранением окладов, на 20 % выше, чем у жителей бывшей ГДР, и местным персоналом. Рабочие мелочи, которые в Тюбингенском университете решались играючи, на философском факультете университета Гумбольдта наталкивались на непреодолимые препятствия. Мне не смогли, например, найти отдельный кабинет, и я вынужден был работать в отсутствие хозяев в бюро Й. Баберовского и М. Рольфа, любезно приютивших меня. В лекционном зале, перегороженном надвое в социалистическую эпоху с полной утратой акустики, оказалось якобы технически невозможным установление микрофона, так что мне пришлось безуспешно выкрикивать свои лекции, которые с задних рядов все равно не были слышны.

Несмотря на все эти осложнения я не выпускал из виду свой проект. За 10 апреля в моем дневнике содержится запись о необычности фотографии 1966 года, а именно о том, как ответственно

организаторы подошли к ее инсценированию и какое, по-видимому, серьезное значение ей придавали. Предложенная В. Паперным схема перехода от «культуры 1» 20-х годов – революционной, экспериментальной, порывающей с прошлым – к сталинской «культуре 2», традиционной и вполне буржуазной, ориентирующейся на старые классические образцы, вероятно, не распространяется на частную жизнь советских граждан с дореволюционной социализацией.

11 апреля 2005 года, после получения вида на жительство, я раздобыл телефоны и электронный адрес университетской преподавательницы Ханны Альхайм, которая вскоре должна была начать интересующий меня практический курс по биографии как историческому источнику. Только я сел в кабинет Йорга, чтобы вызвонить ее или написать ей письмо, как на пороге появилась маленькая, совсем молоденькая, симпатичная брюнетка парижского типа: Ханна, узнав о том, что я собираюсь ее разыскивать, сама нашла меня. Она и – тремя неделями позже – студент-ассистент Манфред Целлер, крепкий курчавый баварец, помогавший мне в подборе литературы, были первыми в Берлине, кому я поведал о своем замысле. Оба нашли проект крайне интересным, оба выразили готовность помочь. Так я стал участником семинара Х. Альхайм.

С 20 по 30 мая мне предстояла рабочая поездка в Челябинск, а 7 июня должен был состояться мой первый доклад по задуманному проекту. С 4 по 11 мая я умудрился проглотить более двадцати накопленных к этому времени теоретических книг об использовании фотографии в этнологии, социологии и историографии – и явно перетруился: 12 мая лекция прошла без подъема, я едва ворочал языком и остался крайне недоволен собой. С 14 по 16 мая доклад был написан. При этом оказалось – опять признак суеты и переутомления, – что часть книжных копий утеряна. Поиски, длившиеся несколько дней, оказались напрасными, вызвав у меня чувства огорчения, смятения и неуверенности в себе. Во мне впервые пробудилось странное, почти мистическое сомнение в целесообразности продолжения задуманной работы.

В Челябинске, куда я вернулся на последнюю декаду мая, это чувство усилилось. Еще в начале года, встретившись в Нижнем Новгороде, мы с Володей Гречухиным тщетно силились хронологически упорядочить наши воспоминания. В разгар беседы я хлопнул себя по лбу – господи, какой же я глупец! Летом 1968 года я по настоянию деда вел дневник – расчерчивал страницу в красном блокноте участника юбилейной конференции, посвященной 50-летию плана ГОЭЛРО, и записывал, часто под диктовку Б. Я. Хазанова, события предыдущего дня: музыкальные занятия, посещения библиотеки, краеведческого музея, кино. Еще тогда, девятилетним ребенком, я совершенно сознательно решил не читать эти записи, чтобы ког-

да-нибудь, когда стану «взрослым», открыть их и ясно вспомнить прошлое. Этот дневник в течение десятилетий хранился в одном из ящиков моего письменного стола в квартире родителей, и я, кажется, действительно не прикасался к нему.

Теперь самое время им воспользоваться. Однако, открыв тумбу стола, я, к своему изумлению, не обнаружил ничего из того, что столько лет оберегалось мною и мамой. Там не оказалось ни школьных сочинений за начальные классы, ни коллективных парадных фотографий класса, ни блокнотов с самодельными, неуклюжими переводами немецкой поэзии, ни детских рисунков. Не было на месте и горьковского дневника 1968 года.

Я не на шутку растерялся, недоумевая, куда мог подеваться мой детский «архив». С 21 по 28 мая я вел безуспешные поиски. Мой отец, как многие люди старшего поколения, пережившие лишения в юном возрасте, не выбрасывают вещей, оставляя их «про запас» – вдруг пригодятся. Мама относится к материальной стороне жизни проще, иногда тайком от мужа собирая и вынося из дому всякий «хлам». Тем не менее, квартира родителей полна мест, заполненных бумагами, книгами, фотографиями. Я уже отчаялся что-либо найти, когда мама уверенно достала из одного из книжных завалов большой бумажный конверт с частью содержимого моего стола. К сожалению, ни детского дневника, ни большинства рисунков и переводов в нем не оказалось. Зато обнаружилась адресованная мне открытка из Горького за апрель 1965 года, цитированная в начале книги. Кроме того, разбирая книжные стопки, я наткнулся на свои первые детские книжки, читанные в Горьком в середине 60-х годов. Счастливая находка родила внятную идею: не пройтись ли по кругу своего детского чтения? Вдруг это поможет вытащить на свет божий воспоминания, ощущения, впечатления, погребенные в кладовой памяти?.. И все же в Берлин я вернулся, не теряя надежды найти свой детский дневник во время следующего приезда в Челябинск.

3 июня я вылетаю в Берн с первым, дебютным докладом о «фотографическом» проекте. Доклад представляет собой не более чем предварительный набросок с историей самого проекта, информацией об участниках фотографической инсценировки, адресатах фото 1966 года и семейных историях Хазановых, Рывкиных и Нарских (данных о фотографе у меня пока нет), с описанием фотографической ситуации и наметками к интерпретации детского снимка. Докладывать мне предстоит 7 июня. Для меня это знаменательное число – дата защиты кандидатской и докторской.

Но до выступления есть пара дней чудесного отдыха. Я живу под Берном, в Штетлене, у профессора Новейшей всеобщей истории Стига Ферстера, в большом доме с видом на расположенную внизу живописную долину, по которой регулярно проползает крас-



ный поезд-трамвайчик в три вагона. Слева на горизонте высятся Бернские Альпы, к внушительным размерам которых невозможно привыкнуть. Радушный хозяин Стиг, коренной берлинец, эксперт по мировым войнам и обладатель впечатляющей коллекции советской авангардистской живописи, жарит в саду на гриле седло косули на ветках лаванды. Я готовлю аджипсандал (жена Стига Алис для удобства запоминания обзовет это кушанье «египетскими сандалиями») – закавказское блюдо из предварительно обжаренных тушеных баклажанов, томатов, сладкого и горького перца и лука. Чудесный ужин сопровождается оживленной беседой, испанским красным вином и восторгом хозяев по поводу кавказской кулинарной находки, которую они намерены включить в свой «репертуар».

На следующий день мы четыре с половиной часа гуляем в долине реки Эмме – Эмментале, родине знаменитого сыра, в районе Напф, известном неожиданными разрушительными грозами. Алис и Стиг впечатлены тем, как я выдержал испытание – привычную для швейцарцев многочасовую прогулку по гористой местности.

Наконец, 7 июня в 16:15 в Бернском университете состоялся мой доклад. Несмотря на то, что я перебрал временной регламент и чувствовал себя несколько скованно, дебют в целом удался. Тема вызвала реакции, которые будут повторяться и на последующих выступлениях: оживление аудитории, особенно когда обнаруживается, что я анализирую свой собственный детский портрет (в зале раздастся смех, когда на экране неожиданно появляется мое актуальное фото в кресле-ножницах); многочисленные интеллигентные вопросы и комментарии во время дискуссии, стержень которой составляет методическая проблема сочетания воспоминаний и исследования; неофициальное обсуждение доклада слушателями в течение некоторого времени по его прошествии, после коллоквиума; желание участников коллоквиума поделиться собственными семейными историями. Значит, тема «цепляет» за живое.

В отличие от многочисленных прежних выступлений на темы из истории поздней Российской империи, революции и Гражданской войны, автобиографический проект вызывает у меня самого сильное эмоциональное возбуждение. Я заметил это еще при написании текста доклада, а в определенный момент выступления в Берне чуть не сорвался. Надо держать себя в руках, отмечаю про себя. Тщательно фиксирую критические замечания – тут есть о чем подумать. Действительно, как сочетать в этом проекте макро- и микроисторию, роль свидетеля и исследователя? Нужна ли предыстория моих героев в виде социальной истории 1914–1953 годов? Наконец, что необычного в детском портрете 1966 года из Горького?

После совместного ужина участников коллоквиума в итальянском ресторанчике я уезжаю в деревушку под Золотурном, к Эри-

ке ван Беммелен – моей старинной знакомой старшего поколения, с которой я вел переписку с 1989 года. Наутро, за завтраком, перед тем как отвезти меня в Базельский аэропорт, она вспоминает вчерашний доклад, послушать который специально приезжала. По ее словам, ей стало жутко, когда из-за фотографии милого культурного ребенка стали выплывать драматичные семейные истории. Через день я звоню Стигу из Берлина, чтобы поблагодарить за гостеприимство. «Знаешь, – говорит он, – вчера только и разговоров было про твой доклад».

Наступает 4 июля. Берлин, жаркий солнечный день. Предстоит мой доклад о фотографии в Гумбольдтовском университете, на коллоквиуме у Йорга Баберовского. Вместительная аудитория набита до предела: собралось человек пятьдесят. Среди слушателей много незнакомых мне людей. Помимо сотрудников и студентов Йорга пришли люди, не имеющие отношения к его кафедре, – Ханна Альхайм, «моя» преподавательница по биографии как источнику и методу исследования; Йохен Хелльбек, преподающий российскую историю в Нью-Йорке – с ним мы встречались и раньше, в 2002 году, в Гиссене и Базеле.

Я волнуюсь: обычно здесь с докладчика «снимают стружку» жестко, не хуже чем в Тюбингене. На этот раз говорю более свободно и спокойно, выступление не затягиваю. Дискуссия разгорается на славу, причем позиции участников разделяются, что позволяет мне, помимо прочего, передохнуть в моменты споров между ними. Йорг полагает, что сюжет о «диктатуре фотографии» – визуальных клише, владеющих фотографом и заказчиком – излишен; Александра Оберлендер, напротив, считает его необходимым. Йохен уверен, что фотография 1966 года представляет собой инсценировку не в дореволюционном, а в сталинском стиле (что сразу же расшатывает всю мою конструкцию), Александра же ему возражает, ссылаясь на лаконизм форм и фона. Йорг считает, что авторский дневник запутает читателя, Йохен выступает за его активное использование для создания двух временных плоскостей – 1966 и 2005 годов.

Ханну интересует, как я преодолеваю противоречия между воспоминаниями и фактами, а Сюзанна Шаттенберг, Йохен и Александра высказывают пожелание более интенсивно использовать собственные воспоминания и авторскую фантазию: исследовательской сухостью я только разрушу жанр автобиографического романа. Йохен – спасибо ему за подсказку – советует мне для стилистического ориентирования почитать «Французское завещание» Андре Макина – роман о бабушке, внуке и советском прошлом.

До 22 часов мы в соответствии с коллоквиумными ритуалами сидим в ресторанчике «Депони» под мостом городской электрички, затем по предложению Йохена маленькой компанией

перебираемся во вьетнамскую закусочную. Настроение веселое и авантюрное: сотрудник Йорга и мой старинный приятель Мальте Рольф везет меня к вьетнамцу вблизи Хакеше Маркт по самому центру города на багажнике своего велосипеда. Домой я добираюсь далеко за полночь.

С ночи на весь день зарядил дождь, температура упала до десяти градусов. 5 июля в 8:15 я сижу в кабинете Йорга Баберовского. Беседуем о сложностях литературной работы для историка, о падении интереса к книге. Йорг высказывает свое мнение о проекте: да, вот такую книгу он хотел бы почитать. Хватит наскучивших научных ритуалов. Может быть, вообще отказаться от сносок? Для вживания в новый жанр Йорг советует почитать рассказы Андрея Битова и Юрия Трифонова 60–70-х годов о советской повседневности.

Еще до выступления в Берлине, сразу после возвращения из Берна, 10 июня я звоню тете Мире – хочется похвастаться первыми успехами. Телефон не отвечает. Перезваниваю ее дочери Тане: ее мама уже десять дней лежит в больнице с инсультом. Помимо естественного переживания за близкого человека мелькает тревожная мысль: надо спешить с реализацией проекта...



## Развлечения и радости

Отношения между соседями становятся еще более натянутыми. Но пока ни Мальчик, ни его друг-одногодок Володя этого не замечают. Каждый раз, придя во двор (или утром, после ночевки у «бабы Гали» и «деды Лени»), Володя зовет Мальчика, стоя под балконом: «Игорь!» Тот выскакивает на балкон и, наскоро спросив разрешения у взрослых, пулей вылетает из квартиры. У них всегда есть о чем поговорить, у них есть секретные места встреч и общие тайны.

Мальчик не помнит, когда он познакомился с Володей. Кажется, они были знакомы всегда. Он смутно припоминает, как Бабушка и «баба Галя» с другими соседками сидят на скамейке у клумбы, а он и Володя, одетый в пальтишко и шапку, похожую на танкистский шлем (весна? осень? холодный июнь?), играют *под* скамейкой. Значит, еще совсем крошечные.

Если на улице тепло и солнечно, они встречаются у восточной стены дома, в зарослях конопли и сирени. Зелень образует здесь естественную беседку, в которой можно укрыться от посторонних глаз и рассказывать страшные истории про черную руку, гроб на колесиках или черный рояль – совсем не пугающие при пробивающих сквозь листву солнечных бликах. Или взახлеб, перебивая друг друга, пересказывать фильм, увиденный накануне по телевизору – «Встреча со шпионом» или «Армия Трясогозки».

В соседнем дворе, за забором, прикрывающим с востока укромный уголок, есть страшное место, которое друзья рассматривают сквозь щели между серыми досками. Это дворовый дощатый туалет, посещать который противно и опасно. В позапрошлом году в него провалился Марик – худенький чернявый мальчуган, с которым Мальчик охотно играл. Его вытащили из выгребной ямы, орущего, с лицом, на которое словно бы надели страшную темную маску. Хорошо, что вскоре он с родителями уехал из соседнего дома. Брезгливый Мальчик больше не смог бы с ним играть.

Если за окном прохладно и пасмурно или идет дождь, можно спрятаться в сумеречном подъезде. Здесь у друзей тоже есть свое секретное место. В простенке между наружной и внутренней дверьми с парадной стороны дома есть выступ, на котором удобно сидеть вдвоем, спрятавшись за откинутой внутренней дверью. Здесь рассказывать истории страшнее и потому интереснее. Когда где-то хлопает квартирная дверь и раздаются гулкие шаги, ребята замирают. Приятно чувствовать себя в безопасном укрытии, невидимыми для посторонних.

В жаркую погоду, когда дворник поливает из шланга асфальт на южной стороне двора или «деда Леня» разбрызгивает воду в своем крошечном садике, можно, раздевшись до трусов, забежать под тугую струю прохладной воды, а затем, когда взрослые вступят в игру, бегать от нее, визжа от восторга.

Но особенно хорошо во дворе после летнего дождя. Грозы в Горьком страшные, с почти черными тучами, шумными ливнями и оглушительными, как залпы орудий, раскатами грома, раздающимися почти одновременно с ослепительно яркими вспышками молний. (Соседка Вера Петровна панически боится волжских гроз и пережидает их в туалете, в самом дальнем и глухом уголке своей квартиры.) Взрослые зовут детей домой или разрешают переждать грозу в подъезде. Она прекращается быстро и так же внезапно, как начинается. Становится тихо и солнечно. Асфальт задней, южной части двора весь покрыт глубокими, местами по щиколотку, лужами. Дети шлепают по теплой воде, высоко подбрасывая босые ноги, поднимая каскады брызг и самозабвенно хохоча.

Во дворе нет мест, специально предназначенных для детских игр, за исключением заброшенной песочницы, в которой семилетним мальчишкам играть стыдно. Иногда, тайком от Бабушки, сомневающейся в гигиенической безупречности этого места, дети устраивают в песочнице «секретки», которые Мальчик научился делать в детском саду. На дно вырытой в песке ямки они стелют сердцевидный сиреневый лист (пятерня кленового листа для этой цели не годится – слишком разлаписта и неудобна из-за заворачивающихся резных краев), на который укладывают «интересные» предметы – желтые головки одуванчиков, найденную пуговицу, подобранные цвет-

ные стеклышки. Сверху ямка прикрывается прозрачным стеклом и присыпается песком. Как приятно вслед за устройством «секретика», вода ладонью по прохладному сухому песку, «обнаружить» чудесный клад!

Но «секретика» – игра девчоночья, поэтому, сделав и «най-дя» их, друзья безжалостно уничтожают плоды своих дизайнерских опытов. Гораздо интереснее обследовать выщербленную в некоторых местах кирпичную стену, отделяющую двор от троллейбусного депо, и обнаружить в одной из ее щелей естественный тайник, в котором можно спрятать солдатика или даже маленькую машинку.

Наряду с «тайными» местами ребят притягивают чугунные ворота, отделяющие двор от улицы. По их составляющим рисунок прутьям и кольцам легко забраться наверх и наблюдать за прохожими «свысока». Изредка, если повезет, можно застать ворота открытыми: кто-то приехал на машине в гости к жильцам дома или Борис Шевчук загнал в заднюю часть двора свой «Запорожец» для починки. В таком случае можно покататься на створках ворот, держась за прутья решетки. Раньше, когда ребяташки были совсем малы, они использовали для катания калитку главного входа во двор. Мальчик помнит, как Дедушка подсаживал его и осторожно раскачивал.

Вот уже год, как Мальчик и Володя гоняют вокруг дома на двухколесных велосипедах. На улицу их пока не выпускают, но и во дворе катанье небезопасно. Неуклюжий, медлительный Мальчик то и дело не вписывается в поворот и падает, разбивая в кровь колени и локти. Бабушка не успевает прижигать пораненные места зеленкой, осторожно дует на них, чтобы не очень щипало.

На задней стороне двора можно поиграть в мяч или догонялки. В передней, северной половине двора густая зелень создает идеальные условия для игры в прятки, но в них Мальчик и Володя, будучи одни, не играют: вдвоем это неинтересно. В эпицентре их внимания – роскошная клумба, на которой все время что-то происходит. В погожий день, как только на эту сторону двора заглянет солнце, над цветами жужжат шмели, беззвучно и неподвижно висят желтые в черную полоску или крапинку мухи-«часики». Вдоль белого кирпичного бордюра снуют муравьи, в зарослях белого табака прчется соседская кошка.

Наблюдать за всякой клумбовой мелюзгой крайне интересно, но иногда ребята переходят и к активным действиям – признаться, не всегда гуманным и безопасным. Так, вскоре они начнут ловить спичечным коробком шмелей, менее ловких и опасных, чем пчелы или осы: открыв коробок до половины и повернув отверстием вниз, нужно подкрасться к шмелю, увлеченному сбором пыльцы, и, поднеся коробок вплотную к цветку, резко закрыть выдвижной ящичек. Коробок, в котором сердито басит пойманный

мохнатый толстяк, дрожит и гудит в руке, пока узник не выпускается на волю.

Вскоре ребята обнаружат, что если коробок с пленником чуть-чуть приоткрыть, тот начинает высовывать наружу черные лапки. В их голове рождается неудачная идея завести ручных шмелей, с которыми можно гулять, как с домашними животными. К скребущимся ножкам шмеля привязывается нитка подлиннее, после чего насекомое выпускается на прогулку. Игра заканчивается быстро и плачевно: шмель на нитке преследует Мальчика и жалит в спину, после чего охота на этих «кусачих» насекомых прекращается раз и навсегда.

Мальчик – не очень подвижный ребенок. Он предпочитает ходить неторопливо и с достоинством (как Дедушка!), поэтому совместные игры с Володей Гречухиным, у которого непоседливый характер и повадки заводилы, не столь буйны, как думает Бабушка. Тихий, трусоватый по характеру Мальчик в играх с Володей может отважиться разве лишь на то, чтобы перелезть через кирпичную стену в троллейбусное депо, походить по крышам сараев со смежных дворов, пройтись по кирпичному забору, исподтишка срывая на ходу неспелое яблоко из сада Гречухиных или Пчелиных. Если увидят соседи или, того хуже, Бабушка или Дедушка, не оберешься неприятностей.

Иногда можно потихоньку выскользнуть из двора и обследовать стоящие у обочины на перекрестке улиц Минина и Семашко пустые троллейбусы. Если повезет, можно найти троллейбус с открытой дверью и поиграть в водителя. Гуляя с Мальчиком, Дедушка разрешает ему забираться в водительскую кабину, карауля у дверей, чтобы не заругались ремонтники. Дедушка понимает, что все время находится во дворе ребенку скучно.

Вопреки предостережениям Бабушки, Мальчик охотно проводит время с Володей. Правда, внук «деды Лени» временами кажется ему слишком бойким и самостоятельным. Он может уйти со двора к соседским мальчишкам, не подчиниться домашним. А однажды Володя шокировал приятеля, присев на корточки и опорожнив кишечник прямо на газоне с парадной стороны дома. Хотя он деловито подтерся лопухом, от него какое-то время дурно пахло. Потрясенный Мальчик еще несколько дней ходил на это место, наблюдая, как кучка постепенно темнеет, засыхает и съезживается, переставая привлекать внимание мух.

Как бы то ни было, среди развлечений Мальчика и Володи преобладают мирные, нешумные и не очень рискованные игры. Мальчику обычно не разрешают выносить во двор игрушки (вдруг хулиганистый приятель выпросит или сломает), поэтому ребята приспособливают для своих игр окружающие предметы. Или наоборот – растения и неожиданные находки наталкивают их на новые

занятия. Черенки листьев клена, например, похожи на курительные трубки – можно поиграть во взрослых. Гибкие кленовые побеги у забора с западной стороны дома прекрасно подходят для изготовления лука и стрел. Найденный в троллейбусном депо моток тусклой медной проволоки можно, уединившись у восточной стены дома, выпрямить, распилить и отдраить до блеска, превратив в золотые самородки (кажется, лук со стрелами и «самородки» станут актуальными позже, в 1968 году, когда в кинотеатрах пройдет фильм «Верная Рука – друг индейцев»). Случайно найденная разбитая фара провоцирует серию вылазок в троллейбусное депо на поиски цветных стеклышек. На столе со скамейками между пчелинским садовым участком и песочницей, в тени деповской стены, их можно осторожно измельчить испрошенным у Дедушки молотком (главное, не разбить их в бесполезную пыль) и превратить в драгоценные камни – алмазы, рубины, изумруды, став обладателем бесценных сокровищ, аккуратно сложенных в спичечный коробок.

Мальчик выбегает во двор на зов друга не всегда. Иногда на балкон выходит Бабушка:

– Он занят, – важно сообщает она Володе.

– А выйдет?

– Позже. Он читает книгу.

Мальчик читает медленно и часто отвлекается, погружаясь в задумчивость. Он любит побыть в одиночестве, лишь бы в квартире был еще кто-то из взрослых. Иногда утром он выходит во двор, чтобы уединиться с восточной стороны дома. Он испытывает странное приятное ощущение, вызывающее гусиную кожу на руках и ногах и побуждающее к уединению. Он греется на ласковом, пока еще не жарком солнышке, прислушивается к жужжанию мух, прихихивается к горькому запаху конопли – и вдруг, словно очнувшись, стремглав несется домой, едва успевая в туалет по большой нужде.

Мальчику нравится играть одному. Он предпочитает мелкие игрушки и предметы – солдатиков, машинки, Дедушкин замктермометр. Они распалют фантазию и позволяют представить себя хозяином мира, который на самом деле пока еще такой непо-слушный и непонятный. Больше всего Мальчику нравятся модели автомобилей, тракторов, самолетов, вертолетов. Узор линолеума в гостиной напоминает сложные развязки шоссе-ных дорог, по которым можно путешествовать часами. Мальчик играет сосредоточенно и аккуратно. Он внимательно следит, не стерлась ли краска на машинке, не поцарапалась ли гладкая поверхность, не разболталось ли соединение. Он бережно относится к своим богатствам, при малейшем повреждении игрушки он расстраивается и утрачивает к ней всякий интерес.

Володя Гречухин иногда на несколько дней исчезает. Это огорчает Мальчика, но он находит удовольствие и в дворовом оди-

ночестве. В таких случаях ему позволяют взять из дому игрушку. На улице Мальчик предпочитает пистолет. Он хотел бы обладать барабанным револьвером, как у героев Гражданской войны (позже – кольцом, как у ковбоев), но ничего подобного в магазинах не продается. Мальчик помнит, как в общественном транспорте его еще совсем недавно принимали за девочку. Пистолет – явный мальчишеский признак, с ним он защищен от оскорбительных подозрений в принадлежности к девчачьему миру.

Места уединенных игр Мальчика – те же, что и во время совместного времяпрепровождения с Володей: восточный закуток двора, приступочка в междверном пространстве прохладного подъезда, заросли у боковых, заброшенных клумб с парадной стороны дома. Мальчик представляет себя разведчиком во вражеском стане, тайно наблюдающим за действиями неприятеля. Наряду с неизменным пистолетом в шпионский набор входят портативный передатчик (спичечный коробок), ключ от потайной двери (причудливой формы веточка), курительная трубка (черенок кленового листа).

Уютное одиночество прерывается не только появлением Володи Гречухина. Из Дзержинска в Горький часто приезжают дочери старшей маминой сестры тети Миры, Танечка и Наташенька. Таня учится в медицинском училище и скоро поступит в Горьковский медицинский институт. Тогда она будет весь июнь ездить в Горький на сдачу экзаменов. Раньше она часто приезжала к Бабушке и Дедушке во время каникул и возилась с маленьким двоюродным братцем: таскала его на руках, водила гулять на Откос или площадь Минина и Пожарского, где чинно, как взрослая, восседала на скамейке, в то время как Мальчик без устали носился вокруг старинного чугунного фонтана. У нее короткая, почти мальчишеская стрижка и совершенно русское – с тонким прямым носиком и серыми глазами – сухощавое лицо. Она говорит с певучими волжскими интонациями, складно рассказывает интересные истории, заразительно смеется и не подтрунивает над Мальчиком.

Если Таня похожа на своего отца, то Наташа – на маму. Недавно она, к огорчению Мальчика, срезала толстую русую косу. У нее светлые вьющиеся волосы, выразительные голубые глаза и крупноватый, с горбинкой, нос, выдающий наличие еврейской крови. Недавно Наташа окончила восьмилетку и музыкальную школу и поступила в музыкальное училище. Она часто приезжает на концерты симфонического оркестра Горьковской филармонии или на спектакли оперного театра. Она способна разыграть Мальчика – и он обижается до слез, но быстро отходит. Наташа – хохотушка, у нее легкий характер, она всегда улыбается, и ее все любят. «Посмотри, кто к нам приехал! Наташенька приехала!» – оповещают друг друга Бабушка



и Дедушка, открывая входную дверь. Кажется, Наташу они жалуют больше, чем Таню.

Таня и Наташа никогда не остаются на ночлег вдвоем: слишком мала горьковская квартира. Ночующий располагается на раскладушке в гостиной, рядом с буфетом, под радио, играющим гимн Советского Союза в шесть часов утра. Мальчик любит юркнуть под одеяло к Тане или Наташе – послушать пересказ фильма или книги, похихикать над анекдотом. Скоро Наташа начнет читать Мальчику настоящие, взрослые страшные истории из черного томака – рассказы о Шерлоке Холмсе и докторе Уотсоне.

Раз в году, на рубеже июля и августа, в Горький съезжается большая семья: с гастролей возвращаются родители Мальчика, прибывает тетя Мира со всем семейством. Бабушка и Дедушка загодя готовятся к общему сбору, радуются и волнуются. На кухне непрерывно что-то готовится. Круглый стол выдвигается на середину гостиной, раздвигается и покрывается черной шелковой китайской скатертью с золотисто-розово-зеленой вышивкой. На столе появляются бесчисленные блюда: форшмак и селедочка, выложенная на кольцах лука и кружочках томата, отварной язык и печеночный паштет, нежнейший говяжий или куриный холодец, к которому подаются самодельная чуть сладковатая горчица и розовый хрен на свекольном соке. Холодные закуски сменяются золотистым прозрачным бульоном с хрустящими, похожими на шляпки опят, профитролями, или холодным свекольником со свежими овощами и докторской колбаской, подается заливной карп или фаршированная щука. На столе – домашняя наливка. Обед завершают компоты, чай и разнообразная Бабушкина выпечка.

До того, как сесть за стол, все говорят громко и одновременно. Бабушка, снующая между кухней и гостиной, сердится и просит обождать с рассказами: она беспокоится, что прослушает что-то важное и интересное. В Мальчике, которому родители после двух месяцев разлуки по традиции привезли новую игрушку, все поет от радости. Он поочередно ласкается ко всем родственникам. Он так возбужден и переполнен любовью ко всем, что начинает испытывать странную ломоту в низу живота и загадочное физическое неудобство, от которого его короткие штанишки неприлично топорщатся.

Но вот все усаживаются за стол. Шум смолкает. Дедушка произносит тост за встречу и пригубливает наливку из хрустальной рюмочки. Разговоры становятся более упорядоченными, связными и чинными. Бабушка внимательно следит, чтобы все попробовали каждое блюдо. Дедушка непременно – это уже ритуал – рассказывает анекдот о бедном еврее, который, будучи в гостях у богатого родственника, убрал еду со своей тарелки, когда тот предложил ему почувствовать себя как дома. Дедушка, довольный, смеется – все в сб-

ре, и сам он не чувствует себя бедным родственником. Всем хорошо, уютно, весело.

Мальчик испытывает, наряду с радостью, легкую грусть. С некоторых пор он заметил, что именно в такие минуты звенящего ликования он явственно осознает, что эти мгновения скоро пройдут и больше никогда не возвратятся. Мальчику грустно, что лето перевалило за половину, что скоро все разъедутся, и нужно будет возвращаться домой, где ждет неизвестное – школа.

## Корзухины



...То, что обе дочери вышли замуж за русских, не вселяло спокойствия за завтрашний день внуков. Б. Я. Хазанов не питал большой любви к зятьям, особенно к младшему, Владимиру Нарскому: ведет пустые разговоры, позволяет себе рискованные замечания о политике, подозрительно часто рассказывает еврейские анекдоты (антисемит?). «Володя хороший парень, но антисоветчик», – говорил Б. Я. Хазанов жене. К тому же призрачность и непрактичность богемной жизни в театре, где работали младшая дочь Тамара и ее муж, вызывали настороженность. «Они же все пропивают!» – сокрушалась Н. Я. Хазанова, впервые посетив семью дочери в Куйбышеве: даже ее, мечтавшую о большей открытости своего дома для гостей, шокировала частота застолий шумной балетной компании.

Отношение к старшему зятю, Николаю Корзухину, было более сложным. Основательный мужчина, не пьющий, не курящий, немногословный, работающий. Но – совсем из другого, крестьянского мира, без приличного образования и, главное, с обременительным прошлым: из раскулаченных, был женат, имеет двух маленьких детей от первого брака, а это – тяжелая ноша для домашнего бюджета. В общем, Хазановы считали, что их дочери, Мирочка и Тamarочка, были достойны лучшей семейной доли.

Старшая дочь, Мириам (Мира), родилась через год после женитьбы Бориса и Нины, в декабре 1922 года. В 1928 году в Осиновке (там в это время работал Б. Я. Хазанов) ее отдали в белорусскую школу, где она окончила первые три класса. После переезда семьи в Балахну учеба в русской школе поначалу давалась с трудом. Мира путала русские и белорусские слова, выраженный белорусский акцент потешал одноклассников, которые прозвали ее «Пионэром». Отучившись по этой причине в четвертом классе два года, Мира настолько адаптировалась, что стала отличницей и активисткой. В школьной характеристике 11-летней Миры Хазановой, которая до недавнего времени хранилась в семейном архиве, было сказано, что она «обладает организаторскими способностями и быстро срабатывается с коллективом».

Н. Я. Хазанова, принимавшая самое деятельное участие в общественной жизни энергетиков Балахны, сделала все возможное, чтобы ее девочки вошли в среду инженерно-технической элиты, сохранявшей традиции высокой русской культуры. Дома практиковался только русский язык. Мира обучалась музыке (в их квартире в доме инженерно-технических работников стояло пианино, обязательный символ «культурности»), страстно полюбила театр и посещала хореографическую студию, в которую со временем привела и подростковую младшую сестру.

После переезда Хазановых в Горький Мира осталась в Балахне одна, чтобы окончить выпускной класс. Она получила крепкое общее образование: Мира Борисовна до сих пор цитирует немецкие стихи из школьной программы; во время учебы мужа помогала ему освоить школьный курс; вплоть до 1990-х годов консультировала старшего внука, Павлика, по математике и химии.

В 1940 году М. Б. Хазанова переехала к родителям и поступила в Горьковский медицинский институт, который, в связи с войной, окончила по ускоренной программе в 1944 году. Несмотря на урезанный курс, Мира получила качественное медицинское образование: у нее были прекрасные педагоги, авторы учебников. По институтскому распределению она приехала в поселок Игумново – один из окраинных районов Дзержинска Горьковской области, где до 1949 года работала цеховым врачом на военном заводе. Там и познакомилась с будущим мужем.

Николай Николаевич Корзухин (1918–1983) родился в Пермской губернии в многодетной крестьянской семье: помимо него в доме росли еще три сына и три дочери. Коллективизация разорила их крепкое, но отнюдь не богатое хозяйство: несколько коров и лошадей да маслобойня достались колхозу. Будучи взрослым, солидным мужчиной, Н. Н. Корзухин каждый раз плакал, вспоминая, как с их двора уводили скот. Отец, Николай Максимович Корзухин, был раскулачен и выселен из деревни, а семья осталась, найдя приют у близких родственников.

А потом пришла новая нежданная беда. Отцу разрешили навестить семью. Он приехал на казенной лошади, которую ночью без спроса взял покататься какой-то парень – и загнал ее. К утру лошадь пала. Н. М. Корзухин был обвинен во вредительстве и заключен в тюрьму, где и умер.

Вероятно, односельчане побоялись укрывать семью «вредителя». При таких обстоятельствах подросток Николай оказался разлученным с семьей и родной деревней. Его приютили дальние родственники, однако хлеб в их доме оказался горек: подросток должен был вместе с другими домочадцами зарабатывать валянием валенок и их сбытом по деревням. Что такое голод и холод, вызывающие

апатию и желание опуститься на снег и уснуть, Н. Н. Корзухин знал не понаслышке. В гостях у Хазановых в 50–60-х годах Корзухиных всегда ждало обильное и вкусное угощение. Когда трапеза подходила к концу и Нина Яковлевна выставляла на стол домашнюю выпечку, она всегда, не без доли кокетства, в ожидании похвалы скромно сообщала, что пекла на скорую руку – в доме было немножко муки, яиц, масла, сахара, меда, мака. На обратном пути Н. Н. Корзухин беззлобно ворчал: «Конечно: немножко муки, немножко яичек, немножко маслица, немножко сахара...» Призрак голодного отрочества не отпускал его всю жизнь.

После долгих мытарств в трудные 30-е годы Николай оказался в Москве у брата. После службы в армии (1938–1940) он вернулся в Москву и работал аппаратчиком на ТЭЦ. Оттуда его на несколько месяцев отправили в командировку в Дзержинск. Красивый, франтоватый блондин со столичными замашками, Корзухин считал свое пребывание в Горьковской области мимолетным эпизодом. Частью этого эпизода стало легкомысленное сожителство с местной девушкой, родившей ему двоих детей.

На оборонном предприятии, в самом начале войны, у него произошел конфликт с начальником цеха: все знали, что тот присваивает себе талоны на спецпитание, но открыто возмущаться боялись. А Николай высказал все, что думал, ему в лицо – и потерял бронь от призыва на военную службу. В Горьковском военкомате ему сказали, что он, сын раскулаченных, может быть определен только в стройбат. До отправки в армию Корзухин, отличавшийся красивым почерком, работал писарем у военкома, который и помог ему вернуться в Дзержинск, на другой завод – именно тот, где работала цеховым врачом М. Б. Хазанова.

Маленькая, изящная голубоглазая блондинка, она, к своему неизменному изумлению, производила на мужчин сокрушительное впечатление. За галантным ухаживанием Н. Н. Корзухина последовал гражданский брак, одобренный Н. Я. и Б. Я. Хазановыми, несмотря на отягчающие обстоятельства, вызвавшие у них нелегкие раздумья. В 1946 году у Корзухиных родилась дочь Таня, в 1951-м – уже после переезда в центральную часть Дзержинска – Наташа.

Декретный отпуск после войны ограничивался всего 35 днями. Нужно было срочно решать вопрос о том, кто будет ухаживать за маленькой Танечкой. Из Пермской области была вызвана мать Николая, крестьянка, психологически раздавленная коллективизацией и последующими унижениями и нуждой. В городе она чувствовала себя неуютно. И вскоре в доме появилась няня Поля.

Полина Петровна Милешина [1906(?)–1993(?)] происходила из крестьян Рязанской губернии. Она рано потеряла родителей и была определена в детский дом, надолго потеряв из поля зрения двух

братьев, которых нашла десятилетия спустя. Уже в 50-х или 60-х годах она случайно встретила на рынке землячку, которая и поведала, что ее брат жив и даже живет в той же деревне. Написав письмо в родные места, она получила ответ: живы оба брата. Два или три раза она ездила с Наташей Корзухиной в родную деревню. Сельское запустение и пьянство произвели на нее тяжелое впечатление.

Во время Великой Отечественной войны Полина была эвакуирована в Горький и попала истопником в Горэнерго. Затем ее сократили и направили на стройку. Не имея теплой одежды, она обратилась за помощью к Б. Я. Хазанову – всегда спокойному, рассудительному, внимательному. Он-то и предложил Полине новую работу – няней и домработницей в семье Корзухиных.

Она с радостью согласилась. Так ранней весной 1948 года, когда Танечке был год с небольшим, она вошла в их дом. Н. Я. Хазанова научила ее готовить. Мать Николая, с которой Поля не ладила, вернулась в деревню. П. П. Милешина прожила у Корзухиных без малого 23 года. Девочки, особенно Наташа, души не чаяли в этой маленькой седенькой женщине с рязанским акцентом и бесконечными крестьянскими прибаутками. Только отношения с Н. Н. Корзухиным, характер которого становился все тяжелее, доставляли ей много хлопот. Она заранее подготовила свой уход от Корзухиных. Как только Наташа в 1970 году покинула родительский дом, П. П. Милешина вышла замуж за пенсионера с собственным жильем и после его смерти доживала в Дзержинске в одиночестве.

Жизнь Корзухиных понемногу налаживалась. В 1946 году Мира Борисовна, которая, как и ее отец, беззаветно верила Советской власти и коммунистической партии, вместе с мужем вступила в КПСС. По ее настоянию и при ее неустанной поддержке Н. Н. Корзухин окончил вечернюю школу и техникум. Она приучила его к чтению классики и новинок литературы.

В 1949 году Корзухины переехали с окраины в центр города. Мира Борисовна работала начальником медико-санитарной части на оборонном заводе (официально – заводе сельскохозяйственного машиностроения им. Свердлова). В 1956 году стала рентгенологом в госпитале инвалидов Великой Отечественной войны. Благодаря неумному профессиональному любопытству, самообразованию и систематическому повышению квалификации она стала специалистом с необыкновенно широким врачебным кругозором. Опыт бурного публичного детства в Балахне и пример матери оказали влияние и на ее общественную жизнь в Дзержинске. Она была секретарем партийной организации госпиталя, завучем в Дзержинском филиале Горьковского медицинского училища, принимала самое живое участие в общественной жизни города. Подрастающих дочерей она, естественно, почти не видела.

Татьяна Николаевна Кузнецова (Корзухина), первая дочь М. Б. и Н. Н. Корзухиных – не из тех людей, кто ностальгически вспоминает о счастливом детстве и беззаботной молодости. После рождения младшей сестры, Наташи, красавицы и всеобщей любимицы, Таня была обделена вниманием родителей. «Ты уже большая!» – говорили ей, оправдывая разительную разницу в отношении к дочерям. «Что вы делаете?» – возмущалась Н. Я. Хазанова, видя, как Корзухины балуют младшую девочку в ущерб старшей.

В конфликтах между дочерьми отец всегда оказывался на стороне Наташи.

«Знаешь, мы с ней ссорились, – ответила Наташа в августе 2006 года на мой вопрос о том, за что Н. Н. Корзухин мог наказывать Татьяну. – Почему ссорились, я не знаю. Может быть, я такая была ехидная и что-нибудь ей говорила. <...> Но Таню я, видно, очень сильно доставала, я так подозреваю, и тогда мы с ней дрались. Просто дрались...» Наташа смущенно смеется. «Его, конечно, в это время дома не было. А вот когда он приходил, я, наверное, ему жаловалась, я так подозреваю».

У Корзухиных в туалете на гвозде висел старый солдатский ремень с пряжкой. Я помню, как «дядя Коля» точил на нем опасную бритву – других бритвенных приборов он не признавал. Этот ремень, который Н. Н. Корзухин называл «товарищем», он и использовал в качестве воспитательного инструмента. «Сейчас “товарищ” с тобой поговорит!»

Память – свидетель ненадежный. Даже непосредственные очевидцы одного и того же события вспоминают его по-разному. Мира Борисовна помнит, что муж стегал диван для устрашения Тани. Впечатлительная Наташа, тогда еще совсем маленькая, считает, что попадало и старшей сестре. «Пару раз, может быть, я не помню. Но очень страшно», – завершает рассказ Наталья.

Незадолго до окончания 9-го класса Таня охладела к школьным предметам. Ее нежелание продолжать среднее образование вызвало шок и у Корзухиных, и у Хазановых. Но у Татьяны, видевшей свое будущее только в медицине, был весомый аргумент: «Буду медсестрой, а если хватит ума – врачом». В 1963–1967 годах Т. Корзухина училась (и одновременно работала медстатистиком в госпитале) на вечернем отделении медицинского училища, которое окончила с отличием и желанием получить полноценное медицинское образование. Однако в Горьковский медицинский институт она поступила только со второго раза. На втором курсе ее настигла несчастная любовь, окончившаяся коротким неудачным браком, категорически не одобренным Н. Н. Корзухиным. В 1975 году, окончив лечебный факультет, Т. Н. Корзухина по распределению вернулась в Дзержинск рентгенологом в поликлинику.

В 1976 году она счастливо вышла замуж за ведущего инженера НИИ и мастера на все руки В. Ф. Кузнецова, в следующем году у них родилась дочь Ирина. Этот брак, вкупе с высоким статусом врача, принципиально изменил чувства к дочери Н. Н. Корзухина, который отныне с большим пиететом относился к Татьяне и ее мужу. С 1979 года и по сей день она работает в госпитале ветеранов Великой Отечественной войны (ныне – неврологической больницы № 3), заменив ушедшую на пенсию мать. Ее дальнейшая карьера оказалась не менее успешной, чем у М. Б. Корзухиной: врач высшей категории, главный рентгенолог Дзержинска, председатель профкома больницы, член горкома профсоюза.

В 50–60-х годах семейный быт Корзухиных постепенно налаживался. Две комнаты барака в Игумново сменила полноценная квартира в доме сталинской постройки, прекратились выплаты алиментов подросткам Н. Н. Корзухина от первого брака. В 1967 году они приобрели автомобиль, большую редкость и неоспоримый символ престижа в СССР того времени, в 1968 году – садовый участок.

Благополучие омрачали усиливающиеся болезни Н. Н. Корзухина. Дзержинск был оплотом химической промышленности, а Николай Николаевич с 40-х годов, когда техника безопасности не соблюдалась, работал на одном из самых опасных химических производств. Он стал жертвой медленного, накапливавшегося годами, химического отравления. «Ява» и «Ока» делают дурака – эта местная поговорка зафиксировала необратимые последствия для здоровья человека работы на химических заводах Дзержинска: свинцовое отравление головного мозга. Н. Н. Корзухина мучили головные боли, его характер деформировался, он все чаще впадал в состояние мрачного раздражения. Давала себя знать и травма, полученная им на заводе в конце 40-х годов: сдававший назад грузовик по недосмотру водителя придавил его к стене. В 1968 году в возрасте 50 лет он вынужден был по инвалидности выйти на пенсию.

Содержать семью в пять человек при резко сократившемся семейном бюджете было тяжело. М. Б. Корзухина бралась за любую подработку: соглашалась на ночные дежурства, заменяла уходивших в отпуск рентгенологов в больницах, диспансерах, медсанчастях Дзержинска.

И все же Корзухины смотрели в будущее с оптимизмом. Вырастали дочери. Рано обнаружившиеся неординарные музыкальные способности младшей из них не вызывали сомнений по поводу ее профессиональных перспектив.

Наталья Николаевна Хсиво (Корзухина) утверждает, будто всегда знала, что будет заниматься только музыкой и что ее мужем никогда не будет русский. У нее было счастливое детство. Ее беззаветно любила няня и обожал отец, на которого она внешне

очень походила в младшем возрасте. Она купалась в атмосфере любви Н. Я. и Б. Я. Хазановых, одноклассников и учителей, сокурсников и педагогов музыкального училища. В 1966 году она успешно окончила общеобразовательную восьмилетку и музыкальную школу, в 1970 году с отличием завершила учебу в Дзержинском музыкальном училище, в котором преподавали лучшие выпускники Горьковской консерватории. Наташа занималась музыкой с увлечением и любовью. По окончании училища она получила направление в Горьковскую консерваторию, одну из лучших в стране. Ее ждал конкретный педагог, и никто не сомневался в ее успешном поступлении – кроме нее самой. Наташа считала себя недостойной учиться в знаменитом вузе. А тут еще из разговора с младшей сестрой мамы, Т. Б. Нарской, она случайно узнала, что в Челябинском институте культуры недавно открылось музыкальное отделение. Работавшая в оперном театре «тетя Тамара» обрисовала ясную и обнадеживающую перспективу: по окончании института Наташу ждала работа театрального концертмейстера, о которой она и мечтала. Так Наташа Корзухина, совершенно неприспособленная к самостоятельной жизни, оказалась в Челябинске.

Может быть, с точки зрения развития исполнительской техники учеба в Челябинском государственном институте культуры была малопродуктивной. Наташа держалась старыми резервами, работанными в Дзержинске. Но нет худа без добра: во-первых, в Челябинске у нее были очень хорошие педагоги, и она действительно стала концертмейстером. А главное, в институте она познакомилась со столь же случайно заброшенным в Челябинск Борисом Хсиво – талантливым пианистом, интеллектуалом, эрудитом с рафинированным чувством юмора и полным отсутствием бытового практицизма. Последнее обстоятельство особенно удручало Н. Н. Корзухина. В 1973 году Борис и Наташа поженились, в 1976 и 1982 годах у них родились сыновья – Павел и Михаил.

В 1975 году, по окончании вуза, Борис получил направление в аспирантуру при Новосибирской консерватории, а беременная Наташа уехала в Дзержинск к маме. «Свежего» новосибирского аспиранта забрали в армию и отправили в Ачинское военное училище. Ироничный Борис сменил фортепиано на барабан и тарелки в военном оркестре. Деньги для ждущей прибавления семьи он добывал, участвуя вместе с оркестром в обслуживании похорон («жмуров»).

«Пересидев» с маленьким Павликом у своих родителей время службы Бориса в армии, Наталья переехала в Новосибирск, где стала концертмейстером в консерватории. Между тем, окончивший аспирантуру Борис попал в 1985 году под сокращение штатов. Поговаривали, что оно было сопряжено с негласным распоряжением о «прореживании» в консерватории евреев. Он ушел в филармонию,



куда его, прекрасного пианиста, с удовольствием приняли. В тот период он много гастролировал с новосибирским скрипачом мирового уровня Захаром Броном.

В 1991 году, когда подходила к концу горбачевская перестройка и жизнь в СССР достигла апогея непредсказуемости, они уехали на постоянное жительство в Израиль. Началась непростая жизнь на новом месте. Через десять лет тяжелого привыкания случилось несчастье, поставившее под сомнение все предыдущее и последующее существование: нелепо, в автомобильной катастрофе, погиб их первенец Павлик – умница, не по годам серьезный и трудолюбивый мальчик, добрый, обаятельный, начитанный, целеустремленный, гордость и надежда родителей. Жизнь, есть ли в тебе смысл?..

Но тогда, в 1966 году, нет еще ни Павлика и Миши Хсиво, ни Ирины Кузнецовой. Все живы, молоды и относительно здоровы, полны веры в завтрашний день и не страдают ностальгией по дню вчерашнему. Корзухины много фотографируются, потому что в жизни много счастливых моментов. С фотографий смотрят радостные, беззаботные лица.

## Визуальная социология частного фото



Одним из результатов поиска ключа к «шифрам» фотографии стало появление визуальной социологии. Для нее характерно представление о том, что зрительный образ формируется и трансформируется на протяжении всего времени производства и употребления изображения, он не задан изначально и всегда открыт для различных интерпретаций. В отличие от структуралистов социологи визуального настаивают на самостоятельности изображений, которые независимы от языка и его структур и более адекватно, чем язык, отражают «видимую сторону» общества и того, что за ней скрывается.

Визуальная социология возникла в англо-американском социологическом дискурсе в середине XX века. Она результат эволюции, сходной с той, что проделала визуальная антропология в Англии и США или визуальная этнология в континентальной Европе (сам термин «визуальная социология» проник в Европу лишь в 1980-х годах). До 1945 года в этнографии господствовал оптимизм по поводу документальной достоверности фото, сменившийся в середине столетия пессимизмом. В целом наметилось смещение внимания антропологов / этнологов с передачи знаний и объяснений действительности на пробуждение представлений о ней. Другими словами, возникло понимание того, что исследователь, если он хочет понять культурную систему, объясняет не действительность, а объяснения, даваемые представителями определенной культуры. В отношении фотографий прежний интерес исследователя – «Что видится?» – сме-

нился вопросом «Как видится?» С 80-х годов прошлого века в визуальной антропологии / этнологии стала укрепляться уверенность, что фотоизображение не должно изучаться в изоляции от его использования.

Современное состояние визуальной социологии в отношении частной фотографии отражает исследование немецкого социолога Штефана Гушкера, представляющее собой, насколько мне известно, наиболее систематическое изложение теоретических принципов этого молодого сектора социальных наук и убедительную попытку их применения в отношении фотографий, циркулирующих и хранящихся в приватной сфере. В диссертации «Мир изображений и жизненная действительность: социологическое исследование роли частных фотографий в придании смысла собственной жизни» он так формулирует свою методику: «Речь идет не об анализе содержания отдельных фото, а об анализе типичного процесса производства, восприятия и применения фотографий, а также той роли, которую фотографии как результат этого процесса берут на себя для доказательства наличия в жизни смысла» (Guschker S., 1).

Основная проблема анализа фотографии, с точки зрения визуальной социологии, состоит в том, что мотив фото редко показывает существенное и важное для его обладателя, вследствие чего оно остается закрытым для внешнего наблюдателя. Поэтому визуальная социология исследует не изображенные на фотографии объективные факты, а условия производства персональной правды. Другими словами, основа социологической интерпретации состоит не в анализе содержания или каталогизации мотивов, а в толковании того, как обладатели фотографий интерпретируют собственные фото в процессе рассказа о них.

Конкурирующим терминам без ясных границ – «семейная фотография», «фотография на память», «любительская фотография» и др. – Ш. Гушкер предпочел понятие «частная фотография», определяемая по социальному месту последующего применения.

Причину сложности интерпретации фотографического снимка Гушкер, как и его предшественники, видит в весьма условной связи фото с действительностью:

«Предварительной инсценировкой снимка в контексте его изготовления при фотографическом действии фальсифицируется именно то, что должно документироваться. Во время самого фотографирования неосознанные эстетические амбиции фотографа искажают обычно постулируемое документальное намерение в угоду гармонизации положения дел. Из-за механизмов последующей манипуляции снимками в режиме их использования остается лишь избранный фрагмент имеющейся массы изображений. Наконец, в силу исключения ситуативного контекста при

ИНТЕРПРЕТАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОХВАТЫВАЕТСЯ ЛИШЬ ЧАСТЬ ВОЗМОЖНЫХ ЗНАЧЕНИЙ. ТОЛЬКО ПРИ УЧЕТЕ, ХОТЯ БЫ В ПРИНЦИПЕ, ЭТИХ УСЛОВИЙ, МОГУТ БЫТЬ СДЕЛАНЫ РАЗУМНЫЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ О ФОТО» (ТАМ ЖЕ, 40).

В этой связи визуальная социология выступает за плюрализм подходов к интерпретации фотографий, за «дисциплинированный переход границ дисциплины» (там же, 16). По убеждению Ш. Гушкера, исследователь должен анализировать и само изображение, и его последующее использование. Анализируя достоинства и изъяны различных методик изучения фотоснимков – неврологических и психологических, иконологических и семиотических, коммуникативных и герменевтических, – Гушкер использует в качестве теоретической основы собственного исследования две социологические парадигмы: социологию повседневности Альфреда Шютца и социологию знания его учеников Питера Бергера и Томаса Лукмана. Обе теории объединяет представление о социальной конструируемости реальности, которая представляет собой хрупкую «конструкцию на грани хаоса» (Berger P., Luckmann T., 111). Фотопрактика представляется Гушкеру одним из способов стабилизации воспринимаемой человеком субъективной реальности. При этом он признает, что любые теоретические размышления могут использоваться на практике лишь приблизительно.

Помимо прочего, Ш. Гушкер критически размышляет и о возможности социологического анализа единичного случая производства и использования частной фотографии. Такой анализ может считаться приемлемым, если исходить из безосновательного предположения, что конкретный случай может быть абсолютно детерминирован структурно и не содержать никаких случайных аспектов. К тому же другие фотоснимки могут нести дополнительную информацию об анализируемом фото, поскольку фотографии цитируют друг друга и порознь составляют лишь части послания.

Тем не менее, Гушкер не исключает возможность эффективного изучения отдельного фото.

«Впрочем, исследования единичного случая не являются неточным и неподобающим выходом из затруднительного положения, а представляют собой – при условии адекватной постановки вопросов – вполне разумное решение исследовательского дизайна. Максимально точно определить структуру *отдельного* случая значит усмотреть в нем особенное общее и предпринять, исходя из этого, контролируемую типизацию.<...> Две черты делают возможным заключение об общем значении частных фото на основе отдельных исследований этих фотографий: почти повсеместное распространение и относительная целостность канона мотивов. Именно социальное оформление индивидуальной фотопрактики делает каждого актера типичным актером» (GUSCHKER S., 100).

Для удобства упорядочения материала и его анализа Ш. Гушкер выделяет в фотографии как социальном процессе три составляющие: дофотографическую, фотографическую и постфотографическую ситуации.

«Частная практика – это сеть нормативных регулирований, коллективного типичного, рутины, ожиданий и “ожидания ожиданий”. В *дофотографической ситуации* смысл частного фото социально закладывается, но не предопределяется. Первый уровень значений частной фотопрактики, который должен учитываться при любой интерпретации, – это нормативные условия. Частная фотопрактика пронизана intersубъективным знанием о ее “какой-нибудь” полезности, она социально желательна, социально контролируема и социально ограничена. Этот уровень значений связан с *осуществлением* социального действия.

В *фотографической ситуации* возникающему продукту – фотографии – с помощью необратимой фиксации какой-то социальной ситуации приписываются индивидуальные значения. Мотив, или, точнее, *фотографируемая ситуация* как часть этой социальной ситуации репрезентирует фотографическую ситуацию. Поскольку каждое фото имеет одного или нескольких обладателей, оно на этой ступени последовательности фотографических действий приобретает индивидуальное значение, причем тем больше, чем активнее обладатель фото участвовал в фотографической ситуации. С течением времени, в *постфотографической ситуации*, изменяется взгляд на фото. Хотя внешне оно остается таким же, из актуального сегодня изображению задаются постоянно меняющиеся вопросы. В зависимости от намерений “возникает” совершенно новый образ. При этом создается соответствие внутреннего образа внешнему изображению, которое обосновано или может быть обосновано. В этом напряжении и заложен смысл частных фотографий. Субъективное усилие по созданию конструкции, которое при этом прилагают индивидуумы, растет в зависимости как от сложности намерения (или намерений), так и от времени. Его конечным продуктом является “автобиографическое фото”» (там же, 119–120).

Таким образом, приватное фотографирование имеет нормативные границы, предпосылки и установки по поводу того, что может и должно показываться и сниматься. «У образов всегда есть образцы» (там же, 121). В дофотографической ситуации определяется мотив и повод для проведения фотосъемки. И то, и другое, несмотря на предполагаемую свободу выбора у человека с фотоаппаратом, активно рекламируемую фотофирмами, имеет культурно кодированные рамки. В выборе мотива отражаются вкусы эпохи, система ценностных ориентиров социальных групп или общества в целом.

Канон мотивов фотографии черпают из привычного знания, своего рода коллективной памяти о «правильном» производстве фотоснимков, из которой, правда, выпало осознание источника этого знания. Особенно это касается наиболее консервативного жанра фотографии – портрета.

Независимо от мотива фотографии поводом для нее всегда является «первый раз» человеческой деятельности или жизненной ситуации: поворотные пункты, перемены, переломы, начала. В этой связи не приходится удивляться, что любимым объектом фотографирования являются дети, эти «фотозвезды семьи» (Budgoll E., 47). Поводы должны содержать нечто особенное, не банальное, отличное от повседневной рутины. В этом смысле частная фотография фиксирует экскурсии из повседневности, те чудесные моменты, которые в совокупности складываются в «проект прекрасной жизни» (Schulze G., 38).

Чем исключительнее повод, тем больше стремление поручить его «документацию» профессиональному фотографу. Так, с 70-х годов XIX столетия и до наших дней фотографирование свадеб является монополией профессионалов, которым отводится важное место в инсценировании идеальной пары.

Таким образом, дофотографическая ситуация пронизана социокультурными нормативными установками, определяющими рамки индивидуального поведения фотографирующего и фотографируемого.

Фотопрактика содержит социальные пожелания и ограничения, реализуемые в фотографической ситуации, которая не сводима к фотографируемому моменту. В нее входит ряд «последовательных действий, в ходе которых фото инициируется, организуется и осуществляется» (Guschker S., 171). В фотографической ситуации проводится организаторская работа, которая соотносится с выбором мотива будущей фотографии: выбирается место для фотографирования и расположение его объектов относительно друг друга, принимаются позы и избираются жесты, намекающие на особые, желательные качества персоны.

Фотографическую ситуацию порой воспринимают как череду насильственных действий, что особенно заметно бывает на детских фотографиях. Действия фотографа могут ощущаться как вмешательство и произвол – недаром В. Беньямин описывал свои детские воспоминания о визите в фотоателье как посещение камеры пыток.

Средством сведения организационной работы к минимуму является ее ритуализация.

**«ФОТОГРАФИРОВАНИЕ КАК ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – КАЖДЫЙ РАЗ ПОВТОРЯЮЩАЯСЯ ПРАКТИКА; ТАКИМ ОБРАЗОМ, ИМЕЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ МИНИМИЗАЦИИ СВЯЗАННОЙ С НИМ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ РАБОТЫ. <...> ФОТОРИТУАЛ ОТЛИЧАЕТСЯ ТЕМ, ЧТО ОН С ПОМОЩЬЮ ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕК-**

тов, символических средств и сценического оформления создает или подтверждает нечто исполненное значения» (там же, 190).

Социальную заданность фотопрактики прекрасно иллюстрирует история ранней фотографии. С момента появления за ней закрепились функции документации и верификации порядка, статуса и счастья. Фотографическая практика оказалась буржуазным феноменом постольку, поскольку она предоставила буржуазии возможность обозначить свою социальную границу снизу, ориентируясь на аристократическое портретное искусство и воспроизводя на фотографии эстетические и поведенческие нормы элиты. В реализации этой функции фотографический портрет с самого начала вышел на первый план. Рост самооценки средних слоев уловили фотографы, которые стали декорировать свои ателье колоннами, драпировками, книжными шкапами, благородной мебелью. Клиенты фотографировались в полный рост, в нарядной одежде и напыщенных позах в соответствии с аристократическим живописным стандартом. Благодаря совместным усилиям фотографов и клиентов фотография изначально гнала: она пропагандировала ценности, которыми фотографируемые не обладали, но стремились обладать, она должна была выполнить желание клиентов выглядеть «как все», подчинив этому желанию свои индивидуальные особенности:

«Салонные портреты никогда не выполняли функцию адекватного воспроизведения действительности... Не конкретное положение индивида было темой изображения, а выражение буржуазных ценностных представлений. Желательным был обобщенный портрет буржуа, за образом которого индивидуальное сходство терялось за ненадобностью. Именно в таком портрете как доказательстве своей общественной важности нуждался буржуазный современник. В ателье буржуа был повелителем мира, который он упорядочивал по своему вкусу и одновременно добивался признания своего вкуса как общественно значимого. В качестве эстетического средства ему служила схема репрезентации, по которой персоны и предметы располагались на изображении. Это был фасад буржуазии, за которым оставалось сокрытым подлинное лицо повседневности» (Starl T., 43).

Еще в 1854 году С. Кьеркегор не без доли иронии писал: «С помощью дагерротипии легко можно достичь того, что каждый будет портретироваться; раньше – только избранные; и одновременно есть непреодолимое стремление к тому, чтобы все мы имели одну и ту же внешность – так что был бы нужен только один портрет» (цит. по: Sontag S., 186).

В итоге в середине XIX века фотопортрет оказался в плену настолько унифицированного клише, что у современников действительно отпала надобность в периодическом воспроизведении себя.

Фотопрактика оказалась в кризисной ситуации, отразившейся в массовом закрытии фотоателье в Европе. Лишь в последней трети XIX века, в ходе многочисленных «художественных» экспериментов с парадным фотопортретом, кризис ранней фотографии был преодолен. Это не означает, однако, что изготовление фотопортретов на заказ, особенно в рядовых студийных фотографиях, обходилось без трафаретов. Один из русских фотографических журналов с иронией описывал излюбленные фотопортретные позы, упоминая о положениях «спокойно-равнодушном с опущенными руками, важно-политическом с откинутой назад головой и правой рукою, заложенной за лацкан пиджака, или лучше – фрака, глубокомысленно-гениальном со скрещенными на груди руками и взглядом исподлобья, слегка вольном, с руками, засунутыми в карманы...» (цит. по: Морозов С. А., 42).

Однако социальные нормативы фотопрактики продолжают действовать и после производства фотографических изображений. В постфотографической ситуации взгляд на фото меняется; его смысл и значение усиливаются или утрачиваются. В ходе различных видов работы над фотографией, наделяющей ее смыслом и преодолевающей растущий зазор между сфотографированной ситуацией и нынешним днем ее участника и владельца фотографии, возникает конечный продукт – автобиографическая фотография, «документ» удавшейся жизни. Третий этап в процессе придания смысла фотоизображению оценивается в визуальной социологии как наиболее значимый, поскольку его анализ способен раскрыть главную загадку фотографии – несовпадение мотива изображения и его значения.

## Осенние вояжи



Помимо естественного переживания за близкого человека мелькает тревожная мысль: надо спешить с реализацией проекта...

Последние четыре месяца 2005 года прошли в интенсивных разъездах. В конце августа я приехал в Челябинск, где 10–11 сентября усилиями моих коллег Оксаны Нагорной, Ольги Никоновой и Юлии Хмелевской была организована международная конференция «Опыт мировых войн в истории России». Очень странно было видеть в челябинском интерьере моих добрых знакомых Дитриха Байрау из Тюбингена, Беату Физелер из Бохума, Кармен Шайде из Базеля. За напряженной, богатой на дискуссии конференцией последовал двухдневный выезд нескольких ее участников на озеро Увильды, на притихшую, идиллическую, не ведающую спешки сентябрьскую природу. В неторопливых застольных и прогулочных беседах блистала искрометная Нея Марковна Зоркая, знаменитая кинокритикесса, приехавшая из Москвы в компании Геннадия Бордюгова и Бориса Соколова. Во время милого ужина в каминном зале виллы на берегу

роскошного озера она, не по возрасту лихо разделяваясь с алкоголем, похвалила организаторов конференции за умение бегло говорить по-немецки и по-английски. «Нея Марковна, – изумился я, – а почему Вы не хвалите наших зарубежных гостей, прекрасно говорящих по-русски?» В ответ она элегантно махнула рукой: «По-русски любой дурак умеет!»

Обратный путь в Германию (обжившись в Берлине, я все-таки принял предложение Йорга Баберовского задержаться в немецкой столице еще на три месяца), где теперь мне предстояло выступить в статусе приглашенного исследователя в коллективном проекте, пролегал через Стокгольм – вторую столицу, открытую мною в тот год (первой был Будапешт). Историк Леннарт Самуэльсон пригласил меня на небольшую, менее чем в дюжину докладчиков, конференцию по крестьянноведению, организованную им в Стокгольмской школе экономики 29–30 сентября.

Вечером 28 сентября моими соседями за праздничным столом оказались замечательные историки с мировой известностью – Теодор Шанин и Моше Левин. В разгар вечера величественный, с голым черепом прекрасной лепки англичанин родом из Вильно Т. Шанин вполголоса обратился на русском с заметным британским акцентом к миниатюрному веселому земляку М. Левину: «Ну что, Миша, как будем уходить – по-английски или по-еврейски?» «Это как?» – с ашкеназийской мелодичностью переспросил гражданин Франции из США, советский ветеран Великой Отечественной войны, сделав вид, что не знает известной шутки из уст человека, с которым его связывают десятилетия дружбы и научного сотрудничества – эффект явно адресовался мне. «Англичанин уходит и не прощается, – с удовольствием изрек Теодор, – еврей прощается, но не уходит».

30 сентября вторым номером за Т. Шаниным – мое выступление, посвященное уральскому крестьянству в русской революции. Шведская аудитория безмолвствует. «Чтобы задавать вопросы, нужно хотя бы понять, о чем шла речь в докладе», – флегматично подает из зала голос М. Левин. «Что, Михаил Львович, так плохо?» – спрашиваю я. В ответ он молча, с довольной улыбкой, одобрительно показывает мне большой палец.

Свободное время проходит большей частью в приятнейшем обществе петербургского историка Олега Кена, тонкого, остроумного собеседника и внимательного слушателя. Не занятые обязательной программой часы посвящены исследованию чудесного города на четырнадцати островах, с обширными водными гладами и замечательными, несколько холодными и тяжеловесными архитектурными комплексами в Гамла Стане, Скеппсхольме, Норрмальме и Эстермальме. Стокгольм показался мне антиподом незадолго до того посещенного Будапешта – более яркого, живого, с налетом



ориентальности в изысканном архитектурном модерне рубежа XIX–XX веков, наполненного музыкой и разноязыкой речью. После Берлина и Челябинска особенно бросается в глаза, насколько чиста и ухожена шведская столица.

По прошествии суматошного октября в Берлине, заполненного делами в университете и чтением литературы по «фотографическому» проекту, мне предстоит поездка в Норильск и Челябинск. В Норильске я участвую в конференции «Гражданин мира или пленник территории? К проблеме идентичности современного человека», организованной Фондом культурных инициатив Михаила Прохорова, в Челябинске ждут на свою золотую свадьбу мои родители.

В ночь на 2 ноября я лечу из московского аэропорта Домодедово в Норильск. Мой сосед – Йохен Хелльбек, которому после июльского доклада в Берлине я рассказал о предстоящей конференции. Йохен загорелся – один из его проектов косвенно связан с Норильском – и был принят в команду участников.

Норильск встретил нас снегом с ветром и понижением температуры, особенно заметным после относительно теплой берлинской и московской осени. Столбик термометра 2 ноября упал с 7 до 19 градусов мороза, до  $-21^{\circ}$  на следующий день и до  $-24^{\circ}$  в день моего отлета. Странный город в мареве промышленных выбросов и запыленного холода удивил отсутствием деревьев, мелкоформатными окнами и ложными балконами сталинских жилых построек.

В первый день была организована экскурсия по местным достопримечательностям – на медеплавильный завод и норильскую Голгофу, место массовых захоронений узников Норильлага. Вынести с завода в качестве сувениров брызги чистой норильской меди нам не разрешили – возможны неприятности в случае проверки на выезде из города. На мемориале жертвам сталинских репрессий молоденькая экскурсовод Вика водит нас между памятниками, воздвигнутыми в 90-х годах по национально-конфессиональному принципу, – польским, литовским, латышским, эстонским крестами, иудейской менорой. Есть и православная часовня, с которой по распоряжению отца Сергия «почему-то» снят крест. Я впечатлен: православный священник проявил больше такта, веротерпимости и широты взглядов, чем католики, протестанты и иудеи. В конце концов, в смерти норильские зеки были равны, вне зависимости от этноконфессиональной принадлежности.

Конференция стоила дальнего перелета. Она была прекрасно организована: насыщенные доклады и острые дискуссии конкурировали с изысканностью и обилием трапез. Участие в ней имеет прямое отношение к моему проекту. Для меня это – проба пера в жанре автобиографического эссе, оцененного на следующий день конференции московским искусствоведом Георгием Никичем-

Криличевским как «экзистенциальный жизненный арт-проект» (Гражданин мира, 163). Мое выступление, неудачно намеченное на конец напряженного рабочего дня, тем не менее, вызвало оживленную дискуссию о взаимовлияниях идентичности и биографии. Обсуждение элегантно закруглил писатель Дмитрий Александрович Пригов: «Вот здесь все приводили драматические примеры, а я хочу привести благостный пример. Разговор, подслушанный в электричке, которая идет из Мюнхена в Дахау. Дахау – это недалеко. Вы все знаете, что такое Дахау. Сидят две репатриантки-еврейки. Одна другой говорит: “Знаешь, я так не люблю этот Минхен, народу много. То ли дело у нас, в Дахау. Так мило, симпатично все”» (там же, 159).

В Норильске я в первый же день сдружился с социологами из Саратова Татьяной Черняевой и Валерием Виноградским. Очень дельной, симпатичной, с тонким чувством юмора Татьяна и седовласому добродушному Валерию я поведал о своем «фотографическом» замысле, вызвав у обоих одобрительное воодушевление. (Кстати, по внешнему виду Валерия сразу же можно было догадаться, что он сотрудничал с Т. Шаниным: подобно «патрону», Валерий изгнал из своего гардероба пиджак и галстук.)

Вечером после первого дня работы конференции я не без сожаления прощался с ее участниками. Д. А. Пригов подписал мне на память черно-белую фотооткрытку из цикла «Разнообразие всего», на которой он в костюме и стильной рубашке навывпуск выглядывает из-под мышки обнаженной дамы. «Меня это забавит», – на чертал на обороте как-то очень естественно эпатирующий писатель и художник.

Из-за нелетной погоды я 4 ноября чуть не опоздал в Москву, чтобы пересесть на челябинский рейс. После трех дней родительских юбилейных торжеств (на которых среди многочисленных гостей присутствовали моя двоюродная дзержинская сестричка Татьяна и московский друг папы Игорь Владимирович Кузнецов с супругой), коротких встреч с друзьями и коллегами я вновь – последний раз в 2005 году – улетел в Берлин.

Последние полтора месяца в Германии оказались особенно напряженными и суетными: с 17 по 22 ноября я провел в Тюбингене, где выступал с докладом на «фотографическую» тему у Дитриха Байрау; 26–27 ноября встречался под Регенсбургом с Флорой А. Марталер, когда-то учившей меня в Челябинске немецкому языку (о ней я расскажу во второй главе); 28 ноября выступал на коллоквиуме у Мартина Шульце Весселя в Мюнхене; 30 ноября – 3 декабря участвовал в семинаре для польских и российских учителей истории, организованном моим давним знакомым Робертом Трабой, под Варшавой, в загородном центре Польской академии наук «Мондралин» (в переводе на русский – «умник»). Проведя короткую ночь с 3 на 4 де-

кабря в Берлине, я на три дня отправился в Бохум, на доклад у Беаты Физелер и на встречу со старыми друзьями Урзель и Руди Ворбс.

Доклад повсеместно вызывал живой интерес, дельные вопросы и комментарии, полезные для работы над проектом, за что я весьма признателен участникам дискуссий. Надеюсь, они не обидятся на меня за то, что часть их пожеланий я не смог или не счел возможным реализовать. В Тюбингене Ингрид Ширле посоветовала мне сопоставить различные праздничные культуры на основе сравнения иконографии фото, посвященных приему в школу; критичный и прямолинейный Клаус Гества рекомендовал более тщательно контролировать мои исследовательские процедуры, упрекнув в том, что несмотря на усилия дискуссионтов сдвинуть меня в сторону науки я упорно возвращаюсь к автобиографическим воспоминаниям; эксперт по сталинистской иконографии Ян Плампер высказал ценное соображение – и повторил его на следующее утро во время встречи в кафе – о необходимости усилить мой основной документ, фотографию 1966 года, которая может пригласить к различным интерпретациям и тем самым стать поводом для размышлений о языке тела, истории детства, моды, поколений, гендера. Он же посоветовал прочитать книгу Б. Река как альтернативу исследовательским стратегиям П. Берка, а также исследование Э. Трамбла о культурной истории улыбки. Дитриха Байрау интересовало, говорили ли – и как – в семьях о терроре, а также и вопрос о том, как соотносилась в СССР 60-х годов профессиональная и любительская фотопрактика. По пути из Института восточно-европейской истории в ресторан «Кюрнер», где после коллоквиума по традиции собираются его участники, он под впечатлением от моего доклада рассказал о двух своих тетушках; одна из них при Гитлере была яркой нацисткой, а сын другой стал жертвой принудительной эвтаназии...

Благодаря дискуссиям в Мюнхене и под Варшавой – хотя в Польше я выступал на совершенно другую тему – я осознал важность проблем семейной коммуникации и семейной памяти для моего проекта. Мюнхенские коллеги Бениамин Шенк и Мартин Шульце Вессель обратили мое внимание на сложность определения специфически «советского» в частном фото, на советские образы счастливого детства (оказавшие, вполне возможно, влияние на мои воспоминания об автобиографическом прошлом). Мартин на собственном примере иллюстрировал коммуникацию между ветвями семьи с помощью детского фото: сельские родственники инсценировали его детские фотографии с видом на крестьянский двор на заднем плане, в то время как городские предпочитали организовывать его снимки с городскими аксессуарами вроде телефона.

По окончании доклада дискуссия стихийно продолжилась в пиццерии. Как это часто случается, в неформальной обстановке

обсуждение оказывается более плодотворным. Когда мы прощались, один из участников коллоквиума резюмировал свои впечатления от доклада: «Вначале я мысленно качал головой: странно и рискованно, рискованно. Потом стало интересно».

В Бохуме меня также ждали интеллигентные вопросы и законные сомнения, в том числе о возможности соединить воспоминания с исследованием. Присутствовавший на докладе мой троюродный племянник Стефан Немировский (внук А. С. Пухальской), талантливый математик, работающий в Рурском университете, подсказал мне, где искать информацию о советском фотолюбительстве, к которому были причастны и его родители. Кажется, мой доклад произвел на Стефана впечатление: через несколько дней я получил электронное письмо от Агнии Стефановны, в котором она сообщила, что Стефан не ожидал, что из незначительного факта жизни можно выстроить «целый дом» далеко идущих исследований. Наиболее скептическими оказались присутствовавшие на коллоквиуме слушатели с российским прошлым. Как я позднее узнал от Беаты Физелер, обмениваясь впечатлениями о прочитанном докладе, они высказали мнение, что я перемудрил с интерпретацией фотографии, в которой на самом деле нет ничего необычного.

Под Варшавой, в «Мондралине» – между докладами, ролевыми играми, работой в группах, интенсивными дискуссиями, изысками добротной польской кухни и ежевечерними веселыми посиделками с роскошными польскими водками «Желондковой» и «Крупником» – у меня произошло два неожиданных прямых столкновения с собственным семейным проектом. 1 декабря, перед началом семинара, несколько озадаченный Роберт Траба сообщил мне, что меня жаждет поприветствовать Анджей Валицки. Интерес к моей персоне известного историка русской общественной мысли, преподающего последние двадцать лет в США, и участника Варшавского восстания 1944 года польстил мне, и, как оказалось, – преждевременно. Подведенный ко мне сухощавый мужчина лет 75 с внимательными светлыми глазами за стеклами очков, с впалыми щеками, тонкими безусыми губами, изящным длинным носом и холеной седой боцманской бородкой, одетый в темно-серую тройку, растерянно пробормотал по-русски со слабым польским акцентом: «Но Вы же не Игорь Нарский!» Все ясно – со мной такое недоразумение уже случилось. А. Валицки надеялся увидеть видного советского философа, профессора МГУ Игоря Сергеевича Нарского. А я-то губы раскатал...

За ужином А. Валицки рассказывает мне о И. С. Нарском, которого знал с 50-х годов. Тот хорошо читал по-польски и гордился польской кровью (одна из его бабушек была полькой). Он был осторожным человеком. Когда в 1959 году в Польше вышел сборник статей А. Валицкого «Личность и история», Нарский при встрече по-

хвалил его, а затем пожурил: по его мнению, в сборнике было слишком много Ф. М. Достоевского и мало Н. Г. Чернышевского – момент для публикации такого рода текста, считал он, тогда еще не созрел. Единственное, считал Нарский, что советские философы в этой ситуации могли бы сделать для Валицкого – это умолчать о содержании сборника, чтобы о нем не узнали «идеологи-церберы». Пусть автор предстанет невинным популяризатором российского духовного наследия.

Известна и другая, неоднократно слышанная мною история, в которой именитый московский философ стал жертвой собственной осторожности. Вслед за поступившими на рассмотрение в Президиум Академии наук СССР документами о его избрании в члены-корреспонденты он якобы поспешил направить туда письмо о том, что он не еврей. Результат оказался для И. С. Нарского прямо противоположным ожидаемому: академики, вероятно, были возмущены подспудно содержащимся в письме предположением об их антисемитизме. Нарский собственноручно закрыл себе доступ в академическую когорту.

Вечером следующего дня польская участница семинара оставила меня в коридоре: не родственник ли мне покойный Сигизмунд Нарский, экономист из Торуня, у которого она училась в 1978 году? Он был антикоммунистом и не скрывал своих взглядов. Сколько же их, этих Нарских?! Польские коллеги уверяют, что Нарский – не еврейская фамилия. А Валицки советует мне нанять молодого поляка-историка для поиска польских Нарских...

Из утомительного «турне» я, наконец, 7 декабря возвращаюсь в Берлин. Менее чем через две недели я буду в Челябинске. Сколько же я наездил? 17 железнодорожных поездок, 27 авиAPERелетов – такого количества перемещений у меня, кажется, никогда не скапливалось в одном году. Чешский писатель Михал Вивег полагает, что «счастье человека прямо пропорционально выраженной в километрах длине его служебных командировок» (Вивег М., 151). Может быть, он и прав. Однако на этот раз скорая перемена места совпадет с переменой времени – окончанием года. Становится немного грустно.

## Поход в фотоателье



Мальчику грустно, что лето перевалило за половину, что скоро все разъедутся и нужно будет возвращаться домой, где ждет неизвестное – школа.

Он помнит многое из происшедшего в этом, 1966 году. Его преддверие сопровождалось неприятностями. В конце декабря из Горького пришла новогодняя посылка с подарками. Мальчик знал, что в фанерном ящике его ждут сабля и пистолет. Причем пистолет,

как сказал Дедушка по телефону, с барабаном, и Мальчик внутренне ликовал, мечтая о долгожданном револьвере. Но Папа сказал, что посылку вскроют только после того, как закончится домашнее занятие музыкой. Гаммы тянулись бесконечно долго, этюд и пьеса не ладилась. Еще бы: мысленно Мальчик был на кухне, где стояли запечатанные подарки. «Врешь», – то и дело повторял Папа обидное слово, когда непослушные пальцы попадали не на ту клавишу. Наконец, Папиному терпению пришел конец. Щелчок по лбу крепким, с пожелтевшим от курения ногтем, пальцем – очень больно и обидно. Клавиатура расплывается в пелене слез.

Но вот ящик с подарками открыт. Большой красный пистолет оказался совсем не таким, как ожидал Мальчик. Барабан располагался под прямоугольным в сечении дулом не вдоль, а поперек его оси и предназначался для заряда бумажной пистонной катушкой. Массивный, для четырех пальцев, курок был непреодолимо туг. Разочарование искупала зеленая шашка, источавшая резкий запах пластмассы, в ножнах с рельефным узором – как у буденовцев. Но ощущение горечи, унижения и разочарования все равно остались.

Зато месяцем позже первый раз был отпразднован его день рождения, семилетие. По крайней мере, Мальчик не помнит предыдущих. Праздновали по-настоящему, с большим количеством гостей. Даже воспитательница из детского сада Раиса Павловна приехала. Она привезла ему в подарок большой оранжевый гусеничный трактор, работавший на батарейках: точно такой же трактор, американский «Катерпиллар», долго стоял неподалеку от их прежнего дома на улице Грибоедова. А дядя Володя Криворуцкий из балета подарил Мальчику настоящие, взрослые, мужские брюки бежевого цвета в мелкую клетку.

В марте того года Мальчика положили в больницу – первый раз в жизни и надолго, на целый месяц. В детском саду работала медкомиссия, которая обнаружила, что Мальчик – носитель какого-то инфекционного заболевания. Он помнит, как спускался из квартиры во двор в ожидании машины «скорой помощи», которая должна была увезти его в далекий и совершенно незнакомый Металлургический район. Мальчика встретили серый, пасмурный день, серый снег и совершенно пустой двор. Было ужасно обидно, что никто из дворовых ребят не увидит, как он садится в машину. Во время удручающе долгой поездки за окном автомобиля промелькнули огромные, мрачные заводские здания с уродливыми трубами и унылые пустыри.

В больничной палате, куда привели Мальчика, размещалось человек шестнадцать-двадцать. Ему было ужасно неуютно и одиноко посреди гама и возни незнакомых мальчишек, некоторые из них были старше его на два-три года. В первый день он не выходил из палаты, не исследовал территорию, не знакомился с соседями, даже

не поинтересовался, где туалет. После отбоя долго лежал в темноте, с вождением глядя на узкую полоску света, пробивающуюся из коридора, но встать так и не решился. Он заснул в теплой луже – после того, как понял, что до утра ему не дотерпеть. Утром было стыдно и обидно из-за насмешек обитателей палаты.

В больнице Мальчик узнал много нового. Он обучился, например, неприличным жестам и словам, смысла которых он, правда, не понимал, но догадывался, что они как-то касаются отношений между мужчинами и женщинами. Вскоре он выяснил, что новым знанием нужно пользоваться осторожно: однажды за произнесение за столом самого короткого матерного слова он получил алюминиевой ложкой по лбу от одного из старших сотрапезников.

Помимо прочего, в больнице он узнал, что сгущенку можно есть сырую, бледно-желтую и жидкую, а не ярко-коричневую, густую, вареную, как у Бабушки в Горьком. И он стал обладателем обидного, но неоспоримого знания, что его Мама похожа на ведьму.

Как-то раз в палату пришла миловидная белокурая женщина, мать соседа Мальчика по койке. После ее ухода сын, пожирая столовой ложкой жидкую сгущенку, заявил: «У меня мама самая красивая!» «У меня тоже», – ответил Мальчик. «А вот и нет, – возразил тот. – Она страшная, она похожа на колдунью!» Мальчик растерялся, но крыть было нечем. Конечно, Мама не страшная, у нее красивые голубые глаза и густые каштановые волосы. Но нос! Непропорционально большой, с горбинкой, как у хищной птицы. Мальчику нечего было возразить: жутковатая пиковая дама с игральной карты – блонетка с горбатым носом (Мальчик по недоразумению называет такие носы «курносими»: он считает, что так называется нос в форме куриного клюва), а на предплечье трефового короля изображен профиль пожилой женщины с хищным крючковатым носом, от вида которой Мальчика пробирает дрожь. Он не знает, как и его оппонент, что их короткий диалог имеет отношение к еврейской теме: остроконечная черная шляпа и нос крючком – неизменные атрибуты облика ведьмы – были принадлежностью средневекового европейского еврея. И та, и другой обвинялись в похищении и жестоком умерщвлении детей. В детской субкультуре крупный хищный нос намертво сросся с образом зла.

В больнице Мальчик скучал по дому. Маму в палату пускали редко. Няня приходила под окна больницы, и Мальчик переговаривался с ней жестами через заклеенное на зиму окно второго этажа. Она улыбалась и что-то кричала ему, но он не мог разобрать ни слова. Нужно было привыкать к самостоятельности. Медлительный Мальчик долго и неловко одевался, чтобы выйти погулять. Во двор он спускался последним, в общих играх участия не принимал: сидел на скамейке, ковыряя палкой темный, слежавшийся снег, из-

под которого вытаивала куча хлорки, резко, до слез бьющая в нос испарениями аммиака.

Помнит Мальчик и долгожданный день, когда он наконец-то покинул больницу – солнечный, яркий, теплый. Его забрала Мама; по пути домой они заехали в театр, а потом пешком шли до площади Революции, мимо газонов со свежей травой и ранними одуванчиками – первыми признаками скорого отъезда в Горький.

Мальчик любит рассказывать. Это качество он обнаружил в себе тоже в больнице, где многократно и в деталях пересказывал виденные им театральные спектакли. (Самыми благодарными слушателями, к его смущению, оказались его сосед, здоровенный и добродушный умственно отсталый детина лет четырнадцати, и девчонки из соседней палаты.) В Горьком он осознанно собирает, запоминает впечатления, чтобы позже, в Челябинске, поделиться ими со своим другом из детского сада и бывшим соседом по двору Володей Клиновым. Не забыть бы до осени, что в начале июня он был с Бабушкой в кинотеатре имени Минина на лирической комедии «Стряпуха» с очень красивой главной героиней (Светланой Светличной) и симпатичным отрицательным персонажем (Владимиром Высоцким). Что 4 июня, субботним вечером, смотрел по телевизору поразивший его польский боевик «Встреча со шпионом», а 23 июня – жутковатый спектакль Ленинградского театра драмы «Встреча» по пьесе Ж. Робера, в конце которого по звуку шагов разоблачается бывший нацист. Пересказ этих впечатлений уже опробован на Володе Гречухине, надо все это непременно рассказать в Челябинске Володе Клинову... Вдруг Мальчик спохватывается – он, может быть, и вовсе не увидит товарища по детскому саду, потому что больше не будет туда ходить. Впереди – школа.

Я пытаюсь реконструировать этот день, день похода в фототелье. Накануне вечером Мальчик, лежа в постели, прислушивается к радиопередаче «Взрослым о детях», доносящейся из гостиной. Перед сном Мальчик любит слушать ее: из негромко включенного радио можно узнать много интересного – например, о том, чего и почему боятся дети, или допустимо ли их физически наказывать.

После утренней гимнастики с Дедушкой, который осторожно выполняет бодрые команды диктора под бравурные звуки фортепиано, после умывания, чистки зубов отвратительным зубным порошком из круглой картонной коробки, по окончании аппетитного завтрака Дедушка говорит внуку: «А теперь мы пойдем на Свердловку и сфотографируемся на память. Ведь тебе скоро в школу...»

Мальчик понимает, о чем идет речь. Раньше в Челябинске его часто фотографировали театральные знакомые родителей, а в Горьком изредка – дзержинские родственники. Два года назад его



с Дедушкой снимала Бася (А. С. Пухальская), приезжавшая с младшим сыном Павликом из Еревана в гости к Хазановым. Среди хранящихся в буфете черно-белых фотографий есть одна, на которой улыбающиеся Дедушка и внук сняты на фоне буйной зелени во дворе дома на улице Минина: Дедушка, в пиджаке и галстуке, бережно обнимает за плечо прижавшегося к нему Мальчика, одетого в «гусарскую», красную с белыми горизонтальными полосами, кофту и белую жесткую жокейку (тот отказывался носить «девчачью» кофту, пока Мама не убедила, что так одевались гусары).

Они выходят из двора и сворачивают направо, чтобы на противоположной стороне улицы возле красно-кирпичного здания политехнического института сесть в автобус – красный лупоглазый «Икарус» со смешно выпирающим сзади моторным отсеком. День, как и предупредили синоптики, обещает быть жарким. Ночью было 13–15 градусов, днем температура воздуха поднимется до 27–29. Осадков не ожидается. Дедушка, тем не менее, одет в парадный костюм с галстуком и неизменным синим ромбом обладателя высшего образования, на голове – светлая соломенная шляпа с черным кантом. На Мальчике – чистая старенькая рубашка с рукавами по локоть, короткие штаны, из-под которых видны разбитые колени; стоптанные сандалии надеты на босу ногу.

До площади Минина и Пожарского всего две остановки. Выйдя у кремлевской стены, они входят на Свердловку мимо величественного здания Дворца труда (бывшая Городская дума), очертаниями напоминающего Дмитриевскую башню кремля. Вот слева и узкий, зажатый между домами спуск к Мытному рынку – Мальчик часто бывает здесь с Бабушкой. Напротив – старинное здание с эркерами, в одном из которых Мальчик хотел бы жить.

Но они идут дальше. Пройдя мимо двухэтажного дома с колоннами, Дедушка сворачивает налево, в темный подъезд. По высокой крутой лестнице в три десятка ступеней они поднимаются на второй этаж, сворачивают направо и оказываются в пустой приемной для посетителей фотоателье. За ней расположен павильон фотографа.

Навстречу им выходит приветливый пожилой мужчина с темной волнистой, тронутой сединой шевелюрой над сухощавым лицом. У него внимательные, с прищуром, светлые глаза и сдержанная улыбка. Он приглашает пройти в павильон. Пока он беседует с Дедушкой, Мальчик внимательно осматривается. В фотосалонах бывать ему еще не доводилось. Вот большая деревянная камера на массивной треноге. Вот софиты, как в театре. А это что? У стены стоит солидное старинное кресло странной формы, без спинки, с деревянными фигурными подлокотниками, плавно перетекающими в такие же округлые ножки. Внук окликает Дедушку и показывает

ему кресло. «Нравится?» – спрашивает тот. Мальчик молча кивает. Подходит Фотограф: «Может быть, сфотографировать в кресле? Но тогда только его одного». «Хочешь?» – спрашивает Дедушка. Мальчик кивает с замиранием сердца. Он хотел бы иметь такое кресло, пусть хотя бы на фотографии. Вместе с тем, Мальчику немного стыдно: он предпочел кресло Дедушке, который, по мнению Фотографа, лишний в этой композиции.

«Значит, портрет в полный рост? – спрашивает Фотограф. – Но тогда нужно по-другому его одеть...» Однако Фотограф не спешит отпускать клиентов. Он усаживает Мальчика в кресло, дает указания о положении рук и ног, иногда подходит к Мальчику, чтобы подправить позу, и то и дело припадает к глазку видеоискателя.

Мальчик чувствует себя неловко. «Репетиция» тянется невыносимо долго, почти как тот злополучный музыкальный урок в канун Нового года. Еще никогда никто из взрослых не рассматривал его так долго, бесцеремонно и оценивающе, словно он – вещь. Так рассматривают друг друга только дети. Особенно тяжело дается улыбка. Мальчик стесняется своих крупных передних зубов.

Наконец, эта мука подходит к концу. Фотограф вежливо прощается с Дедушкой: «Значит, до послезавтра».

Через день Мальчик, проснувшись, видит в щелку между занавесями, отгораживающими спальню от гостиной, Бабушку. Она готовит ему парадную одежду: гладит брюки в клетку и белую рубашку, осматривает застиранные белые носки и нарядную, голубую бархатную ленточку, которую Мама обычно повязывает ему на шею перед походом на театральный спектакль. Критически проверяются пуговицы: так и есть, одна из них еле держится. Бабушка ловко укрепляет ее. Отрезая ножницами нитку, она смешно поджимает губы и, как рыба, открывает и закрывает рот, повторяя движение ножниц. Вот и все!

После завтрака Мальчик с Дедушкой собираются к Фотографу. На сей раз Мальчик одет нарядно, хоть и не по погоде – солнце припекает, день будет жарким. В городском транспорте и на пути от остановки до фотосалона он чувствует себя скованно: ему кажется, что все на него смотрят.

Фотограф с довольным видом осматривает Мальчика. Ну вот, теперь другое дело, теперь все предметы на фотографии будут выдержаны в одном стиле. Начинается долгая подготовка, вновь пробуются позы. От софитов слепит глаза. Сквозь теплую световую пелену Мальчик различает на заднем плане павильона, который кажется темным из-за бьющих в глаза ярких лучей, улыбающееся лицо Дедушки. Фотограф поднимает правую руку, на которой должен зафиксировать взгляд Мальчик. «Улыбочку! – говорит Фотограф и ныряет под черное покрывало позади камеры. – Не шевелиться, не моргать... Готово!»

Через несколько дней Дедушка с внуком получают готовые снимки. Мальчик должен присутствовать при получении, чтобы можно было повторить съемку, если фотографии не понравятся заказчику. Нет, пусть они отправятся в салон втроем, с Бабушкой. Она любит посмаковать свою значимость («Ты у нас командир!»— часто говорит Мальчик, к ее удовольствию). Ей будет приятно проинспектировать результаты стараний мужа.

Нет, не зря все они так тщательно готовились к этой съемке. Фотография вышла на славу, ее никому не стыдно показать. Ах, как вырос Игоречек, какой он взрослый на карточке!

Вечером Бабушка выносит фотографию во двор, чтобы продемонстрировать соседкам. Те любят, ахают: какой большой, какой красивый! Мальчик отвлекается от игр и стоит рядом, заглядывая взрослым через плечо: он несколько смущен, но ему приятно внимание к его персоне.

...Бабушка сидит за столом, перед ней разложены экземпляры фотографии Мальчика. Одну она оставляет у себя: приятно будет долгим зимним вечером, после дневных хлопот, достать ее вместе с другими фото из буфета, полюбоваться, повспоминать, всплакнуть... Один экземпляр, конечно же, должен быть у родителей Мальчика, и не просто храниться в фотоальбоме или в пачке вместе с другими снимками, а стоять на почетном месте. И она выберет его сама. На этот раз она проведет в Челябинске весь сентябрь: Мальчику идти в школу, а Тamarочка, как назло, уезжает в Болгарию. Один экземпляр нужно отдать Мирочке, пусть у Корзухиных будет его фотография – девочки его так любят. А одну карточку надо послать под Москву, в Железнодорожный, Марии Александровне Нарской, матери зятя. Пусть видит, как вырос внук, какой он взрослый, красивый, умный, пусть убедится, как о нем заботятся в Горьком. Свекровь с уважением относится к Тamarочке, но как дочь она ее не приняла. Может быть, потому что мать Володи из семьи священника? Священники, как известно, самые ревностные русские – самые последовательные антисемиты.

Бабушка энергичным почерком записывает на обороте фотографии дату – август 1966 года. Свой экземпляр она не подписывает. Зачем? Она и так не забудет.

А в это время в соседней комнате, отходя ко сну, ворочается Мальчик. Уже совсем темно, не то, что в июне. Лето подходит к концу. Жаль. Но впереди еще несколько беззаботных дней в окружении любящих и любимых людей. А следующим летом он опять приедет к Бабушке и Дедушке, и так будет еще долго-долго. Мальчик проводит в Горьком каждое лето.

## Фотограф

**И** С фотографий смотрят радостные, беззаботные лица. Держинские Корзухины, в отличие от горьковских Хазановых и челябинских Нарских, занимались фотолюбительством, которое с 50-х годов стало в СССР вполне доступным занятием. И у Б. Я. Хазанова были фото за 1963–1964 годы, на которых он снят с внуком – весьма посредственного качества, надо признаться. Он мог бы и в 1966 году прибегнуть к помощи родственников из Держинска, но повод для фотографирования был на сей раз такой важности, что казалось необходимым воспользоваться услугами профессионала.

Детский фотопортрет 1966 года, скорее всего, создан Александром Александровичем Головановым (1890–1967), нижегородским фотографом с дореволюционным прошлым. Его отец, Александр Федорович Голованов, выходец из тверских крестьян, служил библиотекарем в Нижегородском коммерческом клубе. Мать, Анна Николаевна, воспитывала детей. Семья была большой: Александр был четвертым сыном, а всего в семье росло восемь сыновей и две дочери. Поэтому старшим сыновьям рано пришлось принимать участие в пополнении семейного бюджета.

Важную роль в выборе деятельности братьев сыграл второй сын Головановых Валентин (1879–1936). Проработав четыре года слесарем на заводах Курбатова и Добровых-Нагбольц, он в 1899 году поступил учеником в фотозаведение М. А. Хрипкова, у которого трудился до 1902 года, сначала учеником, затем – ретушером. Вслед за этим в Канавино (в то время – одном из пригородов Нижнего Новгорода) он открыл собственную фотомастерскую – «Специальную мастерскую увеличения портретов».

В 1903 году В. А. Голованов привлекался к дознанию по делу «об изготовлении преступных фотоснимков» – политических карикатур, которые производились в Москве и затем тиражировались фотографическим способом. В Нижнем Новгороде пересъемку карикатур осуществлял Валентин Голованов: сперва – работая учеником у М. А. Хрипкова, затем – в собственном фотографическом заведении. В это время он познакомился и близко сошелся с Я. М. Свердловым, в будущем – одним из членов большевистского ЦК и первым председателем ВЦИК. За недостаточностью улик, свидетельствовавших о пособничестве социал-демократам, Голованов был освобожден из-под ареста, но поставлен под надзор полиции. В 1908 году он поступил на медицинский факультет Юрьевского университета и после 1917 года почти двадцать лет проработал врачом в Нижнем Новгороде (Горьком).

Четвертый сын Головановых, Александр, получил профессию в мастерской брата Валентина, у которого работал в 1904–1907

годах. Это был период расцвета нижегородской фотографии, ее славы в империи и за ее пределами. Еще жил и работал – кстати, в мастерской в доме купца Н. Х. Курепина по адресу Большая Покровская, 4, на том самом месте, где в 1966 году будет сделан детский фотопортрет – «светописец» А. О. Карелин; на вершине славы находился М. П. Дмитриев (в 1908 году, организовав кружок любителей фотографии, нижегородские фотографы единодушно избрали его председателем). Затем Голованов был ретушером в мастерской М. Н. Гагаева в том же доме Курепина (Карелин к этому времени уже умер), а после трехлетней ссылки в Вологодскую губернию за революционную деятельность вернулся в Нижний Новгород и до революции 1917 года работал в фотографии М. А. Хрипкова, перейдя накануне Октябрьской революции в фотозаведение А. С. Вайнштейна «Идеал».

Фотографом стал и пятый сын Головановых, Николай, который работал у М. П. Дмитриева, М. Н. Гагаева и М. А. Хрипкова.

В октябре 1917-го в Нижнем Новгороде оставалось шесть частных фотографий (к концу 20-х все они были закрыты или национализированы). Но уже накануне 1917 года их положение было непростым из-за прекращения, вследствие Первой мировой войны, ввоза в Россию заграничных фотоматериалов.

В 20-х годах, несмотря на «новую экономическую политику», нижегородские фотографы-частники ощутили растущее давление со стороны новой власти, пытавшейся поставить их под свой контроль. Первые попытки перевести фотодело в государственное русло, унифицировать тарифы и регламентировать рабочее время вызвали острые конфликты. В середине 20-х годов в Нижнем Новгороде были установлены единые цены на изготовление фотографий (от 15 копеек за снимок самого малого формата до 10 рублей за фото размером 50×60 см) и ретушь позитивов (от 20 копеек за формат 13×18 до 1 рубля 80 копеек за кабинетный формат). Однако по поводу расценок на ретушь негативов фотоработники и предприниматели «не пришли к соглашению» (Государственный общественно-политический архив Нижегородской области, далее – ГОПАНО, ф. 581г, оп. 1, д. 2, л. 3). В феврале 1926 года участники общего собрания фотоработников Нижнего Новгорода и Канавина, обсуждая нормы выработки, «нашли, [что] установить норму невозможно, т. к. фотографическая работа есть искусство, которое уложить ни в какие рамки нельзя» (там же, д. 3, л. 4). Тем не менее, весной 1926 года владельцы частных фотозаведений и местный отдел профсоюза работников искусств (Рабис) договорились о содержании коллективного договора, определявшего продолжительность рабочего дня, тарифные ставки, заработную плату, расценки на сверхурочную работу, выдачу спецодежды, порядок предоставления и длитель-

ность отпусков, проценты отчислений на нужды фотоработников.

В то время А. А. Голованов был одним из активистов группового комитета фотоработников в рамках Рабиса. Он входил в расценочно-конфликтную комиссию и председательствовал на ее заседаниях, избирался на губернские съезды Рабиса и руководил общими собраниями фотоработников, представлял интересы фотоколлектива при Нижегородском губернском комитете биржи труда и возглавлял государственную фотографию треста предприятий коммунального хозяйства.

Однако в 20-х годах конкурировать с частными заведениями, пусть даже ограниченными в своей деятельности условиями коллективного договора, государственные фотозаведения были еще не в состоянии. Обследование фотографии М. П. Дмитриева в апреле 1927 года показало, что «колдоговор выполняется полностью», со стороны работников «претензий не имеется» (там же, д. 2, л. 18). Акт же проверки артели безработных фотографов (в которую входил А. А. Голованов) за май 1926 года содержит удручающую информацию об условиях работы государственных фотографов:

«1) КОПИРОВАЛЬНАЯ-ЛАБОР[АТОРИЯ] ИМЕЕТ ГРЯЗНЫЙ ЗАПУЩЕННЫЙ ВИД, ЗАГРОМОЖДЕНА, ВЕНТИЛЯЦИИ НЕТ (ТАКОВАЯ НЕОБХОДИМА), А ТАК ЖЕ НЕОБХОДИМО ПОСТАВИТЬ УМЫВАЛЬНИК.

2) В РЕТУШЕРНОЙ ВОЗДУХ СЛИШКОМ СПЕРТЫЙ, УДУШЛИВЫЙ, ПОМЕЩЕНИЕ СОВЕРШЕННО НЕ ВЫВЕТРИВАЕТСЯ ЗА ОТСУТСТВИЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, К ЭТОМУ ВОЗДУХУ ЕЩЕ ПРИБАВЛЯЕТСЯ ВОНЮЧИЙ ЗАПАХ ОТ РАЗОГРЕВАНИЯ СТОЛЯРНОГО КЛЕЯ, СОТРУДНИКИ, РАБОТАЯ ПРИ ТАКОЙ АТМОСФЕРЕ 6<sup>3/4</sup> ЧАСОВ, ЖАЛУЮТСЯ НА БЫСТРУЮ УСТАЛОСТЬ И ГОЛОВНЫЕ БОЛИ. СВЕТ ДЛЯ РЕТУШЕРОВ НЕОБХОДИМО УРЕГУЛИРОВАТЬ, ТАК КАК ПОМЕЩЕНИЕ ОКНАМИ ВЫХОДИТ НА СОЛНЕЧНУЮ СТОРОНУ, ПОЧЕМУ И ОТЗЫВАЕТСЯ СИЛЬНО НА ЗРЕНИИ. КОМИССИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА СО СВОЕЙ СТОРОНЫ ДОБАВЛЯЕТ, ЧТО, РАБОТАЯ В ТАКОЙ АТМОСФЕРЕ, СОТРУДНИКИ РАЗРУШАЮТ СИСТЕМАТИЧЕСКИ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ, А ТАКЖЕ [ЭТО] ВЛИЯЕТ И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА. ДОГОВОРА ДО СИХ ПОР НЕ ЗАКЛЮЧАЛОСЬ» (там же, д. 5, л. 9).

В конце 20-х годов, сворачивая НЭП, власти усилили наступление на сохранившиеся еще частные фотографии с помощью непосильного налогового гнета. Несоблюдение абсурдных налоговых требований использовалось в качестве предлога для закрытия частных фотозаведений. В Нижнем Новгороде к 1929 году оставалась единственная частная фотография. Официально она была передана М. П. Дмитриевым своему сыну. Сам же знаменитый мастер работал в ней старшим фотографом. Это был лучший, самый комфортабельный фотосалон в городе – с зеркалами от пола до потолка, пуховыми подушками для удобства клиентов. Разорить это «капиталистическое» предприятие налогами было затруднительно. К тому же празднование 50-летнего юбилея творческой деятельности Дмитриева

в 1927 году еще раз продемонстрировало его всероссийскую и мировую известность, сдерживавшую ретивость гонителей на частную собственность. Однако в 1929 году знаменитый фотограф вынужден был обратиться по поводу непомерного налогообложения и ареста брата его жены к своему старому знакомцу М. Горькому, с которым Дмитриев дружил семьями. Помимо прочего, Дмитриев писал:

«...ОБЛОЖЕНИЕ НАЛОГАМИ ЧРЕЗМЕРНО НЕВЫНОСИМО. ВЕДЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ГНЕЗДА НЕ ГАЛОЧЬИ, КОТОРЫЕ РАЗОРЯЮТ ЗЛЫЕ ДЕТИ, РАЗРЕШИТЕ МНЕ ВАМ ПОСТАВИТЬ НА ВИД АНГЛИЙСКУЮ АЗБУКУ: “ТОРГОВЛЯ ЕСТЬ НЕЖНЕЙШИЙ ЦВЕТОК, О НЕМ НУЖНО ВСЕЧАСНОЕ ПОПЕЧЕНИЕ”, ТАМ, ГДЕ НЕТ КОММЕРЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ, ОНИ НЕ ДАДУТ НИ ОДНОГО САНТИМА, НИ ОДНОГО ПАТРОНА, НИ ОДНОГО СОЛДАТА, – ТАК ОНИ ОХРАНЯЮТ РЕВНИВО ИНТЕРЕСЫ ТОРГОВЛИ. <...> МНЕ ТЯЖЕЛО НА СТАРОСТИ УХОДИТЬ ИЗ СВОЕГО ГНЕЗДА И БРОСИТЬ СВОЕ ЛЮБИМОЕ ДЕЛО, КОТОРОЕ Я ВЕЛ 50 ЛЕТ И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ОБСЛУЖИВАЛ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ИНТЕРЕСЫ И РАЗВИВАЛ ИХ. ПРОБОВАЛ РЕТУШИРОВАТЬ, НО РУКИ ДРОЖАТ И ГЛАЗА УЖЕ ДРОГНУЛИ, НО В ПАВИЛЬОНЕ КАК ФОТОГРАФ РАБОТАЮ ХОРОШО. <...> УБЕДИТЕЛЬНО ПРОШУ ВАС, СПАСИТЕ МЕНЯ ОТ РАЗОРЕНИЯ ФИНИНСПЕКЦИЕЙ, МОГУТ ПРОДАТЬ ВСЕ С АУКЦИОНА И ВЫБРОСИТЬ НА УЛИЦУ» (цит. по: Хорев М. М. Письмо, которое не выдавалось).

Вмешательство М. Горького заставило власти пересмотреть свое отношение к М. П. Дмитриеву. Они нашли решение, относительно гуманное и вместе с тем законное. С Дмитриевым был заключен трудовой договор, согласно которому он стал работать салонным фотографом в своем бывшем фотозаведении на улице Осыпной, 9, где располагалась Детская трудовая комиссия (ДТК) Нижегородского крайгубисполкома. Одновременно ему вменялось в обязанность заведовать ее художественной частью, читай – проводить инвентаризацию собственного фотографического наследия.

Казалось бы, ситуация вошла в нормальное русло. В 1930 году фотография ДТК процветала: в то время как в фотозаведении, которым заведовал А. А. Голованов, зарплата колебалась от 190 рублей у заведующего до 16 рублей у учеников, в бывшем фотоателье М. П. Дмитриева месячное жалование составляло на треть больше – соответственно от 300 рублей до 21. Однако атмосфера в фотографическом деле Нижнего Новгорода сгушалась, отражая общую ситуацию в сталинском СССР.

В марте 1930 года из губотдела союза Рабис в группком фотоработников пришло письмо, в котором требовалось найти в фотозаведениях бывших специалистов сельского хозяйства, работающих не по специальности, для мобилизации на посевную компанию. «Бурный рост коллективизации с[ельского] хозяйства, – объявлялось в нем, – вызывает острый недостаток специалистов с[ельского] хозяйства» (НСПА, ф. 581г, оп. 1, д. 12, л. 20). Удалось ли мобилизовать

фотографов на работу в деревню, неизвестно и весьма сомнительно.

В связи с продолжением натиска на «частный капиталистический сектор» от нижегородских фотографов требовали провести чистку от нежелательных элементов и усиленно готовить «новые кадры фото-работников» (там же, л. 50).

В 1933 году на М. П. Дмитриева вновь обрушились неприятности, о которых он в 1937 году поведал в письме председателю Горьковского облисполкома Ю. М. Кагановичу, брату секретаря ЦК ВКП(б):

«Не имея и дня отдыха, я в течение почти 60-ти лет фиксировал жизнь, отмечая природу, быт и события Горьковского края и всей Волги...

Мой фотоархив состоит из нескольких тысяч негативов и обнимает всю Волгу от истока до Астрахани, буквально все строительство нашего края, как до, так и после революционного периода, по моим фотографиям можно легко проследить всю жизнь края за полувековой период с 1886 года по 1932-й год.

В 1929 году я передал свою фотографию в Деткомиссию, оставшись в ней в качестве руководителя художественной частью и фотографа. Мой архив я передал во временное пользование Деткомиссии.

Преклонный возраст (мне 79 лет) и слабое состояние здоровья заставили меня оставить работу руководителя, и я решил заняться чисто архивно-этнографической работой, при помощи моего фотоархива. С этой целью я в 1933 году приступил к перевозке архива из фотографии Д.Т.К. к себе на квартиру.

Однако этому воспрепятствовал председатель крайбюро (краевого архивного бюро. – И. Н.) т. Монахов и изъял из моего архива около 7000 негативов, сделав это изъятие вопреки моего согласия и ничто мне за это не уплатив.

<...> Негативы от т. Монахова сложены в старом соборе в кремле, судьба их мне неизвестна и меня, автора их, не только лишили права ими пользоваться, но и вообще в здание архива не допускают. Меня крайне обижает такое несправедливое ко мне отношение, и полагаю, что своим трудом я заслужил более чуткое внимание, тем более что пользу стране я принес не только как фотоработник, но и как гражданин» (Хорев М. М. Письмо из 37-го).

Оставшись без средств к существованию и без фотографического архива, М. П. Дмитриев просил вернуть его собственность или назначить пенсию. Архив ему так и не был возвращен и оказался разрозненным. Значительная часть плодов его труда оказалась у наследников, часть осела в местном государственном архиве (ныне Архив аудиовизуальной документации Нижегородской области), часть, по настоянию Е. Пешковой, была отправлена в московский музей М. Горького. Еще часть наследия знаменитого фотографа сгинула в Печерском колхозе: стекла негативов были пущены на устройство пар-



ников. Государственная пенсия была назначена ему лишь в 1945 году, незадолго до конца войны и за три года до его смерти.

В январе – феврале 1937 года в горьковских фотографиях прошли профсоюзные собрания. Первым пунктом повестки дня было обсуждение приговора по судебному процессу над «параллельным троцкистско-зиновьевским центром». На одном из таких собраний, на котором присутствовал и А. А. Голованов, было принято решение «приговор одобрить, считая это как исполнение воли народа СССР» (ГОПАНО, ф. 2677, оп. 1, д. 18, л. 29). В связи с первым вопросом повестки прозвучал призыв к бдительности и недопущению «капиталистических элементов» в народное хозяйство. При этом мимоходом была упомянута и история с М. П. Дмитриевым: «...наши работники особо должны быть бдительны, не так, как это было в Д.Т.К.» (там же, л. 30).

А. А. Голованов по этому вопросу не выступал. Однако по второму пункту повестки дня он промолчать не смог. Слушался отчет цехкома о проделанной работе. Выступавшему председателю комитета А. И. Бакину было задано двадцать вопросов. Публика, «разогретая» призывами к бдительности, жаждала крови. Голованов, у которого Бакин в начале 30-х годов работал копировальщиком, заступился за коллегу вопреки всеобщему настрою. Согласно протоколу собрания он заявил, что «основной причиной плохой работы цехкома является плохое руководство со стороны облсоюзза, сама Кошелева (видимо, работник областного отделения союза кино-фотоработников – И. Н.) ни разу не была на наших собраниях. Бакин действительно много занят на производстве, и поэтому ему мало приходилось уделять внимания на профсоюзную работу» (там же, л. 30б).

Следы дальнейшей деятельности А. А. Голованова теряются. Однако эксперт по истории нижегородской фотографии М. М. Хорев, который в начале 80-х годов общался с родственниками покойного фотографа и видел его трудовую книжку, сообщает о нем:

«После революции сменил множество должностей. Но они, в той или иной степени, были связаны с его основной специальностью. На пенсию Александр Александрович Голованов ушел с должности старшего фотографа Государственной фотографии № 1 объединения “Горьковгорфото”» (Хорев М. М. Первая государственная...).

Его связь с Фотографией № 1 не прерывалась и после выхода на пенсию: в летние месяцы он работал в ней, заменяя ушедших в отпуск коллег-фотографов. Жил он неподалеку от фотосалона, а здоровье его – заядлого охотника – особо не подводило (он даже внешне мало изменился по сравнению с молодыми годами).

Государственная фотография № 1 на улице Свердлова, 4, в которую в 1966 году, менее чем за полтора года до смерти А. А. Голованова, Б. Я. Хазанов водил внука сниматься на память, отражает успехи и крутые повороты в истории нижегородской фотографии. Фотосалон размещался во втором этаже двухэтажного дома местного купца Н. Х. Курепина по адресу Большая Покровская, 4. Здесь не позднее чем с середины 90-х годов XIX века в течение более столетия располагалась сменявшая владельцев фотомастерская. В 1890-х годах помещение арендовал М. Т. Кудрин, приехавший из Москвы и первоначально работавший на паях с другим москвичом, М. А. Хрипковым (1873–1951) на Большой Покровской, 10. В 1900 году фотосалон перешел к Ф. Г. Федорову (1857–1928), выходцу из крепостных крестьян, чиновнику, переехавшему в Нижний Новгород из Казани, где он преподавал графические искусства и имел свою фотомастерскую. Во дворе дома Курепина Федоров построил лучший в городе застекленный павильон. В 1904 году он продал заведение А. О. Карелину, назвавшему свой последний фотосалон «Эдинбургской фотографией». После смерти Карелина в 1906 году фотозаведение приобрел М. Н. Гагаев (1878–1932), работавший фотографом в Нижнем Новгороде с 1896 года. Участник многих международных фотовыставок, Гагаев четырежды был удостоен наград, в том числе высшей на международной выставке в Мадриде. Наконец, в 1915 году у фотографии появился последний до революции хозяин, Н. М. Кузаев (1883–1971), работавший с 1902 года ретушером у М. А. Хрипкова.

В 20-х годах фотозаведение было национализировано, и Кузаев еще на рубеже 20-х – 30-х годов работал старшим фотографом под началом А. А. Голованова. Именно в этом здании в марте 1927 года прошло чествование М. П. Дмитриева: заведение располагало самым большим в Нижнем Новгороде помещением.

В начале 30-х будущая Фотография № 1 (первоначально, по 1941 год, этот номер принадлежал фотозаведению М. П. Дмитриева на улице Осыпной / Пискунова, 9), как и другие фотомастерские Нижнего Новгорода, подчинялась тресту коммунально-хозяйственных предприятий. Затем она попала в ведение банно-прачечного треста, в 1936 году – областного управления кинофикации, после войны – управления бытового обслуживания населения Горьковского горисполкома. Помещение фотосалона неоднократно перестраивалось, но часть дореволюционного интерьера сохранялась и в 60-х годах.

В начале XXI века Фотография № 1 закрылась навсегда. В 2006 году в ее помещении открылся дорогой салон «Столичная обувь». Утрачен мелкий, но характерный штрих из прошлого «царственно поставленного над всем востоком России города».

## Постфотографическая ситуация



Третий этап в процессе придания смысла фотоизображению оценивается в визуальной социологии как наиболее значимый, поскольку его анализ способен раскрыть главную загадку фотографии – несовпадение мотива изображения и его значения.

«Если бы фото было только вещью *в себе*, то обладатель изображения едва ли смог бы генерировать его смысл. Но в постфотографической ситуации фото становится для его обладателя вещью *для себя*, оно радикально персонифицируется, субъективируется, приватизируется. При этом продуктивный характер постфотографической фазы использования выходит далеко за рамки простого узнавания. Это происходит в процессе многих шагов...» (GUSCHNER S., 204).

Штефан Гушкер усматривает различие между процессами постфотографической ситуации, которые связаны с самим фото как материальным объектом и теми, что порождаются человеческим сознанием. Использование фотографии как материальной субстанции начинается с так называемой коррекционной работы, которая охватывает все виды деятельности по сортировке, селекции и прочие манипуляции с фотографией. Пользователь частного фото придает ему значение, сортируя снимки по степени важности, проверяя, насколько ясно они сообщают о том, о чем должны, и отбирая наиболее красноречивые. Манипуляции с фотографическим изображением нацелены на его изменение посредством обрезки, переклеивания, раскрашивания, монтажа, коллажа. Кроме того, фото снабжается дополнительной информацией. Она может быть текстовой – посвящением, определением места и времени съемки, комментарием к изображению, его оценкой, – то есть рассказывать о том, чего на фотографии не видно. Дополнительная информация бывает, кроме того, предметной: к фотографии прилагается предмет, комментирующий ее происхождение или контекст – прядь волос любимого человека, авиабилет в то место, где проводилась съемка и пр. Назначение коррекционной работы состоит в том, чтобы вложить в фотографию смысл, заранее известный ее владельцу, усилить ее значение, сделать ее пригодной для коммуникации между поколениями, поскольку без дополнительной информации фотографии обесцениваются и становятся бесполезными. Они слишком многозначны и многоголосы, чтобы посторонний наблюдатель смог расшифровать смысл, важный для их обладателя.

За усилиями по «исправлению» фотографии и, тем самым, связанной с нею истории следует работа по интеграции фото в систему, с помощью которой обладатель фотоизображения строит свой мир. Жизнь упорядочивается и выстраивается в причинно-след-

ственную линию с помощью определения места фотографии в фотоальбоме, ее отношения с другими изображениями. Исследователи частной фотографии различают разные типы фотоальбомов – семейные, событийные, автобиографические; но все они организуются по принципам западного рационального мышления, ориентирующегося на поиск причинно-следственных связей и выстраивание линейного порядка.

Предварительная работа в постфотографической ситуации готовит фото к его превращению в инструмент коммуникации – внутри семьи, в кругу друзей и знакомых, или ностальгической коммуникации владельца фото с самим собой. Фотография становится объектом обмена, дарения, семейной корреспонденции. О важности постфотографической ситуации свидетельствует наблюдаемое исследователями гендерное разделение труда в фотографической практике. Если производством фото занимаются преимущественно мужчины, то последующая обработка, упорядочение фотографий, их демонстрация окружающим и сопроводительные рассказы являются по преимуществу женским занятием. Женщины, в компетенцию которых в прошлом входило ведение семейного календаря, траурные церемонии и поддержание воспоминаний, с появлением и распространением частной фотографии стали весомыми фигурами в придании смысла семейным фотоизображениям: «Женщины оберегают очаг и фотоальбом» (Rutschky M., 47).

Но значение фотографии возникает из двух потенциалов – из того, что позволяет сделать само фото, и из вклада его пользователя, из того, что он инвестирует в фотоизображение или проецирует на него. Фотография, подобно волшебному зеркалу, никогда не говорит своему обладателю «нет», она готова подтвердить все, что ему угодно. Этим объясняется простор для постфотографической работы со стороны владельца фото. Этим же диктуется вызов исследователю частной фотографии, который обязан внимательно изучать постфотографическую ситуацию.

Ш. Гушкер выделяет три основные практики, используемые для придания смысла фотографии, связанные с самой природой человеческого сознания: нарративную (обращение с фото, провоцирующее рассказ), когнитивную (поддержание памяти) и эмоциональную (обращение с фотографией, рождающее эмоции). Эти практики, считает он, теснейшим образом переплетены между собой, стимулируя друг друга.

Сопровождающий фотографию рассказ не является ее пересказом.

«Необходимо различать... три уровня жизненной действительности: прожитая жизнь, сфотографированная жизнь и рассказанная жизнь. Уже многократно упоминалось, что без сопровождения

ТЕЛЬНЫХ РАССКАЗОВ ВЫСКАЗЫВАНИЯ О ФОТО НЕИЗБЕЖНО ОСТАЮТСЯ НЕЭФФЕКТИВНЫМИ. ЗДЕСЬ НУЖНО ПОДРОБНЕЕ ИЗУЧИТЬ, КАКИМ ОБРАЗОМ О ФОТО ГОВОРЯТ ИЛИ РАССКАЗЫВАЮТ. ОСНОВНОЙ ТЕЗИС ПРИ ЭТОМ СОСТОИТ В ТОМ, ЧТО СПОСОБ, ДЕЙСТВЕННОСТЬ И ИНТЕНСИВНОСТЬ РАССКАЗА ПОЗВОЛЯЕТ РАСКРЫТЬ СОДЕРЖАНИЕ И ВАЖНОСТЬ ФОТО ДЛЯ ЕГО ОБЛАДАТЕЛЯ – А ИМЕННО ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБЛАСТИ СООБЩЕНИЯ САМОЙ ФОТОГРАФИИ (МОТИВА). КОГДА ФОТОГРАФИИ РАССМАТРИВАЮТ ИЗ СТРУКТУРАЛИСТСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ, КАК ТЕКСТЫ, РАССКАЗЫ О ФОТО ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ ПРОСТЫМ ПЕРЕСКАЗОМ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ. ЭТО – ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА СТРУКТУРАЛИСТСКОГО АНАЛИЗА ИЗОБРАЖЕНИЯ: ХОТЯ (ПОЖАЛУЙ) С ПОМОЩЬЮ ИЗОЩРЕННЫХ МЕТОДОВ ДЕКОНТЕКСТУАЛИЗАЦИИ СЕКВЕНЦИЙ МОЖНО РАСКРЫТЬ СЛОЙ ЗНАЧЕНИЙ, ЭТА РАБОТА ВСЕГДА СВЯЗАНА ТОЛЬКО С САМИМ ФОТО. ФОТОГРАФИИ – КАК НИ ПАРАДОКСАЛЬНО ЭТО ЗВУЧИТ – УДЕЛЯЕТСЯ СЛИШКОМ МНОГО ВНИМАНИЯ. <...> ЗДЕСЬ ЖЕ, НАПРОТИВ, ФОТО ДОЛЖНЫ РАССМАТРИВАТЬСЯ В ИХ КАЧЕСТВЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПОСРЕДНИКА, КОТОРЫЙ ПОРОЖДАЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНО БОЛЕЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННУЮ ПАЛИТРУ РАССКАЗОВ. БОЛЕЕ ТОГО, ЭТИ РАССКАЗЫ НАХОДЯТСЯ В ИНОМ ОТНОШЕНИИ К ФОТОГРАФИЯМ, ЧЕМ НАРРАТИВНАЯ КОПИЯ ВИЗУАЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ» (GUSCHNER S., 244–245).

Рассказ о фотографии повышает ее значение. Повествования о ней образуют преемственность; события, запечатленные на отдельных фото, приобретают последовательность с началом, развитием, кульминацией, спадом и концом. Постфотографический рассказ становится средством конструирования жизни и заполнения ее заполненными фотографиями пустот.

Рассказы о фотографиях имеют типологические различия. Это может быть краткий пересказ фотографируемой ситуации, изложенный, как правило, в форме настоящего времени («а это мы там-то делаем то-то»), или ее подробное, развернутое изложение; ассоциативный рассказ, вызванный изображенными на снимке деталями (подобными *punctum*'ам Р. Барта) или ассоциативное обрамление фотографии – повествование, не имеющее к ней прямого отношения. Рассказ может быть объясняющим, оправдывающим, извиняющим. Нарративная работа обеспечивает выполнение фотографией важной функции – производство причинно-следственных связей между разрозненными событиями. Поэтому в сопроводительных рассказах к фотографиям убедительность связности событий важнее их «правды».

Способность фотографии поддерживать память о прошлом, казалось бы, лежит на поверхности. Большинство обладателей фото осознают эту функцию фотографии как наиболее важную. Однако в постфотографической ситуации сохранение прошлого с помощью когнитивной работы, о которой подробнее речь пойдет в другом

месте, в визуальной социологии представляется двусмысленным, сложным и не столь естественным.

Потребность в воспоминаниях – основа фотографической активности в целом. Однако воспоминания – не пассивные и дословные записи прошлого, а активный акт связывания прошедшего с настоящим и будущим. Это попытка преодолеть противоречие между желанием и страхом перемен – противоречие, возникающее при обращении к одним и тем же моментам прошлого из переменчивых пунктов настоящего.

Частные фотографии соединяют мир фактов с миром чувств, они материализуют чувства, пережитые в прошлом. Приватные фото, как правило, фиксируют счастливые моменты жизни и поэтому являются добрыми посланиями, способными рождать положительные эмоции и выступать в качестве своего рода лекарства (на этой их функции основана фототерапия). Но в совокупности с неудовлетворенностью настоящим они могут стимулировать и ностальгические чувства. В провокации чувств и состоит эмоциональная работа в постфотографической ситуации. Глубина эмоций, согласно наблюдениям специалистов, зависит от длительности созерцания фотографии. Более сильные эмоции возникают не при беглом перелистывании фотоальбома, а при рассматривании фото, помещенных в рамки и образующих часть настенного и настольного интерьера.

Следствием нарративной, когнитивной и эмоциональной работы и, одновременно, действиями, обеспечивающими ее, является, по классификации Ш. Гушкера, ряд форм активности в постфотографической ситуации.

Так называемая репетиционная работа базируется на желании удержать и повторить счастливые моменты прошлого. Она воплощается, во-первых, в ритуализированном повторении использования фото и, во-вторых, в использовании фотографии для повторения переживания. Радикальное проявление последнего – ностальгический взгляд в прошлое и желание вернуться в него, «обрезать» оттуда «луч времени», т. е. не продлять его в настоящее» (там же, 299–300).

Иррациональная работа в постфотографической ситуации основана на самой притягательной черте фотографии – способности превращать отсутствующее в присутствующее, иллюзии – в реальность. В использовании фото можно обнаружить следы магического применения изображений. Фотография представляет собой современный аналог зеркала – первого средства созерцания себя, она продолжает традицию магии зеркал. К ритуалам иррационального характера относятся, например, ритуалы траура (работа с фотографией умершего) и забвения (избавление от фотографий человека и, одновременно, от воспоминаний о нем).

Если репетиционная работа связана с «оживлением» прошлого, то проективная, напротив, нацелена в будущее, на осмысление собственной бренности, на совладание со страхом старения и неизбежной смерти. Признаки старения своего тела предопределяют конфликт в обращении владельца фотографий с собственными изображениями.

«Из сегодняшней перспективы созерцатели [фото] обладают знаниями, которого не мог иметь в свое время производитель фотографии. В последующем применении ясно видно, как нечто тематически важное может радикально изменить восприятие и интерпретацию изображения» (там же, 328–329).

Например, сравнение своих фотографий разных периодов жизни может принести их владельцу горечь и разочарование, разрушив иллюзию, что фото способно остановить мгновение молодости и счастья. Фотографии детей и внуков, напротив, приобретают возрастающую функцию утешения в старости.

Под реконструкционной работой Ш. Гушкер понимает совокупность форм переосмысления и перетолкования фотографии. Реинтерпретация фото основана на абстрагировании от самого изображения в ходе рассказа о нем, а также от воспоминаний о непосредственно связанных с ним событиях. Оглядываясь назад, обладатель фотографии ретроспективно переосмысливает свою жизнь как удавшуюся и полноценную.

Поскольку прошлое всегда рассматривается из изменчивого настоящего, история жизни никогда не может обрести окончательного толкования и остается открытой в обоих направлениях – не только в будущее, но и в прошлое. Соответственно и частная фотография не может иметь окончательной интерпретации: фото в зависимости от нынешней ситуации способно терять значение или, напротив, приобретать повышенную важность.

«Есть специальная форма рассматривания, связанная с... изменением значения. Если фотографии в более поздний момент начнут рассматриваться при совершенно новой постановке вопросов... то смещается весь интерес к фото. Так неизбежно возникает новый результат интерпретации самого себя, что может находиться в прямой связи с изменившейся автобиографической ситуацией» (там же, 335).

Воспоминания не только определяют сегодняшним днем, но и, наоборот, сами могут определять восприятие настоящего.

Цель реконструкционной работы – гармонизация и поэтизация жизни. Во имя нее значительная часть прошлой реальности может «вырезаться». Трансформация смысла частной фотографии особенно ясно проявляется в толковании детских изображений.

«Эти фото первоначально изготавливались родителями, чтобы документировать развитие детей. С течением времени они пе-

РЕШЛИ В СОБСТВЕННОСТЬ ДЕТЕЙ, КОТОРЫЕ, СТАВ ВЗРОСЛЫМИ, КОГДА-НИБУДЬ СНОВА НАЧИНАЮТ УДЕЛЯТЬ ЭТОМУ ВИДУ ФОТОГРАФИЙ БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ. ИЗ ПЕРСПЕКТИВЫ ГОРАЗДО БОЛЕЕ ПОЗДНЕГО НАСТОЯЩЕГО ЭТИ ФОТОГРАФИИ ПОЛУЧАЮТ ТОГДА СОВЕРШЕННО ИНОЕ ЗНАЧЕНИЕ. ОНИ СТАНОВЯТСЯ СИМВОЛАМИ УСПЕШНОГО И СЧАСТЛИВОГО ДЕТСТВА И СЛУЖАТ УТВЕРЖДЕНИЮ СОБСТВЕННОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ. ВОКРУГ ЭТИХ ФОТО, ЧЕМ ИХ МЕНЬШЕ И ЧЕМ БОЛЬШЕЙ ПРОМЕЖУТОК ВРЕМЕНИ ОТДЕЛЯЕТ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОТ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ВЫСТРАИВАЕТСЯ СВОЕГО РОДА МИФ, МИФ О БЕЗОБЛАЧНОМ ДЕТСТВЕ» (ТАМ ЖЕ, 345).

Рефлексивная работа как одна из форм активности в пост-фотографической ситуации нацелена на поддержание собственной идентичности с помощью фото, на обеспечение соответствия между самовосприятием и восприятием со стороны, которые редко совпадают. Масштабом индивидуальной идентичности является реализация «удавленной личности», в создании которой частные фотографии играют центральную, хотя и едва заметную роль. Ведь символами идентичности человека является все, насыщенное его историей, – не только люди, но и предметы, в том числе фотографии. Их отсутствие создает опасность для устойчивого восприятия человеком самого себя (не случайно в тюрьмах некоторых стран запрещено украшать стены камеры семейными фотографиями). Работая над проектом «счастливой жизни», молодые люди пытаются изменить себя, пожилые – работают над исправлением фотографий и связанных с ними историй.

Наконец, выделяемая Ш. Гушкером работа по подведению итогов связана со старением и предстоящей смертью. Обладатели фотографий рассматривают их как серьезное средство оценки собственной жизни, по их мнению, прошедшей не напрасно.

«САМЫЙ СКВЕРНЫЙ ИЗ ВСЕХ ВОЗМОЖНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБОЗРЕВАНИЯ СВОЕЙ ЖИЗНИ СОСТОИТ В ВЫВОДЕ, ЧТО ЖИЗНЬ НИКОГДА НЕ БЫЛА “ПРАВИЛЬНОЙ” ИЛИ, БОЛЕЕ ТОГО, ПРОЖИТА “ЗРЯ”. <...> ОДНАКО С ПОМОЩЬЮ СОБСТВЕННЫХ ФОТОГРАФИЙ РАДИКАЛЬНО УМЕНЬШАЕТСЯ РИСК ТАКОГО РОДА КАТАСТРОФИЧЕСКОГО ИТОГА. ЗДЕСЬ ДЕЙСТВУЮТ ВСЕ ПОЗИТИВНЫЕ ФУНКЦИИ ФОТОГРАФИИ: ПРОБУЖДЕНИЕ ЧУВСТВ, ГАРМОНИЗАЦИЯ, ВОЗМОЖНОСТЬ НОСТАЛЬГИЧЕСКОГО ПУТЕШЕСТВИЯ ВО ВРЕМЕНИ И Т. Д.» (ТАМ ЖЕ, 375).

Владельцы частных фотографий убеждены, что с помощью фото они проверяют и перепроверяют свои воспоминания, хотя в действительности фотографии и их использование – источник конструирования воспоминаний. Непонимание того, что припоминание – это активное целенаправленное действие, объясняет, почему пожилые люди с их воспоминаниями редко воспринимаются окружающими всерьез.



Итак, в постфотографической ситуации происходит следующее:

«...ОБЛАДАТЕЛЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ С ТЕЧЕНИЕМ ВРЕМЕНИ ОТКРЫВАЕТ НА ФОТО ВСЕ НОВЫЕ УКАЗАНИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ СЛУЖИТЬ ЕМУ БИОГРАФИЧЕСКИМИ ТОЧКАМИ ОПОРЫ И, В КОНЕЧНОМ СЧЕТЕ, – символами общего положения дел. Так возникает тавтология частной фотопрактики: так как фотографии выполняют (проверочную) функцию в жизни их владельца, в них концентрируется (желанное) высказывание, а так как фото содержат концентрированное свидетельство, они выполняют проверочную функцию в жизни личности. Именно в этом круговороте заключается значение частных фото, а не в фотографиях самих по себе. Это – одно из оснований, почему чистому анализу изображенного на отдельных (или даже многих) частных фотографиях нельзя приписывать такое же значение, какое имеет широкий (состоящий из таких элементов, как предыстория, создание и способ применения) анализ производства и использования изображений» (там же, 378).

Целью постфотографической ситуации и, в конечном счете, совокупным эффектом всех потенциально возможных функций частного фото является объяснение собственной жизни.

Обратившись к данному проекту, я осознаю, что тем самым возобновляю постфотографическую ситуацию, стремясь раскрыть коды собственного изображения, а точнее – наделить его значимым смыслом. Я оказываюсь в двойственном и не очень уютном положении – исследователя и «подопытного кролика». Мой исследовательский интерес переплетается с личным, эмоциональным, ностальгически окрашенным желанием расшифровать фотографию как «послание» безвозвратно ушедших дорогих мне людей и таким образом больше узнать о них; вести с ними «виртуальный» диалог и получить ответы на вопросы, которые в свое время не были заданы или оставались без ответов. Ни о какой объективности исследователя, само собой разумеется, в данном случае не может быть и речи. Последний участник фотографической ситуации, я ломаю голову над смыслом снимка 1966 года – смысла, который сам же и конструирую. Передо мной лежит детский фото-портрет...

## Берлинский альбом



Становится немного грустно. Подходит к концу еще один кусок жизни. Не все в берлинское время сложилось так, как первоначально планировалось. Например, подготовка к учебным занятиям в марте – июне 2005 года отнимала почти все время. Поэтому ни одной из дюжины кассет с записями челябинских, дзержинских,

нижегородских и московских интервью, прихваченных в Германию, в Берлине я так и не прослушал.

Не могу сказать, что берлинский период был лучшим в моей жизни, но это – часть моей жизни, наполненная встречами, переживаниями, впечатлениями. Ощущение неприкаянности, владевшее мной в первые недели пребывания в немецкой столице, со временем утихло настолько, что я дал согласие на предложение Йорга Баберовского задержаться там до конца 2005 года.

Постепенно сложилась моя берлинская повседневность. В начале апреля я покинул университетское общежитие и по рекомендации своего коллеги Мальте Рольфа переехал в район Шенеберг, на Густав-Фрайтаг-Штрассе, в просторную четырехкомнатную квартиру конца XIX века. Это была типичная «берлинская квартира» с огромной гостиной, отделявшей жилую часть от подсобных помещений и кухни с черным ходом для прислуги. Хозяин моего нового обиталища, довольно известный историк венгерского происхождения Арпад фон Климо, сдал мне просторную комнату, кабинет его спутницы и будущей жены Евы, на четыре месяца – на время ее работы в Афганистане. Месяцы соседства с Арпадом были, пожалуй, самым «уютным» временем моего пребывания в Берлине. Невысокий, плотный кареглазый Арпад, обволакивающий взгляд которого наверняка приводит в трепет представительниц «слабого пола», оказался не только безупречным соседом и интересным собеседником, но и прекрасным кулинаром, знатоком и любителем итальянской и венгерской кухни. Мы часто готовили ужин на двоих – главным образом он. Но иногда и я, к обоюдному удовольствию, «сочинял» что-нибудь из еврейской или кавказской кухни.

Должен упомянуть, что мой «жилищный вопрос» в Берлине решался довольно бестолково, что усиливало ощущение хаотичности берлинских будней. В связи с преждевременным возвращением Евы из-за беспокойной обстановки в Афганистане мне пришлось выехать из квартиры Арпада раньше оговоренного срока. Все последующие месяцы я проживал в районах Шенеберг и Кройцберг – в местах, плотно обжитых турками. Эти кварталы отличались повсеместно звучащими восточной музыкой и речью, обилием турецких магазинчиков и закусовых, заведений для непритязательных холостяков и, конечно, собачьих меток на тротуарах. В середине июля я две недели обитал в квартире на Миттенвальдерштрассе (станция метро Гнайзенауштрассе), затем в течение месяца снимал, в связи с приездом моей семьи, квартиру Мальте Рольфа на Эйлауерштрассе (станция Йоркштрассе). На последние три месяца 2005 года поселился в одной из комнат небольшой квартиры на Либердаштрассе (между станциями Шенляйнштрассе и Херманплатц), в которой из-за разездов появлялся не часто. Это жилье мне также устроил Мальте Рольф – мой

квартирный «ангел-хранитель» берлинского периода: комната принадлежала брату Мальте, в то время находившемуся в Латинской Америке.

Несмотря на занятость (преподавание в университете) я непрестанно думал о своем «фотографическом» проекте. Отчасти это было заслугой Арпада. Он мечтает когда-нибудь написать историю фамильной квартиры своих предков в Будапеште (я оставался в этих старинных сумрачных апартаментах по его приглашению). Арпада воодушевил мой замысел, и он заставлял меня излагать его каждый раз, когда к нему приходили многочисленные гости-историки.

В июне 2005 года я посещаю в Ростове переселившегося туда из Челябинска тремя годами раньше профессора всеобщей истории А. Б. Цфасмана. Знакомлюсь с симпатичным семейством Аркадия Беньяминовича, в его компании впервые посещаю синагогу. Служба в ней, вопреки моим стараниям, эмоционально меня не трогает. В который раз – теперь по-русски – рассказываю о своем проекте, который вызывает интерес и одобрение старшего коллеги.

В том, что проект буквально засел у меня под кожей, я убедился в середине июля. Освободившись от учебной нагрузки, я бездельничал, знакомясь с домашней библиотекой в своем очередном, недолгом пристанище в мансарде шестизэтажного старого дома на Миттенвальдерштрассе. Открыв читанный тридцать лет назад роман Макса Фриша «Назову себя Гантенбайн», я на первых же страницах обнаружил фразу (в оригинале более тонкую, чем в советском переводе), как нельзя лучше подходящую в качестве эпиграфа к моей будущей книге: «Человек набрался опыта, теперь он ищет историю этого опыта».

14–15 октября я поделился своими исследовательскими планами с Александром Сологубовым, калининградским философом, социологом и фотографом, для которого фото выступает источником, инструментом и жанром исследования, более того – стилем жизни и мировоззренческим орудием. Заочно мы были знакомы с Александром с 2002 года, когда он должен был участвовать в организованной нами челябинской конференции «Горизонты локальной истории». Однако впервые встретились тремя годами позже, в начале мая 2005 года, когда Саша на пару дней приезжал в Берлин.

И вот на этот раз в течение двух дней текла неторопливая беседа, перетекающая с темы на тему: о жизни, книгах, фотографиях, работе, путешествиях, семье, дружбе, любви, планах на будущее. Небольшого роста, изящного телосложения, со стильной щетиной на европейском лице, Саша слушает внимательно, говорит негромко и не спеша. Ему симпатичен мой проект. Фотографию, считает он, можно раскрутить до больших размеров. Она подобна голограм-

ме: кусок воспроизводит целое. Он все время сталкивается с такой ситуацией: рассказывает о фотографиях, а слушатели удивляются, потому что сами не заметили бы того, что увидел он; люди делятся своими впечатлениями от фотоизображений – и настает его черед удивляться тому, чего не заметил сам.

7 декабря, наконец, я возвратился из осенних многочисленных поездок в Берлин, чтобы через две недели окончательно его покинуть. В этот день у меня – еженедельная консультация студентов. Автобус от Александерплатц почему-то идет в объезд, по Шпандауерштрассе и Фридрихштрассе. Университет оцеплен полицейскими, в здании воеет пожарная сирена. Один из служителей порядка останавливает меня и не пропускает внутрь – найдена бомба. Первая мысль: теракт. Как рассказала мне позднее Ханна Альхайм, рядом с университетом на Унтер-ден-Линден, метрах в 70 за памятником «старому Фрицу» – Фридриху Великому, – экскаватор наехал на бомбу времен Второй мировой войны. Студенты в университетской библиотеке игнорировали сигнал тревоги, пока в читальный зал не влетела взволнованная служащая охраны с требованием покинуть помещение. Началась паника – студенты тоже подумали о террористическом акте. Толпа перед университетским зданием не расходилась, пока вице-президент университета в радиовыступлении не разъяснил ситуацию. А в это время на другом конце Унтер-ден-Линден родители Ханны сидели в автобусе, водитель которого наслаждался магией власти: он не открывал двери салона и не выпускал барабанивших в них перепуганных старушек. Наконец минут через 15 он смилоствовался и объявил, что они находятся вне опасной зоны...

Бомба была успешно нейтрализована. У немецких саперов рука натренирована: во время войны на 30-миллионное гражданское население было сброшено около миллиона бомб, многие из которых не взорвались и поныне регулярно обнаруживаются при строительных и дорожных работах. Только на Берлин упало 45 тысяч бомб.

Беату Физелер мой телефонный рассказ о бомбе не впечатлил: в Рурской области от авиабомбардировок в октябре – декабре 1944 года погибло 15 тысяч человек. В Бохуме полно неразорвавшихся бомб, в ее детстве ребяташки играли в воронках. Снаряды находили даже в саду ее родителей. Поныне время от времени при обнаружении очередной бомбы приходится эвакуировать целые кварталы.

Телефонный разговор с Беатой почему-то перепрыгивает с бомбы на мой доклад в Бохуме. Беата утверждает, что ни за что не решилась бы публично рассказывать о таких личных, автобиографических вещах. И вообще, письменно и излагать, и защищаться от нападений проще, считает она.

С 11 по 18 декабря я собираюсь к отъезду из Берлина. Нужно попрощаться со многими знакомыми, коллегами, друзьями. Встре-

чи следуют одна за другой: с «моим педагогом» Ханной Альхайм, историком-визуалистом из Свободного Берлинского университета Изабель де Кегель, этнологом из Франкфурта-на-Одере Ольгой Курило, профессором на пенсии и художником из Бохума Карлом Аймермахером, который показывает неизвестный мне, несмотря на проведенные здесь десять месяцев, Берлин. Кажется, я перестарался, расписывая свой автобиографический проект: все ждут, во что он выльется. Смогу ли я соответствовать ожиданиям?

Дождливым декабрьским днем, не найдя другого места спрятаться от непогоды, мы сидим с молодым историком Кристианом Тайхманом в замызанной пивной «Бирхиммель» для мужчин с нетрадиционной ориентацией близ станции метро Котбусер Тор. Неопрятная официантка без возраста бросает на наш столик засаленное меню. На мою просьбу принести еще один экземпляр она с неприятной ухмылкой возражает: раз господа пришли вместе, то обойдутся и одним меню. «Мы еще не настолько близки», – конформистски оправдывается корректный Кристиан.

16 декабря более двадцати сотрудников, аспирантов и старших студентов Йорга Баберовского собираются в его огромной квартире, на роскошной вилле XIX века на Параллельштрассе в районе Лихтерфельде, чтобы попрощаться друг с другом – и со мной – перед рождественскими каникулами. Жена Йорга Шива потчует нас изысканной едой, хозяин пополняет бокалы добрым испанским вином. Но до этого Йорг произносит теплую прощальную речь; я, как положено, отвечаю благодарственным словом.

«Гвоздем» вечера становится преподнесенный мне самодельный фотоальбом – «Мой берлинский фотоальбом» – с атрибутированными и отчасти прокомментированными детскими фотографиями сотрудников кафедры восточно-европейской истории. Чудесная идея! Добрая половина фотографий – черно-белые, треть запечатлела первый школьный день нарядных шестилетних детишек, обнимающих традиционные, огромные кульки-рожки со сладостями. Во многих случаях фотографии сопровождаются картой с обозначением места производства снимка. Большинство комментариев ограничено указанием места и времени съемки, их владельцы не помнят обстоятельств фотографирования. В редких случаях они могут установить фотографа. Но есть и более пространные комментарии, среди них один – почти на страницу – представляет собой трогательную, драматичную историю девочки накануне переходного возраста и краха социализма в ГДР. На фото из Ростока 1987 года изображена симпатичная, темноволосая и светлоглазая девочка с намеком на смущенную улыбку. Этот, самый пространственный комментарий, произведший на меня сильное впечатление, заслуживает быть приведенным здесь полностью.

«Мне 10 или 11 лет. Снимок щелкнули в “Фото Шульца” – старого частного фотографа из Ростка, имевшего добрую славу. К этому фотографу меня никто не тащил, потому что он сам пришел в нашу школу им. Вилли Шредера (немецкого коммуниста, убитого нацистами, разумеется).

Поводом для общешкольной фотосессии был конец первого полугодия (четвертого или пятого класса?) с выдачей свидетельств и наград прилежным пионерам. Одним из этих старательных пионеров была я. Поэтому понадобилось фото для “доски почета”. К этому меня принудили против моей воли. Собирать металлолом, оказывать помощь, выигрывать медали на спартакиадах и всегда быть послушной – одно дело, но висеть на этой презираемой соучениками “доске почета” рядом с учительской и бюстом Вилли Шредера – это было чересчур. Кто-нибудь пририсует мне бороду или подпишет “дура”, а может быть, и “выскачка”. Только этого мне не хватало. К сожалению, отступление было невозможно, и я не смогла настоять даже на том, чтобы сфотографироваться без пионерской блузы и галстука. Поэтому в качестве легкого смягчения неприятности на мне – безрукавка (что из сегодняшнего дня, конечно, воспринимается, как настоящая неловкость и свидетельствует, что с западными тряпками в моей семье было неважно). В конце концов, это фото повисело на “доске почета” несколько лет – до конца ГДР. В 1990 году его сняли (наконец-то!), а так как моя мама была учительницей в этой школе, оно не сгнуло где-то в школьном подвале, а попало в мою коробку с фотографиями. Где и поныне тщательно оберегается, время от времени напоминая мне, что я совершенно определенно стала бы не способной к сопротивлению свободолобивой героиней, а скорее всего – чистым воплощением конформизма, если бы она сохранилась, эта ГДР.

В этом смысле оно в какой-то степени “образ-антипод” по отношению к фото Игоря. Здесь на меня не проецировался буржуазный идеал, а показывался серьезный, ответственный новый человек, в качестве которого я себя, конечно же, не могла ощущать».

Список лиц, изображенных на фото, был помещен в конец альбома. Предполагалось, что на вечере я буду сходу отгадывать, кто изображен на фотографиях. С этой задачей я не справился бы при всем моем желании.

Этот подарок меня очень тронул, с лихвой компенсируя некоторые неприятные моменты из берлинской жизни. Помимо прочего, он еще раз подтвердил, что мой проект не оставил коллег равнодушными.

Все по очереди с интересом листают альбом и немного мне завидуют – всем хотелось бы иметь такой... Атмосфера вечера становится очень непринужденной, совсем домашней. Перехожу на «ты»

почти со всеми присутствующими. Домой я возвращаюсь в пять часов утра, посетив по пути с остатками компании страшную пивную близ станции Херманштрассе с завсегдагаями-кадаврами без возраста.

Сборы, как всегда, сопровождаются потерями, к счастью, не безвозвратными. Я дважды теряю и нахожу (в чуть было не отправленной посылке) банковскую карточку, сумку (в магазине), ключи от рабочего кабинета и квартиры (они были забыты и найдены через полчаса паники в совершенно неожиданном месте – на книжной полке в библиотеке). 19 декабря я вылетаю в Москву, а оттуда – в Челябинск. Слава Богу, наконец-то домой!

Кажется, я совсем немного продвинулся в своем проекте за десять «берлинских» месяцев. Или нет? Конец года – время подводить итоги. Я открываю свой дневник...

# 2 О ПОИСКАХ, ПОТЕРЯХ И НАХОДКАХ

## Неоконченный детектив

---

Мы находим в вещах не то, что ищем, а то, как мы ищем.

*Вилем Флюссер*

Квидо, как и множество иных сочинителей, убеждался, что едва ли найдет другую, более интересную историю, чем свою собственную.  
– Роман – это я! – восклицал он.

*Михал Вивез*

Есть... люди, от которых я не могу отступить, даже если встречаю их редко или вообще не встречаю больше. <...> Они на всю жизнь приковывают меня к себе моим воображением: я представляю себе, что, окажись они в моей ситуации, они иначе восприняли бы ее, иначе действовали бы и иначе вышли бы из нее, чем я, которому отступить от себя самого не дано.

*Макс Фриш*

Повседневность может быть кризисной, даже близкой к катастрофе. Ее можно загнать в угол, перекрыть ей кислород, лишить будущего, но она никогда не революционна в ленинском смысле слова.

*Хорхе Семпрун*

Картины и постройки лгут, но их ложь может быть интересной.

*Бернхард Рек*

## Возвращение



Работа над «фотографическим» проектом вступала в новую фазу. Чувство облегчения, вызванное возвращением домой, уютное предрождественское безделье, невесомая, светлая беспочвенность, какая бывает, когда ощущаешь себя уже не там, но еще не здесь, длились недолго. С того самого краткого приезда в Челябинск в мае 2005 года меня покалывало легкое беспокойство: где же содержимое моего школьного стола? Удастся ли его найти? В сентябре и ноябре того года, ненадолго приезжая в Челябинск, я сознательно не возобновлял поисков своего горьковского детского дневника, чтобы не рисковать надеждой. Теперь, передохнув несколько дней и придя в себя, бросился разыскивать материальные «останки» своего прошлого.



С 23 декабря по 1 января я ежедневно приезжаю к родителям, перебираю книги, роюсь в ящиках шкафов, коробках под кроватями, столами, на шкафах. Все тщетно. Мучает бессонница. Закрывая и открывая глаза в ночной час, явственно вижу красный дерматиновый блокнот с золотыми буквами «50 лет ГОЭЛРО». Ложусь и встаю с горькой мыслью о неотвратимости потери.

Когда мне плохо, я должен выговориться. Вечером 30 декабря начинаю обзванивать знакомых: завтра поздравить всех с наступающим Новым годом не успею, тем более что после десятичасового отсутствия ограничиться несколькими фразами не удастся. Звоню Наталье Николаевне Алеврас – историку, коллеге по кафедре истории дореволюционной России Челябинского госуниверситета, которая преподавала мне еще в студенческую пору, на рубеже 70-х и 80-х. Делюсь своей «кручиной». Наталья Николаевна, как всегда приветливая и доброжелательная, искренне сочувствует – и по-человечески, и как профессионал. Ей понятно мое убитое состояние, тем более что ее все чаще посещают мысли о необходимости написать свою семейную историю.

Только теперь, в разгар поисков, в деталях вспоминаются объекты моих розысков: где блокнот с моими рисунками, где записные книжки с юношескими стишками и переводами, с подневными заметками о первых поездках за границу? Где черновые варианты кандидатской? Где последнее письмо от бабушки из Дзержинска? Куда все это довольное объемное хозяйство могло запропасться? По мере того как расширяется перечень пропаж, становится очевидным, что найти их не удастся. Они не «лежат и молчат где-то», как пытается утешить меня Юлия Хмелевская, – они больше нигде не лежат, их нет.

Тем не менее, предпринимаю последние отчаянные шаги: 31 декабря и 1 января в последний раз устраиваю «обыск» у родителей, у старшей дочери Нины, жившей в моей бывшей детской комнате в 2002 году; 9 января перерываю ящики стола на кафедре. Все напрасно. В течение недель сплю мало и беспокоюсь. Во сне вижу Горький и красный дневник 1968 года.

Постепенно в памяти восстанавливаются обстоятельства, связанные с утратой. В начале 2002 года Нина переехала к моим родителям, расставшись со своим другом, разочарованная, оскорбленная, опустошенная. Ей нужен был рабочий стол, и моя мама, освободив ящики столовой тумбы от моих вещей, аккуратно сложила их в большой полиэтиленовый пакет. Предполагалось, что я их разберу и возьму то, что сочту нужным. Вспоминается, что я приехал в начале рабочего дня в большой спешке – впереди ждали встречи. Начал разбор бумаг – и увлекся. Не без сожаления отложил на выброс письма школьного друга Вадима Бойцова из армии, двоюродной сестры Наташи из Новосибирска. В отдельную стопку попали бумаги, которые

я хотел сохранить: школьные коллективные фотографии, поздравительная открытка из Горького, датированная 1965 годом, первые школьные сочинения, «аттестат» об окончании первого класса.

Работа по сортировке документов застопорилась, когда я взял в руки свой детский дневник. Не без волнения начал его листать – впервые за 34 года, – бегло пробежать страницу за страницей. Спohватившись, что не успею сделать запланированное на день, я сказал маме, что закончу разбор бумаг в следующий свой приход. Просмотренное и оставленное для сохранения я попросил маму прибрать, отложенное на выброс пошло в отдельный пакет. Прощаясь с родителями, я был настолько уверен, что бумаги остались в целости и сохранности, что в течение следующих трех лет даже не задумывался об их дальнейшей судьбе и напрочь забыл весь этот эпизод.

Теперь, в январе 2006 года, спустя без малого четыре года после начатой сортировки бумаг, в моем возбужденном мозгу роились сценарии их утраты. Было ясно, что отложенное мною лично в 2002 году для сохранения мама, десятилетиями с благоговением хранившая мой «архив», тщательно сберегла, собрав в большой почтовый конверт и спрятав в шкаф с моими книгами. Но где же остальное? Судорожно перебираю различные версии, не в состоянии остановиться ни на одной из них.


Версия 1. В спешке недосмотренное оказалось в одном пакете с подлежащим выносу на помойку. Я помню, что от родителей я вышел с объемистым полиэтиленовым пакетом бумаг. Во дворе мне встретился выгуливавший собачку Максим Гаврилов, «Макушка», товарищ по дворовым детским играм – последний из многоголовой компании мальчишек, когда-то населявшей наш дом (менее чем годом позже он погибнет при темных обстоятельствах). Мы обмениваемся приветствиями, ничего не значащими вопросами и ответами. На ходу швыряю пакет в контейнер, и – это я вдруг отчетливо вспоминаю – в груди екает, как всегда бывает, когда по недосмотру делаю что-то ошибочное, но еще не знаю точно, что именно. Выбросил ли я тогда на самом деле горьковский дневник и прочие бумаги или в груди защемило от расставания с письмами 70–80-х годов? Настроение окончательно портится: собственными руками уничтожил следы своего прошлого! Непростительная безалаберность, тем более – для историка...

Версия 2. После первой «ревизии» содержимого стола я долго не появлялся у родителей. Если я не выбросил бумаги сам, то пакет с ними должен был неделями стоять в родительской квартире. Может быть, Нина, наводя порядок, выбросила «хлам»? Не намеренно, а по рассеянности – она так на меня похожа... Впрочем, сама она ничего подобного вспомнить не в состоянии. Припоминает только, что бабушка – моя мама – читала ей что-то из моих бумаг.

Версия 3. Кажется, весной 2002 года у меня состоялся с мамой неприятный, довольно резкий телефонный разговор. К своему стыду, я не был у родителей непозволительно долго, оправдывая лень или желание сэкономить пару часов делами и усталостью. Несколько раз мама звонила и напоминали о документах, мешающихся в комнате. Однажды я с раздражением ответил, что все для себя ценное я уже отложил. «Как знаешь», – не без горечи ответила мама. Может быть, она в сердцах выбросила пакет? Папа склоняется к этой версии. Он считает, что если из дому что-то пропадает, то исключительно по маминой вине. Она, по его мнению, слишком легко относится к вещам: еще бы, разве можно сравнивать ее благополучное детство с его, полным лишений и каждодневных забот о пропитании? Мне эта версия кажется сомнительной: вряд ли она могла выкинуть пакет, не заглянув внутрь. Если бы она увидела, что внутри, у нее рука не поднялась бы его выбросить.

Мрачное настроение и нервное перевозбуждение не покидали меня несколько недель. По-человечески я пытался утешить себя мыслью о том, что эта потеря – не самая страшная. К примеру, крутые перемены в моей жизни в 90-х годах могли отбросить от меня и маму, и дочку, мою Ниночку. Даже если предположить маловероятную возможность, что одна из них случайно выбросила мои бумаги, я утратил ничтожно мало: несколько лет назад я мог потерять их обеих.

Для задуманного исследования исчезновение дневника, конечно, – ощутимый удар. Но, силясь мысленно восстановить хоть что-нибудь из его содержания, я как-то ночью в начале января вспомнил – прямо-таки увидел – фразу, сиротливо приютившуюся на пустой разлинованной странице: «Ничего интересного не было. Весь день гулял». Я видел ее и раньше: на рубеже 60-х и 70-х приезжавшие в гости кузины Таня и Наташа (Наташа, напомним, с 1970 года жила и училась в Челябинске) листали мой дневник и оживлялись именно в связи с этой записью. Сейчас мне показался понятным ее контекст, я представил себе (или вспомнил) то утро, когда она появилась в дневнике.

 ...Мальчик сидит за круглым обеденным столом и неохотно линует страницу блокнота. За окном – погожее солнечное утро, во дворе звенят голоса, к которым он напряженно прислушивается. Это весело шумят Володя Гречухин, его двоюродная сестра Ирина, в которую Мальчик пронзительно влюблен, и ее подруга Наташа Алексеева, внучка соседки с третьего этажа, Веры Петровны. Ему тоже ужасно хочется поскорее выскочить во двор, как вчера, на весь день, но Дедушка настаивает на том, чтобы Мальчик сперва заполнил дневник за предыдущий день. Он считает, что следует отдавать предпочтение «настоящим», дельным, интеллигентным занятиям: чтению книг, урокам музыки, посещению «очагов культуры».

Это, по его убеждению, – действительно важные дела, которые он противопоставляет сугубо «мужским» занятиям Гречухиных, будь то рыбалка, фотографирование или купание в Волге. Но как раз вчера никаких «важных» дел не было. «Что же мне писать?» – с раздражением спрашивает Мальчик. «Так и напиши: ничего интересного не было, весь день гулял!» – в тон ему отвечает Дедушка и в сердцах выходит из комнаты. Мальчик из вредности дословно записывает Дедушкину фразу, захлопывает блокнот и несется во двор...☺

В конце концов, я начал искать дневник, чтобы попытаться упорядочить детские воспоминания, причем не только за летние месяцы 1968 года, но и в более ранние и поздние годы, используя дневник как рубеж, позволяющий отсортировать воспоминания на «до» и «после». Почему бы для этой процедуры не воспользоваться другими источниками? Что если попробовать восстановить порядок событий с помощью программ теле- и радиопередач или репертуара кинотеатров? И то, и другое должно было публиковаться в горьковских газетах.

Лучшее, многократно испробованное лекарство от хандры – продолжение работы. 24 января я возобновляю интервьюирование родителей. На этот раз результаты гораздо более удовлетворительны, чем год назад. Во время поисков дневника я обнаружил кое-какие мамины бумаги из ее ленинградского студенчества 1947–1951 годов. Держа их перед собой и комментируя, мама подробно и очень эмоционально вспоминает учебу в Ленинграде и пережитую ею травлю на рубеже 1950–1951 годов, вспоминает родителей, отношения в семье, мою няню, жилье в Балахне и Горьком. Опрашивая папу, я учитываю наш разговор годовой давности и готовлю вопросы о том, что в предыдущем интервью присутствовало лишь в намеках или отсутствовало вовсе. В очередной раз подтвердилось давнее наблюдение собирателей устной информации, что вовремя заданный и правильно сформулированный вопрос вызывает целый каскад неожиданных воспоминаний. Папа гораздо более подробно, чем в прошлый раз, рассказывает о семье отца, подругах матери, донецком театре, службе в армии.

И все же угнетенное состояние меня не покидало. Не будучи суеверным, я тем не менее воспринимал потерю дневника как своего рода знак, предостережение против продолжения проекта. И такие знаки вдруг стали множиться, вызвав замешательство и желание бросить начатое дело. Вот запись из моего «полевого» дневника за 25 января 2006 года: «24–25 – поиски книг детства у Саши – родителей – во всей нашей квартире. 2 книги – “Рассказывают цветы” и синяя, о каком-то мальчике, канули. Месяц потерь, настроение скверное».

Накануне интервью с родителями я вдруг спохватился из-за пропажи двух детских книжек из Горького 1965–1966 годов. В мае

2005-го, во время короткого приезда из Берлина и первых неудачных поисков дневника 1968 года, я обнаружил у родителей десяток книг, читанных мною в Горьком. Поразмыслив, что родительская квартира – не столь уж надежное хранилище, я перевез стопку моего детского чтива от греха подальше домой. Большинство из них временно разместилось в книжном шкафу младшей дочери Александры.

Среди перевезенных книжек было две наиболее ранних, которые, как и дневник, я сознательно не открывал, рассчитывая когда-нибудь вернуться к ним для «оживления» горьковских воспоминаний. Привезя домой, я к ним никого не подпустил и спрятал в тумбе старой советской мебельной стенки, положил на папку с документами Б. Я. Хазанова.

Одну из них, под названием «Рассказывают цветы», я листал в автобусе по пути от родителей домой. Крупноформатная книжка страниц в 50–70, в ярко-малиновой картонной обложке, с плотными шершавыми страницами, причудливым образом сочетала увлечения родителей моей матери, подаривших мне ее. К ним я при затруднениях и обращался в процессе чтения летом 1966 года. В той книге излагались предания Древней Греции, Рима, Урарту, Японии, Голландии и пр., связанные с тем или иным цветком: розой, львиным зевом, гвоздикой, ирисом, тюльпаном, подсолнухом... Старина была доменом Б. Я. Хазанова, цветы – Н. Я. Хазановой. В конце книги был лист с цветными изображениями цветов, которые я, не без помощи бабушки, аккуратно вырезал и клеил в специальную рамку в конце каждой истории. Вторую книгу, в мягкой синей обложке, я во взрослом состоянии так ни разу и не открыл. Я не мог вспомнить ни ее названия, ни автора.

Из смутных детских воспоминаний всплывает картина: Мальчик стоит на коленях перед своим горьковским топчанчиком и пытается раскрасить карандашом черно-белую иллюстрацию, на которой изображен трактор или каток. Тонкая страница продавливается и рвется. Бабушка недовольна. ♡

Мне читали ее – приключения какого-то мальчика, – в пору, когда сам я еще не умел читать, то есть не позднее 1965 года, скорее – еще раньше. И вот теперь ее нет.

(Уже после того, как была готова рукопись, купив младшей дочери «Денискины рассказы» Виктора Драгунского, я вдруг вспомнил, что та синяя книжка была выборкой из этих детских рассказов. На обложке стоял заголовок «Не пиф, не паф!», так же называлась и одна из историй. Я боялся этой книги из-за названия рассказа «Человек с голубым лицом».)

В отчаянии судорожно пытаюсь найти разумное объяснение этой пропаже. И вспоминаю: летом прошлого года жена заказала новую мебель, а старую в мое отсутствие вывезла. Когда в конце августа 2005 года я из Берлина приехал на месяц в Челябинск, нужно было, помимо прочего, расставить книги и разложить бумаги, нагро-

можденные стопками и пачками в спальне. Наводя порядок, я решил завести отдельную картонную коробку для материалов «фотографического» проекта, большей частью находившихся пока в берлинской квартире. На дно коробки я и положил две детские книжки, а папку с дедушкиными документами убрал в новый книжный шкаф. В результате эта коробка оказалась почти пустой – кроме двух тонких книжек, в ней ничего не было. Из экономии места я засунул в нее другую коробку, набитую важными бумагами, похоронив, таким образом, детские книжки в двойном дне картонного ящика. В ноябре, когда приезжал к родителям на золотую свадьбу, я в один из дней накануне отлета в Берлин, проводив гостей и маясь от безделья и праздничного послевкусыя, разобрал один из ящиков с бумагами и отнес пустую коробку (вероятно, ту самую, с двойным дном!) на помойку. Кажется, в тот серый день мне было ужасно тоскливо, как при подспудном ощущении ошибочного действия или надвигающейся беды.

Тут хочешь не хочешь – запаникуешь. В дурном предчувствии я бросился искать свой горьковский снимок 1966 года. В тот вечер я записал в дневнике: «26.01. Не могу найти главную фотографию. Бросить проект?»

На следующий день ко мне приехал из Калининграда берлинский знакомец Александр Сологубов. Было решено соединить приятное с полезным: Саша выступит в Южно-Уральском госуниверситете с докладом по своему текущему проекту о российском культурном пограничьи – Калининграде, Выборге, Сахалине, а заодно мы отпразднуем мой день рожденья. Вечером 27 января сидим вдвоем на кухне, не спеша пьем-закусываем. Саша наслаждается комфортом после двух ночей в поезде Москва – Челябинск. Пытаюсь быть внимательным хозяином, по мере сил отгоняю внутреннюю тревогу: фото 1966 года пока не найдено, одна из посылок, отправленных мною из Берлина – как назло, с книгами П. Берка и Б. Река по визуальной истории – в отличие от других, давно пришедших, подозрительно запаздывает.

С работы возвращается жена. «Пляши!» – говорит Маргарита с порога, помахивая почтовым извещением на получение посылки из Германии. Она ищет горьковскую фотографию около двух часов: у нее всегда все на своем месте, в идеальном порядке, а тут и она занервничала. Невозмутимый эпикуреец Саша ободряюще рассуждает спокойным, тихим голосом: «Кто управляет вещами? Их в каждой квартире, наверное, около тысячи. Домовой? Они исчезают сами, сами по себе находятся...»

Вечер венчает общий вздох облегчения: фотография наконец найдена. Нетрезвой рукой в дневник внесена нетвердая запись: «Дело пошло. Может быть, возможен поворот обратно?» После пяти недель потерь и непрерывных расстройств настроение пошло в гору.

## Челябинские дворы, друзья и недруги



Если Горький был местом, где Мальчик, как ему казалось, переживал наиболее важные события и сильные позитивные чувства, то Челябинск, в котором он проводил девять месяцев в году, воспринимался им скорее как некая промежуточная станция, санитарная зона, место вынужденного ожидания и подготовки к летнему счастью. Я – тот, в кого превратился Мальчик, – и поныне живу в Челябинске. Летние месяцы в Горьком утратили для меня все признаки подлинности, о которых пишет исследовательница феномена социальной памяти Алейда Ассман: «Если признак подлинности – связь между “здесь” и “сейчас”, тогда место памяти как “здесь” без “сейчас” – ополовиненная правда» (Assmann A., 26). Детство, проведенное у родителей матери – это «когда-то» и «где-то», мир, утраченный навсегда. Это – одно из обстоятельств, не позволяющих мне рассказывать о своей жизни в Горьком от первого лица.

Конечно, в город, который носил тогда имя знаменитого писателя, можно приехать в любой момент, но место, в котором состоялось детство, представляется мне своего рода пыльными обветшалыми декорациями заброшенного, покинутого актерами театра. Нет больше людей, обживавших и оживлявших сцену, навсегда утрачен детский ландшафт, разрушены его опорные элементы: «Конечно, жизнь идет, – пишет петербургский психолог М. В. Осорина, – и дома красят, и что-то новое строят, спиливают старые деревья, сажают новые, но... все эти изменения допустимы, пока сохраняется нетронутым то главное, что составляет суть родного ландшафта. Стоит только изменить или разрушить его опорные элементы, как рушится все. Человеку кажется, что эти места стали чужими, все не похоже на прежнее и – у него отняли его мир» (Осорина М. В., 122).

Другое дело – Челябинск. И главное не в том, что я чувствовал себя в этом городе иначе. Челябинское детство – это тоже «когда-то», но все же «здесь», и это «здесь» изменилось не настолько радикально. Разумеется, и из моего челябинского детского пространства исчезло множество его обитателей, но добрая их половина, слава Богу, жива. Поэтому в отношении Челябинска ощущение моего «Я» как «последовательности изменений растущего и увядающего индивидуального человека» (Elias N., 36) более устойчиво: здесь мне легче представить себя индивидуумом, который когда-то был ребенком и подростком, стал взрослым и обречен когда-нибудь умереть. Поэтому, рассказывая о челябинском детстве, я могу позволить себе иногда повествовать от первого лица, только, конечно, не о целостных картинках из детства, подобных моментальным снимкам, с явными следами детского, утраченного восприятия и поведения.

Мы переехали в Челябинск из Куйбышева в марте 1961 года, когда мне было два года. Родителей – солиста балета В. П. Нарского и педагога-репетитора Т. Б. Нарскую (Хазанову) – пригласил на работу местный театр оперы и балета. Им была предоставлена квартира на улице Грибоедова, на втором участке Тракторозаводского района. Хотя мы жили в ней лишь до декабря 1963 года, я ее отчетливо помню.

Это была странная квартира – однокомнатная, переоборудованная в двухкомнатную – на последнем, четвертом этаже дома сталинской постройки. Из крошечной прихожей дверь налево вела в просторную комнату с балконом, который был завален какими-то досками и прочим хламом и на моей памяти никогда не открывался. Обстановку комнаты составляли тахта, круглый обеденный стол, массивное мягкое кресло-кровать, двустворчатая тумба (такая же, как в Горьком), буфет и черное немецкое пианино последней трети XIX века с накладными деревянными украшениями, привезенное папой из Москвы в 1963 году. Напротив комнаты, справа от прихожей, располагалось довольно вместительное помещение – ванная комната, совмещенная с импровизированной кухней. Далее по коридору по правую руку находился туалет, которым я по малолетству не пользовался, а прямо – бывшая кухня, переделанная в детскую. Шифоньер, раскладушка и детская кровать занимали почти все пространство, так что для детских игр оставался маленький пятачок, наверное, не более двух квадратных метров.

Поэтому большую часть домашнего времени я проводил в родительской комнате. На полу можно было построить целый город из роскошного набора деревянных кубиков. Некрашенный строительный материал дополняли красные прямоугольники с полуолами-арками, красные же цилиндры, зеленые полуовалы-ворота, голубые двускатные крыши и острые конусообразные башенки. Можно было с помощью взрослых забраться в необъятное кресло и представить себя водителем автобуса. Можно было рисовать, сидя за обеденным столом. Не запрещалось и послушать, как папа играет на пианино, и даже встать за его спиной и дирижировать барабанными палочками (то, что дирижер обходится только одной, казалось досадным упущением).

Дом составлял часть ансамбля из дюжины однотипных построек, образывавших квартал с огромным, но уютным, благодаря обилию старых деревьев, двором. В самом его центре находился мой детский сад. Там я чувствовал себя не очень уютно – детские гомон и возня не нравились мне так же, как и детсадовская еда: я не переносил ни в каком виде лук и капусту, которыми щедро сдабривались супы, мясные и овощные блюда. Ел я медленно и привередливо, из-за стола выходил последним, что было особенно досадно после обе-



да: перед дневным сном я часто не успевал в туалет и поэтому боялся уснуть во время невыносимо долгого сончаса.

Было только два человека, за которых я прятался от одиночества в шумной детсадовской группе, – воспитательница Раиса Павловна и мой друг Володя Клинов. Раиса Павловна была добрая, ласковая, немного шумная женщина с карими глазами и химической завивкой. Каждое утро она встречала меня в детском саду мокрым поцелуем, после которого я исподтишка вытирался. В раздраженном состоянии она обращалась ко мне по фамилии, а не по имени, что меня крайне удручало.

Володя Клинов был бойкий, но очень обидчивый мальчик из соседнего подъезда с пронзительными светлыми глазами и звонким, с металлическим оттенком, голосом (следствие глухонемоты его родителей). Он был инициатором всяких игр и выступал в них на главных ролях. Володя очень красиво, можно сказать, каллиграфически рисовал, преимущественно машины, проводя точные и уверенные линии, в отличие от меня, пользовавшегося техникой мелких штришков-соломинок. Я так боялся потерять дружбу с ним, что, когда воспитательница определяла нас в соревнующиеся между собой группы, я тайно болел за его группу: в случае проигрыша он смертельно обижался.

Я ясно представляю себе несколько эпизодов из этого времени.

...Мальчик гуляет во дворе теплым весенним вечером. Володя уговаривает его выйти за пределы двора. Между внешней стороной дома и густыми посадками желтой акации они собирают окурки папирос (сигареты, тем более с фильтром, в этом рабочем районе, вероятно, не пользовались популярностью). Ребята изображают взрослых: вставляют в рот окурки, от едкого холодного запаха которых у брезгливого Мальчика перехватывает дыхание, и шумно пыхтят. Вопреки их надеждам, они замечены прохожими; те кричат что-то о возможности заразиться, и друзья (Мальчик – с чувством облегчения) ретируются во двор.

...Послеобеденный тихий час в детском саду. Мальчик не может уснуть от горькой обиды: Раиса Павловна назвала его по фамилии. Вот вырасту, мечтает Мальчик, стану солдатом, приду в садик с ружьем и застрелю ее...

Мальчик с родителями возвращается из гостей. Многие в тот вечер было впервые. Они в первый раз были у Меркушевых, Мальчик первый раз в жизни ел пельмени (очень вкусно!), находился во взрослой хмельной компании, которой было не до детей, и ездил по Челябинску так далеко, чуть не через весь город. И еще кое-что произошло впервые: Мальчик никогда прежде не видел Папу пьяным. Папе плохо, его тошнит, он еле держится на ногах и едва ворочает языком. «Тамара, я тебя убью», – бормочет он (или, может

быть, «люблю»? Мальчику послышалось «убью», и он испугался за Маму). Они идут от проспекта Ленина по улице Грибоедова. Мальчик тихо плачет. Он замечает, что сквозь слезы огни фонарей меняют очертания и, если прищуриться, вытягивают вертикальные лучи. В комнате, где Мальчик построил огромный, от балкона почти до противоположной стены, город, который он, вопреки обыкновению, не убрал, чтобы показать Папе (вероятно, тот поехал в гости сразу после репетиции, на голодный желудок), Папа с грохотом падает, погребая под собой строительные руины. На следующий день Мальчик хвастается в садике новостью, по-видимому, уравнивающей его с другими обитателями Тракторозаводского района: «А мой папа вчера был пьяный!..»

В конце 1963 года мы переехали в двухкомнатную квартиру в центре города, на проспекте Ленина, наискосок от магазина «Детский мир», всего в двух остановках от оперного театра. Очень ясно вспоминается: Няня впервые привозит Мальчика из детского сада в новую квартиру. Они не сразу находят темный, серо-коричневый пятиэтажный дом 50-х годов. Подниматься на пятый этаж заметно тяжелее, чем в прежнюю квартиру. Первое, что Мальчик видит с порога, — елка под потолок, которую увлеченно наряжает улыбающийся Папа.

Квартира (раньше ее занимал первый скрипач театра оперы и балета) была значительно больше прежней: высокие потолки, большие, 18 и 20 квадратных метров, комнаты, просторная кухня, превращенная в столовую. Меньшая комната с эркером, наполняющим пространство светом и воздухом, досталась родителям, большая, но менее светлая, — мне и няне. Постепенно прикупалась дополнительная мебель: трехстворчатый шифоньер, диван-кровать, письменный стол, кровать, второй обеденный стол и стулья, книжные шкафы, сервант, телевизор и пр.

В квартире имелся чулан, в котором хранились заготовки на зиму (варенья, ароматные связки сушеных грибов), нянина постель и часть ее одежды. Было уютно сидеть на подушках, прикрыв дверь, и из надежного укрытия наблюдать в щелку за внешним миром. А над коридором, ведущим в кухню, посетивший нас в начале 1964 года отец папы, П. П. Кузовков, смастерил крепкие антресоли, на которых до сих пор покоятся неподъемные чемоданы.

Но был в этой квартире существенный недостаток: стены и перекрытия между этажами были полые. Это обстоятельство имело два последствия: во-первых, было слышно все, что происходило в соседних квартирах; во-вторых, жилье было совершенно незащищено против нашествий тараканов, клопов, а иногда и мышей. Понадобился основательный ремонт, в котором вместе с профессиональными мастерами участвовали приехавшие в гости дедушка Павел и бабушка Нина. Тем не менее, прошло еще несколько лет, прежде чем

из квартиры были выжиты мыши и паразиты. Война с тараканами затянулась на десятилетия, до эпохи сотовых телефонов.

...В память врезался эпизод, случившийся вскоре после переезда на новую квартиру: Мальчик укладывается в постель. Свет еще не выключен. Вдруг он замечает жирного таракана, заползающего в его теплый клетчатый тапок. Мальчик пугается и громко плачет, призывая на помощь взрослых. Таракана прибивают и прячут в спичечный коробок, чтобы Мальчик на следующий день мог его спокойно рассмотреть. Любопытство на самом деле берет верх над страхом. Но отвращение не исчезает, тем более что дохлый таракан через день-другой начинает источать тошнотворное зловоние...

Двор, образованный разделенными аркой домами номер 41 по проспекту Ленина и 139 по улице Свободы, не имел специально оборудованных детских площадок, за исключением песочниц в двух сквериках. Тем не менее, он создавал естественное пространство, идеальное для детских игр. Дома образуют букву «П», обращенную перекадиной на север, на проспект Ленина. Теплый и солнечный двор был закрыт от частых в Челябинске северного и северо-западного ветров. С юга он ограничивался скрытым впоследствии естественным холмом, на котором стояли частные деревянные дома и гаражи, окаймлявшие мрачную глухую дореволюционную постройку из грубо отесанных гранитных глыб (вероятно, бывший склад), который дети прозвали «каменкой». На ее первом этаже располагался столярный цех. На второй, заброшенный, можно было проникнуть через небольшой лаз. «Каменка» круглый год была притягательным объектом для детских игр, пока не рухнула в начале 70-х. То, что сторож по мере сил гонял нас из этого действительно опасного места, лишь распалало наше любопытство.

Крыши гаражей тоже были хорошо обжиты детворой. Подгребая к гаражам снег, можно было прыгать с них в сугробы; можно было перепрыгивать с гаража на гараж, имитируя бег по крышам вагонов движущегося поезда, как в «Неуловимых мстителях» или вестернах. У тыльных и боковых сторон нескольких стоящих особняком гаражей и трансформаторной будки, расположенной между сквериками, на «ничейной» территории напротив арки, регулярно складировались неподъемные ящики со школьными станками, принадлежавшие магазину наглядных пособий. Вечно пьяные грузчики, к радости детей, громоздили их не очень аккуратно. В образованных между ними проходах и нишах устраивались штабы и наблюдательные пункты, в которых принимались важные решения, производился обмен секретами, устраивались наблюдения за взрослыми.

На зиму широкий спуск из частного сектора во двор дома 41 заливался водой, превращаясь в естественную, хорошо накатанную пологую горку, по которой можно было проехать на фанерке до

самого дома, а если ловко сманеврировать – то до арки, маркировавшей условную границу посреди двора. Чаще всего катались, с разбегу плюхаясь на живот, друг за другом, изображая десант, прыгающий с парашютами. По периметру деревянных построек иногда организовывались лыжные прогулки, во время которых легко было представить себя охотником или разведчиком.

Короткой континентальной весной, во время бурного таяния снега, ручьи, бегущие в сторону проспекта Ленина, становились ареной соревнований лодочек-спичек, пускавшихся наперегонки. С особым напряжением детвора ждала, выплывут ли они из ледяных пещер, образованных над ручьями толстой темной коркой льда.

Подъезды в доме 41, особенно угловой, № 3, были местом игр в жмурки, а в подъезде № 2 никогда не открывавшееся парадное служило сценой, на которой разыгрывались театральные представления. Иногда, если почастливится, можно было попасть в темную, теплую и сырую бойлерную или в подвал углового подъезда, где находилось бомбоубежище и хранились противогазы, трехлитровые консервные банки со сгущенным молоком и еще какие-то запасы.

Когда подсыхал двор дома 41, он превращался в площадку для игр в бадминтон и «лесенку». Смысл последней игры заключался в том, чтобы набрать наибольшее количество очков, бросая теннисный мяч в проемы пожарной лестницы, пронумерованной мелом по нарастающей снизу вверх. В штандр (ныне почти забытая игра в мяч, развивающая глазомер) и хоккей почему-то чаще играли в части двора, принадлежавшей дому 139. На велосипедах – сначала трех-, затем двухколесных – гоняли, естественно, по всему пространству, в том числе и вокруг домов. Двор и первые этажи подъездов предоставляли почти неограниченные возможности для игр в прятки и «войнушку».

Деревянный помост над бойлерной с запиравшимся на замок проемом в булочную, куда поставлялся привозимый автофургонами ароматный свежий хлеб, использовался чаще всего в теплое время года для посиделок рядком, во время которых играли в «глухой телефон» или рассказывали страшные истории. Начиная с мая, если взрослых не было поблизости, с помощью увеличительных стекол дети занимались выжиганием на досках помоста или на скамейках в дворовых сквериках.

Западная часть двора, у дома 139, была менее привлекательна для игр. Наверное, из-за строгости ее взрослых жильцов. Но она была, несомненно, более благоустроенной. Ее центр образовывал фонтан: чугунный крашенный черно-белый аист в теплое время года, выгнув шею, выпускал из вертикально поднятого красного клюва струю воды; тем же самым занимались лягушки, расположившиеся у него в ногах. Вокруг фонтана был разбит сквер; в тени ди-

ких яблонь стояли скамейки. В мае, во время цветения этих яблонь, Бабушка, иногда приезжавшая из Горького за Мальчиком, по утрам любила посидеть здесь, отдыхая от выполненных ни свет ни заря домашних работ.

За пределами двора на проспекте Ленина, между булочной и аркой, поздней весной выставлялся автомат с газированной водой. стакан воды с сиропом стоил три копейки, без сиропа – одну. Но, ударив кулаком по определенному месту, можно было получить вожделенный напиток и бесплатно. Поняв, что в стакан сначала попадает сироп и лишь затем – газированная вода, мы в возрасте девяти-одиннадцати лет умудрялись добывать напиток с «пятерным» сиропом. Эти набеги почему-то оставались безнаказанными. Выпив несколько стаканов приторной газировки, мы, жертвы собственной ненасытности, возвращались во двор и отлеживались на скамейках.

Гаражи принадлежали жильцам дома номер 139. Дом был ведомственным, в нем жил административный и инженерно-технический персонал станкостроительного завода. Дом 41 населяла публика попроще – преимущественно театральные артисты и музыканты. Автомобилей в 60-х годах у них не было и не могло быть. За одним из гаражей близ «каменки» находилось место регулярно паломничества детей – небольшая, но постоянно обновлявшаяся мусорная свалка. Серая зловонная мусорная машина (мы звали ее «мусоркой» и как-то пришли к единодушному мнению, что самая неприятная смерть – быть задавленным ею) ежедневно в определенный час приезжала во двор, что не мешало недисциплинированным жильцам сваливать мусор в неполюженном месте. Здесь можно было найти диковинные вещи, каких не сыщешь ни в одном магазине – следы спецпотребления и заграникомандировок жильцов элитного дома: бутылки из-под алкоголя с яркими этикетками и нерусскими надписями, разноцветные пивные крышки с мудреными рисунками, парфюмерные пузырьки экзотической формы.

Разница в качестве жизни обитателей заводского и театрального домов иногда прорывалась наружу и иным способом: кто-нибудь из детей станкомашевской администрации выходил во двор с новой игрушкой, только что привезенной родителем из зарубежной поездки. Верхом всеобщей зависти были вожделенные револьверы и кольты с вращающимися барабанами – ничего подобного в соседнем «Детском мире» не появлялось.

Дружной активности детворы театрального дома в немалой степени способствовало то, что она была представлена почти исключительно мальчиками примерно одного возраста, с разницей всего в два-три года. Это были мои сверстники и соседи по четвертому подъезду Игорь Зорин и Дмитрий Липай; Вадим Никулин из первого подъезда; на год-два более младшие сосед по лестничной пло-

щадке Михаил Семенов, жильцы углового подъезда Сергей Силонов, Игорь Сизиков и Евгений Андрияшин, а также Вадим Рожин из расположенного на первом этаже между вторым и третьим подъездами общежития, Сергей Лавров и Алексей Воскресенский из второго подъезда, Сергей Мотовилов и Леонид Иванов из первого, Евгений Карелин из частного сектора, близнецы Михайловы из дома 139. Из более старших к этой компании примыкал только Максим Гаврилов из второго подъезда: он был на два года старше меня.

Несмотря на щедрые возможности для детских игр, предоставленные челябинским двором, и живость многоголовой детской компании, я чувствовал себя здесь менее уютно, чем в горьковских пространствах. Двор был менее защищен от внешнего мира, он был проходным, расколотым на две половины, и казался огромным. В общежитии, в котором обитали преимущественно театральные «низы» – рабочие сцены, – и около него разгорались пьяные скандалы. Шумные игры с беготней, соревнованиями и схватками меня мало привлекали. Говорят, я предпочитал степенно ходить, а не бегать. И, кроме того, в обоих домах жили персоны, которых дети панически боялись.

Первая из них – «Маруся» (настоящее ее имя было Екатерина) из первого подъезда. Поговаривали, что она – бывшая драматическая актриса, тронувшаяся рассудком после смерти сына. Определить ее возраст было невозможно: круглый год она была укутана в серые лохмотья и теплый темно-синий платок. Вечно увешана котомками и бидонами. Ее пунктиком была клиническая чистоплотность: спускаясь по лестнице, «Маруся» не прикасалась к перилам, не вооружившись бумагой; она не пользовалась туалетом «коммуналки» и выливала мочу, собранную в бидон, во дворе. Никто из детей поодиночке не рисковал попадаться ей на глаза, хотя она была тихим, пребывающим в собственном мире и, скорее всего, безбидным существом. Но, сбившись в кучу, мы дразнили ее. Тогда «Маруся» грозила кулаком и что-то кричала в ответ.

Вторым человеком, более опасным для нас, был Валерий Дербенев по кличке Башка из заводского дома – большеголовый, приземистый, белобрысый крепыш, старше меня на два года. Вокруг него группировалось несколько парней его и моего возраста. Не помню, чтобы кто-либо когда-нибудь вступал с ним в драку. Он воспринимался театральной детворой как представитель чужого и опасного мира. Взрослые считали его хулиганом. Он рано, лет десяти, начал курить, а с четырнадцати – пить, нещадно матерно ругался, всегда был готов к рукоприкладству и отличался болезненной чувствительностью к фантазиям на половые темы. Я панически его боялся, хотя он мне симпатизировал. Иногда, когда во дворе никого, кроме него, не было, я пересаживал прогулку в подъезде, чтобы избежать его компании. Будни в челябинском дворе казались мне небезопасными.

## Няня



В Челябинске меня окружали иные взрослые, чем в Горьком, – и это были преимущественно женщины, сильные женщины. Рассказ о них нужно начать с няни, в обществе которой я провел наибольшую часть своего детства. Вообще-то, если быть точным, у меня было три няни. О первой из них, куйбышевской, Ксении Леонидовне, или «бабе Ксене», я совсем ничего не знаю – даже фамилии – и не могу ничего помнить. Очень смутно, как-то смазанно припоминается ощущение (или это след взрослых рассказов?), что кто-то большой и сильный сзади сжимает меня, маленького и беззащитного, коленями. Горьковская бабушка, Н. Я. Хазанова, была крайне недовольна этой няней, своей сверстницей. Та якобы совсем не давала мне двигаться, кутала и держала при себе. Содержимое посылок с фруктами, присылаемых для меня из Горького, доставалось ее родственникам. Это выяснилось, когда бабушка приехала в Куйбышев и обнаружила, что я протестую против непривычных для меня апельсинов, которые, однако, по словам родителей, очень быстро исчезали из посылок, потому что, по заверениям «бабы Ксени», я их обожал. Помню также, что в моих детских снах много лет постоянно присутствовала страшная старуха по имени Ика, которая охотилась за мной, чтобы зашекотать до смерти. Как выяснилось много позже, так меня называла первая няня.

По переезде в Челябинск встал вопрос, кто будет сидеть со мною вечерами и по воскресеньям, во время наибольшей занятости родителей в театре. На весну и лето 1961 года меня отвезли в Горький, а осенью в Челябинск на помощь моим родителям приехала из-под Москвы сокурсница и подруга папиной мамы по Филаретовскому епархиальному училищу Клавдия Петровна Щедрова, женщина с непростой судьбой, как и большинство российских подданных, родившихся в 90-х годах XIX века. К моменту появления в Челябинске она всего несколько лет жила в Советском Союзе, проведя до этого четыре десятилетия на чужбине. Дочь дьякона, она в молодости была замужем за врачом Московского художественного театра и близким другом композитора А. Н. Скрябина доктором Богородским. Во время Первой мировой войны она отправилась в Германию навестить мужа, оказавшегося в немецком плену, да так и осталась в эмиграции. На протяжении десятилетий, проведенных вдали от России, она, как и многие другие соотечественники за рубежом, мечтала вернуться на родину. Как она позднее рассказывала, после окончания Второй мировой войны Сталин предоставил советское гражданство всем желавшим из числа бывших подданных Российской империи, но в СССР не пустил. Лишь после его смерти она смогла вернуться в Россию. Еще на границе ее удивило доверительно высказанное по-

граничным старлеем («поручиком» в ее терминологии) сомнение в целесообразности ее поступка: «Куда вы спешите?» – удивился он.

Вероятно, вскоре она смогла понять его сомнения. Ее отправили по разнарядке в Казахстан, где она на ручном сепараторе сбивала масло. Вернувшись в конце 50-х, в разгар хрущевской «оттепели», в родное Подмоскovie, в Буньково, она натолкнулась на пугливую растерянность родственников, боявшихся иметь дело с эмигранткой. Материальное убожество вожделенной родины ее очень удручало.

Как-то раз она зашла в московский музей-квартиру А. Н. Скрябина и надолго остановилась перед висевшим в одной из комнат мужским портретом. «Вы знали этого человека?» – любопытствовала подошедшая служащая. «Это мой муж», – ответила Клавдия Петровна. Ее звали на работу в скрябинский музей, но она отказалась. Как она свыкалась с советской действительностью и на какие средства существовала в старости, я не знаю.



...Словно сквозь пыльное стекло вижу картину: в залитой вечерним солнцем комнате на тахте сидит пожилая женщина с седыми волосами, туго стянутыми на затылке в пучок, и читает Мальчику книжку со стихами...☺

Она-то и дала добро на прием в няни жившей в соседнем доме А. С. Ничивилевой, которую порекомендовала маме моя воспитательница Раиса Павловна, также жившая по соседству. Три недели Клавдия Петровна наблюдала, как няня управляется с ребенком и домашним хозяйством, и, засобиравшись домой, заверила моих родителей: «Можете на нее положиться, как на себя».



На удивление ясно вижу момент знакомства с няней. ...Темным зимним вечером Мама забирает Мальчику из детского сада. «У тебя теперь новая няня. Ты можешь ее называть “бабушка Шура”. У нее один глаз не видит, но ты не пугайся. Она очень добрая». Они приходят домой. На тахте в родительской комнате сидит пожилая женщина с простым, никогда не знавшим косметики лицом в мелких морщинках, маленьким, узеньким носиком с легкой горбинкой. Правый глаз у нее карий, левый зятанут сероватым бельмом. Темно-русые, без седины, волосы собраны на затылке. Ноги ее в грубых хлопчатобумажных чулках поставлены совсем не по-балетному, носками внутрь. Женщина слегка волнуется, натруженными руками перебирает складки простого темного платья: она давно не водилась с детьми, а с чужими – никогда...☺

Александра Сергеевна Ничивилева (1902–1991) родилась в большом – в 300 дворов – бывшем помещичьем селе Сула Суджанского уезда Курской губернии, в небогатой семье. Отец ее был мелким банковским служащим с жалованьем в пять целковых в месяц. В детстве ей всего один год довелось поучиться в церковно-приходской школе. Рано осиротевшая Александра с малолетства была приучена



к крестьянскому труду. Она так и не поняла, отчего в ранней молодости на глазу образовалось крошечное бельмецо – то ли от соринки, попавшей туда во время молотьбы, то ли от папиросы глухонемого, в объятия которого в шутку толкнула ее подруга.

Году в 1920 она вышла замуж за сельского парня Алексея Казанцева, семья которого благодаря крестьянской революции 1917–1918 годов и обилию детей мужского пола обзавелась большим земельным наделом. В 1930 году, в начале коллективизации, Казанцевы первые проголосовали за вступление в колхоз, что не спасло их от раскулачивания. Не дожидаясь разорения, позора и преследований, муж Александры уехал в Караганду, откуда стал настойчиво звать жену к себе. Женщина, никогда не выезжавшая за пределы округа, да еще и с ребенком на руках, побаивалась дальней дороги. А через какое-то время перестали приходиться письма от мужа. Она не решалась сняться с места, пока местные власти не разорили ее хозяйство полностью, постепенно отнимая то одно, то другое. Оставаться в селе оказалось невозможным после того, как по распоряжению сельской администрации в ноябрьские холода с ее дома сняли крышу...

Во время долгого железнодорожного путешествия в Северный Казахстан у нее украли вещи, деньги и документы, а по приезде в Караганду Александру ждало горькое известие: муж завел новую семью. Первое время она жила у мужа, ночуя с сыном на полу рядом с кроватью «молодоженов». Потом кое-как перебивалась, работая за еду поломойкой в столовой, – в холода ледяной водой драила грязные полы. Через некоторое время она сошлась с ссыльным харьковским крестьянином – солидным пятидесятилетним мужчиной. Он был старше ее на 20 лет и работал на одной из карагандинских угольных шахт. Всю их совместную жизнь она величала его по имени-отчеству.

Их быт постепенно налаживался: образовалось подсобное хозяйство с огородом, садом и скотиной. Сложился круг знакомых с взаимными посещениями и угощениями. Принимая гостей, алкоголь употребляли крайне умеренно, зато много пели да играли в карты.

Эти, самые покойные два десятилетия жизни внезапно оборвались смертью мужа от сердечного приступа. А тут еще сын, который накануне войны перебрался в Челябинск и работал на тракторном заводе, стал звать мать к себе. Александра Сергеевна на исходе 50-х годов распродала хозяйство и перебралась к сыну. Жизнь в его семье пришлась ей не по душе. Она оказалась шестой жиличкой в комнате коммунальной квартиры, в которой обитали сын с женой, тещей и двумя детьми. Отношения с невесткой не заладились: свекрови не нравилось, что невестка на городской манер переименовала ее сына Егора в Игоря, что сын курил, но главное – что в семье крепко и регулярно выпивали. Она считала, что к алкоголю Егора-Игоря приохотила жена.

Из нее стали тянуть деньги, вырученные от распродажи карагандинского хозяйства, отговорив от покупки жилья. Чтобы спасти хоть часть первоначально солидной суммы, она приобрела сад, в котором трудилась до глубокой старости.

Поэтому знакомство с Нарскими и одобрение К. П. Щедровой стали для нее выходом из затруднительного положения. Сначала она, часто с внучкой Лорой, сидела со мной по вечерам и воскресеньям, оставаясь на ночь, если родители надолго задерживались на работе. А в конце 1963 года вместе с нами переехала на новую квартиру.

Александра Сергеевна была женщиной непритязательной и до денег не жадной. После смерти мужа она получала пенсию в 30 рублей. Когда мои родители спросили, сколько она хочет получать за работу няни, она, чуть помедлив, сказала: «По пяти рублей с человека». «Значит, пятнадцать в месяц?» – уточнили они, изумленные ничтожностью суммы. «Нет, с дитя я денег не возьму», – последовал твердый ответ.

«Бабушка Шура» (я всегда звал ее просто «бабушкой», вызывая едва заметную ревность Н. Я. Хазановой) была спокойной, уравновешенной и терпеливой. Несмотря на то, что я был упрямым и своенравным ребенком и, наверное, как все дети в подобной ситуации, временами хладнокровно экспериментировал, желая узнать пределы своей власти над зависимым от моих родителей человеком, я не могу припомнить, чтобы она когда-нибудь повышала на меня голос, не говоря уже о наказаниях. Она воспитывала меня своими терпением и смирением, от которых мне становилось стыдно за свои проступки.

Ее мягкость и сдержанность стачивали шероховатости в отношениях моих темпераментных родителей. Она умела сглаживать острые углы конфликтных ситуаций, находила мудрое слово и дельный совет. Она прожила с моими родителями более четверти века, так и не дождавшись получения мною квартиры и возможности нянчить мою дочь Нину. В квартиру сына она вернулась только осенью 1987 года, когда стало ясно, что он с женой вот-вот переедет в новое жилье. Последние четыре года она доживала с внучкой и умерла так же тихо, покойно и с достоинством, никого не обременяя, как жила: почувствовав приближение конца, переоделась в чистое белье и легла на пол (по старинной традиции умирающего клали на доски, чтобы тело выпрямилось). Там и нашли ее, в позе, в которой по православному обряду должен лежать в гробу покойник.

Летом 1963 года Александра Сергеевна предприняла с нами самое большое путешествие в своей жизни – по Поволжью, включая Горький, в Ростов-на-Дону и Москву. Перед глазами вспышками мелькает несколько картинок из этой поездки.



...Купе поезда. Жара. Четырехлетний Мальчик капризничает: то ему нужно на верхнюю полку, к Маме, то на нижнюю.

Няня поднимает увесистого ребенка, подает его матери и охает от боли в левом плече. До конца своих дней, расчесывая волосы, она будет придерживать левую руку правой.

Или вот: залитый солнцем двор частного дома в Ростове-на-Дону. У ворот на цепи сидит огромная немецкая овчарка. Няня заходит во двор и цепенеет от ужаса: пес неожиданно вскакивает, кладет ей лапы на плечи и смотрит на нее сверху вниз.

Горьковская квартира. Все сидят на диванчике у открытой двери на балкон и смотрят телевизор. Мальчик сидит на коленях у Няни. Начинается гроза, телевизор выключают, но дверь на балкон не закрывают. Вдруг – яркая вспышка и страшный грохот: в комнату влетает молния и, метнувшись в коридор, а оттуда в прихожую, срывает полку с зимней одеждой и тем же порядком покидает квартиру. Все в оцепенении переглядываются...☹

А. С. Ничивилева была женщиной скромной до застенчивости. Она всегда с большой благодарностью вспоминала Марго Авдеевну Маркарьянц, мать папиного друга, балетмейстера Николая Маркарьянца, по приглашению которой мы ездили в Ростов-на-Дону. Марго Авдеевна была женщина образованная, мудрая и сильная. Во время войны она в Сталинграде спасла от расстрела своего брата, Андрея, принятого немцами за еврея, отдав конвоиру фамильное кольцо с бриллиантом. Дочь армянского купца-чаеразвесочника первой гильдии А. Авакумова, владевшего в Царицыне несколькими домами, она за столом подавала кушанья сперва Александре Сергеевне, о чем та не могла забыть. Ее очень удивило, что знаменитый солист балета Большого театра Владимир Васильев, придя с Екатериной Максимовой в гости к моим родителям, первый тост поднял за Александрой Сергеевну, по его словам, похожую на его мать. Ей было приятно и вместе с тем неловко, когда за праздничным столом мой папа, взяв на вооружение пример В. Васильева, поднимал бокал в ее честь: многочисленные гости с уважением и приязнью разом оборачивались к ней.

Она была религиозной, тайком творила молитву, стоя на коленях у окна, обращенного на восток, и очень сокрушалась, что не может поститься, выполняя поварскую работу в атеистической семье. Под моей кроватью Александра Сергеевна хранила чемодан со «смертным» – полным облачением для православного погребального ритуала. Она любила, когда я играл «Хор» из «Детского альбома» П. И. Чайковского: он напоминал ей церковную службу. В церкви она бывала редко – только на Рождество и Пасху.

В сентябре 1966 года мама привезла ей из Болгарии два крестика: один обычный, нательный, другой крупный, мужской, наперсный, из пластмассы под кость с золоченым Христом. Няню этот подарок удивил и обрадовал. К ее огорчению, ее старший внук Алик

без спроса взял большой крест и, нацепив на шею, в пьяном виде шатался около вокзала, благословляя прохожих. Время для такой выходки было самое неподходящее. Государство в те годы усилило борьбу с хулиганством и религией. В ранние 60-е была закрыта половина уцелевших после прежних гонений православных церквей и упразднена половина приходов. А за пару месяцев до Алькиной выходки, в конце июня 1966 года, появился указ «Об усилении ответственности за хулиганство». При желании ему могли инкриминировать «умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок и выражающие явное неуважение к обществу» (Правда, 1966, 28 июля), с исправительными работами или лишением свободы от полугода до года, или штрафом от 30 до 50 рублей. Альку задержала милиция, но, к большому облегчению няни, он не выдал мою маму, коммунистку с пятнадцатилетним стажем.

Александра Сергеевна уделяла мне много времени. Она заново научилась читать, чтобы я не оставался без вечерней сказки, пела сельские песни и простонародные городские романсы, сопровождала в обычную и музыкальную школы, кормила, водила гулять, ласкала, играла – и очень много рассказывала. Сначала это были деревенские сказки и жутковатые истории о колдунах и ведьмах, а затем постепенно она перешла к рассказам преимущественно о своей жизни: о том, как она маленькой девочкой видела пожар на помещицкой усадьбе, подожженной селянами во время революции 1905 года, о родителях, о смерти четверых детей в раннем возрасте, о голоде и вкусе человечины, о сельской работе и досуге, о пережитых во время коллективизации унижениях и творимых несправедливостях, о жизни в Караганде, об обоих мужьях.

В этих рассказах было много горестного, в них было много смертей. Нехитрое повествование перемежалось ритуальными сельскими плачами, во время которых Александра Сергеевна начинала неподдельно, с настоящими слезами, плакать. Естественно, я много расспрашивал ее о смерти, которая меня пугала и завораживала.

К смерти няни относилась серьезно. Ее страшила перспектива быть захороненной в безымянной могиле (к моему стыду, так и случилось). Она не хотела, чтобы по ней тяжело скорбели. «Когда помру, проводите меня весело», – наставляла она меня. Об отпевании в церкви, единственной на город с миллионным населением, она и не мечтала.

В смерти меня прежде всего интересовала физиологическая сторона вопроса. Иногда, когда мы оставались дома вдвоем и я в очередной раз начинал донимать ее расспросами о смерти, она, быть может, в отместку за мою очередную выходку, ложилась на тахту, закрывала глаза, складывала руки на груди, выпускала последний вздох и замирала. Я в страхе начинал ее тормошить, она

смеялась, прижимала меня к себе и целовала. С юмором у нее тоже все было в порядке.

Все ее имущество уместилось бы в двух чемоданах. Тем не менее, помимо воспоминаний, у няни много чего сохранилось из сельской молодости. Днем и на ночь она непременно повязывала на голову платок, с концами, по южно-русской традиции стянутыми на затылке: без платка у нее мерзли уши. «Бабушка» изъяснялась на курском говоре, с украинским «г» и «хв» вместо «ф». Некоторых слов она не могла выговорить. Вместо «сольфеджио» она говорила «салхвет». Строй ее речи был лаконичен. Далеко за пределами моего повествования лежит фраза, с помощью которой она дала мне совет по поводу трудных переговоров с девушкой, не желавшей прийти ко мне в гости: «Придешь ай нет? Я жду, а ты как хошь». У нее всегда были наготове деревенские присказки. «Кончен бал – музыку под лавку», – говорила она после приема гостей или завершения важного дела. «Все полезно, что в рот полезло», – подбадривала меня, если я привередничал за столом. Иногда она позволяла себе вольности: «Готова дочь попава» (о наличии продолжения – «не венчана – проверчена» – я узнал от нее много позже и после долгих уговоров); «Здоровье, как жопа коровья». Но это был предел ее «ненормативной» лексики: даже слово «черт» она не позволяла себе произнести (для этого она пользовалась выражениями «черный» и «нечистый»).

У Александры Сергеевны, вероятно, было ощущение, что после ее отъезда в 1930 году жизнь в родном селе, по которому она тосковала, остановилась или, во всяком случае, не могла принципиально измениться к худшему – куда уж хуже, чем в разгар коллективизации? Она регулярно писала письма в деревню. В половине «крупнокалиберных» неровных строчек перечислялись те, кому следовало передать поклон. Но адрес должен был подписывать я, чтобы, не дай-то Бог, не вышло ошибки. Никаких областей и районов в отношении родных мест для нее не существовало. «Пиши, – начинала она диктовать адрес, – Курская губерния, Суджанский уезд...» Лишь осенью 1976 года ей удалось с сыном съездить в старые места, навещать подруг-старушек, повспоминать с ними былое, попеть плачи, попрощаться. Запустение, безлюдье, пьянство в родном селе произвели на нее тягостное впечатление.

Ее отношения с челябинскими родственниками оставались сложными. Она давала им денег и значительную часть садового урожая. Навещала их регулярно, но не часто, поскольку сын не мог уберечь ее ни от нападков жены, ни от прочих домашних неприятностей. Однажды зимним вечером она пришла домой вся в слезах, сообщив, что внук Алька «сиганул» с девятого этажа и разбился. Оказалось, что он лежит в больнице с переломом ног: его спас свежавывающий глубокий снег и сильное опьянение, позволившее телу

самопроизвольно, по-кошачьи, сгруппироваться. Через год с него сняли инвалидность.

В другой раз няня зашла во двор с боковой стороны, чтобы юркнуть в наш, крайний подъезд, не будучи замеченной соседями. На лбу и под глазами у нее набрякли большие темные кровоподтеки: невестка в пьяной ярости саданула ее по голове металлической кружкой...

Надеюсь, что Александре Сергеевне в нашем доме хотя бы время от времени бывало хорошо и покойно. Мне жаль, что в последние годы ее жизни ни я, ни мои родители не уделяли ей того внимания, каким она нас одаривала и которое она, безусловно, заслуживала. Спустя много лет мама, оглядываясь назад, справедливо констатирует, что моя няня Александра Сергеевна Ничивилева, «бабушка Шура», была ангелом-хранителем нашей семьи.

## Мир детей и психология детства

**И** Дети – не маленькие взрослые. Их мир – таинственный остров в космосе взрослых людей, тщательно оберегаемый от вторжения сильных и беспардонных пришельцев, чаще всего не понимающих его обитателей. Дети иначе воспринимают и осваивают окружающее. «В детстве мы лучше видим руки людей, ибо они, эти знакомые руки, витают на уровне нашего роста» (Набоков В., 75). Ребенок видит взрослый мир из другой перспективы – и не только потому, что он мал ростом. Он иначе мыслит и чувствует, его логика не совпадает с логикой взрослого, его стратегии поведения являются техникой слабых – тех, кого реальный физический и социальный мир плохо слушается.

В этой связи кажущееся естественным представление современного человека о том, что он в разные периоды своей жизни от детства до старости – одно и то же лицо (ведь он отчетливо помнит себя ребенком!), является отнюдь не естественным. Оно является взрослой конструкцией, стратегией, оберегающей целостность и стабильность собственного «Я».

Жизнь ребенка подчинена трудной долговременной задаче поиска, защиты и расширения своего места в мире, в котором господствуют взрослые. Петербургский психолог детства Мария Владимировна Осорина, методически опираясь на принципы исследователей детской психологии Жана Пиаже и Эрика Эриксона, в оригинальной работе «Секретный мир детей в пространстве мира взрослых», выдержавшей с 1999 по 2004 год три издания, на российском материале убедительно показывает, как формируется и обретает автономность детское пространство, а вместе с ним – и сам ребенок.

Первым социальным пространством, которое он начинает осваивать в самом раннем возрасте, является дом. Его освоение – важ-

ная часть формирования «базового доверия к жизни» (Эриксон Э., 346). «...Для полноценного психического развития ребенку исключительно важно утвердиться в том, что место, занимаемое его «Я» в этом мире, – самое лучшее, мама – самая лучшая, дом – самый родной. Главной личностной задачей младенческого периода является формирование так называемого «базового доверия к жизни» – интуитивной уверенности человека в том, что жить хорошо и жизнь хороша, а если станет плохо, то ему помогут, его не бросят. Уверенность в своей желанности, защищенности, в гарантированности положительного отклика окружающего мира на его нужды младенец приобретает в ходе повседневных взаимодействий с матерью. Постоянное присутствие матери, точность понимания ею нужд младенца и скорость отклика на них, теплота отношения к ребенку, многообразие телесного и словесного общения с матерью имеют очень важный смысл для всей его будущей жизни. На этом глубинном чувстве базового доверия к жизни будет основан потом жизненный оптимизм взрослого, его желание жить на свете вопреки обстоятельствам. И наоборот, отсутствие этого чувства может в будущем привести к отказу от борьбы за жизнь даже тогда, когда победа в принципе возможна» (Осорина М. В., 14).

Родной дом – источник уверенности человека в себе, в своих силах. Для его освоения дитя пользуется многочисленными технологиями – от путанья под ногами взрослых и устраивания мешающих им игр в самых неподходящих местах до защиты своей комнаты от покушения взрослых на ее оформление, от строительства «норок» под одеялом до облюбования мест уединения.

«Мир дома замкнут и устойчив. Это защищенное пространство, в котором можно чувствовать себя в безопасности. Дом – это всегда определенным образом организованное людьми пространство с постоянным набором вещей, стоящих на своих местах, и постоянными жителями – членами семьи» (там же, 39–40).

Ребенок, даже если он разбрасывает вещи и не очень охотно убирает на место свои игрушки, – страстный поборник порядка в доме, хотя его страсть к упорядоченности диктуется иными мотивами, чем у взрослых. Его идеал – дом-защита, стабильное, заслоняющее от внешних опасностей место. Для него важно, чтобы вещи оставались на своих местах и никто не покушался на его собственное место; чтобы отношения между членами семьи были устойчивы, а требования взрослых – непротиворечивы; чтобы домашний уклад был прочен и наполнен ритуалами (включая такие «мелочи», как вечерняя сказка и материнский поцелуй перед сном). Среди наиболее значительных мест и процедур поддержания устойчивого домашнего уклада особо важны обеденный стол и принятие пищи.

Здесь формируются и закрепляются представления об устройстве семьи и основы для будущих отношений вне дома.

Детской жаждой дома-защиты объясняется нежелание оставаться дома одному: помещение и вещи в отсутствие родителей, как и ночью, начинают жить особой жизнью. Мечта о пространстве без проемов в опасный мир запечатлена в многочисленных страшных историях, которые дети рассказывают друг другу (реже – взрослым) в возрасте между шестью и двенадцатью годами. Их болезненное внимание привлекают места нарушения однородной поверхности: дверцы, картины, трещины, пятна – своего рода экзистенциальные дыры. Они грозят неизвестностью и вторжением враждебных сил. Дети легко «улетают» в своих фантазиях в такие «проемы», но опасаются не вернуться из воображаемых путешествий.

После трех-пяти лет дети объединяются для совместного исследования внешнего мира. Таким «большим» миром дошкольника в первую очередь становится двор. Его освоение ребенком проходит тем легче, чем более обозримым и безопасным, с точки зрения взрослых, он является. Степень контроля взрослых за дворовой детской активностью зависит, кроме того, от их отношений с соседями, а также от представлений о сверстниках ребенка, разделяющих его дворовые игры.

В освоении пяти-двенадцатилетними детьми окружающего пространства чрезвычайно значима детская субкультура, помогающая им изобретать всевозможные способы «материализации» себя в осваиваемом мире: это и рисунки и надписи на асфальте, стенах домов и заборах; и организация девочками «секретиков», а мальчиками – «тайников»; и строительство «штабов» и «укрытий» в местах, доступ к которым затруднителен для бдительного взрослого ока – за гаражами, сараями и трансформаторными будками, в отдаленных уголках двора, в кустах и на деревьях.

Детское пространство двора и его ближайшей периферии сильно дифференцировано и сложно структурировано. М. В. Осорина выделяет такие посещаемые детьми места, как места игр, страшные, интересные и «злачные» места, места уединения, встреч, экзистенциальных переживаний.

«Страшные» места, коллективно посещаемые детьми начиная с пяти лет – это качественно иное пространство, не служащее живым людям: пустующие строения, чердаки, подвалы и пр. Дети готовы соприкоснуться с ужасным, чтобы совладать со своими страхами. Знаком победы над ними является рассказывание в «страшном» месте, которое становится «страшно интересным», «страшных» историй. Интересные места (в том числе заросли и всевозможные закутки) расположены на периферии обжитого пространства, они позволяют тайком наблюдать чужую жизнь.



Особое место в детском пространстве образуют так называемые «злачные» места – помойки и свалки.

«Нормальные взрослые, как и нормальные дети, обычно интуитивно чувствуют, где именно и в каких формах они могут сбросить внутреннее напряжение и злость, не производя опасных для общежития разрушений в структурированных ситуациях, то есть там, где есть организованное по определенным правилам предметно-социальное пространство. Знаменательно, что как отхожее место для отправления этих нужд дети часто выбирают помойку – пространство, отмеченное признаками бесструктурности (кучи отходов и ломаных вещей), асоциальности (ничье), низкого статуса (грязное, вонючее), периферийности (специально отведенное или находящееся за пределами “нормального мира”). Все эти признаки помойки как особого места дают возможность для увеличения количества степеней свободы в поведении ребенка, что служит предпосылкой для удовлетворения множества потаенных потребностей. Тем самым помойка действительно оказывается для детей “злачным местом”» (там же, 95).

Свалка – это не только место, в котором ребенок может выплеснуть агрессивные чувства. Это одно из самых динамичных мест в окружающей ребенка среде. Поэтому помойка – богатое поле для творческих экспериментов. Выброшенные, бесполезные для взрослых вещи обнаруживают новые качества, которыми дети умело пользуются. Наконец, помойка удовлетворяет детскую веру в чудо, которая укрепляется благодаря их терпению и внимательности: дети обнаруживают в «злачном» месте все новые «сокровища».

С течением времени осваиваемая детьми территория постепенно, но неуклонно расширяется. Радикальный скачок в диапазоне посещаемых ребенком мест происходит после его поступления в школу. Изменение социального статуса бывшего детского сада заставляет его не только посещать учебное заведение, находящееся, как правило, на некотором расстоянии от дома и двора, но и делать мелкие покупки и выполнять иные поручения родителей, сопряженные с путешествиями за пределы дворовой территории. Пассивное освоение внешнего пространства в общественном транспорте, в компании с родителями и, желательно, поближе к кабине водителя, за которым дети наблюдают с большим интересом, сменяется активным его освоением с появлением примерно в девятилетнем возрасте подросткового велосипеда.

Освоению дворового, а затем и внешнего пространства в значительной степени содействует однородность детской компании. Согласно наблюдению психологов детства, максимальная разница в возрасте, не опасная для целостности дворовой компании, составляет от двух до трех лет. Половая однородность также играет роль в

характере освоения мира, поскольку мальчики и девочки по-разному решают эту центральную для детства проблему.

«Мужские» задачи вне зависимости от ступени, занимаемой биологическим видом на эволюционной лестнице, везде схожи: это сбор – с риском для жизни – информации во внешнем мире:

«...получается, что мальчикам от природы положено больше, чем девочкам, лазать куда надо и куда не надо, на всех парах устремляться туда, где интересно, привлекательно, опасно. Что они с успехом и делают, нередко расплачиваясь за это шишками и синяками, иногда – серьезными травмами, а чаще всего родительскими наказаниями» (там же, 64).

«Женская» же биологическая роль заключается в утилизации, хранении и передаче добытой информации. Поэтому женское поведение стабильнее и осмотрительнее. Не исключено, что именно по этой причине девочки в меньшей степени склонны расширять пространство, но зато более качественно обживают и психологически осваивают его.

В возрасте семи-девяти лет у мальчиков и девочек развивается живой интерес друг к другу, обычно принимающий вид военных действий между представителями разных полов. В это же время начинается пора бурного строительства «укрытий» и «штабов», освоения шифров, кодов, секретных языков, превращающихся в подлинную страсть в возрасте восьми-одиннадцати лет.

По-видимому, своеобразная «милитаризация» детской жизни в предпубертатном возрасте – универсальный феномен, не имеющий прямого отношения к политическим порядкам конкретного взрослого мира и степени военизации того или иного общества. Ребенок на определенном этапе развития начинает остро ощущать себя чужаком в мире, которым правят взрослые, разведчиком во вражеском стане. У него появляется потребность в инструментах сплочения с себе подобными, наблюдения за воображаемым противником («штаб», «укрытие», «интересное место»), хранения («секретники», «тайники»), передачи тайн и общения с избранными (секретные языки, шифры, коды и пр.). Поскольку эта потребность возникает в предпубертатном возрасте, весь военизированный инструментальный применяется в отношении как взрослых, так и сверстников противоположного пола.

И здесь детские психологи также наблюдают гендерные различия:

«...Мальчики больше любят коды и шифры, а девочки предпочитают тайные языки, которые они используют гораздо более ловко, чем мальчики, благо так называемая “вербальная беглость” у представительниц женского пола устойчиво выше. Говоря

попросту – у девочек язык немного лучше подвешен, и они бойчее говорят» (там же, 150).

В основе тайного языка девочек лежит родной, кодируемый с помощью прибавления к каждому слогу произносимого слова одного и того же слога. [М. В. Осорина приводит пример, в котором в качестве кода используется слог «пи». Фраза «пимапима пипопишла пив пимапигапизин» будет означать «мама пошла в магазин» (там же, 149)].

Мальчики чаще всего не поднимаются до такой языковой виртуозности, требующей упорной тренировки, ограничиваясь замной речью – имитацией речи, не имеющей смысла, который компенсируется выразительной (и, к сожалению, понятной для непосвященных окружающих) интонацией.

Ребенок не только осваивает мир, одновременно он его конструирует.

«Поэтому мир, каким видел его конкретный человек в детстве, – принципиально неповторим и невозпроизводим. В этом кроется грустная причина того, почему, став взрослым и вернувшись в места своего детства, человек чувствует, что все – не то, даже если внешне все осталось как было» (там же, 110).

Мир детства, поддерживаемый и оформляемый детской субкультурой, очень устойчив, беспроblemно воспроизводим каждым ребячьим поколением и относительно автономен. Мир ребенка становится еще более богатым и ярким, если ему посчастливится найти во взрослом терпеливого и внимательного помощника, сопро-вождающего и поддерживающего его в путешествии по детству.

## Историк и произведение искусства



Интерес историков к визуальным свидетельствам стар и нов одновременно. Еще в XVIII веке, прежде всего, в немецкой ученой среде широко бытовало представление о том, что искусство лучше, чем спекулятивный и научный разум, открывает сокрытые истины, а изобразительные источники – содержательно богаче книг. Иоганн Готфрид Гердер (1744–1803) был, например, убежден, что «подлинное» искусство вырастает из национальной жизни. Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770–1831) подвел под эту идею систематические основы, рассматривая искусство как одно из мест воплощения мирового духа. О вере в богатство содержания и силу воздействия изображений косвенно свидетельствует яростная борьба революционеров с визуальной памятью о монархических порядках во Франции конца XVIII столетия.

Представления Гегеля об искусстве стали базовыми для историков, которые в XIX веке начали последовательно использо-

вать произведения искусства как исторический источник и научный аргумент. В первую очередь, речь идет об авторах новаторской концепции Ренессанса Жюле Мишле (1798–1874) и Якобе Буркхардте (1818–1897), которые исходили из тезиса об обусловленности искусства религией, развитием государства и состоянием общества. Вместе с тем базельский профессор Я. Буркхардт разделял характерное для Нового времени восприятие искусства как явления, не зависящего напрямую от исторического процесса, как божественного и недоступного человеческому пониманию феномена. Вероятно, этим объясняется то обстоятельство, что он в «Культуре Ренессанса» опирался исключительно на письменные источники.

Поздние работы Я. Буркхардта и иконография Антона Шпрингера (1825–1891) – первого профессора по истории искусства средневековья и Нового времени в немецком университете и основателя истории искусства как научной дисциплины – заложили методические основы истории культуры. Историки культуры заинтересовались проблемой социального окружения искусства, впервые поставленной искусствоведами. Но если последние пытались выяснить, что же социальные условия создания художественного произведения могут рассказать о нем, то историки культуры подошли к проблеме с прямо противоположной стороны: «Историческое исследование развернет такие подходы и спросит, что можно узнать из произведения искусства о его мире» (Roesck B., 29).

Так, лейпцигский профессор Карл Лампрехт (1856–1915) в конце XIX века предпринял серьезную попытку рассматривать искусство как отражение универсальной истории. Однако и для него, как и для других историков искусства и культуры в XIX веке, категории «дух времени» и «коллективная душа» представлялись адекватным отражением реальности и приемлемым исследовательским инструментом. Поражение К. Лампрехта в споре рубежа XIX–XX веков о приоритетах современной историографии (имеется в виду его тезис о первостепенной важности «истории народа» как противовеса доминировавшей тогда «истории государства») надолго дискредитировало подходы культурной истории.

Возможно, этим объясняется то обстоятельство, что голландский историк первой половины XX столетия Йохан Хейзинга (1872–1945), еще в начале прошлого века активно размышлявший о значении визуального в исторической науке, был открыт историками с полувековым опозданием. Он был убежден, что историк, подобно художнику, занимается производством образов, а зримый образ позволяет увидеть прошлое «яснее, острее и ярче, одним словом – историчнее» (цит. по: там же, 41).

Начало «визуального поворота» (У. Митчелл) в международной историографии, в первую очередь англо-американской, на-

метилось в 60–70-х годах XX века, но первые серьезные плоды он принес лишь в 80–90-х. Так, по наблюдениям Питера Берка, в журнале «Past and Present» («Прошлое и настоящее»), одном из наиболее авторитетных в интернациональном масштабе периодических изданий, с 1952 по 1975 год не появилось ни одной иллюстрированной статьи, до конца 70-х их было опубликовано две, в 80-х годах – четырнадцать. Историческая книжная серия «Picturing History» («Изображая историю») была основана в Англии, на родине «визуального поворота», лишь в 1995 году.

Аналогичная тенденция, хотя с отставанием и менее выражено, наблюдается ныне и в России. Интерес гуманитариев к изображению как исследовательскому источнику растет, хотя в обращении с визуальными свидетельствами социологи, этнологи и искусствоведы чувствуют себя значительно увереннее, чем историки. Появившиеся в последние годы издательские серии «Очерки визуального», «Кабинет визуальной антропологии», интернет-сайт [www.viskult.ru](http://www.viskult.ru), специально посвященный визуальным культурным исследованиям, являются доменом социологов, антропологов, культурологов.

«Визуальная антропология, – пишут издатели сборника «Визуальная антропология: новые взгляды на социальную реальность» (Саратов, 2007), – развивающаяся сейчас в рамках отечественной этнографической традиции, ставит своей задачей изучение аудиовизуального наследия мировой и отечественной этнографии, фиксацию современной жизни народов, исследование визуальных форм культур и создание аудиовизуальных архивов. Интересными открытиями и результатами кропотливой и большой работы известна Российская ассоциация визуальной антропологии, в состав которой входят: Центр визуальной антропологии Новосибирского государственного университета, Лаборатория аудиовизуальной антропологии Института этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, Этнографическое бюро (Екатеринбург – Тобольск); кроме того, это направление визуальной антропологии представляют исследователи Московского государственного университета, Пермского государственного университета, ряда других вузов и научных институтов» (Круткин В., Романов П., Ярская-Смирнова Е., 7).

Российские историки подобной институциональной сетью для проведения визуальных исследований похвастаться пока не могут. Крупнейшие российские исторические журналы «Вопросы истории» и «Отечественная история» по-прежнему не публикуют иллюстрированных статей. Журнал «Историк и художник», целенаправленно посвященный междисциплинарному освоению образов, в том числе изображенных, как исторических источников, начал издаваться лишь в 2004 году.

Наряду с общенаучными и культурными препятствиями и предрассудками, в течение долгого времени парализовавшими интенсивную работу историков с визуальными источниками, следует отметить причину длительного равнодушия к ним, рожденную внутри самого историографического цеха. Историки, исследующие Новое время и современность (а это абсолютное большинство историографов), в первую очередь интересовались и продолжают интересоваться историей государства – историей, которая, как представляется, достаточно полно и точно документирована в письменных источниках. В конце концов, работа с текстами, благодаря отточенности инструментария их критики, освоена историописанием гораздо основательнее, чем анализ изображений.

Не случайно именно антропологически ориентированные историки, изучающие повседневность, опыт, вкусы, менталитет – словом, те, что сместили исследовательские приоритеты с событий на состояния, с очевидных изменений на мало заметное и медленно изменяющееся, оказались наиболее активными и последовательными поборниками использования изображений как исторического источника.

Относительная молодость современной «визуальной историографии» позволяет кратко суммировать ее опыт, опираясь на опубликованные в последние годы обобщающие книги английского историка культуры Питера Берка «Угол зрения (англ. Eyewitnessing, дословно «очевидение» – И. Н.): Использование образов как исторических источников» (2001) и монографии цюрихского профессора по истории раннего Нового времени Бернда Река «Историческое око. Произведения искусства как свидетели своего времени. От Ренессанса до Революции» (2004).

П. Берк, имеющий богатый опыт работы с визуальными свидетельствами, сообщает историкам три вести – две хороших и одну плохую – о возможностях использовать произведения искусства как источник:

- «1. Хорошая новость для историков состоит в том, что искусство может сообщать об аспектах социальной реальности, которые игнорируются текстами, по крайней мере, кое-где и кое-когда...
2. Плохая новость – то, что изобразительное искусство часто вовсе не так реалистично, как кажется, и скорее искажает, чем отражает социальную действительность, так что историки, не учитывающие многообразие намерений художников или фотографов (не говоря уже о заказчиках и клиентах), могут быть введены в большое заблуждение.
3. Но и процесс искажения как таковой – снова хорошая новость – свидетельствует о феноменах, которые многие историки хотят изучать: менталитетах, идеологиях, идентичностях. Материализованный образ или непосредственное изображение – хорошее свидетель-

СТВО О МЕНТАЛЬНОМ ИЛИ МЕТАФОРИЧЕСКОМ “ИМИДЖЕ” СЕБЯ ИЛИ ДРУГИХ» (BURKE P., 34).

К аналогичному выводу приходит и Б. Рек, констатируя, что ложь визуальных объектов может быть интересной. Среда, в которой создается произведение искусства – это «фильтр, улавливающий влияния широких пространственных и временных контекстов, прежде чем они сами начнут действовать в произведении и, быть может, станут узнаваемыми» (Roesck B., 102). При этом Б. Рек подчеркивает необходимость различать, как и в письменных источниках, между намеренно сообщенными художником сведениями (в западной классификации источников этот род информации именуется «традицией») и информацией попутной, не преднамеренной («остатком»). «Искусство сообщает непреднамеренно значительно больше, чем специально; и то, что оно “намеренно” рассказывает об исторических событиях, обычно менее важно, чем то, что оно сообщает попутно» (там же).

Эту точку зрения разделяет П. Берк, отдавая предпочтение сведениям, непреднамеренно воспроизведенным на изображении: «При суждении об изображениях, как и во многих других случаях, свидетельства особенно достоверны тогда, когда они рассказывают нам о чем-то, о чем они – в данном случае художники – вовсе и не знают, что они об этом знают» (Burke P., 36).

Оба историка особо касаются источниковой ценности портрета. По мнению П. Берка, портретное изображение представляет собой документ «самопрезентации»:

«ПОРТРЕТЫ, ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ, ЖИВОПИСНЫЕ ЛИ, ДОКУМЕНТИРУЮТ НЕ СТОЛЬКО СОЦИАЛЬНУЮ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ, СКОЛЬКО СОЦИАЛЬНЫЕ ИЛЛЮЗИИ, НЕ НОРМАЛЬНУЮ ЖИЗНЬ, А СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ. ИМЕННО ПОЭТОМУ ДЛЯ КАЖДОГО, КТО ИНТЕРЕСУЕТСЯ ИСТОРИЕЙ ИЗМЕНЧИВЫХ НАДЕЖД, ЦЕННОСТЕЙ ИЛИ МЕНТАЛИТЕТОВ, ОНИ ЯВЛЯЮТСЯ БЕСЦЕННЫМИ СВИДЕТЕЛЬСТВАМИ» (ТАМ ЖЕ, 31).

Б. Рек в появлении портрета как одного из загадочных явлений в истории искусства видит след желания аристократии и буржуазии, в руках которых после аграрного кризиса и пандемии чумы XIV века вдруг оказались огромные наследства, запечатлеть в зрительных образах свой новый статус. Рек считает безнадежно устаревшими представления о портрете как окне в душу и источнике для определения характера. Портретное изображение, напротив, имеет чрезвычайную источниковую важность для выявления представлений художника.

«ИСТОЧНИКОВАЯ ЦЕННОСТЬ ПОРТРЕТОВ В БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ СОСТОИТ В ТОМ, ЧТО ОНИ КОЕ-ЧТО СООБЩАЮТ ПО ПОВОДУ ТОГО, КАК ХУДОЖНИКИ СМОТРЕЛИ НА СВОИХ СОВРЕМЕННИКОВ; КАК ОНИ ИНТЕРПРЕТИРОВАЛИ СЕБЯ И ЧТО ОНИ ВООБЩЕ ДЕЛАЛИ ПОПЫТКИ ТАКИХ САМОТОЛКОВАНИЙ.

Прежде всего, в этом состоит находка, очень значительная для истории менталитета. Портрет может быть источником по дискурсивным практикам, технологиям власти или религиозному поведению, по определенному габитусу. Лишь изредка он позволяет заглянуть в “Я”, но, показывая наброски “себя”, он – первоклассный эго-документ, даже если при этом художник пользуется формулами, традиционными или рекомендованными литературой по теории искусства» (Roesck B., 111).

И П. Берк, и Б. Рек видят большие перспективы, открывающиеся перед исторической антропологией и историей культуры в случае использования изображений как исторических источников. Анализ визуальных свидетельств может помочь решить ключевую задачу этих подходов современной историографии – взглянуть на человека «изнутри», понять «невидимые предпосылки видимого поведения» (Nipperdey T., 287), расшифровать неосознанные ценности, интерпретационные и поведенческие образцы исторических актеров. Наиболее многообещающим в ближайшие годы П. Берк считает исследование зафиксированных в письменных источниках реакции современников на изображения, позволяющие реконструировать то, что историк искусства Майкл Баксендолл назвал «взглядом эпохи» (period eye) – визуальную культуру конкретного общества в конкретное время.

Оба автора видное место уделяют анализу иконографической концепции Э. Панофски. Они критикуют ее с одних и тех же позиций – прежде всего, за равнодушие к историко-социальному контексту – и приходят к выводу о неисчерпанной актуальности поставленных Панофски задач. П. Берк делает заключение, что психоаналитические и структуралистские подходы к толкованию изображений не являются действительной альтернативой методу Панофски, поскольку «вполне возможно создать синтез элементов иконографического анализа и альтернативных элементов» (Burke P., 211).


Б. Рек, отмечая близость исторической антропологии к постановке вопросов иконографии и структурализма, видит вместе с тем существенные отличия современного подхода к анализу изображений от иконографического. Он должен в большей степени учитывать социальное обрамление произведения искусства – художников, заказчиков, меценатов, критиков, а также региональные особенности художественных стилей. Современный подход к анализу изображений не должен заниматься поиском «базовых представлений» или «духа времени»: «Намерение – скромнее, но реализовать его все еще довольно трудно, а именно – использовать произведения искусства как источниковую базу, наряду с другими источниками, для поиска следов менталитетов и эмоций прошлого, социального поведения и политических стратегий, исчезнувших жизненных миров...» (Roesck B., 161).



Обобщающие работы П. Берка и Б. Река, позиции которых совпадают по многим принципиальным вопросам, отражают две возможные исследовательские стратегии. Берк представляет позицию, в большей степени сориентированную на анализ самого изображения (возможно, впрочем, что такое ощущение возникает из-за построения его книги, в которой вопрос об историческом контексте изображения ставится лишь в последней главе), Б. Рек – на социальные условия производства искусства, общественную среду, в которой возникает художественное произведение. П. Берк значительно больше внимания, чем Б. Рек, уделяет методам «чистого», бесконтекстного анализа изображений – психоанализу и структурализму. Вслед за Альбертом Лордом он пользуется инструментом анализа изображения, весьма близким к предложениям критикуемого им Э. Панофски, различая между «формулами» и «темами». К первым относятся, в терминологии автора, «мелкомасштабные схемы», или «стандартные» фигуры; ко вторым – «крупномасштабные схемы», или «стандартные» сцены.

Авторы обобщающих книг об изображениях как историческом источнике приходят, тем не менее, к общему заключению. Визуальное свидетельство должно рассматриваться в историческом контексте. Оно не позволяет непосредственно взглянуть на социальную реальность, но опосредованно ведет к пониманию того, как человек другой эпохи или культуры видел себя и окружающих. Доступ ко «взгляду эпохи» открывается историку только в том случае, если он владеет языком изображений и достаточными знаниями о социальной среде, в которой они создаются и бытуют.

### «Спонтанные мысли» и новый рывок

 После пяти недель потерь и непрерывных расстройств настроение пошло в гору. Впрочем, начало 2006 года было отмечено не только утратами. 8 января из Калининграда от Александра Сологубова пришло письмо-эссе, порожденное рассматриванием моего детского фото. Во время нашей последней встречи в Германии я просил Сашу поделиться своими соображениями профессионала об этой фотографии. И вот пришел ответ, который я привожу полностью.

#### «Спонтанные мысли, возникшие при рассматривании фотографии

##### **БЫТОВЫЕ ФОТОАТЕЛЬЕ КАК LOCI COMMUNES**

Люди приходят и уходят, а вещи остаются. Как посетитель, ты пользуешься коммунальными вещами: в бане – тазиками-про-

стынями, в общепите – тарелками-ложками, в больнице тебя режут-пилят несменным (“дежурным”) инструментом.

Вот и фотоателье (в советское время “бытовуха”). Скрипящий и стоптанный паркетный пол, фон, декорации, камеры, софиты.

Оборудование и люди совершают очень простые движения. Камера в стандартном ателье движется очень просто: отъезд – накат. Кресла двигают ближе – дальше от фона. Люди встают и садятся.

Кресла, интерьер, камера – несменное оборудование. Вообще же, в ателье сменным, проточным материалом являются – люди! Камере все равно, что она снимает. Креслу все равно, кто на нем сидит.

Как-то раз с другом поехал в другой город по объявлению: фотограф распродавал свое оборудование. “Поработал фотоаппарат... Жмуриков им шелкал”, – сказал бывший работник “бытовухи”. Я не понял. “Трупы фотографировал”, – пояснил тот.

Хотя нет! Люди также относятся к оборудованию каждого фотоателье. Причем, оборудованию обязательному, без которого ни одно ателье не имеет смысла. Только люди суть оборудование сменное, “одноразовое”.

#### **ФОТОГРАФИЯ КАК ВРЕМЕННОЙ ОБМАН**

Кто это? – спросила подбежавшая младшая дочь (4 года). Машинально я ответил: “дяденька”, поскольку думал о И. В. Нарском. “Нет!” “А кто же это?” “Мальчик!” М-да... Кого же, собственно, я вижу на этом снимке?.. И какая между этими двумя связь...©

#### **ФОТОГРАФИЧЕСКАЯ САРАНЧА**

Фотограф сегодня обречен на массовку. Как бы талантлив, профессионален и небезразличен он ни был. Исключением могут быть, разве только, фотографии одного человека. Например, сумасшедшие, всю жизнь фотографирующие только самих себя, или фотографии придворные, объект которых – высочайшая особа, и только.

Возникает своеобразная взаимоигра, диалектика единственного и множественного. А именно, для ателье фотоснимок – «саранчовая» продукция, массовая, безликая. Для клиента – уникальная, “его” вещь.

#### **НА САХАЛИНЕ. ОХОТСКОЕ**

Встретил двух мальчишек лет десяти. Они поймали несколько рыбин. Я рыбу и мальчишек сфотографировал. “Я понял, Вы – Фотограф Интересных Вещей”.

#### **ФОТОГРАФИЯ И ВРЕМЯ**

Странная игра возникает с течением времени. Глядя на снимки сравнительно недавние, например, на свои собственные дет-

ские снимки, мы пытаемся “раскрутить” историю вещей, запечатленных вместе с нами. Однако многосотлетние и более древние изображения людей вызывают у нас иные намерения. Интерьер, одежды, пища нас не сильно интересуют (если только мы не патологические историки). Лица! Мы всматриваемся в лица, пытаясь через них, “как по телеграфу, получить сигналы из бесконечности” (С. Кьеркегор). Ах, какие же были лица!

А что если бы люди снимались голенькими?! Если убрать все то, что является временным, наносным, традиционным, свойственным только данному времени? Снимок станет неинтересным. Он превратится в изображение, годное только для анатомического атласа.

В детстве начал заниматься фотографией. А она к чудным мыслям располагает. Стоял у ворот родительского дома и воображал. Если я (состояние А1) приду сюда через десять лет (состояние А2), если точно приду, и буду думать о себе тогдашнем (в А1), то смогу ли я (А1) увидеть себя (А2)?

Одинаковые ли чувства испытываешь, глядя на портреты детей и стариков? Детские изображения вызывают грусть, старческие – спокойствие.

#### **О ТЕХНИКЕ ЭТОГО СНИМКА**

Стандартный 9 на 12 снимок. Мягкий свет сделал возможной проработку и в светах, и в тенях. Резкость пришлась на колени. Резкие коленки, с клетчатой текстурой, выпирают из снимка. Лицо на пару десятков сантиметров ушло от резкой границы. Голова падает в область размытости, за которой только нерезкий подлокотник. Что это: ошибка или намерение фотографа?

На фотографии симпатичный мальчик. Умный мальчик. Может быть, даже слишком. ☺

Незлобивый, характерный. Своевольный. Такого ребенка не заставишь, если он не хочет. С ним нужно разговаривать, а не приказывать.

Предполагал ли это фотограф или работал стандартно?

#### **О ЧЕРНО-БЕЛОСТИ ФОТОГРАФИИ**

Налет времени. Черно-белые снимки (у фотографов, работавших на «документалке», черно-белая фотография – «чернуха»). Это прошлое.

Приятель делился: “Черт, на сайте знакомств не могу свои фото разместить! Те, где я еще более-менее ничего выгляжу – черно-белые. А сейчас такие не в моде. Сразу понятно, что ты из прошлого века”.

Поразили фото Прокудина-Горского. Оказывается, прошлое было цветным!

А отец народов, а фюрер?! А война?! Мы привыкли к тому, что они черно-белые. А они тоже цветными были. И доказательства того сохранились!

#### ФОТОГРАФИРОВАНИЕ СЕГОДНЯ

Позирующий народ меня часто упрекает, что долго готовлюсь, прежде чем нажать на спуск. Давай-давай, быстрее-быстрее! Да-а, сегодня фото не то, что вчера...☺»

Сашино эссе заставило меня задуматься. Действительно, фотография допускает любую интерпретацию – все зависит от эрудиции, опыта и настроения наблюдателя. Немного обидно за технический промах фотографа (если это действительно ошибка, а не намерение); немного жаль, что для меня стратегия «спонтанных мыслей» закрыта: мне для элегантного перемещения от одной ассоциации к другой не хватает компетентности в сфере визуальности и свободы от комплекса «патологического историка». Но само по себе ощущение безграничных интерпретационных возможностей «фотографического» проекта обнадеживает.

Яростно бросаюсь в работу. По договоренности с базельскими коллегами Хайко Хауманном, Кармен Шайде и Йорном Хаппелем в начале февраля 2006 года за три дня я подготовил заявку на выделение трехмесячной стипендии в Базеле с мая 2007 года – подписание книги «Фото на память». 23 февраля была, наконец, начата тяжкая работа, запланированная еще на берлинский период, по расшифровке интервью – пока в виде подробнейшего плана записей и выделения наиболее важных фрагментов. К началу апреля будет расшифровано 13 кассет – все интервью до отъезда в Германию весной 2005 года.

Но проект цепко держит меня не только за рабочим столом. Он постоянно напоминает о себе и другими способами. В середине февраля мы купили караоке – жена и дочь давно об этом мечтали. Однажды вечером я наобум выбираю знакомые названия на диске с советской эстрадной музыкой. Среди них попадает популярная в 60-х годах, но забытая песня «Орлята учатся летать». С удовольствием пою ее. Слова вспоминаются сами собой, без подстрочника. Через день перед моим внутренним взором явственно разворачивается следующий эпизод.



...Горький. Лето 1965 года. Дома нет ни Дедушки, ни Бабушки. Шестилетний Мальчик, который боится оставаться дома в одиночестве, сидит в гостиной у соседки Веры Петровны, хлопочущей на кухне. Чем бы заняться? Из радио льется мелодия новой песни Александры Пахмутовой, красивая, энергичная и при том, главное, в миноре – начавший овладевать игрой на фортепиано

Мальчик недолюбливает мажорные мелодии. Мужской голос в радиотрансляции предлагает выучить песню на слова Николая Добро-нравова, медленно, под запись диктует каждое четверостишие. Но Мальчик и так легко запоминает слова. Песня по куплетам, а затем целиком неоднократно повторяется. Каждый раз, когда мелодия развивается по нарастающей, чтобы разрядиться фразой «Орлята учатся летать», Мальчик, забравшийся с ногами на обтянутый черным дерматином диван, над которым в рамке висит репродукция картины И. И. Шишкина «Рожь», в воодушевлении подпрыгивает в такт. От его прыжков вздрагивают мраморные слоники, выстроенные по росту на деревянной резной полочке с белыми, накрахмаленными кружевными салфетками, которая завершает диванную спинку...☺

Проект настигает и во сне.

«7.03. Под утро приснились сырые плюшки с корицей, которые я помогаю оформлять бабушке. Очень реалистично, ощущение теста под ножом, запах сдобы и корицы.

Днем услышал первые такты из увертюры к «Кармен», вспомнил, как уснул в 1965 г. в Оренбурге, на ступенях амфитеатра возле бельэтажа».

Действительно, я чувствую себя исследователем, производящим эксперименты на самом себе. Проблемы памяти и внешних раздражителей, провоцирующих воспоминание, в том числе являющихся в снах – запахов, звуков, изображений, текстов, – обязательно должны найти место в будущей книге.

В последней декаде февраля 2006 года, после празднования в Москве юбилея Олега Митяева, в Челябинск на две недели приехали в гости Урзель и Руди Ворбс, мои давние друзья из Бохума, с которыми я вот уже 15 лет встречаюсь в Германии и Челябинске во время почти каждой своей поездки или их приезда. Дети войны, маленькие, всегда весело-озорные, задорные, всего на полпоколения младше моих родителей, они вызывают у меня восхищение. Я многому хотел бы научиться у них, да так и не смог: неослабевающему позитивному отношению к жизни, доброжелательно-ироничной манере взаимоотношений в семье, неизбытному любопытству к окружающему и спонтанной легкости на подъем.

Переживания последних двух месяцев не прошли даром. 20 февраля, накануне приезда немецких гостей, как назло, началось обострение гастрита. Тем не менее, мы, как всегда, весело и пьяно проводим время, наравне с Надеждой и Борисом Купцыновыми, у которых Ворбсы всегда останавливаются, старательно выполняя напряженную «культурную программу». 9 марта был запланирован ужин у моей бывшей жены Людмилы Нарской. Туда же приехала ее дочь от первого брака. Жанна до сих пор живет с мужем и сыном в заводском общежитии, где я провел одиннадцать лет, с 1984 по 1995 год. Я ушел оттуда с одним чемоданом, оставив любимую дочь, кни-

ги, немногочисленные предметы из Горького. Среди них была бабушкина плетеная сумочка-корзинка с красной дерматиновой крышкой. В ней Н. Я. Хазанова приносила с рынка клубнику. Корзинку я взял на память в марте 1985 года, после похорон Н. Я. Хазановой. Во время ужина у Людмилы я без особой надежды – как-никак прошло десять лет после нашего расставания – спросил у Жанны о судьбе корзинки. «Это которая с письмами?» – уточнила она. Я внутренне напрягся: ого! Какие письма – не помню, хоть убей... Корзинка цела! И я могу ее забрать!

Вечером 13 марта в аэропорту мы распростились с Узрель и Руди. Сергей Мотовилов, мой друг детства из двора на проспекте Ленина, везет домой меня и Нину. Решаем сначала доставить домой дочь, живущую на дальнем конце города. По пути заезжаем к Жанне. Она выносит мне корзинку, такую маленькую по сравнению с той, что запомнилась из детства! В ней – стопка моих писем Н. Я. и Б. Я. Хазановым. Как я мог о них забыть?!

Перед сном в моем дневнике появляется запись: «Можно писать от первого лица!» О пропаже горьковского блокнота-дневника я сожалел, помимо прочего, из прагматических соображений: чтобы писать о себе-ребенке, нужно знать свой детский речевой стиль. А тут – такая удача: письма, написанные самостоятельно, не под диктовку.

20 марта, запершись в туалете (разбор столь интимных документов из собственного отдаленного прошлого требует подчеркнутого уединения), читаю свои послания в Горький и Дзержинск. Их всего 28: 24 письма и четыре открытки. Конверты и даты в большинстве случаев отсутствуют, но по содержанию писем я без труда могу определить время их написания: самое раннее относится к осени 1969 года, последнее – к началу 1983.

Вот первое из них, написанное мной в десятилетнем возрасте, в то время, когда отец собирался на эстраду после ухода из театра. Оно написано на страничке двойного листа в линейку, вырванного из тетради по русскому языку. Верхние две строчки аккуратно обрезаны – вероятно, я допустил опiski в самом начале своего послания. Оно написано чернильной ручкой, почерк почти каллиграфический, крупный, с нажимом и хвостиками соединений, дотянутых до верхней границы строчных букв, как учили в начальной школе. Приведу письмо полностью и без исправлений, чтобы читатель мог получить представление о моей тогдашней манере словесного самовыражения, которую я попытаюсь учесть при изложении «непосредственных» детских воспоминаний.

*«Дорогие мои бабушка и дедушка!*

*Как вы себя чувствуете. Бабушка! Не хандри. И ты дедушка крепись. Я простудился. В дикий холод, рано утром я вышел*

*в одной фурашке, без шарфа. Слег. Вчера приходил врач. На улице нельзя. Сейчас на улице светит солнце, а я сижу на кровати, в квартире. Но что поделоеш. Все чихаю.*

*Бабушка и дедушка! Хотите выздороветь? Приезжайте к нам. Мы будем рады. Поздравляю вас с наступающим праздником. Целую, Игорь.*

*P. S. Привет от папы и мамы. Мама болеет, папа собирается в дорогу».*

Ниже сделана приписка не привыкшей к письму рукой няни – старательно выведенные разнокалиберные неуклюжие буквы: «Барис Яковлевич Нина Яковлевна поздравляю вас спраздником жылаю я вам бальшова здорове вашей жызни целую вас А. С.»

Находка писем сопровождается следующей дневниковой записью:

«20-го с 22 до 23 читал в туалете письма. Сколько деталей, мне не известных (забытых)! Совсем не мой стиль. Писал то, что от меня ожидалось.

Ночью приснился детский сон – двое гонятся за мной по ночному родительскому подъезду...

Потом – встреча с бабушкой – очень реалистично, из 60-х гг., вероятно, в аэропорту – [он] почти на голову ниже меня, очень достоверный. Я целую его в затылок, он улыбается и спокойно говорит, чтобы я поцеловал бабушку. Оборачиваюсь и делаю это».

30 марта, после моего традиционного ежемесячного «аспирантского» семинара, большинство участников которого давно уже «остепенилось», я, рассказывая одной из первых моих студенток и бывшей аспирантке Розе Черепановой о декабрьских и январских потерях, регистрирую про себя, что рассказ об этом дается гораздо легче, почти не вызывает горечи. «Какая прекрасная метафора невозможности вернуться в прошлое», – экзальтированно замечает Роза.

1 апреля 2006 года я отправляюсь в Москву. Предстоят напряженная работа в архивах столицы и Нижнего Новгорода, в Нижегородской областной библиотеке, множество встреч и интервью в Москве, Подмосковье, Дзержинске и Нижнем Новгороде. В день отъезда в квартире родителей ищу детские фотографии из Горького. Они нужны мне, чтобы облегчить интервьюируемым доступ к их собственным воспоминаниям. Несколько фото для меня отложила мама, несколько я обнаружил за два дня до отлета. Но вот фотографии, на которых я изображен с Володей Гречухиным и его московской кузиной Ирой, до сих пор не находились. На этот раз я нашел их без труда. Глянь-ка, судьба перестает сопротивляться моему проекту. Ободренный находками последних недель, вылетаю в столицу.

## Театр



Будни в челябинском дворе казались мне небезопасными. Иное дело – театр. Театр воспринимался как яркий, волнующий праздник. Родители пропадали там с утра до ночи, за исключением понедельника, на утренних и вечерних репетициях, дневных и вечерних спектаклях. В 60-х годах как минимум раз в неделю, в воскресенье, бывал там и я – сначала с мамой, потом с няней.

Сколько помню себя, столько помню и театр. Я представляю себе: Мальчик еще совсем мал, и ему страшно идти через сумрачную, неживую, пустую сцену. Мама несет его на руках. Он старательно силится не смотреть вверх и на задник, но взгляд помимо его воли устремляется туда, где непонятно и страшно. У сцены нет потолка – есть засасывающая черная бездна. А на заднем плане в позе лотоса сидит огромный флегматичный великан – Будда (это была декорация к балету «Шакунтала»).

Всего однажды я ездил с родителями на гастроли – это было летом 1965 года – в Оренбург, зеленый, солнечный и жаркий. Мама приехала за сыном в Горький, и оттуда они летели в Оренбург самолетом. Из этого полета запомнилось: во время снижения Мальчик вопит от восторга: внизу по узенькой дорожке ползет игрушечный грузовик с зеленой кабиной – размером не больше того, что среди игрушек в детском саду.

Многое стоит перед глазами из того гастрольного месяца. Мы жили в съемной квартире. В ней был аквариум, рыбки в котором почему-то регулярно дохли. Каждое утро во дворе раздавался женский голос – или высокий, базарный, бойкий, выкрикивающий скороговоркою: «Молоко! Свежее молоко!», или мягкий, вкрадчивый, с вопросом нараспев: «Кому молока-а-а?» Ароматное желтоватое топленое молоко с коричневой пенкой стало в Оренбурге моим гастрономическим открытием.

На гастролях большая часть времени проводилась в театре, где сложилась своя компания мальчишек – актерских детей: Андрей Постников, Андрей Вяткин, Сергей Силонов, Андрей Воскресенский, Сергей Лавров (трое последних – мои дворовые товарищи). Самым притягательным местом для нас был бутафорский цех: здесь можно было увидеть и даже потрогать удивительные вещи – короны, кубки, мечи, пистолеты, рапиры, кинжалы, плетки. Несколько раз нам даже выдавали оружие «напрокат», и мы играли с ним перед театром, пока об этом не узнало возмущенное начальство.

Однако все игры прекращались и мальчишки со всех ног неслись в зрительный зал, когда начинался второй акт балета «Ромео и Джульетта» – мужской акт, акт боев и смертей. Тибальд (Юрий Сидоров), Меркуцио (Владимир Нарский) и Ромео (Влади-



мир Постников) жили, сражались, умирали и побеждали на сцене всерьез.

Закрывая глаза, вижу и слышу, как наяву: страсти кипят, рапиры звенят, музыка подталкивает к действию, массовка на сцене, зрители в зале и дети в директорской ложе следят за драматичным развитием событий и сопереживают героям, затаив дыхание. Смерть Меркуцио, одетого в черное с белым отложным воротничком (намек на университетское образование) – мужественная, лиричная и ироничная одновременно – каждый раз заставляет Мальчика тихо плакать.

Воинственный Тибальд в вызывающе ярком желто-черном ми-парти умирал животной смертью, смертью хищника, яростно цепляющегося за жизнь. Ничего подобного не было ни в одной другой постановке этого балета, и даже у челябинского балетмейстера, темпераментного свана О. М. Дадишкилиани эта сцена первоначально была задумана иначе. Ю. Сидоров предложил другой вариант перед самой генеральной репетицией: смертельно раненный в горло, Тибальд падал с высокого, в человеческий рост, подиума в глубине сцены, вскакивал и в хищном прыжке вновь падал под каждый удар большого барабана, бьющего в такт сердечному ритму. Это была лучшая роль Сидорова, и он проживал ее, наверное, более интенсивно, чем собственную жизнь. Во время боя он впадал в настоящую ярость и чуть ли не терял контроль над собой. Меркуцио-Нарский не раз возвращался домой после спектакля с царапинами на руках и лице от сидоровской рапиры. Никакие увещания по поводу того, что артист должен держать себя в руках, не помогали.

После окончания второго акта «Ромео и Джульетты» Андрюша Постников говорит Мальчику: «Мой папа сильнее твоего: твой не смог победить Тибальда, а мой смог». Рассудительный Мальчик примиряюще возражает: «Ну и что? Наши папы – друзья, и твой мстит за смерть моего».

Долгое пребывание в театре было для ребенка утомительным. Как-то раз Мальчик уснул в зрительном зале во время оперы «Кармен», и Мама в антракте нашла его безмятежно спящим на ступенях амфитеатра.

Во время долгих репетиций можно было найти себе и другие занятия. Мальчик подолгу наблюдает, как перед театром, в тени, Папа играет с кем-нибудь из пожилых оркестровых музыкантов в шахматы. Впрочем, Мальчика привлекает не игра, а тлеющая в Папиных пальцах болгарская сигарета: когда он забывает о ней, она прогорает наполовину, сохраняя в нетронутom виде хрупкий столбик табачного пепла.

На огромном газоне перед театром – видимо-невидимо крупных разноцветных кузнечиков. Изловчившись, их можно поймать и затем ощущать, как они щекотно упираются в ладонку силь-

ными задними лапками. Однажды – и, возможно, впервые – охотясь на кузнечиков, Мальчик видит на улице траурную процессию: хоронят офицера, утонувшего в Урале, более полноводном в то время. Эта сцена не напугала, но запомнилась.

В выходные дни театральная компания отправляется на заречный пляж. Мальчику нравится наблюдать за жизнью в огромной луже за пляжем, в которой снуют крошечные головастики, постепенно подрастая и превращаясь в лягушек. Он очень огорчается, когда это развлечение само собой заканчивается: однажды, придя на пляж, он застает в почти пересохшей луже плавающую сверху брюшком крупную дохлую лягушку.

Днем, в свободное от работы время, родители водили детей в расположенный неподалеку от театра детский парк. Здесь можно было взять напрокат трехколесный велосипед в виде белой лошадки, запряженной в красную двуколку, или – еще лучше – красный кабриолет с рулем и педалями и при быстрой езде испытать ликование и шекотание в животе от ощущения полета.

Во время оренбургских гастролей в моей жизни произошло яркое событие: я впервые – и единственный раз – вышел на балетную сцену в качестве театрального актера. Роль маленького сына Шакунталы (Г. Борейко) должен был исполнять Андрей Постников, но он наотрез отказался. И вот Мальчик сидит в гримуборной в белой ночной сорочке. Он видит себя в зеркале, к которому справа прикреплено красочное поздравление с премьерой. За его спиной хлопочет парикмахер, закрепляя на его голове черный кудрявый парик. Мальчик с Шакунталой-Борейко в темноте проходит на сцену. Они садятся в задней части сцены, и когда свет прожектора падает на них, они сначала играют, взявшись за руки, а потом Мальчик кладет голову на колени балерины, которая ему очень нравится, и закрывает глаза.

Единственное, что удручало – необходимость ежедневно учить под присмотром Папы букварь, подаренный Бабушкой и Дедушкой. Мальчику нравится это занятие, но Папу часто покидает терпение, и он начинает сердиться.

Правда, вернувшись из Оренбурга в Челябинск, я в первый же день достал малоформатную книжку-«малышку» из набора национальных сказок, подаренных и многократно читанных мне в Горьком. Обнаружилось, что чтение захватывает настолько, что дозваться меня к обеденному столу стало затруднительно.

В Челябинском театре оперы и балета в 60-х годах было что посмотреть. Помимо детских спектаклей, из которых я довольно быстро вырос, мне нравились многочисленные в то время балеты: «Спящая красавица», «Лебединое озеро», «Шурале», «Шакунтала», «Пер Гюнт», «Золушка», «Ромео и Джульетта», «Каменный цветок», «Тщетная предосторожность», «Три мушкетера», «Легенда

о любви», триада одноактных балетов «Шопениана», «Болеро», «Барышня и хулиган».

В советских драматических балетах все было понятно без изложенного в программках либретто. Происходившее на сцене врезалось в память более основательно, чем случавшееся в те годы в реальной жизни. Мальчика завораживает музыка и театральное действие. При первом открытии занавеса каждый раз перехватывает дыхание и сердце начинает колотиться, как сумасшедшее. В наиболее напряженных местах спектаклей, когда солирует Папа – в конце третьего акта в «Лебедином озере», второго акта в «Пер Гюнте» и «Ромео и Джульетте» – ему не удается справиться с комком в горле и подступающими слезами. То же самое происходит и в заключительной сцене «Барышни и хулигана» – в сцене смерти Хулигана с неподражаемым В. Постниковым, красивым, обаятельным, лиричным – по мнению многих, одним из самых талантливых танцовщиков в СССР.

Для театральных детей театр начинался не с вешалки, а с закулисной, служебной части. Свободный доступ в нее даровал ощущение избранности и превосходства. Здесь можно было встретить Короля, Принца, Злого гения, Золушку, Мачеху, Хозяйку Медной горы, Тибальда, Горного короля, Тролля – и все они с тобой здоровались и приветливо заговаривали, дивясь тому, как ты быстро растешь. Только отпрыск актеров мог в антракте спектакля «Теремок» без смущения вмешаться в оживленный разговор детей, которые взволнованно обсуждали вопрос, куда же теперь отправился волк, и авторитетно заявить: «Волк пошел в гримуборную».

В те годы в театре царила особая атмосфера, которую ощущали и дети актеров. Он открылся в 1955 году, хотя здание было построено накануне войны. Первоначально костяк балетной труппы составили выпускники и выпускницы Ленинградского хореографического училища. В середине 60-х годов большинству танцовщиц и танцовщиков было от 20 до 30 лет. Театр был молод, жизнерадостен, профессионален, пронизан духом свободы. Балетмейстеры О. М. Дадишкилиани и Л. В. Воскресенская, педагог-репетитор Т. Б. Хазанова давали актерам возможность соучаствовать в создании своих ролей, домысливать и импровизировать. Увлеченность делом, интеллигентность и широкая эрудиция главного дирижера И. А. Зака и режиссера Н. К. Даутова благотворно влияли на работу и имидж театра.

Исидор Аркадьевич Зак (1909–1998) – интеллигент старой закваски, полиглот, по слухам, читавший за завтраком газеты на английском, немецком и французском языках, сочетал жесткий стиль руководства с большой компетентностью и интересом к делу. Во время создания очередного балета он приходил на каждый постановочный день и объяснял артистам партитуру нота за нотой.

Помню, как однажды мы, дети, шушукались в директорской ложе во время спектакля. Исидор Аркадьевич строго покосился на нас – этого было достаточно, чтобы в ложе наступила гробовая тишина. А в антракте за неподобающее поведение в театре нам досталось и от родителей.

Дружное, насколько это можно представить себе в театральной жизни, ядро балетной компании, известное мне лучше, чем другие актеры – помимо прочего потому, что оно в различном составе часто собиралось за пределами театра, в том числе в нашем доме, – составляли солисты, артисты и руководители балета Галина Борейко, Александр Вдовин и его жена Нелли Степанова, Татьяна Вишневская, Людмила Воскресенская, Александр Гейман, Оттар Дадишкилиани и его жена Клара Малышева, Александр Домрачев, Игорь и Галина Марцинковские, Алла Осадчая и ее муж Владимир Бейлин, Владимир Нарский и Тамара Хазанова, Владимир и Людмила Постниковы, Лариса Ратенко, Ирина Сараметова, Юрий Сидоров, Вячеслав Силонов, Михаил Щукин. В домашних посиделках живо участвовали также молодой научный сотрудник НИИ Герман Вяткин (муж Г. Борейко), офицер-ракетчик Геннадий Вишневский (муж Т. Вишневской), жена В. Силонова Таисия, друзья Постниковых и Нарских Галина и Александр Меркушевы. Ели и пили много, до исчерпания запасов, шумели и дурачились без меры. Дым стоял коромыслом от рискованных шуток и анекдотов, пения и танцев, алкогольных паров и сизых никотиновых облаков. Дети возились неподалеку, ловя каждое слово, чтобы затем пересказать товарищам во дворе, детском саду или в школе, иногда ставя родителей в неловкое положение. Взрослые объединяли с детворой свои нетрезвые усилия для устройства импровизированных представлений с переодеваниями.

Конечно, в театре невозможно обойтись без конкуренции, зависти и интриг, но они, видимо, отравляли балетную жизнь в Челябинске 60-х годов в незначительной мере. Главным возмутителем спокойствия, разносчиком слухов и сплетен, творцом интриг считался артист, а затем инспектор балета В. С. Криворуцкий. Он был старше других балетных на несколько лет. Три его ипостаси существенно осложняли его жизнь в «декорациях» советской повседневности: он был евреем, гомосексуалистом и, в советской терминологии, спекулянтом. Одевался он ярко и экстравагантно, игнорируя унылые советские товары. Он был одинок и, как я понимаю, бескорыстно любил ребятишек, но взрослые, зная о его «порочных наклонностях», бесцеремонно отгоняли его от детей, за что Криворуцкий умел изящно отомстить балетным солистам-мужчинам, особенно третировавшим его...

...Улучив подходящую минуту в день спектакля, Криворуцкий сует Мальчику в руку дефицитную конфету и с заговорщическим видом спрашивает: «Я ведь сегодня самый лучший?»

По пути из театра домой Папа задает сыну вопрос, ожидая, вероятно, похвалу в свой адрес: «Ну, кто тебе сегодня больше всех понравился?» Поскольку сговор уже состоялся, Мальчик простодушно отвечает: «Дядя Володя Криворуцкий», – чем приводит Папу в едва сдерживаемое бешенство...

Папа не выносил Криворуцкого, но на праздниках тот иногда появлялся у нас в гостях. Мама жалела его, и заливные и фаршированные карпы и щучьи головы доставались исключительно ему.

Театральный мир был экзотичен, ярк, весел и раскрепощен. Театр был антитезой не только двору, но и новому миру, вторгшемуся в мою жизнь в середине 60-х годов – школе.

## Родители



Спустя много лет мама, оглядываясь назад, справедливо констатирует, что моя няня Александра Сергеевна Ничивилева, «бабушка Шура», была ангелом-хранителем нашей семьи. В годы моего детства в нашем доме не было той атмосферы предельного взаимопонимания, уважения и любви, которая уютно окутывала меня в Горьком. Наверное, ее трудно создать, когда супруги работают вместе, да еще в таком непростом месте, как театр: рабочие проблемы и конфликты переносятся домой, разряжаясь семейными спорами, обвинениями, обидами. Но за размолвками и напряжением между родителями стояло, на мой взгляд, и другое, значительно более важное обстоятельство. К моменту, когда они начали совместную жизнь, за их плечами было 27 лет совершенно разного опыта.

Тамара Борисовна Хазанова родилась в 1928 году в Белоруссии, во вполне благополучной еврейской семье, в доме успешного, лояльного советского интеллигента в первом поколении. Ее детство в Балахне 30-х годов можно назвать счастливым и беззаботным. Оно было отмечено материальным благополучием, родительской любовью и заботой. Ей, младшему ребенку, многое позволялось. Детские годы были пронизаны атмосферой праздника: импровизированными дворовыми театральными представлениями, домашними елками, аурой художественной самодеятельности, в которой участвовали родители, посещением, вслед за сестрой, хореографического кружка, кипучей активностью в начальных классах школы. На нее, младшую школьницу, репрессии 30-х годов произвели впечатление, скорее всего, не тем, что из дома инженерно-технических работников одна за другой стали исчезать соседские семьи, а тревожным настроением родителей, которые чаще прежнего стали шептаться, закрываясь от детей.

Весной 1940 года, с переездом в Горький, детские проказы и забавы разом оборвались. Старшая сестра Мира осталась в Балахне

оканчивать школьную учебу, а в горьковской школе Тамара впервые столкнулась с новым и непонятым ей явлением: в шестом классе ее впервые обозвали «жидовкой». Растерянная, она пришла домой и спросила у матери, что означает это слово. Та многозначительно переглянулась со старшей дочерью. «Объясни ей», – распорядилась лаконично.

Иначе складывались детские годы Владимира Павловича Нарского, родившегося в 1928 году под Москвой в семье дочери священника Марии Александровны Нарской (1894–1987) и потомственно-го рабочего Павла Павловича Кузовкова (1903–1964). Чтобы представить себе условия, в которых протекало детство и отрочество их сына, необходимо упомянуть три обстоятельства, определившие тяжелое материальное положение семьи Нарских. Во-первых, «нетрудовое» происхождение Марии Александровны делало проблематичным ее трудоустройство. Во-вторых, после рождения первенца она потеряла голос, который «кормил» ее в 20-е годы. В-третьих, в 1934 году в силу драматичного стечения обстоятельств она осталась без кормильца с двумя малыми детьми на руках (в конце 1929 года в семье Нарских родилась дочь Виолетта).

М. А. Нарская – человек одаренный и отмеченный разносторонними интересами – окончила в 1912 году Московское Филаретовское епархиальное училище, позднее училась в Ритмическом институте (ныне Государственный институт театрального искусства) и на юридическом факультете Московского университета. У нее был педагогический дар: в селе Буньково Ногинского уезда, где она начала работать земской учительницей, ей удалось, согласно семейному преданию, отучить матерно ругаться не только детей, но и их родителей; там же она создала детский хор (у всех Нарских были заметные вокальные данные), владевший восьмиголосьем. Крестьяне, сперва считавшие ее занятия с детьми «балушками», постепенно прониклись к ней глубоким уважением. Ее бывшие ученицы, уже будучи старушками, навещали ее незадолго до смерти. М. А. Нарская очень хотела, чтобы они отпели ее.

В земском училище в Носыреве Нарская учила своих младших сестер Ольгу и Анну. В детском клубе в Москве, где она работала в 20-х годах, дети в ней души не чаяли. Проблема, однако, состояла в том, что в советское время ей трудно было устроиться на работу из-за «неправильного» происхождения. В относительно «вольные» 20-е угрозу увольнения еще можно было отвести, обратившись к подруге по епархиальному училищу, которая работала секретаршей у комиссара народного просвещения А. В. Луначарского, или попав на прием к вдове В. И. Ленина: авторитет Н. К. Крупской в советском педагогическом мире был неоспорим. Но в 30-х годах и позже ее происхождение захлопывало перед нею двери советских отделов кадров. К тому

же потеря голоса в конце 20-х годов сделала невозможной прежнюю работу в Государственной хоровой академической капелле и хорах Большого и Малого театров.

В своей жизни М. А. Нарская сменила множество профессий – была школьной учительницей, руководителем детского клуба на Арбате, артисткой хора, – но, тем не менее, смогла выработать лишь двадцать лет трудового стажа. Она получила крошечную пенсию стараниями невестки почти в 70-летнем возрасте. В старости она прирабатывала частными уроками музыки. В 60-х годах, когда меня в конце лета привозили к ней в подмосковный город Железнодорожный, значительную часть самой большой комнаты в ветхом деревянном доме занимали рояль и пианино.

Материальное положение семьи Нарских было шатким. Оно резко ухудшилось в середине 30-х годов в связи с вынужденным бегством П. П. Кузовкова из Москвы, а затем его разводом с М. А. Нарской.

Они познакомились в середине 20-х годов, кажется, в доме отдыха. Помимо прочего, обоих объединило увлечение вокалом. П. П. Кузовков, взявший фамилию жены, был участником Гражданской войны, мастером на все руки, спортсменом (в середине 20-х годов он был чемпионом Москвы по троеборью), профсоюзным активистом и водителем. (Эта профессия в 20–30-х годах была столь же легендарной и почетной, как в 60-х – профессия космонавта, и допуск к ней сопровождался сопоставимыми медицинскими испытаниями – не случайно П. П. Нарский был в числе всего двух испытуемых из сотни, получивших водительские права шофера первого класса.)

В период расцвета хулиганства в СССР в смутные 20–40-е годы, когда безопасность прохожего в большей степени зависела от его физической натренированности, чем от бдительности стражей порядка, «Пал Палыч» умел постоять за себя и своих спутников. Он никогда не лез в драку первым, но в критических ситуациях проявлял чудеса силы и ловкости. М. А. Нарская часто и с удовольствием рассказывала, как ее муж, валивший противника одним ударом, раскидал восемнадцатиголовую компанию хулиганов. Своих братьев Валентина и Виктора (последний был мастером подраться и, согласно семейному преданию, как-то раз устроил потасовку в вокзальном буфете, орудуя батоном сырокопченой колбасы) он без больших усилий загонял на крышу родительского дома.

Видимо, Павел Павлович считался надежным советским гражданином, если ему в начале 30-х было доверено возить иностранцев. Но в 1934 году, незадолго до убийства С. М. Кирова, случилось событие, больно ударившее по семье Нарских. Если в семье Хазановых о политике предпочитали не говорить, то у Нарских с советской властью не церемонились. Мать М. А. Нарской, Надежда Васильевна Протопопова, отпрыск старинной священнической семьи,

нешадно костерила новый режим, а ее сын Василий в разгар массовых репрессий против Красной Армии распевал популярный в те годы советский марш с измененным текстом:

Если завтра война,  
Слепим пушки из говна  
И пойдем воевать на фашистов.  
На фашистов мы пойдем,  
Всех фашистов перебьем  
И пойдем воевать на японцев.

В преддверии празднования годовщины Октябрьской революции в 1934 году прямолинейный П. П. Нарский возмутился: значительная часть рабочей премии на Трехгорной ткацкой фабрике ушла на банкет для начальства, вследствие чего многие передовики остались без поощрения. Ему возразили, что, между прочим, и в Кремле будет торжественный банкет. «Ну и неправильно это», – ответил он. Вскоре его разыскал старый товарищ, работавший в НКВД: «Пашка, беги!» Павел Павлович на прощание снялся с детьми, Володей и Виолеттой, у профессионального фотографа и уехал в Сибирь, откуда вернулся в 1936 году с новой женой и малолетним ребенком.

В ноябре 1936 года М. А. Нарская с детьми переехала из Москвы, где она занимала комнату в коммунальной квартире на углу Большой Молчановки и Борисоглебского переулка, в Обираловку (Железнодорожный). Началось трудное время: приходилось перебиваться надомной работой, в которой участвовали и дети, а в самых тяжелых ситуациях – просить милостыню. Положение усугублялось Большим террором, захватившим и семью Нарских. По доносу проживавшего в его доме дьякона был арестован и сослан отец П. П. Нарского, Павел Васильевич Кузовков – рабочий, церковный староста и, в прошлом, владелец лавки. Родной дядя М. А. Нарской, бывший священник, семидесятилетний слепец В. А. Нарский был расстрелян в Бутово в марте 1938 года до вынесения приговора, а ее младший брат Василий умер от цинги в лагере на Колыме.

Если Тамара Хазанова с детства мечтала стать балериной, то Владимир Нарский попал в хореографический мир случайно, по совету М. Ф. Нижинской (сводной сестры знаменитого танцовщика В. Ф. Нижинского), руководившей хореографической студией в клубе, которым заведовала М. А. Нарская. Мотивы для того, чтобы отдать мальчика, никогда не видевшего балетов и не мечтавшего о театральной карьере, были самые приземленные: детей нечем было кормить, а учащимся хореографического училища полагался усиленный красноармейский паек. В 1939 году Владимир был принят в Московское государственное хореографическое училище. По иронии судьбы, у него,



в отличие от Тамары, обнаружили выдающиеся данные балетного танцовщика.

Начало войны внесло в жизнь подростков Тамары Хазановой и Владимира Нарского новые, отчасти схожие впечатления и опыт: авианалеты на Горький и грохот недалекого фронта, слышный в Железнодорожном; рост антисемитских настроений в волжском городе, переполненном беженцами из бывшей черты оседлости, и осунувшиеся, удрученные москвичи, которые отворачивались или ругались, когда Володя начинал в общественном транспорте жадно поглощать всухомятку свою скудную трапезу; летняя работа в детском лагере и выпас свиней в совхозе под Горьким и работа в колхозе и в хозяйстве отца под Москвой; вызывающие любопытство колонны немецких военнопленных.

И все же различия, унаследованные от довоенного детства, сохранялись. Жизнь Тамары была защищена от повседневных материальных забот. Она с удовольствием училась в Горьковском государственном хореографическом училище и с упоением выступала на сцене, в том числе импровизированной, в военных госпиталях, за что будет награждена медалью «За доблестный труд»; увлеченно занималась общественной работой в училище и в общеобразовательной школе. Володя учился в хореографическом училище легко, но без увлечения, с пропусками, и выступления в детско-подростковой массовке в Большом театре его не очень захватывали. Нужно было ежедневно заботиться о пропитании («усиленное» питание в училище было платным) и бороться с вечным чувством голода. Сбор грибов на продажу и впрок, помощь по хозяйству отцу, забиравшему детей от первого брака, Володю и Виолетту, к себе в самое голодное время, продажа плодов леса на московском рынке – исподтишка, пока не увидит милиционер, заготовка овощей, сена и дров – эти и подобные проблемы выживания оставались на первом плане и для него, и для не очень практичной матери, и для младшей сестры, которую по знакомству устроили на обточку снарядов на военном заводе.

В 1946 году окончила хореографическое училище и общеобразовательную школу Тамара, в 1948-м, с опозданием на год из-за фурункулеза, спутника хронического недоедания – Владимир. Т. Хазанова предприняла неудачную попытку поступить в столичный ГИТИС на балетмейстерское отделение – карьера балерины была ей заказана. Пластичная и выразительная, с цепкой зрительной и музыкальной памятью, дисциплинированная и невероятно трудоспособная, она унаследовала от матери слишком пышные для балета формы.

В 1948 году для обоих началась жизнь вне дома. Безденежье компенсировалось молодостью и любопытством к жизни. Тамаре Хазановой благодаря связям жены дяди, Т. В. Шереметьевой, разрешили учиться экстерном на отделении педагогов хореографии в Ленин-

градской государственной консерватории. Там она жадно училась и с головой ушла в общественную работу – организацию шефских концертов и руководство комсомольской организацией. Владимир Нарский вместе с несколькими сокурсниками оказался в почти полностью разрушенном во время войны Сталино (Донецке). Оперный театр, в который он был направлен, оставался одним из немногих уцелевших зданий. Невыплата в течение семи месяцев зарплаты молодому пополнению и жизнь в переоборудованном, неотопливаемом туалете не показали В. Нарскому, закаленному материально неустрашенным детством и отрочеством, чем-то необычным.

В самом начале 50-х годов оба пережили экстраординарные ситуации. В декабре 1950 года, когда антисемитизм в стране ощути-мо крепчал, Тамаре подкинули в тумбочку чужое трико для занятий и обвинили в краже. В феврале – марте 1951 года, накануне выпуска из консерватории, эта история достигла апогея. Т. Б. Нарская до сих пор с содроганием вспоминает открытое партсобрание, огромный ревуший от ярости зал, чужих педагогов, выступающих с обличительными речами, решение исключить ее из кандидатов в члены партии. Она оказалась в полной изоляции. На заседании Октябрьского райкома КПСС случилось чудо – за нее вступился консерваторский преподаватель марксизма-ленинизма, в результате чего было решено ограничиться выговором.

Тем не менее, диплом с отличием об окончании консерватории ей выдали не торжественно и прилюдно, а мимоходом, в канцелярии. Т. Б. Хазанова, последняя выпускница легендарной балерины и выдающегося педагога А. Я. Вагановой, умершей в ноябре 1951 года, не была включена в книгу ее учеников, созданную уже после смерти знаменитого хореографа (на этом основании ее попытаются уличить во лжи при поступлении в воронежский театр).

Т. Б. Хазанова получила направление на работу в Пермь, но по настоянию своего бывшего горьковского учителя, балетмейстера М. Д. Цейтлина, который в то время работал в Сталино, уехала к нему. Однако Цейтлина она там не застала – он уволился накануне ее приезда. Не застала она в театре и В. П. Нарского.

На рубеже 40-х – 50-х годов на срочной службе в советской армии удерживалось еще значительное количество фронтовиков. В связи с их растущим ропотом был объявлен «сталинский спецнабор», под который попадали и молодые специалисты с высшим образованием. В Нарскому и его друзьям из театра в Сталино призыва в армию, вероятно, можно было бы избежать. О царившем в то время произволе при призыве на воинскую службу свидетельствует тот факт, что московского сокурсника и ближайшего друга Владимира, Игоря Кузнецова, ежемесячно восемь раз призывали и отпускали по ходатайству руководства театра как незаменимого

работника. Причиной того, что он угодил в армию, стало вмешательство жены директора театра. Она тщетно домогалась внимания Игоря и приложила немалые усилия, чтобы отомстить таким образом «строптивому» молодому человеку. В создавшейся ситуации не было оснований для того, чтобы не забрать «под гребенку» и других не служивших ранее балетных подходящего возраста. Так Владимир Нарский оказался в армии – сначала на Украине, затем в Польше. Ушедшие с ним из театра и некоторое время, в месяцы учебы в сержантской школе, служившие с ним в одном взводе И. В. Кузнецов и Н. С. Маркарьянц и поныне – его самые близкие друзья.

Служба в армии растянулась для В. Нарского на долгие три с половиной года (с 15 марта 1950-го по 16 ноября 1953-го), губительные для классического танцовщика. В те времена год призыва на воинскую службу не засчитывался, и в случае Владимира срок его пребывания в армии официально начался с 1 января 1951 года. Он мог бы, правда, демобилизоваться годом раньше, если бы написал заявление о направлении его в ГИТИС, об учебе в котором подумывал, войдя в армию во вкус балетмейстерской работы. Но он, по его собственному выражению, «сдрейфил» возвращаться в Москву с перспективной семьей на шею нуждающейся матери.

В армии Владимир официально заведовал фотографией при офицерском клубе, а затем был писарем в Челябинской танковой части (так и подмывает усмотреть в этом знак судьбы). Но фактической его работой, сперва навязанной приказом начальства, а затем серьезно увлекшей его, стала организация художественной самодеятельности. Настоящим его успехом было создание во время службы в Польше танцевального ансамбля – самого большого в его практике. В него входило около тридцати человек, сначала – только мужчины, затем появились четыре женщины из обслуживающего персонала: прачки и официантки из офицерской столовой. Других женщин в местах расположения воинских частей не было: при Сталине офицеры, за исключением генералов, обязаны были жить отдельно от семей. Никто из участников ансамбля раньше не танцевал, за исключением одного чечеточника с воровским прошлым. Увлеченность и настойчивость Владимира, выучка и балетмейстерская фантазия (плюс забота начальства, освободившего членов танцевального коллектива от штатных обязанностей во имя ежедневных репетиций) принесли очевидные плоды, в том числе первое место на конкурсе художественной самодеятельности в Белорусском военном округе.

Демобилизовавшись поздней осенью 1953 года, Владимир понял, что физические качества, необходимые для работы в балете, им утрачены. Его бывший педагог из хореографического училища М. М. Каверинский разрешил ему посещать класс, а затем, когда В. Нарский с отчаяния решил бросить экзерсисы, настоял на продол-

жении тренировок. После семи месяцев тяжелого труда по восстановлению физической формы и года выступлений в минском балете он в августе 1955 года вернулся в театр, из которого был призван на армейскую службу.

А между тем Тамара Хазанова неумолимо работала в театре в Сталино – успешно в профессиональном плане, но тяжело в человеческом. Женская часть труппы не приняла энергичного и требовательного постановщика и педагога-репетитора. Антипатия была взаимной: Тамара не жаловала местных танцовщиц, которые, как она знала, во время оккупации обслуживали немецкое офицерское кабаре. Неприязнь к ней еще более возросла, когда в театре появился молодой, красивый, перспективный и холостой Владимир Нарский, который стал оказывать Тамаре недвусмысленные знаки внимания.

Так они встретились – двадцатисемилетние, по советским и балетным меркам не такие уж молодые люди. За плечами у обоих был разный и отчасти травматический опыт, в том числе несчастные любовные увлечения, что впоследствии в течение многих лет будет основанием для недоверия, ревности и семейных неурядиц. С ноября 1955 года они жили вместе – бедно, в походных условиях, в окружении недоброжелательства и интриг.

Реализовать желание покинуть Сталино удалось не без труда. Их не приняли на работу ни в Воронеже, ни в Горьком, и Нарские воспользовались приглашением в Куйбышевский театр оперы и балета. В 1956 году они переехали. Следующее десятилетие стало для них творчески наиболее плодотворным в театральной сфере. Т. Б. Хазанова (под этой фамилией ее знали в театре) превратилась в опытного педагога-репетитора и постановщика с непререкаемым авторитетом; В. П. Нарский вырос в ведущего солиста балета с богатым и разнообразным репертуаром.

В мае 1957 года у них родилась дочь Марина, через девять месяцев умершая от полученного в поликлинике заражения крови, а в январе 1959-го появился сын. Скорее всего, если бы не смерть старшей сестры, ни меня, ни этой книги не было бы.

Хотя театральная карьера Нарских складывалась успешно, их быт оставался неустроенным. Они жили в коммунальной квартире без надежды получить в обозримом будущем отдельное жилье. С продовольственным снабжением в городе обстояло из рук вон плохо, так что даже раздобыть молока для маленького ребенка было проблематично.

В 1959 году В. П. Нарский уехал «на разведку» в Челябинск. Труппа ему понравилась, челябинские магазины после Куйбышева показались изобильными, стала вырисовываться возможность решить «жилищный вопрос». В 1960 году он вернулся в Куйбышев и, еще раз взвесив все «за» и «против», ранней весной 1961 года вывез семью в Челябинск.

Быт вскоре наладился, работа в театре была интенсивной и захватывающе интересной. В качестве апогея театрального успеха можно по праву назвать гастроли челябинцев в Москве летом 1966 года. После первых же спектаклей билеты оказались раскуплены. На Пушкинской улице (Большой Дмитровке) за несколько кварталов до театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, особенно в дни показа «Ромео и Джульетты», желающие попасть в театр спрашивали у прохожих «лишний билетик». На заключительном спектакле после второго акта «Ромео и Джульетты» зал вызывал танцовщиков одиннадцать раз, семь минут не опускался занавес.

По результатам московских гастролей Т. Б. Хазанова была отмечена знаком Министерства культуры СССР «За отличную работу», солисты балета получили звания заслуженных артистов РСФСР – все, за исключением В. П. Нарского, демонстративно отказавшегося от награды. Директор театра Л. М. Троицкий был в бешенстве. «Ты не советский человек!» – кричал он. Вскоре между Владимиром и его младшей сестрой состоялся диалог, объясняющий его «странное» поведение:

- Знаешь, я отказался от звания.
- Ну и дурак!
- Так за него же ничего не платят...
- Как так?
- Так.
- Ну и молодец. А то бы всю жизнь считал себя дураком.

Я хорошо помню родителей в театре. Папа, красивый, прекрасно сложенный, на сцене казался гораздо выше своих скромных 170 сантиметров. Он был менее лиричен, чем В. М. Постников, и ему лучше всего удавались характерные партии. Сцена смерти Меркуцио заставляла переживать не только зрителей, но и массовку. Депотичного дервиша, жреца и колдуна Дурваса в балете «Шакунтала» (кстати, грим и костюм Нарский придумал себе сам) актрисы на сцене панически боялись, а колдовские манипуляции Незнакомца в «Легенде о любви» – огромного, атлетического и почти нагого – заставляли поеживаться от ужаса всех зрителей.

Мама запомнилась в репетиционном зале – маленькая на фоне танцовщиков, стремительная, властная, легко перекрывающая голосом звуки рояля и ударяющая перстнем с рубином по зеркальной стене, прерывая неудачно выполненные хореографические комбинации или балетные сцены.

Сохранилось мое школьное сочинение «Моя мама», написанное к 8 марта 1968 года. Разглядываю детские, старательно выведенные строчки, писанные перьевой ручкой: «Я очень люблю маму. Она добрая, веселая, справедливая ко всем. Я горжусь мамой и хочу во всех делах быть на нее похож». Невзирая на пионерскую лексику,

это правда – в детстве я был к ней очень привязан и скучал по ней: из-за непомерной нагрузки она мало бывала дома.

Папа проводил со мной гораздо больше времени: чтение перед сном, музыкальные занятия, рисование, помощь в выполнении школьных заданий – это была его епархия. Но его педагогические усилия блокировались нетерпеливым и взрывным характером. Он бывал со мною крут, и родители мамы после поездки в Челябинск долго не могли прийти в себя от его сурового отношения ко мне. Он научил меня худо-бедно рисовать, кататься на велосипеде, стоять на лыжах и коньках, но не смог привить любви к шахматам и пробудить интерес к спорту. Надеюсь, я его не очень разочаровал.

Вместе с 60-ми годами закончилась театральная карьера Нарских. Папа, у которого прогрессировали отложение солей и деформация тазобедренных суставов, в 1969-м покинул театр и около года работал в Оренбургской филармонии, повысив свое пенсионное обеспечение с 75 до максимального для гражданского служащего размера – 120 рублей. Мама в 1970 году перешла на работу в институт культуры, совмещая ее до 1983-го с должностью балетного педагога-репетитора. Ее уход из театра в значительной степени был продиктован ревностью супруга, не желавшего, чтобы она ездила на гастроли без него. С 1972 по 1984 год она заведовала кафедрой хореографии. Правда, работа в институте культуры в те годы протекала непросто: в отличие от театра антисемитские настроения проявлялись там недвусмысленным образом. В середине 80-х она вторично пережила ситуацию 35-летней давности: навет, которому в свете негласных и неофициальных московских установок дало ход послушное начальство, переполненный актовый зал, предательская отстраненность ближайших коллег, поддержка с неожиданной стороны, от преподавателя отделения народных инструментов. (Тогда, на заре перестройки, скорее всего, не без поддержки высших партийных кругов, вновь была предпринята краткосрочная попытка разыграть антиеврейскую карту, объяснив «неудобные» страницы советской истории национальной принадлежностью руководства большевистской партии. Этому были посвящены кассеты с лекциями из новосибирского Академгородка, на эту тему открыто вещали лекторы общества «Знание», вызывая вздох облегчения у доверчивой аудитории: «Надо же, теперь все ясно...»)

В 70-х годах, после выхода на пенсию, папа работал в институте культуры и в художественной самодеятельности, что становилось все труднее из-за профессионального заболевания. Вот уже много лет он проводит время преимущественно дома – занимается домашним хозяйством, музицирует, читает, следит за спортивными и политическими событиями, ругает политиков и пишет стихи, от которых – он это знает – я не в восторге.

Профессор-мама до сих пор преподает классическую хореографию. У нее напряженная жизнь, она и сейчас, к огорчению папы, мало бывает дома. Стремительной походкой, с гордой осанкой, мама ежедневно направляется на работу, в академию культуры и искусств.

## Коммуникация поколений

**7** Мир ребенка становится еще более богатым и ярким, если ему посчастливится найти во взрослом терпеливого и внимательно-го помощника, сопровождающего и поддерживающего его в путешествии по детству.

Человек, согласно социологии знания, живет в социально сконструированной реальности. Он воспринимает действительность, ориентируется, реагирует, ведет себя на основе моделей восприятия и поведения – клише, мифов, образов, предрассудков, объясняющих, упрощающих и упорядочивающих действительность с помощью типизации. «Типизация – момент освобождения; она дает ощущение, что понял чужое, хотя во многих случаях ему лишь присваивается имя» (Bausinger H., 25).

Хотя сами обозначения объяснительных матриц – «стереотип», «клише», «предрассудок», «миф» – в Новое время приобрели оттенок чего-то неполноценного, несовершенного, примитивного с интеллектуальной и культурной точек зрения, модели толкования и действия нам жизненно необходимы. Мы не в силах обойтись без них. Человеческое сознание не в состоянии «ухватить» мир в его многообразии и сложности, ему необходимы инструменты упрощения и обобщения. С этой точки зрения, стереотипы не шоры, закрывающие взгляд на мир, а намертво приросшие к нам очки, позволяющие его вообще увидеть и узнать. Как у всякого «оптического» прибора, облегчающего зрение, ценой «ясности» является искажение.

«СТЕРЕОТИП НЕОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН БЫТЬ АБСОЛЮТНО НЕВЕРНЫМ, – считает Питер Берк, – но часто он преувеличивает одни признаки действительности и недооценивает другие. Он может быть более или менее простым, более или менее насильственным. И все же ему неизбежно недостает нюансов, поскольку он переносит модель на совершенно различные в культурном отношении ситуации» (BURKE P., 140).

Обыденные и научные, социальные и политические, этнические и гендерные, моральные и эстетические стереотипы, зафиксированные в зрительных и словесных образах, пронизывают все сферы человеческой жизнедеятельности и воспринимаются как естественные, присущие самой действительности, то есть реально существующие, «объективные». С их помощью мы упорядочиваем окружающее и окружающих, разграничиваем ближнее и дальнее,

родное и чужое, дружественное и враждебное. Пользуясь ими, мы признаем и отмечаем, усваиваем и отторгаем.

«Конструирование действительности» невозможно без так называемых «значимых других» – ограниченного числа близких и важных для нас людей, реальное или воображаемое взаимодействие с которыми (да и сам факт их существования) позволяет нам ориентироваться в жизни, осознать нашу значимость и место в мире, оценивать собственные и чужие поступки, настаивать на определенных целях и ценностях. Именно такие фигуры имел в виду Макс Фриш, когда писал:

«Есть... люди, от которых я не могу отступить, даже если встречаю их редко или вообще не встречаю больше. Не то чтобы они преследовали меня в моем воображении, нет, я преследую их, мне по-прежнему любопытно, как повели бы они себя в той или иной ситуации, хоть я и толком не знаю, как они ведут себя в действительности. Действительное их поведение может разочаровать, но это ничего не значит; им остается простор моего ожидания. От таких людей отступить я не могу. Они мне нужны, даже если они обошлись со мной скверно. Это могут быть, кстати сказать, и мертвые. Они на всю жизнь приковывают меня к себе моим воображением: я представляю себе, что, окажись они в моей ситуации, они иначе восприняли бы ее, иначе действовали бы и иначе вышли бы из нее, чем я, которому отступить от себя самого не дано» (Фриш М., 337).

«Вожатыми» по реальности в детстве, как правило, выступают самые близкие взрослые – родители; позднее – учителя, друзья, любимые, которые переворачивают нашу жизнь, ассоциируются с ее новым этапом, позволяют переосмыслить ее и задним числом расставить в ней более убедительные вехи между новыми «до» и «после».

Освоение накопленного культурой арсенала объяснительных и поведенческих кодов – результат длительного учебного процесса посредством коммуникации. Стереотипы являются мостом не только между индивидуумом и окружающим миром, но и между индивидуумами; они есть плод «договоренности», они предполагают и обеспечивают взаимопонимание между людьми. Освоение мира происходит, следовательно, в ходе общения, в том числе – и для ребенка в первую очередь – общения между поколениями.

Проблема поколений представляется одной из наиболее актуальных и, одновременно, запутанных тем современного гуманитарного и социального знания. Строго говоря, она является плодом современного общества, в котором, в отличие от традиционных общностей, переходы от поколения к поколению не протекают плавно, а сопровождаются нарушением преемственности и конфликтами: «только в условиях поколенческих разрывов и кризисов



возникает и сама проблема поколений в различных измерениях» (Левада Ю. А., 40).

Показателен контраст между широким употреблением термина «поколение» в современном обыденном языке и предельно осторожным, на грани недоверия, использованием его как научной, аналитической категории. Теодор Шанин предложил следующее, неизбежно гипотетическое объяснение подмеченного им разлада языков повседневности и науки:

«Это явление выражает, по-видимому, в главном особенности научной мысли, а не действительность общественных процессов. ОПЕРАЦИОНАЛЬНОЕ ВЫРАЖЕНИЕ „ПОКОЛЕНИЕ“ ПРОБЛЕМНО (ХОТЯ ТО ЖЕ МОЖНО СКАЗАТЬ О ПОНЯТИЯХ „КЛАСС“ ИЛИ „ЭТНИЧНОСТЬ“). ВЛИЯНИЕ ПОКОЛЕНЧЕСКОГО РАЗДЕЛА ОСОЗНАЕТСЯ МНОГИМИ, КАК И ТО, ЧТО ЕГО РОЛЬ РЕЗКО ВОЗРАСТАЕТ В ПЕРИОДЫ ГЛУБОКИХ ИЗМЕНЕНИЙ. ИРОНИЯ СОСТОИТ В ТОМ, ЧТО ТО, ЧТО МЕШАЕТ ИСТОРИКАМ ОСОЗНАТЬ ЭТО ЯВЛЕНИЕ НА УРОВНЕ МОДЕЛЕЙ (Т. Е. „ВКЛЮЧИТЬ В ТЕОРИИ“), – ЭТО ИХ ВЫСОКАЯ ИСТОРИЧНОСТЬ. ПРОЩЕ РАБОТАТЬ С НЕИЗМЕННЫМ В ФОРМУЛАХ ОБЪЯСНЕНИЙ, ОТМЕТАЯ И ОСТАВЛЯЯ ПРОФАНАМ И ЛИТЕРАТОРАМ ФАКТЫ, КОТОРЫЕ ТРУДНО ВПИСЫВАЮТСЯ В ПРЕДОПРЕДЕЛЕННЫЕ „РАМКИ“ АКАДЕМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН. ПРОЩЕ, НО МАЛОРЕЗУЛЬТАТИВНО» (Шанин Т., 38).

Среди многочисленных интерпретаций поколения наиболее распространены представления о нем либо как о возрастной когорте сверстников, либо как о всей совокупности одновременно живущих современников. С позиции социологии знания, поколение, как и прочие социальные феномены, представляет собой не столько «объективную» величину, совокупность людей, принадлежащих определенной возрастной группе или исторической эпохе, сколько субъективную социальную конструкцию. Каждое поколение противостоит другим: его цементирует восприятие индивидами времени, в котором они активно жили, как «своего». Апелляция к «нашему времени», в котором якобы все было иначе и лучше, подразумевает некое доверие к своей эпохе.

Поколение как субъективная – то есть воспринимаемая, проживаемая ее членами – общность опирается на преувеличенное «мы», которое служит пространством коллективных иллюзий и идеализаций. Так рождаются сложные отношения между личностью и поколением, к которому она принадлежит. С одной стороны, взгляд на себя как члена поколенческой общности дарует определенную уверенность и защищенность: собственные ошибки могут утратить остроту и горечь, если их рассматривать как промахи, свойственные всему коллективу. Коллективные достижения оправдывают прожитую жизнь, придают ей смысл и значительность. Однако есть и другая сторона в отношениях индивида к «своему» поколению:

«Но „преувеличенное мы“ поколения может действовать как вмешательство, против которого индивид защищается. На языке Джорджа Герберта Мида, „я“ спонтанно протестует против шаблонизации со стороны символизированного „мы“. Уникальная биография личности в таких случаях отстаивает себя именно через отмежевание от коллективной биографии своего поколения» (Bude H., 23).

Поколение как эмоционально окрашенная общность разделяемых типизаций, иллюзий, ценностей и памяти неизбежно живет в конфликте с другими подобными общностями. Драматизация незначительных различий между поколениями рождает в конечном счете жесткое разграничение: старшие встают на защиту своего прошлого, чтобы отстоять права своего поколения, молодые с этой же целью заявляют претензию на узурпацию будущего.

Напряженные отношения между поколениями отчасти объясняют, почему конструктивная работа между ними в различных сферах социальной жизни (в том числе и в науке) происходит через поколение, между «дедами» и «внуками». Это наблюдение касается и детства, в котором для ребенка более «значимыми иными», чем родители, зачастую оказываются дедушки и бабушки. Желание подвести итоги своей жизни и поделиться ими возникает по ту сторону середины жизни, в связи с первыми сигналами старения, к которым относится, между прочим, и появление внуков. Остро ощущаемая сознательная готовность поделиться своим прошлым созревает в период, когда собственные дети, как правило, уже живут самостоятельной жизнью и своими взрослыми заботами, на фоне которых откровения «стариков», уходящих из активных социальных позиций, воспринимаются, мягко говоря, снисходительно. Неудивительно, что непосредственными адресатами опыта старшего поколения становятся внуки.

Схема работы между поколениями «через раз» с особой ясностью наблюдается в центрально- и восточно-европейских обществах, чрезмерно обремененных травматическим опытом XX века, таких, как, например, Россия и Германия, в которых доверительные отношения между родителями и детьми были осложнены внешними обстоятельствами – государственным запретом и (или) общественным табу на опасное и неудобное прошлое. Иосиф Бродский в эссе о своем детстве вспоминает, как и многие мемуаристы, о молчаливости своих родителей: «Эта неразговорчивость, не связанная со склерозом, была вызвана необходимостью скрывать классовое происхождение в ту суровую эпоху, дабы уцелеть» (Бродский И., 49). Вероятно, по этой причине М. А. Нарская, жившая в Москве напротив церковного подворья, на котором обитали близкие родственники-священники, не водила к ним своих детей,

а Б. Я. Хазанов не рассказывал дочерям о своей дореволюционной молодости.

Представляется весьма симптоматичным появление в последние годы художественной, публицистической и – пока лишь в начатках – исторической литературы внуков о своих бабушках. К ней относится, например, роман Андрэ Макина «Французское завещание», вышедший и получивший две важнейшие литературные премии (Гонкуров и Медичи) в 1995 году. В нем через общение мальчика Алеши и его сестры с бабушкой Шарлоттой, волею судеб заброшенной из Парижа в Сибирь, исподволь воспроизводится история советского XX века. В качестве другого яркого примера литературы «внуков» можно назвать книгу американской журналистки Маши Гессен о ее московских еврейских бабушках Эстер и Русе, в судьбах которых запечатлелись драматичные повороты истории восточно-европейских евреев в минувшем столетии.

Показательно, что Юрий Слезкин посвятил нашумевшую книгу о XX веке как «еврейском веке» своей бабушке Берте (Брохе) Иосифовне Костринской, которая «родилась в черте оседлости, не закончила школы, сидела в тюрьме за революционную деятельность, эмигрировала в Аргентину, в 1931 году вернулась в Россию строить социализм. На старости лет она гордилась своими еврейскими предками и считала всю свою жизнь ужасной ошибкой» (Слезкин Ю., 5). Все три автора – выходцы из России, дети 50–70-х годов, внуки критически осмысливающих трудное прошлое бабушек, находившихся с ними в тесном эмоциональном контакте.

Вероятно, литература «внуков» о XX веке своих предков, их семейные истории на фоне Истории с большой буквы в ближайшее время, по мере ухода живой «натуры», будут набирать обороты и вправе претендовать на хорошую конъюнктуру. Так, Елена Лаврентьева, автор книг, статей и фотоальбомов о культуре XIX – начала XX веков, издала посвященную бабушкам книгу, основанную на семейных архивах их внуков и внучек. Близок к этому жанру, по-видимому, и неоформленный пока фотографический проект Татьяны Дашковой:

«Когда-нибудь я напишу работу о старых семейных фотографиях. Я буду долго перебирать старые снимки, читать подписи, вглядываться в лица. И пытаться понять загадку этих улыбающихся людей, живших в другом мире» (Дашкова Т., 116).

На протяжении двух лет выдержал два издания грандиозный труд Ольги Молкиной о спасении Американским Красным Крестом петроградских детей, совершивших вместе со своими спасителями в 1918–1921 годах кругосветное путешествие. Среди этих детей были бабушка и дедушка автора, и ее семейная история оказалась причудливым образом вплетена в историю драматичного XX столетия. Свою книгу о советском детстве историк А. А. Сальникова, по собственным

словам, «писала о своих бабушках и дедушках, чье детство пришлось на мятежные 1910 – 1920-е годы» (Сальникова А. А., 10).

Обширная литература о немецко-американском опыте еврейских дедов представлена, например, романом Ирены Дише «Бабушка откровенничает», в котором автор с позиции очевидца представляет жизнь евреев в Веймарской республике, нацистской Германии и американской эмиграции. Перу польской писательницы и сценариста Иоанны Ольчак-Роникер принадлежит удостоенная в 2002 году высшей национальной литературной премии Польши «Нике» история бабушки и ее многочисленной родни – польских евреев, которых XX век разметал по всему миру. Эта литература, очень личная и лиричная, вполне соответствует интересам и стилистике современной культурной истории, пытающейся «разговорить» исторических актеров, проникнуть в мир их восприятия и поведения, радостей и страхов. В разряд литературы «внуков» вписывается, как мне представляется, и моя книга, герои которой, правда, в отличие от персонажей упомянутых выше историй, не переживают столь радикальных перемещений по миру.

Одним из первых и наиболее значительных «вожатых» по действительности в моем детстве был дед, Б. Я. Хазанов. Его дочери вспоминают своего отца совсем не так, как я. Для них он был молчаливым, пытающимся своим молчанием уберечь детей от неприятностей.

«У меня осталось впечатление, – вспоминает его старшая дочь, М. Б. Корзухина, – что когда что-то касалось его прошлого, он такими обтекаемыми, общими фразами говорил, что... я об этом знала из всего, что было напечатано в центральной прессе, и мне его ответ ничего не давал. И я, наверное, престала просто его расспрашивать. Интересного он ничего не рассказывал. Я потом, когда он умер, думаю: „Как же это я его не расспрашивала?“»

Его слово было веским, потому что звучало редко. Дома не говорили о политике и о прошлом, родным языком не пользовались. Ни М. Б. Корзухина, ни ее младшая сестра не знали ни слова на идиш, а о том, что их отец был ранен во время Первой мировой войны, они слышали от своих детей. Их образ отца – образ закрытого человека, закрытого буквально, отгородившегося газетой от внешнего мира.

Мне же он запомнился совсем другим: оживленно рассказывающим о своем детстве, о семейном укладе его родителей в Быхове, о работе на фабрике Школьниково и Половца, о штыковой атаке подо Львовом; гуляющим с внуком по Откоосу, кормящим воробьев, поющим еврейские песни, улыбающимся, смеющимся.

Он был для меня надежным помощником в преодолении детских страхов и в освоении окружающего мира. Его беспокоила моя паническая боязнь темноты. Еще в Куйбышеве, откуда меня

вывезли в двухлетнем возрасте, я был напуган соседской овчаркой. Кажется, это единственная аутентичная картина из куйбышевской коммунальной квартиры, запомнившаяся непосредственно, а не по рассказам взрослых:



Мама в коридоре разговаривает по телефону, Мальчик выходит к ней, и навстречу ему двигается огромное косматое существо. ☹

«Собака» – одно из первых усвоенных слов, которое я сквозь плач произносил по ночам в Горьком. Думаю, дед не случайно брал меня с собой в темный подвал за дровами: разговоры со взрослым, которому безгранично доверяешь, в сумеречном подzemелье со скрытыми темной углами вселяли спокойствие.

С дедом можно было быть совершенно откровенным, не опасаться грозной реакции. Он никогда не повышал на меня голос – даже когда в предпубертатном возрасте я попытался вести себя вызывающе. Он мог огорчиться, но промолчать, что сразу же окатывало обжигающей волной стыда и раскаяния.

У нас с ним имелись маленькие секреты, которые бабушке вряд ли бы понравились. Когда мне было девять, дед достал роскошно иллюстрированное Б. Дехтеревым издание «Золотого осла» Апулея 1965 года. Мы сели с ним рядышком и рассматривали цветные изображения мужских и женских нагих тел – без спешки, так что становилось ясно: человеческая нагота естественна и красива, ничего постыдного в ней нет. В отсутствие бабушки мы по малой нужде посещали туалет вдвоем, и я с малой дистанции искоса дивился впечатляющему размеру и странной обнаженности его интимного «хозяйства».



Помню такой эпизод: Дедушка с Мальчиком гуляют по улице Минина. «Представляешь, – говорит Дедушка, – Вовка Гречухин на шкатулке Люси (его тети. – И. Н.) вырезал неприличное слово». «Какое?» – спрашивает Мальчик. Он готовит Дедушке ловушку – произнесет ли тот запретное слово – и одновременно демонстрирует свою непричастность к ненормативной лексике. «Из трех букв, ну, ты знаешь», – отвечает тот. «А-а-а», – понимающе протягивает Мальчик и тут же спохватывается, что выдал себя. Никаких нравоучений не последовало. ☹

Деда явно смущало, что я избегал действий, успешно освоенных моими сверстниками. Однажды я сокрушенно рассказал ему, что на соседнюю стройку привезли подъемный кран, пока не установленный, и Володя Гречухин вместе с другими мальчишками из округи прыгал с него на кучу песка, а я не смог. Ничего не сказав бабушке, мы отправились на стройплощадку. Преодолев нерешительность, я в конце концов прыгнул – и слегка подвернул ногу. Дедушка ужасно расстроился. «Только бабушке не говори», – попросил он. Он очень гордился мной и часто с удовольствием вспоминал, как

я – единственный раз в жизни – подрался с Володей Гречухиным. Он был очень доволен, когда я начал лазать по деревьям.

Дед меня очень любил, выделяя из прочих родственников. Возможно, он чувствовал, что если к ребенку относиться бережно, тот ответит окружающим тем же. По мере того как я подрастал, дед исподволь и, наверняка, не всегда осознанно делился со мной своими стратегиями восприятия и поведения.

## Фотография и история



Доступ ко «взгляду эпохи» открывается историку только в том случае, если он владеет языком изображений и достаточными знаниями о социальной среде, в которой они создаются и бытуют. Это утверждение распространяется не только на произведения искусства, но и на фотоснимки.

Нужно особо отметить, что среди историков наибольшее внимание визуальным источникам уделяли и продолжают уделять исследователи позднего средневековья и раннего Нового времени. Поэтому методика работы историка с произведениями изобразительного искусства и архитектуры развита и освоена значительно лучше, чем исследовательские стратегии использования фотографии как исторического источника. Всего четверть века назад, размышляя об использовании частных фотографий в исторических исследованиях, немецкий историк Детлеф Хоффманн писал: «Несмотря на то, что явлению почти 100 лет (имеется в виду массовая любительская фотопрактика, ставшая возможной после изобретения непрофессиональной фотокамеры в 1888 году – И. Н.), мы крайне неуверенны по поводу того, как мы должны обращаться с этими изображениями» (Hoffmann D., 52). Почти двадцатью годами позже в одном из первых пособий по историческому исследованию фото «Фотография: Картины Нового времени» (2000) Йенс Егер, описывая позиции визуально ориентированных историков в профессиональном сообществе, прибегнул к метафоре «миссионеры в лодке» (автор метафоры немецкий историк Ханс Медик ввел ее в оборот в 80-х годах в связи с дискуссией в ФРГ об истории повседневности):

«МЕТАФОРА “МИССИОНЕРЫ В ЛОДКЕ” ВО МНОГОМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИМЕНЕНА К ОБРАЩЕНИЮ ИСТОРИКОВ С ИЗОБРАЖЕНИЯМИ, ОСОБЕННО С ФОТОГРАФИЯМИ. ДЛЯ МНОГИХ МИР ИЗОБРАЖЕНИЙ – НЕИССЛЕДОВАННАЯ ТЕРРИТОРИЯ, КОТОРАЯ КАЖЕТСЯ ЭКЗОТИЧЕСКОЙ. ИСТОРИКИ, ОПЕРИРУЮЩИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯМИ КАК ИСТОЧНИКАМИ, ОКАЗЫВАЮТСЯ ТАКЖЕ В ПОЛОЖЕНИИ “ДИКАРЕЙ” НА БЕРЕГУ, НА КОТОРЫХ ЦЕХ СМОТРИТ КРИТИЧЕСКИ» (JÄGER J., 9).

Действительно, традиционная «история фотографии», которая в течение долгого времени оставалась доменом искусствове-

дов и историков техники, чаще всего рассматривала фотопрактику как феномен, изолированный от социального и культурного контекста. Она в большей степени была посвящена XIX веку и писалась применительно к отдельным странам, как национальная история. В этой связи она относительно подробно реконструировала развитие фотографии в Западной Европе (прежде всего во Франции и Англии), в то время как применительно к Центральной и особенно Восточной Европе история этого медиума известна значительно хуже. К недостаткам привычной «истории фотографии» Й. Егер относит, кроме того, рассмотрение этого феномена вдоль линий технического прогресса: изобретение дагерротипа (1839) – мокроколлодийного способа съемки (1851) – сухой фотопластины (1871) – фотокатушки (1888) – цветной фотографии (около 1900) – 35-миллиметровой пленки (1920-е годы) – цветного негатива (1930-е) – цифровой техники (1980-е). Традиционные периодизации истории фотографии – например, хронологическая: ранняя фотография 1839–1870-х годов, распространение фотопрактики в 80–90-х годах XIX века и т. д. – не помогают историку, а напротив, ограничивают его.

Значительная часть работ по истории фотографии посвящена отдельным, выдающимся фотографам, вершинным достижениям художественной фотографии или отдельным жанрам (например, фотопортрету). При этом допускаются поверхностные или устаревшие высказывания о взаимодействии фотографии и эпохи, которые нередко берутся на вооружение профессиональными историками.

В то же время в современных обобщающих работах по социальной и культурной истории Франции, Великобритании и США XIX–XX веков истории фотографии уделяется место – правда, явно недостаточное для новаторского переосмысления этого феномена. В новейших же многотомных изданиях по истории большинства других европейских стран, в том числе Германии, история фотопрактики едва упоминается.

Й. Егер предлагает понимать под «историческим исследованием изображений», в том числе фотографий, исследовательское направление, которое призвано изучать не определенные типы изображений, а их историческую обусловленность, трансформацию их восприятия и использования, а также общественную и культурную роль в конкретные исторические эпохи и в конкретно-исторических обществах.

Как же взаимодействовали фотография и историческая эпоха? Эта тема наиболее разработана применительно к XIX столетию (фотопрактика XX века остается по преимуществу полем социологических исследований). Историки относительно единодушно связывают начало фотографии с формированием и распространением шкалы буржуазных ценностей. При этом особо подчеркиваются

взаимодействие и взаимовлияние аристократического и буржуазного вкуса как результат не вполне устойчивого положения в европейских обществах XIX века и старой, и новой элиты. Неопределенность соотношения сил экономически доминирующей буржуазии и не утратившей влияния в политической сфере аристократии отразилась, например, по мнению Тима Штарля, в готовности представителей старых правящих домов фотографироваться на стандартных «визитных карточках» (6×9 см) с последующей продажей «визиток» всем желающим:

«Прежде всего, они позволяли снимать себя в облике буржуа и тем самым платили дань новой общественной расстановке сил. Для буржуазных подданных монарх и дворянство, безусловно, все еще находились на вершине социального признания; с приобретением их фотографических портретов отсвет этого престижа падал на домашнюю галерею фотоальбома. Таким образом, портрет успешного буржуа служил для дворянина образцом в такой же мере, как и, наоборот, его собственное изображение окрыляло того к подражательству. Круговорот неизменных образцов создавал образ общества равных, нивелировал какую-либо социальную иерархию, на чем бы она ни основывалась, и задавал масштабы эстетических притязаний» (Starl T., 30–31).

При этом, разумеется, эпоха не отражалась в фотографии зеркально. Как уже неоднократно подчеркивалось ранее, она документировала не реальный, а желательный порядок вещей. Так, устойчивое присутствие на фотопортрете книги как аксессуара, а нарисованного на заднике книжного шкафа – как фона не соответствовало реальному значению чтения в повседневном досуге XIX века. Просвещенные буржуа и частная библиотека оставались явлением маргинальным, в то время как успешные предприниматели, как правило, отличались низким уровнем образованности. Стабильное присутствие на фотоснимках книги и домашней библиотеки должно было компенсировать этот недостаток.

«Лживость» фотографии XIX столетия отразилась также в интерьере фотосалонов в целом. То, что буржуазные клиенты фотографировались исключительно в фотоателье, было, по-видимому, связано не только с уровнем развития фотографической техники и нежеланием тратить дополнительные средства на приглашение фотографа. Возможно, стремление запечатлеть себя в обширном комфортабельном помещении с роскошной обстановкой росло вместе с дефицитом жилья в крупных городах как следствием индустриализации и резкого роста их населения. Большие, богатые квартиры как символ состоятельности и успешности имитировались на салонных снимках вопреки реальной стесненности жилищных условий.



Наблюдение о фиксации на фотоизображениях желательного, а не реального, касается и языка тела, практиковавшегося во время съемки. Хотя для «чистой» публики XIX века была характерна позиция полусидя-полулежа в мягком низком кресле или на диване, на фотографиях такую позу можно встретить исключительно редко. В основном, она характерна для портретов театральной, художественной и литературной богемы, которой такая «вольность» была позволительна, так как эти круги не воспринимались в качестве популяризатора общепринятого вкуса. Чаще клиенты фотографировались в жестких, резных деревянных креслах с высокой готической спинкой. Поза и выражение лица характеризовались, как правило, чопорностью и холодностью, демонстрацией превосходства, причем не только на индивидуальных, но и на групповых фотографиях, на которых портретируемые, за исключением обрученных пар и молодоженов, не прикасаются друг к другу. Дистанция подчеркивалась не только сценарием снимка, но и холодным, строгим и высокомерным взглядом в камеру или вдаль, как бы отстраняющим будущего зрителя и предостерегающим его от желания приблизиться.

Т. Штарль, как и ряд других исследователей фотографии XIX века, предполагает наличие связи – возможно, излишне прямолинейной – между демонстрируемой на ранних фотографиях телесностью и ростом индивидуализма, который был, однако, как и начитанность, предписанным ценностным ориентиром, а не воплощением свободы личности. Холодность и подчеркнутая дистанция в языке тела отражала, как он полагает, ощущение неуверенности и неуютности в условиях роста зависимости индивида от анонимных и невидимых сил рынка и бюрократических институтов. Подчеркнутая на снимках дистанция якобы скрывала и компенсировала эту зависимость. Вероятно, это мнение о связи фотографии и эпохи следует отнести к разряду излишне упрощенных. Трудно, однако, не согласиться с мнением Штарля, что фотография была не более чем «фасадом буржуазии, за которым подлинное лицо повседневности оставалось скрытым» (там же, 43).

Конечно, необходима предельная осторожность в выстраивании причинно-следственных связей между социальной действительностью и ее образными воплощениями. Вряд ли можно, например, согласиться со следующим утверждением о связи иконографии детского портрета XIX века с чувством отчужденности современников:

«БРАТЬЯ И СЕСТРЫ НЕ СВЯЗАНЫ ДРУГ С ДРУГОМ НИ ЖЕСТАМИ ПРИВЯЗАННОСТИ, НИ ИГРОЙ, А ВЫСТУПАЮТ ЧАЩЕ ВСЕГО КАК ОТДЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СЕМЬИ ИЛИ ИЗОЛИРУЮТСЯ В ОДИНОЧНЫХ ПОРТРЕТАХ...

Это «одиначество» НА ИЗОБРАЖЕНИЯХ ГОВОРИТ О КОНКРЕТНОМ ОДИНОЧЕСТВЕ, КОТОРЫМ БЫЛА ОТМЕЧЕНА ЖИЗНЬ В ТОГДАШНИХ ГОРОДАХ» (ТАМ ЖЕ, 39–40).



Челябинск, 1963 (?).

*«Можно было с помощью взрослых забраться в необъятное кресло и представить себя водителем автобуса».*



Челябинск, 1963 (?). Постановочный снимок в детском саду.

*«Там я чувствовал себя не очень уютно – детские гомон и возня не нравились мне...» (вопреки инсценированному на фото настроению).*



Челябинск, 1963 (?). Женщина справа – воспитательница группы, второй слева в третьем ряду – В. Клинов.  
*«Было только два человека, за которых я прятался от одиночества в шумной детсадовской группе, – воспитательница Раиса Павловна и мой друг Володя Клинов».*



Челябинск, 1964 г. На мотороллере с В. С. Криворучким во дворе дома по пр. Ленина, 41.

*«Деревянный помост над бойлерной с запиравшимся на замок проемом в булочную, куда поставлялся привозимый автофургонами ароматный свежий хлеб, использовался чаще всего в теплое время года для посиделок рядом, во время которых играли в “глухой телефон” или рассказывали страшные истории».*





Челябинск, 1966 г. Музыкальный ансамбль в детском саду.  
*«Я не очень уверенно читаю и еще хуже считаю, зато довольно бойко  
играю на пианино».*



Челябинск, 1970-е гг. А. С. Ничивилева.  
«Спустя много лет мама, оглядываясь  
назад, справедливо констатирует,  
что моя няня Александра Сергеевна  
Ничивилева, “бабушка Шура” была  
ангелом-хранителем нашей семьи».



Челябинск, 1975 г. Няня (я незаметно для «натурщицы»  
нарисовал ее, пока она вязала).  
«Ноги ее в грубых хлопчатобумажных чулках постав-  
лены совсем не по-балетному, носками внутрь».



Челябинск, балетный сезон  
1961 / 62 гг. С мамой в репети-  
ционном классе.  
*«Сколько помню себя, столько  
помню и театр».*



Челябинск, 1963 (?). Перед театром.  
*«В 60-х годах как минимум раз в неделю,  
в воскресенье, бывал там и я – сначала  
с мамой, потом с няней».*

Челябинский театральный фотостенд середины 1960-х гг. Ю. Сидоров (справа) и В. Нарский в балете «Ромео и Джульетта». «Тибальд (Юрий Сидоров), Меркуцио (Владимир Нарский) и Ромео (Владимир Постников) жили, сражались, умирали и побеждали на сцене всерьез».



Челябинск, середина 1960-х гг.  
Смерть Меркуцио.  
«Смерть Меркуцио... – мужественная, лиричная и цроничная одновременно – каждый раз заставляет Мальчика тихо плакать».



Челябинск, середина 1960-х гг.  
В. Нарский в роли Дурваса.  
«Деспотичного дервиша, жреца и колдуна Дурваса в балете «Шакунтала» (кстати, грим и костюм Нарский придумал себе сам) актрисы на сцене панически боялись...»





Челябинск, 1960-е гг. Артисты театра перед первомайской демонстрацией.  
*«Театр был молод, жизнерадостен, профессионален, пронизан духом свободы».*





Челябинск, начало 1970-х гг. Стоит А. С. Ничивилева. Слева от нее сидит А. Г. Меркушев, справа – Г. Т. Меркушева.

*«Ели и пили много, до истощения запасов, шумели и дурачились без меры».*

М. А. Нарская, 1910-е гг.  
*«М. А. Нарская – человек одаренный и отмеченный разносторонними интересами – окончила в 1912 году Московское Филаретовское епархиальное училище, позднее училась в Ритмическом институте (ныне Государственный институт театрального искусства) и на юридическом факультете Московского университета».*





1910-е гг. Во втором ряду (слева направо) – М. А. Нарская, ее родители, священник А. А. Нарский и Н. В. Протопопова, в первом – младшие дети: Ольга, Анна и Михаил.

*«...“нетрудовое” происхождение Марии Александровны делало проблематичным ее трудоустройство».*



Москва, 14 сентября 1924 г. Мужская легкоатлетическая команда «Текстильщики». Четвертый справа – П. П. Кузовков.

*«П. П. Кузовков, взявший фамилию жены, был участником Гражданской войны, мастером на все руки, спортсменом (в середине 20-х годов он был чемпионом Москвы по троеборью), профсоюзным активистом и водителем».*





Москва, ноябрь 1934 г.  
П. П. Нарский с детьми у профессионального фотографа.  
«Павел Павлович на прощание снялся с детьми, Володи́й и Виолеттой, у профессионального фотографа и уехал в Сибирь...»



Выдрица, 1929 г.  
«Тамара Борисовна Хазанова родилась в 1928 году в Белоруссии, во вполне благополучной еврейской семье, в доме успешного, лояльного советского интеллигента в первом поколении».



Балахна, 1937 г. Слева – Т. Хазанова.

*«...Тамара Хазанова с детства мечтала стать балериной...».*



Москва, вторая половина 1930-х гг. В хореографической студии М. Ф. Нижинской. Справа – В. П. Нарский

*«...Владимир Нарский попал в хореографический мир случайно».*



Горький, середина 1940-х гг. Т. Хазанова в венгерском танце («Раймонда»).  
«Она с удовольствием училась в Горьковском государственном хореографическом училище и с упоением выступала на сцене, в том числе импровизированной, в военных госпиталях, за что будет награждена медалью «За доблестный труд»».



Горький, 1942 г.  
Тамара Хазанова.  
«...в горьковской школе Тамара впервые столкнулась с новым и непонятным ей явлением: в шестом классе ее впервые обозвали «жидовкой»».



Сталино, март 1950 г. Первое армейское фото В. П. Нарского.

*«Служба в армии растянулась для В. Нарского на долгие три с половиной года (с 15 марта 1950 по 16 ноября 1953), губительные для классического танцовщика».*



Белая Церковь, декабрь 1950 г. Слева – И. В. Кузнецов.

*«О царившем в то время произволе при призыве на воинскую службу свидетельствует тот факт, что московского сокурсника и ближайшего друга Владимира, Игоря Кузнецова, ежемесячно восемь раз призывали и отпускали по ходатайству руководства театра как незаменимого работника».*





Сталино, рубеж 1955–1956 гг. Т. Б. Хазанова и В. П. Нарский.  
*«С ноября 1955 года они жили вместе – бедно, в походных условиях, в окружении недоброжелательства и интриг».*



Сталино, 1956 г. Первое  
совместное фото  
Т. Б. и В. П. Нарского.  
*«...они встретились – двадцатисемилетние, по советским и балетным меркам не такие уж молодые люди».*





Куйбышев, октябрь 1957 г. Слева направо: В. П. Нарский, Т. Б. Нарская с дочерью Мариной на руках, М. А. Нарская.

*«В мае 1957 года у них родилась дочь Марина, через девять месяцев умершая от полученного в поликлинике заражения крови...»*



Куйбышев, июнь 1959 г.  
Т. Б. Нарская с четырехмесячным сыном на руках.

*«... в январе 1959-го появился сын. Скорее всего, если бы не смерть старшей сестры, ни меня, ни этой книги не было бы».*



Челябинск, 1 сентября 1966 г. Первая школьная линейка. Женщина слева – учительница 1 «в» класса Р. Н. Кудрик, мальчик в берете – я.  
*«Я довольно отчетливо помню 1 сентября 1966 года и несколько моментов из последующих недель».*



Челябинск, 1966 / 67 (?) учебный год . Девочка в вязаной шапочке на переднем плане – Елена Носаева, мальчик в центре, в темной шапке-шлеме – Игорь Федоров.  
*«Маленький и подвижный кареглазый брюнет, он хорошо учился, несмотря на то, что в начальной школе много болел».*





Школа 121 5<sup>в</sup> класс  
г. Челябинск 1971 г.

Челябинск, 1971 г. Студийный снимок в связи с окончанием пятого класса. В первом ряду крайний слева – И. Федоров, в центре – Е. Носаева; в третьем ряду четвертый справа – А. Данилов; в четвертом ряду первый справа – В. Бойцов.



Школа №121 8<sup>в</sup> класс 1974 г.

Челябинск, 1974 г. Фото в спортзале. В третьем ряду четвертая справа – Е. Носаева; в четвертом ряду второй справа – В. Бойцов, третий слева – И. Федоров; в пятом ряду крайний слева – А. Данилов.



Челябинск, конец 1967 (?). Новогодний спектакль. Декламирует Е. Носаева. Я – «птичья голова», повернутая в сторону Лены. «... в моих глазах Лена была небожительницей, что делало мою тайную симпатию к ней еще более болезненной».



Челябинск, 1974 (?). На первом плане – Е. Носаева, на заднем – В. Берлет.

«У Лены Носаевой, самой маленькой в классе, рано начавшей сутулиться брюнетки в очках, были удивительные глаза – огромные, голубые, выразительные».



Челябинск, конец 1960-х гг. А. Данилов. «Миниатюрный, тихий мальчик из семьи художников, с красивым девичьим лицом, изящной стрижкой несветского стиля, Саша жил в совершенно автономном режиме».

«Скорее всего, в непоздние школьные годы мои “сильные” чувства к сверстникам были не выражением собственных кондиций..., а желанием компенсировать чувство одиночества и потерянности в шумной школьной толпе».



Челябинск, 19 июня 1941 г. Выпускной 10 «б» класс. Во втором ряду в центре –  
классная руководительница А. Д. Захарова.  
*«С выпускной фотографии глядят девушки и юноши, среди которых сидит  
молодая элегантная учительница – любимая учительница, как отмечают  
в своих письмах выпускники того года».*





Челябинск, 1934 г. Школа ФЗС № 2, выпускной 7-й класс. Четвертая слева во втором ряду – А. Д. Захарова.

*«С февраля 1932-го до осени 1973 года она проработала в одной и той же школе, менявшей свои названия и номера...»*



Челябинск, рубеж 1960-х – 1970-х (?). А. Д. Захарова.  
*«От статной седой женщины в неизменном коричневом платье, с простой стрижкой 20-х годов, холодноватыми серыми глазами на скуластом увядшем лице старой девы веяло ледяной строгостью.»*



Челябинск, 1960-е гг. Р. А. Мавлютова.  
*«Р. А. Мавлютова, судя по всему, в пору своего директорства с 1964 по 1968 год держала школу в жестких хозяйских руках, блюдя железную дисциплину и школьные традиции».*



Челябинск, 1970-е (?).  
И. Ф. Бородаенко.  
*«Встреча с Ириной Федоровной стала для меня настоящим подарком».*



Челябинск, 1970-е (?).  
А. А. Кириллова.  
*«Удивительно, как математику можно было преподавать с такой материнской мягкостью. У нее даже символы на доске выглядели как-то уютно и округло, как и она сама».*



Челябинск, 1950-е (?). Г. Е. Погудина.  
*«Передо мною – фотография красавицы среднего возраста: огромные серые глаза, темные брови вразлет, точеный правильный носик, очаровательный контур ярких губ, высокий лоб под роскошными волосами, забранными назад».*



Челябинск, 1970-е (?).  
М. И. Свердлова.  
*«Маленькая, кругленькая, с большими, печальными еврейскими глазами, она давала фундаментальные знания: ее выпускники не знали проблем с математикой ни на вступительных экзаменах, ни в первые семестры студенчества».*



Челябинск, 1970-е (?).  
*«Ирина Ивановна Уманская – ...яркая женщина с ироничными глазами под густыми черными бровями и насмешливой улыбкой под темными усиками – блестяще знала и виртуозно преподавала свой предмет».*





Семья Вольгемут. Украина, первая половина 1930-х гг. Слева направо: Матильда Вальт, ее сестра Леонтина Вольгемут с мужем и ребенком, мать Матильды Кристина Вольгемут. *«Все изменилось во время коллективизации. Вольгемутов она полностью разорила. С этого момента в семье было покончено как с верой в бога, так и с коммунистическими ценностями».*



А. Вальт, 1956 г. *«При посредничестве посольства ФРГ его первое письмо пришло в Асбест в конце 50-х годов».*



Во время поездки по Рейну в 1982 г. *«Флора Адольфовна с Вадимом покинули СССР осенью 1981 года».*



Челябинск, 1975 г. Первый выпуск Ф. А. Марталер (в первом ряду в центре) в ЧГИК. *«В 1970 году Флора Адольфовна перешла на работу в молодой институт культуры».*

Столь «лобовое» выстраивание связей между историческими феноменами отдаленно напоминает подход Филиппа Арьеса, который в живописном детском портрете раннего Нового времени нашел подтверждение базовому просвещенческому тезису, согласно которому взрослые видели в детях (недоразвитых) маленьких взрослых. И в данном случае Т. Штарлю можно предъявить те же претензии, что адресуются подходу французского историка, а именно недоучет контекста фотографирования и последующего использования снимков. Детей фотографировали в иных одеждах и с иным языком тела – так же, как и портретировали в прежние времена, – чем использовались для будничного облачения и поведения. Фотоснимки детей предназначались для фотоальбомов, где они должны были располагаться рядом с фотографиями взрослых. Как и в семейных галереях XVII–XVIII веков, единичные портреты составляли комплексы, указывающие скорее на принадлежность к семье, чем на представления взрослых о детстве. Кроме того, детские изображения были аллегориями невинности.

Невероятный успех фотографии с самого ее появления имеет, вероятно, отношение к изменению представлений о времени. Беспрецедентные политические и социальные перемены на глазах одного-двух поколений европейцев, начиная с Великой французской революции, усилили характерное для Нового времени ощущение стремительности и необратимости времени. Фотография, возникнув одновременно с жанром детектива и с научной статистикой, выполняла ту же, становившуюся все более важной, функцию «объективной» фиксации ускользающей действительности, ее следов, улик и доказательств.

Фотография была, однако, не только порождением и отражением эпохи, но и одним из ее многочисленных конструкторов. Фотопрактика преобразила многие сферы человеческой жизнедеятельности, оказав влияние на искусство, литературу, книгопечатание, науку и, в конечном счете, на восприятие и поведение современного человека. Первоначально художники инстинктивно встали в оппозицию к фотограммам, которые, в свою очередь, претендовали на статус художников-светописцев. Живописцы аргументировали свою неприязнь к фотографии угрозой обезличивания художника и покушения на гениальность в угоду посредственности – точно так же, как художники раннего Ренессанса пытались обосновать свое отделение от ремесленников. Острые баталии по поводу художественного статуса фотографии, которые по сей день бесплодно ведутся с привлечением тех же аргументов, не помешали самим живописцам с середины XIX века использовать фотографирование для эскизов будущих полотен и производства репродукций своих произведений. К концу XIX столетия академии художеств европейских стран, в том

числе и России, признали фотографию равноправным видом искусства, открыли в своих стенах фотографические отделы и разрешили проведение фотовыставок.

Более того, фотография не только изменила технику создания картин и рынок произведений искусства, но и способствовала формированию новой концепции реализма – причем не только как живописного, но и как литературного стиля. Фото как «зеркало действительности» стало моделью реалистического видения жизни и метафорой творчества для многих писателей, в том числе классиков литературного реализма Э. Золя и О. де Бальзака. Не случайно, по-видимому, многие писатели XIX века, помимо вышеназванных, были страстными фотографами-любителями: В. Гюго, А.-К. Дойль, Л. Кэрролл, А. Рембо, Б. Шоу.

Фотография содействовала многим прорывам в науке – от медицины до этнографии – и в популяризации знаний. Она сделала невидимое видимым. Успех «визиток» совпал с интересом к физиономическому: фотография стала использоваться в медицине, психиатрии, антропологии, криминалистике. Ч. Дарвин был убежден, что состояние души отражается на лице, и считал фотодело важным подспорьем в изучении эмоций.

Фотоаппарат и различные стадии фотографического процесса превращались не только в прямой инструмент познания, но и в систему метафор, наглядно объясняющих тонкие, трудноуловимые процессы и подводящих базу под сложные гуманитарные и социальные теории. Если К. Маркс для объяснения бессознательного апеллировал к камере-обскуре, то З. Фрейд взял на вооружение фотографические процессы для обозначения того, как функционирует человеческая психика: «Фрейд использует модель фотоаппарата, чтобы показать, что каждый душевный феномен сначала неизбежно проходит бессознательную фазу – через темноту, негатив, прежде чем осознается и проявляется в светлой фазе позитива» (Kofman S., 60).

По мнению французского историка Алена Корбена, фотография была одним из факторов, перевернувших весь мир человеческого восприятия и поведения. Фотопортрет стал школой приличного поведения, популяризация которого стала возможной благодаря массовому производству «визиток». Новые нормы жестов, театрализация выражения лица и поз, наиболее ясно читаемые в подчеркнутой жестикуляции многих политических деятелей первой половины XX века, проникли глубоко в повседневность: современный человек едва способен осознать, что, будучи объектом съемки или наблюдения, он автоматически принимает позу и «надевает» мимическую маску, в которой чувствует себя социально приемлемым.

Фотография как помощник воспоминаниям обновила страсть к прошлому и облегчила представление о собственной смер-

ти, после которой образ усопшего отныне не исчезал бесследно. Фото умершего смягчало боль утраты и приглушало чувство раскаяния. (Не случайно в XIX столетии были популярны снимки покойников, запрещенные в Европе лишь в 30-х годах XX века, а в России, особенно в сельской местности, производимые и поныне.) Семейный фотоальбом компенсировал характерное для современного общества ослабление родственных связей и служил символическому укреплению групповой целостности: «Если и есть какой-нибудь инструмент, позволяющий конструировать и поддерживать идеологию, которая связывала бы общечеловеческие ценности с идеей семейственности, то это камера и ее “продукты” – фотографии и семейные альбомы», – вслед за П. Бурдые утверждает Марианна Хирш (Hirsch M., 48).

Фотографическая практика внесла кардинальные перемены во «взгляд эпохи» – в визуальное восприятие современного человека. В середине XIX века даже самые просвещенные европейцы испытывали ужас перед первыми фотографиями. От фото веяло смертью. Возникло ощущение телесного присутствия при отсутствии души, комбинации жизни и смерти, благодаря которому изображение загадочным образом живет.

Зрители первых фотографий не могли долго смотреть на них – пристально разглядывать людей (за исключением комедиантов, казнимых преступников, выставленных на всеобщее обозрение трупов «злодеев») было не принято. Фотография позволила беспрепятственно рассматривать человеческое тело, в том числе обнаженное. Симптоматично, что во Франции первый запрет на продажу непристойных фотоизображений был наложен в 1850 году – всего через десятилетие после изобретения дагерротипа. Фотография оказалась новым методом эротической стимуляции, усиливая желание близости.

Изобретение фотографии изменило даже психологию разлуки влюбленных. Фото создало эффект символического обладания любимым человеком, оно канализировало эмоциональные отношения и усилило визуальный контакт в ущерб физическому.

Наконец, фотография стала важным (хотя не столь эффективным, как дактилоскопия) подспорьем в отработке новых методов социальной идентификации, сопутствующей закреплению индивидуализма как буржуазной ценности. С 1876 года французская полиция стала использовать фото для установления личности (в России паспорт с вклеенной фотокарточкой появился почти на 60 лет позже).

Фотография, таким образом, является немаловажным фактором и опосредованным отражением социокультурных изменений и по праву претендует на статус серьезного исторического источника их изучения. На нее вполне распространяется мнение одного из классиков истории повседневности Вольфганга Хардтвига о невоз-

возможности для современной исторической науки обойтись без визуальных источников:

«Современная культурная история по существу должна быть историей образности. Но образность закрепляется в изображениях, если она не является вообще – как подсказывает термин – изображенными представлениями» (Hardtwig W., 322).

Самое время вновь обратиться к горьковскому детскому фотопортрету 1966 года, с различных ракурсов рассмотренному в предыдущей части книги. Его можно интерпретировать как плод сложного взаимодействия фотопрактики и исторической эпохи или, выражаясь точнее, – взаимодействия различных эпох посредством фотографической практики. В ней фотограф А. А. Голованов цитирует не столько современную эпоху, сколько знаменитых фотографов XIX – начала XX века, скорее всего, неосознанно демонстрируя свое эстетическое и профессиональное кредо. Оно может быть описано с помощью наблюдения теоретика фотографии, главного редактора иллюстрированных журналов «Магnum» (Австрия) и «Штерн» (ФРГ), организатора всемирных фотовыставок 60-х годов XX столетия Карла Павека о продолжении викторианской эпохи в художественной фотографии XX века:

«Художественную фотографию» чаще всего считают дитятей викторианской эпохи и представляют дело так, будто бы она была похоронена на рубеже веков новой “правдивостью”, а в двадцатые годы – новой “объективностью”. Это историческое ограничение художественной фотографии неверно. Фотографии в стилях “ар нуво” и “баухауз” великолепно вписались в традицию художественной фотографии. Она по сей день остается символом веры для тех, кто считает, что изображение производится не из наличного (вульгарной действительности), а только из того, что могут сделать из наличного фотографы-художники. Их манипуляции, их стиль, их оформление, их почерк, их образная идея – якобы решающее в изображении. Содержание, субстанция и событие играют подчиненную роль. То, что делает фотографию фотографией – якобы какая-то открытая фотографом линия, представленная им форма, группировка, ритм предметов, образец, четкий образ, эстетическое воздействие, гармония изображения... – и все это будто бы есть исключительно целенаправленное достижение мастера фотокамеры» (Равеск К., 51).

Поле для исследований (неизбежно междисциплинарных) в русле «исторического изучения изображений» остается открытым и нуждается в интенсивном освоении. Одним из самых трудных теоретических вопросов в «визуальной истории», равно как и в визуальной социологии, антропологии и герменевтике, является вопрос о возможности перевода изображения в текст.

## Второй круг



Ободренный находками последних недель, вылетаю в столицу. С 1 по 24 апреля 2006 года предстоит совершить второй круг по старым местам, вновь встретиться с теми, кого я интервьюировал более года назад, и расширить ареал поиска. Нужно попытаться установить личность автора «парадной» фотографии 1966 года и добыть больше информации о Нарских, найти удовлетворительные ответы на вопросы и замечания, прозвучавшие во время дискуссий по моим докладам в Германии и Швейцарии.

Вечером 1 апреля вылетаю в Москву. Земля неожиданно, всего метрах в 70 под самолетом, выныривает из-за темно-серого облака. Повсюду лежат груды таящего, серо-черного снега, давно сошедшего в Челябинске. Через полтора часа я сижу у Эльги Хазановой и Юрия Немировского. Эльга, дочь А. С. Пухальской и А. П. Хазанова, двоюродного брата моей мамы, и ее муж – страстные спорщики. Слушать их одно удовольствие. Я наслаждаюсь их словесными баталиями с середины 80-х годов, когда они еще жили в Свердловске. Памятуя об интересе немецких коллег к состоянию фотолюбительства в 60-х годах и совете сына Эли и Юры Стефана обратиться к ним за консультацией по этой теме – в их семьях фотолюбительство имело место с 50-х годов, и оба в состоянии внятно вспомнить 60-е, годы своей молодости – задаю соответствующие вопросы. Дискуссия вспыхивает с полуоборота. Эля, обладательница феноменально цепкой памяти и мастер провокационно жестких формулировок, настаивает на тезисе об очень широком распространении фотолюбительства. Юра, склонный к более осторожной позиции, возражает. В конце концов, оба сходятся на том, что фотографирование в 50–60-х годах было по преимуществу уделом «приличных» семей. С Юрием солидарна и А. С. Пухальская, у которой я, как всегда в последние годы, нахожу приют на время пребывания в столице.

С понедельника, 3 апреля, начинаются плотные исследовательские поиски. Работа в Центральном историческом архиве Москвы (ЦИАМ) чередуется со встречами и интервью. Забегая вперед, вынужден признаться, что архивные «раскопки» в Москве, среди клировых ведомостей и послужных списков священников из фонда Московской епархии почти ничего не дали. Я нашел документы многочисленных Воздвиженских и Протопоповых, с которыми священники Нарские состояли в родстве, но – ни одной бумаги, касающейся самих Нарских. Вероятно, столь плачевный эффект был результатом многих причин. Прежде всего, сказались, видимо, моя неопытность в церковной истории, недостаток исходных данных, необходимых для успешного поиска. Не исключено, что на этот изъян могли наложиться немногочисленность и малое служебное рвение священ-

ников Нарских. К тому же и организация работы исследователей в архиве вовсе не благоприятствовала спокойной и сосредоточенной работе. Из заказываемых дел, ограничиваемых пятью единицами в день с последующими двумя рабочими днями ожидания, я получал всего по два-три, а иной раз и вовсе ни одного. Строгие хранительницы архивных сокровищ относились к клиентам-ученым сурово, как к неразумным детям в советской школе. Я наблюдал смущение работавшего с документами Манфреда Целлера, моего бывшего берлинского помощника, с которым сотрудницы читального зала обходились, как с нашкодившим мальчишкой. Словом, работа в ЦИАМ не доставила удовольствия и не принесла удовлетворительных результатов.

3 и 10 апреля состоялись очередные интервью с Эльгой и Юрием. Разговор с фотолюбителя нежданно и очень кстати переключается на семейные предания и мемориальную семейную коммуникацию в колоритных, роднившихся друг с другом семьях Хазановых, Немировских и Гезенцевев. Так в моих руках оказался редкий качественный материал для размышлений о функционировании семейной памяти.

5 апреля я приглашен к Лоре (родной племяннице Н. Я. Хазановой) и Феликсу Ивановым. Изысканный ужин сопровождается неспешной беседой. Лора обожала «дядю Борю» (моего деда). Она вспоминает, как маленькой девочкой любила садиться к нему на колени и трогать за нос. К моей несказанной радости я получаю на сутки архив ее отца, генерал-майора И. Я. Рывкина, и на следующее утро, как только показалось солнце, переснимаю его (А. Сологубов привез мне в январе хорошую цифровую камеру – незаменимую помощницу в работе над проектом). На следующий день перед назначенной на 14:30 встречей с Лорой, я для надежности копирую несколько документов ее отца (благо, в их доме оказался копировальный центр).

В течение полутора часов Лора рассказывает мне о своих родителях. Вторгаться в стилистически изящную, связную и ясную ткань ее повествования не было необходимости. Ее волнение свидетельствовало о том, что делиться воспоминаниями такого рода для нее – дело непривычное. Тем не менее, она не теряла основной нити изложения, элегантно возвращаясь к ней после пространных отступлений от основной сюжетной линии.

Сценарий ее рассказа строится на противопоставлении домашней атмосферы в ее семье и в доме Н. Я. и Б. Я. Хазановых. Меня впечатлили откровенность и доверительность нашей беседы. Касаясь наиболее щекотливых тем, Лора просит меня выключить диктофон.

Интервью и архивная работа перемежаются телефонными звонками. За небольшими консультациями я обращаюсь к двоюродной сестре Вере Деминой и папиной кузине Е. А. Нарской. 7 и 9 апреля

навещаю в Железнодорожном сестру отца Виолетту (беру у нее интервью) и семью ее дочери Веры; 9 апреля – друга отца И. В. Кузнецова.

Первая половина дня 11 апреля – сумеречная, но совершенно пустая. Мои попытки созвониться с Теодором Шаниным на предмет возможной встречи оказываются напрасными, в архиве не выдают ни одного дела. Во второй половине дня А. С. Пухальская знакомит меня с рукописными книжками-воспоминаниями своей матери, А. И. Булгаковой. Они да фундаментальная семейная хроника, составленная самой Агнией Стефановной – вот и все мемуарные тексты, встретившиеся мне в домашних архивах родственников и знакомых. Через несколько дней, когда на пасмурном небе наконец появится весеннее солнце, я пересниму просветленные рассказы Агнии Ивановны Булгаковой о дореволюционной молодости. Поздним вечером я выезжаю в Дзержинск.

Ранним утром следующего дня я не без волнения шагаю к дому в центре Дзержинска, на углу улиц Ленина и Гагарина, где свои последние годы доживали Н. Я. и Б. Я. Хазановы. Здесь живет моя кузина Татьяна Николаевна Кузнецова, к которой после кровоизлияния в мозг в прошлом году переехала старшая сестра моей мамы, Мира Борисовна Корзухина. В октябре 2005 года телефонный разговор с ней меня удручил. Звонок из Берлина застал ее на кухне. В трубке слышится замедленная, с усилением, речь, в измученном голосе – слезы: «Я полный инвалид. Не могу себя обслужить, очень плохо себя чувствую, с утра до вечера – боли». Тетя Мира жаловалась тогда, что не может писать писем, даже поздравительную открытку к золотой свадьбе моих родителей ей написать не под силу – не может найти слов.

Мрачные ожидания, к моей радости, развеиваются. Таня обнимает меня на пороге как всегда тепло и радушно. Из комнаты, где после смерти мужа жила Н. Я. Хазанова, выходит М. Б. Корзухина. Она как-то посерела, но выглядит значительно лучше, чем я предполагал. Обнимаемся, целуемся. «Ты меня вообще узнаешь?» – с сомнением спрашивает она. И на мое энергичное подтверждение отвечает с хорошо знакомой певучей волжской интонацией: «Ладно, поверю тебе на слово!»

После завтрака я еду в Нижний Новгород на встречу с человеком, который квалифицированно и заинтересованно введет меня в историю нижегородской фотографии – Михаилом Михайловичем Хоревым. Еще в январе 2005-го, в первый мой приезд в Нижний на поиски следов автора фото 1966 года, в архиве мне порекомендовали обратиться к М. М. Хореву, который в тот момент, к сожалению, лежал в больнице. Вскоре после моего возвращения в Челябинск, 14 февраля 2005 года, дома зазвонил телефон. В трубке – мягкий молодежливый голос с моментально узнаваемой нижегородской мело-



дикой: «Игорь Владимирович? Здравствуйте! Вас беспокоит Михал Михалыч Хорев».

В день того звонка он в первый раз после больничного перерыва пришел в архив, и заведующая читальным залом Г. А. Деминова поведала ему о моем визите, сообщив мои челябинские координаты. Михаил Михайлович рассказывает мне о Русском музее фотографии – своем любимом детище – и об объекте своих исследовательских интересов, который он в самом общем виде обозначает так: «Фотографический комплекс как источник по истории Нижегородского Поволжья в дореволюционный период». Так состоялось наше – пока заочное – знакомство, и вот теперь, в апреле 2006 года, мы должны, наконец, встретиться.

В Русском музее фотографии на улице Пискунова я встречаю невысокого, седого, прихрамывающего мужчину с палочкой. Из-под кустистых серебристых бровей на меня смотрят живые карие глаза с белками удивительной белизны. Когда мой новый знакомый хочет подчеркнуть какую-то фразу, он приподнимает брови, от чего его лицо становится необыкновенно молодым. Передаю ему два тома роскошного пятитомного альбома «Челябинская область в фотографиях», любезно предоставленных мне директором издательства «Каменный пояс» Д. Г. Графовым, и предварительную программу конференции по визуальным источникам, запланированную в Челябинске на 2007 год, с приглашением принять в ней участие. «Какой же я фотожурналист?» – недоумевает Михаил Михайлович, просматривая информацию о потенциальных участниках будущей конференции.

Михаил Михайлович Хорев (1943 года рождения) – коренной горьковчанин, выпускник Казанского государственного университета (1975), член Союза журналистов СССР (1978), лауреат премии редакции журнала «Советское фото» (1989), автор около двухсот публикаций, профессиональный фотограф, специально окончивший в студенческие годы отделение фотографов в профессионально-техническом училище. Он страстный фото(крае)вед, один из немногих в России, и инициатор создания одного из первых в нашей стране музеев фотографии, для которого собрал более 26 тысяч экспонатов. Уже этот, далеко не полный перечень статусов и заслуг М. М. Хорева ясно говорит об удаче, которой для меня и моего проекта оказалось наше знакомство.

Во время моих ежедневных приездов из Дзержинска в Нижний Новгород Михаил Михайлович многократно встречался со мной – в музее фотографии, в архиве, в библиотеке, у него в квартире на Ильинке, в деревянном доме постройки 1836 года, украшенном богатейшей резьбой. От него я узнаю массу деталей о дореволюционных нижегородских фотографах – не только знаменитых, но и вто-

рого плана («Как могут быть генералы без рядовых солдат?» – поясняет он), о перипетиях национализации фотографических заведений в 20-х годах. Опытный специалист по атрибутированию фотографий, он решительно отказывается от атрибуции моего фото 1966 года: определить авторский почерк по студийной фотографии, да еще советской, поставленной на поток, почти невозможно. От него же я узнаю о семействе фотографов Головановых, с дочерью одного из которых он был лично знаком.

М. М. Хорев высказывает большие сомнения по поводу возможности найти документы фотографов 60-х годов XX века: на фотоателье не распространялась обязательная сдача дел в архив, а в ходе реорганизации учреждений, руководивших бытовым фотоделом в Горьком (Нижем Новгороде) 80-х – начала 90-х, даже личные дела умерших фотографов, скорее всего, пропали. Михаил Михайлович приветствует мою задумку, но считает ее почти невыполнимой: слишком много разноплановых историй мне придется расследовать.

Вместе с тем в ходе наших разговоров я все более склоняюсь к версии, что фотография 1966 года сделана А. А. Головановым. Благодаря рассказам М. М. Хорева один за другим отпадают мужчины-фотографы, работавшие в 60-х годах в Фотографии № 1: тот был молод, этот к 1966 году уже умер. Но никаких надежных доказательств авторства Голованова, к сожалению, и в ту поездку в Нижний не обнаружилось.

Наряду со встречами и интервью с М. М. Хоревым я 14–15 апреля записывал разговоры с М. Б. Корзухиной, Т. Н. Кузнецовой и с другом моего детства В. В. Гречухиным. Вечером 14 апреля Володя привез меня к себе домой. Мы засиделись за столом до глубокой ночи. Как оказалось, детские фотографии я захватил с собой не напрасно. Володя вздрагивает и волнуется, увидев на одной из них корзинку-сумочку Н. Я. Хазановой. Он хорошо помнит эту сумочку с клубникой, которой моя бабушка угощала нас, возвращаясь с рынка. Из интервью с тетей Мирой и Таней я извлек новые детали о характере Б. Я. Хазанова, о его поведении, его закрытости, продиктованной, видимо, желанием уберечь дочерей от информации, которая могла бы им навредить.

16 апреля по договоренности с Володей Гречухиным я приехал на улицу Минина, в дом номер 19а. Володя с женой и я проходим вслед за его отцом, Валерием Леонидовичем, в квартиру Гречухиных, кажущуюся мне теперь невозможно крошечной. Как утверждает отец Володи, в ней всего 21 квадратный метр полезной площади, размер комнат – 12 и 9 м<sup>2</sup>. Мы спускаемся в подвал, где хранятся семейные фотографии Гречухиных. По диагонали от их бокса, слева от входа в подвал, находится «наш», в который дедушка водил меня в детстве. Осторожно глазу прохладные, сухие, шершавые доски стен и двери.

Валентин Леонидович, пачку за пачкой, достает запыленные, пахнущие сыростью фотографии. Одна из первых, попадающихся мне на глаза – крупноформатное фото семьи Гречухиных на скамейке перед цветущей клумбой во дворе дома 19а. На обороте – дарственная надпись от управляющего Горэнерго В. Захарова и дата: 5 сентября 1949 года. Как поясняет Валерий Леонидович, В. Захаров, получив направление в Ленинград, перефотографировал на память всех своих сослуживцев – соседей по дому, создав целый фотоальбом.

Точно такая же, по сценарию и фону, фотография, но с изображением семейства Хазановых и, к сожалению, без подписи хранится в доме моих родителей и в Дзержинске, украшая стену в кухне квартиры Т. Н. Кузнецовой. Интересно, что сама Таня, изображенная на коленях у матери в двухлетнем возрасте, смутно помнит, как организовывалась съемка, как под руководством деда перетаскивалась скамейка, помнит мамину кофту.

Вернувшись в Дзержинск, я рассказываю Тане и тете Мире о неожиданной находке. На этот раз М. Б. Корзухина, которая не могла вспомнить обстоятельств возникновения фотографии, столько лет провисевшей на стене в гостиной ее родителей, припоминает Захарова. Правда, по ее версии, он был направлен не в Ленинград, а в одну из соцстран. Перед отъездом он предлагал Б. Я. Хазанову ехать с ним. На новом месте будет много непонятного, и со своим главным бухгалтером он был бы абсолютно спокоен в финансовых вопросах. От этого предложения Хазанов категорически отказался, в очередной раз проявив то ли осторожность, то ли любовь к детям и внукам, с которыми не пожелал разлучаться.

Дни в Дзержинске и Нижнем Новгороде были плотно спрессованы работой. В бывшем партийном архиве на Большой Печерской я ознакомился с делами советских фондов, имеющих отношение к фотографии 20–30-х годов. В более поздних материалах присутствовала только парадная статистика – и ни одной фамилии: за цифрами совершенно пропали люди.

Но, пожалуй, самым сильным эмоциональным впечатлением было чтение газет 1963–1972 годов в зале периодики областной библиотеки. Такие чувства не возникают при работе с «чужим» материалом, с документами эпохи и культуры, в которых сам не жил. Я соприкасался со свидетельствами места и времени, которые были уже однажды мною пережиты лично. Мое прошлое, как по волшебству, обретало структуру и плоть. Чтение заставляло то и дело помечать на полях конспекта: «смутно помню»; «Вспомнил! Дед любил напевать арию Мефистофеля “Сатана там правит бал”, при этом смешно выпучивая глаза»; «Вспомнил: был какой-то спектакль о родительском собрании (где школьные сочинения разоблачали мещанство родителей)»; «Я любил слушать!»; «мне читал дедушка!»

18 апреля, за два дня до отъезда в Москву, я приехал в отдел периодических изданий библиотеки слишком рано. Коротая время, сходил в кремль на службу в Архангельском соборе, где перезахоронены останки Козьмы Минина, прошелся по Большой Покровской. Дверь в подъезд, где раньше находилась Фотография № 1, была открыта. Ремонт помещения, где завтра откроется салон «Столичная обувь», закончен. Поднимаюсь по крутой бетонной лестнице в тридцать ступеней (мне казалось, что раньше она была чугунная или деревянная), по которым не ходил почти сорок лет. В салон пока заходить нельзя – да и не хочется: я утомлен странствиями по пепелищу своего прошлого.

21 апреля возвращаюсь в Москву. У меня есть три дня, чтобы доделать то, что не успел: предстоят последний поход в архив, дописки интервью, досъемки фотографий и бумаг из личных архивов. В один из этих дней встречаюсь с Теодором Шаниным в его квартире на Васильевской. Я не виделся с ним полгода, со стокгольмской конференции. Теодор простужен, а завтра ему лететь в Лондон. Мило, что он принял меня в не очень удобное для себя время. За чашкой горячего чая, столь уместного в неуютную дождливую погоду, он расспрашивает меня о сотрудниках и проектах Центра культурно-исторических исследований, хвалит факультет права и финансов ЮУрГУ, приютивший историков-«альтернативщиков». Ему нравится подзаголовок изданного нами сборника «Век памяти, память века: Опыт обращения с прошлым в XX столетии», привезенного ему в подарок. В ответ Теодор презентует мне детектив Джозефины Тэй «Дочь времени» – о сыщике, который, лежа на больничной койке, расследовал обстоятельства жизни и смерти Ричарда III и пришел к версии, принципиально отличающейся от официальной. Теодору близка эта «картинка» – не только потому, что он прочел детектив в аналогичном, больничном антураже и бездвиженном состоянии. Пошел уже третий десяток экземпляров этого издания, которое он охотно дарит российским коллегам, все еще не очень уверенным, что занятие историей – вещь субъективная, потому что творческая.

В ночь перед возвращением в Челябинск я увидел во сне открытку, которая у меня была в детстве: палехскую картинку с ковром-самолетом и ракетой над Кремлем с красными звездами на башнях. Проснувшись, я вспоминаю, что разглядывал ее во время прогулки во дворе дома на проспекте Ленина вместе с соседским мальчиком Вадимом Никулиным; причем гуляли мы тогда в сопровождении его бабушки и моей няни, следовательно, нам было не более пяти-шести лет. Проект не отпускает меня ни днем, ни ночью.

По возвращении в Челябинск в моем дневнике появляется следующая запись:

«26.04. В последние дни в Москве, кажется, в день встречи с Т. Шаниным, родилась в первом приближении структура книги:

- 1) Действующие лица
- 2) Неоконченный детектив (мой раскопки)
- 3) Память (коммуникативные практики вокруг семейного припоминания и архивирования прошлого).

Ранее я о структуре основательно не размышлял, она мне виделась так: 1) история книги, 2) участники фотографич[еской] и постфотографич[еской] сит[уа]ции. 3) интерпретация фотографии (как в докладе)».

Ну вот, проект, кажется, начинает приобретать более четкие контуры. Работа вступила в фазу систематизации и интерпретации собранного, уже довольно обширного материала. Это, конечно, не исключало необходимости дальнейшего сбора данных, который, правда, становился все более прицельным. Понадобится еще один круг поездок, интервью, фотосессий (и этот, третий круг будет самым долгим, растянувшись с лета 2006-го по весну 2007 года; он будет сопровождаться более интенсивным чтением и конспектированием исследовательской литературы, прослушиванием и расшифровкой собранных интервью).

Третьему кругу поисков предшествовало несколько эпизодов, повлиявших на дальнейшие изыскания. Отчасти они стали своеобразной разминкой перед новым стартом, отчасти повлияли на вектор последующей работы. Во всяком случае, эти эпизоды произвели на меня сильное впечатление.

В мае 2006 года что-то случилось со зрением – тексты при чтении начали двоиться. Только этого не хватало! Надо спешить...

26 мая состоялась встреча выпускников 1976 года школы № 121. Впервые за тридцать лет после ее окончания я решил прийти туда, чтобы принять участие в юбилейном торжестве, которое проводилось в том же помещении, что и наш выпускной бал, – во Дворце железнодорожников. В первые минуты в школьном дворе меня охватила паника – я почти никого не узнал. В кабинете директора, куда нас пригласили для «возобновления» знакомства, большинство «девочек» – теперь уже зрелых женщин – совершенно в старом духе благодарили «любимую» школу за то, что она им дала. Лишь один из выпускников сформулировал чувства, близкие мне в тот момент: он выразил признательность за то, что сейчас к нему возвращается память. Кажется, его не поняли – в кабинете раздался смех.

В тот вечер я узнал, что большинство наших учителей, в том числе тех, к кому я относился с особой симпатией, совсем недавно умерли. Всего за пять лет до этого они принимали участие в подобной встрече, на которой я при всем желании не смог бы присутствовать: в тот момент я завершал предыдущую книгу и находил-

ся в зарубежном турне с докладами по ее ключевым проблемам. Но и желания, честно говоря, тогда я не испытывал. Теперь я остро почувствовал быстротечность времени.

Разговаривая с одноклассниками, я обнаружил, что они помнят о школе больше и иначе, чем я. Тогда-то я и принял решение, что Челябинск и школа непременно должны присутствовать в будущей книге.

Кроме того, в мае я завершил работу над статьей о различиях университетских культур для сборника, основанного на материалах прошлогодней конференции в Норильске, а в июне по предложению пензенского историка Валерия Карнишина записал свои впечатления о встречах с Валентином Валентиновичем Шелохаевым для сборника, посвященного его юбилею. Оба текста основывались на собственном опыте и были пробой пера в новом для меня жанре автобиографического эссе. Результаты оказались мне обнадеживающими.

Эссе о В. В. Шелохаеве писалось в «походных» условиях, во время туристической поездки в Турцию (оставившей, кстати, неприятный осадок от общения с соотечественниками на отдыхе). Я писал не только в номере отеля, но и где придется – в экскурсионном автобусе и на борту прогулочного катера, в аквапарке и на пляже. Однажды, когда я примостился с потрепанными листами бумаги в шезлонге у бассейна, мой массажист Мутлу, здоровенный турок с улыбкой ребенка, стал что-то лепетать и показывать мне знаками. «Он говорит, чтобы Вы написали про него», – перевел администратор турецких бань, подчеркнуто корректный бакинец Мурат. Да, желание остаться в истории присуще не только «великим», и это «естественное» человеческое стремление более распространено, чем его реализация...

Перерыв между вторым и третьим кругом сбора материалов был сокращен ясной перспективой по поводу сроков, в которые нужно будет приступить к написанию книги: 4 мая 2006 года я получил из Базеля письмо от Йорна Хаппеля. Он с радостью сообщал, что моя «фотографическая» заявка выиграла стипендию Швейцарского национального фонда. Следовательно, всего через год, с мая по июль 2007 года, я должен буду работать в Швейцарии над рукописью. С подготовкой к фазе написания надо поспешить.

## Школа

**!** Театр был антитезой не только двору, но и новому миру, вторгшемуся в мою жизнь в середине 60-х годов – школе. Кстати, и в школу, в которой я проучился десять лет, и в класс под литерой «В» я попал благодаря театру.

Школа № 121 была в числе самых старых в Челябинске и считалась одной из лучших – с традициями и опытным, крепким коллективом. Она существовала с 1935 года, первоначально как школа № 1 Южно-Уральской железной дороги, и пережила все перипетии советских образовательных экспериментов. Сначала она была смешанной – в ней совместно учили девочек и мальчиков; затем, в период позднего сталинизма, стала женской; в 1954 году мальчишек и девочек вновь соединили; в 1962 году она была передана в ведение горono, превратившись в среднюю общеобразовательную школу № 121.

Я не имел права в ней учиться. Микрорайон, отделенный от нее улицей Свободы, относился к школе № 11, куда ходили все мои дворовые приятели. Эта школа считалась хулиганистой по набору учеников и не очень качественной по составу учителей. Моя мама заблаговременно предприняла шаги по преодолению правила, согласно которому дети были приписаны к школе по месту прописки родителей – одного из многих нежестких советских правил, обойти которые можно было с помощью знакомств, личных связей и предложения встречных услуг.

Кто-то из артистов, отдавших своих детей в школу № 121, порекомендовал ее маме. Та в июне 1966 года, перед отъездом на гастроли, пришла на прием к директору Р. А. Мавлютовой, написала заявление на прием ребенка в первый класс, и дело было сделано. В том же году школа обратилась к маме с ответной просьбой – помочь в подготовке к смотру художественной самодеятельности, результатом чего стала хореографическая постановка «Двенадцать месяцев», произведшая фурор на смотре ученических коллективов и оставшаяся в памяти моих одноклассников как одно из ярких школьных событий.

Однако выбор родителей в пользу этого учебного заведения был сделан, видимо, еще раньше. Помню, что поздней зимой 1965–1966 годов папа, гуляя со мной, с уверенностью указывал мне на желтое типовое раннесталинское здание как на «мою» школу.

Вскоре выяснилось, что в ней работали любители челябинского балета. Меня записали в самый элитный класс «А», но в последний момент, накануне 1 сентября, моей фамилии в списке учеников этого класса не оказалось. Вот оно – бремя славы: учительница, которой предстояло преподавать в «обыкновенном» классе «В», Раиса Николаевна Кудрик, оказалась страстной поклонницей моего отца и упростила начальство перевести меня к ней, хотя у нее и так было почти сорок учеников. Родители не стали настаивать на первоначальном варианте: их заверили, что ребенок попал в руки опытного педагога, да и папа – обычно непреклонный борец за справедливость – был, вероятно, польщен мотивом моей новой первой учительницы. Должен признаться, что личное знакомство Раисы

Николаевны с моим отцом, состоявшееся в первом или втором классе, ее глубоко разочаровало: когда в трескучие морозы он впервые пришел на родительское собрание – в валенках, тусклой советской одежде, невысокий, с залысинами и обычной внешностью, – она не поверила своим глазам.

Вероятно, в школе мне было неуютно, особенно с четвертого по шестой класс. Я довольно отчетливо помню 1 сентября 1966 года и несколько моментов из последующих недель. Вглядываясь в свое школьное прошлое, я различаю отдельные малозначащие картины, вплетенные в какую-то серую и тягучую паутинообразную ткань. Врезавшиеся в память эпизоды малочисленны и, как правило, не вызывают приятных ощущений.



...Первый класс. Шум перемены. Огромная столовая. Школьный завтрак: каша, крутое холодное яйцо с серой оболочкой желтка (сварено накануне), сладкий чай. Ребята ловко чистят яйцо, сдвигая и отшелушивая скорлупу большим пальцем. Мальчик ковыряет скорлупу большим и указательным пальцами, отколупывая маленькие кусочки. Миша Зайдель и Валера Захаревич, бойкие, задиристые мальчишки, смеются: «Ты чистишь яйцо, как девчонка!»

Класс собран во дворе школы (экскурсия? урок физкультуры?). Тонкогубый, широконосый В. Захаревич с кривой ухмылкой говорит, что Нарский – еврейская фамилия: все фамилии на «ский» – еврейские. Вечером Мама перечисляет знаменитых русских на «ский»: Чайковский, Мусоргский, Плисецкая (нет, Плисецкую не надо), Маяковский... Для Валеры это слабый аргумент: какие-то музыкантишки...

Первая плохая оценка, даже не «двойка», а «единица». Контрольная по арифметике была легкой: две задачи, обе решаются в одно действие. Это-то и смутило Мальчика: на предыдущих контрольных решение одной из задач предполагало две операции. Он оборачивается назад: сосед умудряется решить вторую задачу в два действия. Мальчик зачеркивает правильное решение и впервые (и в последний раз) в жизни списывает. Кто-то списывает у него. Объявляя оценки, Раиса Николаевна – высокая шатенка с узким лицом и длинным, тонким подвижным носом, – вызывает списавших к доске: они выставлены лицом к классу на всеобщее обозрение, осмеяние и осуждение. Учительница суровым тоном требует признания: кто первый начал списывать? Мальчик признается и плачет от унижения.

Весна. Октябратский сбор. Раиса Николаевна спрашивает, какой главный праздник в апреле, ожидая услышать ответ о дне рождения Ленина. Кто-то отвечает: «Пасха!» Следует скандал с вызовом родителей в школу.

Очередной октябратский сбор. Учительница что-то рассказывает. Вдруг тишину нарушает резкий звук наподобие выстрела:



Раиса Николаевна истерично кричит на тихого лопухого троечника Сашу Киселева, в руках у нее – сломанная указка из оргстекла. Саша беззвучно плачет. Вероятно, он шептался с соседом по парте или еще чем-то помешал учительнице. Та в ярости саданула указкой по его парте. Будут поговаривать, что указку она сломала о его голову. Раиса Николаевна вынуждена объясниться перед классом. В некоторых родителях этот эпизод посеет недоверие и неприязнь.

Четвертый класс. Атмосфера совсем другая. Раиса Николаевна требовала от учащихся поддержки своих решений, но ко всем относилась ровно. Навыки чтения, письма и счета она давала крепкие, учила ненавязчиво и систематично. В четвертом классе появилась новая учительница, лет 35–40, грузноватая, с химической завивкой. Никто из одноклассников мужского пола, к которым я обращался, не помнит ее имени. Она выискивала и привечала любимчиков, и вокруг ее стола во время перемен постоянно толпилась группа девчонок, совершенно сознательно пользуясь изъянами ее воспитательной системы. Мальчик сидит в левом ряду за первой партой, примыкающей к столу учителя: так повелось с первого класса, порядок рассадки свят и не подлежит обсуждению. Он забросил подготовку к появившимся в четвертом классе устным предметам – природоведению и истории. Пользуясь удобной минутой перед уроком природоведения, к которому он не готов, Мальчик обращается к учительнице с просьбой не вызывать его: он не раз слышал, как одноклассники таким образом избегали неприятных минут у доски – молчания, одиночества и позора. Но свою просьбу он формулирует крайне неуклюже, так что учительница понимает его превратно. «Вы меня сегодня не спросите?» – вопрошает он подчеркнуто бодро, чтобы скрыть неловкость, и с ужасом слышит в ответ: «Хорошо, спрошу». Он судорожно набрасывается на невыученный параграф учебника, но его охватывает такое оцепенение, что он не в силах продвинуться дальше первого предложения: «Памир – крыша мира». Он стоит у доски совершенно убитый, молчит. Класс веселится, учительница нетерпеливо косится на часы. «Двойка».

Пятый класс. Начальная школа окончена; у Мальчика новые предметы, учителя и классный руководитель – Нина Ивановна Плавинская, преподавательница немецкого языка. Последние недели перед Новым годом – время студенческой школьной практики. В школе активничают двадцатилетние будущие учительницы, студентки пединститута. Уроки идут кое-как, зато внеучебная работа кипит. Вероятно, Мальчик какое-то время болел, потому что волнующее известие о том, что ребята из его класса на костюмированном школьном балу будут изображать мушкетеров, доходит до него с опозданием. Его просьба о включении в мушкетерскую группу отмечается: репетиции идут полным ходом. Мама понимает его состояние и элегантно решает проблему. Она приносит из театра мушкетерскую

форму – шляпу с пером, голубой камзол с серебристым мушкетерским крестом, белую шелковую ленту через плечо, светлый, пристегивающийся кнопками плащ, белые лосины и мягкие белые сапоги с невысоким голенищем. Мама довольна примеркой, Мальчик – тем более (в то время он – один из самых высоких в классе). Единственное, что смущает Маму – белые, облегающие полупрозрачные лосины: в школе не поймут, будут смеяться. Мальчик несколько расстроен, что лосины заменяются темно-синими шерстяными лыжными штанами в обтяжку. В классе о его подготовке к балу неизвестно. В положенный день Мальчик переодевается в школьном гардеробе, в подвале. Ему помогает тетя Мира, приехавшая в Челябинск навестить младшую дочь Наташу, студентку института культуры. Не дожидаясь тетью Миру, Мальчик взлетает на третий этаж, место сбора класса. Каждая клеточка звенит от радости и возбуждения, хочется кричать и дурачиться. Это чудесное чувство полета, частое в детских снах, он испытал наяву лишь считанные разы, а в школе – лишь однажды, в то предновогоднее утро. Мальчик оказывается в центре внимания, его с интересом ощупывают, каждому хочется поддержать театральную рапиру. Внутренне торжествуя, он милостиво сносит навязчивый интерес. Но вскоре его радость улетучивается: его всовывают в мушкетерскую группу. Теперь его участие в ней оказывается желательным. Ни первое место в конкурсе групповых выступлений, ни индивидуальный приз за лучший костюм не в состоянии развеять горький осадок от ощущения, что его используют.

Шестой класс. Он совсем забросил учебу, скатившись на «тройки» по всем предметам, кроме русского, литературы и немецкого. Вечер после родительского собрания. Он лежит в постели, Мама сидит на краю его кровати. Ей хочется знать, что происходит с ее сыном. Он молчит. «Ну вот, – улыбается она сквозь слезы, – одной морщинкой больше». Ему стыдно. Он понимает, что дальше так продолжаться не может...☹

Первые недели учебы в 1966 году были скрашены пребыванием в Челябинске горьковской бабушки, Н. Я. Хазановой. Она отводила меня в школу и забирала после уроков, точнее – после занятий со школьным логопедом, ее тезкой и однофамилицей Ниной Лазаревной Хазановой. В классе выявилась довольно большая группа детей, не произносивших тот или иной звук. Я не справлялся со звуком «с»: он со свистом взрывался у меня за щекой. Я дивился, как на моих глазах один из одноклассников обрел раскатистое «р» – звук, с которым я долго мучился, стараясь не пользоваться содержащими его словами. Работа Н. Л. Хазановой оказалась столь успешной, что ее вместе с нами пригласили на телевидение. Запомнилось новое чувство тягостного ожидания в студии с искусственным освещением, в которой будто бы остановилось время. С этим чувством я позна-

комился в школе, и ощущение бессмысленной траты времени будет сопровождать годы учебы по крайней мере до седьмого класса.

Дома бабушка кормила меня «вкусненьким», как в Горьком. Столовая была совмещена с кухней и, восседая на папином кресле-троне, я мог во время еды видеть свою недавно сделанную в Горьком фотографию, которую бабушка поместила на почетном месте – в нише буфета.



...Запомнилось: вечером 11 сентября 1966 года раздается телефонный звонок. Дома были Няня, Бабушка и Мальчик: Папа, наверное, – на подработке в художественной самодеятельности, Мама с группой театральных артистов и магнитогорских металлургов – в Болгарии. Мальчик слышит в трубке взволнованный голос Дедушки, который, против обыкновения, просит позвать к телефону Бабушку, даже не поговорив с внуком. Бабушка плачет: на девяносто первом году жизни в Черновцах умерла ее мама. Няня долго сидит с Бабушкой на кухне и тихо ее утешает, отпаивая самогоном...☺

Мои воспоминания о школе выбиваются из благостной картины «счастливого детства», как и у многих советских учеников 50–60-х годов. Я совершенно сознательно не навещал школу с 1976 по 2006 год – меня туда не тянуло. Мои ощущения близки чувствам унижения, навязчивого контроля, бессмысленности, воспроизведенным Иосифом Бродским в эссе «Меньше единицы». Аналогично описывают ее и другие дети 50–60-х:

«Школу нельзя разъять на разные сферы – пионерский сбор, чистописание, культпоходы. Все детали школьной жизни взаимодействуют друг с другом. Это замкнутая разветвленная система, цель которой состоит в том, чтобы заставить ребенка воспринимать мир исключительно в школьных терминах.

Поэтому ученик с первого дня вступает в конфликт со школой, которая стремится навязать ему гражданскую точку зрения. Он хочет провести границу между правом личности на свободу и ее ответственностью перед государством.

Например, школа задает вопрос, кто разбил окно?

Школа хочет не найти виновного, а перестроить детское сознание, переориентировать его на другую систему ценностей. Ученик ведет себя в соответствии с нравственным кодексом своего коллектива. В рамках этого кодекса естественно и нормально не выдавать друзей. Школа же втолковывает ему, что такая нравственность – ненормальна, и дружба такая – ложная. <...>

Школа учит, что долг доносчика выше милосердия укрывателя. При этом ябеда наказывается остракизмом и не вознаграждается ничем. В этом духовное совершенство ябеды. Чувство исполненного долга перед обществом – награда сама по себе.

Доверие к миру взрослых следует доказывать лояльностью. Ребенок оказывается перед альтернативой – предавать друзей или предавать родину, которая подарила ему счастливое детство. Ребенок должен помнить, что недонесение есть преступление, своего рода покушение на отцеубийство. За нелояльность к своей большой семье надо расплачиваться муками совести.

Такая школа закладывает фундамент мироощущения, которое навсегда оставляет в человеке стыд перед любым актом протеста. Ему – все, а он... Это как кусать руку, которая кормит. Добрую, мозолистую, суровую и честную руку. Такая рука должна быть у отца-путейца, у отца-красногвардейца, у отца-космонавта, у того коллективно-го отца, которого по ошибке называют женским именем – Родина» (Вайль П., Генис А., 118).

В восприятии школы как места несвободы на самом деле нет ничего сугубо советского. Современная система образования повсеместно нацелена на сохранение и поддержание существующего порядка вещей. Пьер Бурдьё сравнивает ее с демоном, придуманным Максвеллом с целью наглядно объяснить преодоление второго закона термодинамики:

«Максвелл придумывает демона, который осуществляет отбор приближающихся к нему более или менее горячих, т. е. более или менее быстро передвигающихся частиц, направляя более быстрые в сосуд с возрастающей температурой, а более медленные – в сосуд с понижающейся температурой. Таким образом он поддерживает различия, порядок, который иначе постепенно бы разрушился. Система образования поступает подобно Максвеллову демону: ценой энергии, которая должна быть потрачена на процесс отбора, она сохраняет существующий порядок, т. е. дистанцию между учениками, наделенными разным количеством культурного капитала. Точнее, она отделяет с помощью целого ряда отборочных процедур обладателей наследственного культурного капитала от не обладателей. А так как отличия в способностях невозможно отделить от определенных социальных различий, обусловленных унаследованным капиталом, она содействует сохранению существующих социальных различий» (BOURDIEU P. PRAKTIISCHE VERNUNFT, 36).

При этом школа как государственное учреждение повсеместно – отнюдь не только в тоталитарных системах, но и в современных демократиях – воспитывает людей в духе лояльности к государству. Поэтому «советский школьный опыт скорее не особенный, а типичный на фоне стандартной постиндустриальной “западной” (в самом широком смысле слова) модели» (Келли К., 117), в связи с чем «многие утверждения о советской школе имеют отношение скорее к “школьной” стороне дела, чем к “советской”» (там же, 149).

Школа, несмотря на титанические усилия в этом направлении, с трудом вписывается в мир «счастливого детства» – конструкции, поддерживаемой, помимо прочего, с помощью детских фотографий. Не случайно школьные будни, за исключением, может быть, учительских семей, отсутствуют на страницах семейных альбомов. Школа представлена в них, как правило, первым и последним днями учебы. Попытки побудить школьников и учителей к совместному повседневному фотографированию как средству смягчения обоюдных отношений, по данным западных социологов, не увенчались успехом.

Господи, что я делаю?! Я убегаю от неуютных воспоминаний и прячусь за частокोल надежных цитат! А между тем, в школе были взрослые, которые дали мне так много и о которых я не могу не упомянуть. И в школе были сверстники, с которыми меня связывали сильные чувства. В школе мне предстояло испытать детскую влюбленность и подростковую дружбу.

## Немецкий язык



Стремительной походкой, с гордой осанкой, мама ежедневно направляется на работу, в академию культуры и искусств. Именно там, в Челябинском государственном институте культуры, более тридцати лет назад мой немецкий язык перепрыгнул планку школьной программы. И хотя это произошло в период, лежащий за пределами хронологических границ, прочерченных для этой книги, сюжет о немецком языке кажется мне уместным. Во-первых, в институте культуры в середине 70-х у меня состоялось знакомство, без которого мои перемещения в немецкоязычном пространстве (в том числе и описанные в этой книге) были бы невозможны. Во-вторых, оттуда тянется ниточка к одной из самых невероятных семейных историй, с которой я когда-либо сталкивался.

Впрочем, с немецким языком я познакомился значительно раньше. Гитлеровские войска были важным коллективным персонажем советского киноискусства, а выражения «Зиг хайль», «Хенде хох» и «Гитлер капут» прочно обосновались в игровой субкультуре послевоенного советского детства. Обрывки фраз на идиш – языке, чуть ли не наполовину состоящем из немецких слов – я улавливал в Горьком из разговоров родителей мамы. А когда мне было десять лет, я наблюдал, как мама напряженно готовилась к сдаче кандидатского экзамена по немецкому языку.

Август 1969 года мы провели в Плесе на Волге. Это была, кажется, четвертая поездка в дом отдыха Всероссийского театрального общества, в чудные левитановские места. С противоположного пологого, лугового берега Волги, куда мы переезжали на катере за

парным молоком, открывался завораживающий вид холмистого правого берега с густым смешанным лесом, над которым возвышалось семь церквей и часовен. Чуть ни ежедневно папа, заядлый грибник, водил нас на «свои» грибные места, по пути к которым мы проходили мимо завоеванного лесом, заброшенного старинного кладбища, чудом уцелевшего в сталинской кампании по ликвидации дореволюционного прошлого, и через обширное пшеничное поле. Плесовские леса, холмы, заброшенные церкви и таинственное кладбище снились мне затем в течение десятилетий.



...Отчетливо вижу Маму, сидящую за книгой на немецком языке, испещренную карандашными переводами отдельных слов, рядом лежит толстый немецко-русский словарь в жестком темно-коричневом переплете, который Мальчику разрешено листать. Отрываясь от чтения, Мама с воодушевлением рассказывает ему о том, что немецкий язык – язык великих писателей и ученых. Это язык Карла Маркса, автора «Капитала», предсказавшего победу социализма, общества без богатых и бедных. Мальчику он представляется добрым, справедливым бородатым дедушкой (его портреты были повсюду). Мальчик знает, что через год ему предстоит определяться, какой иностранный язык изучать в школе. И он твердо решает, что это будет немецкий. Причем решение принимается, исходя из практических соображений (подсказанных Мамой). Это – якобы несложные, по сравнению с английским, правописание и произношение; наличие немецкоязычной дружественной, социалистической страны, которую, став взрослым, можно будет посещать; и, не в последнюю очередь, возможная помощь Мамы в подготовке домашних заданий по иностранному языку...☺

То, что большинство окружавших меня взрослых в детстве учили немецкий, не было, конечно, случайностью. В поздней Российской империи и довоенном Советском Союзе немецкий, как и во всем мире, считался международным языком науки, техники и высокой культуры. Во время сталинской индустриализации немецкие специалисты оказались в выигрышном, по сравнению с американцами, положении: местный инженерный и технический персонал (прежде всего, дореволюционной закалки), как правило, мог объясниться с ними и разобраться в технической документации на немецком языке.

В школах 20–30-х годов работали опытные преподаватели немецкого. Старшая сестра мамы до сих пор, через 65 лет после окончания средней школы, без труда цитирует в оригинале стихи Шиллера и Гейне из обязательной программы. К тому же довоенная советская школа отдавала предпочтение немецкому языку из идеологических соображений – как языку марксизма и международного коммунистического движения.

Итак, в 1970 году в школе я без колебаний записался в группу, которой предстояло изучать немецкий язык. Его преподавала нам Нина Ивановна Плавинская, ставшая и нашим классным руководителем, строгая учительница старой закалки. Отношения между нею и учениками были сложные, но немецкую грамматику и словарный запас она вбивала крепко. Немецкое произношение, по традиции педагогического образования, ее мало волновало, за исключением «умляутов», не имеющих аналогов среди звуков русского языка. Помню, как она бесконечно и безуспешно заставляла Володю Берлета, паренька с немецкими корнями, но совершенно неспособного к языкам, повторять «у-умляут» (ü), звук между русскими «у» и «и». Он до конца школьного курса произносил «übet» как «юбер», а Deutschland переводил как «немецкая страна».

К десятому классу мне было ясно, что я хочу стать историком, и, по своей наивности, я был убежден, что это образование мне необходимо – и по силам – получить в Московском государственном университете. То ли родители не знали, насколько это было сложно в середине 70-х для провинциала без связей, с намеком на семитскую внешность и как бы не вполне русской фамилией, то ли они переоценили мои способности и знания, но отговаривать меня не стали и озабоченности не демонстрировали.

Более того, мама решила поддержать мои честолюбивые планы. Она хорошо знала, что незащитного абитуриента легче всего «завалить» на последнем из четырех вступительных экзаменов – устном экзамене по иностранному языку. Ранней осенью 1975 года, за год до окончания школы, она сообщила, что со мной готова дополнительно заниматься немецким языком преподаватель из института культуры Флора Адольфовна Марталер – прекрасный педагог немецкого происхождения с берлинским произношением. Последнее обстоятельство меня особенно впечатлило и заинтриговало. Правда, расспросить Флору Адольфовну об источнике «берлинского» акцента я решился лишь спустя почти тридцать лет и услышал в результате невероятную семейную историю, уникальную и характерную одновременно...

Вскоре я пришел в старое здание института культуры, в котором на втором этаже располагалась кафедра иностранных языков, на первую встречу с будущим «репетитором». Как сейчас вижу: стою в коридоре в напряженном ожидании; навстречу выходит улыбающаяся брюнетка лет тридцати – маленькая, спортивная, легкая, стремительная, с живыми карими глазами. В ее беглом, правильном русском языке явственен иностранный акцент. Она приглашает меня в соседнюю аудиторию и кладет передо мной немецкий текст. Дрожащим от волнения голосом, с запинкой, читаю абзац. После заметной паузы она подтверждает готовность заниматься со мной.

В течение первого полугодия четыре часа в неделю Флора Адольфовна работала над моим произношением. Выяснилось, что русская вера в простоту немецкой фонетики (как пишется, так и произносится) – большое заблуждение. Через пару месяцев на школьных уроках немецкого языка Нина Ивановна начала странно на меня коситься, когда мне приходилось вслух читать по-немецки. У одноклассников мое произношение вызывало веселое оживление.

Флора Адольфовна учила меня по учебникам и хрестоматиям немецкого языка и литературы Виктора Кляйна – ее учителя, как выяснилось позднее. К обоюдному удовольствию, мы успешно продвигались. Занятия проходили непринужденно и неустойчиво. Флора Адольфовна заразительно смеялась над моими ошибками, так что и я, вместо того чтобы угрюмо обижаться, начинал хохотать вместе с ней. Я занимался с удовольствием и даже, сверх программы, пробовал перо в стихотворных переводах – старательных и довольно беспомощных.

Ни в 1976-м, ни в следующем году поступить в МГУ мне не удалось. В этом смысле знания немецкого не пригодились, но изучение языка приобрело самостоятельный смысл, оторвавшись от первоначальной, узко прагматической цели. Прекращать занятия было жалко, и в результате Флора Адольфовна в течение трех лет настойчиво укрепляла мои языковые навыки.

В университетские годы мне также повезло, помимо прочего, с преподавателем немецкого языка. В течение семи семестров Людмила Васильевна Чурсина работала с нами систематично и требовательно. Она уделяла значительное внимание произношению и не оставляла в покое сильных студентов. Задания выдавались дифференцированно, и студенты-одногоруппники от души потешались над тем, как Людмила Васильевна организовывала «автоматический» зачет для меня, Валерия Антонова или Владимира Борисова. Для получения «автомата» от наиболее успешных в языке требовались обширное самостоятельное чтение, работа с текстами повышенной сложности, разбор хитроумных грамматических случаев. И конечно – активное участие в ежегодных немецких вечерах, которые, правда, были не столь веселыми, как всеми любимые вечера английского, искрометные и не требующие изнурительной языковой подготовки, но отличались основательностью и давали участникам дополнительный языковой опыт.

С Ф. А. Марталер я встретился вновь в Баварии в декабре 1987 года, через шесть лет после ее выезда из СССР. С тех пор изредка, раз в несколько лет, мы встречались в Германии, у нее под Регенсбургом, или у меня, во время пребывания в Тюбингене. В декабре 2002 года во время прогулки по парку близ тюбингенского замка Флора Адольфовна поведала мне невероятную историю путешеств-



вия своей семьи по опасному XX столетию, которую я записал тремя годами позже.

Флора Вальт родилась летом 1943 года под Берлином, в семье гражданина Германии по рождению, инженера по образованию и гимназического преподавателя по профессии Адольфа Вальта (1909–1986) и российской немки из-под Одессы Матильды Вальт (1910–1983), урожденной Вольгемут. Родители Матильды, причерноморские немцы, имели крепкое хозяйство в полусотне километров от Одессы. Отец ее пропал без вести во время Первой мировой войны, его вдову с тремя детьми, добросовестно следуя немецким законам, поддерживала община. Матильда в 20-х годах вступила в комсомол и верила в революционные идеалы.

Все изменилось во время коллективизации. Вольгемутов она полностью разорила. С этого момента в семье было покончено как с верой в бога, так и с коммунистическими ценностями. Матильда перебралась в Одессу, где изучала медицину. Со своим будущим мужем она познакомилась в начале 30-х годов. Молодой инженер интересовался аграрной политикой в СССР, а советские власти были заинтересованы в привлечении немецких специалистов к советским сельскохозяйственным экспериментам. Приехав в Советский Союз с делегацией для ознакомления с плодами коллективизации, Адольф остался в Причерноморье на несколько лет. Через год после знакомства он женился на Матильде; летом 1935 года у них родилась старшая дочь Нелли.

Супруги Вальт с маленьким ребенком и матерью Матильды выехали в Германию в 1937 году, в разгар Большого террора, который болезненно коснулся и иностранных граждан. На военную службу А. Вальта, тридцатипятилетнего преподавателя гимназии, призвали поздно, лишь в 1944 году, когда исход Второй мировой войны был очевиден. Расставаясь с семьей, Адольф просил дождаться его, не покидать местечка Боров близ Бранденбурга, чтобы они не потеряли друг друга.

Его отправили не на фронт, а в офицерскую школу СС в Италии, где он пробыл полгода и попал в плен к американцам. Матильда, на свою беду, честно выполнила просьбу мужа и не сдвинулась с места. С матерью и тремя маленькими дочерьми – Нелли, Эрной и Флорой – она оказалась на самой границе советской оккупационной зоны, по эту сторону рубежа советского сектора. Немецкое гражданство не спасло Матильду от преследований советских властей – в ее паспорте, как и в паспорте матери, значилось место рождения в пределах Российской империи. Она разделила судьбу нескольких тысяч бывших советских гражданок: ранней зимой 1945–1946 годов ее вместе с матерью и детьми принудительно депортировали в СССР. От Бреста до Урала их везли в течение двух-трех недель, не выпуская из

холодных товарных вагонов. Многие «пассажиры» умерли в пути от холода, истощения и антисанитарии. Так в Асбесте Свердловской области оказалось около тысячи человек, насильственно вывезенных из Германии, Польши, Румынии, Чехословакии – в основном, женщин с детьми, когда-то проживавших на Украине.

Семья Матильды прибыла в Асбест в январе 1946 года. Здесь им предстояло провести долгие пятнадцать лет; средняя дочь Эрна останется здесь на 43 года и вернется в Германию лишь в 1989-м.

Из первых детских впечатлений, поразивших маленькую Флору, были обилие снега и красноармейцы с собаками. Первый год депортированные провели в десяти недостроенных военнопленными бараках, по сто человек в каждом. Жили они вначале в непосредственной близости к военнопленным и не могли удалиться от жилья более чем на три километра. Затем их переселили в деревянные дома. Паспортов у них не было до 50-х годов, взрослые были обязаны ежемесячно регистрироваться в комендатуре, свобода передвижения ограничивалась десятью километрами.

Флора Адольфовна протестует против изображения жизни депортированных в послевоенном СССР как сплошной череды страданий. Ее не покидает ощущение, что она выросла свободной и на свободе. Русский язык выучила, играя с детьми. Флора окончила советскую школу-десятилетку и получила высшее образование. Но этому предшествовала история, в известном смысле роковая для дальнейшей судьбы Матильды и Адольфа Вальт.

Во второй половине 40-х в Асбесте узнали, что Адольф «служил» в СС и остался жив. Кажется, в 1947 году – точнее старшие дочери Матильды не могут вспомнить, и никакой документации по этому делу мне обнаружить не удалось – в Свердловске состоялся коллективный судебный процесс, в котором в качестве обвиняемых фигурировали российские немцы из числа депортированных, служившие во время войны в вермахте. Среди них, осужденных на сроки от трех до семи лет, был заочно приговорен к 25 годам лишения свободы Адольф Вальт.

Этот приговор рикошетом ударил и по Матильде. Ей на два года было запрещено работать врачом. Красивую и волевою женщину не покидала надежда вернуться в Германию. Домашним языком на протяжении десятилетий, проведенных в СССР, был немецкий. После запрета на работу по профессии она трудилась в родильном доме уборщицей. «Только работа нас спасет», – не уставала повторять она. За пять лет неутомимого труда Матильда Вальт вновь поднялась до должности врача-гинеколога.

В середине 50-х годов, казалось бы, забрезжила надежда на воссоединение семьи в Германии. После подписания соответствующего договора с Аденауэром депортированным из Германии граж-

данским лицам и последним немецким военнопленным, переквалифицированным Сталиным в военных преступников, было разрешено выехать в ФРГ. После принятия в Министерстве иностранных дел СССР делегации советских немцев у них ненадолго появилась реальная возможность покинуть СССР; но на Урал обнадеживающая весть пришла с опозданием. Немцы получили также разрешение учиться в вузах. Правда, медицинское высшее образование по-прежнему оставалось для них недоступным: Флора Вальт дважды сдавала в Свердловске экзамены, но не была принята в мединститут.

Между тем, Адольф Вальт, живший в ФРГ, стал разыскивать свою семью, которая, как он надеялся, вернулась в Причерноморье. При посредничестве посольства ФРГ его первое письмо пришло в Асбест в конце 50-х годов. Однако долгожданное воссоединение семьи не состоялось: родственникам осужденного в СССР «военного преступника» выезд в ФРГ был запрещен.

В начале 60-х годов Флора Вальт поступила на отделение германистики Новосибирского государственного педагогического института. «Языки – лучший капитал», – говаривала ее мать. Отделение было детищем Виктора Кляйна, репрессированного поволжского немца, члена Союза писателей СССР, автора замечательных учебников для своих студентов-германистов и создателя школьных учебников по немецкому языку. Отделение германистики в Новосибирске имело уникальную особенность: согласно концепции В. Кляйна и вопреки недовольству властей оно в первую очередь «обслуживало» советских немцев и было крупным центром распространения немецкой культуры.

В Новосибирске Флора «вновь» познакомилась со своим будущим мужем, которого знала еще в детстве, – выпускником факультета автоматике знаменитого Уральского политехнического института. В это время он работал в новосибирском Академгородке. В 1967 году Флора уехала в Казахстан, где в это время работал ее муж и где в апреле 1968 года у них родился сын Вадим. Один год она преподавала в школе в Джетыгаре, а затем, когда муж получил приглашение в один из челябинских научно-исследовательских институтов, еще год – в Копейске близ Челябинска, совмещая работу в местной школе с преподаванием немецкого языка в Челябинском государственном педагогическом институте. В 1970 году Флора Адольфовна перешла на работу в молодой институт культуры.

После смерти матери, бабушки Ф. А. Марталер, Матильда Вальт в 1972 году перебралась в Челябинск. До этого она жила у старшей дочери, вышедшей замуж, к великому огорчению семьи, за русского, более того – за партийного функционера в Таджикистане. Как раз в это время вновь наметилась либерализация режима выезда немцев из СССР в ФРГ. В 1972 году Матильда получила разрешение на

отъезд в Германию. Однако она не хотела уезжать одна, а муж Флоры категорически отказался покидать страну. К тому же Адольф Вальт в это время жил с подругой и ее двумя детьми, и Матильда не хотела разрушать его семью. В начале 70-х ее отказ от его настойчивых предложений вернуться был для него тяжким ударом: жизнь утратила смысл и цель.

Между тем, мысль о возвращении в ФРГ при иных, более благоприятных обстоятельствах, не покидала ни Матильду, ни Флору. Дома говорили только по-немецки. Для сына Ф. А. Марталер Вадима, которого в Челябинске я видел лишь однажды (обычный паренек в школьной форме и пионерском галстуке), первым, родным языком, был немецкий. За год до поступления в школу родители специально отдали его в детский сад, чтобы он освоил русский язык. Семья вела замкнутый образ жизни, сидя, фигурально выражаясь, на чемоданах, в ожидании отъезда. Закрытости семьи, помимо прочего, способствовала многолетняя слежка. Флоре Адольфовне было известно, что за ней наблюдали и в самое вольное новосибирское время, в студенческой среде, при посредстве немцев-германистов. Поэтому, например, с отцом Флора общалась только из Москвы, с Центрального телеграфа на улице Горького.

Матильда возобновила ежегодную подачу заявлений о выезде из СССР (приглашения от мужа из Германии были действительны только в течение двенадцати месяцев). Она не раз пожалела о своем решении в 1972-м: разрешение на выезд она получила лишь в 1980 году. Но уезжать одной, без Флоры и Вадима, ей не хотелось. Она тянула до тех пор, пока дочь, после разговора с серьезно больным отцом, не настояла на ее срочном отъезде: в случае смерти А. Вальта шансов выехать из Советского Союза не оставалось.

Матильда Вальт выехала в ФРГ в мае 1981 года, после смерти подруги мужа. Они встретились после 37 лет разлуки – совершенно разные: она, сильная и мудрая, закаленная советскими мытарствами; он – с расшатанными нервами, сломленный многолетней манией преследования. (Он неоднократно пытался, но так и не отважился в годы разлуки с семьей пересечь рубеж даже не очень дружественной Советскому Союзу Югославии: доезжал до границы и поворачивал назад.) Вместе им довелось прожить совсем недолго: Матильда умерла в 1983 году, Адольф – в 1986-м.

Для оформления своего выезда Флоре Марталер нужно было напряженно работать, а значит – запастись терпением, ходить по бесчисленным инстанциям и выслушивать патриотический бред о долге перед насильственно навязанным «отечеством». Флора Адольфовна с Вадимом покинули СССР осенью 1981 года. До выезда ей предстояло пройти еще немало испытаний: разговор в ОВИРе, где ей напомнили о процессе над отцом; восьмичасовую беседу

с ректором Челябинского института культуры, бывшим партаппаратчиком А. П. Граем, который беспрестанно задавал ей вопрос о причине отъезда и не удовлетворялся ответом (Ф. А. Марталер до сих пор испытывает чувство признательности моей маме, которая, будучи председателем профкома, без колебаний подписала ее бумаги); многочасовую разлуку с сыном на советско-польской границе, пристрастный досмотр багажа и конфискацию Большой Советской Энциклопедии и учебников В. Кляйна. Ни она, ни ее сын, скорее всего, никогда не уведут Россию – слишком глубоко в них поселился страх перед людьми в пограничной форме.

Семья Вольгемут-Вальт, растеряв старшее поколение, вновь собралась в Германии лишь в 2000 году, после возвращения старшей сестры, Нелли, совершенно обрусевшей, забывшей немецкий язык. «Хорошо, что мама этого не увидела», – считает Флора Адольфовна, – ей это было бы тяжело».

Ноябрь 2005 года. Мы с Флорой Адольфовной гуляем по парку в Бад Аббахе, под Регенсбургом, где она теперь живет в квартире, купленной Вадимом, успешным сотрудником «Тошибы». Впервые со времен челябинских занятий в институте культуры мы говорим по-немецки, просто говорим, потому что нам так удобно. Она хвалит мои произношение и словарный запас, по старой привычке ясно обозначая слабые места. «Я восхищаюсь тобой», – говорит в заключение. Я сияю от удовольствия.

Я думаю: интересно, как бы сложилась моя жизнь, не возмись Флора Адольфовна в середине 70-х годов за мою языковую подготовку? Я преклоняюсь перед мужеством ее матери, которую видел только на фотографии; я восхищаюсь Ф. А. Марталер, которая почти в сорок лет начала жизнь сызнова и сделала достойную карьеру. Флора Адольфовна – одна из сильных женщин, сыгравших в моей жизни значительную роль.

## Стратегии выживания

**I** По мере того как я подрастал, дед исподволь и, наверняка, не всегда осознанно делился со мной своими стратегиями восприятия и поведения. Упорно молчавший в опасные 20–40-е годы, когда росли его дочери, которых он старательно оберегал от рискованного знания о прошлом, он «разговорился» со мной в относительно мирные 60-е. Когда-то «застегнутый на все пуговицы», дед раскрылся, словно бы наверстывая упущенное.

Особенности российской истории XX века и специфический опыт ее актеров – большая тема в современной международной историографии. Среди наиболее распространенных объяснительных клише невероятной концентрации жестокости и страдания в

России минувшего столетия фигурирует убеждение, что опыт массового насилия ведет к коллективной «иммунизации» против боли и унижения, к ожесточению, индивидуальному повреждению психики и деформации поведения. Подобно многим, я тоже пространно и с уверенностью писал о влиянии специфической крестьянской культуры, грубости нравов низов и их склонности к насильственному решению возникающих проблем на российский XX век. Этот «культурный» фактор учитывался, когда я строил различные классификационные схемы стратегий выживания населения в русской революции, конструировал аморфные «теоретические классы, фиктивные группировки, существующие только на бумаге» (Bourdieu P. *Praktische Vernunft*, 23), пытаясь внести порядок в хаос социального распада.

Рассматривая формы насилия и технику выживания как факторы, которые не только разобщают и сталкивают, но и объединяют, сплачивают и формируют в итоге социальные структуры, можно выделить три идеально-типические группы, в той или иной степени характерные, вероятно, для любого общества в ситуации острого кризиса. К ним относятся энергичные «активисты» приспособления и протеста против новых жизненных обстоятельств, пассивно приспособляющиеся и незаметно сопротивляющиеся «попутчики», маргинализированные «аутсайдеры», оказавшиеся жертвами экстремальных условий. Эта схема, как и ряд других, и сегодня кажется мне вполне корректной для описания исторических макропроцессов в русской революции, я не собираюсь от нее отказываться. Разве что продолжаю дивиться коллегам по цеху, которые неофициально и, как правило, за глаза предъявляют мне счет за то, что я якобы обвиняю исключительно коммунистов во всех напастях недавнего российского прошлого.

Работа историка-исследователя с его персонажами из былого во многом сродни действиям патологоанатома. В ней необходима точность, но не требуется сочувствия, право на ошибку ограничено, но ответная реакция изучаемого «тела» не ожидается. Такая метода оправдана и неизбежна в исследовании анонимной «массы» или исторических актеров, с которыми историка не связывают личные отношения и эмоциональная близость. Но история, участником которой являешься сам, – не морг; люди, принимавшие прямое участие в твоей жизни, даже если их уже нет в живых, – не бесчувственные трупы на столе прозектора. Тут нужна иная исследовательская стратегия, иной стиль расследования и изложения.

Ценный ориентир подсказывает опытный аналитик советской повседневности Наталья Никитична Козлова:

«Не следует ли стремиться писать тексты, учитывая собственную включенность в процесс, то есть в ту историю, которую сам изучаешь? Твой взгляд – взгляд участника. Это прожектор, высве-

чивающий отдельные места. Направление света определяется познавательным интересом пишущего (пишущей), но и жизненным опытом, принадлежностью к поколению, позицией в социально-историческом пространстве. В этом случае имеет место акт признания: кто ты такой и откуда говоришь, из какой точки на пересечении множества силовых линий советской и российской истории. Пишущий о своей культуре обладает тем, что не может быть дано наблюдателю со стороны: *памятью тела* – тела, наполненного немотой воспоминаний, тела маркированного, нагруженного уже свершившейся историей. Именно благодаря памяти тела рождается ощущение подлинности воскрешенного прошлого, и мы испытываем радость, обретая действительность» (Козлова Н. Н., 18).

Но позицию «участника», как показывают некоторые примеры, может выработать и «наблюдатель со стороны». Тот, кто ее избирает, считает для себя невозможным и неправомерным снисходительно ссылаться на травматическую деформацию личности или на «озверение» как следствие многолетнего опыта насилия. Вероятно, более уместной исследователь-«участник» сочтет позицию, подобную той, что придерживается английский историк Кэтрин Мерридейл в книге о страдании и смерти в России XX века. В ее исследовательской стратегии анализ неразрывно связан с эмоциональным участием.

«Насилие в новейшей истории России, страдания и потери были так велики, что предположение, будто бы мы имеем дело с обществом, отмеченным каким-то изъяном, ошибкой нравов, культуры или географии, действительно звучит вполне заманчиво. Но такое предположение демонстрирует только леность ума и является обходным маневром чистой воды. В конце концов, значительно труднее представить себе иную правду, которая исходит из того, что люди, которые жили и умирали в России и в Советском Союзе в XX веке, ощущали чувства страдания и скорби не менее остро, чем мы, и что их история насилия произрастает не из какой-то национальной эксцентрики, вроде слабости к соленому салу, а из особой комбинации событий и обстоятельств. Эта правда, помимо прочего, вселяет тревогу, потому что содержит в себе странные предположения: что страдание в России всегда имело причину и поэтому не исключено, что его можно было избежать; что оно не было единственным в своем роде; и что ни один внешний наблюдатель не может позволить себе роскошь предположить, что его общество навсегда застраховано от насилия такого масштаба» (MERRIDALE С., 21).

Какова же эта «особая комбинация событий и обстоятельств», о которой пишет К. Мерридейл?

«Для правильного понимания вещей в качестве исходного пункта нельзя принять ни индивидуальную психику, ни якобы уродливый национальный характер. Наряду с идеологическим ослеплением – уверенность в правоте размывает сомнения – свою роль сыграли три следующих фактора: созданные преимущественно государством политические условия, регулярно повторяющиеся периоды нужды и почти вседущий страх. К первой категории относится то, что в России не удалось утвердить в качестве противовеса государственной власти сильную правовую систему, которая могла бы действительно защитить гражданина от произвола на всех институциональных уровнях; что гипертрофированный местный патриотизм сочетался с недоверием ко всему чужому; наконец, что сталинизм слишком легко смог использовать русскую самодержавную традицию. Вторая категория объяснений не нуждается в дальнейших комментариях. Россия в XX веке была потрясена целой серией кризисов, которая могла любого человека довести до крайности – до грабежа, убийства и каннибализма. <...> Страх также занимал выдающееся место. Он в большой степени содействовал изоляции людей в группках, разделению на “мы” и “они”, менталитету осажденной крепости, который так разрушительно действует на целостность общества» (там же, 457).

Семья Б. Я. Хазанова, как я себе представляю, вполне вписывается в категорию «попутчиков» – самую большую группу граждан СССР. В отличие от «активистов» приспособления к режиму или сопротивления ему, а также «аутсайдеров», выброшенных государством на обочину, стратегии выживания «попутчиков» отличали сочетание формального – а иногда и искреннего – признания коммунистических идеалов с отсутствием идеологической ярости; дистанцирование от чрезмерной политической активности и нежелание привлекать к себе внимание государственных институтов; ориентация на материальное благополучие ближних, в первую очередь семьи, путем стабилизации источников существования и не слишком явного использования служебных возможностей и личных связей.

Б. Я. Хазанов в 20–30-х годах был попутчиком и в буквальном смысле слова, изобретенного ВКП (б) для «буржуазных специалистов», симпатизировавших режиму. Он долгое время ходил в «сочувствующих» и стал коммунистом лишь в 1940 году. Причем его мотивы вряд ли вызвали бы восторг в официальных сферах. Своей младшей дочери он объяснил необходимость быть членом коммунистической организации примерно так: нужно быть вхожим туда, где решается твоя судьба, и иметь право выслушивать в глаза то, что о тебе думают.

Он верил партии и советскому государству, но наверняка понимал, что не все столь благополучно, как живописала комму-



нистическая пропаганда. Иначе невозможно объяснить, почему он избрал для себя стратегию социальной самоизоляции за пределами служебной надобности: он не принимал участия в пьяных застольях, не толкался в «курилке», не рассказывал анекдотов, не вел «пустых», в его терминологии, разговоров, не искал дружбы начальства и подчиненных, неохотно принимал гостей и выходил в люди.

Для понимания линии поведения Б. Я. Хазанова, избранной им еще в самом начале существования советского режима, представляется показательным интервью, данное им в августе 1922 года корреспонденту газеты «Соха и молот». Рассказ Хазанова о прежней разрухе на заводе вызвал у журналиста характерный вопрос: «Кто же, по-вашему, виновник этой бесхозяйственности?» В ситуации, когда на советизированной части бывшей Российской империи азартно ловили виновных в катастрофическом положении страны, сложившемся в течение последних лет, интервьюируемый ответил уклончиво и профессионально: «Затрудняемся сказать, ибо за период бездействия завода, – около 6 месяцев, – предприятие это не имело определенного юридического хозяина, но так или иначе, картина, которую мы застали, была самая безотрадная» (Соха и молот. 1922. 5 авг.).

В 30-х годах, когда молодой сталинский режим стал требовать от граждан более интенсивной демонстрации лояльности и приступил, пользуясь выражением Иосифа Бродского, к беспрецедентной «организации бесчеловечности», сорокалетнему Борису Яковлевичу пришлось столкнуться с проблемой, которая в те годы поджидала чуть ли не каждого жителя СССР: «Советский гражданин, который хотел взять свою судьбу в собственные руки, должен был заключать компромиссы, и это всегда были ошибочные компромиссы» (Gessen M., 16).



...Мне легко себе представить: Балахна Горьковской области, вторая половина 30-х годов. Гогрэс лихорадит от тревожных слухов о «врагах народа» в руководстве энергетическим предприятием. Арестовано несколько соседей Хазановых, в том числе семья управляющего Гогрэс Белова. В НКВД вызывают Н. Я. Хазанову, дружившую с его супругой. На краю казенного двухтумбового стола вальяжно сидит молодой «чекист», поигрывая вынутым из кобуры револьвером. Он предлагает ей рассказать все, что она знает. Она не знает, о чем рассказывать. Он отпускает ее с настоятельным предложением все вспомнить. «Что я должна вспомнить? Ну что я должна вспомнить?» – в отчаянии стонет она по возвращении домой, кутаясь в шаль от нервного озноба и меряя шагами периметр обеденного стола в гостиной.

Начинаются ежевечерние звонки Б. Я. Хазанову: «Собирайтесь, за вами сейчас приедут!» Они сидят ночи напролет; рядом с его стулом стоит давно собранный чемодан с сухарями, бельем

и теплой одеждой. Молчат – все уже сказано,– напряженно вслушиваясь в темноту, в ожидании рокота мотора, тяжелых шагов по лестнице, бесцеремонно громкого стука в дверь. Светает, пора собираться на работу...

Н. Я. Хазанова звонит брату в Москву в надежде, что он – большой начальник в НКВД – сможет отвести беду от ее семьи. Они тайно встречаются в Горьком, где он останавливается в гостинице. Он ничем не в силах помочь. Разве что советом? Что делать? Затаиться и переждать, не предпринимая никаких шагов, избегать контактов с кем бы то ни было, не исключая и сотрудников НКВД? Не отказываться от сотрудничества с всесильной организацией, если оно будет предложено? Дети Хазановых замечают, что вечерами родители о чем-то взволнованно шепчутся...

Брат Н. Я. Хазановой все же вмешался. Следовательно, допрашивавший ее, отстранен от дела. Наконец, вызывают Б. Я. Хазанова. Приглашают сотрудничать. Он соглашается, подписывает необходимые бумаги. Как многие, он уверен, что можно подписать продиктованное заявление о сотрудничестве и никому не навредить. Как и ранее – и даже еще более подчеркнуто – он сторонится сослуживцев. Так повелось издавна, и на работе никто не пытается преодолеть воздвигнутую им стену вежливой неприступности. Его вызывают вновь и вновь, побуждая писать о настроениях коллектива. Вероятно, он отделывается общими фразами, потому что не оправдывает ожиданий. «Что я могу поделывать, Нина? – сетует он в разговоре с женой, которая почти полвека спустя расскажет об этом эпизоде внуку.– Никто мне ничего не рассказывает...» В конце концов, его оставляют в покое...☺

В период послевоенной антисемитской кампании он еще более замкнется, но позиции жертвы, пассивно ожидающей решения своей судьбы, не примет. Когда в Ленинграде в начале 1951 года начнется травля младшей дочери, его Тamarочки, и она решит бросить консерваторию на последних месяцах учебы, он категорически запротестует: «Не смей уезжать из Ленинграда!» Он хотел, чтобы она боролась за себя, следуя его тактике: «Никому не верь, ни с кем не разговаривай!»

Б. Я. Хазанову повезло больше, чем многим другим «путчикам». Его материальное положение было прочным, и поэтому он не рисковал во имя бытовых благ. Он многое мог: помочь в получении жилья или автомобиля, в покупке дефицитных товаров и поступлении на учебу или работу. Но для себя, к неудовольствию супруги, старался не пользоваться служебными возможностями. «Нина, я хочу спать спокойно!» – твердо пресекал он любой разговор на такие темы.

В семейном предании Хазановых есть история времен Великой Отечественной войны, комичная по содержанию, характери-

зующая болезненную щепетильность Б. Я. Хазанова в отношении использования доступа к материальным благам. Рассказывая ее внукам, Н. Я. Хазанова и в 60-х годах не могла сдержать раздражения. В Горэнгеро ее муж, помимо прочего, отвечал за распределение американских «подарков», поступавших в рамках ленд-лиза. Как-то он явился домой явно смущенный. Он принес супруге доставшийся ему «трофей» – длинные американские военные шорты цвета хаки 44-го размера. Оказалось, что, раздав содержимое американских посылок – тушенку, яичный порошок и другие продукты, одежду и обувь (в том числе нарядные женские ночные сорочки, в которых их счастливые обладательницы по незнанию щеголяли на танцевальных вечерах), – он скромно удовлетворился экзотическим, невостребованным остатком. Шорты в течение тридцати с лишним лет служили в качестве чехла для бабушкиной швейной машинки «Зингер», после чего перешли ко мне.

Помню, как в середине 60-х годов на улицу Минина, в дом 19а, привезли добытый, скорее всего, «по благу» новый холодильник «Зил-Москва». Б. Я. Хазанов нервно ходил вокруг дома в ожидании машины. Ему было неловко, что соседи узнают о его «злоупотреблении» служебным положением.

Он не был трусом. Незадолго до снятия Н. С. Хрущева Б. Я. Хазанов выступил с критикой неразумных хозяйственных экспериментов. Пока в Горэнгеро решали, дать ли ход этому инциденту, Хрущева сняли. Хазанов неожиданно для самого себя из ниспровергателя устоев превратился в мудрого провидца. Надежды на здравый экономический курс он и при Хрущеве, и при Брежневле возлагал на первого заместителя председателя (с 1964 года – председателя) Совета министров СССР А. Н. Косыгина.

Хазанов был честным человеком и поступать против собственной совести просто не мог – не из страха наказания, а из уважения к себе. Его порядочность проявлялась даже в мелочах.



Ясно вижу такую картину: девятилетний Мальчик уговаривает Дедушку сыграть с ним в «покер». Обычно для этого собирается компания от трех до шести человек – у Хазановых или, чаще, у Алексеевых. Вдвоем играть неинтересно: нужно избавиться от десяти карт, играя двумя колодами по 52 карты плюс четыремя джокерами, выкладывая их по мастям или достоинству. Но Дедушка соглашается. Пока он отлучается на минутку, Мальчик складывает колоду так, чтобы Дедушке достался ряд самых дорогих карт с двумя джокерами в придачу. Когда тот возвращается, Мальчик неторопливо сдает карты. Ему интересна Дедушкина реакция на небывалый улов. Дедушка разворачивает карты веером, на его лице – искреннее удивление и растерянность. «Я не могу играть», – говорит он, раскрывая перед внуком карты. Мальчик краснеет от смущения...☺

В 60–70-х годах Н. Я. и Б. Я. Хазановы в домашней обстановке довольно жарко пикировались по поводу текущей политики советского руководства, в том числе – в присутствии внука. В 30-х ничего подобного и быть не могло. Они воспитали дочерей искренне преданными «делу партии», гораздо более ангажированными и менее осторожными, чем их отец. В августовские дни 1991 года Т. Б. Нарская специально поехала к старшей сестре, М. Б. Корзухиной. Путч и запрет КПСС вызвал у них шок: две коммунистки с многолетним партийным стажем искренне оплакивали свое прошлое и рухнувшие идеалы.

При Н. С. Хрущеве и Л. И. Брежнев стратегия «попутчиков» оказалась еще более выигрышной, чем при И. В. Сталине, «ниши» социальной автономии – все более обширными. Из уже знакомых читателю персонажей книги тактику «попутчиков», сочетающих пассивное приспособление с глухим и изредка прорывающимся недовольством, избрали и Николай Николаевич Корзухин, и Владимир Павлович Нарский. Семья Вальт-Марталер, которая в центре Челябинска вела «несоветский» образ жизни и воспитывала ребенка в рамках чужой культуры и даже на иностранном языке – один из ярких примеров альтернатив советской социализации.

Но и довольно лояльные к режиму Хазановы в 50–60-х годах ощущали витающие в воздухе перемены. От них больше не требовались заверения в преданности режиму. В их подвальном боксе на улице Минина мирно соседствовали «про запас» идеологические артефакты, сданные в утиль самим советским режимом 60-х годов – сочинения И. В. Сталина и «Один день Ивана Денисовича» А. И. Солженицына. Государство при Хрущеве и особенно при Брежнев начало оставлять своих граждан в покое, позволяя им пользоваться многочисленными техниками обеспечения относительного частного благополучия.

## Изображение и слово



Одним из самых трудных теоретических вопросов в «визуальной истории», равно как и в визуальной социологии, антропологии и герменевтике, является вопрос о возможности перевода изображения в текст. Хотя он занимал исследователей, начиная с рубежа XIX–XX веков, надежный инструментарий для теоретического и практического ответа на него до сих пор не найден.

«...Сегодняшний теоретический интерес к фотографии сосредоточен так или иначе на различии, – справедливо считает один из авторитетнейших российских экспертов в области изучения визуального Елена Петровская, – будь то акцент на изначальном зазоре, мешающем совпадению объекта и изображения (и это вопреки той “позитивной” очевидности, когда фотопленка впря-

МУЮ ФИКСИРУЕТ НЕРАВНОМЕРНО ИСПУСКАЕМЫЙ ОБЪЕКТОМ СВЕТ), ИЛИ ОБРАЩЕНИЕ К “ИСКУССТВУ” ФОТОГРАФИИ В ОТКРЫТО КРИТИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ – ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ИНЫХ ПОШАТНУВШИХСЯ ЕДИНСТВ, СРЕДИ КОТОРЫХ ВЫДЕЛЯЮТСЯ Язык, Взгляд, Идентичность – СОЦИАЛЬНАЯ И ЛИЧНАЯ» (Петровская Е. Непроявленное, 13).

В отношении переводимости языка фотографии философ коммуникации Вилем Флюссер всего четверть века назад скептически заметил: «Вот уже более ста лет [исследователи] учатся – и все еще не могут научиться, – что следует сказать “языком” фотографии... как это можно сказать и как такие высказывания соотносятся с высказываниями картин и текстов» (Flusser V. Kommunikologie, 103).

Основные проблемы перевода визуального образа в текст были поставлены Эрвином Панофски. Решительное признание возможности такого перевода базировалось на характерной для Панофски позиции, лежащей в основе его концепции иконологии: по его мнению, картина всегда иллюстрирует некую идею, которую можно – и должно – сформулировать вербально. Вместе с тем он видел принципиальное различие между зрительным образом и его словесным описанием. Картина множество информации представляет одновременно, в этом смысле она одномоментна. Текст же сообщает сведения последовательно. Картина запечатлевает конкретный момент и фрагмент реальности, а текст почти неограничен пространством и временем. В этой связи Панофски, подобно позднейшим структуралистам, поставил под сомнение дословность перевода языка изображения на вербальный язык. При замещении одного языка другим разрушается одновременность визуального впечатления, словесный текст создает новый порядок языковых единиц – секвенций. Обилие информации на картине требует – во имя интерпретации – нарушения синхронности визуального сообщения в пользу последовательного, диахронного изложения. На принципе осторожной трансформации синхронии в диахронию построен трехфазный анализ картин по методу Панофски: доиконологическое описание – иконография – иконология.

Современная дискуссия о «языке» изображения и его переводе в текст, в значительной степени предвосхищенная теоретическими размышлениями Э. Панофски, ведется структуралистами с 60-х годов минувшего века и поныне остается незавершенной. Ее исходным пунктом является тезис о параллельности языков визуального и словесного образов. Общие позиции участников дискуссии позволительно свести к двум: во-первых, изображения рассматриваются как своего рода текст; во-вторых, язык изображений имеет качественное своеобразие, затрудняющее практику их анализа в вербальной форме.

Специально проблематикой языка изображения занимаются визуальная семиотика, обозначаемая также как линг-

вистика визуального образа, и визуальная герменевтика. Первая из них предлагает разнообразные – и, с точки зрения критиков, волюнтаристские – модели дешифровки визуальных символов. По мнению принципиального оппонента семиотического подхода к фотоизображению, историка фотографии Вольфганга Кемпа, «семиотический анализ понимает “язык фотографии” буквально; ориентируясь на структуралистскую лингвистику и модели теории коммуникации, он конструирует фотографию как систему сообщения» (Kemp W. Bd. 3, 26).

Визуальная герменевтика выступает с исходных позиций, прямо противоположных подходу визуальной семиотики. Она занимается не миром символов, а разнокачественностью изображения и текста:

«ГЕРМЕНЕВТИКА ИЗОБРАЖЕНИЯ НАЧИНАЕТСЯ ТАМ, ГДЕ ВИЗУАЛЬНЫЙ ОПЫТ ГЛАЗА ПЕРЕХОДИТ В МЕДИУМ ЯЗЫКА. <...> ОНА СТАВИТ ВОПРОС ОБ ИДЕНТИЧНОСТИ ИЗОБРАЖЕНИЯ И СЛОВА, ИЛИ, ВЫРАЖАЯСЯ ИНАЧЕ, О БЛИЗОСТИ И ПРОТИВОРЕЧИВОМ ВЗАИМООТНОШЕНИИ ЧЕГО-ТО ВРОДЕ “ЯЗЫКА ОБРАЗОВ” И ВЕРБАЛЬНОГО ЯЗЫКА ОБЪЯСНЕНИЯ» (Военм Г., 444).

Сторонники герменевтического подхода настаивают на том, что, поскольку и изображение, и текст имеют смысловые единицы, оба языка объединяет общность и структур, и значений. Все формы высказываний – будь то зрительные или словесные образы – рассматриваются в равной мере как культурные практики, наделенные и наделяющие смыслом. Однако отдельные приверженцы этого подхода справедливо усматривают его слабое место в прямом понимании изображения как текста, в то время как зрительное высказывание всегда сложнее словесного описания.

Тезис о наличии в изображении смысловых частиц-секвенций определил общую схему вербальной дешифровки визуального материала в рамках структуралистско-герменевтических подходов. Она включает в себя такие шаги, как выявление отдельных секвенций – смысловых единиц, фигур – и изоляцию их от контекста, так называемую деконтекстуализацию; поиск для них «нормального», то есть привычного контекста; сбор всевозможных вариантов прочтения и выбор наиболее простого и убедительного. Причем последняя процедура осуществляется на базе опыта самого исследователя, тая опасность произвольности. Структурный анализ изображений ориентирован, в конечном счете, на изучение различий между общепринятым и данным, конкретным использованием смысловых фигур, между прямым – внеконтекстовым и внеподтекстовым – и «символическим», заряженным дополнительным смыслом («коннотативным», в терминологии Ролана Барта) высказыванием изображения.

Структуралистские подходы к решению проблемы перевода зрительного образа в слово вызывают сомнения и критику со

стороны как социологов, так и историков. В обоих случаях критикуется «языкоцентризм» структуралистского анализа изображений, не учитывающий в достаточной мере сложности, специфики и автономности визуального языка, а также малый интерес к социально-историческому контексту или его произвольное конструирование.

«Структуралистские процедуры, – замечает Штефан Гүшкер, – исходящие из принципа обращения с изображениями как с текстами, разложения на составные части и упорядочивания секвенций по сериям значений, являются пленницами культурной модели, согласно которой языку как механизму структурирования отводится главное значение. Язык “понимается как метаинстанция культуры” <...> Отсюда проистекает “встроенный языкоцентризм”» (GUSCHNER S., 79).

Визуальная социология, в том числе социология фотоизображений, исходит из иного принципа:

«Изображения не позволяют полностью воспроизвести себя в языке или заменить себя словами. Образное можно лишь приблизительно выразить внешнеобразно. Предположение, что изображения в принципе являются чем-то языковым и лишь переведенным в радикальный модус зрительного образа, из которого интерпретатор высвобождает их с помощью своего рода обратного перевода, вводит в заблуждение. Отсюда следуют далеко идущие выводы для интерпретации частных фото. Если у изображений нет анализируемой “основы”, где же возникает, в таком случае, их значение? При интерпретации частных фото место интерпретации переносится, таким образом, с самих изображений на придание им смысла в последующем применении» (там же, 64).

Вопрос о переводимости изображений на язык словесного описания и анализа представляет интерес и для историков визуального. Они исходят из принципиальной общности изображения и текста. Оба медиума, по мнению Бернхарда Река, освещают лишь отдельные моменты исторического процесса, причем неизбежно односторонне, из определенной перспективы. Хотя изображение передает многослойную совокупность информации одновременно, их восприятие, как и чтение текста, требует времени. Вместе с тем и в человеческом восприятии обоих медиумов, и в их отношении ко времени Б. Рек видит серьезные различия:

«Важнейшее отличие состоит в разных формах восприятия, которого требуют изображения и тексты: правда, изображения допускают описание, то есть частичный перевод в тексты – в иную знаковую систему. Но они никогда не переходят в них полностью, хотя в принципе возможна полная дигитализация произведений искусства. Всегда остается более или менее значительный “остаток”, остаются тонкие структуры поверхностей, места кристалли-

ЗАЦИИ ПЕРЕЖИВАНИЙ, ЧУВСТВ, КОТОРЫЕ УСКОЛЬЗАЮТ ОТ ПРЕВРАЩЕНИЯ В ЗНАКИ. ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ВОСПРИЯТИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ВСЕ ЖЕ НЕ МОЖЕТ ПОЛНОСТЬЮ ПРОГРАММИРОВАТЬСЯ» (Роеск В., 212).

В отношении времени швейцарский историк также видит существенное различие между изображением и текстом. Хотя ни тот, ни другой источник не в состоянии последовательно воспроизвести события и процессы прошлого во всей полноте и сложности, разница структур изложения состоит в том, что изображенный «нарратив» является точечным или, в лучшем случае, пунктирным: «Даже если картина, подобно комиксу, изображает несколько последовательных действий, художник может воспроизвести лишь отдельные моменты» (там же, 213).

Невозможность «полного» перевода изображения в слово не означает однако, что визуальное всегда больше вербального, что оно информационно более насыщено. Оба медиума просто не совпадают – не случайно социологи, этнологи и историки настаивают на необходимости контекста, почерпнутого из письменных или устных, но в любом случае вербальных источников. Произведения искусства – не просто «бессознательная историография», как считал Теодор Адорно. Отношения зрительных и словесных образов и информации сложнее, они не сводимы друг к другу, но при этом взаимозависимы:

«...РАССКАЗЫ МОЖНО, КОНЕЧНО, ИЗОБРАЗИТЬ; ЭТО – ОСНОВНАЯ ПРЕДПОСЫЛКА ВСЕЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЖИВОПИСИ. НО АНАЛИЗИРУЮЩИЙ И ИНТЕРПРЕТИРУЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОГРАНИЧЕН: АБСТРАКЦИЮ МОЖНО ДОВЕСТИ ЛИШЬ ДО ИЗВЕСТНОГО УРОВНЯ. ГОЙЯ МОЖЕТ ПРЕДСТАВИТЬ НАМ ДЕГЕНЕРАТИВНЫХ БУРЬОНОВ И ПОДВЕСТИ ТЕМ САМЫМ К ВЫВОДАМ О СОСТОЯНИИ ИСПАНСКОЙ МОНАРХИИ ОКОЛО 1800 ГОДА – НО НЕ БОЛЕЕ ТОГО. ГЛУПОЕ ЛИЦО НИЧЕГО НЕ ГОВОРИТ О СОСТОЯНИИ СТРАНЫ; ОНО НИЧЕГО НЕ ГОВОРИТ ДАЖЕ ОБ ИНТЕЛЛЕКТЕ ЕГО ОБЛАДАТЕЛЯ» (ТАМ ЖЕ, 212).

Замечание Б. Река в полной мере относится и к фотографии. По мнению социологов, антропологов и историков, фото сами по себе в лучшем случае рассказывают о непосредственно изображенных предметах и людях, но не о недоступных для фотокамеры аспектах социальной действительности.

В этой связи представляется заманчивым соединить преимущества обоих медиумов – изображения и текста – в новый жанр. Среди немногочисленных экспериментов такого рода можно назвать, например, предложение Сюзанны Блазеевски об органичном соединении автобиографического фото и автобиографического повествования в жанр «фототекста», качественно расширяющего возможности и фотографии, и словесного повествования. К «фототекстам» она относит не любое иллюстрированное произведение, а только такое, в котором автор сам соединяет фотографии и повест-



вание, причем так, что фото не стоит особняком, а взаимодействует с рассказом, который, в свою очередь, поддерживает изображение, нагружает его смыслами. «...Изображение в фототексте должно всегда оставлять конкретный след, содержать в тексте указание для читателя, которое ведет его к автобиографическому паратексту или контексту и таким образом создает из первоначально мономедийного произведения – самое позднее в процессе его восприятия – би- или мультимедийный, вербально-визуальный автобиографический проект» (Blazejewski S., 58).

Для создания такого проекта даже не обязательна публикация фотографии – достаточно, чтобы она выступала поводом для текста, как, например, в наиболее значительных работах В. Беньямина и Р. Барта о фотографии. Возможность перехода границы двух «жанров» – фотографии и автобиографии – как средства сконструировать адекватный образ собственного «Я» представляется заманчивой и для литераторов, и для фотографов. Дополнительным стимулом для экспериментов в области соединения фото и биографии является общность этих феноменов, о чем более подробно речь пойдет впереди. «Не будет преувеличением сказать, что любая биография стремится к фотографии», – считает Е. Петровская, участница российского проекта «Авто-био-графии», авторы которого теоретически осмыслиют, помимо прочего, возможности соединения фотографии и автобиографии [Петровская Е. Фото(био)графия, 302]. Относительная редкость прикладной реализации таких проектов объясняется сложностью работы, поскольку это требует и от автора, и от читателя, чтобы они чувствовали себя в обоих медиумах как рыба в воде.

Сложные перипетии перевода фото в слово не должны смущать ни исследователя, ни читателя. Я понимаю, что все мои попытки интерпретировать горьковскую фотографию 1966 года остаются неполными и приблизительными – и рад этому. Пусть в ней – в предельно интимном документе, созданном вовсе не для публичной презентации, – остается непере译имый эстетический и эмоциональный «остаток», тайна, не поддающаяся рациональной интерпретации.

Видимо, текст, который я сейчас пишу, можно квалифицировать как честолюбивый опыт «фототекста», попытку выйти за пределы традиционных жанров, испытать совокупные возможности «посланий» текста и изображения. Что получится на выходе, пусть решит читатель.

Фотография многослойна, обильна информацией и указаниями на разные контексты. Автор горьковской фотографии должен был реагировать не только на добрые старые традиции фотопрактики, но и на новые ее проявления. Одним из серьезных вызовов для советского профессионального фотографа 50–60-х годов было, помимо прочего, бурное развитие фотолюбительства.

## Круг третий



Значит, с подготовкой к фазе написания надо поспешить. Третий круг, как я уже упоминал, оказался, тем не менее, самым длинным. Первую декаду августа 2006 года я провел в Дзержинске и Нижнем Новгороде, вторую декаду октября и декабря – в Москве и Дзержинске, середину марта 2007 года – в Москве. Интервью с респондентами, с которыми я уже работал в 2005 – начале 2006 года, носили преимущественно уточняющий характер. Но появились и новые рассказчики: моя кузина Наталья Хсиво (Корзухина), челябинские дворовые и школьные друзья-товарищи Вадим Бойцов, Сергей Мотовилов, Игорь Федоров, Александр Данилов, Лидия Конинина, Елена Носаева, школьные учителя, дочь старшего брата моего подмосковного прадеда Евдокия Владимировна Нарская.

Итак, конец июля 2006 года, Дзержинск. В гости к маминой сестре М. Б. Корзухиной из Израиля приехала ее младшая дочь, Наташа, к которой я сильно привязан с детства. Мы виделись два года назад, еще до начала «фотографического» проекта. Наблюдательная собеседница и тонкая рассказчица, Наташа щедро одаривает меня сведениями, прежде мне недоступными. Интенсивно обсуждаются еврейская тема, проблемы коммуникации с деревенскими родственниками отца, Н. Н. Корзухина; вопросы моды и ассортимент товаров легкой промышленности 60-х годов, когда Н. Корзухина была подростком и юной девушкой; отношения между нею и старшей сестрой Татьяной. Наташа была очень близка с горьковскими бабушкой и дедушкой, и ее яркие зарисовки нравов и быта в доме 19а на улице Минина ценны не только как свежая информация. Они активируют мои воспоминания, интервью превращаются в оживленный, эмоциональный диалог, в ходе которого мы обоюдно стимулируем работу памяти, то и дело восклицая: «А помнишь?..» Помимо прочего, Наташа своими рассказами наводит меня на мысль, крамольную с точки зрения стандартов устной истории, да и общей этики, – попытаться осторожно выяснить, как помнят мои рассказчики меня самого в нежном возрасте. Конечно, вопросами на эту тему я ставлю в довольно неловкое положение и себя, и своих собеседников. Но чем черт не шутит? – вдруг всплывут какие-то детали, которые спровоцируют во мне новые цепочки воспоминаний...

Между веселыми застольями проходят уточняющие интервью по ранее затронутым и новым темам, в том числе о фотолюбительстве, с родственниками в Дзержинске, с другом детства Володей Гречухиным – в Нижнем. Мы сидим на кухне с Володей и его женой Натальей, мило беседуем, вспоминаем детали, упущенные в прошлую встречу. С работы возвращается их дочь Светлана. Я вновь фиксирую, насколько живучи и универсальны антиеврейские стереоти-

пы. Светлана весело рассказывает о своем новом шефе: в армии не служил, в двадцатичетырехлетнем возрасте – директор фирмы. Она «сразу все поняла», когда узнала его имя – Альфред Микульчик. Я давно не обижаюсь на такие пассажи. Антиеврейские клише, в конце концов, – неотъемлемая часть европейской культуры.

Параллельно идет работа в нижегородском областном архиве, с точки зрения приращения материалов для проекта – почти бесполезная. Впрочем, о минимальности результатов мне было известно заранее. Еще в мае я позвонил работающему в челябинском архиве старинному приятелю Олегу Бровкину по поводу состояния документации о местных фотографах. Тот живо вызвался помочь. Через несколько недель, во время визита в Объединенный государственный архив Челябинской области (ОГАЧО), выяснилось, что там имеется фонд Облфото, существовавшего при управлении бытового обслуживания облисполкома. Хранители показывают мне картотеку фотографов с их личными данными. В Челябинске же мне становится известно, что в Нижнем Новгороде такого фонда нет. По степени важности документального архивирования фотомастерские входили в список организаций № 2, освобожденных от сдачи документов в архив.

Так что во время августовской поездки я провел в Государственном архиве Нижегородской области всего несколько часов. Визит в архив начался со встречи со «злой вахтершей» – распространенным типажом неофициального стража провинциального архивохранилища. Читальный зал ни сегодня, ни завтра не работает, – «обрадовала» она меня. А затем – два выходных. Следовательно, в архив я не попаду. Меня выручила добрейшая заведующая читальным залом Галина Алексеевна, помнившая меня по прежней работе в архиве. В информационном плане этот архивный визит был для меня близок к нулю, но эмоциональную встряску я получил основательную. По моей просьбе Г. А. Деминова принесла ряд отчетов Горэнерго за 1936–1965 годы. Продираться сквозь цифирь сложных и структурно регулярно менявшихся отчетных документов было невозможно. Но такая задача передо мной и не стояла. Я держал в руках бумаги, когда-то составленные и подписанные моим дедом, к которым до меня много лет никто не прикасался. Разъединившее нас время съезжилось, нас разделяло всего несколько пар рук, державших эти листы между его и моим прикосновением к ним.

В те дни я много щелкал фотокамерой: переснимал семейные фотоальбомы М. Б. Корзухиной и разрозненные старые фотографии, привезенные Наташей по моей просьбе; фотографировал на Большой Покровке, Рождественской, Фрунзе, Минина, Ильинке, Пискунова, продолжая знакомство с родным и, одновременно, неизвестным городом детства. Разбирая коллективные фотографии из молодости Н. Я. и Б. Я. Хазановых, я обратил внимание на одну осо-

бенность, согласующуюся с тем, что накануне рассказывала Наташа. На групповых фото они всегда стоят с краю или на заднем плане, соблюдая принцип «не выпячиваться».

3 августа, гуляя с камерой по Откосу, я не смог найти гигантских старых тополей, которые в детстве производили на меня сильное впечатление и каких я нигде больше не встречал. Во дворе пятиэтажного дома наискосок от кафе «Чайка», куда ребенком меня часто водили поесть мороженное (вкус его я помню до сих пор), обнаружил три пня диаметром с солидный обеденный стол. Ко мне, растерянно разглядывавшему древесные останки, подошла женщина с французским бульдогом. По ее словам, тополя были спилены около двух лет назад (в августе 2004 года мы с Наташей еще успели сфотографироваться на их фоне), во время кампании по уничтожению старых деревьев из соображения безопасности. Ей очень жаль – эту фразу она повторила несколько раз, – тем более что деревья были здоровые, не засохшие. Соседи довольны: говорят, что стало светло, а ей очень жаль. «У нас не знают середины, мне очень жаль», – завершает она короткий монолог.

9 августа, вернувшись в Челябинск, я взял в руки одну из статей М. М. Хорева, которую он передал мне во время встречи в Нижнем Новгороде. Статья называлась «Первая государственная...» и была посвящена Фотографии № 1. Взял в руки – и ахнул: со снимка второго десятилетия XX века на меня смотрел сфотографированный с женой и маленьким сыном молодой человек с сухощавым лицом и до боли знакомым прищуренным взглядом – Александр Александрович Голованов. В тот день я записал в дневник:

«Кажется, я нашел своего фотографа! Статья М. М. Хорева, которую я по ошибке не нашел в апреле и которую он передал мне в пятницу, 4 авг[уста]. Узнать год смерти! Связаться с Хоревым и музеем фотографии! Нет ли других его фотографий?»

Вечером я позвонил Михаилу Михайловичу. Головановыми он начал заниматься в 1980 году, познакомившись в больнице с медсестрой, которая оказалась дочерью старшего из братьев Головановых Валентина. Она и свела его с тогда еще живыми родственниками, в том числе с вдовой А. А. Голованова. Позже, во время следующих поездок в Нижний Новгород, выяснится, что М. М. Хорев видел документы А. А. Голованова, в том числе его трудовую книжку. К сожалению, то ли по стечению обстоятельств, то ли из некоторого недоверия нижегородского фотоведа, мне не удастся познакомиться с записями М. М. Хорева о А. А. Голованове, сделанными четвертью века раньше. Но точную дату смерти фотографа он мне сообщит – позже, уже во время работы в Базеле над манускриптом книги – 5 декабря 1967 года. Конечно, с точки зрения «научности» и «объективности» мой аргумент – я «узнал» фотографа, которого мельком видел сорок лет

назад – не выдерживает критики. Впрочем, в этом проекте я не претендую ни на научность, ни на объективность.

В августе 2006 года, располагая основным массивом информации и уверенностью, что достаточно надежные данные о «моем» фотографе у меня в руках (в противном случае я намеревался закрыть проект или серьезно видоизменить его), я интенсивно размышлял о форме повествования в будущей книге – этот вопрос заботил меня с самого начала – и о ее структуре. Можно ли, например, построить книгу из тематических линий, прерывающих друг друга? Как это осуществить технически? Не запутает ли это читателя?

16 августа в 8:20 в моем дневнике появилась запись:

«А МОЖЕТ БЫТЬ, ТАК:

- I. О МАЛЬЧИКЕ, БАБ[УШ]КЕ, ДЕД[УШ]КЕ И ФОТ[ОГРА]ФЕ
- II. О ПОИСКАХ, ПОТЕРЯХ И НАХОДКАХ
- III. ФОТОГРАФИЯ И ПАМЯТЬ».

Таким образом, в самом общем виде обозначился актуальный вариант «композиции» будущего текста. В тот момент я не предполагал, что некоторые «рассказы» будут тянуться через всю книгу. Во всяком случае, Горький должен был уместиться в первой части. В этой связи 20 августа было записано: «В части I обязательно должны быть запахи (кошачий в подъезде, бензин в такси и у д[яди] К[оли]), бабушкины цветы, выпечка, конопля, дедушкина лысина), звуки (троллейбус, что еще? гром, дождь, радио, голоса)».

В третьем круге поисков наиболее ясно обнаружилась зависимость моего проекта от доброжелательного отношения окружающих, от старых и новых знакомых. Приведу лишь несколько примеров. 25 августа 2006 года по делам службы я заехал в издательство «Каменный пояс». Дмитрий Григорьевич Графов, его директор, за чашкой кофе расспрашивал меня о том, как продвигается проект. Услышав его рабочее название, подошел к книжной полке и молча протянул мне местное издание 90-х годов с заглавием «Фотография на память». Сначала я расстроился, но затем решил все-таки не отказываться от этого названия, может быть, чуть-чуть его модифицировать. (Позднее обнаружилось, что оно кочует из одной книги о фотографии в другую, но это все равно не изменило моего выбора.) Вероятно, в те дни – к сожалению, я не зафиксировал дату – под утро родилось нынешнее название книги.

В сентябре мои бывшие студенты начали снабжать меня публикациями, полезными для моего проекта. Александр Фокин помог литературой по хрущевскому периоду, Владимир Ковин подарил исследование детского психолога М. В. Осориной. Еще раньше священник В. А. Устюгов познакомил меня с книгой, благодаря которой я узнал о существовании столичной книжной серии «Очерки визуальности».

В середине сентября, гуляя с семьей по Кировке, я после долгого перерыва случайно встретился с челябинским предпринимателем Павлом Беньяминовичем Рабиным, финансировавшим мою предыдущую книгу. За этим последовало несколько встреч, во время которых П. Б. Рабин с интересом отнесся к текущему проекту и предложил помощь в его публикации.

В октябре в Москве, на одной из международных конференций, состоялись знакомства, ценные для работы над проектом. Екатеринбургская исследовательница немецких военнопленных Второй мировой войны на Урале Наталья Суржикова и знаток репатриационной политики в Германии Ульрика Гекен-Хайндль из Нюрнберга снабдят меня информацией, необходимой для контекстуализации семейной истории Флоры Марталер.

Новым для меня опытом стал запрос в ФСБ о возможном сотрудничестве с «органами» Б. Я. Хазанова. Мой старый добрый друг Борис Ровный просветил меня, как добраться до нижегородского архива ФСБ. 20 сентября, возвращаясь с беседы с директором челябинского архива ФСБ В. В. Суриным, я вдруг соображаю, что сегодня – день рождения моего деда, в прошлом которого я пытаюсь разобраться. На другой день отношу в приемную «конторы» следующее заявление на имя начальника УФСБ по Челябинской области:

«Прошу Вас оказать содействие в получении информации о сотрудничестве отца моей матери, Хазанова Б. Я., с органами НКВД в Горьковской области в 30-е – 50-е годы. Помимо личного интереса, обусловленного близким родством, моя просьба связана с моим исследовательским проектом по семейной истории, которым я в настоящее время занимаюсь.

Борис Яковлевич Хазанов род[ился] 20 сентября 1894 г. в г. Быкове Могилевской губернии. С 1933 по 1936 г. он работал начальником финансового, планового и производственного отделов ГОГРЭС в г. Балахне Горьковской области, с 1937 по 1964 г. – главным бухгалтером ГОГРЭС, позднее – ГОРЭНЕРГО в г. Горьком. Предположение о том, что Б. Я. Хазанов был секретным сотрудником НКВД, основывается на свидетельстве его вдовы, Н. Я. Хазановой, а также на факте карьерного роста на рубеже 1936–1937 гг.

В случае, если это предположение подтвердится, прошу Вас оказать мне содействие в ознакомлении с сохранившимися документами.

Прилагаю копии документов, подтверждающих мое близкое родство с Б. Я. Хазановым.

О любых результатах рассмотрения моего заявления прошу Вас меня уведомить:

Адрес

Подпись»

Меня принял коренастый брюнет небольшого роста со светлыми глазами. Он выразил сомнение в возможности удовлетво-

рительное любопытство. Нет, никакой секретности в данном случае нет, просто документы о сотрудничестве через определенное время уничтожаются. Оставив меня в приемной, он ушел и через 15 минут вернулся, вежливо улыбаясь: «Игорь Владимирович, Ваше заявление принято. Постараемся, тем более что история семейная. Сделаем, что возможно, хотя шансы невелики. Вы ведь вчера встречались с нашим представителем?»

Мои имя-отчество в заявлении не значились. Хотя выяснить их можно без труда, по спине пробегает холодок от осведомленности собеседника. Надо же, как нас вышколили «органы»...

Через две недели из УСФБ по Челябинской области был отправлен ответ. Он пришел во время моей очередной поездки в Дзержинск, и жена продиктовала мне его по телефону:

«Уважаемый Игорь Владимирович!

К сожалению, подтвердить или опровергнуть интересующие Вас сведения в отношении Хазанова Бориса Яковлевича, 1894 года рождения, не представляется возможным в связи с отсутствием в архивах органов безопасности запрашиваемых Вами документальных материалов.

Подпись»

«Ну и хорошо, – с облегчением вздохнула его старшая дочь, М. Б. Корзухина, – пусть он останется для нас чистым». Все правильно, тетя Мира, все верно.

На осень 2006-го – раннюю весну 2007 года выпали интервью с моими одноклассниками и друзьями детства. Кое-что из того, что они мне рассказывали, а также о том, как они излагали свои истории, вплетено в повествование о дворовых развлечениях, школе, учителях и функционировании памяти. Важным приобретением для моего проекта оказался контакт с Ириной Федоровной Бородаенко, преподававшей нам биологию в 7–10 классах. Обратиться к ней мне посоветовал Игорь Федоров, когда я интервьюировал его в конце сентября 2006 года. Именно И. Ф. Бородаенко организовала мои встречи со школьными учителями и снабдила бесценной информацией о «сильных женщинах» школы № 121.

В «Записках для Игоря», присланных мне в начале апреля 2007 года вдогонку за не очень удавшимся интервью с одноклассницей Леной Погосян (Носаевой), о которой речь впереди, И. Ф. Бородаенко посвящены следующие строчки:

«Ирина Федоровна. Тоже эмоциональная учительница, но совершенно в другом плане. Мне она почему-то казалась то ли испуганной, то ли обиженной. И это создавало некоторое напряжение: вроде бы ни в чем не виновата, но все время боишься сказать что-то не то. А вот биологию она знала прекрасно. И преподавала ее так, что полученное в школе без зазоров ложилось на все, с чем

сталкивались в жизни, и поэтому запоминалось намертво. Две моих пятерки на жесточайших вступительных экзаменах – по химии и по биологии. Еще один кружок, куда я не ленилась ходить вовсе не потому, что надо, а потому, что интересно».

По инициативе Игоря Федорова И. Ф. Бородаенко позвонила мне сама, когда я был в очередной поездке в Дзержинск и Москву. Вернувшись в Челябинск, вечером 23 октября набрал телефонный номер Ирины Федоровны. В трубке – мягкий, интеллигентный, несколько болезненный голос. Она ряд лет занималась школьным музеем, часть собранных документов осталась у нее дома. И это понятно: активистка «Мемориала», Ирина Федоровна приберегла бумаги, не пригодные для традиционной, «парадной» школьной экспозиции.

Это было именно то, что я искал. Когда месяцем ранее я был на приеме у директора школы В. М. Добрыниной, у меня возникли опасения, что я не смогу пробиться через броню официальной истории успехов и достижений. Валентина Михайловна доброжелательно приняла меня, с удовольствием рассказала о школе и знаменитых учениках, показала школьный музей и пообещала всяческое содействие, но моему проекту статистика побед была бы слабым помощником.

Встреча с Ириной Федоровной стала для меня настоящим подарком. Мы регулярно созванивались и подолгу беседовали о моей последней книге и нынешнем проекте, о репрессиях и лжи коммунистической пропаганды, о школьных учителях и автобиографических эссе Иосифа Бродского, о детских психологических травмах и сильных советских женщинах, о любви-восхищении и любви-привычке. Несмотря на недомогания она несколько раз встречалась со мной в школе и организовала серию интервью, из которых наиболее ценной – и информационно, и психологически – была беседа с бывшей преподавательницей математики в пятых – восьмых классах А. А. Кирилловой.

С Анной Антоновной И. Ф. Бородаенко договорилась об интервью еще в ноябре 2006 года. Та вспомнила меня – «Порядочный мальчик!» – но встреча откладывалась и откладывалась по причине нездоровья ее самой и ее мужа. Мы встретились лишь 12 апреля 2007 года. Долгое и эмоционально насыщенное повествование закончилось разговором о старости, болезнях и смерти. Анна Антоновна задала вопрос о моих родителях и удовлетворенно констатировала: «Пусть мама работает, пока может». Сама она предпочла бы быструю смерть – «шел и упал». Кажется, мы оба были рады этой встрече. Когда я поблагодарил Анну Антоновну за готовность дать мне интервью, она просто ответила: «Тебе спасибо!» Мы вышли в коридор. Что-то со мной случилось: обычно сдержанный в общении с не очень близкими людьми, я неожиданно для себя на прощание поцеловал ее. «Вы оба вышли с просветленными лицами, – радостно заметила потом Ирина Федоровна. – Анна Антоновна словно помолодела».



Месяцы до отъезда в Базель были заняты чтением, конспектированием и копированием научной и художественной литературы, необходимой для написания книги. Для меня, совершенно не сведущего в области визуальных социальных и исторических исследований, наиболее полезными оказались работы П. Берка, Ш. Гушкера, Б. Река. Читатель мог заметить это, если ознакомился с «фотографической» линией этой книги.

Девять месяцев третьего круга работы над проектом были для меня эмоционально напряженными. Проект продолжал преследовать меня и по ночам. Меня часто посещали тревожные сны, виденные мною в детстве и молодости: преследующие хулиганы, невозможность найти дорогу домой, посещение несуществующих летней и зимней «усадеб» Вадима Бойцова, скольжение с Игорем Федоровым по огромным волнам Атлантического океана, хищные звери, кусающие мне руки. Но случались и умиротворяющие сновидения: очень живые горьковские дедушка и бабушка часто навещали меня. То я интервьюировал Н. Я. Хазанову в присутствии мамы, которая просила меня не волновать бабушку; то разговаривал по телефону с дедом, отмечая в лежащем рядом блокноте, что он говорит моим голосом и с моими интонациями; то снился себе маленьким мальчиком, пытающимся сквозь щель давно разрушенного дощатого забора с восточной стороны дома на улице Минина вычислить высоту огромного высохшего дерева, которое на самом деле было спилено в середине 60-х годов; то с младшей дочерью посещал двор на улице Грибоедова в Челябинске, где встречал постаревшего, но узнаваемого Володю Клинова, играющего с соседскими мужиками в домино. А однажды мне привиделся никогда не существовавший дореволюционный челябинский фотограф по фамилии Нарский – маленький, subtilный, с короткой стрижкой и аккуратной «татарской» бородкой, показывающий свою родословную и авторские фотографии.

К весне 2007 года исследовательские усилия меня физически и нервно вымотали. Я худел, страдал бессонницей или просыпался от озноба. Я надеялся отдохнуть, сменив российскую обстановку на швейцарскую. Впереди были три месяца работы в Базеле. Реализация «фотографического» проекта вступала в новую фазу.

## Школьные привязанности



В школе мне предстояло испытать детскую влюбленность и подростковую дружбу. Скорее всего, в непоздние школьные годы мои «сильные» чувства к сверстникам были не выражением собственных кондиций – душевной зрелости, сформировавшегося профиля интересов – или демонстрацией личностных приоритетов или

чего-то в этом роде, а желанием компенсировать чувство одиночества и потерянности в шумной школьной толпе. Чтобы не потеряться, нужны были ориентиры.

В нашем классе училась девочка, при виде которой я или тушевался, или начинал дурачиться. У Лены Носаевой, самой маленькой в классе, рано начавшей сутулиться брюнетки в очках, были удивительные глаза – огромные, голубые, выразительные. Она была одаренным ребенком, настоящим вундеркиндом, школьные премудрости постигала играючи – не постигала, а схватывала налету. Я робел к ней приблизиться: она была самостоятельная и не очень приветливая. Меня отпугивало выражение демонстративной скептической снисходительности на ее лице. Естественно, я о ней почти ничего не знал. И не узнал бы, если бы она не рассказала. Пересказывать ее глупо – она прекрасно делает это сама:

«Дедушка научил меня читать, когда мне было 4 года. Он всегда читал газеты и показывал мне буквы в заголовках. Вообще-то это был не мой родной дедушка, но тогда я этого не знала. А мой родной дедушка во время гражданской войны получил контузию и так мучился потом от головных болей, что однажды не выдержал и утопился. Впрочем, это только одна из версий. Потому что потом вроде бы оказалось, что он был чекистом и даже членом пресловутой “тройки”. Может быть, поэтому о нем все предпочитали молчать. А когда я выросла настолько, чтобы задать осознанные вопросы, задавать их стало некому. Так уж вышло.

Между прочим, тот дедушка, которого я в детстве считала дедушкой, тоже не очень любил распространяться ни о гражданской войне, ни о последующих годах и даже десятилетиях. Зато очень подробно рассказывал о том, как учился на телеграфиста как раз перед революцией 1917 г. И даже будучи телеграфистом, слыхом не слыхивал про какого-то там Ленина. А потом переквалифицировался в землемеры. Это было безопаснее, потому что по царскому указу выпускники училища связи (или как уж там оно называлось?) в военное время (а ведь тогда еще шла Первая мировая война) автоматически получали офицерский чин и номинально делались врагами народа и революции. И дедушка предпочел укрываться от такой напасти в Средней Азии. Там в самых глухих районах всегда были нужны образованные люди, и тем более землемеры. Между прочим, там же он научился йоге. Как я теперь понимаю, упражнения, которые он проделывал по утрам, как раз и были той хатха-йогой, о которой все начали дружно говорить с придыханием еще лет через 30...

Но когда я была маленькой, он охотно возился с внучкой и показывал мне буквы в газетных заголовках. Когда стало ясно, что я все могу прочесть сама, мама принесла первую книжку: “Волшебник Изум-

рудного города”. Сейчас мне иногда кажется, что я, как девочка Элли, до сих пор тащусь по дороге, вымощенной желтым кирпичом, чтобы выполнять заветные желания родных и близких, а уж потом, когда-нибудь, в награду смогу захотеть что-нибудь и для себя. Но это только иногда и только сейчас. А тогда мне было просто интересно.

Мама была очень этому рада и стала постоянно посещать детский отдел своей библиотеки. Вообще-то это была взрослая библиотека, так называемая “ведомственная”. То есть она принадлежала ведомству, а именно Южно-Уральской железной дороге. Теперь такие вещи принято называть корпоративными. И от них членам корпорации была немалая польза. Взять хотя бы ту же библиотеку. В 60-е годы купить хорошие книги было невозможно, зато я прочитала их очень много благодаря этой библиотеке. А потом мне пришлось познакомиться и с корпоративной железнодорожной больницей. Но это уже другая история.

Но вернемся к книгам. Естественно, такие интеллектуальные успехи не могли пройти незамеченными. И годам к 5 я уже точно знала, что не могу обмануть ожидания окружающих по поводу своей дальнейшей судьбы, и придется мне быть отличницей (девочка Элли?). Правда, считала я еще плоховато, и на вопрос “Как ты будешь учиться?” предпочитала выбросить вперед растопыренную пятерню, чтобы действовать наверняка. Гонору у меня хватало уже тогда, и приходилось осваивать и эту науку: как не попасть впросак и не показать, что чего-то не знаешь. В это время мой брат уже ходил в школу (он на 10 лет старше) и учился вполне успешно, но отличником не был. Наверное, мое рвение его не очень-то радовало, но что с девчонки возьмешь? Зато у него не было проблем с зачислением в нашу школу. Когда его записывали в 5 класс, школа тоже была еще ведомственной, железнодорожной. Мои родители оба были железнодорожниками, и вдобавок в этой школе преподавала математику моя тетка, Зинаида Петровна Носаева. Потом она стала слепнуть, не смогла работать с тетрадями и перешла в Управление ж. д., где работала инспектором, проверяющим другие ведомственные школы – а они были везде, куда доходили рельсы нашей дороги.

Насколько я себе представляю, в числе прочих новаций Хрущева числилось и “раскулачивание” ведомств. Правда, судя по железной дороге, ведомства не очень-то поддались раскулачиванию и сумели оставить себе немало корпоративной собственности. Однако школу на ул. Свободы сделали, как принято сейчас говорить, муниципальной. А вообще-то школа была очень хорошей, с проверенным коллективом и традициями. Но теперь в ней должны были учиться аборигены. То есть дети, проживающие в том микрорайоне, ко-

ТОРЫЙ БЫЛО ПРЕДПИСАНО ОБСЛУЖИВАТЬ БЫВШЕЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ, А ТЕПЕРЬ ПРОСТО ШКОЛЕ № 121. И НАШ ДОМ, СТОЯВШИЙ ЧЕРЕЗ ДОРОГУ ОТ ШКОЛЫ, В МИКРОРАЙОН НЕ ПОПАЛ. И ПО ПРАВИЛАМ Я ДОЛЖНА БЫЛА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ В ШКОЛУ № 11 – ЧТО ПО ВСЕОБЩЕМУ УБЕЖДЕНИЮ (ДА И НА САМОМ ДЕЛЕ) БЫЛО ГОРАЗДО ХУЖЕ. ХОРОШО, ЧТО ЗАВУЧЕМ 121-Й ШКОЛЫ ЕЩЕ ОСТАВАЛАСЬ СТАРУШКА, С КОТОРОЙ РАБОТАЛА ТЕТЯ ЗИНА. И МЕНЯ ЗАЧИСЛИЛИ, ПРАВДА, НЕ В ЭЛИТНЫЕ КЛАССЫ “А” ИЛИ “Б”, А ВСЕГО ЛИШЬ В КЛАСС “В”. ЭТО ВРОДЕ БЫ БЫЛА ТАКАЯ СИСТЕМА: В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ЗАЧИСЛЯТЬ ДЕТЕЙ НЕПРОСТЫХ РОДИТЕЛЕЙ, ВОТ ОНИ И ОКАЗЫВАЛИСЬ “АШКАМИ” И “БЭШКАМИ”. НО Я ВПОЛНЕ ДОВОЛЬНА СВОИМ КЛАССОМ. ПОЧЕМУ-ТО МНЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО В НАС БЫЛО БОЛЬШЕ КОМАНДНОГО ДУХА, ЧЕМ В НИХ, И ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ УЧЕНИКАМИ БОЛЬШЕ ПОХОДИЛИ НА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ. ВПРОЧЕМ, МОЖЕТ, Я ПРОСТО НЕ В КУРСЕ».

Не нужно быть опытным текстологом, чтобы за этим фрагментом «Записок для Игора», присланных мне Леной в апреле 2007 года, увидеть сильную натуру, самостоятельно мыслящую и ярко формулирующую. Конечно, Лена была отличницей, и это создавало для меня, обычного «хорошиста», скатившегося в пятом-шестом классах в разряд заурядного «троечника», дополнительное препятствие к общению с ней. Ученики были подчинены определенной иерархии, вольно или невольно создаваемой учителями: отличники были в ней на самом верху, на особом положении, и дети это, конечно, видели. В общем, в моих глазах Лена была небожительницей, что делало мою тайную симпатию к ней еще более болезненной. Меня она, конечно же, не замечала.

В противовес большинству детей отличники могли чувствовать себя в школе довольно комфортно – им многое прощалось. Им ничего не нужно было доказывать учителям, скорее, наоборот: присвоив ученику «звание» отличника, учителя, как правило, старались не нарушать этот статус, закрывая глаза на возможные промахи привилегированных подопечных. Отличники это чувствовали и пользовались особым положением – иногда не только в личных интересах, но и чтобы заступиться за товарищей. Так случилось, например, когда один из активных родителей инициировал кампанию по лишению учеников 4 «в» класса наручных часов. Это эпизод я совершенно не помню: первые часы я получил спустя три-четыре года.

Итак, слово Лене:

«Был предпринят рейд, кажется, классе в 4, по ликвидации наручных часов, которые нам носить не полагалось потому, что мы на них не заработали сами. Видимо, возможность знать точное время в возрасте 11 лет не соответствовала понятиям социальной справедливости. (Автомобиль – не роскошь, а средство передвижения!) И я была в смущении. До этого я к Светкиному папе относилась в общем-то хорошо, хотя временами его неумная ак-

тивность могла показаться назойливой. А тут мне стало обидно. Если мой папа не считает, что ходить с часами на руке – это плохо, то какое дело до моих часов Светкиному? В те годы я еще искренне старалась думать и поступать так, как нам говорили на пионерских сборах, и оказалась в некоем моральном тупике. И впервые воспользовалась своим служебным положением. Кажется, я довольно решительно воспрепятствовала попытке снять с меня вожденный механизм и заявила что-то в том духе, что они своим тиканьем не мешают мне учиться хорошо и даже на отлично и выполнять общественную работу. С отличницей связываться побоялись, и больше часов уже не снимали ни с кого...»

В седьмом классе мое безнадежное чувство к Лене «рассосалось» как-то само собой. То ли я переключился на учебу и пребывал в упоении первыми успехами, то ли проклюнулся подростковый максимализм в отношении телесных параметров «предмета обожания». Возможно, сказался и некий прагматизм – нежелание тратить силы на безнадежное дело. Или вмешалось разочарование, вызванное несокомерным выступлением Лены против приема меня и Игоря Федорова в комсомол, которое, как мы тогда решили, было отрежиссировано классным руководителем. Впрочем, это уже другая история, хронологически выходящая за рамки моего детства...

Первое серьезное школьное товарищество соединило меня с Вадимом Бойцовым : Сближение произошло классе в третьем. Мы оба не помним обстоятельств начала взаимного интереса. Кажется, это случилось по пути домой из Дворца железнодорожников, где мы были в связи с каким-то внеклассным мероприятием. Помнится, там фигурировали самодельные бумажные шлемы – то ли рыцарские, то ли космонавтские. Наверное, тогда мы и договорились впервые о встрече за пределами школы. Точнее не помню.

...Зато в памяти всплывает другой эпизод – из первого школьного дня, 1 сентября 1966 года. На первой же перемене к Мальчику подлетает вертлявый смуглый мальчишка с карими глазами-вишенками, подхватывает его и начинает кружить в танце, фальшиво мурлыча какую-то мелодию. При этом «танцевальная пара» омерзительно мокро целуется в губы. На следующей перемене «вертлявый» теряет к Мальчику всякий интерес. Это и был Вадик Бойцов.

Ранняя осень, кажется, 1969 года. Неподалеку от дома, в котором живет Мальчик, у кинотеатра имени Пушкина, на месте бывшего кладбища, роют траншеи. Дворовые товарищи заговорщически рассказывают, что там находят человеческие кости. Мальчик сообщает об этом Вадику, и они договариваются о встрече после уроков у школы. В назначенный час Вадик приходит не один, а в компании еще двух Вадимов из того же класса – Шихова и Коротаева, которые, к тому же, его соседи. Компания в возбуждении спешит к кинотеат-

ру – до него рукой подать, – находит разрытые траншеи, но, увы, никаких следов захоронений. Чтобы компенсировать разочарование, Мальчик приводит ребят в святая святых своего двора – в «каменку», место детских секретов, игр, страхов и их преодоления. Школьные товарищи приходят в восторг...

Кажется, тогда Вадим Бойцов и я инстинктивно ощутили общий интерес – острое любопытство к прошлому. Мы начали без всякой системы коллекционировать («копить», в детской терминологии) монеты, затем – металлические иконки. Вадик на летние каникулы ездил в Калинин, к бабушке, жившей в старом, наполовину нежилом доме с огромным чердаком. Возвращаясь, он с гордостью показывал свои трофеи – дореволюционные газеты, монеты, нательные и настенные иконы, кресты, складни.

...Однажды, классе в четвертом, Мальчик с Вадиком отправляются в краеведческий музей проконсультироваться о подаренном Мальчику в Горьком термометре-замке. Научный сотрудник (позднее он будет работать в пединституте и меня, конечно, не узнает), настойчивой негромкой скороговоркой ловко уговаривает Мальчика сдать предмет в музей. По дворовой традиции Мальчик ожидает от музейного сотрудника мены. Сердце екает, когда, завладев «экспонатом», тот куда-то удаляется. Затаив дыхание, ребята ждут, что же из музейных «сокровищ» принесет взрослый. Вдруг револьвер? Разочарованию нет конца, когда тот возвращается с двумя билетами в музей. Мальчик понуро бродит по залам, разглядывая чучела животных, муляж гигантского золотого самородка, минералы... Что скажет Дедушка? В это время он как раз гостил в Челябинске. На следующий день Дедушка пошел с Мальчиком в музей и возмущенно вытребовал термометр у притихшего научного сотрудника...

Мне нравилось бывать дома у В. Бойцова. Вадик, заядлый книголюб, был обучен отцом технике быстрого чтения – предмету моей зависти. Его интеллигентные родители-инженеры в период работы в «заплетке» в 50-х годах собрали приличную библиотеку, в том числе подростковую, которой Вадим охотно позволял мне пользоваться.

Мы регулярно встречались с ним вдвоем (или вчетвером, с двумя другими Вадимами), но свободное время все же по большей части проводили порознь – каждый в своем дворе. Накануне каждого нового учебного года, вернувшись с каникул, мы созванивались, и я в радостном возбуждении спешил на наше место встречи, к школе, лежащей на полпути от меня к нему. Мы захлеб рассказывали друг другу о летних приключениях, пересказывали свежие анекдоты, я напевал «взрослые» песни своих дзержинских двоюродных сестер.

В пятом классе мы начали «дружить» против девчонок, скрывая за военизированными действиями и секретными ритуалами жгучий интерес к противоположному полу. Мы чувствовали себя

членами тайной группы, придумывали себе звучные псевдонимы (за мной на какое-то время закрепилась кличка «Кобра»), изобретали секретные языки. Товарищи по «тайному обществу» даже наградили меня – трусоватого, скрытного, неспортивного астеника – самодельной оловянной медалью со скрещенными шпагами, процарапанной на одной стороне, и словами «За смелость» на другой.

В школе непоседливому Вадиму Бойцову было непросто. Он учился легко, и необходимость ждать, когда с тем или иным заданием справится весь класс, его угнетала, провоцировала на эксцентричные выходки. К тому же у него был независимый склад ума, помноженный на неординарную эрудицию. В 1971 году у Вадима произошел характерный конфликт с учительницей географии. Он только что вернулся с родителями из поездки по Прибалтике, от которой пришел в восторг. Как на грех, на одном из уроков учительница оговорила, что столицей Литвы является Рига. Вадим принародно поправил ее. Та возмутилась его посягательством на учительский авторитет и стала настаивать на своем. После урока, с глазу на глаз, она тщетно пыталась сломить его «упрямство». На следующем уроке девочка пересказывала у доски параграф учебника. Косясь на Вадима, она повторила ошибку учительницы – к ее удовлетворению и к разочарованию Вадима. После этого он перестал проявлять интерес к предмету и «тянуть» руку. (Задним числом мне кажется, что одной из причин его отказа поступать на истфак был аналогичный конфликт с учительницей истории. Официальная версия о причинах поражения советских войск в начале Великой Отечественной войны вызвала у него энергичное возражение, вылившееся в открытую полемику с учителем. Тезисы о боевой опытности вермахта к лету 1941 года и несовершенстве советских танков вызвали у него основательные, но, увы, проигнорированные педагогом контраргументы. Наука, в которой самостоятельность суждений была под запретом, утратила для него привлекательность.)

Дружить с Вадимом было нелегко. Его характер – буйный, взрывной, непредсказуемый – соответствовал его фамилии. В наших отношениях он был ведущим, я – ведомым. Подчиненная роль меня вполне устраивала. Но временами он ужасно сердился, если я упрявился и отказывался безоговорочно повиноваться. Несколько раз мы неожиданно для меня, по его инициативе, расходились, и он же каждый раз выступал инициатором примирения.

Класса с седьмого наши отношения стабилизировались, прежде всего, на основе общего интереса к истории. С восьмого класса мы вместе посещали в педагогическом институте археологический кружок Н. Б. Виноградова. После девятого, несмотря на то, что по окончании восьмилетки нас развели по разным классам, мы с Вадимом вместе провели два месяца последних летних каникул

в Москве (где мы, между прочим, запаслись программой вступительных экзаменов на истфак МГУ), в Новгороде Великом у его родственников, неумоимо исследуя местную старину, и на раскопках на границе Челябинской области с Казахстаном, разочаровавших нас: выяснилось, что археология – не наша стихия.

Неподалеку от двора «трех Вадимов», на улице Плеханова, за магазином «Башмачок», до 1972 года жил Игорь Федоров. Хотя Игорь пришел в школу восьми лет от роду, он был одним из самых мелких ребят в нашем классе. Маленький и подвижный кареглазый брюнет, он хорошо учился, несмотря на то, что в начальной школе много болел. Игорь рос в интеллигентной семье дореволюционного происхождения. Несколько поколений по линии его матери были врачами. Его дед, Игорь Петрович Жаков, брат популярного советского киноактера, был известным в Челябинске врачом и организатором медицинского дела; родители – Элла Игоревна (в девичестве Жакова) и Анатолий Борисович – успешными журналистами. В доме была тщательно подобранная обширная библиотека. Страсть к чтению и фотоделу, ощущение школьной скуки и общность характеров можно уверенно записать в разряд обстоятельств, которые сблизили Вадима и Игоря, живших к тому же по соседству.

Игорь был – и остается – чрезвычайно деятельной натурой с комплексом лидера, возможно, гипертрофированным в те годы из-за болезненного переживания по поводу малого роста (при очень рослых деде и родителях) и отсутствия детсадовской социализации. Понятно, что, несмотря на взаимное притяжение, отношения между Вадимом и Игорем были далеки от гармонии. Борьба за лидерство рано или поздно должна была привести к разрыву.

В пятом классе – уж не знаю, из каких соображений – они начали борьбу за меня, доставлявшую мне неудобства.

...Ясно вижу: после школьных занятий они подходят к Мальчику. Один берет за одну завязку его искусственной светлой шапки-ушанки, другой – за другую. Р-р-раз – завязка с треском отрывается, два – второй как ни бывало. Оба смеются. Мальчик в налезшей на глаза шапке стоит, как истукан, в растерянности проглатывает обиду.

Вскоре Игорь с дедушкой, бабушкой (спустя годы милейшей Христине Ивановне придется стать невольной свидетельницей наших бурных похождений периода ранней молодости) и родителями переехал в большую четырехкомнатную квартиру на улице III Интернационала. Теперь мы виделись чаще, встречаясь по пути в школу на углу улиц Свободы и Тимирязева. Через некоторое время Игорь выдвинул ультиматум: либо я дружу с ним, либо – с тремя Вадимами. В некотором смятении я повиновался: вечером после уроков встретился с товарищами и объявил о дружбе с Игорем Федоровым. Свою слабость я довольно рано научился компенсировать



дипломатичностью. Вероятно, я объяснил друзьям, что они втроем и без меня не пропадут. Меня великодушно отпустили, и на какое-то время контакт с ними ослабел. Но и дружба с Игорем окрепла не сразу. Зимой 1971–1972 годов он начал дружить с Леной Носаевой, о тайной симпатии к которой с моей стороны оба, конечно, не догадывались. Я выполнял роль их верного, тихо страдающего спутника. Ко мне относились снисходительно, тем более что я скатился на тройки, повсюду таскали с собой, невзирая на мои слабые попытки сопротивления. Когда я однажды попробовал улизнуть от них, сославшись на необходимость готовить уроки, оба рассмеялись: «Зачем? Все равно схватишь трояк!»

Убегая от унижений, я сблизился с Сашей Даниловым. Миниатюрный, тихий мальчик из семьи художников, с красивым девичьим лицом, изящной стрижкой несоветского стиля, Саша жил в совершенно автономном режиме. С пятого класса он занимался в художественной студии, и, по его словам, «приоритеты общеобразовательной грамотности [его] не очень волновали». С ним было интересно и спокойно. К тому же девочки проявляли к нему явный интерес, вследствие чего я впервые оказался участником дружной разнополой компании.

Отношения с Игорем Федоровым приобретут устойчивость и станут для меня притягательными в седьмом классе, после недельного пребывания на даче И. П. Жакова и разрыва Игоря с Леной. Он окажется надежным и щедрым другом, способным на широкий жест. Изредка я буду получать от него подарки, от которых у юного любителя старины перехватывает дыхание: массивную двухкопеечную монету времен Павла I, огромную живописную икону начала XX века. В старших классах, оказавшись в чужом коллективе, мы станем неразлучными друзьями и однопартниками.

За лето 1975 года, когда я уже перестану расти, Игорь Федоров вдруг вымахает так, что станет выше меня на полголовы. Характер его смягчится. В первые студенческие годы, до моей женитьбы, мы будем проводить вместе все свободное время, встречаясь чуть ли не ежедневно. Мои школьные друзья мне много дадут, у них я многому научусь – надеюсь, и они у меня тоже. Но это будет позже.

А пока мне было не очень уютно даже с теми, кого я считал своими друзьями. Они меня частенько тиранили, и, думаю, если бы не моя слабохарактерность (или долготерпение?), отношения с ними были бы разорваны задолго до окончания школы. Если Горький был местом, где Мальчик, как ему казалось, переживал наиболее важные события и сильные позитивные чувства, то Челябинск, в котором он проводил девять месяцев в году, воспринимался им скорее как некая промежуточная станция, санитарная зона, место вынужденного ожидания и подготовки к летнему счастью.

## Сильные женщины



Флора Адольфовна – одна из сильных женщин, сыгравших в моей жизни значительную роль. То, что школа – средоточие сильных женщин, я почувствовал чуть ли не в первый день учебы. Наша первая учительница, инструктируя нас по поводу поведения на перемене, предупредила, помимо прочего, о том, что шалунам лучше не попадаться на глаза директору, Розе Абдрахмановне. И действительно, когда эта женщина с суровым лицом из семьи репрессированного в 1937 году товароведа облпотребсоюза появлялась в коридоре, детвора буквально вжималась в стенку: на этаже, только что заполненном шумом и детской возней, становилось непривычно просторно и тихо.

Р. А. Мавлютова, судя по всему, в пору своего директорства с 1964 по 1968 год держала школу в жестких хозяйских руках, блюдя железную дисциплину и школьные традиции. Роза Абдрахмановна была успешным администратором: заслуженный учитель РСФСР, орденосец, она добилась для школы № 121 редкой символической почести: в 1967 году, к юбилею Октябрьской революции, ей было присвоено звание «Школа имени 50-летия Великого Октября».

С сонмом цельных, волевых учительниц, знающих свой предмет и умеющих его преподать, мы столкнулись по окончании начальных классов. На первое место среди них я бы поставил учителя русского языка и литературы Антонину Дмитриевну Захарову. Лена Носаева запомнила ее так:

«Антонина Дмитриевна. Единственная из встретившихся мне учителей, кто еще работал с тетей Зиной. Кто работал в нашей школе всю жизнь, начиная с довоенных лет. У кого на стене висела фотография выпуска 41-го года. И кто учил нас морали и нравственности не постольку, поскольку это как бы входит в круг обязанностей преподавателя литературы. Она просто была такой, какой была. Во всяком случае, я не чувствовала в ней фальши. В том, что для меня Великая Отечественная война уже на всю жизнь останется Великой и Отечественной, во многом ее заслуга. Она не просто заставляла нас писать сочинения по «Молодой Гвардии». Она жила в это время, и мы это знали, хотя Антонина Дмитриевна никогда не опускалась до дешевого пафоса и кликушества. (Между прочим, в отличие от матери Зои Космодемьянской, которой довелось осчастливить своим визитом и нашу школу. Мне она показалась просто чванливой глуповатой старухой.) Наверное, эта «железная леди» подавляла многих своих учеников. Я ее не боялась (мне в школе вообще бояться было некого), но уважала. Антонина Дмитриевна единственная не поддавалась игре «отличникам прощается многое» и ставила те

оценки, которые я заслужила. В том числе и двойки. Еще она делала с нами постановку “Вечера на хуторе близ Диканьки”, и я играла черта. Ты, Игорь, изображал Вакулу, и соответственно был мальчиком не мелким. И как же бедному черту нужно было везти на себе кузнеца в Петербург? Была проблема, как бы это все похитрее изобразить».

С Антониной Дмитриевной было непросто. Ко мне она хорошо относилась, но я ее, тем не менее, побаивался. От статной седой женщины в неизменном коричневом платье, с простой стрижкой 20-х годов, холодноватыми серыми глазами на скуластом увядшем лице старой девы веяло ледяной строгостью. Когда она, прищурив глаза, начинала скептически покачивать головой, становилось не по себе.

Многие ученики были с ней в трудных отношениях. Но при этом она была предсказуема: неприязнь и неудовольствие не скрывала, в суждениях была пряма. Помню отличницу Лену Носаеву, мрачно бормочущую у доски что-то невразумительное. А. Д. Захарова угрожающе покачивает головой: «Садись, Носаева, двойка». Двойка у Лены Носаевой?! Это была сенсация, вызвавшая не злорадство, а уважение к справедливому решению.

Саша Данилов хорошо помнит Антонину Дмитриевну. Он был ее «любимым» учеником, которого она посадила за первую парту и поднимала на каждом уроке. Вероятно, его закрытость она воспринимала как неискренность. Могла позволить себе предельно едкие, обидные и рискованные замечания: «Ну ты хорош, Данилов, хорош... когда спишь зубами к стенке».

Для Игоря Федорова А. Д. Захарова была, по его выражению, «кошмаром». Она открыто невзлюбила его с пятого класса, когда после неадекватной, по мнению его родителей, оценки за школьное сочинение, мама Игоря, профессиональный филолог и журналист, пришла ее оспорить. При этом, считает Игорь, Антонина Дмитриевна не была злобной или мстительной: скорее всего, она действовала, руководствуясь органическим чувством справедливости и неприятием покушения на учительский авторитет.

Как бы ни складывались наши отношения с Антониной Дмитриевной, русский язык она в нас «вбила» основательно. Игорь Федоров помнит, как А. Д. Захарова мучила его причастными и деепричастными оборотами; Саша Данилов навсегда запомнил тонкие различия в словоупотреблении глаголов; разбуди меня среди ночи – я без труда назову различия между определенно-личными, неопределенно-личными и безличными предложениями. Доктор медицинских наук, профессор Игорь Федоров легко формулирует хитроумные исследовательские тексты. Известный художник и иллюстратор Александр Данилов – автор элегантных литературных эссе. И для меня добротный русский язык, «вжив-

ленный» А. Д. Захаровой, является обязательным рабочим инструментом.

Антонина Дмитриевна учила нас точности характеристик, «выколачивая» из школьников детскую привычку оценивать окружающее в антитезе «хороший» – «плохой». Когда Игорь Федоров охарактеризовал главного положительного героя повести А. Фадеева «Разгром» Метелицу как «отважного, смелого, хитрого», она с холодной усмешкой заметила: «Хитрый – не очень положительная характеристика». Литературу она преподавала, руководствуясь собственными убеждениями.

В школе А. Д. Захарова пользовалась непререкаемым авторитетом человека весьма жесткого, но справедливого. Она умела внимательно выслушать обращавшихся к ней учителей и всегда давала дельный совет. («Но если что-то не так, как надо, то держись», – вспоминает А. А. Кириллова, о которой речь впереди.) Не только коллеги, но и ученики могли прибегнуть к ее помощи. Мы с Вадимом Бойцовым после уроков консультировались у нее по поводу вновь добытых крестов и иконок. Никакого неприятия наше увлечение, довольно сомнительное в эпоху советского атеизма, у нее не вызывало. Напротив, она с удовольствием объясняла нам назначение и сюжеты ритуальных предметов, расшифровывала церковно-славянские сокращения. Быть может, ей льстило, что мы видим в ней носителя энциклопедических знаний, вышедших из употребления, человека из прошлого? Или причина лежала в другом – в одиночестве и дефиците человеческого общения и тепла?

За пределами школы она была другой – доброй, мягкой, радушной. Она искренне радовалась ученикам, изредка навещавшим ее дома после выхода на пенсию и общалась в неформальной обстановке совсем иначе, попросту, без тени холодной требовательности, окатывавшей нас на уроках.

Наверное, раньше она была совсем другой. Мне кажется, ее строгость и жесткость – доспехи, в которые она облачилась, защищаясь от беспощадности этой жизни. А. Д. Захарова родилась в 1909 году в семье челябинского кочегара-железнодорожника. В 1926-м окончила девятилетнюю школу с педагогическим уклоном и до 1931 года работала в школах Бродокалмакского района. Она была очевидцем и участником коллективизации и культурной революции, идеи которых искренне разделяла. В 1931-м вернулась в Челябинск: после смерти отца в 1929 году мать и четверо братьев, младшему из которых было пять лет, оказались на ее иждивении. «Жить в разных местах с семьей было невозможно по материальным условиям, да и братьев надо было помогать воспитывать», – записано в ее автобиографии. С февраля 1932-го до осени 1973 года она проработала в одной и той же школе, менявшей свои названия и номера: ФЭС № 2, НСШ

№ 36, НСШ № 54, железнодорожная средняя школа № 1, городская средняя общеобразовательная школа № 121. В 1937 году А. Д. Захарова получила высшее образование, заочно окончив Пермский педагогический институт.

Я думаю, в первой половине жизни у нее было два события, выковавших ее характер: Большой террор, в жернова которого попал один из братьев – тех, кому она отдала свою молодость, не создав собственной семьи, и война. Из 70 выпускников 1941 года (она была классным руководителем 10 «б» класса) половина ушла на фронт; не вернулся каждый третий.

С выпускной фотографии глядят девушки и юноши, среди которых сидит молодая элегантная учительница – любимая учительница, как отмечают в своих письмах выпускники того года.

«Никогда не забыть 19 июня 1941 года, – писала в 1975 году выпускница 10 «б» класса Анна Борисовна Гуревич (Авербах). – В тот день был выпускной вечер десятиклассников. Вечер закончился в 6 часов утра. И в это яркое, солнечное утро, в этот чудесный ранний час мы – ученики 10а и 10б классов – радостной гурьбой пошли провожать домой своего классного руководителя – Захарову Антонину Дмитриевну.

А через день – 21 июня (так в тексте. – И. Н.) 41 г. внезапно началась война.

Все наши мальчики ушли на фронт. Все девочки и многие учителя провожали их.

И этот тоскливый день на вокзале, день проводов на фронт, тоже забыть нельзя, невозможно».

Но еще до объявления войны и слез расставания Антонина Дмитриевна переживет эпизод, который навсегда врежется в ее память – последний счастливый момент накануне страшного горя. Утром после выпуска она увидит забор вокруг ее дома, густо украшенный сиренью – последний подарок учеников. Возможно, те выпускники остались для нее образцом, по которому она мерила нас – и сравнение в ее глазах было не в нашу пользу?

В последние годы жизни, в начале перестройки, она внимательно следила за сенсационными разоблачениями сталинизма и, может быть, примеряла новое, горькое знание на себя. Ирина Федоровна Бородаенко, выпускница этой же школы и коллега А. Д. Захаровой, активистка движения «Мемориал» и болезненно чуткий человек, свидетельствует, что незадолго до смерти Антонина Дмитриевна стала задумчиво формулировать заботившую ее тему: «А можно было жить по-другому...»

Антонина Дмитриевна была крайне непритязательна в быту и категорически отказывалась от какой-либо помощи коллег и учеников в домашних делах. Как большинство пожилых людей, она боялась в старости оказаться для кого-нибудь обузой. Через несколько дней

после того как она узнала, что смертельно больна, она умерла – тихо, с достоинством, естественно, никого не обременяя. Ушла из жизни словно бы усилием своей железной воли.

Анна Антоновна Кириллова, с пятого класса преподававшая нам математику, была другой. Крупная женщина с правильными чертами волевого крестьянского лица по-доброму относилась ко всем. У нее не было любимчиков или объектов повышенного внимания: что заработал, то и получил. Это ее качество очень помогло мне, когда в седьмом классе, после двух лет троек, я решил взяться за ум. Первое время она посматривала на меня с удивлением – и уважением, легко распрощавшись с убеждением о безнадежной слабости ученика, которое в отношении меня должно было у нее сложиться.

Анна Антоновна была очень выдержанной. Я не помню, чтобы она повышала голос. «Если что-то не так, замолчу, пережду, когда все успокоится, – вспоминает она. – Терпенья хватало». А вообще-то в молодости бывало всякое. Анна Антоновна помнит, как в январе 1955 года, вскоре после реорганизации школы из женской в «двуполую», у нее произошел инцидент с долговязым шестиклассником. Тот вальяжно полусидел-полулежал за первой партой, далеко выставив из-под стола ноги. «Убери ноги!» – несколько раз безрезультатно обращалась к нему учительница. Наконец она подошла к нему и приподняла за шиворот – сильная женщина: «Сколько ты еще будешь издеваться?! Вон из класса! Чтобы я тебя больше не видела!» В течение недели парнишка тщетно канючил о разрешении вернуться на урок. «Сорваться могу», – резюмирует эту историю Анна Антоновна.

Вспоминает Елена Носаева:

«Анна Антоновна. Удивительно, как математику можно было преподавать с такой материнской мягкостью. У нее даже символы на доске выглядели как-то уютно и округло, как и она сама. До крика на уроках доходило очень редко. И мне было ужасно интересно: успеть кроме общего сделать еще и дополнительное задание – вовсе не ради оценки. За оценку я и так не беспокоилась. Это было просто здорово: раскинуть умишком и что-нибудь такое раскусить. Ну и оценка, конечно, не мешала... Теперь психологи называют это, если не ошибаюсь, завершённой эмоциональной петлей: оценка, действие, результат, оценка».

У Анны Антоновны – крепкий, твердый почерк и такой же характер, выкованный нелегкой советской действительностью. Она родилась в 1929 году в Нязепетровске. В 1932 году ее родителей, Антона Ивановича и Анастасию Петровну Даньковых, владевших двумя коровами и лошадью (или наоборот – Анна Антоновна сомневается), раскулачили и выселили в Санарскую станицу. На удивление – случилось и такое – власти признали незаконность своих действий и раз-

решили семье вернуться. Но за время их отсутствия дом был разорен соседями, вещи растащены.

Отец рассердился и, взяв с собой жену, уехал на заработки в Магнитогорск, на строительство металлургического завода. Маленькую Анну отец матери не дал увезти в Магнитку и взял в свой дом. Но вскоре и его раскулачили и выселили на заимку. Так трехлетняя Анна стала «жертвой политических репрессий» – этот статус был признан за ней во время перестройки, через 50 с лишним лет. На заимке она прожила с дедом и его семьей несколько месяцев, после чего брат отца отвез ее в Магнитогорск. К середине 30-х работа в Магнитке закончилась, и семья отправилась на поиски лучшей доли в Ташкент – «город хлебный». Там их вместо работы и хлеба ждало разочарование, а на обратном пути денег хватило только до Карталов Челябинской области. Там они и осели в 1935 году, там Анна окончила в 1947 году школу, в которой осталась работать, одновременно учась заочно в Магнитогорском педагогическом институте. Учиться на очном отделении не позволил бюджет семьи, в которой, кроме работающего отца, была мама-домохозяйка и четверо детей.

В 1952 году Анна Антоновна последовала за мужем в Челябинск, куда его назначили руководить системой образования на железной дороге. А. А. Кириллова была направлена в железнодорожную школу № 1 (будущую 121-ю) в числе пяти молодых специалистов. Войти в школьную жизнь было трудно: коллектив старый, среди учителей немало пенсионеров, большинство из них имело за плечами дореволюционное гимназическое образование и многолетний педагогический опыт. «Старушки» ревностно следили за молодыми, с которыми пришлось делиться часовой нагрузкой, а следовательно – и деньгами. «За каждую мелочь гоняли в хвост и в гриву», – вспоминает А. А. Кириллова. Ее, жену молодого начальника, которого старые учителя года два не хотели признавать, внимание коллектива коснулось особенно чувствительно.

Тем не менее, постепенно пришло признание – Анна Антоновна работы не боялась и работать умела. Не бегала она и от общественных нагрузок – побывала секретарем и комсомольской, и партийной учительской организации, и председателем месткома. Она преподавала математику в 121-й школе 34 года, в том числе и у обоих собственных сыновей, а затем, еще 13 лет, до 1999 года, занималась школьной административной работой.

Классы, в которых А. А. Кириллова преподавала математику, переходили затем к Марии Исааковне (Минуре Ицковне) Свердловой, еще одной сильной женщине с непростой судьбой. Маленькая, кругленькая, с большими, печальными еврейскими глазами, она давала фундаментальные знания: ее выпускники не знали проблем с математикой ни на вступительных экзаменах, ни в первые семестры студенчества.

М. И. Свердлова родилась в 1923 году в Белоруссии, в бывшей еврейской черте оседлости. В 1941 году она оказалась на оккупированной территории и избежала неминуемой гибели, пробравшись босиком по болотам через линию фронта, на всю жизнь застудив ноги (ходила она тяжело, неестественно подпрыгивающей походкой). Она выбралась из оккупации, чтобы попасть в советский лагерь: к тем, кто побывал «под немцем», режим относился с недоверием. Впрочем, поговаривали, что причина заключения была каким-то образом связана с ее принадлежностью к родственникам первого председателя большевистского ВЦИКа.

Мария Исааковна в 1956 году окончила Челябинский государственный педагогический институт (по первой своей специальности она была монтером-электриком), после чего работала в школе № 37, а затем – в нашей школе; вышла на пенсию в 1980 году. Она умерла в 80 лет, тяжело доживая последние годы после смерти русского мужа – заведующего строительным отделом обкома КПСС А. И. Голышева, с которым ее связывала любовь действительно «до гроба»: после его кончины жизнь утратила для нее смысл.

В седьмом классе мы стали изучать новый предмет – химию. Начало этой школьной дисциплины для меня совпало с первыми успехами в учебе после двух лет посредственной успеваемости. Ирина Ивановна Уманская – ровесница моих родителей (1928), выпускница челябинского пединститута (1951), яркая женщина с ироничными глазами под густыми черными бровями и насмешливой улыбкой под темными усиками – блестяще знала и виртуозно преподавала свой предмет. Не выучить химию, как вспоминает А. Данилов, было невозможно: Ирина Ивановна опрашивала всех на каждом уроке. Благодаря язвительному чувству юмора она любого могла поставить на место. И привлечь к своему предмету она умела изобретательно. Помимо химического кружка устраивались представления с химическими фокусами, после уроков по коридорам и лестничным клеткам разбрасывались крошечные, но оглушительно громко взрывающиеся под ногами бумажные пакетики, так что школьное утро могло начаться с трескотни, напоминающей боевую перестрелку. Результаты контрольных опытов по химии предавались огласке. Помню, как после эксперимента, небрежно проведенного мною и стремительным Игорем Федоровым, мы оказались на доске объявлений. Ирина Ивановна поздравляла нас с занятием второго места в расчете удельного веса атома углерода: в нашем случае он составил несколько центнеров.

Впрочем, пора в очередной раз предоставить слово Лене Носаевой:

«Ирина Ивановна. Элегантная и несколько надменная особа. С НЕЮ БЫЛО ЛЕГКО ВСЕМ, КРОМЕ ТЕХ, У КОГО ОНА ОПРЕДЕЛИЛА “НА



лице печать дебилизма”. Весьма эмоционально преподавала химию, но тем прочнее она втемяшивалась в наши башки: у меня не было проблем ни с общей, ни с аналитической химией, т. е. первые 2 года в университете».

Мое повествование о сильных женщинах, у которых я многому научился, будет неполным, если я не упомяну человека, которого я лично не знал и видел только на фотографиях. Ганна Ефимовна Погудина ушла из школы за год с небольшим до моего поступления в нее. Она была директором нашей школы с 1943 по 1952 и с 1962 по 1964 год, проработав в школьной системе 48 лет, в том числе 30 лет – директором. Она связана не только с моей школьной жизнью, оказав сильное влияние на моих учителей, но и – причудливым образом – с миром моего дворового детства.

Передо мною – фотография красавицы среднего возраста: огромные серые глаза, темные брови вразлет, точеный правильный носик, очаровательный контур ярких губ, высокий лоб под роскошными волосами, забранными назад. То, что я знаю о ней, почерпнуто из юбилейных газетных статей к ее 90-летию, из конспекта разговора с ней И. Ф. Бородаенко и А. А. Кирилловой, посетивших ее в юбилей, а также из рассказов Ирины Федоровны.

Г. Е. Погудина родилась в 1903 году в казачьей семье, на принадлежавшем ее деду хуторе Погудино Еткульской станицы в Челябинском уезде. В девять лет Ганна уже боронила землю, в пятнадцать, когда мужчины воевали друг с другом на Гражданской войне – пахала. Зимой ездила в лес за дровами, летом косила траву. В 20-х годах родителей раскулачили и выселили с хутора. В конце 20-х, будучи учащейся техникума в Тюмени, она заболела туберкулезом в открытой форме и была выселена из общежития. Поставивший диагноз врач сокрушенно покачал головой: «Жаль, погибнет красивая девочка, – и дал совет усиленно питаться. – Если хотите выжить, выходите замуж за нэпмана». Он же познакомил Ганну с выходцем из семьи сибирских золотопромышленников, породнившихся со знаменитыми русскими предпринимателями Морозовыми. «Нэпман», видимо, влюбился без оглядки в красавицу, которая была намного моложе его. В Москве у него осталась жена, которая, зная о Ганне, тем не менее, материально поддерживала мужа. Как рассказывала Г. Е. Погудина в начале 90-х годов, в 1930 году ее супруг, прекрасно образованный инженер, «буржуазный специалист» в большевистской терминологии, который еще при жизни Ленина работал на заводе Автомобильного московского общества, был обвинен по громкому делу Промпартии. По одной версии, он был арестован в Москве, по другой – в Джетыгаре, куда уехал с Ганной. Она осталась с маленьким сыном Игнатом на руках, без средств к существованию и возможности устроиться на работу. Знакомые от нее отвернулись.

В течение двух лет она с места на место следовала с маленьким сыном за арестованным мужем.

Идентифицировать мужа Г. Е. Погудиной не представляется возможным. Некрасов – так она звала его в 20-х, так называла его, рассказывая о своей жизни в связи с 90-летним юбилеем. Может быть, это был один из 15 тысяч инженеров, уволенных и частью репрессированных вслед за Шахтинским делом и делом Промпартии? А может, это был Н. В. Некрасов, бывший лидер левых кадетов, депутат 3-й и 4-й Государственных дум, министр путей сообщения Временного правительства, автор декрета об объявлении России республикой? Он тоже получил инженерное образование, был на четверть века старше Ганны, некоторое время находился за границей, в двадцатые годы работал в Москве и в 1930-м был репрессирован – правда, по другому громкому делу, делу ЦК РСДРП(м). Так и подмывает вплести в ткань «маленькой», семейной истории, фигуру из истории «большой». Впрочем, биографии представителей российских образованных слоев пестрят совпадениями: пертурбации русской революции и советских экспериментов уравнили известных и безымянных, «великих» и «маленьких»...

По неточным сведениям, бывший шофер мужа тайно вывез ее с ребенком в поселок Бреды Челябинской области. Затем, по-видимому, она поселилась в Челябинске, где работала учителем истории и в 1941 году окончила вечернее отделение пединститута. Здесь ее поддерживал, рискуя репутацией, другой мужчина – энергетик, занимавший высокую должность. Она покинула его во время войны.

Вероятно, красота и внутренняя сила даже в самых тяжелых для Г. Е. Погудиной ситуациях завораживали тех, кто принимал решение о ее дальнейшей судьбе – мужчин. Однажды в 30-х годах, когда она приехала в Караганду навестить сидящего в лагере мужа, маленький Игнат чуть не погиб от дизентерии. Кто-то из лагерных начальников привез московского профессора, курировавшего высокое карагандинское начальство. Тот определил лечение, невозможное в лагерных условиях: его основу должно было составлять регулярное питание сливками и яйцами. И – бывали и такие чудеса – ребенка спасли: к барaku, в котором он находился с матерью, привезли необходимые свежие продукты.

Сталинский СССР был страной абсурдных несуразиц: до 1953 года Ганна Ефимовна была обязана ежемесячно отмечаться в НКВД (КГБ) как неблагонадежная – будучи директором школы, при которой и жила. «На учете была до смерти Сталина, – сказала она И. Ф. Бородаенко и А. А. Кирилловой. – Как меня держали, такую “преступницу”, директором?»

Ее не уволили из школы и не отстранили от должности директора, даже когда она вместе с пятнадцатилетним сыном оказа-

лась на скамье подсудимых. После того как ее жилье в школе дважды обворовали, она из школьного кабинета взяла для самообороны мелкокалиберную винтовку. Сын, играя ставшим доступным оружием, нечаянно легко ранил какую-то женщину. Игнат был условно лишен свободы на пять лет, Г. Е. Погудина – на три. В 1952 году, несмотря на «неблагонадежность», учет в органах и судимость, ее приняли в члены КПСС, до 1953 года она получила несколько правительственных наград – три медали и знак «Ударник Сталинского призыва».

В середине 40-х Ганну Ефимовну захватило большое взаимное чувство. В нее влюбился женатый мужчина, отец ее ученицы – главный инженер завода транспортного машиностроения (в 1947–1952 годах – его директор) Владимир Сергеевич Ниценко. И Ганна Ефимовна стала отстаивать свое право на свободу и счастье – вопреки прессу полицейского и партийного контроля – самым женским способом: в 43 года она забеременела и тайно выносила ребенка. В начале 90-х Ганна Ефимовна вспоминала: «В райкоме спрашивают: “Что-то пополнили странно”. А я так про себя радостно думаю, что шесть месяцев беременности, ничего не сделают».

Когда начальству стало ясно, в чем дело, возмущению не было предела: «Директор – и забеременела. Вы понимаете, что Вы школу позорите?» Или: «Мало того, что на учете, так еще родила ребенка!» Ганна Ефимовна отбивала все попытки усюветить ее: «А я брата Игнату родила, первому сыну моему».

Ирина Федоровна рассказала мне трогательную историю, которую теперь невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть – ее участников нет в живых. Но она без зазора вписывается в полную испытаний и чудес жизнь Г. Е. Погудиной. Она так красива, что хочется в нее верить. Я живо представляю себе: ясное раннее утро, ведомственная квартира на четвертом этаже с зашторенными окнами, выходящими на улицу Свободы. Сюда, к В. С. Ниценко, переехала Ганна Ефимовна. Владимир Сергеевич сдерживает радостное возбуждение, ждет, когда проснется Ганна. Он приготовил ей подарок, какой может придумать только талантливый человек. Когда она проснется, он – советский производственник, участник Гражданской войны, танкостроитель, скульптор, художник, скрипач, поэт – нежно обнимет за плечи еще сонную любимую женщину, бережно подведет к окну, выходящему на западную сторону. «Это – для тебя», – голос пресечется от волнения. И раздернет шторы. Свет на мгновение ослепит Ганну, а затем... затем она увидит в скверике под окнами фонтан: черно-белого аиста – птицу, приносящую женское счастье – с грациозно изогнутой шеей и гордо поднятой головой, с красным клювом, направленным в небо. Того самого аиста, вокруг которого мы детишками будем копошиться в 60-х...

[Незадолго до отправки книги в печать челябинский краевед В. Г. Борисов подтвердил эту историю, правда, в несколько иной версии.

«Галина (так в тексте – И. Н.) Ефимовна Погудина... вспоминает, как однажды вышивала она аиста, и это увидел Владимир Сергеевич. Вскоре Галина Ефимовна заболела и пролежала в больнице больше месяца. Когда выписали, увидела “Аиста” перед домом» (Борисов В. Г. Директор и художник).

Как следует из этой же публикации, когда в 50-х годах городские власти в связи с расширением улицы Свободы решили перенести фонтан к зданию горисполкома, управляющий домом номер 139 на свой страх и риск переместил фонтан во двор. Через пару дней фонтан уже действовал. Власти вынуждены были отступить.]

Они были счастливы. Ирина Федоровна, закончившая 121-ю школу в 1954 году, помнит, как девчонками они в восхищении заглядывались на директора – ослепительно красивую женщину в бархатном платье, выделяющуюся на фоне учительниц в более строгих синих «нарядах», перешитых из выданной казенной железнодорожной формы и украшенных самодельными белыми воротничками. Ганна Ефимовна и Владимир Сергеевич проживут в гражданском браке всего несколько лет, до его внезапной смерти от инфаркта. Но и через сорок лет она будет повторять: «Любила его очень...»

Когда Ирина Федоровна и Анна Антоновна засобираются уходить от 90-летнего юбиляра, она посмотрит на них прекрасными, молодыми глазами и скажет, как бы объясняя, почему она помогает соседскому мальчику, которого они застали у нее, справиться с домашними заданиями: «Если у кого несчастье, вы ведь начнете помогать? Ведь правда?»

«Сильных женщин» из школы № 121 роднят общие черты: у всех у них были учителя старой закалки, которые дали им крепкую, дореволюционную российскую педагогическую выучку; все они были профессионалами высочайшей пробы; большинство из них прошло через тяжкие испытания, избежать которых в Советском Союзе 20–40-х годов было почти невозможно; наконец, их вела по жизни большая любовь на всю жизнь – к ученикам, мужьям, собственным детям.

В Челябинске меня окружали иные взрослые, чем в Горьком, – и это были преимущественно женщины, сильные женщины.

## Советское житье-бытье

**i** Государство при Хрущеве и особенно при Брежневем начало оставлять своих граждан в покое, позволяя им пользоваться многочисленными техниками обеспечения относительного частного благополучия. Их стратегии материального выживания отчасти

происходят из дореволюционной практики крестьянства и городских низов. Некоторые из них возникли или модифицировались в «эпоху катастроф» (Э. Хобсбаум), границы которой отмечены началом Первой и окончанием Второй мировых войн. Часть новых моделей приспособления к материальным дефицитам, не столь жестким в 50–70-х годах, появились в период правительственного курса на повышение уровня благосостояния советских граждан.

Одной из самых трудных городских проблем, жизненно важных и касавшихся всех и каждого, было приобретение жилья. В сентябре 2006 года мой челябинский друг детства Сергей Мотовилов, охотно согласившийся поделиться детскими воспоминаниями, специально остановился на том, как он в середине 70-х годов стал владельцем комнаты в коммунальной квартире. Как-то мать заявила ему, пятнадцатилетнему, что жилье неизлечимо больной в то время бабушки пора закрепить за ним. Для этого он должен был переехать к ней и по достижении шестнадцатилетия получить паспорт – с обязательной советской пропиской по месту проживания. Аргумент матери был прост: в нашей жизни квартира – самое главное. Этот план, первоначально вызвавший у него недоумение, был успешно реализован. «У меня в 17 лет была своя комната, причем большая, восемнадцать с чем-то квадратных метров, с балконом, солнечная сторона, окна во двор», – с гордостью завершает Сергей эту историю.

Моему товарищу по детским играм действительно есть чем гордиться. Столь успешно решить «жилищный вопрос» в СССР 70-х годов было редкой удачей. Признаться, даже теперь, когда квартирная тема давно утратила для меня актуальность, я слушаю его рассказ с оттенком зависти. В молодости мне повезло куда меньше: в возрасте 22–36 лет я с семьей мотался по съемным квартирам, затем «приземлился» в рабочем общежитии, где в течение семи лет ютился с женой и двумя детьми в восемнадцатиметровой комнате. Даже по скромным советским стандартам моя квартирная ситуация скорее соответствовала 30-м годам, наиболее тяжелым в отношении коммунального быта.

Дефицит жилья, сопровождавший советскую историю, достиг особой остроты в период сталинской индустриализации и не ослабевал три десятилетия, до конца 50-х годов. В его основе лежал сложно перепутанный клубок разнородных обстоятельств: национализация большевистским режимом жилых зданий вскоре после революции 1917 года и разрушение рынка жилья; утрата значительной части жилищного фонда во время Гражданской и, особенно, Второй мировой войн; бурный рост городского населения, в основном, за счет выходцев из сельской местности; равнодушие государства к жилищному строительству. В РСФСР, например, с середины 20-х до конца 30-х годов городское население выросло более чем в два раза, а фонд

жилья – всего на две трети. На протяжении 30-х годов средняя норма жилой площади в Москве упала с 5,5 м<sup>2</sup> на человека до 4 м<sup>2</sup>. В провинции, особенно в быстро растущих индустриальных городах, ситуация была еще хуже. В Иркутске, Красноярске и Магнитогорске в 30-х годах на жильца приходилось менее четырех квадратных метров, в Иваново-Вознесенске – 2,5 м<sup>2</sup>.

Для советского государства небывалый жилищный кризис был не только вышедшей из-под контроля проблемой, но и инструментом надзора над населением, орудием манипуляций, поощрения и наказания. Население, в свою очередь, ответило на «квартирный вопрос» хитроумными махинациями с жильем, включая фиктивные браки, разводы и прописки, усиливая хаос в и без того запутанном коммунальном хозяйстве. Наверное, почти каждый из советских граждан, приобретших жилье не только в кризисные 30-е, но и в более благополучные 50–80-е годы, мог бы рассказать полукриминальную историю, сопровождавшую вселение.

Одним из продуктов и символов жилищного кризиса стала коммунальная квартира – «коммуналка», в которой соседствовало несколько семей. «Коммуналка» родилась на «перекрестке» жилищной нужды и революционного пафоса переустройства общества и быта на коммунистических началах:

«На первом этапе революции перераспределение наличного жилья богатой части населения должно было облегчить положение пролетариата, живущего в фабричных спальнях или переполненных бараках, пока коммунистическое государство не построит достаточно новых жилых помещений. Таким образом, коммуналки репрезентировали революционную перестройку общества, которая аналогичным образом осуществлялась после свержения самодержавия во многих сферах повседневности. Кроме того, коллективный характер нового типа жилья представлял собой первый шаг на пути к форме проживания, сообразной новому общественному порядку, которая отвергала буржуазную концепцию приватности и позволяла ощутить вкус жизни при коммунизме» (Ротг Рн., 93–94).

Однако этот проект воспитания коммунистического духа оказался обреченным на провал. Для большинства обитателей «коммуналок» – вчерашних деревенских жителей, привычных к тесноте совместного проживания нескольких поколений, жизнь в коммунальной квартире без возможности уединиться и уберечь от посторонних ушей и глаз интимные тайны, быть может, не представлялась таким кошмаром, каким она видится из сегодняшнего дня. Тем не менее, «коммуналка», скорее всего, рассматривалась как не более чем временное пристанище, которое хотелось покинуть при первой же возможности.

Атмосфера «коммуналки» рождала конфликты и социальную зависть, не имевшие ничего общего с идеей создания «нового человека»:

«В действительности, судя по большинству рассказов, коммунальные квартиры отнюдь не способствовали воспитанию духа коллективизма и привычек общинного быта у жильцов; фактически они делали прямо противоположное. Каждая семья ревниво охраняла личное имущество, например, кастрюли, сковородки, тарелки, хранившиеся на кухне – месте общего пользования. Строжайшим образом проводились демаркационные линии. Зависть и алчность процветали в замкнутом мирке коммуналки, где зачастую площадь комнат и размеры занимающих их семей не соответствовали друг другу, и семьи, живущие в больших комнатах, вызывали глубокое негодование тех, кто жил в маленьких. Это негодование послужило источником множества доносов и судебных исков, целью которых было увеличить жизненное пространство доносчика или истца за счет соседа» (Фицпатрик Ш., 60–61).

Лишь в последнее 30-летие существования СССР положение со строительством жилья стало выправляться. Число городских семей за это время удвоилось и приблизилось к 50 миллиону. Примерно такое количество квартир, по официальным данным, и было построено в городах и поселках городского типа с конца 50-х до конца 80-х годов. В 1989 году более 83 % городских семей проживало в отдельных квартирах или домах. «Это стало достижением, которое не следует недооценивать» (Вишневский А., 91).

Поскольку жилищный вопрос был одним из важнейших и наиболее трудно решаемых, не приходится удивляться, что он занимает видное место во многих автобиографических историях, рассказанных героями этой книги. Они убедительно свидетельствуют, что равенство советских граждан было наивной иллюзией или недобросовестным мифом.



Показательно, что чем труднее доставалось жилье, тем большее значение история его приобретения имеет для рассказчика, превращаясь в эпическое повествование о личном триумфе. Если же вспоминающий рос в обстановке относительного бытового комфорта, жилищная тема затрагивается им мимоходом. Так, Лора Исаевна Иванова, дочь родного брата Н. Я. Хазановой генерал-майора Исаея Яковлевича Рыбкина, как о чем-то вполне естественном, между прочим, без деталей и явного чувства гордости в разговоре со мной упоминала «громадную четырехкомнатную квартиру» в Киеве, «очень хорошую» квартиру в Баку, двухэтажный особняк во Львове и трехкомнатную квартиру в знаменитом сталинском строении на Котельнической набережной – здании в 506 просторных меблированных квартир со всеми мыслимыми в то время удобствами.

Для дочерей Н. Я. и Б. Я. Хазановых рассказы о квартирах, в которых они жили с родителями, – часть воспоминаний о счастливом детстве. Старшая из них, Мира Борисовна Корзухина, отлично помнит квартиру в Гомеле, на улице Рогачевской, в которой семья жила в середине 20-х годов; деревянный дом и двор с индюками и курами в Осиновке; обе квартиры в Балахне, куда семья переехала в начале 30-х. Первая из них, двухкомнатная, находилась на нижнем этаже одного из выстроенных в ряд двенадцати кирпичных многоквартирных домов. Вторая балахнинская квартира (младшая дочь Хазановых, Тамара Борисовна Нарская, помнит только ее и ошибочно полагает, что ее Гогрэс предоставил отцу сразу после переезда в Балахну) состояла из трех больших комнат – гостиной с балконом, спальни родителей и детской, – просторной кухни, в которой обедали, и темной комнаты-кладовки. Ванной в квартире не было: мылись в бане или дома, в корыте с водой, нагретой на дровяной печке. Для Т. Б. Нарской эта квартира, интерьер которой она вспоминает в деталях, прежде всего – «декорация» детских праздников. На Новый год наряжались две елки: одна – в детской, другая – в большой, в два окна, гостиной, где стояли старинный буфет, черное пианино, на котором играли ее мама и старшая сестра, прямоугольный стол с шестью стульями. Балахнинское жилье запомнилось еще одним обстоятельством: с 1937 года из дома инженерно-технических работников начали пропадать соседи.

В 1940 году по переезде в Горький Хазановы сразу получили отдельную квартиру на улице Красного милиционера (Ошарской). Правда, двухкомнатную, но с очень большой кухней и темной комнатой при ней – то ли для прислуги, то ли для хранения припасов. «Тоже хорошая квартира», – считает М. Б. Корзухина.

Хотя «квартирный вопрос» для семьи Б. Я. Хазанова решался относительно легко – во всяком случае, дочери не были свидетелями усилий отца для получения отдельной жилплощади, – жилье, в котором они провели «счастливое советское детство», вспоминается ими очень интенсивно. Возможно, припоминание о нем усиливает контраст между беззаботной детской порой и военной и послевоенной молодостью, принесшей незнакомые ранее проблемы, в том числе в сфере жилищного быта.

В начале войны, когда с запада на восток хлынула волна беженцев, в горьковской двухкомнатной квартире на Ошарской одновременно ютилось до 14 родственников. Во второй половине 40-х М. Б. Корзухина жила в бараке среди песков в поселке Игумново. «...Одна комнатка, малюсенькая, там же плита, малюсенькая, и вот мы жили: я, Коля, Танюшка и мама (мать мужа, Н. Н. Корзухина. – И. Н.)» – вспоминает Мира Борисовна. Комната, действительно, была крошечная: «Танюшка» помнит «огромную» кровать родите-



лей, занимавшую большую часть помещения. Да и первая квартира Корзухиных ближе к центру Дзержинска, полученная при активном содействии Б. Я. Хазанова, была маленькой, с печным отоплением.

Еще труднее налаживался вдали от родительского дома быт младшей дочери Хазановых, Тамары. За годами аскетической жизни в Ленинграде рубежа 40-х – 50-х последовала не менее неустрашенная жизнь в Донецке, где ей предоставили пятиметровую комнатушку без отопления, с пятиметровой же высоты потолком и окном, целиком занимавшим одну из стен. Комнатка быстро нагревалась от электроплитки до духоты. Через два часа после того, как плитку выключали, у обитательницы зуб на зуб не попадал от холода. Это жилье сменила комната в общежитии для молодых специалистов в Сталино, затем две комнаты в коммунальной квартире в Куйбышеве. Лишь в 1961 году, через 13 лет после отъезда из Горького, она с мужем и маленьким сыном поселилась в небольшой отдельной квартире в Челябинске.

Жилищная проблема разрешилась для дочерей Хазановых, как и для многих других советских семей, на рубеже 50-х – 60-х годов. Теперь можно было подумать и о предмете советской «роскоши» – автомобиле. Нарские от приобретения машины наотрез отказались, хотя В. П. Нарский за десять месяцев работы на эстраде в 1969–1970 годах заработал несколько тысяч рублей. Корзухины же, напротив, мечтали купить автомашину, не имея для этого достаточных средств. Сначала речь шла о подержанной «Победе», которую им готов был продать главный врач госпиталя, где работала Мира Борисовна. Правда, машина была приобретена главврачом – хоть и на законных основаниях, – будучи списанной в больнице, что вызвало опасения его жены и категорические возражения дочери по поводу сомнительности частной сделки. Когда вариант с «Победой» провалился, Б. Я. Хазанов предложил дочери и ее мужу: «Хотите, я вам устрою очередь, чтобы купить машину?» Один из подчиненных ему бухгалтеров, председатель комиссии народного контроля, помог Корзухиным «вклиниться» в очередь на получение автомобиля, пойдя на нарушение, каким и должна была противодействовать возглавляемая им организация.

Но связи – это одно, а деньги – совсем другое. У Корзухиных было накоплено всего 1,5 тысячи рублей, в то время как «Москвич-408» стоил 4,5 тысячи. Никакого банковского кредита частным лицам советская система, естественно, не предлагала. Тогда Н. Я. Хазанова сняла с семейного счета все накопления – 1700 рублей. Еще 700 одолжила мать подруги М. Б. Корзухиной, 600 рублей удалось собрать в долг (по 100–150 рублей у знакомых). Так в 1968 году в семье Корзухиных появился автомобиль. Расплата по долгам – огромным по советским меркам – растянулась на год-полтора. Вакуум

безличных финансовых услуг компенсировался «беспроцентным» родственным и дружеским участием.

Возможности решения жилищного и прочих бытовых вопросов в семьях главного бухгалтера крупного предприятия или успешного офицера войск НКВД были исключительными, недоступными большинству советских граждан. У членов семьи М. А. Нарской, матери моего отца, «квартирный вопрос» решался значительно более трудно и драматично. До середины 30-х годов дочь священника жила с мужем (до 1934 года) и двумя детьми (до 1936 года) в центре Москвы, в бывшем доходном доме на углу Большой Молчановки и Борисоглебского переуллка, напротив церкви Николы На курьих ножках, на подворье которой стояли дома родственников дяди Марии Александровны, В. А. Нарского, – Василевских, Воздвиженских и Нарских. М. А. Нарская занимала огромную комнату (28 м<sup>2</sup>) в пятикомнатной квартире в цокольном этаже. До революции здесь проживал Петр Тимофеевич Степанов, работавший в 20-х годах главным бухгалтером в какой-то иностранной концессии. Любителю пения, обладавший красивым басом, он был хорошо знаком с Марией Александровной, и, когда над его семьей нависла угроза «подселения», он предложил ей самую большую комнату. Возможно, таким же образом в две комнаты квартиры Степанова въехали сестры Блюм, одна из которых была замужем за бывшим латышским стрелком. В крошечный темный чулан вселилась дворничиха. Несмотря на крайне стесненные условия она привезла из деревни троих сестер и брата, которые также стали обитателями чулана. Чтобы всем им можно было разместиться на ночлег, в нем подвесили два гамака.

Видимо, стратегия, избранная П. Т. Степановым для сокращения неприятных последствий «подселения» – самостоятельный поиск соседей для собственного «уплотнения» – оправдала себя. И Мария Александровна, и ее дети всегда очень тепло вспоминали жизнь в квартире на Большой Молчановке – без скандалов, с исключительно порядочными, интеллигентными соседями, имена которых до сих пор хранит память. Впрочем, замечено, что в детских воспоминаниях ностальгия по «коммуналкам» встречается значительно чаще, чем во взрослых: коммунальная квартира, видимо, представляла собой гораздо более увлекательное детское пространство, чем отдельное жилье.

Личное решение «жилищного вопроса» в 40–60-х годах В. П. Нарским в его рассказах представлено как напряженная борьба с победным концом. В Сталино, почти полностью разрушенном во время войны, солисты театра жили в подсобных помещениях закулисной части, а молодые артисты балета, приехавшие из Москвы, – в бывшем туалете и «курилке» зрительской части с отключенным из-за неисправности отоплением. В сорокаметровом помещении,

в котором Владимир Нарский обитал вместе с двумя товарищами, воздух временами остывал до трех градусов, вынуждая их ночевать в ложе зрительного зала, с риском быть застигнутыми посетителями детских утренников...

Отец с гордостью рассказывает, как он решил «квартирный вопрос» своей будущей жены, жившей в крошечной холодной комнате:

«Она была первая на получение комнаты... Сдают театральный дом. Первый подъезд – ничего, второй – ничего, третий – тоже ничего. Я говорю: “Ничего, я тебе комнату сделаю. Завтра пойдем к директору, я скажу, что мы – муж и жена”. Ну, пришли. Там – парторг у него. Я говорю: “Можно по личному вопросу? <...> только, – говорю, – посторонних прошу удалиться. <...> Тамара Борисовна теперь моя жена”. “А-а, поздравляю!” Я говорю: “Поздравлять позже <...> Тамара, дверь на ключ!”»

Во время рассказа В. П. Нарский начинает заметно волноваться, голос перехватывают спазмы возмущения, он грозно постукивает костяшкой указательного пальца по столу:

«Я ему говорю: “Ты до каких пор будешь издеваться?” – “Спокойно, спокойно...” – “Сейчас я тебя успокою! Трубку положи! <...> Я тебе даю три дня срока. Ты можешь спросить у любого – я слов на ветер не бросаю. Через три дня не будет комнаты – я тебя убиваю”. На следующий день была комната. Все!» – папа торжествующе смеется.

Одним из мотивов переезда в Челябинск стало предоставление моим родителям отдельного жилья. Но и здесь получение в 1963 году двухкомнатной квартиры в центре города, в которой они живут поныне, прошло не без боя. На нее было несколько претендентов, что заставило В. П. Нарского вновь двинуться в атаку на администрацию: «Если этой квартиры не будет – сразу уезжаем!»

Приехав зимой 1963–1964 годов в гости к сыну и обозрев новую квартиру, П. П. Нарский (Кузовков) с восхищением протянул: «Ну-у, по квартире ты уже в коммунизме!» Неоднократно имея возможность выгодно обменять ее на более просторную, мой папа каждый раз категорически от этого отказывался. Для него, в сорокадвухлетнем возрасте расставшегося со сценой, превращенного чрезмерными физическими нагрузками в инвалида, добытая им «коммунистическая» квартира – наглядное доказательство успешности своей жизни.

Наряду с жилищной проблемой советские граждане ежедневно сталкивались с другой, не менее острой и жизненно важной – перманентным дефицитом продуктов питания и товаров первой необходимости. Как и в сфере обеспечения жильем, советский режим пытался извлечь пользу из этой проблемы, превращая про-

цедуру распределения в инструмент контроля, наделения привилегиями и отказа в доступе к социальным благам. Такая же функция, какую в «квартирном вопросе» выполняла прописка, в «продовольственном вопросе» была отведена продуктовым карточкам, между 1914 и 1991 годами имевшим хождение в различных регионах Российской империи и СССР от двух до четырех десятилетий.

Семьи Хазановых потребительские дефициты коснулись не столь болезненно, как большинства советских семей. Их продовольственный быт в советское время был явно лучше дореволюционного. Б. Я. Хазанов не раз рассказывал внуку, что в доме его матери хлеб выпекался раз в неделю. Душистый, воздушный в первый день, он быстро высыхал, и большую часть недели семья питалась черствыми сухарями. В его репертуаре рассказов о прошлом был анекдот о роскоши повседневной жизни царствующего дома, демонстрирующий примитивизм кулинарных фантазий российских низов: Николай II, прежде чем есть вареную картошку, якобы швырял горячую картофелину в стену из коровьего масла, доставая ее затем золотой вилкой из подтаявшей масляной пробоины.

Однако карточная система была неотъемлемой частью повседневности и благополучной семьи Хазановых. Их младшая дочь неоднократно вспоминала спецпак № 1, полагавшийся ей в Горьковском хореографическом училище: 600 граммов хлеба в день, немного сахара, крупы, соли, муки. Изредка выдавалась также ткань на одежду. Во время войны нужно было часами стоять в очередях за продуктами. Толпа безропотно наблюдала за пленными немцами, подъезжавшими на санях с коробом: им хлеб отпускался вне очереди.

Для ее матери, Н. Я. Хазановой, в 40-х годах работавшей в столовой Горэнерго, карточная система доставляла ежедневные неудобства, обременявшие по вечерам всю семью. Вот что рассказывает об этом ее старшая дочь М. Б. Корзухина:

«Мы все вечера клеили эти талончики (которые отдавали посетители столовой при получении обеда – И. Н.). Это был такой адский труд: 10 граммов жиров, 15 граммов крупы, там еще чего-то, 10 граммов сахара – разные были карточки. Из каждой надо было вырезать... и все это мы должны были наклеить, чтобы ей сдать: отдельно крупу, отдельно жиры, отдельно сахар».

Несравненно более тяжелым было положение семьи М. А. Нарской, оставшейся в середине 30-х годов с двумя малыми детьми на руках без надежного заработка. «Другой раз и есть было нечего», – с горечью вспоминает ее сын. Перебиваясь случайными источниками пропитания, она после устройства на курсы в Тимирязевскую академию летом 1941 года работала с детьми в одном из «передовейших», по словам В. П. Нарского, колхозов на полпути между Москвой и Обираловкой. На трудовень полагалось всего 60 граммов

ржи, 30 граммов моркови, 80 граммов картофеля. Заработанного в течение лета хватало всего на два месяца. Во время войны Марии Александровне как «иждивенке» полагалось всего по 300 граммов хлеба в день, так же, как и ее детям. Ее дочь Виолетта Павловна Кузнецова вспоминает, что мокрый тяжелый хлеб привозили в магазин на лошади раз в десять дней. Семья съедала его дней за пять, после чего наступали мучительно тянувшиеся голодные дни. Правда, голодавшим Нарским помогли мать М. А. Нарской, Н. В. Протопопова, после возвращения из Сибири – бывший муж Марии Александровны, рачительный хозяин П. П. Кузовков, организовавший на 14 сотках земли эффективное подсобное хозяйство (ведро картошки набиралось с двух кустов), да две сердобольные соседки. У одной из них был умный, специально натренированный пес: он утаскивал буханку хлеба из-под носа зазевавшегося продавца. Как о буйном пиршестве вспоминает В. П. Нарский времяпрепровождение у бабушки: после трапезы, состоявшей из плохого ржаного хлеба с солью и чая из самовара – по семи стаканов на каждого, – они забирались под одеяло: «Хорошо, тепло!»

Очень трудно жила в войну двоюродная сестра М. А. Нарской, дочь расстрелянного священника Владимира Алексеевича Нарского Евдокия Владимировна, тоже оставшаяся одна с двумя малолетними сынишками. На всю жизнь запомнилось ей, как младший из них, трехлетний Валя, пожаловался маме: «Очень голова болит. Очень есть хочется». В доме же не было ни крошки хлеба. Колхозная сторожиха, жившая за перегородкой, услышала жалобный голос мальчонки и сжалилась.

«НЕСЕТ ЕМУ ДВЕ КАРТОШИНЫ, СВАРЕННЫЕ НА ОПИЛКАХ. Он взял, ручки трясутся. И вот он чистит сам картошку и каждую шкуриночку облизывает. Я никогда этого не забуду...», – голос девятилетней «тети Дуси» прерывается от подступивших слез. «СЪЕЛ И ГОВОРИТ: “МАМ, А У МЕНЯ ГОЛОВА ПРОШЛА”».

Мы чаевничаем на кухне в квартире Е. В. Нарской. Меня, до сих пор не нажившего животика, усердно потчуют. «Животик – это, конечно лишнее, – замечает ее сын, Г. Д. Елистратов, – но поесть – это первое дело». Как часто бывает за столом, за которым собрались люди, в свое время испытывавшие лишения, начинаются воспоминания о борьбе с голодом. Поминаются «деруны» – лепешки из смеси сушеных картофельных очистков с отрубями, гусиный лук, почки смородины, свербига (местные жители называли ее «свербугой») с мясистым стволем, по вкусу похожая на редиску. Племянница Евдокии Владимировны Людмила Борисовна Нарская в разговоре о суррогатах пищи не участвует. Она их не знала: ее мать работала в столовой, из которой ежедневно приносила бидоны с комплексным обедом...

«А мы в такое время вот жили, ой, вот эти переходы от одной власти к другой», – резюмирует «тетя Дуся». «А война?..» – тихо добавляет ее седой сын.

Размышляя о предвоенной и военной повседневности детей советских граждан «второго сорта», выброшенных государством на социальную обочину, невольно начинаешь сомневаться в справедливости тезиса: дети – не маленькие взрослые.

## Фотолюбительство в СССР



Одним из серьезных вызовов для советского профессионального фотографа 50–60-х годов было, помимо прочего, бурное развитие фотолюбительства. Массовое распространение фотопрактики опиралось, во-первых, на сформировавшиеся в XIX веке потребности визуально запечатлеть собственное «Я» и свою успешность на фоне ослабления в индустриальном обществе традиций и личных связей, ранее поддерживавших идентичность. Во-вторых, – на сложившиеся этические и эстетические клише, которые определяли, что (и в каком виде) достойно быть изображенным. В-третьих, – на технические и организационные новации в области фотографирования и изготовления снимков. Третий, общеизвестный, фактор заслуживает, тем не менее, отдельного упоминания.

Начало фотолюбительства в международном масштабе формально датируется 1888 годом и связывается с именем Джорджа Истмена. В 80-х годах XIX века появились фотоаппараты «Кодак», отличавшиеся небывалой простотой в обращении. В последующие десятилетия промышленность создавала все более дешевые и простые фотокамеры.

Технические достижения соединились с предпринимательской логистикой: Д. Истмен расчленил фотографический процесс, отделив съемку от изготовления фото и оставив за фотолюбителями лишь первый, самый простой этап. Производство дешевых фотоматериалов, отделение химического процесса от оптического и развитие сети обслуживания фотолюбителей – пунктов проявки и печати фото – содействовали популярности частного фотографирования, для увлечения которым отныне не нужно было усваивать сложные технические знания и навыки.

Прорыв в области фототехники содействовал удовлетворению сформировавшихся к тому времени социальных запросов, подстегнутых рекламой, которая делала упор на социальную привлекательность и креативность фотолюбительства:

«...любовительская фотосъемка взяла на себя функцию компенсации самоутверждения, не испытанного в профессиональной сфере, и исполняла задачу социального смягчения отчужденности индивидуума в индустриальном обществе... В эпоху утраты тра-

ДИЦИЙ В НАСТУПАВШЕМ ОБЩЕСТВЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ ФОТОГРАФИЯ СЛУЖИЛА ФИКСАЦИИ И АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОШЛОГО И ТЕМ САМЫМ СОЗДАВАЛА ТРАДИЦИИ, ВЗЯВ НА СЕБЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПАМЯТИ. К ТОМУ ЖЕ ОНА БЫЛА СРЕДСТВОМ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ВИДИМОСТИ ПРЕКРАСНОЙ ЖИЗНИ, ЧИСТОГО ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕНИЯ, ВОЗМОЖНОСТЬЮ САМОВЫРАЖЕНИЯ И ТВОРЧЕСТВА БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ ОБЛАДАТЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ТАЛАНТОМ» (GUSCHKER S., 127).

О том, насколько центральной стала функция поддержания воспоминаний и апелляции к прошлому в XX веке, свидетельствуют вспышки массового фотолюбительства в 20-е и 50-е годы, сразу по окончании Первой и Второй мировых войн, в связи с острым ощущением безвозвратно ушедшего прошлого и разрыва времен. Растущая роль фотографии как фиктивного инструмента поддержания памяти, создания эффекта присутствия близких, а также важного средства коммуникации ясно видна уже во время Первой мировой войны. Фотографии интенсивно циркулировали между фронтом и тылом (а также пленом и домом) – между мужчинами, надолго оторванными от дома, и их семьями.

В 20-х годах фотолюбительство стало важной составляющей досуга. Оно пережило новый, небывалый бум в 50-х, когда массовое острое ощущение утраты близких и прошлого совпало с бурным развитием туризма. По наблюдению С. Зонтаг, «люди, лишенные своего прошлого, кажется, являются самыми одержимыми фотографами, как дома, так и в чужой обстановке» (Sontag S., 15).

Для послевоенного Запада фото стало средством документирования экскурсов из повседневности, орудием создания «проекта прекрасной жизни» (Schulze G., 38). «Фотографии – средство обратного перевода особенного в будни, они служат обращению с неординарными событиями и их упорядочиванию, они – средство овладения необычным» (Guschker S., 144). Фотографирование на фоне достопримечательностей во время туристического отдыха – один из наиболее распространенных примеров «присвоения» действительности, превращения ее в личную собственность.

Одновременно фотография стала, как ни парадоксально это звучит, средством защиты от избытка информации и бремени опыта.

«Превратившись в средство придания опыту достоверности, ФОТОГРАФИРОВАНИЕ ОЗНАЧАЕТ И ФОРМУ ОТКАЗА ОТ ОПЫТА, ОГРАНИЧИВАЯ ЕГО ПОИСКОМ ФОТОГЕНИЧНЫХ ОБЪЕКТОВ, ПРЕВРАЩАЯ ОПЫТ В ИЗОБРАЖЕНИЕ, В СУВЕНИР, – СЧИТАЕТ С. ЗОНТАГ. – ПУТЕШЕСТВИЕ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В СТРАТЕГИЮ, НАЦЕЛЕННУЮ НА ТО, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ КАК МОЖНО БОЛЬШЕ ФОТО. УЖЕ САМИ ПО СЕБЕ МАНИПУЛЯЦИИ КАМЕРОЙ ДЕЙСТВУЮТ УСПОКОИТЕЛЬНО И СМЯГЧАЮТ ЧУВСТВО ДЕЗОРИЕНТАЦИИ, КОТОРОЕ ЧАСТО ОБОСТРЕАЕТСЯ ВО ВРЕМЯ ПУТЕШЕСТВИЯ. БОЛЬШИНСТВО ТУРИСТОВ ЧУВСТВУЕТ ПОТРЕБНОСТЬ ЗАКРЫТЬСЯ КАМЕ-

рой от всего необычного, что им встречается. Не зная, как еще реагировать, они делают снимок» (Sontag S., 15).

Распространение фотолюбительства содействовало изменению мотивов и эстетики частной фотографии. С 60–70-х годов XX столетия постановочные сцены все в большей мере уступали место спонтанным изображениям, официальные мотивы теснились более интимными сюжетами. Эти перемены и были предъявлены Пьеру Бурдые в качестве одного из главных пунктов критики его интерпретации фото как средства поддержания социального статуса. [Заметим мимоходом, что этот тезис П. Бурдые, напротив, подтверждается массивом однотипных туристических снимков на фоне одних и тех же достопримечательностей, снятых в одних и тех же ракурсах. Туризм – общепринятая форма отдыха современного благополучного человека. Арсенал туристических фото на узнаваемом фоне – своего рода (чаще всего неосознанная) демонстрация успешности их владельца].

Советский Союз пережил общие тенденции развития фотолюбительства с некоторым временным сдвигом и рядом особенностей, отражающими состояние экономики и общества, а также качество государственного контроля над ними. В межвоенный период фотоаппарат в частном пользовании был большой редкостью. Прежде всего, приоритеты индустриализации негативно сказались на отечественном производстве фототехники для массового потребления. Первые советские фотоаппараты – «ФЭД-1» – начали производиться лишь в 1934 году. Характерно, что местом их производства была колония им. Ф. Э. Дзержинского (отсюда название модели), романтизированная в «Педагогической поэме» А. С. Макаренко. В 1937 году в стране производился всего один фотоаппарат на 500 жителей. Фототехника была, соответственно, дефицитным предметом роскоши и не по карману рядовому советскому покупателю, озабоченному повседневным добыванием самого необходимого. Кроме того, система обслуживания фотолюбителей, аналогичная созданной «Кодаком», появилась в СССР с опозданием на сотню лет (кстати – в лице «Кодака», пришедшего на постсоветские просторы в 90-х годах минувшего века). Процессы проявления, закрепления, увеличения и печати, лежавшие на фотолюбителях, требовали специальных затемненных помещений. В условиях жилищного дефицита и жизни в коммуналках фотопрактика была поэтому недоступным излишеством для большинства горожан. Наконец, в период массовой шпиономании и Большого террора наличие фотоаппарата в семье было небезопасным: так же, как и многочастотный радиоприемник, он мог выступить главным доказательством сотрудничества с «империалистическими» разведками.

Ситуация принципиально изменилась по окончании Второй мировой войны, особенно после смерти Сталина. Фотоаппараты



в большом количестве были завезены из Европы советскими солдатами и офицерами: фотокамера, наряду с наручными часами, была одним из излюбленных трофеев. Поворот хрущевского руководства к укреплению режима с помощью развития легкой промышленности и повышения уровня жизни населения, равно как и ослабление тяги государства к тоталитарному контролю, содействовали массовому производству доступной гражданам фототехники и ее активному потреблению. Само советское руководство стало использовать фотографию как демократичный и якобы спонтанный и достоверный инструмент политической пропаганды – антипод сталинской постановочной живописи.

Помимо прочего, фотопрактика, начиная с 50-х годов, была признана не только разумным времяпрепровождением, но и средством воспитания подрастающего поколения. Фотографические кружки и фотолaborатории стали неотъемлемой принадлежностью дворцов пионеров и школьников, школ и пионерских лагерей. Сеть магазинов «Культспорттовары» предлагала широкий ассортимент фотоаппаратов, фотоувеличителей, химических реактивов и прочих компонентов обязательного инструментария советского фотолюбителя по приемлемым ценам. Фотоаппарат, наряду с пианино, стал признаком «культурной» семьи.

Опыт утрат вызвал острый интерес к безвозвратно ушедшему прошлому и жгучую потребность в фиксации «счастливых моментов» жизни. Развитие внутреннего туризма в СССР вкупе с травматическим опытом превратило советских граждан в не менее страстных фотолюбителей, чем японцы, задолго до падения «железного занавеса» и заметного присутствия жителей бывшего СССР за его пределами. (Одержимость фотографированием остается очевидной чертой современных российских туристов, отражая, возможно, определенную неуверенность не только во вчерашнем, но и в завтрашнем дне. Возможно, в этом феномене отражается также и страстная потребность создать свой собственный, стабильный и праздничный мир, противостоящий не очень надежной и устроенной коллективной повседневности. Усердная фотопрактика захватила широкие слои обитателей пространств бывшего СССР, включая академическую элиту. На международных конференциях ее представителей легко узнать по наличию фотокамер и фотовспышкам в самые неподходящие моменты работы западных научных форумов.)

Итак, в 1957 году в СССР был выпущен миллион фотоаппаратов, двумя годами позже – на 200 тысяч больше. Производство фотокамер на душу населения выросло с середины 30-х годов, таким образом, в 2,5 раза. Обилие и разнообразие рынка фотопродукции потребовали просветительского сопровождения, тем более что пункты проявки и печати отсутствовали, и фотолюбители сами долж-

ны были осуществлять весь трудоемкий фотографический процесс, а изготовление качественных снимков с помощью советских фотоматериалов требовало сноровки. В 50–60-х годах наряду с общими работами по истории фотографии, приуроченными к ее юбилеям, выпускалось множество регулярно переиздаваемых пособий и руководств по фотоделу Д. З. Бунимовича, В. П. Микулина и др.

Так, в 1966 году в Москве тиражом 225 тысяч экземпляров была издана трехсотстраничная книга Давида Захаровича Бунимовича «Практическая фотография». Автор адресовал ее начинающим фотолюбителям и так определял ее назначение:

«В популярной форме рассказывается об устройстве и особенностях различных фотоаппаратов, о фотопленках и их основных характеристиках, о съемке в различных условиях. Автор советует начинающим фотолюбителям, как лучше оборудовать свою фотолaborаторию, как проявлять пленки, на какой бумаге печатать, как увеличивать и ретушировать фотоснимки» (Бунимович Д. З., 2).

В пособии Бунимовича содержались, помимо прочего, советы, призванные «перехитрить» сложности фотографического дела в условиях материально сложного советского быта. Фотолaborаторию рекомендовалось разместить в кладовой, чулане, ванной комнате или жилом помещении, если его удастся достаточно хорошо затемнить. В книге содержались инструкции по самостоятельному приготовлению химических растворов – имевшиеся в продаже готовые химические препараты обошлись бы значительно дороже. Граммовый разновес для приготовления растворов можно было не покупать, воспользовавшись разменными монетами достоинством в 1, 2, 3 и 5 копеек – их вес в граммах соответствовал номиналу. В пособии Бунимовича, как и у других авторов, содержались таблицы, которыми следовало руководствоваться при определении выдержки и диафрагмы для качественного фотографирования.

О состоянии советского фоторынка середины 60-х годов также можно получить общее представление, обратившись к пособиям по фотоделу тех лет.

«Ассортимент отечественных фотокамер в настоящее время настолько обширен, – писал Д. З. Бунимович, – что разобраться в нем трудно не только начинающему, но порой и опытному фотолюбителю.

Наряду с очень простыми по конструкции фотоаппаратами наша промышленность выпускает весьма сложные и современные аппараты, оснащенные по последнему слову техники» (Бунимович Д. З., 15).

В те годы в советских фотомагазинах можно было приобрести фотокамеры одной из трех групп: крупноформатные, для получения кадра 6×9 и 6×6 см, малоформатные (24×36 и 24×32 мм) и миниатюрные (10×14, 14×21 и 18×32 мм). Самыми популярными и

многочисленными были малоформатные аппараты – от простейших «Смены», «Весны», «Юности» до достаточно сложного зеркального «Зенита» с оборачивающейся оптической системой, «Ленинграда» с автоматизированным затвором и переводом пленки, «Киева» с цейсовской оптикой.

Разброс цен на фотоаппараты и фотоувеличители соответствовал широте ассортимента и зависел, прежде всего, от качества оптики. Простые фотоаппараты, вроде «Смены-6», стоили в 60-х годах до 10 рублей. Это был хороший подарок для мальчика (на двенадцатилетие такую фотокамеру получил от своих родителей и я). Цена на пять моделей «Зоркого» колебалась от 20 до 30 рублей, «ФЭД» стоил до 50 рублей, цены «Зенита» и «Киева» превышали 70 рублей – такова же была средняя зарплата начинающего молодого специалиста. Дороже всего – до нескольких сотен рублей – стоила немецкая «Практика» с цейсовской оптикой. Ее приобретению предшествовала многомесячная экономия семейного бюджета, если, конечно, покупатель вожделенного аппарата не был высокооплачиваемым работником. Цены на фотоувеличители были сопоставимы с ценами на камеры. Такая покупка порой обходилась дороже самого фотоаппарата. Если же учесть, что для оборудования домашней фотолаборатории, помимо этого, нужно было приобрести бачок для проявления пленок, копировальную рамку для печати, ванночки для проявления, промывки и фиксации снимков, лабораторный фонарь с оранжевым стеклом, весы, мензурки, воронку, термометр для приготовления растворов нужной температуры, металлические зажимы для просушки фотоснимков, то фотолюбительство производит впечатление довольно затратного увлечения.

В более благоприятных условиях в этом отношении оказывались работники научно-исследовательских институтов и других учреждений, располагавших собственными запасами фотобумаги и химических реактивов: в 60-х годах выносить с работы казенное имущество – вне зависимости от степени его дефицитности – было всеобщей практикой. Это тем более касалось материалов с ограниченным сроком годности (не пропадать же добру!), а обмен материалами между подразделениями служил своего рода взаимной оплатой услуг.

Несмотря на бурное развитие фотолюбительства в 50–60-х годах оно имело легко определяемый социальный профиль. Будучи преимущественно городским явлением, фотопрактика почти не задела низкооплачиваемые категории советского населения, а также обитателей общежитий, бараков и коммунальных квартир (в том числе значительную часть на все лады превозносимого в советской пропаганде рабочего класса). Вероятно, производство одного фотоаппарата на 150–200 жителей плюс ввоз фототехники из ГДР вполне покрывали потребности фотолюбителей. (В нашем, вполне благо-

получном классе, по моим неточным наблюдениям, фотолюбительством увлекалась лишь каждая шестая семья, в том числе семьи моих школьных друзей В. Бойцова, А. Данилова и И. Федорова.)

Подтверждением ограниченности в СССР распространения фотолюбительства косвенно служат данные о тиражах изданий по фотоделу. Главный журнал советских фотографов выходил в 1966 году тиражом 210 тысяч экземпляров – в 20 раз меньшим, чем журнал «Крокодил», и в 50 раз меньшим, чем «Работница»; при этом его розничная цена была в три-четыре раза выше, чем у более популярной иллюстрированной периодики.

По мнению западных социологов, в фотографировании ясно читаются гендерные роли, причем не только на самих снимках, на которых мужчины используют женщин в качестве опоры и объекта собственности, обнимая их за плечи или талию, или демонстрируют достоинства мускулистой, мужественной телесности. Сам фотографический процесс отмечен разделением труда по половому принципу: мужчины – фотографируют, женщины – обрабатывают, упорядочивают, оберегают.

Эта закономерность не выражена столь явно в советском фотолюбительстве, возможно, в связи с особенностями советской истории. Во всяком случае, в государстве, которое погубило миллионы мужских жизней и воспитало вынужденно сильных, закаленных несчастьями женщин, представительницы «слабого» пола были не менее энергичными фотолюбительницами, чем мужчины. Среди моих родственников фотографией с рубежа 40-х – 50-х годов увлекались старшая дочь Н. Я. и Б. Я. Хазановых Мира Борисовна Корзухина, заведовавшая рентгеновским кабинетом и имевшая возможность пользоваться казенными растворами, и жена их племянника Агния Стефановна Пухальская: фотоаппарат, подаренный в 1948 году девятилетнему сыну Стиве, не вызвал у мальчика энтузиазма и перешел в ее пользование. Значительная часть моих детских горьковских фотографий (не безупречного качества) произведена этими женщинами, а также старшей дочерью М. Б. Корзухиной Татьяной. Период активного семейного фотографирования в их семьях пришелся на время, когда дети – излюбленные объекты любительской съемки – были малы, после чего домашняя фотопрактика мало-помалу сошла на нет.

Краткий экскурс в историю советского фотолюбительства позволяет оценить потенциал (почти не использованный поныне), который таит для историка этот феномен советского прошлого. На основе изучения фотографии – и других изображений – можно исследовать необычные ракурсы проблем экономических, политических, идеологических и воспитательных стратегий государства, а главное – с трудом поддающиеся разрешению вопросы повседневных практик, досуга, семейных отношений, сознательно оберегаемых

историческими актерами от государственного наблюдения и контроля. Состояние изучения советского «взгляда эпохи» – не только с привлечением фотоматериалов – еще раз свидетельствует: интерес историков к визуальным свидетельствам стар и нов одновременно.

# 3 СЕМЕЙНЫЕ ФОТОГРАФИИ И СЕМЕЙНАЯ ПАМЯТЬ

## Исследовательские эскизы

---

Более всего память похожа на библиотеку в алфавитном беспорядке и без чьих-либо собраний сочинений.

*Иосиф Бродский*

Есть общая закономерность: каждый, кто пытается записать свои тщательно обдуманые мысли... обнаружит, что во время записывания возникают новые важные темы, которые упорядочивают и шлифуют мысль. Результатом становится то, что готовый продукт неизбежно выглядит иначе, чем замысел. Общий принцип теории действия в том и состоит, что исполненное действие отличается от задуманного.

*Альфред Шютц*

Иногда и мне кажется, что всякая книга, коль скоро она не посвящена предотвращению войны, созданию лучшего общества и так далее, бессмысленна, праздна, беспочвенна, скучна, не заслуживает того, чтобы ее читали, неуместна. Сейчас не место для истории чьего-то «я». И все-таки человеческая жизнь вершится или глумится над каждым отдельным «я», больше нигде.

*Макс Фриш*

Исчезают не только предметы – с ними исчезают и воспоминания о них. В мозгу возникают темные участки, и для того, кто без усталости не пытается восстановить утраченные предметы, они скоро потеряются навсегда.

*Поль Остер*


Счастье, если в детстве у нас хороший слух: если мы слышим, как красота, любовь и бесполезность громко славят друг друга каждую минуту...

*Шарман Э. Рассел*

Причиной существования семейного фото должно быть консервирование воспоминаний, но вместо этого фото создает образы, которые заменяют воспоминания, перекрывают их и становятся своего рода чудесной, усмирненной и заменяемой историей, которую передают от семьи семье в беспочвенно смелой надежде оставить этот след потомству.

*Эрве Гибер*

## Память

 Трудно найти свойство, более присущее человеку и менее поддающееся изучению, чем память. Каждый полагает, что знает, что это такое, поскольку постоянно пользуется этим жизненно важным инструментом. Начиная с античных техник обучения ораторскому искусству и вплоть до современных методик рационального чтения человечество озабочено тренировкой индивидуальной памяти, увеличением ее объемов, повышением скорости и качества запоминания и воспроизведения запомнившегося. Сбои в работе памяти вызывают неуверенность в себе и панику: человек не может жить в дне сегодняшнем, не обращая ко дню вчерашнему. Согласно метафоре И. Бродского память заменяет человеку хвост и управляет его движениями в настоящем, одновременно удручая невозможностью вернуться в прошлое:

«По безнадежности все попытки воскресить прошлое похожи на старания постичь смысл жизни. Чувствуешь себя, как младенец, пытающийся схватить баскетбольный мяч: он выскальзывает из рук» (Бродский И., 69).

Вместе с тем, как показывает история изучения памяти, процессов запоминания, припоминания и забывания, рациональные объяснения этих феноменов наталкиваются на препятствия, которые могут быть описаны с помощью максимы Августина Блаженного в отношении категории «время». Он знал, что это, пока его не спрашивали, но как только у него просили объяснений, он обнаруживал свое незнание.

В обыденном сознании современного человека память ассоциируется с индивидуальным «архивом», личным достижением и индивидуальным достоянием: из этого будто бы собственными усилиями накопленного хранилища человек якобы волен произвольно извлекать образы прошлого. Это представление, кажущееся сегодня естественным и «вечным», в действительности является относительно молодым. Оно сформировалось в рамках культуры Нового времени – и науки в качестве ее составляющей – как проект эмансипации от религии, как гимн человеческому разуму и индивидуализму. В контексте современных представлений о человеке память есть «способность поместить личное существование в пространственно-временную целостность и оглядываться на прошлое, предшествовавшее настоящему» (Markowitsch H. J., Welzer H., 11). Вместе с тем, ученые, профессионально занимавшиеся проблемой памяти – педагоги, психологи, нейрологи, – и в XIX, и, отчасти, в XX столетии в общем и целом разделяли убеждение античных и средневековых мыслителей в универсальном и вневременном характере памяти.

Лишь в 20–30-х годах XX века были сформированы теоретические концепции, исходившие из общественной обусловленности припоминания и забывания. Импульсы для историзации памяти пришли не из историографии, а из социологии. В 1925 году автор одной из наиболее влиятельных в минувшем веке теории «коллективной памяти», вновь открытой более полувека спустя, французский социолог Морис Хальбвакс утверждал:

«Индивид вызывает в памяти свои воспоминания при помощи рамки социальной памяти. Иными словами, различные группы, на которые делится общество, в любой момент способны реконструировать свое прошлое. Но... они чаще всего одновременно и реконструируют, и деформируют его. Разумеется, есть немало факторов и деталей, которые индивид забыл бы, если бы другие не хранили память о них вместо него. Но, с другой стороны, общество может жить лишь при том условии, что между образующими его индивидами и группами имеется достаточное единство во взглядах. <...> Поэтому общество стремится устранить из своей памяти все, что могло бы разделить индивидов, отделять друг от друга группы; в каждую эпоху оно перерабатывает свои воспоминания, согласовывая их с переменными факторами своего равновесия» (Хальбвакс М., 336–337).

Некоторые тезисы М. Хальбвакса, в частности, о том, что субъектом памяти выступает социальная группа, позднее подверглись критике. Но его положения, согласно которым индивидуальная память испытывает давление коллектива (не всегда осознаваемое индивидом), осуществляющего цензуру запоминания и забывания во имя обеспечения социальной интеграции, групповой и личностной идентичности, прочно вошли в современный репертуар социального и гуманитарного знания, в том числе профессионального исторического.

На теоретическое наследие М. Хальбвакса в значительной степени опирается, например, концепция «культурной памяти» современного немецкого историка Яна Ассмана, который в 90-х годах минувшего столетия писал:

«Понятие “культурная память” подразумевает одно из внешних измерений человеческой памяти. Со словом “память” ассоциируется прежде всего чисто внутреннее явление, локализованное в мозгу индивида, – феномен, подлежащий ведению физиологии мозга, неврологии и психологии, а не исторической культурологии. Однако содержательное наполнение памяти, организация ее содержаний, сроки, которые в ней может храниться то и другое, – все это определяется в очень большой степени не внутренней вместимостью и контролем, а внешними, т. е. социальными и культурными рамками» (Ассман Я., 19).



Как и М. Хальбвакс, Я. Ассман отодвигает индивида и его память – личную, биологическую, «коммуникативную», в его терминологии, – как свойство мозга на задний план, абсолютизируя «культурную память» – долговечную, поддерживаемую специальными, «посвященными» носителями с помощью праздников и ритуалов. Индивид в его концепции предстает марионеткой коллективных процессов припоминания и забывания.

Между тем, в 60-х годах в рамках социологии повседневности Альфреда Шютца и социологии знания Питера Бергера и Томаса Лукмана получили развитие представления об активном социальном конструировании индивидом действительности, в том числе и действительности прошедшей – прошлого. Хотя повседневность представляет собой хрупкую «конструкцию на границе хаоса» (Berger P., Luckmann T., 111), человек воспринимает и переживает ее благодаря ряду регулирующих механизмов и структур как упорядоченную, длительную и устойчивую. Главную роль в поддержании стабильности воспринимаемой индивидом «субъективной реальности» играет его регулярная коммуникация с окружающими в устойчивой социальной среде. При этом прошлое и настоящее взаимосвязаны и взаимозависимы: представление о прошлом позволяет ориентироваться в настоящем, а изменения актуальной действительности неизбежно ведут к пересмотру прошлого. В условиях резко изменившейся реальности индивид «подгоняет» под нее свою автобиографическую историю:

«...необходимой является радикальная реинтерпретация значения прошлых событий или лиц в собственной биографии. Поскольку гораздо легче выдумать то, что никогда не происходило, нежели забыть то, что действительно произошло, индивиду может понадобиться фабрикация и вставка в биографию событий – повсюду, где есть нужда в гармонизации воспоминаний с перетолкованием прошлого. Так как отныне господствующей и более достоверной выступает не старая, а новая реальность, то он может быть совершенно “честен”, осуществляя эту процедуру – субъективно он не лжет о прошлом, приспособлявая его к единственной истине, которая, разумеется, объемлет и настоящее, и прошлое» (БЕРГЕР П., ЛУКМАН Т., 259–260).

Социально-конструктивистские концепции памяти формировались параллельно с новыми открытиями в области нейробиологии мозга, которые не могут игнорироваться социальным и гуманитарным знанием. Современные исследователи памяти придают большее, чем прежде, значение естественным процессам, протекающим в коре головного мозга, которые, наряду с социальными условиями, определяют характер и динамику припоминания и забывания.

«То обстоятельство, что люди с точки зрения органики появляются на свет слишком рано, означает не что иное, как совпа-

дение процессов генетически обусловленного созревания с социальными формирующими процессами: органическое и социальное развитие протекает совместно – отчасти еще до рождения, но более отчетливо – после него. Именно в этом состоит особенность развития человеческого мозга: ни одно живое существо не обладает подобной пластичностью нервных клеток, ни один мозг не является незрелым в такой степени, как человеческий, ни один мозг не имеет сопоставимого потенциала развития для адаптации к различным и постоянным меняющимся условиям среды» (Markowitsch H. J., Welzer H., 18).

Вероятно, обострение внимания к индивидуальным возможностям и особенностям памяти вслед за социологией и социальной психологией ожидает и историографию.

Иными словами, исследователи памяти вновь возвращаются к исходной метафоре «архива», однако для них больший интерес представляет не его содержимое, а процесс обращения с ним «владельца». В частности, наряду с образом «компьютера», с помощью которого индивидуум-пользователь только «скачивает» сохраненную информацию, без какого-либо эмоционального участия в этом процессе, возникла метафора «голограмма», связанная с новым толкованием следа, оставленного в коре головного мозга тем или иным событием. В соответствии с «голографической» версией изменение в мозгу, связанное с кодированием прошлого, или информационный «отпечаток» в памяти – энграмма – хранит не точную «запись» прошлого, а лишь его фрагмент, на основании которого возможна реконструкция всего события. В этой связи психологи, нейрологи, а за ними и социологи прибегают к образу «сценария», чтобы подчеркнуть, что «все достижения припоминания наряду с актом воспроизводства подвержены также акту модификации. Тем самым припоминание сходно с учебным процессом, поскольку учение – это не только репродукция, но и модификация знаний» (Guschker S., 268).

Согласно современным естественнонаучным достижениям воспоминания являются не пассивным воспроизведением действительности, а воссозданием целостной информации из фрагментов-энграмм, актом, соединяющим прошлое с настоящим. При этом процесс припоминания и характер воспоминаний в немалой степени зависят от эмоционального участия вспоминающего субъекта в процессе воссоздания и реорганизации прошлого. Эксперименты 80-х годов XX века подтвердили гипотезу Зигмунда Фрейда о зависимости перспективы воспоминания от силы его эмоционального переживания. З. Фрейд проводил различие между чувственно окрашенными, «полевыми воспоминаниями» непосредственного участника и «воспоминаниями наблюдателя» – памятью о событии в целом, из дальней перспективы, бесстрастным взглядом «с высоты

птичьего полета». Воспоминания недавних событий являются, как правило, «полевыми», со временем превращаясь в картину из более отдаленной и эмоционально нейтральной перспективы. Однако в ходе эксперимента можно усилить «полевой» характер непосредственного воспоминания, концентрируя внимание вспоминающего субъекта на его чувствах. И, напротив, можно вызвать воспоминания стороннего наблюдателя, направляя внимание подопытного на объективные обстоятельства события. Эти наблюдения представляются важными для выбора стратегии интервьюирования очевидцев и участников событий в рамках проектов «устной истории».

Динамика изучения памяти в целом совпадает с поворотами в исследовании других трудноуловимых феноменов человеческого восприятия и поведения – например, опыта или эмоций, ускользающих от изучения с помощью привычных аналитических процедур. За анахроническим, внеисторическим подходом к этим явлениям последовали социальное-конструктивистские и культурно-релятивистские, а затем привлечение данных естественных наук вызвало к жизни конструктивистско-универсалистский междисциплинарный синтез.

В отношении памяти рассмотрение человека как существа, отчасти генетически запрограммированного, отчасти же социально формируемого, открывает новые перспективы сотрудничества естественных и гуманитарных наук.

«Если мы говорим о филогенезе и онтогенезе человека, история природы и история культуры сливаются, – утверждают нейропсихолог Ганс Маркович и автор теории коммуникативной памяти Гаральд Вельцер, – и такое понимание устраняет, с нашей точки зрения, сразу два величайших интеллектуальных препятствия современной истории науки. Речь идет, во-первых, о восходящем к Декарту дуализму тела и души, который поныне не оставляет в покое многих философов, психологов, социологов и историков культуры и, не в последнюю очередь, нейрологов. Во-вторых, устаревает постановка вопросов о природе и культуре, сооруженных и среде, инстинктах и обучении и т. д., предполагающая, что в гуманитарной сфере одно может существовать без другого. Если мы будем исходить из зависимости развития мозга от опыта, с одной стороны, и биокультурном развитии мышления, с другой, то сможем сконцентрироваться на обнаружении и творческом развитии полей сближения в подходах и находках соответствующих дисциплин, исследующих память» (Markowitsch H. J., Welzer H., 22–23).

В известном смысле обозначенная выше динамика изучения памяти, опыта, эмоций, восприятия, поведения в целом характерна для историографии XIX–XX веков. От интереса к человеку – автономному творцу истории, воплощенному в персонах «великих мужей» и

«выдающихся деятелей», – историки дрейфовали к анализу безличных процессов и структур, чтобы в последние десятилетия вновь обратиться к человеку, зачастую – скромному, малозаметному историческому актеру, к поиску точек пересечения личности и структуры, субъективного и объективного.

В этом контексте понятно обращение историков к исследованию «коллективной памяти» на рубеже 70-х – 80-х годов. Этот интерес по времени совпал с поворотом от изучения структур, за которыми социальная история 60–80-х годов XX века в конце концов потеряла исторического актера, к исследованию восприятия, толкования и поведения человека в исторической эпохе. В конкуренцию с социальной историей вступила микроистория повседневности, опыта, речевых и визуальных практик – словом, история культуры в антропологически широком смысле слова: культуры как жизненно важной для человеческого существования сети значений.

Смена исследовательских интересов сигнализировала о серьезных сдвигах в историческом сознании современного человека.

«Неожиданное господство понятия “память” в современном историческом сознании является наилучшим подтверждением “демократизации”, или “приватизации” предмета истории, перехода от истории как общего предприятия к истории, создаваемой индивидуальными историками, – констатирует крупный современный эксперт по теории истории Франк Анкерсмит. – До недавнего времени понятие “память” связывалось с воспоминаниями индивидов о персональном прошлом, понятие же истории было традиционно зарезервировано для коллективного прошлого... Перенос значения слова “память” на прежнее значение слова “история” – верный признак персонализации, или приватизации нашего отношения к прошлому» (цит. по: Хмелевская Ю. Ю., 13).

Если ранее, от Мориса Хальбвакса до организатора и автора крупномасштабного исторического проекта 80-х годов XX столетия о французских «местах памяти» Пьера Нора память как субъективный феномен жестко противопоставлялась истории как «объективной» научной практике, то в последние годы усиливается представление об истории как одной из форм коллективной памяти. Историк согласно этому видению его «ремесла» является носителем и, в известной степени, пленником памяти, мифов, ценностей, предпочтений и интерпретационных стереотипов своего коллектива – профессионального, этнического, гендерного и пр. Признание субъективности историографического творчества, как и всякого иного, знаменует не капитуляцию историописания, а повышение планки требований к ученым-историкам по поводу саморефлексии и выработки более контролируемых процедур научного исследования.

## Базельское отшельничество с рабочими «интермеццо»



Пожалуй, работа над большим книжным текстом – самая увлекательная часть исследовательского проекта, оказывающая на автора мощное воздействие: он работает над текстом, текст – над ним; поставив точку, автор выходит из-за рабочего стола другим.

Впереди были три месяца работы в Базеле. Утром во вторник 1 мая 2007 года я прилетел в Цюрих. Швейцария встретила меня мягкой солнечной погодой и буйной свежей зеленью, какая у нас бывает месяцем позже. После Челябинска с голыми деревьями, только что пробившейся травкой и первыми одуванчиками светлая листва и обилие июньских южных цветов радовали глаз.

Через два часа я прибыл на «место назначения». Сотрудница университетского Исторического семинара Анна Лиш проводила меня до квартиры, где мне предстояло написать почти всю книгу. Вместе с ключами от моего нового пристанища она вручила мне конверт с милым письмом от Йорна Хаппеля, с которым после полутора лет оживленной переписки нам предстояло на следующий день познакомиться лично:

«Добро пожаловать, дорогой Игорь!

Надеюсь, ты помимо прочего рад тому, что ты здесь, далеко от Челябинска, от твоих жены и дочери... Мы рады, по крайней мере, что ты три месяца будешь у нас. Лично я с радостью ожидаю плодотворных бесед.

Также я надеюсь, что твоя новая квартира тебе понравится и ты сможешь в ней нормально работать. Как тебе близость Рейна? Разве это не чудесно? Квартира полностью оборудована. <...>

В Историческом семинаре у тебя будет рабочее место. В среду ты его увидишь. Я проведу тебя по зданию, познакомлю с людьми. Наша «секретарь по финансам» должна еще кое-что с тобой отрегулировать. Там видно будет.

Для начала я желаю тебе приятного Первого мая на твоей новой родине – надеюсь, по истечении трех месяцев ты будешь с удовольствием вспоминать о Базеле.

До завтра, с сердечным приветом,  
твой Йорн».

«Дельный парень, да еще и с юмором», – в очередной раз подумал я. Конечно, 1 мая не лучшая дата для того, чтобы обживать на новом месте: как и везде в Европе, этот день в Швейцарии был праздничным, магазины не работали. Но в остальном Базель оказался идеальным местом для сосредоточенной уединенной работы. Квартира

располагалась в так называемом Малом Базеле, на правом берегу Рейна, в тихом переулке Лейенгассе, метрах в 40 от реки. Тишина безлюдной улочки нарушалась лишь в ночь на субботу и воскресенье, когда шумные, подвыпившие внеевропейские обитатели города возвращались после посиделок в близлежащем «бювете» на берегу.

Небольшая однокомнатная квартирка на четвертом этаже была «упакована» всем необходимым для автономного существования. Дорога в Исторический семинар, расположенный в 25 минутах неспешной ходьбы от дома, вела старой липовой аллеей вдоль берега Рейна. Затем нужно было перейти Средний мост – свидетельство ранней торговой славы Базеля. Нынешний мост построен в 1903 году на месте деревянного, сооруженного в 1225-м и в течение веков бывшего единственным мостом через Рейн. А далее путь лежал по одному из маршрутов, проложенных мною по Большому Базелю. Так что как минимум часовая приятная прогулка была мне ежедневно обеспечена.

К моему удивлению, все организационные дела, связанные с устройством на новом месте, решились быстро и легко вопреки расхожему стереотипу о невероятной канцеляристской одержимости швейцарцев. Отсутствие изматывающих бюрократических барьеров, «домашность» рабочих процедур и теплота человеческих отношений напомнили мне Тюбинген и разительно отличались от берлинского «прусского» духа. На другой день по приезде в Базель я получил рабочее место, компьютер, ключи от здания и кабинета в Историческом семинаре, электронную карточку для копирования литературы. Днем позже в назначенный час мы с Йорном Хаппелем были в службе, выдающей разрешение на пребывание иностранцев. Вопреки ее пугающему названию «полиция по делам чужаков» (Fremdpolizei; в Берлине аналогичное учреждение именуется «службой по иностранцам» – Ausländerdienst, эвфемистическое наименование которого компенсируется ощутимыми тяготами и унижениями при получении вида на жительство), этот визит не вызвал у меня чувства отчуждения. Виза на многократный въезд в Швейцарию была изготовлена и вклеена в мой паспорт в моем присутствии; вся процедура заняла восемь минут. Спустя два часа в секретариате Исторического семинара мне были выданы деньги – и тоже без заполнения мудреных формуляров и беготни по инстанциям. «Фантастика!», «Невероятно!» – так комментируются события первых базельских дней в моем дневнике.

Словом, препятствий для того, чтобы чуть не сразу же по приезде в Швейцарию сесть за рукопись, у меня не было. Почти все необходимые материалы – конспекты и копии исследований, государственных и частных архивных собраний, включая фотографии, были под рукой. 3 мая по пути за визой я рассказывал Йорну о своих планах работы в Базеле. Предполагалось, что к моменту возвраще-

ния домой у меня будет страниц 300–350 манускрипта. «А сколько у тебя сейчас?» – поинтересовался мой собеседник. «Восемь!» Йорн снисходительно рассмеялся. В это время у него было около 70 страниц текста диссертации, которую он планировал закончить к своему 30-летию весной 2008 года.

Его сомнения в реалистичности моих планов раззадорили меня. Со следующего дня, встречаясь с Йорном на работе, я первым делом торжественно объявлял количество написанных страниц: 15, 20, 26, 32 и т. д. Йорн принял эту игру и в первые дни встречал меня вопросом: «Сколько?» Меньше чем через две недели, когда я по листажу опередил его, Йорн в шутку сказал: «Игорь, я теряю симпатию к тебе». Забегая вперед, скажу, что базельское «социалистическое соревнование» по написанию актуальных проектов оказалось полезным для нас обоих. К 10 июля Йорн удвоил объем текста и укрепился в уверенности завершить его к своему юбилею. Я покинул Базель с рукописью в 333 страницы, до окончания которой не доставало еще около сорока.

Такие темпы работы требуют определенной организованности. Йорн Хаппель увидел ее корни в советском «плановом ведении хозяйства». Какой-нибудь приверженец популярных клише о «русском национальном характере» мог бы вспомнить, что русские якобы «долго запрягают, но быстро едут». Моя манера работы над книгами не связана ни с той, ни с другой версией. Как мне представляется, она сложилась где-то в возрасте между 25 и 35 годами. Живя в комнате общежития (затем – в двухкомнатном блоке) с женой и двумя детьми и зарабатывая на жизнь преподаванием, я имел возможность заниматься наукой преимущественно в каникулярные месяцы. В летний сезон в моем распоряжении оказывался письменный стол в квартире родителей, покидавших Челябинск на пару месяцев. Нужда заставляла писать сконцентрированно, быстро и набело, без многократных принципиальных переделок.

Поездка в Базель и была предназначена для сосредоточенной работы над рукописью, без отвлечений на прочие дела, из-за которых я давно утратил чувство ученого «одинокого волка». Хотелось заново испытать его, ощутить наслаждение от работы. Жаждой путешествия в молодость была продиктована и «эстетическая» сторона написания манускрипта. Это должна быть рукопись в подлинном смысле слова – текст, созданный от руки, ручкой, которой я написал три последние книги. Есть особая прелесть в разложенных на столе, призывно белеющих листах бумаги, в приятной тяжести набухающей стопки исписанных листов, в ломоте в утомленной кисти руки, сжимающей тонкий, местами облупившийся тяжеленький металлический «паркер» со следом от отломанного моим другом Борисом Ровным золотистого зажима-стрелы. Я несколько раз терял эту руч-

ку, в том числе накануне отъезда в Швейцарию и в ней самой, на две недели оставил ее под Золотурном, у старинной знакомой Эрики ван Беммелен. И каждый раз начинал паниковать: старенький «паркер» давно превратился для меня в своего рода талисман, символ успеха. Если я не «посою» его навсегда и если отношения в семьях моих детей будут складываться удачно, не исключено, что ему со временем предстоит превратиться в семейную реликвию.

Производство манускрипта от руки (все равно – ручкой или на пишущей машинке) не следует рассматривать только как эстетическое чудачество и непростительную трату времени. Работа над текстом на компьютере наряду со многими очевидными достоинствами таит опасную иллюзию легкой исправимости созданного текста, которая снижает концентрацию и усилие по возможности точно сформулировать мысль, прежде чем зафиксировать ее. Кажется, что в любой момент можно вернуться к написанному и заменить временную формулировку. Между тем, набранный текст имеет свойство успокаивать: достаточно несколько раз пробежать глазами неудачную фразу, чтобы смириться с нею. Может быть, это не общее правило, но я себя на этом ловил. Помимо прочего, простота компьютерного набора ослабляет контроль автора над объемом текста. Мне кажется, что авторы многочисленных толстых монографий 80–90-х годов прошлого века стали жертвами этой электронной ловушки. Мне же хотелось держаться умеренного объема, сильного для читателя.

По давней традиции «жаворонка» в периоды интенсивной работы над текстом я начинаю рабочий день в пять часов утра. Ранний летний рассвет плюс разница часовых поясов облегчали переход на такой режим работы. Один час – одна страница убористым почерком. Чаще всего к 12–13 часам дневная норма в пять-семь страниц бывала выполнена.

Базельские коллеги радовались за меня. Они были уверены, что я пишу «из головы», что текст вызрел во мне и просится на бумагу. На самом деле это не так. В момент приезда в Швейцарию у меня были готовы только придуманное бессонной ночью близкое к нынешнему название будущей книги, первая (она же последняя) фраза и самое общее, смутное представление о структуре книги. Пожалуй, вопрос о композиции оказался для меня наиболее сложным.

С самого начала работы над проектом я отдавал себе отчет в том, что обилие предполагаемых тем и сюжетов исключает традиционные хронологические и проблемные принципы «строительства» текста. Уместными казались пяти-семистраничные, неутомительные и взаимосвязанные эссе. Связь между разрозненными фрагментами предполагалась не столько содержательная, сколько формальная: пусть каждый из них начинается той фразой, которой заканчивается



предыдущий. Тем самым должна была создаваться иллюзия спонтанного потока мысли, прерывающейся, петляющей, перескакивающей с темы на тему, ассоциативно цепляющейся за ту или иную фразу.

Затем композиция усложнялась, не приобретая, к сожалению, более ясных форм. Стали вырисовываться некие сквозные линии: детские годы в Горьком, семейные истории, подходы к анализу визуальных объектов, исследовательский дневник. В манускрипте следовало перемешать их: линии должны были прерываться, уступая место друг другу, чтобы через некоторое время продолжиться с помощью фразы-связки.

Может быть, для экономии сил и времени писать отдельные линии, а уже затем нарезать их и перетасовать фрагменты? В раздумьях на эту тему я и приехал в Базель. В первые дни я писал «на ощупь», не имея общей композиции. 4 мая, на третий день работы, со смешанными ощущениями растерянности по поводу на глазах меняющихся планов и радостного ожидания путешествия в неведомое, я записал в дневник: «Пишу совсем не так, как планировал, полагаюсь на интуицию. Текст сам ведет меня».

Лишь 6 мая я приступил, наконец, к составлению плана первой главы. Стало ясно, что не удастся создавать каждую линию «насквозь», от начала до конца, а затем «запараллеливать» их. Нужно писать фрагменты в том порядке, в котором они будут расположены в книге, чтобы кусочки линий перекликались и создавали внятное многоголосье. Вот запись от 17 мая, когда первая глава близилась к завершению:

«Я не мог и не буду писать линиями: фрагменты должны быть синхронными и поддерживать друг друга. Каждая линия в главе заканчивается словами, которыми начинается».

В итоге первоначальный план первой главы приобрел вид схемы: три вертикальные линии (воспоминания о горьковском детстве, биографическая информация, подходы к работе с изображениями), шесть горизонтальных «слоев». Читатель получит возможность выбора: читать «горизонтально», слоями, или «вертикально», отдельными линиями. С 20 по 25 мая последовало составление многочисленных вариантов аналогичных схем к второй и третьей главам. Это занятие напоминало складывание головоломных мозаик. Количество «пазлов» варьировалось, они сопротивлялись совмещению, что-то выпадало, чего-то не хватало.

В начале июля, когда я приступил к работе над последней главой, обнаружилось, что основные сюжеты, связанные с «потерями и находками», переместились, вопреки замыслу и названию второй главы, в третью главу, а сами описания исследовательского процесса разбухают до десятка страниц, нарушая стройность общей конструкции. Значит, эти сюжеты придется дробить. Сначала мне

казалось возможным во второй главе разместить «дневник исследователя» в две линии (первая и четвертая), затем более правильным показалось начать «дневниковую» линию в первой главе, что грозило, правда, разрушением ее содержательной целостности.

Словом, совладание со структурой рукописи составляло, пожалуй, главную проблему, самую сложную задачу и наиболее утомительную часть работы. К тому же предначертанный график – по одному завершенному фрагменту в день, – которому в мае я следовал относительно легко, в июне и июле стал изматывающим: к накопившейся общей усталости присоединились отвращения от работы, о которых я еще упомяну, и «разбухание» самих фрагментов до 8–10 страниц, отнимавших ежедневно по 10–12 часов. Участились головные боли, которыми я страдаю с подросткового возраста, иногда подкатывали приступы пугающего головокруженья. Несколько раз я приходил в отчаяние и хотел бросить работу или расхаживал по комнате, боязливо косясь в сторону стола, не будучи в состоянии собраться с духом для ее продолжения.

Но были в этих многочасовых бдениях за рабочим столом и приятные стороны, иногда совершенно неожиданные, недвусмысленно намекавшие на то, что, пока я работаю над текстом, текст работает надо мной. Когда день за днем, неделю за неделей, месяц за месяцем сосредоточенно вспоминаешь собственное прошлое, оно действительно словно оживает. Всплывают картины, ощущения, мысли, давным-давно вытесненные, заблокированные, забытые. 21 мая, на следующий день после окончания первой главы, во время послеобеденного отдыха я явственно увидел, как звоню в дверь к горьковским соседям Алексеевым, едва доставая кнопку звонка. Так и было: когда мы отправлялись к ним в гости, я всегда бежал первым и звонил в дверь, как только достаточно подрос. В конце мая, работая над сюжетами о раннем челябинском детстве, я вспомнил, почему плакал 7 ноября 1963 года по пути от Меркушевых домой: я испугался, когда пьяный папа забормотал то ли «Тамара, я тебя люблю!», то ли «Тамара, я тебя убью!» 19 июля, описывая горьковские телепрограммы, я отчетливо представил себе картину: поздний вечер, в комнате темно, только светится черно-белый телеэкран; Дедушка сидит на стуле слева от Мальчика, Бабушка – на диване, справа, рядом с ним. Бабушка клюет носом, у нее смешно подрагивают губы. Она дремлет, дед с внуком переглядываются и тихо веселятся. Бабушка вздрагивает и с укором смотрит на них: «Нет-нет, я не сплю!» Как ей было не уснуть перед телевизором, если она вставала в пять часов утра!..

Во сне я часто видел героев моего проекта. Вот шумная застольная компания: родительские друзья Кузнецовы, родители, Хазановы, почему-то челябинский историк И. В. Сибиряков. Мы с дедушкой примостились в углу стола, он вкусно потягивает крепкий

алкоголь. Я спрашиваю домашних, кивая на бабушку и бабушку: «А что, если я их проинтервьюирую? Не утомятся?» Няня с уверенностью отвечает: «Бабушку можешь, а дедушке будет тяжело». 25 июля во сне я в ночной час открываю своим ключом квартиру Алексеевых. В квартире тихо и темно, но помещение узнаваемо. Вот только справа на стене проема в комнату примостилась никогда не существовавшая на этом месте полка с сувенирами и безделушками, среди которых – моя горьковская фотография 1966 года. Пытаюсь осторожно достать ее, чтобы узнать, есть ли надпись на обороте. Что-то падает, от шороха просыпается Иван Терентьевич. Оборачиваюсь, чтобы потихоньку уйти, и вижу в коридоре, на топчане, спящую Веру Петровну. Она просыпается, но не пугается, узнает меня. Из спальни выходит Иван Терентьевич в привычной полосатой пижаме и говорит: «Надо идти на собрание, скоро придется прощаться с домом...»

В эмоциональном плане работа над рукописью была для меня мощным потрясением. Я заново переживал многое из своего прошлого, мысленно беседовал с давно умершими дорогими мне людьми. Общение с прошлым захватывало и волновало до слез.

Из Базеля я часто звонил героям моей книги – родителям, М. Б. Корзухиной, А. С. Пухальской, Ф. А. Марталер, – в том числе чтобы уточнить отдельные неясные мне места из прежних интервью. 12 мая, позвонив в Дзержинск тете Мире, я еще раз укрепился в намерении поспешить с подготовкой рукописи. Когда я пообещал ранней осенью показать ей фрагменты, касающиеся Корзухиных, она спокойно заметила: «Если доживу». «Не падайте духом», – попросил я ее. «Какой там дух? Дряхлость!» – прозвучало в ответ.

Серьезный сдвиг в самом себе я ощутил 10 июля, когда писал текст о первой любви. Ближе к концу фрагмента я поймал себя на том, что пишу о Мальчике от первого лица, без труда ассоциирую себя с ним. Если автобиография – путешествие в прошлое в надежде найти дорогу к самому себе, то к этой цели я вплотную подошел именно в тот день.

В Базеле я действительно чувствовал себя отшельником в келье: изнурительные бдения, короткий сон, аскетическая пища (мне было жаль времени на приготовление еды), виденья во сне и наяву, обращение взора внутрь себя. Иногда эта работа казалась мне просто опасной для собственного душевного здоровья. К счастью, в Швейцарии у меня было достаточно возможностей отвлечься от чрезмерного заикливания на проекте.

Если все ладилось, я покидал рабочий стол к полудню или чуть позже. Во второй половине дня помимо составления подробного плана следующего фрагмента и подбора материалов к нему предстояло обязательное посещение Исторического семинара – ведение

переписки, общение с коллегами, листание книг в библиотеке в качестве смены рода занятий действовали благотворно. Да и сама прогулка по Базелю была сущим удовольствием.

Старинный, на удивление опрятный город со следами кельтского и римского присутствия последний раз испытал крупные разрушения во время землетрясения 1356 года. Правда, в 50–60-х годах прошлого века базельцы, как и все европейцы, пережили короткую фазу бурного архитектурного аисторизма, в течение которой порушили многое из градостроительного наследия, заменив старую городскую субстанцию новыми сооружениями, отчасти безвкусными и безликими. Но в целом уютный старый город присутствует повсеместно. Для российского глаза, не избалованного стариной, непривычно то и дело наткаться на жилые дома, на которых значатся даты: 1290, 1329, 1338, 1415...

Я иду по окруженной старыми липами набережной Рейна от моста Йоханитов к Среднему мосту. Вот один из четырех рейнских «буфетов» под открытым небом, где, если позволяет погода, публика, преимущественно из местных иностранцев, потягивает пиво и играет в излюбленный в Южной Европе буль (итальянцы называют эту игру «бочча»). Ранним утром тут можно обнаружить горы мусора, которые благодаря стараниям чистильщиков через пару часов бесследно исчезают. Во второй половине дня на берегу располагаются базельцы, чтобы насладиться редкими этим летом лучами солнца. Я радовался преобладавшей пасмурной погоде с частыми дождями и грозами, под шум которых так замечательно работает. Часть июня и почти весь июль, обычно жаркие, на этот раз были прохладными и хмурыми, поддерживая рабочее настроение и снижая соблазн долгих прогулок.

Пересекаю Средний мост. Справа – старинная гостиница «Три короля», где останавливались Наполеон и Гете. Сворачиваю налево, взбираюсь по крутому подъему Райншпрунга. Вот огромный барочный Голубой дом, бывшая резиденция шелковых фабрикантов братьев Саразин. Жену одного из них чудесным образом исцелил от смертельной болезни гостивший в доме граф Калиостро. Далее – Августинерштрассе, собор с надгробной плитой Эразма Роттердамского. Дальнейший путь вдоль Рейна ведет по старинному Сан-Албанскому пригороду, в том числе мимо двух квартир Якоба Буркхардта, одного из столпов истории культуры в XIX веке. Еще не освоившись в городе, я предпочитал придерживаться одного из пяти маркированных исторических маршрутов, связанных с жившими здесь знаменитостями – Якобом Буркхардтом, Парацельсом, Эразмом Роттердамским, Томасом Платтером (первым ректором Базельской латинской школы в XVI веке), Гансом Гольбейном Младшим. О да, у меня, как у обитателей палаты умалишенных, прекрасная компания...

Базель – живой и открытый город, культурный, компактный, удобный для жизни. На без малого 170 тысяч жителей, из которых почти треть не имеет швейцарских паспортов, приходится более 30 музеев, 50 галерей, около 20 театров и 170 колодцев и фонтанов с питьевой водой. От моего дома за пять-десять минут можно было городским транспортом доехать до Германии и Франции. Только вот насладиться прелестями жизни в пограничном городе «без границ» мне, к сожалению, не посчастливилось. По причине краткосрочности пребывания в Швейцарии я не мог получить в ней шенгенской визы, о которой по неведению не позаботился заранее. Тем самым был поставлен крест на поездках за пределы страны. Так что мне пришлось жить с неприятным ощущением замкнутости в ограниченном пространстве. Больше, чем невозможность, например, отведать местного французского вина в Кольмаре, в 30 минутах езды от Базеля, но уже во Франции, меня расстроила отмена встреч с друзьями и коллегами в Тюбингене и Бохуме. Тем не менее, вполне осуществимой возможностью нелегально пересечь границу, которой я бы в молодости, в «дотеррористическую эпоху», воспользовался без труда и тени сомнения, на этот раз решительно пренебрег.

Впрочем, и без зарубежных поездок было немало обстоятельств, отвлекавших меня от работы над рукописью. Признаюсь, к ним я относился со смешанным чувством: некоторое беспокойство и даже досада по поводу ненаписанных страниц совмещались с любопытством и уверенностью в том, что любое дело и каждая встреча обогащают мой проект, рождают новые идеи и освежают взгляд на собственную работу. Оглядываясь назад, я испытываю признательность ко всем, с кем я разделил месяцы жизни в Швейцарии.

21–25 мая я писал доклад для предстоящего выступления в рамках Рабочей группы по еврейской и восточно-европейской истории и культуре Исторического семинара. Доклад был прямо связан с темой моего проекта и посвящен проблемам и возможностям исторической интерпретации семейных фотографий. В его основе лежал написанный месяцем ранее русский текст, созданный для участия в челябинской конференции «Образы в истории, история в образах», запланированной на сентябрь 2007 года. Забегая вперед, скажу, что обсуждение доклада в Базеле 13 июня прошло оживленно и с пользой для меня. Кармен Шайде решительно поддержала меня в убеждении, что субъективизм не является «проклятием» исторического исследования. Юлию Рихерс интересовали соотношения и взаимоотношения частных и официальных, профессиональных и любительских фото. Михаэль Хагемайстер воспринял тему близко к сердцу и рассказал в этой связи о собственном детском инсценированном фото 1958 года, как случилось и на прежних докладах. Хайко Хауманн и Жак Пикар находили аналоги горьковскому фото 1966 года

в европейских фотографиях 20-х годов XX века и в фотопортретах раввинов конца XIX столетия. Возник и вопрос о возможных влияниях уровня антисемитских настроений на фотографические инсценировки. «Под занавес» Хайко попросил еще раз спроектировать на экран фотографии, предназначенные для обложки книги. Последняя из них, 2005 года, по его мнению, не менее постановочна, чем первая, так как является репрезентацией интеллектуальной утонченности.

Кроме того, в рамках этого же colloquium я с удовольствием участвовал в оживленном обсуждении книги Пьера Бурдьё «Практический разум», заново перечитав тексты, ценные для моего текущего исследования. В отличие от российских студентов 90-х годов прошлого века, нередко воспринимавших научные труды как новое откровение, их базельские коллеги выдерживали критическую дистанцию к именитому автору. Это импонировало.

14–15 июня я должен был принять участие в берлинской конференции «Империя в провинции», организованной Йоргом Баберовски и посвященной репрезентациям господства на окраинах поздней Российской империи. Это оказалось почти невозможным из-за отсутствия немецкой визы. Под давлением Хайко Хауманна, Йорга Баберовски и по распоряжению немецкого консульства в Москве посольство Германии в Берне в виде исключения согласилось предоставить мне визу – всего на четыре дня. Две поездки в Берн по поводу ее оформления, срочное написание доклада и двухдневная поездка в столицу ФРГ отвлекли меня от рукописи на две недели. В берлинском аэропорту Шенефельд мне долго пришлось объясняться с пограничниками, которые веселились над названием конференции и пропустили меня только после предъявления обратного билета: в моем паспорте значилось, что виза действительна исключительно вместе с приглашением на конференцию.

Впрочем, дни в Берлине означали оживленное общение с коллегами, друзьями, старыми и новыми знакомыми – Оксаной Нагорной, работавшей в это время в местном архиве, Йоргом Баберовски, Клаусом Гествой, Кристофом Гумбом, Александром Мартином, Мальте Рольфом, Кристианом Тайхманом, Ричардом Уортманом и другими. Конференция проходила живо и весело. Особенно веселилась публика, когда оказалось, что за цитатой в докладе Давида Фиста о процессах в крестьянских волостных судах «И что же, скажите пожалуйста, мне делать?» – вопросом, сразу насторожившим своей культурной чужеродностью, – скрывалась простая русская фраза «А х... ли мне делать?»

21 июня мой старый добрый знакомец, заведующий отделением Новейшей истории в Бернском университете Стиг Ферстер организовал мое выступление об обращении в современной России с советской историей насилия. К моему удивлению, этот доклад вы-

звал всеобщее воодушевление и массу интеллигентных вопросов, поощряющих к дальнейшим интенсивным размышлениям о коллективной памяти и инструментах ее мобилизации. Подготовка этого доклада также потребовала времени. В этой связи назначенное на этот же день обсуждение моего текста о формах насилия в период Гражданской войны на Урале – мероприятие в рамках совместного виртуального семинара историков Базеля и Челябинска (и тоже потребовавшее предварительной подготовки) – прошло в Базеле, к сожалению, без моего участия. Благодаря стараниям базельских коллег обсуждение оказалось полезным и для меня и, надеюсь, для участников встречи.

Наконец, с 5 по 11 июня я должен был перевести на русский язык доклад Монике Рютерс из Фрибурского университета для упомянутой выше сентябрьской челябинской конференции. Статья имела прямое касательство к моему проекту: она была посвящена советскому детству в фотоизображениях 60-х годов. Текст оказался для меня весьма полезным и методически, и содержательно. Правда, были в нем пассажи, вызвавшие во мне неприятие. В частности, мне было трудно согласиться с положением, опирающимся на тезис Светланы Бойм, что конструирование взрослыми «счастливого детства» – сугубо советский феномен. В любой стране, вне жесткой зависимости от политического режима, «детство» формируется и инструментализируется взрослыми, в том числе в воспитательных и политических целях. Я всегда с раздражением реагирую – отнюдь не из патриотизма – на попытки представить тот или иной (негативный) феномен российской истории как явление, характерное исключительно для России. По моему убеждению, за этим часто скрывается не всегда осознаваемое пренебрежение к российскому населению, словно бы свалившемуся с луны или сделанному из иного теста, чем остальные представители человечества. В данном случае мое неудовольствие усиливалось тем, что «мое» детство стигматизировалось с «западного высока» как «тоталитарное». Это еще больше подстегнуло желание зафиксировать свою версию собственного прошлого, в котором действовали не только анонимные структуры, процессы и дискурсы, но и конкретные живые люди, которых я любил или боялся, уважал или избегал.

Как бы то ни было, я настолько погрузился в тему проекта, что параллельно протекавшие неизбежные дела, которые, на первый взгляд, могли показаться помехой, в конечном итоге давали пищу для размышлений и придавали импульс продолжению работы. Так, 29 июня я писал коротенькое экспозе для участия во франко-немецко-российской конференции об эмоциях как объекте исторического анализа, намеченной на весну 2008 года. Читая присланный Марком Эли текст, вводящий в круг проблем, которым будет посвящен сим-

позиум, я отметил про себя, что динамика изучения эмоций вполне подходит для описания интересующего меня феномена памяти и может быть распространена на эволюцию интереса к человеку в исторической науке в целом. Эта эволюция отмечена движением от интереса к «великим» личностям в XIX веке через концентрацию внимания ученых середины XX века на процессах и структурах к открытию рядового исторического актера в конце минувшего столетия. Этот сюжет был затем интегрирован в один из текстов последней главы. «Отвлечения» от работы над манускриптом обогащали не только проект. Моя жизнь в Базеле была богата впечатлениями как в профессиональном, так и в человеческом плане, что благотворно отразилось на создании книги. Общение с коллегами, старыми и новыми знакомыми и друзьями явилось для меня бесценным подарком.

### Бася и Абрам



Советскую эпоху можно уподобить мощному blenderу: она «рубилa в капусту» социальные группы, перемешивала население, раскидывала членов семей и приготавливала экзотические семейные «салаты» и «коктейли». Она создала замысловатые по составу семьи, соединив представителей бывших привилегированных и дискриминированных сословий, обладателей состояний и ниспровергателей частной собственности, членов различных конфессиональных и этнических групп, относившихся друг к другу, мягко говоря, с предубеждением. Альянс между ними в Российской империи показался бы странным и был осуждаемым исключением из правила. Один из характерных примеров небывалого в прежние времена супружеского союза – семья Агнии Пухальской и Абрама Хазанова.

Агния (Агния-Елизавета-Владислава) Стефановна Пухальская, которую близкие зовут Басей, родилась в 1918 году в Твери, в семье польского католика-дворянина и дочери русского православного священника. Ее отец, Стефан Юзефович (Степан Осипович) Пухальский (1883–1921), родился в Варшаве, окончил престижную 1-ю Московскую гимназию, учился на юридических факультетах Варшавского и Московского университетов, затем работал присяжным поверенным в Калязине, где поселились его родители. В связи с участием в польском социал-демократическом движении (с 1902 года он был членом Польской социалистической партии – ППС, с 1906-го – отколовшейся от нее ППС-Левицы) он в 1911 году получил запрет на юридическую деятельность; был преподавателем в гимназии, но не оставил активной общественной и революционной работы.

Его будущая жена, Агния Ивановна Булгакова (1890–1975) происходила из семьи священника Станислава (Иоанна) Булгакова (1857–1903) и Елизаветы Поповой (1858–1944). Рано умерший отец



Иоанн воспитывал двух дочерей (остальные трое детей скончались в младенчестве) в либеральном, просветительском духе и приветствовал получение ими добротного светского образования. Как и старшая сестра Лариса, Агния окончила гимназию и славившиеся прогрессивными педагогами и духом свободолюбия Санкт-Петербургские (Бестужевские) высшие женские курсы. К моменту ее знакомства с С. Ю. Пухальским, состоявшегося в Калязине в 1910 году, за плечами молодого Пухальского был драматичный личный опыт. Его первая жена, Аделя Василевская, умерла в родах в 1907 году. Ее родители считали, что Стефан погубил их дочь, и прервали с ним всякие отношения.

Агния и Стефан поженились в 1914 году. Венчание проходило в русской церкви: ради брака с любимой С. Ю. Пухальский перешел из католичества в православие. Его отец Юзеф Пухальский (1856–1927), вернувшийся в 1912 году в Варшаву, не признал этого брака и до самой смерти не мог простить сына.

С. Ю. Пухальский принял активное участие в Февральской революции 1917 года. Он руководил в Калязине разоружением полиции, возглавлял Комитет общественного порядка, был начальником местной милиции. Отозванный вскоре после Октябрьской революции в Тверь, он и там развернул бурную деятельность в губернском и городском исполкомах и отделах народного образования. В 1917 году он вступил в РСДРП (интернационалистов), в 1920-м – в РКП(б). Стефан был активным корреспондентом газеты «Тверская правда», одним из руководителей местного «Пролеткульта», активно помогал полякам вернуться на обретшую независимость родину, руководя в 1918 году исполкомом Тверского беженского комитета и польского беженского совета.

Начавшаяся в сентябре 1921 года грандиозная «чистка» РКП(б), исключившей из своих рядов каждого четвертого коммуниста, по-видимому, оказалась для С. Ю. Пухальского непереносимым ударом: в октябре 1921 года он скоропостижно скончался от инсульта, оставив после себя добрую память, три улицы в Твери, названные его именем, и одну – в Калязине, молодую вдову и трехлетнюю дочку Агнию.

В один год с Агнией Пухальской родился Абрам Павлович Хазанов (1918–2000). Его отец, Павел Яковлевич (Палтиел Янкелев) Хазанов (1888–1941) был старшим сыном меламеда из Быхова и братом Б. Я. Хазанова. Павел окончил два класса уездного училища, после чего помогал отцу содержать многодетную семью. За участие в демонстрациях 1903 года пятнадцатилетний подросток подлежал аресту, которого избежал, покинув родной город. Он окончил в Минске бухгалтерские курсы и работал по специальности. Переселившись в Гомель, в 1912 он году женился. Его жена, молодая вдова Фаня Фрада Гезенцевей-Савицкая (1884–1941), происходила из семьи крупного

лесоторговца Арона Гезенцвея (1850–1909). Об успешных предпринимателях гомельские евреи с уважением говаривали: «Богат, как Гезенцвей».

На фотографии начала XX века властный, хваткий Арон, с окладистой, седой, как у библейского праотца, бородой, изображен в окружении 17 прилично одетых членов его семьи – жены, детей и внуков от двух браков. Его многочисленное потомство приняло активное участие в «бунте молодых евреев против родителей» (Слезкин Ю., 187), докатившемся в конце XIX века из Европы в Россию. Этот бунт еврейских беглецов из родительских домов, которые были для них воплощением невежества и тьмы, роднил их с русскими революционерами, равно как и ощущение собственной избранности, готовность принять страдание за владение сокровенным знанием, приверженность доктрине и почитание «священных» текстов. Частью русской революции стала «еврейская революция против еврейства» (там же, 221).

Большинство из восьми детей Арона Гезенцвея являлись членами различных политических партий социалистической ориентации. Фаня Гезенцвей, еще будучи гимназисткой, вступила во Всеобщий еврейский рабочий союз – Бунд. В 17 лет она вышла замуж за русского дворянина по происхождению и эсера по убеждениям Макса Савицкого. Его младший брат Александр, яростный антисемит, социалистический радикал и полесский Робин Гуд, прототип главного героя романа Леонида Андреева «Сашка Жегулев» (имя это стало первым литературным псевдонимом Пабло Неруды), после первой русской революции наводил своими «экспроприациями» ужас на местных помещиков. Брак дочери привел Арона Гезенцвея в ярость. Проклятие отца утратило силу после того, как М. Савицкий во время первой русской революции умер от туберкулеза. (Хотя, согласно семейному преданию, Макс был «мирным» эсером, в легких у него сидела пуля, что, возможно, привело к ослаблению иммунитета и облегчило развитие неизлечимого в то время заболевания).

Вскоре после женитьбы П. Я. Хазанов был призван в действующую армию. Вернувшись в 1917 году с фронта в Гомель, он работал бухгалтером на заводе сельскохозяйственных машин. В ходе первых социалистических экспериментов рабочие выбрали его «красным директором» национализированного предприятия. Ранее оно принадлежало Лейбе Фальковичу (Льву Павловичу) Перцовскому (1882–1977), мужу младшей дочери Арона Гезенцвея Хаи-Анны (1890–1962). Переход национализированного завода от свояка к свояку свидетельствует о хаотичности советской национализации в годы революции, что в некоторых случаях позволяло на первых порах фактически оставить «дело» в руках семьи. Никакого отношения к антисемитской теории еврейского заговора такого рода казусы,

разумеется, не имели. Тонкость образованных и профессионально специализированных слоев в Российской империи, представители которых неизбежно оказывались знакомыми, друзьями или родственниками, превращалась в фактор, смягчавший радикальность революционных разрушений.

В 1925 году П. Я. Хазанов с женой и родившимися в 1915–1919 годах тремя детьми переехал из Гомеля в Клинцы Брянской области. Павел Яковлевич работал главным бухгалтером и начальником планового отдела ткацкой фабрики, Фаня Ароновна была сотрудницей местного банка.

Агния Пухальская росла в Твери под присмотром бабушки и мамы, работавшей в школе. Она прошла через «нормальное» советское детство – десятилетнее школьное образование, пионерскую и комсомольскую активность, агитационную живгазету и спортивные пирамиды, всеобщую манию преследования после смерти С. М. Кирова. После неудачной попытки поступить в Бауманский институт она в 1936 году стала студенткой Московского текстильного института.

Детство Абрама Хазанова было другим, но тоже вполне советским. Эмансипированные родители не терпели в доме никаких следов иудейской традиции, за исключением пирожков с маком. Поездки к быховскому деду-меламеду, водившему внука в синагогу, не могли сделать Абрама правоверным иудеем.

Он был подвижным, непоседливым ребенком, много времени проводил на улице и с раннего детства самостоятельно передвигался по городу. В уличных детских проделках невинные проказы легко могли соседствовать с нарушением установленных взрослыми правил. Когда его в Клинцах привели в русскую школу, кто-то из одноклассников пренебрежительно протянул: «А-а, жиденок...» Абрам ринулся в драку. Сверстники незлобиво, скорее с долей уважения, прозвали его «злым жиденком». Сложнее было со взрослыми, для которых Абрам – несколькими годами позже – превратился в советского «хулигана». «Хулиганство» было неотъемлемой и неистребимой частью советской повседневности 20–50-х годов. О его поддержании заботились массовое детское сиротство, беспризорность и стремительное пополнение городов деревенскими чужаками, которые ощущали себя в новой среде крайне неуютно и компенсировали чувство неуверенности агрессивным поведением. «Хулиган» в советской культуре был символом распушенности, лени и неприличного поведения.

В 13 лет непоседливый Абрам примкнул к одной из подростковых банд, распространенных в СССР на рубеже 20-х – 30-х годов, и был исключен из восьмого класса школы за плохое поведение. Он сбегал из дома, кочевал «зайцем» на поездах, промышлял мелким воровством.

Все его «хулиганство» улетучилось, когда он устроился на работу помощником театрального художника. Абрам увлекся театром, затем, в 1932–1936 годах, отлично учился в текстильном техникуме и, наконец, поступил в Москве в текстильный институт. Тут он и познакомился с однокурсницей Агнией Пухальской.

В 1938 году они поженились, в 1939-м у них родился сын Стефан, в 1941-м – дочь Эльга. В момент их женитьбы, на излете Большого террора, по доносу был арестован отец Абрама, П. Я. Хазанов. Волна репрессий спадала: Павел Яковлевич был осужден «всего» на три года поселения в Казахстане. «Наградой» доносчику стали две вожделенные комнаты в квартире Хазановых.

В мае 1941 года П. Я. Хазанов вернулся в Клинцы. Здесь его и видели в последний раз сын и невестка, направленные от института на практику. Вшестером, с двумя маленькими детьми, они жили в одной-единственной комнате, оставшейся у Ф. А. и П. Я. Хазановых. Пережитым в казахстанском ссыльном лагере Павел Яковлевич не хотел делиться, а вскоре – даже если бы и захотел – не смог: после объявления войны Абрам и Бася покинули Клинцы, куда через короткое время вошли немецкие войска. В ноябре 1941 года Фаня Ароновна и Павел Яковлевич погибли в клинцовском гетто.

До Москвы семья А. П. Хазанова добиралась трудно: поезд тащился еле-еле, голодная крошечная Эля плакала – у Баси пропало молоко, соседи бранили «никудашную» мать. Осенью 1941 года текстильный институт был эвакуирован в Ташкент. Абрам оказался там раньше Агнии, которая осталась в Калининне дожидаться из Крыма маму. Они едва успели покинуть город до занятия его немецкими войсками. 10 октября Калинин подвергся разрушительной бомбежке, 12 октября жители и организации оставили его. Агния с мамой, бабушкой и маленькими детьми остались в опустевшем городе. На удачу их подхватил один из последних военных грузовиков. Собирались в спешке, уехали налегке. Только практичная бабушка Елизавета Васильевна предприняла разумные действия: прихватила кое-что из теплых вещей, столового серебра, украшений, которые оченьгодились затем на новом месте. Остальное имущество сгорело в пожаре несколькими днями позже. Бася и Абрам остались почти без каких-либо довоенных документов, предметов, семейных реликвий – без материальных воплощений памяти о родителях.

Ташкент показался измученным беглецам раем: их ожидали тепло, обилие фруктов, покой, и при этом – относительно «плотная» культурная среда и хорошие возможности для получения детьми общего и музыкального образования. В Ташкент эвакуировалось множество учреждений, удельный вес интеллигенции заметно повысился, а советская интеллигенция, как известно, в значитель-

ной степени была еврейской. В Ташкенте образовалась обширная еврейская «колония», словно подтверждая послевоенное юдофобское обвинение, будто бы евреи «отсиживались» в Средней Азии, пока «вся страна» воевала. А поскольку евреев в Ташкенте было много и многие из них занимали высокие посты, антисемитизм первоначально был незаметен.

Правда, в бытовом плане жизнь Хазановых на новом месте налаживалась с трудом. Сначала им выделили два стола в огромной аудитории, в которой нашли временное пристанище множество семей. У каждой из них была своя территория и столы, на которых и ели, и спали. Затем они жили «отдельно» в комнате учебно-производственного комбината, потом – в трехкомнатной коммунальной квартире, где в каждой комнате и на кухне жило по семье.

Ташкент, в котором они провели 14 лет, где Бася и Абрам окончили институт и начали работать, где родился младший сын Павел (1946), а в общеобразовательной и музыкальной школе успешно учились дети, постепенно стал им в тягость. По мере отъезда еврейской интеллигенции рос антисемитизм. Абрама не приняли в аспирантуру, да и среднеазиатский климат оказался для него вреден.

В 1955 году А. С. Пухальская и А. П. Хазанов с тремя детьми и мамой Баси, А. И. Булгаковой, переехали в Армению. Карьера Абрама Павловича шла в гору: в Ленинанкане он работал главным инженером текстильного комбината, а в 1960 году получил новое назначение в Ереван – на должность заместителя начальника главка легкой промышленности Армянской ССР (после ликвидации хрущевских совнархозов главки были преобразованы в министерства).

Бытовые неудобства ушли в прошлое. В Ленинанкане Хазановы получили огромную трехкомнатную квартиру рядом с проходной комбината. Впрочем, человек привыкает к любым обстоятельствам, даже к отсутствию элементарных удобств. А. И. Булгакова, жившая в детстве и молодости в просторных квартирах и гостившая в помещичьих усадьбах, с владельцами которых дружили ее родители, обиделась, когда в Армении, после многолетней ташкентской тесноты, ей вновь досталась отдельная комната с пианино и книжными шкапами. «Выселили, как чумную, в отдельную комнату!» – с горечью констатировала она.

Атмосфера в Ереване 60-х годов была особенной – вполне столичной, живой и не совсем советской. Здесь не было, по словам А. С. Пухальской, «крепких коммунистических объятий», зато была развитая общая и музыкальная культура. Здесь Эльга овладела иностранными языками – благодаря не только своим редким способностям и качественным педагогам в пединституте, но и доступности зарубежной периодики.

В ереванский период Хазановых я и познакомился с А. С. Пухальской и ее младшим сыном Павликом, когда они приезжали в Горький летом 1964 года. Эту историю я хорошо запомнил.



...Мальчик с нетерпением ждет приезда гостей. Во-первых, у него никогда не было братьев и ему ужасно любопытно познакомиться с Павлом. Во-вторых, он «заказал» себе в подарок вертолет – такой же, как у соседа Саши Нисенбаума: когда его катишь по полу, у него вращается пропеллер. Как наяву, вижу такую картину: раннее солнечное утро, Бабушка хлопчет на кухне, других взрослых не слышно (спят?). Мальчик осторожно выглядывает из спальни: на полу в гостиной стоит желтый, с голубым пропеллером, новехонький вертолет – точно такой, о каком он мечтал! А на коротком диванчике рядом с буфетом лежит и с улыбкой смотрит на Мальчика молодой красивый brunet. Он гостеприимно приподнимает край простыни, и счастливый Мальчик ныряет под бок к «брату»...☺

Креативность армянской столицы имела, однако, и иные аспекты. Здесь с размахом работали «теневики», особенно оживившиеся в середине 60-х годов. Им нужно было сырье, а в руках Абрама Павловича находилось его распределение. Когда его не удалось склонить на свою сторону, «теневые» предприниматели организовали газетную кампанию, в которой А. П. Хазанов обвинялся в «зажиме» рационализаторов и изобретателей, которых он в действительности всеми силами поддерживал. Он стал подумывать о возвращении в Москву, тем более что дети выросли, получили образование и разлетелись из родительского «гнезда».


На помощь пришел заместитель союзного министра легкой промышленности. В 1973 году он организовал перевод А. П. Хазанова в столицу и направил соответствующее письмо в Моссовет – иначе обменять трехкомнатную ереванскую квартиру на двухкомнатную московскую «хрущевку» было невозможно.

С Абрамом Павловичем, его старшими детьми и внуками я познакомился в 1976 году, во время неудачной попытки поступления в МГУ. Невысокого роста, кареглазый, с характерным крупным носом, он имел внешнее сходство со своим дядей и моим дедом Б. Я. Хазановым, но, в отличие от него, был абсолютно открыт, более разговорчив и утонченно ироничен. К советской власти относился без особого почтения – не из-за ее неистребимого «вялотекущего» антисемитизма, а по причине крепчавшего организационного и идеологического маразма. Помню, в феврале 1980 года, когда я учился на втором курсе ЧелГУ, а до смерти Брежнева оставалось еще без малого три года, в один из моих приездов в Москву я заглянул в набитую книгами крошечную квартирку Хазановых – Пухальских на Новорогожской. За чаепитием Абрам Павлович рассказал мне анекдот-загадку, которая пародировала зачастившую в официальных

брежневских выступлениях и в советской пропаганде вводную фразу «с чувством глубокого удовлетворения», с которой начинались перечисления «небывалых» советских успехов. «Знаешь, – спросил он, – какое шестое чувство обнаружили ученые у советского человека?» И, выдержав паузу, дал ответ: «Чувство глубокого удовлетворения».

История Баси Пухальской и Абрама Хазанова не подтверждает расхожих макроисторических стереотипов. При взгляде из микроперспективы семейной истории дают сбой и антисемитский тезис о евреях как «хозяевах жизни» в СССР, и юдофильская версия истории советских евреев как непрерывной череды страданий и невзгод.

### Письменная семейная память

 Семейная память ходит разными путями. Как и общие воспоминания любого другого коллектива, она обеспечивает поддержание целостности и преемственности группы – семейную интеграцию, коммуникацию и социализацию. В конце концов, семейная память осуществляет работу, благодаря которой семья существует. Как писал Пьер Бурдьё, «семья есть... продукт регулярной, ритуальной и, одновременно, практической *формативной работы*, через которую каждому члену общества должны устойчиво прививаться чувства, пригодные для того, чтобы обеспечить ту *интеграцию*, которая является предпосылкой для сохранения и продолжения этой общности» (Bourdieu P. *Praktische Vernunft*, 130).

Наиболее распространенным каналом семейной памяти, по-видимому, остается самый старый из них – устная традиция. Важным средством сохранения семейного предания являются также передающиеся по наследству предметы, своего рода семейные реликвии, которые, правда, без регулярного воспроизведения связанных с ними историй теряют свой статус. Наиболее редко, несмотря на всеобщую грамотность современного общества, встречаются записанные семейные истории – самый трудоемкий способ «сберечь» прошлое.

Тяга к письменной фиксации былого, видимо, значительно превышает результаты ее реального воплощения. Помню, как в семье сына моей няни, заводского мастера, отмечалось 50-летие Октябрьской революции, совмещенное с новосельем: после многолетнего ожидания, наконец, состоялось переселение семьи из четырех человек – родителей и их взрослых детей – из комнаты в коммунальной квартире в двухкомнатную тесную «хрущевку» на первом этаже. Мой папа отказался от приглашения, сославшись на неотложные дела (на самом деле он не хотел пропускать трансляцию хоккейного матча). В разгар «пролетарского» пьяного веселья ко мне подсел мужчина лет 45–50. Дыша мне в лицо перегаром, он просил по приходе домой

непрерывно записать имена присутствующих на празднике – «дяди Игоря», «тети Нины» и еще полудюжины разных «дядь» и «тетей» – и сохранить этот список, чтобы вспомнить их через 50 лет, когда никого из них не будет на свете. Эта идея его так воодушевила, что он в течение вечера неоднократно напоминал мне о ней. Конечно, имен я не запомнил и не записал. Я фиксирую эту историю с сорокалетним опозданием, войдя в возраст моего тогдашнего нетрезвого собеседника, которого, скорее всего, нет в живых, на десять лет опережая назначенный им срок для поминовения его и того дня. Но само желание письменно закрепить личное былое, выраженное пьяным советским рабочим, кажется мне заслуживающим внимания.

Передо мной лежат десять тоненьких самодельных «книжечек-малышек» в осьмушку стандартного листа формата А4, исписанных четким печатным почерком и украшенных карандашными рисунками – преимущественно изображениями цветов – в стиле, характерном для дневников девушек-гимназисток рубежа XIX–XX веков. Их автор, дочь священника и бывшая бестужевка Агния Ивановна Булгакова, мать А. С. Пухальской, создала и заботливо оформила свои рассказы-воспоминания во второй половине 40-х – начале 50-х годов в Ташкенте, куда война забросила семью Абрама Хазанова. Эти тетрадки она пересылала своей старшей сестре Ларисе, по смерти которой рассказы А. И. Булгаковой вернулись к ее дочери Басе.

Чтобы представить себе, о чем и как вспоминала А. И. Булгакова-Пухальская в Средней Азии времен позднего сталинизма, стоит привести один из ее рассказов под названием «Дом Бабыниных». Открываю одну из книжечек, помеченную вторым номером:

«Посреди безлесной равнины стоял большой помещичий дом.

Дерево, из которого он был построен, посерело от времени. Традиционные колонны отсутствовали.

Перед домом росли три гигантские сосны с развесистыми вершинами.

В этом доме жила семья Бабыниных, друзей наших родителей.

Лестница с парадного входа вела в переднюю. Здесь я впервые увидела волка, убитого Н. Я. Бабыниным. Дверь из передней вела в столовую. У одной из стен здесь стоял большой диван, а перед ним большой стол овальной формы. За ним происходили веселые шумные трапезы семьи, в которой соединялись все возрасты. Если же этот стол был свободен от обильных и вкусных яств, то на нем были разложены газеты, журналы и книги. Среди них был журнал «Север». Слово это казалось мне зовом в неведомый мир.

Из столовой шел коридор. По одну сторону его были расположены спальня, детская и контора. Направо – анфилада нарядных комнат. Первою из них была гостиная. В ней на рождество стояла большая нарядная елка. Каким медленным мне казался бег нашего Орлика, когда мы, девочки, вместе с папой и мамой ехали на елку к Бабыниным.



Дорога идет через невысокий лесок. Мороз крепчает. Пальцы на руках и ногах онемели от холода. Но всему бывает конец...

В доме весело, тепло, уютно. Я хожу вокруг пахучей елки и рассматриваю игрушки, шоколадки в красивых обложках, румяные яблочки и вдруг вижу то, о чем всегда мечтаю. Все мои куклы были девочки – а мне очень хотелось иметь куколку-мальчика. И вот из зеленой хвои глядит на меня прехорошенький мальчик в сером бархатном костюмчике. Розовое личико, голубые глазки. Я стою перед ним, не замечая ничего вокруг – и в это время в разгоряченной голове моей созревает план...

Среди гостей я отыскиваю хозяйку дома Е. Н. Бабынину. Преодолевая свою робость, наклоняю ее голову и шепчу ей на ухо несколько сбивчивых слов.

Добрая Е. Н. отвечает мне полным согласием – подарить мне Толю, так я называю моего драгоценного мальчика, именем моего умершего брата, которого я не помню, но его мне очень не достает, т. к. сестрица совсем мала.

Семья Бабыниных состоит из родителей, их четырех детей и большого окружения – дедушек, бабушек, двух тетей, дяди-студента и гостей – студенческой молодежи.

В этой семье пели революционные песни и взволнованно говорили о студенческих беспорядках. И кажется, в то время возникло у меня еще не осознанное мнение о том, что и мы, дети, когда вырастем, то уйдем из родных домов для того, чтобы участвовать в борьбе, о кот[орой] долетали до нас отзвуки, но для этого прежде всего нужно учиться. Девочки Бабынины все уже учились в то время в Белгородской гимназии, а старшая из них – Маня – окончила гимназический курс. Она непременно хотела поступить в медицинский институт в Петербурге. Но родители боялись дать на это согласие. В то время женское высшее образование еще мало было распространено. Отказ родителей очень огорчил Маню. Однажды она выбежала из дому, и долго ее не могли найти. Наконец, отец отыскал ее в поле на снопах, изнемогающую от рыданий. После этого родители не препятствовали Мане, и она вскоре уехала в Петербург.

В доме Бабыниных был такой случай. Н. А. Бабынин, в то время молодой и красивый мужчина, заболел, и болезнь не поддавалась лечению. Он был между жизнью и смертью. На консилиум был приглашен врач из соседнего уезда. Осмотрев больного, он решил положить ему на голову кусок льда. Средство оказалось спасительным и вернуло Н. А. к жизни.

Доктор Л. Н. Пост-Политаки стал другом семьи и предметом поклонения ее. Мож[ет] б[ыть], это искусство врача оказало влияние и на моих родителей. Поэтому мне была предназначена профессия врача. Папе моему

ХОТЕЛОСЬ, ЧТОБЫ ИЗ МЕНЯ ВЫШЛА НОВАЯ ЖЕНЩИНА, ОБРАЗОВАННАЯ И НЕЗАВИСИМАЯ.

На каникулы в Новотроицкое приезжал брат Н. А. – студент-медик. У него были черные волосы и черные глаза с блеском. В лице его было сходство с Л. Андреевым, каким я его видела в Петербурге в театре Комиссаржевской. Он носил красную рубашку – эмблему демократии.

Я любила забираться к нему на колени и красным носовым платком, в кот[ором] предполагала целебную силу, протирала якобы больные глаза Леонида.

Мой пациент был терпелив и позволял мне действовать, сколько я хотела. Потом я уже никогда не видела Л. А. Он был старше меня лет на двадцать, и теперь, вероятно, его уже нет в живых.

За домом находился вишневый сад, и его постигла общая участь вишневых садов.

Я уже училась в гимназии, когда имение Новотроицкое было продано и Бабынины переселились в город. Но дом в Новотроицком, как видите, хранит моя память, и каждый раз, когда я перечитываю Тургенева, Чехова, он возникает предо мной, как живая, волнующая иллюстрация прошлого».

Этот автобиографический рассказ, занявший в книжице восемь страниц, как нельзя лучше вводит в круг тем и в стилистику воспоминаний мемуаристики. Она описывает отдельные эпизоды своего детства и молодости, причем большинство из них размещены в семейном «интерьере». Среди них преобладают рождественские и пасхальные праздники, приезды на каникулы и встречи с близкими, устройство домашнего очага на новом месте и посещения театра семейным кругом.

Рассказы А. И. Булгаковой имеют ярко выраженную гендерную окраску – это очень женские воспоминания. В отличие от большинства мужских мемуаров, в которых личное начало, как правило, служит поводом для развертывания широкой панорамы «великих» исторических событий, тексты Агнии Ивановны сосредоточены на чувствах, впечатлениях и бытовых деталях. Вот как, например, автор касается первой русской революции:

«Революция 1905 года была пережита бурно, но буря не коснулась крошечной семьи Елизаветы Васильевны (Поповой-Булгаковой, матери А. И. Булгаковой-Пухальской – И. Н.). Старшая дочь была в это время в СПбурге. А с младшей она бродила по волнующимся улицам Харькова, с трепетом ожидала ее из гимназии, слушала стрельбу, со слезами негодования шла за похоронной процессией жертв восстания... “Вы жертвою пали в борьбе роковой...”

И вскоре все стихло. И стала продолжаться жизнь на Тургеневской улице, как и перед этим...»

Кстати, в харьковский период жизни Булгаковых гимназистка Агния прикоснулась к «революционной борьбе». Но повествование об этом эпизоде и место, которое отвела ему рассказчица – между подробным описанием местной театральной жизни и взволнованным повествованием о приезде из Петербурга на рождественские каникулы старшей сестры Лары, слушательницы Бестужевских курсов, – свидетельствуют о нежелании останавливаться на своем «бунтарском» прошлом. Для нее воспоминание об участии в молодежном кружке по изучению политэкономии – повод помянуть любящую и заботливую маму.

Рассказы-воспоминания А. И. Булгаковой расположены вне жесткой хронологической последовательности. В этом и нет необходимости. Они представляют собой отдельные яркие зарисовки, своего рода «моментальные снимки». Память автора работает вспышками. По ее словам, «все кажется мгновениями». Знакомство с будущим мужем, Стефаном Пухальским, на лермонтовском вечере в калязинском техническом училище описано, например, следующим образом:

«В антракте мы сидели, окруженные новыми знакомыми, как к нам подошел молодой человек и объявил:

“Так как меня не знают – я решил познакомиться сам – один из Пухальских”.

Запишу его портрет, как он запечатлелся в моей памяти. Он был в черном сюртуке, крахмальном воротничке, манишке и манжетах. Красиво лежащие кудрявые черные с легкой проседью волосы оттеняли высокий лоб. В чертах лица запомнилась четкость линий. Лицо не казалось юным. Близорукие серые глаза, небольшие, скорее светлые, чем темные, были выразительны. Это выражение хватало за сердце».

Тексты А. И. Булгаковой написаны не без литературного изящества, добротным, «вкусным» русским языком, сочность которого в значительной мере безвозвратно утрачена в советские десятилетия. За ними чувствуется автор, получивший крепкое русское гуманитарное образование старой школы, почитательница русской классики, литературными образами которой насыщено повествование, представительница «прогрессивных» интеллигентских кругов предреволюционной России. Ее образная система почерпнута из словаря демократической интеллигенции, испытывавшей слабость к «жизни на пользу общества», «стремлению к свету» и уходу из «тьмы».

Почему же А. И. Булгакова «под старость» взялась за запись воспоминаний о своей детской и юношеской поре? Вероятно, толчком послужила смерть в 1944 году ее матери, Е. В. Поповой-Булгаковой. Первые страницы нескольких тетрадей Агнии Ивановны украшены изображением венка с именем и датами жизни ее «доро-

гой мамочки»; ей посвящена большая часть воспоминаний. Пережившая своего супруга на сорок лет, Елизавета Васильевна вложила всю свою энергию в то, чтобы поставить на ноги дочерей, которым она впоследствии так объясняла свою жизнестойкость в непростых ситуациях: «Мысль о вас давала мне силы»; в течение десятилетий она сопровождала семьи дочерей, особенно Агнии, тоже рано овдовевшей. А может, Агния Ивановна чувствовала, как ослабевают память, и решила с помощью записи спасти от забвения «сокровища», которые она всю жизнь носила в себе?

Вероятно, воспоминания были письменно оформлены параллельно или вслед за их устными версиями, которые она излагала внукам на сон грядущий. Самая последняя книжка написана на рубеже 1953–1954 годов в жанре, обозначенном автором как «вместо рождественского рассказа». В этой тетрадке, которая называется «Приезд в Калязин» и посвящена старшей сестре Ларисе (Яичке), Агния Ивановна размышляет о функциях, которые выполняет для нее интенсивное обращение к прошлому:

«Я “зарабатываю себе пенсию”. Под таким флагом идет моя работа в лаборатории первой прядильной ткацкой фабрики текстильного комбината в Ташкенте.

Идет к концу уже второй месяц. Конца еще не вижу, т. к. все еще не решают начать дело о пенсии. Сидеть восемь часов в наполненной непрерывным шумом клетке было бы невыносимо. Но на помощь приходят некоторые стихотворения, которые я твержу, как “молитву чудную”, воспоминания... Одно из них решила записать. Эпиграфом к нему можно было бы взять:

“Это было давно...”

Но без продолжения к этому пессимистических строчек, не могу сейчас вспомнить какого поэта. Я не могла бы сказать вместе с ним:

“Я не помню, когда это было” и т. д. Потому что я помню это очень ясно и всегда.

Хотя порой на меня находят моменты, когда я пытаюсь представить самой себе себя в образе Феи Протасова. В образе заколоченного, обветшавшего дома, где обитают только летучие мыши, да порой раздастся стук оборвавшегося ставня, да провоеет порыв ветра, случайно замчавшегося в какую-нибудь щель. Это было бы неверно. Но бывает так.

И я задаюсь последние годы вопросом – откуда же, откуда такой пессимизм, который никогда не дает от души пережить радость и за всем большей частью сразу же подсовывает призрак недоверия, сомнения, на все стремится наложить паутину, или же держит наготове целый арсенал угроз, предчувствий, которые спускает, как свору злых собак, при первой же оплошности. Откуда? Откуда?!

Вероятно, причина какая-нибудь материалистическая. Потому что стоит

заставить себя вздохнуть глубоко (лекарство, данное мне Ларой в последний год), как откуда-то наплывает оптимизм, чувствуешь его физически, что-то рассеивает “отравленную дымовую завесу”. Но и ведь в том-то и дело, что не всегда стремишься произвести этот оздоровительный вздох...

Да. Так скорее к воспоминанию».

Агния Ивановна подводила итоги. Нужно было в преклонном возрасте «зарабатывать себе пенсию» и как-то бороться с растущим пессимизмом и усталостью от жизни. От прошлого почти не осталось ничего материального – разве что несколько серебряных ложек. Мама умерла, дом в Калининне сгорел во время бомбежек, огонь пожрал книги, фортепиано, прочие материальные свидетельства ее молодости и следы дорогих ей усопших. И только в воспоминаниях, таких ясных и ярких, прошлое жило. И она начала бороться за него, желая сохранить и оставить близким. Обращение к прошлому было для нее столь же спасительным, как глубокий вдох.

Собирание и письменное фиксирование семейного прошлого в течение десятилетий заботит и ее дочь, Агнию Стефановну Пухальскую, но по другой причине. Импульсом послужили поиск сведений об отце, С. Ю. Пухальском, которого сама она почти не помнила (ей было три года, когда он умер), а также знакомство в этой связи с польскими родственниками и интенсивный контакт с ними.

Традиция, в том числе семейная, – наиболее цивилизованный и наименее конфликтный способ преодоления столкновений различных форм социальной жизни и систем ценностей, справедливо считают социологи. В послевоенной Польше, оказавшейся в социалистическом блоке, так же как и в долгий период ее вхождения в Российскую империю, семейная память служила орудием противостояния и сопротивления навязываемым извне ценностям и политическому порядку. К тому же в традиционном обществе в сохранении семейных дворянских документов, подтверждавших благородное происхождение, есть практический смысл. В Польше с конца XVIII века это стало особенно актуально: каждый пятый поляк принадлежал к шляхте, и Петербург ломал себе голову, что делать с 300 тысячами шляхтичей, которым в России противостояло в два раза меньше потомственных дворян. В конце концов, было решено предоставить российское дворянство только тем «панам», которым удастся доказать свое дворянское достоинство. Видимо, домашние архивы польской шляхты содержались в порядке: в конце XVIII – первой половине XIX века от половины до двух третей всех российских потомственных дворян оказались поляками.

Масштабы и интенсивность интереса поляков к семейному прошлому не могли не впечатлить Басю. В хрущевский период она возобновила контакты с польскими родственниками, которые се-

мья тверских Булгаковых-Пухальских оборвала в начале 30-х годов. С середины 60-х начались взаимные посещения; апофеозом их стал семейный съезд в Польше ранней осенью 1995 года, собравший восемь десятков родственников из Польши, России, Франции, Англии, Индонезии, Кувейта – половину всех породнившихся Пухальских, Траутсольтов, Коньчиковских, рассеянных по всему миру.

Материальным сопровождением и плодом этого интереса стал длящийся уже более 40 лет «проект» Баси по составлению семейных хроник и фотоальбомов. От сбора информации об отце А. С. Пухальская перешла к собиранию сведений о родственниках по всем линиям. Своего рода генеалогические таблицы с фотографиями, датами жизни, линиями родства получили продолжение в хрониках по каждому из семейств, потребовавших кропотливых изысканий. В почти девяностолетнем возрасте Агния Стефановна работает за компьютером: набирает тексты, ведет обширную электронную переписку.

Хроники, аккуратно рассортированные по электронным файлам, по форме принципиально разнятся с воспоминаниями ее матери. Бася концентрирует внимание на возможно более полной информации. Так, файл «Еврейская родня Абрама Хазанова со стороны отца» содержит биографические сведения о 47 родственниках, в том числе о Корзухиных и Нарских. Для меня данные, собранные А. С. Пухальской в течение десятилетий, оказались неоценимой находкой, серьезно облегчившей мои собственные поиски. Без них некоторые семейные истории, рассказанные в этой книге, было бы невозможно реконструировать.

Преобладание в Басиных расследованиях информационного интереса не могло не наложить отпечатка на стиль изложения – подчеркнута деловой, сухой, почти лишенный литературных украшательств. Как и положено хронисту, она пишет о себе в третьем лице. Высока концентрация в тексте определенно-личных предложений, с пропущенными, по причине их очевидности, подлежащими. Но там, где речь заходит о самых близких, об эпизодах, ставших неотъемлемой частью устного семейного предания, или тех, участником и свидетелем которых была она, эмоции прорываются и возникают яркие зарисовки.

Так, описание детства мужа, А. П. Хазанова, начинается следующими фразами:

«В детстве был самый непослушный ребенок. Совсем маленьким уходил гулять самостоятельно. А когда терял дорогу к дому, то обращался к прохожим: “Мадам, проводите меня домой, а то я заблудился”. Мальчик был хорошенький, и “мадам” соглашались. Так как младшая сестра Тамара в компаньоны не годилась, то с друзьями бегал по всему Гомелю, обязательно за всем новым:

за пожарной командой, за марширующими солдатами, пробирались в закрытый парк имения Паскевича-Эриванского. Но сторожем там был какой-то дальний родственник Гезенцевев и иногда впускал».

А вот как описано первое «знакомство» со свекром, П. Я. Хазановым:

«Павла внезапно арестовали в мае 1938 г., когда они с Фаней ждали приезда молодоженов – Абрама с женой Агнией Пухальской. И Агния (семейное имя – Бася) увидела свекра, когда колонну арестованных вели из тюрьмы в баню. Вели строем по проезжей части улицы, а на тротуарах стояли плачущие родные...»

Из семейных хроник А. С. Пухальской вырос еще один грандиозный «проект». В последние годы она написала подробнейшую биографическую историю своей семьи за период с 1938-го по 2000 год – время своего брака с А. П. Хазановым, увековечив память о муже, старшем сыне Стефане и других близких, которых уже нет в живых. Работала над рукописью, иногда задумываясь о том, будет ли востребован ее труд: каждому году (всего более 60 лет) посвящена объемистая глава в один-два авторских листа.

Среди письменных семейных преданий, созданных в самом близком для меня родственном окружении, есть «проект», который, признаюсь, я совсем недавно стал воспринимать как любопытный объект для исследования семейной памяти: поэтические сборники моего отца, В. П. Нарского. Он изредка баловался рифмой и в годы моего детства, создавая коротенькие стихи, иногда – весьма остроумные. В 90-х годах, когда он по состоянию здоровья был вынужден замкнуться в домашних стенах, у него вдруг обострился поэтический зуд, результатом которого стало несколько стихотворных сборников, опубликованных в 2000–2007 годах. За девять лет родилось около 300 стихов и четыре десятка песен, не блещущих выдающимися литературными достоинствами, иногда – корявых, иногда – более удачных. Впрочем, автор и не претендует на поэтическое признание. В одном из рифмованных текстов, датированном декабрем 2001 года, он критически оценивает качество своих произведений («Стихи мои, конечно, не стихи / Всего вернее – в рифмах проза») и определяет их назначение:

Не сплю, стихи свои слагаю  
По мере слабых, старых сил.  
Бегут часы, но я не замечаю.  
Со мною муза, нынче я ей мил.

И это все, что у меня осталось,  
Но мне достаточно, и счастлив я вполне.

Мне главное, чтоб нить не оборвалась,  
В эпистолярии оставлю след свой на земле.

И, может быть, когда-нибудь потомки –  
Внучата, правнуки, праправнуки мои –  
Прочтут вот эти строки, ребята и девчонки,  
И пращуру оценки вынесут свои.

Ну что же, я не против, пусть выносят,  
Ведь для того пишу, чтоб память сохранить.  
В какие дали мысль меня уносит,  
Но это здорово, и так тому и быть.

Папе хочется оставить узкому кругу родных и близких память о себе, о своей жизни и о тех, кто сыграл в ней заметную роль. Он пытается рассказывать о жизни без прикрас, а это, понятно, и не каждому большому поэту под силу. Его программа – в названиях его сборников, выходящих крошечными тиражами (в 15–100 экземпляров) и раздаваемых, рассылаемых тем, кого их содержание прямо касается: «Жизнь, как она есть», «Опять о жизни говорю... Проза в рифмах, сочинения ветерана сцены», «Жизнь продолжается... (автобиография в рифмах)». В них с озаглавленными и безымянными стихами соседствуют поздравления, тосты, эпиграммы. Основные темы, наряду с русской природой и историей, – автобиографические. Автор помнит себя с трехлетнего возраста («Что память говорит о жизни в три годочка? / С тех пор, как помню мальчиком себя: / Ползла сестренка в платьице в цветочек, / И нашу комнату большую в три окна»). Он многократно возвращается к одним и тем же темам: тяжелое детство, родители и их вынужденное расставание, хореографическое училище, затянувшаяся на четыре года служба в армии, работа в различных театрах, жена, сестра, друзья, учителя, коллеги по театральному цеху, дети, внуки, ученики...

Несмотря на внешнюю неказистость его рифмованных текстов, в них есть тепло и достоверность чувств. Папа пишет о тяжелых вещах – голоде, самодурстве начальства, жестокости власти, развале театра, старости, болезнях и смерти, но в последних строчках все равно звучит мажорная нотка. Стихотворение «Нет зиме и да весне» оканчивается надеждой на приход весны, природной и метафорической, «чтоб лошади запели и расцвели дрова». А тост в честь ветеранов балета завершают милые, пронзительные фразы:

И, тем не менее, за всех за нас – ура!  
Не вешай носа, детвора,



Седая, лысая, хромая и не лишенная морщин.  
За всех за нас, прекрасных в прошлом женщин и мужчин!

В. П. Нарский не знает, почему он стал записывать воспоминания в стихах, а не в прозе. Наверное, полагает он, это казалось ему менее трудоемким занятием. У меня нет сомнения, что за этим выбором не стояло никакого умысла, но выбор оказался удачным. Мой папа – артист. Хотя он давно оставил сцену, тоска по публике у него не прошла. Кто, скажите, пожалуйста, во время шумного застолья будет слушать воспоминания старика? А стих – попробуй, прерви, публика волей-неволей затихает. Главное – вовремя вклиниться с подходящей темой. Или меня подводит изощренный ум, и я выдумываю сложные ходы там, где и не нужно искать объяснений?

Признаться, поначалу поэтическая активность отца за праздничным столом меня раздражала, вплоть до открытого протеста. Тем более, что в первые годы папа не знал удержу и усердно потчевал гостей своей «продукцией», временами не давая застольной компании рта раскрыть. Это настроение не ускользнуло от него. Еще в 1998 году он одно из посвящений окончил четверостишьем:

Я верю, встреча будет  
Отмечена по-царски.  
И за столом стихами вас  
Помучает Владимир Нарский.

С тех пор папа «остепенился». Застолья сопровождаются двумя-тремя его выступлениями, ведь желающие могут удовлетворить любопытство чтением соответствующего сборника. Но стихотворные воспоминания В. П. Нарского стали частью устной традиции нашей семьи.

Я надеюсь, что тексты А. С. Пухальской и В. П. Нарского со временем станут семейной реликвией, одним из материальных воплощений семейной памяти.

## Первая любовь



Прошлое не желает оставлять меня: горьковское, летнее детство крепко сидит во мне, вновь и вновь растревоживая воспоминаниями. Жанр дворянских мемуаров о детстве, сложившийся в русской литературной классике XIX века и унаследованный советской культурой, требует присутствия ряда обязательных атрибутов и сюжетов. Согласно традиции воспоминаний о счастливых юных годах, в них непременно должна наличествовать, наряду с нянюшками, бабушками, тетушками, рождественскими елками и подарками, таинственным

зеленым садом и летними выездами на дачу (первоначально – в имение), первая любовь. Что ж, есть такая история и у меня.

Предметом моего детского обожания была Ирина, двоюродная сестра моего горьковского друга Володи Гречухина – подвижная и, как мне теперь кажется, несколько избалованная девочка. Белокурая, востроносая, с большими зеленоватыми глазами миндалевидной формы, она была старше меня на год с небольшим. Тогда эта разница в возрасте казалась непреодолимой пропастью.

Долгое время я пребывал в уверенности, что мы познакомились в августе 1966 года, где-то между изготовлением снимка в Фотографии № 1 и отъездом в Челябинск для поступления в первый класс. Наверное, уже будучи старшеклассником, когда ежегодные поездки в Горький остались позади, среди родительских фотографических завалов я обнаружил недатированную фотографию (сопоставив с другими детскими фото, ее можно скорее всего отнести к лету 1961 года). На ней возле клумбы с фасадной стороны двора на улице Минина изображены мы с Ириной. Трехлетняя улыбчивая девчушка в комбинированном платье с белым, украшенным тесьмой верхом, в пестрых носочках и светлых сандаликах на по-детски кособоко поставленных ножках держит за руку серьезного двухлетнего малыша, который почти на голову ниже ее, в смешном летнем комбинезончике на голое тело и сандалиях на босу ногу. В свободной руке у него машинка, доказывающая, что он – не девочка. И платье, и комбинезон детям коротковаты и тесноваты – значит, снимок сделан ближе к концу лета. Его автором, вероятно, был «деда Леня». Ни обстоятельств съемки, ни нашего общения с Ириной того периода я не помню.

Зато в моей памяти сидит августовский день 1966 года. Мальчик в одиночестве гуляет в южной части двора. Настроение грустное: скоро надо уезжать в Челябинск. Из двери подъезда показывается незнакомая девочка. Одета она невзрачно – в какое-то линялое платьице, поверх которого накинута блеклая (светло-розовая?) кофта, кажется, с оторванной пуговицей. Мальчик-аккуратист сразу же отмечает про себя этот изъян. В общем, ничего особенного, девчонка как девчонка.

Мальчик знает, что это сестра Володи Гречухина, приехавшая из Москвы. Они знакомятся – по ее инициативе. Мальчик слишком застенчив, чтобы сделать первый шаг. То, как легко она вступает в контакт, производит на него сильное впечатление. Она опытный человек: окончила первый класс и делится своими впечатлениями о школе, которой он побаивается. Ирина рассказывает Мальчику не только о школьных премудростях. От нее он слышит первые детские анекдоты, довольно рискованные, но тем более притягательные. (Скоро он почувствует вкус к анекдоту и станет заядлым рассказчи-

ком этих лаконичных соленых новеллок с неожиданным концом, потешая сверстников и взрослых.) Жаль, что она приехала так поздно: впереди у них всего несколько дней. Бабушка зовет Мальчика обедать.

В одну из следующих встреч Мальчик решается на небывало смелый поступок. Он загадывает Ирине, которая нравится ему все больше и больше, загадку. Она должна разгадать предложение из четырех слов, первые буквы которого он называет: «Я в т. в.» Ирина размышляет и, возможно, догадывается, к чему он клонит, когда он подсказывает, что первые две буквы – целые слова. В общем, она заинтересована.

Они договариваются, что она придет к нему домой после обеда. Мальчику стоит больших трудов выпросить на это разрешение Бабушки, которая никого не пускает к нему во время обязательного послеобеденного отдыха. Ирина приходит, сидит в спальне на краю топчанчика, на котором он лежит под одеялом. Она утверждает, что не знает разгадки, сдается и требует назвать третье слово. Мальчик долго сопротивляется, ему стыдно. Наконец, он выдавливая из себя: «Я в тебя...» и, резко отвернувшись, в смущении утыкается лицом в ковер с павлинами и натягивает до затылка одеяло.

«Я знаю», – слышит он голос Ирины, осторожно оборачивается и видит, что она смущена. Теперь он требует – трус! – чтобы она назвала четвертое слово. Бабушка прерывает их секретничанье. «Тихий час» закончился – как незаметно он пролетел! – и они могут отправляться во двор.

Они сидят на северной тенистой стороне двора, у одной из двух заброшенных клумб в зарослях сирени. Мальчик с неприличным упорством продолжает настаивать на расшифровке последнего слова. Странное объяснение в любви, которое он из болезненной робости перекладывает на плечи девочки. «Влюблен?» – спрашивает Ирина, краснея и прищуривая глаза. Мальчик с облегчением смущенно кивает. Про себя он отмечает, что последнее слово она расшифровала именно в той форме, в какой он и задумал: «влюблен» звучит изящнее, чем «влюбился».

Кажется, Ирине нравится новая игра, а может быть – нравится и Мальчик. Она кокетничает и щебечет без умолку. Спрашивает, умеет ли он танцевать твист. О таком танце он, привычный к классическому и советскому балету, и не слыхивал. А вот она умеет. Он умоляет ее показать таинственный взрослый танец, который детям, по словам Ирины, танцевать нельзя. Она делает вид, что стесняется: уходит за угол дома и, как только он выскакивает, тут же прекращает вихлять попой. Как танцуют твист, Мальчик увидит в том же году в «Кавказской пленнице».

В один из ближайших вечеров они уединяются в восточном, «секретном» закутке двора, в месте встреч Мальчика с Володей,

под сенью темной августовской листвы сирени. Ирина и Мальчик сидят рядышком, тесно прижавшись друг к дружке. Они решаются на новое испытание – первый поцелуй. Она позволяет ему слегка чмокнуть себя в щеку. Теперь ее очередь. Это интересное занятие прерывается самым неожиданным образом. Мальчик с пронзительным криком, в котором не только страх, но и смесь смущения и радости, выскакивает из кустов, Ирина – за ним: в щели бордюра, на котором они сидели, рядом со своей голой ногой он заметил противную, вертлявую двухвостку. Мальчика передергивает от отвращения, когда он видит этих коричневых тварей, словно бы помесь таракана со скорпионом.

Позднее дворник будет прилюдно, вгоняя Мальчика в краску, подмигивать ему и намекать, что видел их с Ириной в кустах сирени...

Но самое главное им и так уже ясно: они нравятся друг другу. Мальчик с серьезным видом неоднократно, до самого отъезда, будет напоминать Ирине, чтобы их тайну – зашифрованное признание в любви и поцелуи – она хранила до 18 лет. «Береги этот секрет, как твой твист», – твердит он. Он твердо намерен жениться на ней через десять лет.

В те августовские дни им никто не мешал, во дворе не было ни Володи Гречухина, ни других детей, проводивших летние месяцы у горьковских бабушек и дедушек. Мальчик встретится с Ириной через два года, в серьезно изменившейся ситуации.

Прежде чем продолжить повествование, сделаю небольшое отступление. Зимой 1966–1967 годов, учась в первом классе, я без тени сомнения, хотя и не без смущения, заявлю няне, от которой у меня пока нет секретов, что мне нравятся две девочки – Лена в Челябинске и Ира в Горьком. Мудрая Александра Сергеевна найдет, конечно, забавным наличие двух «невест» у своего питомца, но убеждать его в «аморальности» такого поведения не станет: дети в этом возрасте пробуют свои отношения с людьми, обитающими за пределами защищенного домашнего пространства, «на ощупь», экспериментируя и перебирая варианты. Ей должно было быть ясно, что Лена и Ирина – воплощение двух параллельных, не соприкасающихся друг с другом миров, четко разделенных пространством и временем, миров, между которыми путешествует ее «внучек».

Итак, они встретятся через два года, летом 1968-го. Оба вырастут и сравняются ростом. Она похорошеет, он осунется и будет стесняться избыточного для своих лет роста и оттопыренных ушей. И им не даст уединиться дворовая компания, дружащая и «враждующая» по ясному разделительному признаку – половому.

Впрочем, к созданию «фронтальной линии» во дворе дома по адресу Минина, 19а, Мальчик сам азартно приложит руку. Нака-

нуне приезда Ирины во дворе появляются два новых лица: Наталья Алексеева из Кирова и Владимир Стафеев из Петрозаводска. Наташу Мальчик знает давно (в родительском доме есть несколько фотографий, на которых мы с ней сняты в зарослях дворовой сирени еще в сентябре 1960 года). Дочь летчика и внучка Веры Петровны, соседки с третьего этажа, с которой дружит Бабушка, она приезжает в Горький почти каждое лето. Крупная улыбчивая русая девочка с темными глазами-вишнями старше мальчика на два года. Добродушная, бойкая Наташа снисходительно сообщает Мальчику, который пытается оповестить ее о скором появлении новой девочки, что они с Ириной – старые подружки. Эта новость смущает Мальчика: он подозревает, что Наташе от Ирины известно об их позапрошлогодней истории. Он чувствует себя в меньшинстве и одиночестве. Ему нужен сообщник.

Володя Гречухин не идет в расчет. Он почему-то не появляется в последние дни у «деды Лени» и «бабы Гали». Но главное – он брат Ирины и поэтому не годится в надежные заговорщики. Мальчик посвящает в свой план игры-войны против двух подружек нового соседа по лестничной клетке – Володю Стафеева. О том, что Мальчик неравнодушен к Ирине, речь, конечно, не заходит. Володя, ровесник Мальчика, уравновешенный, флегматичный, одного с ним роста, но гораздо более плотный и сильный, с умеренным интересом включается в игру, которая его постепенно захватывает.

Итак, заговор созрел, «боевые действия» начинаются. Как обычно в девяти-десятилетнем возрасте, взаимный интерес мальчиков и девочек воплощается в «военные операции». Наталья и Ирина в этой «войне» лидируют с большим преимуществом. Они старше своих «противников», и Ирина под руководством Натальи быстро овладевает тайным языком. Код этого языка – прибавление одного и того же слога к каждому слогу произносимых слов – остается для ребят загадкой. Они пытаются придумать собственные средства зашифрованной коммуникации: пользуются заумной речью – бессмысленным набором звуков с выразительной интонацией. Девочки смеются. Тогда они пробуют разработать систему сигналов. Опасность обозначается большой буквой «О», начертанной в воздухе взмахом обеих рук; отсутствие опасностей – буквой «Н»: ребром ладоней в воздухе прочерчиваются две вертикальные линии и соединяющая их горизонтальная. Дальше этих примитивных сигналов, не произведших на подружек ни малейшего впечатления, они не продвинулись.

Конечно, их взаимное пристальное наблюдение и секретные разговоры не исключали общения. Вместе, особенно когда во дворе появлялся Володя Гречухин, они сидели на дворовой скамейке, рассказывали анекдоты и страшные истории – правда, при каждом удобном случае демонстрируя наличие разделяющих их тайн.

Вместе они бегали в кинотеатр имени Минина в двух кварталах от дома; гуляли – в сопровождении взрослых – по Верхне-Волжской набережной; ходили с бабушками на концерты симфонической музыки, с начала 50-х годов ежегодно устраиваемые на Откосе в летней открытой «раковине»; 18 августа, в День воздушного флота СССР, с замиранием сердца наблюдали пилотажное мастерство летчиков над Волгой; плескались в реке и дурачились на пляже; играли в карты, собравшись большой компанией, вместе со взрослыми, у Алексеевых, изредка – у Хазановых.

Иногда Мальчик оставался с Ириной во дворе наедине. В таких, довольно редких случаях они сидели на скамейке с парадной стороны дома, на которую не выходили окна квартир их дедов, и мирно разговаривали, рассказывали друг другу всякие истории и вели себя совершенно естественно, без ужимок и игр в секреты. События 1966 года никогда не вспоминались. Вероятно, игра была важнее, чем история, послужившая поводом к ней.

Впрочем, возможно, я ошибаюсь. Помню, Мальчика раздражала и порой угнетала постоянная публичность встреч, редкость уединений с Ириной, ревность к Володе Гречухину, с которым она под водительством «деды Лени» на целые дни уходила на рыбалку. Когда во время уединенных бесед Мальчика с Ириной во двор выходил Владимир Стафеев и с заговорщическим видом начинал энергичные О-образные вращения руками, Мальчик только лениво отмахивался. Он был не в состоянии сосредоточиться на чтении, если во дворе звучал ее голос, и бессмысленно глядел в книгу, возвращаясь к одной и той же фразе.

Его томило сладкое чувство, смешанное с отчаянием, от которого хотелось расплакаться, когда Бабушка загоняла его вечером домой и он, не в силах уснуть, лежал в постели, глядя на темно-синее позднейюньское небо и слыша во дворе звонкий детский смех. А наутро, наспех позавтракав, он с замиранием сердца и звенящим восторгом в груди кубарем слетал по лестнице во двор, как только туда выходил предмет его томлений. Наверное, эти чувства все-таки можно назвать первой любовью, сила и неповторимость которой определяется именно растерянностью, неспособностью совладать с собой, невозможностью определиться с тем, как быть, что делать с навалившимся неведомым смятением. Не случайно время и опыт – наиболее эффективное лекарство против первой любви.

Да, это была любовь. Точно такие же чувства сокрушительной силы я испытал позже, в четырнадцатилетнем возрасте, более уместном для первых, безнадежных и безответных сердечных томлений. Эти чувства захватят и не отпустят меня в течение многих лет, определяя восприятие жизни и линию поведения – и не только в личных отношениях, – толкая на отчаянно легкомысленные поступ-

ки и поспешные решения в ожидании повторения первых переживаний. Чем объяснить способность так долго жить с чувствами, впервые посетившими семи-девятилетнего ребенка – преждевременной зрелостью или, напротив, законсервированной инфантильностью – не берусь судить. Впрочем, это уже другая история, которой не место в этой книге.

Горьковская игра в «войну» с девочками длилась несколько лет. В памяти ясно всплывает летнее утро (кажется, 1969 года), когда в Горький вновь приехала Ирина. Мальчик сидит на кухне. Перед ним тарелка садовой клубники, только что принесенной с рынка, со сметаной и сахаром. Звонок в дверь. Входит Володя Стафеев и с заговорщическим видом сообщает, что «объект» уже во дворе. Но Бабушка не отпускает Мальчика, пока тот не покончит с десертом. Мальчик упрямится, и ожидающий его Володя вдруг предлагает: «А давайте я съем!» Бабушка от неожиданности теряется – и соглашается (потом она выговорит Мальчику за его капризы: июньская «виктория» на Мытном рынке стоит дорого). Володя с аппетитом уминает ягоды, и ребята выходят в подъезд.

На войне как на войне. Выходить черным ходом нельзя – прямо напротив него стоит скамейка, на которой сидит Ирина с младшим братом Мишей, их московской бабушкой Ксенией, «бабой Галей» и «дедой Леней». Друзья выходят через парадное, совещаются: нужно пойти в обход и следить за девочкой из-за угла дома, в щель между восточной стеной дома и водосточной трубой. Так они и поступают, сменяя друг друга на «наблюдательном пункте». Вечно так продолжаться не может. Мальчик в нетерпении выталкивает грузного Володю, Ирина его замечает. Ребята ретируются, Володя лениво поругивается. Они вновь возвращаются к водосточной трубе. Мальчик, наклоняясь вперед, осторожно выглядывает. Ирины на скамейке нет. В это время Володя сильно толкает его в спину, так что Мальчик расплывается на асфальте. Над ним стоит, смущенно улыбаясь, Ирина, подкарауливавшая приятелей-разведчиков. Мальчик вскакивает и молча убегает вслед за Володей.

Больше прятаться нет смысла. Коротко посоветовавшись, они тем же маршрутом выходят на залитую солнцем южную сторону двора; вальяжно разводят руками: мол, чему быть, того не миновать. Летние приключения начинаются...

Со временем в игре появляются новые, эротические интонации. Ясно представляю себе: Володя Гречухин, Ирина и Мальчик стоят у двери черного хода. В ней шесть небольших застекленных оконцев. Одно из нижних разбито – Володя как-то с размаху угодил в него рукой, да так, что пришлось накладывать швы. (Мальчик с внутренним содроганием и непреодолимым любопытством неоднократно просил приятеля показать заживающую плоть с торчащими из нее

потемневшими нитками.) Ребята спонтанно затеяли игру во взрослые поцелуи через стекло – долгие и слюнявые. У Ирины с Володей это здорово получается, прямо как в фильме «Бей первым, Фредди!», который они недавно смотрели. Мальчик не может решиться предложить себя Ирине в качестве партнера, поэтому усердно целуется с ее братом. Проказник Володя, улучив удобный момент, неожиданно хватается Мальчика через разбитое окошечко за шорты, вздувшиеся от возбуждения. Мальчик смущается, Ирина и Володя смеются.

К этому времени, накануне переходного периода, половая тема властно, но пока в самых смутных очертаниях, вторгается в их жизнь. Володя Стафеев, посмотревший художественный фильм «Спартак», вздохнул пересказывает увиденное. Одно из самых сильных впечатлений – в Древнем Риме новобрачные, раздевшись донага, в обнимку катались по траве. Мальчик впечатлен этим свадебным ритуалом. Жаль, что те времена прошли...

Дальше – больше. Мальчик и его товарищи в отсутствие девчонок с любопытством изучают гениталии окрестных дворовых кобелей и этикетки спичечных коробков с репродукциями древнеримских скульптурных изображений обнаженной натуры. Они взволнованно пересказывают друг другу услышанные неприличные истории о теряющих покров таинственности отношениях между мужчиной и женщиной.

Мальчик, сидя во дворе, внимательно следит за котом, загоняющим кошку в цветочные заросли на клумбе. Он завидует коту, который, никого не стесняясь, решает свои задачи. Когда Мальчик с забора мечтательно разглядывает молодую ремонтницу в засаленном рабочем комбинезоне в троллейбусном депо, Володя Гречухин, более информированный вследствие широкого круга общения со старшими мальчишками, деловито сообщает ему, что овладеть любой женщиной очень просто: достаточно провести языком вокруг ее соска. Мальчик смущен: Володин рецепт слишком похож на тот «самый надежный» способ ловли ворон, что выдал им по секрету «деда Лень», – достаточно тихонько подкрасться к птице и насыпать ей соли на хвост, и она уже не сможет улететь. Но сама ярко представившаяся в воображении картина – круговое движение языка по женской груди – вызывает у Мальчика сладкую, тягучую лому.

Однажды вечером Володя Гречухин вытащил во двор большие пластины пенопласта и нож. Запасся ножом и Мальчик. Они задумали выстругивать из них пистолеты. Но материал крошился под ножом, терпение ребят иссякало. Неожиданно Володя состругал нечто вроде морковки и радостно провозгласил: «Смотри – мужская принадлежность!» Они с азартом принялись за изготовление «принадлежностей», не только мужских, но и женских, прорезая желобок на овальном куске пенопласта. Затем они набили этим богатством



полные пазухи своих рубаш, так что те оттопырились на животе, и стали радостно предлагать сомнительный товар соседкам, собравшимся посудачить на скамейке.

Возмущение взрослых было ощутимым: они не только заставили мальчишек убрать весь этот «мусор», но и пожаловались их бабушкам. Как реагировали на этот инцидент «баба Галя» и ее муж, мне неизвестно, но Бабушка была крайне недовольна, убежденная, впрочем, что эта затея принадлежит «хулигану Вовке».

А еще как-то раз Наталья с Ириной продемонстрировали ребятам свое информационное превосходство: они заявили, будто ясно видели, что есть у Мальчика между ног. Раскрыть такой «секрет» не представляло больших трудов: плотных плавок для десятилетних мальчишек в обиходе не было, так что, гоняя по двору, они неизбежно сверкали всеми интимными местами из-под широких черных «семейных» трусов.

Однажды жарким днем Мальчик и Ирина гуляли одни. Через миниатюрный гараж с мотоциклом Бориса Шевчука они забрались на кирпичную стену, отделявшую двор от троллейбусного парка, и бродили по крышам сараев, крытым нагретыми солнцем черными листами рубероида. Мальчик старался не смотреть на девочку, одетую в одни белые трусики. Его мучило неясное желание, не менее горячее, чем крыши под босыми ногами. Не сговариваясь, они вернулись во двор, решив играть в «дом», то есть в «маму» и «папу». У юго-восточного угла дома, у той самой водосточной трубы, откуда в начале лета ребята подглядывали за приехавшей из Москвы Ириной, они развесили на бельевых веревках принесенное девочкой одеяло и нырнули под него. Когда Ирина повернулась к нему спиной и стала расправлять складки одеяла, Мальчик неожиданно для самого себя – то ли из любопытства, то ли из жажды реванша – рванул вниз белые трусики, оголив бледную левую ягодицу. И тут же, поймав напряженно-смущенный взгляд Ирины, вылетел из-под одеяла, задыхаясь от стыда, и, не чуя под собой ног, бросился наутек. Обезжав дом, он вернулся, не найдя ни «дома», ни «мамы». Это была одна из последних их встреч с глазу на глаз...

(Стоп! Что-то происходит: вот уже несколько раз на последних страницах, рассказывая о первой любви, я ловлю себя на том, что непроизвольно пишу о Мальчике и его друзьях от первого лица, пользуясь местоимениями «я» и «мы», которые затем не без сожаления вымарываю. Может быть, я нашел дорогу к себе? Может быть, чувства, пробудившиеся в годы раннего отрочества, и есть эмоциональная «сердцевина», которая сохранилась во мне и обеспечивает связь с собственным прошлым, позволяет узнать себя в том ребенке? Может быть, к девяти-десяти годам она созрела во мне? Кажется, пора описывать горьковские каникулы от первого лица.

По прошествии двух с половиной месяцев работы над рукописью мне кажется естественным, что Мальчик и я – одно и то же лицо. Желание держать между нами дистанцию пропало.)

Последний раз я видел Ирину 8 августа 1971 года. Я абсолютно уверен в этой дате: в тот день по телевизору (как я установил, просматривая весной 2006 года программы передач в «Горьковском рабочем») показывали последнюю серию английской многосерийной экранизации «Саги о Форсайтах». Днем в гости заходила племянница Н. Я. Хазановой Дора. Б. Я. Хазанов недолго любил эту яркую шумную женщину, считая ее пустой и легкомысленной. Многословная Дора, помимо прочего, заговорила о телесериале. По ее мнению, главный герой был удивительно похож на дядю Исаю, родного брата Н. Я. Хазановой, умершего менее года назад. Бабушка такого сходства не нашла, но вечером, когда на экране умирал серьезно раненый протагонист, горько расплакалась, говоря сквозь всхлипыванья, что именно так и умирал ее Исай. Дедушка по мере сил утешал жену и сердился на Дору, в очередной раз найдя подтверждение ее человеческой поверхностности.

В тот вечер между ужином и началом фильма я вышел во двор. Там одиноко гуляла девушка лет четырнадцати. Я не сразу узнал Ирину. Она показалась мне совершенно обыкновенной. Мы поговорили вежливо-прохладно. Хвастаться мне было нечем: учился я скверно, отношения с челябинскими друзьями были сложными и неясными, жизнь шла ровно и без захватывающих приключений.

Вероятно, игра прошлых лет вытеснила то, с чего все начиналось, а мы выросли из игры. Или мы просто выросли, оставив детское увлечение в прошлом, озабоченные каждый своим, не соприкасающимся с другим, настоящим. Словом, взаимный интерес прошел сам собой, без драматичных сцен и объяснений. Но эта история останется в моей памяти. Первая любовь – один из многих осколков моего горьковского детства, но, быть может, из числа самых важных.

### Почему он улыбается?



Вновь и вновь я возвращаюсь к фото 1966 года. В ноябре 2005-го по окончании моего доклада в Тюбингене и под конец дискуссии Ян Плампер попросил меня еще раз включить проектор и вышел к экрану. Указывая на проекцию горьковского фотопортрета, он обратил внимание на улыбку, позу и одежду мальчика: эти артефакты могут служить поводом, считал он, для бесконечного – и иного, чем в моем выступлении – ряда историй: истории мимики и пантомимики, детства, моды, поколений, гендера. Как и Йохен Хелльбек в Берлине летом 2005 года, Ян настаивал на присутствии на горьковской фотографии не дореволюционной, а сталинской традиции: улыбка

ребенка, по его мнению, является цитатой знаменитой фразы Сталина, произнесенной в 1935 году, – «Жить стало лучше, жить стало веселее». Ян порекомендовал мне обратить внимание на литературу, которая могла бы продвинуть мое исследование в этом направлении, за что я ему сердечно признателен.

Почему же мальчик на фотографии улыбается? Казалось бы, ответ на этот вопрос очевиден: потому что фотограф дал сигнал «Улыбочку!» Потому что так принято. Однако и желание фотографов запечатлеть улыбающуюся персону, и готовность клиента улыбаться перед камерой – сравнительно молодые явления. На ранних фотографиях выражение лиц застывшее и напряженное, причем не только потому, что выдержка первых фотоаппаратов длительностью до 45 минут делала фиксацию эмоций технически невозможной: до недавнего, с исторической точки зрения, времени открытая улыбка на людях в Европе считалась верхом неприличия.

Австралийский музеевед и автор исследования об истории улыбки Эгнус Трамбл обратился к этой теме относительно недавно и неожиданно для самого себя. В 1998 году, во время экскурсии, организованной им для участников конференции дантистов и специалистов по челюстно-лицевой хирургии, он обратил внимание на обилие разнохарактерных улыбок на старых живописных холстах, причем белозубая «голливудская» улыбка на них не встречалась. По его наблюдениям, давняя иконографическая традиция использовала открытые рты и выставленные напоказ зубы для изображения стариков, одержимых, цыган, шлюх и сборщиков налогов. Изображения улыбок как позитивного начала были редки и известны в основном благодаря знаменитым исключениям.

Еще в середине XIX века в произведениях Чарльза Диккенса желтыми лошадиными зубами наделялись отрицательные персонажи. В 1891 году театральная публика была возмущена мимикой Сары Бернар, которая в роли Клеопатры демонстрировала белизну своих зубов. Колониальная эпоха также способствовала вытеснению белозубой улыбки в сферу чужих, экзотических, «варварских» культур. Европейские представления о красоте лица при этом никак не соотносились с состоянием и цветом зубов.

Все верно. В Базеле один из моих маршрутов в Исторический семинар пролегал по Среднему мосту, когда-то украшенному головой «языкастого короля» (Lällekönig), который благодаря встроенному часовому механизму ворочал глазами и показывал язык прохожим. Копию «языкастого короля» у входа в одноименный ресторан я видел ежедневно. Комический эффект, который он должен был производить в прошлом на базельцев, вызывался прежде всего контрастом между благородной королевской короной и распахнутым, как у грубого простолюдина, ртом. Фасад барочного Голубого дома

близ Среднего моста, в котором располагается Департамент юстиции, украшают маски, демонстрирующие распахнутые щербатые рты, хамские, слюнявые улыбки и выставленные напоказ языки.

Во второй половине XIX столетия зубы, улыбка и связанные с ней эмоции стали предметом повышенного внимания и небезопасных опытов медиков, психологов и антропологов. Еще раньше, в XVIII веке, начались эксперименты по применению зубов и костей животных, металлов и агатов в качестве протезов утраченных человеческих зубов. Успехи стоматологии, по мнению Э. Трамбла, стали одной из важных причин распространения публичной улыбки в Европе.

Вторым обстоятельством, содействовавшим триумфу улыбки, стало развитие фотографии. Доступность изображения привела к революции в мимике и жестах. Фотография не только стала школой приличных манер, но и впустила в публичную сферу интимные телесные проявления человеческих эмоций, ранее скрытые от посторонних глаз завесой тщательно оберегаемой в XVIII–XIX веках буржуазной домашней приватности. Прогресс фототехники позволил моментально фиксировать не вполне осознанные действия человека. Во второй половине XIX века улыбка стала появляться на фотографиях и в живописи все чаще, причем в произведениях искусства она преобладала не в жанре документального портрета, а на изображениях вымышленных персонажей.

Однако вездесущей, не всегда уместной маской приличия и успеха белозубая улыбка стала лишь в XX столетии благодаря массовому успеху кинематографа. Традиция пикториальной фотографии рубежа XIX–XX веков, как я уже отметил, признавала улыбку сдержанную и загадочную. Вот как описывается женская улыбка на фотографиях раннего XX века в романе Андрэ Макина «Французское завещание»:

*«Эти женщины знали – чтобы быть красивыми, за несколько секунд до того, как их ослепит вспышка, надо произнести по слогам таинственные французские слова, смысл которых понимали немногие: “пё-титё-помм...” И тогда рот не растягивался в игривом блаженстве и не сжимался в напряженной гримасе, а словно по волшебству образовывал изящную округлость. И все лицо преображалось. Брови чуть заметно выгибались, овал щек удлинялся. Стоило сказать “пё-титё-помм”, и тень отрешенной, мечтательной нежности заволакивала взгляд, утончала черты, и на снимок ложился приглушенный свет минувших дней» (Макин А., 19).*

Мужская улыбка в пикториальной фотографии была одним из атрибутов маскулинной телесности, безупречной воспитанности и высокого статуса, позволявшей, по крайней мере с позднего средневековья, с первого взгляда безошибочно определить: перед вами – муж благородный.

«*Vir gravis* СЕРЬЕЗЕН, СТЕПЕНЕН; ОН ДЕМОНИСТРИРУЕТ НЕПРИСТУПНОСТЬ, ВЗГЛЯД ЕГО НАПРАВЛЕН В ВООБРАЖАЕМУЮ ДАЛЬ, ОН ОБРАЗЦОВО КОНТРОЛИРУЕТ, ТАКИМ ОБРАЗОМ, СВОИ ЧУВСТВА. ОТДЕЛЬНЫЕ КАРТИНЫ ПОЗВОЛЯЮТ УВИДЕТЬ ЭТО ЗАДОЛГО ДО ТОГО, КАК ТЕОРИЯ СФОРМУЛИРУЕТ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПОСТУЛАТЫ. БЕСЧИСЛЕННЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ СВЯТЫХ И ИСТОРИЧЕСКИХ ДЕЯТЕЛЕЙ ОТ ВПЕЧАТЛЯЮЩЕГО ПОРТРЕТА ЯКОВА ФУТГЕРА КИСТИ ДЮРЕРА ДО ФОТОГРАФИЙ СОВРЕМЕННЫХ ПОЛИТИКОВ ВОСПРОИЗВОДЯТ ЭТОТ ОБРАЗЕЦ» (Роеск В., 206).

В уголках рта образцово воспитанного благородного мужчины допускаясь легкая, загадочная улыбка. Как и улыбка на горьковском портрете, вряд ли имевшая отношение к сталинскому тезису «жить стало веселей», инсценированный взгляд ребенка в концепции фотографа и заказчиков снимка 1966 года едва ли должен был прозреть дали «светлого будущего».

Мы тщетно будем искать сугубо «советские» следы и в позе ребенка из 1966 года. Фотограф, усадив его в старинное кресло, инсценировал каждый его жест, в том числе и положение ног. Стопы стоят хореографически выворотом, также цитируя образцы благородной мужской телесности. Истоки такого положения ног можно без труда обнаружить в бургундской моде XV века, популяризировавшей остроносую, клювообразную мужскую обувь, завезенную с Востока во время крестовых походов. Постепенно сложились предписания относительно длины «клюва», которая была призвана сигнализировать место человека в социальной иерархии. Только князья и принцы могли позволить себе обувь, носки которой в два с половиной раза превышали длину стопы. «Клювы» у высшего дворянства могли быть длиннее ступни «только» в два раза, у рыцарей – в полтора. Богатым горожанам было дозволено носить обувь с носами, равными длине стопы, но все-таки в два раза длиннее, чем у простолюдинов.

С практической точки зрения клювообразная обувь была крайне нефункциональна. Чтобы ее носы не волочились по земле, их приходилось загигать и специальными цепочками подвязывать под коленями. Из истории военного искусства известны примеры, когда остроносые ножные доспехи лишали спешенного всадника возможности передвигаться и обуславливали поражение в битве. Но для европейской телесной воспитанности ношение клювообразной обуви имело важные последствия: оно приучило европейцев передвигаться степенно и поступью, при которой носки были разведены в стороны.

Выворотные стопы стали основой пяти классических позиций ног в хореографии. Причем, в каждую из них спустя четыре века после бургундской моды вкладывался определенный социальный смысл, и все они, за исключением пятой, активно использовались за пределом танцевального искусства. Так, в самоучителе танцев, изданном в России в 1884 году, по поводу позиций стоп были даны следующие разъяснения:

«Каждая из пяти позиций имеет свой особый смысл, который общается вполне однако не только положением ног, но и всего корпуса. Первая позиция выражает внимание, сосредоточенное размышление и понимание, – и поэтому в этой позиции принимаются приказы и поручения, как это делают солдаты, выслушивая приказание начальства. Вторая позиция выражает силу и самоуверенность, почему сражающиеся избирают эту позицию как сообщающую верхней половине корпуса наибольшую стойкость. Третья позиция выражает приятное расположение духа и скромность, почему ею пользуются при поклонах дамам. Четвертая показывает сознание собственного достоинства и благородную гордость, в виду чего она является свойственной ораторам при воодушевленной речи. Пятая позиция выражает ловкость, а потому и составляет исключительную принадлежность танцев» (Новейший самоучитель, 8–9).

На фотографии 1966 года ноги портретируемого поставлены в позиции, близкой к третьей, в которой каблук правой ноги плотно прикасается к середине внутренней стороны левой стопы. Ребенок сидит в позе, выражающей «приятное расположение духа и скромность», о чем ни фотограф, ни заказчик, ни, естественно, сам ребенок и не догадывались. Но принадлежность «правильно» поставленных стоп к репертуару «культуры» наверняка не вызвала у организаторов съемки ни малейшего сомнения.

Наконец, необходимо упомянуть еще один постановочный жест, зафиксированный на горьковском фотопортрете – отставленный локоть левой руки, покоящийся на подлокотнике кресла. Традиция изобразительного искусства связывает его исключительно с благородной маскулинностью:

«Решительно мужским является... согнутый локоть. Этот вызывающий, “захватывающий пространство” жест, очевидно, воспринимался как не подобающий женщине. Этот факт... нужно рассматривать как прямое указание не на “реальность”, а скорее на образцы “пристойности”. Через искусство они, в свою очередь, могли повлиять на реальность» (Роев В., 177).

Отставленный локоть левой руки также является своего рода «фантомом» из обихода воина давно минувших эпох. Левая рука (а в средневековье обе) опиралась на эфес холодного оружия, привешенного к поясу благородного мужа. И этот «захватнический» жест, как и улыбку или взгляд, я не стал бы сводить к сталинистской культуре. Было бы смешно, например, интерпретировать его как метафору «мировой революции».

Таким образом, благородная осанка, выворотные стопы, задумчивый взгляд, сдержанная улыбка и мужественно отставленный

локоть левой руки, словно бы придерживающей эфес кинжала или шпаги, задолго до сталинской эпохи были визуальными символами высокого социального статуса и предназначения. Именно таковы мимика и жесты, запечатленные на горьковской фотографии. Конечно, в советской моде зрелого и позднего сталинизма, как и в других сферах социальной и культурной жизни этого периода, произошло присвоение более ранних культурных практик. Было бы упрощением трактовать эту культурную «узурпацию» исключительно как «великий отход» (Н. Тимашев). Всеядность советской культуры, в том числе сталинистской иконографии, была инспирирована пафосом создания нового человека и непоколебимой верой в неумолимость социального прогресса. Именно поэтому я не вижу достаточных оснований для того, чтобы считать телесность сфотографированного в 1966 году ребенка – равно как и ренессансное кресло, на котором он восседает – элементами помпезной сталинской стилистики.

Гораздо более непосредственное цитирование советской эпохи можно усмотреть в наряде, в который облачен портретируемый. Мальчик сфотографирован в одежде, не типичной для советских детей 60-х годов. Легкая промышленность в СССР поставляла для мальчиков, помимо серых, мешковатых школьных костюмов из грубой толстой ткани, детскую одежду, которую скорее всего можно описать как спортивную: длинные темные штаны на резинках – шерстяные лыжные на зиму, хлопчатобумажные тренировочные на лето; зимние и летние комбинезоны, клетчатые рубашки, однотонные шорты и майки. Весь небогатый ассортимент мальчиковой одежды был темной, унылой, «немаркой» расцветки, считавшейся практичной.

Найти приличные брюки или костюм на подростка в условиях товарного дефицита было большой проблемой, а на пятилетнего ребенка (если еще учесть, что советская швейная промышленность знала всего три детских размера) – тем более. Первые длинные, «как у больших», брюки и костюмы зарубежного, прежде всего чехословацкого производства я получал в подарок либо от подмосковных родственников отца, имевших возможность покупать в Москве товары, недоступные в провинции, либо по «спекулянтской» линии, от предприимчивого театрального танцовщика и администратора В. С. Криворучцкого.

Наличие под рукой нарядной одежды для инсценирования «счастливого» момента жизни свидетельствует, однако, скорее, о возможностях, чем о намерениях участников фотографической ситуации 1966 года. Другое дело – импровизированный нашейный бант-галстук из синей бархатной ленточки-синельки, без которой можно было вполне обойтись при фотографировании. В нем, возможно, воплотился уже упоминавшийся поколенческий конфликт,

разворачивавшийся в Советском Союзе 50–60-х годов по всем «фронтам». В сфере моды и в целом образа жизни столкновение поколений проходило под лозунгом борьбы со «стилягами».

В «Энциклопедии банальностей» ленинградская исследовательница советской повседневности Наталья Лебина пишет о «стилягах» следующее:

«В СЕРЕДИНЕ 50-х гг. АРЕНой РАЗОБЛАЧЕНИЯ “ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКИХ ВЫЛАЗОК” СТАЛА СФЕРА ОБЫДЕННОЙ ЖИЗНИ. Это выразилось и в искоренении так называемого стилиажничества. Сам термин “СТИЛЯГА” появился еще в 1949 г. Его придумал журналист Д. Беляев. Он напечатал в “Крокодиле” фельетон с таким названием. Относительно МАССОВЫМ “СТИЛЯЖНИЧЕСТВО” СТАЛО ПОСЛЕ 1953 г. Это была многоплановая субкультура, включавшая определенные атрибуты одежды, манеру поведения, особую лексику, систему культурно-эстетических пристрастий. В основе этой субкультуры лежали западные стандарты повседневной жизни. Традиционное описание стилиаги – туфли на толстой подошве... пестрые носки, рубашки яркой расцветки, удлинненные волосы, уложенные в виде кока а-ля Элвис Пресли... клетчатые пиджаки с ватными плечами и галстук, который за экзотический раскрас называли “пожар в джунглях”, – дополнялось стремлением приобщиться к еще одному соблазну буржуазной культуры – джазу. В контексте наступления на стилиаг комсомольские газеты начиная с 1954 г. множили лозунг: “Сегодня парень любит джаз, а завтра Родину продаст”. Стиляг исключали из комсомола, их ловили на улице бригадмильцы и дружинники. Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москве в 1957 г. сделал смешной и нелепой “идеологическую борьбу” против любителей пестрых одежд и джаза. Представители “прогрессивной молодежи” и Запада, и Востока, не говоря уже об Африке, были одеты весьма ярко и раскованно. К началу 60-х гг. статьи о стилиагах почти исчезают со страниц периодической печати» (Лебина Н., 337–338).

История советских стилиаг – это история «личной свободы в несвободной стране» (Вайнштейн О., 527). Стилягами считались не только молодые люди в легко узнаваемой «попугайской» одежде, ставшей объектом сатиры в журнале «Крокодил». В их разряд вписывались те, кто прилагал усилия выглядеть «не как все». Использование косметики, западных деталей туалета и несоветской, в том числе строгой и качественной одежды, особого языка (включая язык телесности) могло вызвать подозрения в нарушении социалистической системы ценностей.

Трудно не согласиться с наблюдением «шестидесятников»: «Советский человек слишком долго жил среди идей, а не вещей. Предметы всегда были этикетками идей, их названиями, часто аллегорическими.



Стиляги, придававшие вещам самоценное значение, демонстрировали уже более реалистический подход. Поэтому в милиции их и спрашивали: “Что ты хочешь этим сказать?” Вещь без смысла и умысла казалась опасным абсурдом» (Вайль П., Генис А., 66).

Узкие брюки-дудочки, яркие носки и пиджаки, ковбойский кожаный шнурок с анкером на шее, чрезмерно ухоженные волосы «стиляг» или, напротив, демонстративно запущенные волосы первых советских хиппи вызывали у взрослых, стоявших у власти, законное подозрение в появлении нового дефицита – дефицита лояльности.

Хотя публичная критика «стиляг» в прессе действительно постепенно сходила на нет, ни само явление, ни обозначавшее его слово с негативной оценочной окраской не исчезло и в 60-х годах. Скорее, наоборот. После Международного фестиваля молодежи и студентов 1957 года в Москве советские молодые люди с еще большим воодушевлением принялись подражать своим зарубежным сверстникам. В Горьком во время короткой, в несколько сотен метров, получасовой прогулки по Верхне-Волжской набережной, которая, наряду со Свердловкой, была местом фланирования – «Бродвеем» («Бродом») местных стилияг, и в середине 60-х годов каждый раз можно было встретить несколько вызывающе одетых молодых людей, заметных еще и потому, что их было слышно издали: в руках у них орала включенные на полную громкость транзисторные приемники.

Старшие поколения продолжали видеть в этом протест и против советской повседневности, отмеченной дефицитом товаров повышенного спроса, и против советской идеологии. Молодые нонконформисты в области стиля жизни – «стиляги» – оставались повседневным объектом подозрений и бытовой, «кухонной» критики. Термин «стиляга» с презрительным оттенком прочно поселился и в детской субкультуре. Помнится, это слово мы выкрикивали из безопасного удаления – из-за забора или с крыши гаража или сарая – необычно одетым прохожим обоюбого пола. Уважением к ковбойским джинсам мы прониклись во второй половине 60-х, познакомившись с одеждой героев вестернов.

Между тем, легкая промышленность не могла справиться с растущими ожиданиями людей, которым, наконец, недавно было официально обещано очень скорое вступление в общество всеобщего изобилия. Отчасти товарный дефицит компенсировался усиленным импортом из «братских» социалистических стран – Чехословакии, Польши, Венгрии, Югославии. Большие партии одежды и обуви, в том числе самой вожаденной, из Финляндии и Италии, «выбрасывались» в универмагах Москвы и крупных городов СССР в годы «великих» советских юбилеев – 50-летия Октябрьской революции (1967) и 100-летия со дня рождения В. И. Ленина (1970), совпавшего с 25-летием победы в Великой Отечественной войне.


Советская мода с заметным опозданием пыталась поспевать за западными новинками, прежде всего в женской одежде. В 60-х годах в СССР среди женщин стали популярны брюки и – особенно в летний сезон – мини-юбки, смело подчеркивавшие или радикально открывавшие женские формы, далеко не всегда пригодные для всеобщего обозрения.

Новые веяния должны были вызывать раздражение у старшего поколения с дореволюционной социализацией, в 60-х годах уходящего с активных позиций в советском обществе. Значительная его часть, не имевшая доступа к закрытым распределителям, тем не менее, игнорировала скудный ассортимент одежды в советских магазинах, не вступая в контакт со «спекулянтами». Многие обшивали себя сами, а в отношении более солидных предметов гардероба, включая обувь, пользовались услугами портных, скорняков и сапожников старой школы (в основном евреев).

Н. Я. Хазанова, водившая знакомство со знаменитым мастером-закройщиком из ателье при горьковском Доме моделей И. С. Киршем и прекрасно владевшая искусством кройки и шитья, сокрушенно качала головой, обращившись вслед местным «стилягам» во время вечерних прогулок с внуком по Верхне-Волжской набережной. С ее «синочкой» не должно случиться ничего подобного, он будет во всех отношениях приличным мальчиком – и в манерах одеваться тоже. Возможно, в наряде ребенка на фото 1966 года запечатлелась не вполне осознанная манифестация – в пику «возмутительным» нарушениям эстетических канонов в одежде – ее собственных стандартов в области моды, усвоенных в годы молодости – до революции 1917 года и в нэповской Советской России. Не исключено, однако, что ребенок в чешских клетчатых брючках, белой сорочке и галстучке из бархатной тесемки, которого дед жарким августовским днем 1966 года отвел в салон для изготовления фотографии «на память», воспринимался окружающими как стилиста.

Действительно, фотография допускает множество толкований, еще раз подтверждая недостаточность структуралистского «языкоцентризма»: ни одна интерпретация не может быть словесной калькой визуального содержания изображения. Фото провоцирует разные истории, в том числе истории о внутри- и межсемейной коммуникации.

## Интервью как инструмент историка

 Признание субъективности историографического – как и всякого иного – творчества знаменует не капитуляцию историописания, а повышение требований к ученым-историкам по поводу саморефлексии и выработки более контролируемых процедур на-

учного исследования. Сложности и некоторые сдвиги в овладении историками областью субъективных исторических актеров – восприятия, эмоций, репрезентаций, опыта, памяти – наглядно демонстрируются позицией членов историографического цеха относительно интервью как исследовательского метода и исторического источника.

Интервью прочно вошло в состав так называемых эго-документов, или личных свидетельств. Англо-американская психоаналитическая, антропологическая и социологическая исследовательская традиция понимает под «личными документами», «человеческими документами», или «документами жизни» материалы, позволяющие взглянуть на биографию изучаемого индивида. Наряду с интервью в их круг входят дневники, письма, литературные и фотографические источники, предметы повседневного пользования.

В научный обиход континентальной Западной Европы термин «эго-документы» и связанные с ним методические размышления вошли относительно поздно, хотя важные, но почти не замеченные современниками предложения по использованию эго-документов (и сам термин) родились в континентальной Европе полвека назад. Еще в 1958 году голландский историк Якоб Прессер ввел в научный оборот понятие «egodocumente», которым предложил обозначать такие тексты, в которых автор что-то повествует о своей личной жизни и мире собственных чувств. Десятилетием позже он расширил границы термина, сделав его собирательным для всех источников, в которых эго намеренно или нет рассказывает либо, напротив, скрывает себя. Таким образом, в интерпретации Я. Прессера понятие «эго-документы» обьяло более широкую группу источников, чем личные документы. В нее вошли все материалы, в которых человек рассказывает о себе – все равно, делает ли он это добровольно или под давлением внешних обстоятельств.

Это было методически ценное предложение, поскольку оно, во-первых, позволило задавать личные вопросы о восприятии и поведении исторических актеров документам, которые ранее под таким углом зрения почти не рассматривались: актам административного производства, следственным документам, материалам судебных процессов. Во-вторых, более доступным для изучения становился мир «нормальных», или «маленьких» людей, не оставивших, как правило, личных письменных свидетельств собственноручного изготовления.

Размышления Я. Прессера оказались, однако, преждевременными: в Западной Европе 60–70-х годов переживала расцвет социальная история, которая рассматривала человека преимущественно как безымянного члена абстрактного коллектива. Показательно, что разгоревшаяся в Нидерландах в 70-х годах XX века

дискуссия об эго-документах была вызвана работами голландского историка Рудольфа Диккерта, который опирался на предложения Я. Прессера, но явно их недооценивал: в качестве эго-документов он рассматривал исключительно автобиографические тексты. Аналогичное «сужение» термина можно наблюдать и среди французских историков 70–80-х годов. Пьер Нора, например, рассматривал проект эго-истории как исследование, основанное на автобиографиях историков.

Современное, широкое понимание эго-документов, созвучное предложениям Я. Прессера 50–60-х годов минувшего века, распространилось лишь в 80–90-е годы XX столетия, когда в качестве альтернативы классической социальной истории стали пробивать себе дорогу новые историографические направления и подходы – история повседневности, опыта и гендера, микроистория, новая персональная, интеллектуальная, культурная история, – в центре внимания которых оказались восприятие и поведение исторических актеров, в том числе ранее безымянных и бессловесных. Одной из важнейших задач все эти направления выдвинули расширение источниковой базы, прежнее состояние которой грозило сохранить право на историю за сильными мира сего.

В этом контексте следует рассматривать и возникновение «устной истории» (Oral History) – направления и метода историографии, основывающегося на интервью очевидцев, участников и современников исторических событий. Конечно, важным импульсом к ее появлению начиная с середины XX века стало широкое распространение аудиотехники, аналогичное протекавшей параллельно демократизации фотопрактики. В распоряжении исследователей появился доступный инструмент для записи автобиографий и воспоминаний тех, кто по собственной инициативе не оставил бы письменных свидетельств в этих жанрах.

Но технические возможности записи устных свидетельств не были бы реализованы, если бы они не встретились с соответствующими социальными потребностями и ожиданиями как внутри исторического цеха, так и у широкой публики. Один из основателей Oral History в Германии, Лутц Нитхаммер, выделяет два ключевых момента, определивших сдвиги в профессиональном и общественном интересе к прошлому. С одной стороны, расширение бюрократических слоев, участвующих в принятии важных политических решений, и возрастание роли устной коммуникации в управлении и политике понизили значение официальных документов, «отшлифованных» для внешних пользователей, и обострили интерес историков к неофициальным структурам и каналам принятия решений. В этой связи ценность интервью возросла. С другой стороны, у интересующейся историей публики наметилась смена угла зрения на прошлое.

«Люди уже не столь легковверны в отношении божьего ока или мирового духа; становится труднее почувствовать себя на месте господ и анализировать общественные проблемы сверху, как вопросы порядка, господства и интеграции. Мы в большей степени начинаем интересоваться самими собой, происхождением собственных условий жизни, поведения, образцами толкования и возможностями действий» (Ниетхаммер Л., 9).

«Устная история» приживалась неравномерно, демонстрируя специфику «коллективной памяти» и мемориальной политики в отдельных странах. Так, она с большим опозданием обосновалась в Германии и России, причем по сходным причинам. В межвоенной Германии марксистски ориентированная социология, применявшая глубокое интервью и биографию как методы изучения рабочего класса, была подавлена в эпоху национал-социализма и не могла возродиться в условиях «холодной войны» до 60-х годов. Такая же участь ждала советскую социологию и этнографию пролетариата и крестьянства в условиях сталинизма. Кроме того, официальные воспоминания современников нацизма и сталинизма были для серьезных исследователей разочаровывающе ненадежны, «отлакированы» фигурами умолчания и стереотипной риторикой, что в советском случае отягощалось идеологически выверенной государственной цензурой и возможными репрессиями за «неправильные» воспоминания о находившихся под запретом темах.

В годы перестройки в СССР имел хождение следующий анекдот. Молодая учительница приглашает на классный час дедушку одного из учеников, который во время Октябрьской революции охранял Смольный – штаб большевиков – и, таким образом, неоднократно видел Ленина. Старик, в течение десятилетий натренированный без запинки пересказывать официальную историю 1917 года, шпарит, как по учебнику. Разочарованная учительница, воодушевленная кампанией по заполнению «белых пятен» прошлого, тщетно ждет сенсационных откровений. Наконец, не выдержав, спрашивает старца:

– Скажите, пожалуйста, а Вы когда-нибудь видели Ленина в интимной обстановке?

– Конечно, видел.

– И в туалете его видели, например?

– Да, и не раз.

– Ну и как он, например, мочился?

– Да так же, как мы все... Только проще и человечней.

Рискованный анекдот иллюстрирует не только то, как индивидуальная память укладывается в ложе коллективных исторических образов, в данном случае – в официальное клише о «самом простом и человечном» Ленине, которым большевистская пропаганда, художественная литература и кино потчевали советских гражд-

дан с молодых ногтей. Это еще и история о бесчисленных публичных ветеранах-свидетелях славного советского прошлого, неизменных участниках коллективных мероприятий и церемоний, посвященных годовщинам Октябрьской революции и Великой Отечественной войны, различного уровня – от октябрятского в сельской школе до кремлевского в Москве. Помимо разве что для школьника неочевидных казенных деформаций и умолчаний «профессиональных» свидетелей, известный дефицит доверия к их парадным рассказам в последнее советское двадцатилетие между Хрущевым и Горбачевым был вызван еще одним уникальным обстоятельством.

В СССР периода хрущевской оттепели по инициативе высшего руководства начался короткий период публичного обсуждения связанных с именем Сталина «неудобных страниц» советского прошлого. Поскольку этот процесс грозил выйти из-под партийно-государственного цензурного контроля, а брежневское руководство было вынуждено выбираться из неловкой ситуации с невозможностью построить в Советском Союзе коммунизм к 1980 году, оно решило апеллировать не к «светлому будущему», а к вновь отретушированному «славному прошлому». Сложилась парадоксальная ситуация: официальная пропаганда славила советское былое без ГУЛАГа и насилия, но с мудрым полководцем Сталиным, а в домашних библиотеках (или в укромных уголках сараев, как в Горьком у Б. Я. Хазанова) стояли изданные огромными тиражами на рубеже 50-х – 60-х годов «Один день Ивана Денисовича» А. И. Солженицына и «Люди. Годы. Жизнь» И. Г. Эренбурга. Дедушки и бабушки по инерции продолжали рассказывать внукам свои семейные истории, о которых они молчали до смерти Сталина, оставив в неведении собственных детей – и эти истории были далеки от содержания школьных учебников. Официальная история, над которой потешались советские анекдоты, оказалась, таким образом, в большой опасности задолго до горбачевской перестройки, которая не могла легитимировать режим без безжалостной расправы с советским прошлым.

Российская «устная история» родилась в политизированном контексте перестройки.

«С конца 1980-х гг. скрываемые прежде репрезентации прошлого воспроизводились на публике, преподносились как альтернативные версии истории, создавая иллюзию открытия заново “настоящего” прошлого, которое (в силу того, что оно противоречило официальной истории, хранилось в тайне и было защищено от посторонних глаз) осталось якобы нетронутым вредоносным идеологическим и политическим воздействием. Некоторые из этих “открытий” и “спрятанных историй” впоследствии стали играть роль новых официальных исторических нарративов,

ОБОСНОВЫВАЮЩИХ, ИНОГДА ВЕСЬМА АГРЕССИВНО, СОЗДАНИЕ НОВЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ИНЫХ ИДЕНТИЧНОСТЕЙ» (Хмелевская Ю. Ю., 8).

Не удивительно, что первоначальный расцвет «устной истории» и триумф биографического интервью в «перестроечном» СССР и в ельцинской России были проникнуты духом наивного романтизма и некритичного доверия к устным свидетельствам в значительно большей степени, чем на Западе. Однако и российский вариант устной истории в целом переживает общую для этого направления динамику – движение от интереса к информации, не зафиксированной в письменных источниках, к постановке вопроса о том, как исторические события и процессы превращаются в личный опыт. В связи с такой постановкой проблем вопрос о правдивости воспоминаний оказывается второстепенным. Ценность устных свидетельств как источника по изучению мира человеческого восприятия и толкования, оказывается, мало зависит от того, в какой степени они «подлинны» или изобретены.

Несмотря на важные сдвиги в понимании международным историческим сообществом задач «устной истории» как исследовательского подхода, отношение историков к интервью остается сложным. Использование интервью, как и других носителей воспоминания, встречает среди них два рода критики. Эти позиции один из родоначальников немецкой «устной истории» Александер фон Плато обозначает как «Сцилла традиционалистов» и «Харибда поборников нынешнего дискурса» (Plato A. von, 7, 15), подчеркивая с помощью этих образов неуютное положение сторонников «устной истории» в Германии. Первая, наиболее распространенная скептическая позиция сводится к отказу от использования воспоминаний по причине их субъективности. За подобной претензией к интервью скрывается, как правило, принципиальное отрицание субъективности в истории. По мнению другой части исследователей, привлечение интервью вполне оправдано, но лишь в качестве своего рода современного моментального снимка, который кое-что сообщает об интервьюируемом в момент его рассказа, но не является свидетельством прошлой реальности.

Нужно отметить, что и среди энергичных поборников интервью как важного исторического источника овладение техникой работы со свидетельствами очевидцев протекало с серьезными сложностями. «Устная история» первоначально питалась восторженным доверием к содержащейся в интервью информации и демонстрировала дефицит критичности в отношении их достоверности. Показательно, что расшифрованные интервью сначала появились как иллюстрации к положениям, полученным исследователями на основе других источников, а не как самостоятельный источник для постановки вопросов о субъективной обработке исторического опы-

та. Другими словами, интервью должны были заткнуть информационные «дыры» и укрепить исследовательские гипотезы, будучи якобы весьма надежным источником.

Популярное в обыденном сознании доверие к свидетельствам очевидцев (еще бы: человек рассказывает о том, что лично видел и пережил!) в рамках западной Oral History постепенно уступило место более осторожным подходам. В настоящее время специалисты по «устной истории» исходят из тезиса, что память – чрезвычайно сложный и чувствительный инструмент, результаты работы которого с трудом поддаются надежной интерпретации. «...Память, – писал еще в начале 80-х годов один из пионеров “устной истории” Алессандро Портелли, – манипулирует фактическими деталями и хронологической последовательностью событий для выполнения трех своих основных функций» (Портелли А., 230): символической, психологической и формальной. Символическая функция состоит в превращении события в символ чьего-то опыта. Во имя психологического комфорта «динамика, причины и хронология происшествия трансформируются таким образом, чтобы исцелить чувство унижения и потери самоутверждения» (там же). Наконец, чтобы обеспечить выполнение вышеназванных задач биографической памяти, рассказчик нередко неосознанно сдвигает событие во времени, пересматривает и запутывает хронологию, чтобы скрыть этот сдвиг.

Тем не менее, современные специалисты по «устной истории» отрицают позицию, согласно которой интервью сообщает только о рассказчике в момент рассказа. При осознанном использовании ряда техник интервьюирования исследователю могут открыться сведения о культурной среде, мире переживаний и опыта интервьюируемого из того прошлого, о котором он повествует – причем и в том случае, когда его рассказ в значительной степени является измышлением.

Такая уверенность базируется на исходном убеждении, что индивид является носителем не только индивидуальной, но и культурной памяти:

«...СОВРЕМЕННОКИ – НЕ ТОЛЬКО СВИДЕТЕЛИ СВОЕГО, ПО-РАЗНОМУ УВИДЕННОГО И ПЕРЕЖИТОГО ТЕМ ИЛИ ИНЫМ ИНДИВИДУУМОМ СОБЫТИЯ, НО И ИМЕЮТ КОНКРЕТНОЕ АКТУАЛЬНОЕ ОКРУЖЕНИЕ, ОБЫЧНО НАЗЫВАЕМОЕ “КУЛЬТУРОЙ ВОСПОМИНАНИЯ”. ЭТО ОКРУЖЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВУЕТ НА ПЕРЕЖИТОЕ, СТРУКТУРИРУЕТ ЕГО ПРЕЗЕНТАЦИЮ, А ВОЗМОЖНО, И ВОСПОМИНАНИЕ, ПРИДАЕТ ЕМУ УБЕДИТЕЛЬНОСТЬ И ТЕПЛОТУ, ЗА ЧТО МНОГИЕ СВОИМ ПОВЕДЕНИЕМ ВЫРАЖАЮТ ОПРЕДЕЛЕННУЮ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ... КРОМЕ ТОГО, ВЕРБАЛИЗАЦИЯ ВОСПОМИНАНИЯ ПРОИСХОДИТ В ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНЫХ ЖАНРАХ, КОТОРЫЕ ПОСТАВЛЯЮТ, ТАК СКАЗАТЬ, НАДЫНДИВИДУАЛЬНЫЕ “ЛИТЕЙНЫЕ ФОРМЫ”. К НИМ ПРИНАДЛЕЖАТ СКАЗКИ И ЛЕГЕНДЫ, С КОТОРЫМИ МЫ ВЫРОСЛИ, НАША НАТРЕНИРОВАННОСТЬ В НАПИСАНИИ СОЧИНЕНИЙ С ВВЕДЕНИЕМ, СТРУКТУРОЙ И ВЫВОДОМ, А ТАКЖЕ



НАША МАНЕРА РАССКАЗЫВАТЬ АНЕКДОТЫ, ПРЕДСТАВЛЯТЬСЯ И ОПРАВДЫВАТЬСЯ БЕЗ ЧРЕЗМЕРНОЙ ПОХВАЛБЫ. ДАЖЕ МАНЕРА СОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ И НАПИСАНИЯ СТАТЕЙ ОРИЕНТИРУЮТСЯ НА СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ФОРМАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ» (ПЛАТО А. VON, 9).

Каждый индивидуальный свидетель, таким образом, – носитель культуры припоминания одного или, чаще, нескольких коллективов: семьи, поколения, профессиональной, этнической, гендерной, политической группы. Презентация воспоминаний, форма рассказа в значительной степени зависят от того, принадлежит ли опрашиваемый к социально успешному или неуспешному коллективу, активному или утратившему активность, к победителям или побежденным, преследователям или преследуемым.

Но, чтобы не утратить контроль над своей деятельностью, исследователь должен отдавать себе отчет, что и сам он принадлежит к определенному времени и поколению и наделен мировоззренческими ориентирами, влияющими на его постановку вопросов и интерпретацию. Причем его культурная среда, как правило, отлична от культурной среды, к которой принадлежит тот, кого он побуждает к рассказу. От него требуется предельная осторожность в организации и проведении интервью. Ему не следует забывать, что он и его «подопытный» объективно находятся в неравноправных отношениях: в отличие от интервьюируемого, исследователю ясны его задачи, в то время как рассказчик в известной мере является заложником направленных на него ожиданий. Словом, «поставить себя в один ряд с другими – хороший способ избежать суждения с привилегированной позиции: я лучше туземца знаю, кто он такой» (Козлова Н. Н., 17).

Эксперты в области интервьюирования разработали сложные классификации устных свидетельств и техник опросов. Различают такие методы сбора информации, как биографические интервью, осуществляемые в два-три сеанса общей продолжительностью от одного до восьми часов; семейное интервью – пересказ жизни родственников от лица рассказчика; событийные интервью, концентрирующиеся на одном событии; дневниковые и групповые интервью. Тщательно отработана – прежде всего, в США – юридическая и моральная сторона вопроса об использовании исследователем частных свидетельств, о приоритете исследовательской этики по отношению к научному интересу. Существуют принципы и стандарты технико-организационного обеспечения интервью, многообразные системы транскрипции рассказа, записанного на магнитную ленту или цифровой носитель.

Опытные интервьюеры полагают, что в конечном счете для исследователя гораздо большую роль, чем владение техникой интервью, играют его коммуникативные способности, умение на-



А. С. Пухальская и А. П. Хазанов. Москва, апрель 1938 г.



Москва, апрель 1998 г.  
*«История Баси Пухальской  
и Абрама Хазанова не под-  
тверждает расхожих макро-  
исторических стереотипов».*



Е. В. Попова. Около 1890 г.



И. Булгаков. 1899 г.



Сестры Агния (слева) и Лариса Булгаковы. Около 1896 г.  
«...Агния Ивановна Булгакова (1890–1975) происходила из семьи священника Станислава (Иоанна) Булгакова (1857–1903) и Елизаветы Поповой (1858–1944)».



С. Ю. Пухальский с отцом.  
Около 1890 г.  
«... Стефан Юзефович (Степан Осипович) Пухальский (1883–1921), родился в Варшаве, окончил престижную 1-ю Московскую гимназию и учился на юридических факультетах Варшавского и Московского университетов...»



Бася с матерью. Тверь, начало 1920-х гг.  
«Агния Пухальская росла в Твери, под присмотром бабушки и мамы, работавшей в школе».





Семья А. Гезенцвея. Гомель, начало 1900-х гг.

*«На фотографии начала XX века властный, хваткий Арон, с окладистой, седой, как у библейского праотца, бородой, изображен в окружении 17 прилично одетых членов его семьи – жены, детей и внуков от двух браков».*



П. Я. Хазанов.

Гомель, 25 сентября 1913 г.

*«В 1925 году П. Я. Хазанов с женой и родившимися в 1915–1919 годах тремя детьми переехал из Гомеля в Клинцы Брянской области».*



Ф. А. Гезенцвей.

Саратов, 1908 г.



Бася и Абрам в Ташкенте.  
8 мая 1945 г.



Бася с детьми (слева направо):  
Эльгой, Стефаном, Павлом.  
8 апреля 1947 г.  
*«Ташкент показался измученным  
беглецам раем».*



Мы с Ириной Гречухиной.  
Горький, лето 1961 г.  
*«Трехлетняя улыбчивая девчушка в комбинированном платье с белым, украшенным тесьмой верхом, в пестрых носочках и светлых сандаликах на по-детски кособоко поставленных ножках держит за руку серьезного двух-летнего малыша, который почти на голову ниже ее, в смешном летнем комбинезончике на голое тело и сандалиях на босу ногу».*



Горький, лето 1964 г. На Откосе  
с Павлом Хазановым.  
*«В ереванский период Хазановых я  
и познакомился с А. С. Пухальской и ее  
младшим сыном Павликом, когда они  
приезжали в Горький летом 1964 года».*



Ирина с Володей Гречухиным.



Семья В. Ф. Шереметьева.  
«На фотоснимке 1905 года, сделанном в фотографии З. Ясуда в Никольске-Уссурийском, запечатлена семья из семи человек».

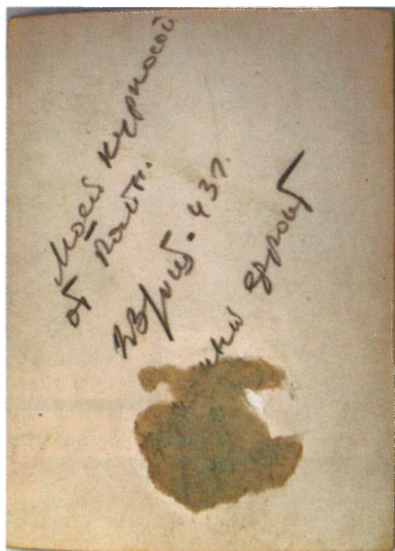


В. Ф. Шереметьев. 1910-е гг.  
«С одиночного, поленного в позе сидя, портрета... смотрит хорунжий Уссурийского казачьего войска...»



Слева направо: Мирон Баумфельд,  
Татьяна Шереметьева, Исай Рывкин.  
Конец 1920-х (?).  
«В одном из углов сохранился остаток  
посвящения: "Милой, слав..."»





И. Я. Рывкин. Южный фронт, август 1943 г.

*«В августе 1943 года он прислал дочери свою фотографию: красивый генерал в безупречно аккуратной форме и до блеска начищенных сапогах элегантно сидит, забросив ногу на ногу, в видавшем виды старинном кресле».*



Слева направо: Л. И. Рывкина, Б. Я. Хазанов,  
Т. Б. Хазанова. Горький, 1940-е гг.

*«Лора вспоминает об атмосфере тепла и любви в семье Н. Я. и Б. Я. Хазановых».*



В. А. Нарский, брат А. А. Нарского.  
«Информации о нем больше, чем об остальных братьях, поскольку он стал жертвой Большого террора».



А. А. Нарский. 1880-е гг.  
«На одном из фото в альбоме дочери он запечатлен примерно в двадцатипятилетнем возрасте в светской одежде и с бритым лицом».



Александр Нарский с отцом.  
Начало 1870-х гг.  
«Относительно надежные, хотя и отрывочные сведения берут начало с трех братьев Нарских – Александра, Владимира и Сергея, сыновей священника Алексея Нарского».



Н. В. Протопопова и А. А. Нарский.  
Около 1890 г.  
«Судя по фотопортрету, разница в их возрасте достигала восьми – десяти лет».

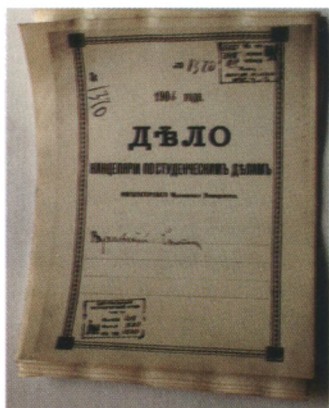


## Семейные реликвии

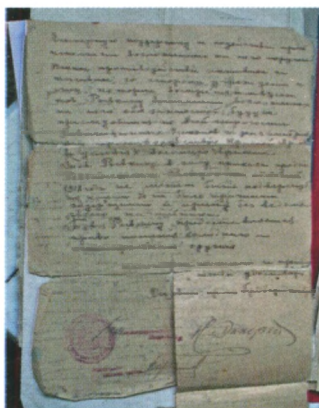


Рассказы-воспоминания А. И. Булгаковой.

«Семейные воспоминания живут благодаря общению с окружающими, и к окружению личности относятся не только люди. Предметы – мебель, объекты семейного обихода, книги, документы, подаренные когда-то милые, но бесполезные вещицы, фотографии – невозможно отделить от личности. Взаимодействие с ними так же важно для человека, как и коммуникация с другими людьми».



Фотокопия студенческого дела С. Ю. Пухальского.



Документы И. Я. Рывкина.



Свидетельство О. А. Нарской  
об окончании земского  
начального училища.



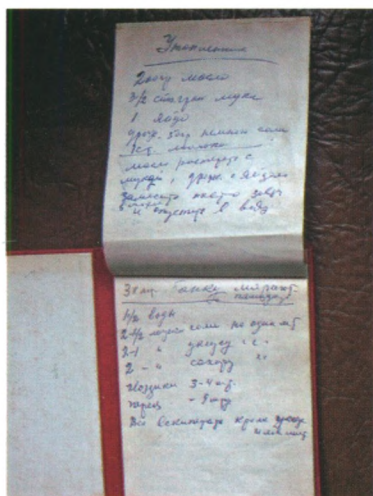
Папка с документами Б. Я. Хазанова.



Дореволюционный паспорт М. А. Нарской.



Термометр-замок  
Н. Я. и Б. Я. Хазановых.



Блокнот с рецептами  
Н. Я. Хазановой.



Буфет Н. Я. и Б. Я. Хазновых.



Корзинка Н. Я. Хазановой.

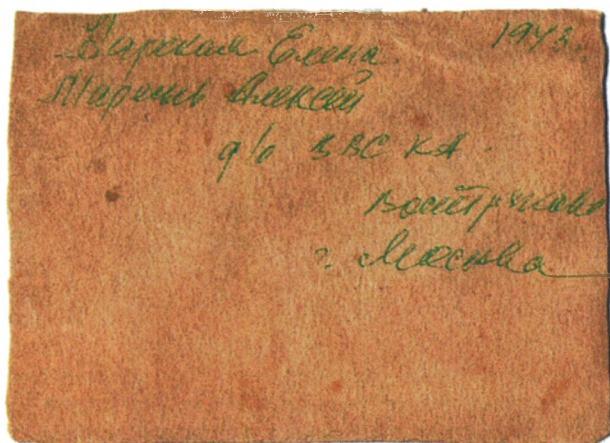


Вышивки Н. Я. Хазановой.





Фотография Е. А. Нарской с А. П. Маресьевым.



Фотоальбом М. А. Нарской. 1912 г.

ПУХАЛЬСКИЙ Стефан (1883-1921)  
и ПУХАЛЬСКАЯ (Булгакова) Агния (1890-1975)



1911 г



1912 г

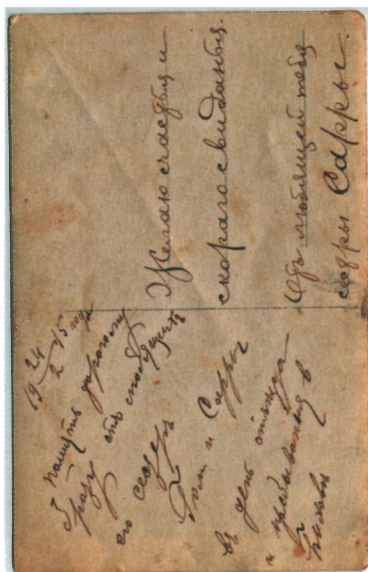


1913 г

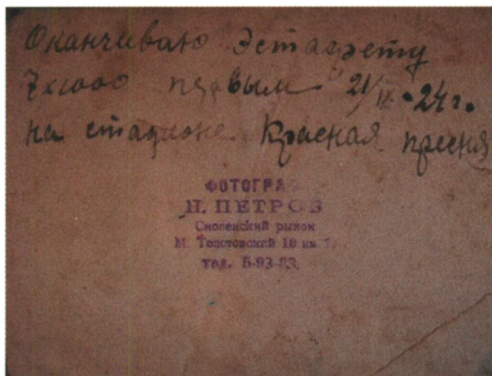
Страница из фотоальбома А. С. Пухальской.  
«Совокупное послание фотоальбома – хронологически  
выстроенный (авто)биографический рассказ о креп-  
кой семье, счастливом прошлом и успешной жизни».



Фотоальбом «Тамарина семья.  
Родственники», составленный  
М. Б. Корзухиной.



«Семейная коммуникация с помощью фото знает множество форм. Это и дарение фотографий и фотоальбомов на день рождения, свадьбу, рождение ребенка; и обмен фотографиями в качестве приложений к письмам или в виде самостоятельных посланий, снабженных посвящениями, поздравлениями и прочей информацией на обороте изображения, а также по случаю предстоящей долгой разлуки между близкими родственниками или любимыми».







20-го июля 8/1-46  
 Дорогая сестричка!  
 Это с фотографиями  
 твоими с отпуском  
 "Королевский".  
 Ты это поговори, как  
 мне всегда так  
 нравится. Но не забудь  
 на ту каторгу и тебе  
 нравится это никакая  
 жизнь счастливости все  
 в своем искусстве не  
 не забыть.  
 Милочка! Твою тебе  
 желаю ту каторгу  
 ну, как нравится о мо-  
 ей безделье на  
 поговори искусством



Дорогая сестричка!  
 Это с фотографиями  
 твоими с отпуском  
 "Королевский".  
 Ты это поговори, как  
 мне всегда так  
 нравится. Но не забудь  
 на ту каторгу и тебе  
 нравится это никакая  
 жизнь счастливости все  
 в своем искусстве не  
 не забыть.  
 Милочка! Твою тебе  
 желаю ту каторгу  
 ну, как нравится о мо-  
 ей безделье на  
 поговори искусством

Дорогой и любимый  
сестре Елизавете, жене  
и родственнице Евгения  
сына Сергея и матери  
Евгения в родном  
и любимом городе  
так же как и в  
и во всем мире и  
любимой и родной  
матери.

Петербург.  
16.3.54.



За память дорогой  
жене от сына  
16.3.1954.





На долгую память  
дорогой и любимой внучке  
Танечке. Вышла в школу  
Зеленки и Бабушки  
Б. А. и Н. Я. Сазоновы.  
14 августа 1963 г.  
11083



Мои дорогие мамочка  
и папочка!  
Мои милые молодцы!  
(деу кавачек)  
Поздравляю вас с вашими  
огромнейшими юбилеями.  
Желаю здоровья, бодрости,  
отличной настроенности  
Будете такими же  
крепкими и счастливыми,  
как 8-день  
"серебряной" свадьбы  
Мамочко,  
Заша Катюшка  
1/21.702

## «Руины» детского пространства

«...мир, каким видел его конкретный человек в детстве, – принципиально неповторим и неповторим. В этом кроется грустная причина того, почему, став взрослым и вернувшись в места своего детства, человек чувствует, что все – *не то*, даже если внешне все осталось как было».



Т. Н. Кузнецова и Н. Н. Хсиво на улице Минина у входа во двор дома номер 19а. 4 августа 2006 г.



Н. Н. Хсиво у главной клумбы двора на Минина, 19а. Лето 2002 г.



Бывшие конюшни В. Я. Башкирова, ныне Выставочный центр. Январь 2004 г.



**Бывший кинотеатр  
им. Минина, ныне  
ночной клуб  
«Рокко».**  
3 августа 2006 г.



**Вход на улицу  
Минина с площади  
Минина  
и Пожарского.**  
3 августа 2006 г.



**Остов здания на  
улице Минина,  
в котором летом  
1971 г. временно  
проживал  
В. П. Серебряков.**  
4 августа 2006 г.



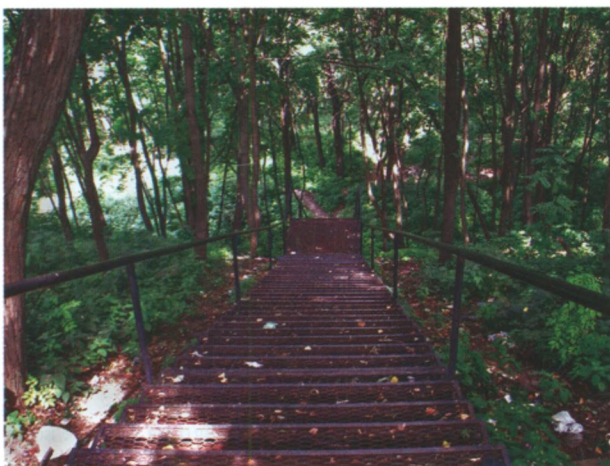
Бывший игорный  
дом А. И. Троицкого,  
ныне – департамент культуры.  
4 августа 2006 г.



Пни старых тополей  
на Верхне-Волжской  
набережной.  
3 августа 2006 г.



Спуск с Верхне-  
Волжской набе-  
режной к Волге.  
3 августа 2006 г.





Бывшая «Фотография № 1», ныне магазин «Столичная обувь». 9 декабря 2006 г.



Дом с двумя эркерами, принадлежавший торговой фирме Фроловых, напротив входа на Мытный рынок и бывшей «Фотографии № 1». 3 августа 2006 г.



Вход в бывшую «Фотографию № 1». 4 августа 2006 г.

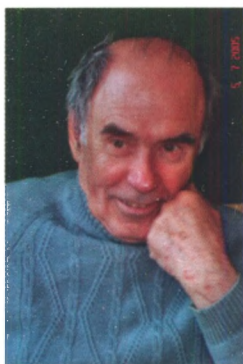


Фонтан «Аист» во дворе дома номер 139 на улице Свободы. Челябинск, 20 февраля 2008 г.

## Мои рассказчики 2005–2007 гг.

и первые читатели 2007–2008 гг.

«...если это и памятник, то всем тем, кто выступает героями этой книги. Помимо прочего, без их помощи, благожелательного отношения, внимания, заинтересованности, открытости и терпения ее бы не было».



В. П. Нарский



Т. Б. Нарская (Хазанова)



А. С. Пухальская



М. Б. Корзухина (Хазанова)



Т. Н. Кузнецова  
(Корзухина)



В. В. и Н. Н. Гречухины





**Л. И. Иванова (Рывкина)**



**И. В. Кузнецов**



**В. В. Демина (Кузнецова)**



**В. П. Кузнецова (Нарская)**



**Е. А. (справа) и Л. Б. Нарские**



**Е. В. Нарская**



**Н. Н. Хсиво (Корзухина)**



**М. М. Хорев**



**И. Ф. Бородаенко**



**Э. А. Хазанова**



**Ф. А. Маргалер**



**Ю. Р. Немировский**





**И. А. Федоров**



**В. Е. Бойцов**



**С. В. Мотовилов**



**Л. Л. Конирина и А. Ю. Данилов**



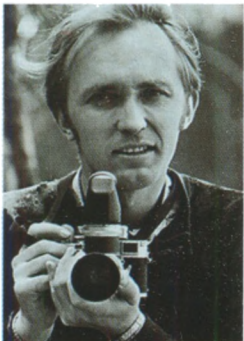
**Ю. Ю. Хмельевская**



**Е. В. Погосян (Носаева)**



**Б. И. Ровный**



**Д. Г. Графов**

лаживать контакт с людьми, заинтересованно слушать, своевременно молчать и говорить. Вместо множества вопросов и директивных вмешательств, которые могут пресечь воспоминание, ученый должен демонстрировать рассказчику свое активное внимание, интерес, сопереживание.

Судя по всему, память по разным причинам «шлифует» пережитое с помощью социально принятых ограничений, которые, однако, могут быть более или менее успешно нейтрализованы. Забытая или вытесненная информация может быть активирована и озвучена, если исследователь-интервьюер провоцирует сеть описаний, привлекая различные контексты, в которые рассказчик может поместить свое прошлое. Например, память о запахах или эмоциях, о каком-то важном для интервьюируемого дне его жизни – первом дне учебы, встрече или расставании с любимым человеком и т. д. – может активировать другие воспоминания. Причем корректно сформулированный и вовремя заданный вопрос может выявить представления опрашиваемого о прошлом не на момент рассказа, а более ранние, одновременные описываемым событиям. (Строго говоря, такую работу по стимуляции собственных воспоминаний может организовать и мемуарист.)

Таким образом, искусство интервью состоит в том, чтобы не рассматривать изолированно то или иное прошедшее событие, а с помощью различных подходов вызвать в памяти интервьюента такое состояние, когда различные эпизоды прошлого, подобно цепной реакции, начинают активировать друг друга. Исследователь должен нащупать сеть различных «памятей» человека, образующих, если воспользоваться терминологией А. Портелли, «горизонтальную» и «вертикальную» структуры.

«Датировать событие – значит разбить непрерывную временную протяженность на последовательность дискретных событий, сгруппированных по периодам вокруг определенных ключевых фактов (“до войны”, “после того как я женился”). Эта “горизонтальная” разбивка, в свою очередь, зависит от “вертикальной” организации памяти: разного рода события происходят одновременно в любой данный момент и построение хронологической схемы предполагает определенный отбор из ряда одномоментных событий. Большинство рассказчиков пытаются придать единство своему повествованию, придерживаясь одного, относительно последовательного принципа отбора: из сферы политики, жизни своей окружи, своей личной жизни. Каждый такой принцип, или “режим” памяти, соотносится с определенным пространством – своей страны или всего мира, своего города, своей семьи. Конечно, ни одно повествование не является строго последовательным. В то же время одно и то же событие может быть помещено

СРАЗУ В НЕСКОЛЬКО ТАКИХ “РЕЖИМОВ”. Однако соотнесение между собой события и его значения обычно происходит путем “привязки” этого события к сплетению многих последовательных и одновременных событий – эта “привязка” осуществляется с помощью определенных нарративных конструкций, или “режимов памяти» (Портелли А., 224).

Современные исследователи практикуют различные виды интервью, различая их по степени формализованности и глубины, организованности и направленности, характеру вопросов и уровню активности интервьюера. Учитывая сложности функционирования индивидуальной памяти, теоретики и практики «устной истории» рекомендуют следовать определенным «правилам безопасности», чтобы не прервать воспоминаний и понять мир рассказчика, не разрушая его «вертикальных» и «горизонтальных» мемориальных построений. Так, Л. Нитхаммер очерчивает четыре идеально-типические фазы биографического интервью, претендующего на успех. Первая, так называемая свободная часть должна вызвать рассказчика на вольное повествование о собственной жизни. На этом этапе вмешательство интервьюера противопоказано. Историка не следует игнорировать эту фазу даже в том случае, если его интерес ограничен отдельными сюжетами. «Экспертные» интервью, практиковавшиеся на заре «устной истории», представляли собой опрос на конкретную тему и плохо себя зарекомендовали: их результаты были неудовлетворительны и сеяли недоверие к субъективности интервью. Свободный биографический рассказ представляется источником значительно более богатым, чем опрос. Он отличается самостоятельностью изложения, и внимательный исследователь на этой фазе работы может установить, как рассказчик конструирует биографию, отбирает факты, расставляет акценты.


Во второй фазе интервью историка следует вернуться к затронутым, но не исчерпанным темам, задать вопросы о том, что осталось неясным. Лишь на третьем этапе рекомендуется приступать к расспросу по заранее заготовленному плану. В качестве четвертого, факультативного звена интервью Л. Нитхаммер предлагает «дискуссию» с опрашиваемым по тем пунктам, в которых позиции интервьюера и интервьюента не совпадают.

Наряду с минимизацией давления на опрашиваемого эксперты исторического интервьюирования советуют не задавать вопросов об оценках и датировках отдельных событий. Напротив, желательно стимулировать «незначительные» рассказы, истории, описания людей, будней, важных для интервьюируемого дней. Исследователю не стоит прерывать рассказчика, если он повторяет одну и ту же историю: повторение – сигнал об ее успехе у публики, оно позволяет выявить и прежнюю публику, и более ранние версии этой истории.

Кроме того, во время интервью полезно использовать другие свидетельства – личные документы, письма и, не в последнюю очередь, фотоальбомы, – активизирующие процесс припоминания. В общем, хорошее интервью основывается на терпении, интересе, бережном отношении к рассказчику и рассказываемому, искусном комбинировании различных техник стимулирования воспоминаний.

От первоначального воодушевления по поводу возможностей Oral History ее приверженцы по мере приобретения практического опыта и выработки теоретического инструментария перешли на более взвешенные позиции. «Устная история» сама по себе не сулит более глубокого исторического познания и создает новые проблемы, которые должен преодолевать историк. Ему следует осознавать неравноправность диалога с опрашиваемым и задаваться вопросом о различиях между ним и его визави. Он останется в выигрыше, если будет учитывать, что люди (в том числе и он сам) рассказывают биографию, пользуясь общественно заданными конструкциями припоминания и изложения, и, следовательно, обращать внимание на форму рассказа. Исследователь не может выпускать из вида сложный вопрос о взаимовлияниях социальной структуры и личности: макро- и микроистория порознь остаются недостаточными. Проблемы, с которыми столкнулись поборники «устной истории», относятся не только к интервью, но и ко всему комплексу эго-документов, в том числе к биографии и автобиографии.

## Швейцарские встречи

 Общение с коллегами, старыми и новыми знакомыми и друзьями в Швейцарии было для меня бесценным подарком. Гостеприимство не отличалось нарочитостью или навязчивостью, но было тактичным и сердечным. Отношения с сотрудниками и студентами Исторического семинара не только содержательно, но и по форме, с легким переходом на «ты», показались мне более теплыми и «домашними», чем в России или Германии. Когда, например, местная профессура пригласила меня на ужин, мне нужно было просто зайти в назначенный час в кабинет, где еще в полном разгаре было рабочее заседание. Его тут же прервали, чтобы коллеги могли мне представиться. Для того, чтобы вообразить себе нечто подобное в немецком или российском университете, не хватит фантазии.

Теснее всего я общался с Йорном Хаппелем, который взял на себя неофициальную миссию всячески содействовать мне в течение месяцев жизни в Базеле. Помимо шутливой соревнования в количестве написанных страниц, Йорн помогал мне, в том числе в затруднительных ситуациях – например, во время истории с получением визы в Германию – и в бытовых вопросах, и в скрашива-

нии моего досуга. Мы несколько раз встречались с ним «попить пива» в «бювете» на Рейне и в других подобных заведениях. (Как и положено специалисту по русской истории, подолгу работавшему в России, Йорн в состоянии выдержать убийственные дозы алкоголя.) Пару раз к нам присоединялся профессор всеобщей истории и последовательный эпикуреец Томас Мергель. Это были не заурядные пьянки, а остроумные доверительные беседы на всевозможные темы – от науки и политики до женщин и любви. А уж как Йорн, этот молодой рослый немец с крупными правильными чертами лица и светлыми глазами с прищуром, играл бровями, общаясь с красивой женщиной – меня завидки брали. Мы с ним легко сошлись во мнении, что из перспективы исторического актера лучшая пора при любом режиме – это время, когда молод и влюблен.

Дважды, в мае и июне, мы подолгу сидели в ресторанах с Хайко Хауманном, заведующим кафедрой восточно-европейской истории. Небольшой, астенический, улыбчивый немец из Шварцвальда с южным типом лица, которое могло бы принадлежать европейскому еврею, Хайко внимательно выслушивал мои возбужденные рассказы о работе над рукописью и с одобрением поддерживал мои исследовательские приоритеты. Наши подходы к истории близки: нас обоих интересует история из перспективы действующих лиц, повседневность, «обычный» человек в истории, микросюжеты, мимо которых большинство историков, как правило, проходит. В ответ Хайко не только с удовольствием делился личными исследовательскими планами, но и рассказывал мне свою семейную историю. Как я заметил, мой проект у многих вызывает именно такую реакцию: он «заразителен» и рождает в собеседнике желание «примерить» его на себя. Помимо прочего, Хайко, общепризнанный специалист по истории восточно-европейского еврейства, помог мне идентифицировать обрывки песен, с которыми в детстве меня знакомил Б. Я. Хазанов. Хайко свел меня с преподавательницей идиша Астрид Штарк, которая привела мою транскрипцию услышанного в детстве в божеский вид. Я был рад и горд собой, что воспроизведенные мною строчки из дедушкиных песен на слух принципиально не отличались от оригинала. А. Штарк отослала меня к четырехтомной «Антологии еврейских песен», где я обнаружил почти все, что искал. Более того, в этом собрании песен я случайно нашел колыбельную, которую горьковская бабушка пела мне перед сном, наверное, в самом раннем детстве. Эта неожиданная «встреча» с собственным ранним детством эмоционально потрясла меня.

Я делил рабочий кабинет с Кармен Шайде и Шелли Берловиц. Кармен бывала в Базеле наездами. Мы давно знакомы, работали над общими проектами и встречались не только в Базеле, но и в Берлине, Челябинске. В Базеле она каждый раз выражала радостное

изумление темпами роста моей рукописи, чем придавала мне силы не сбавлять обороты. У нее я мог без проволочек получить координаты нужных мне исследователей – необходимая информация тут же, как по волшебству, падала в мой почтовый ящик. С Шелли я виделся, пожалуй, чаще, чем с остальными коллегами. Вряд ли она представляет себе, как важны были в моем добровольном отшельничестве обычные бытовые разговоры – о погоде, работе и отдыхе.

На последнем месяце жизни в Базеле я сдружился с Юлией Рихерс, с которой познакомился здесь же в 2001 году, одновременно с Кармен. Юлии понадобился совет по поводу ее нового проекта о космосе в СССР, к которому ей посчастливилось собрать невероятную коллекцию плакатов и фотографий. Среди фото космонавтов, которые она мне показывала, есть и те, что подверглись цензурным исправлениям или вообще были «выбракованы» цензурой. Я впервые увидел Юрия Гагарина рядом с подаренным ему роскошным спортивным автомобилем; Гагарина в плавках мне лицезреть не посчастливилось, но Юлия обещала выслать редкий снимок электронной почтой.

Естественно, разговор с ее проекта плавно перешел на другие темы, включая семейные истории. Физиономически Юлия мне всегда представлялась стопроцентной швейцаркой: изящная, светловолосая, с овальным личиком и прямым вздернутым носиком. Мое доверие стереотипу было жестоко посрамлено: она оказалась дочерью полунемца-полуангличанина и рожденной в Риге русской с корнями из Одессы. Я получал наслаждение от ее легкой манеры общения и тонкого чувства юмора.

В гости в Базеле я почти не ходил, так как большинство университетских коллег жило в других городах и даже за пределами Швейцарии. Впервые в приватной обстановке я общался в середине мая дома у славистки Андреи Цинк, с которой за полгода до этого начал переписываться о возможном совместном проекте, и ее мужа, математика Кристофа Вебера. Оба подолгу жили в России, поэтому разговор шел то по-русски, то по-немецки. После общего знакомства, разговоров о текущих и будущих проектах беседа плавно переключилась на их собственные семейные истории, в том числе связанные с русским пленом. Кристоф рассказал историю, очень похожую на бережно хранимые мною обрывки дедушкиных песен. Брат его бабушки по отцовской линии, как и отец Андреи, был в советском плену. Когда после возвращения близкие просили дядю Георга произнести по-русски что-нибудь совсем неприличное, он декламировал стишок (или куплет?), старательно грохоча раскатистым русским «р»:

Бары-шня, бары-шня,  
Как тебе жвачь?  
Какая ты красивая,  
Е...т твою мать.

Бабушка, не зная смысла слов, передала их сыну (дядя Георг умер, когда племяннику было лет пятнадцать), сын – своим детям. Кристоф узнал о содержании стишка много позже, приехав в Москву. Там его знакомые без труда расшифровали текст, несмотря на то, что студент из ФРГ был четвертым по счету носителем неизвестной ему информации.

Эта история заставила меня еще раз критически посмотреть на тезис П. Бурдые, согласно которому фотография как никакой другой феномен содействует интеграции семьи. Очевидно, целостность группы родственников можно поддерживать каким угодно артефактом, даже стихом с загадочным смыслом. И еще мне подумалось: насколько все-таки мал и взаимосвязан наш мир. Мой дедушка, Б. Я. Хазанов, любил и часто пел мне городской романс начала XX века «Крутится, вертится шар голубой», в котором тоже фигурировала «барышня». Может быть, стих двоюродного деда Кристофа – это дополнительная, секретная, мужская часть этих куплетов? Может быть, он был известен моему деду, но не передавался мне из педагогических соображений? Может быть, Б. Я. Хазанов знал песню, которую речитативом произносил солдат армии, убившей его брата и сестру?

Поскольку дорога в Германию была мне заказана, меня навещали мои немецкие друзья. В июне на пару дней из Бохума приехали Урзель и Руди Ворбс. Я всегда с удовольствием провожу время в их компании, раскрепощенной, веселой и очень надежной. В середине июля меня навестил самый давний немецкий друг Бернд Кесслер с женой Анеттой. Берндта, огромного немногословного тюрингца, сокрушавшегося по поводу тесноты швейцарского 60-го размера одежды, я знаю более четверти века, еще с советских времен, когда он сопровождал тургруппу, в которой я был переводчиком. Диалект, на котором он изъясняется, до сих пор представляет для меня большую проблему.

Приезды Ворбсов и Кесслеров были для меня чудесной эмоциональной разрядкой, позволившей на несколько дней полностью отключиться от проекта. Это было путешествие в иные времена, чем представляемые в рукописи, – в 80–90-е годы, в совместные приключения в Германии и России. Визиты друзей послужили поводом для многочасовых прогулок по Базелю, после которых хотелось упасть и уснуть, ни о чем не думая. После их отъезда становилось грустно, ощущение одиночества обострялось.

Но, пожалуй, самые веселые дни ждали меня в конце пребывания в Базеле, когда из Бохума приехала Беата Физелер, недавно получившая профессорское место в Дюссельдорфе. Мы познакомились пару лет назад на конференции в Тюбингене. Затем Беата приезжала в Челябинск для участия в нашей конференции «Опыт

мировых войн в истории России» и принимала меня с докладом на «фотографическую» тему в мой «берлинский период». Приезд милой, тонкой Беаты предоставил мне возможность отчасти избавиться от нараставшего ощущения собственного «варварства»: с ней мы выполнили напряженную «культурную программу», посетив наиболее интересные, хотя и не бесспорные, живописные экспозиции. Одна из них на два дня стала предметом наших недобрых шуток...

Заключительным аккордом пребывания Беаты в Базеле стал «девичник» у Юлии Рихерс, у которой останавливалась Беата. Юлия, Кармен и Беата милостиво допустили на него мужа Юлии и меня. Сообразно поводу Михи был украшен цветком в петличке, я обрядился в женскую блузку и бусы. Этот вечер мне запомнился как один из самых веселых и непринужденных за последние годы.

Помимо запланированных встреч в Базеле бывали и случайные знакомства. В городе, где треть жителей – приезжие, трудно ощущать себя совсем чужим: люди вступают в контакт на улице легко и непринужденно. В конце июня возле своего дома я разговорился с прохожей – крашеной блондинкой с дочкой лет четырех и крошечной собачонкой. Лена из Киева живет в Базеле вот уже шесть лет. Ей здесь не нравится: ее два высших образования, включая юридическое, не признаются, и она вынуждена сидеть без работы. Лена попала в ловушку, типичную на постсоветских просторах: с нею сыграл злую шутку миф о том, что нас на Западе кто-то ждет. И ее реакция тоже показалась мне типичной – ждать и жаловаться в кругу «соотечественников» вместо того, чтобы действовать. В конце концов, за шесть лет можно было получить местное университетское образование, как в 80-х годах не поленилась сделать моя «репетитор» по немецкому языку Флора Марталер...

А двумя днями раньше, 25 июня 2007 года, состоялась другая случайная встреча, вылившаяся в длительное музыкальное переживание, не отпускавшее меня до конца жизни в Базеле. Поздним вечером мы с Хайко Хауманном вышли из симпатичного ресторанчика с местной кухней близ Рыночной площади. Было темно, накрапывал дождь. На трамвайной остановке напротив ренессансной ратуши Хайко заметил: «Да тут целый концерт!» Действительно, с противоположной стороны площади раздавались пронзительные звуки «Либер-танго» А. Пьяцоллы. Хайко уехал. Двигаясь через площадь на звуки танго, я, судя по исполнительской экспрессии, почти точно знал, что слышу музыкантов русской школы.

В освещенной нише близ ратуши расположилось трио: два баяниста и контрабасист. Перед ними пританцовывает не очень трезвая дама лет 55, рядом стоят ее спутница и миниатюрный брюнет с южной внешностью. Музыка смолкает, музыканты перебрасываются с публикой фразами на немецком и французском с откры-



тым славянским произношением. «Спасибо, ребята!» – приветствую я их по-русски, опуская купюру в стоящую рядом сумку. «Ребята» оживляются. Познакомились. Контрабасист Виталий живет в Базеле, Геннадий и Виктор часто бывают наездами. «Откуда вы?» – «Из района Саратова, Пензы, Тамбова, знаете?» – отвечает коренастый крупнолицый Геннадий. В честь «русского» слушателя долговязый, несколько нескладный Виктор исполняет «Ой да не вечер» – песню, которая почему-то считается излюбленной среди русских эмигрантов. Подпеваю. Подвыпившая швейцарка радуется, что музыканты – славяне; она доверительно сообщает, что ее отец – чех. «Ну, еще одно танго!» – просит она. «Ребята» вдохновенно исполняют драматичное танго Пьяцоллы «Смерть ангела». «Южанин» подыгрывает им мимикой, в умилении качает головой, шепчет: «С ума сойти! Что они вытворяют!» Подходят две русские девчонки, знакомые музыкантов. «Южанин» Даниэль, менеджер из близлежащего кафе «Зингерхауз», утаскивает туда «заводных» Геннадия и Виктора, чтобы договориться с ними о концерте в его заведении, Виталий и я отправляемся по домам. На прощание я беру у музыкантов номер телефона, по которому смогу их найти. Мы договариваемся посидеть в неизвестной мне пивной с собственной пивоварней и «бесподобным», по оценке Геннадия, пивом. «Посидим за мужским разговором», – радуется Гена.

Мне не удалось до них дозвониться, но я несколько раз встречал их в центре Базеля. Действительно, освободить пару часов для встречи, к сожалению, было трудно: то они уезжали на концерт, то я был занят работой. Но нашу не случившуюся встречу я без труда могу себе представить...

Мы сидим в «Фишерштубе» в Утенгассе, на правобережной стороне Базеля, неподалеку от Среднего моста. Длинный, разделенный на две половины зал завершается стеклянной стеной, за которой виднеются четыре пивных чана. Здесь изготавливается действительно очень хорошее пиво «Ueli». Мы пробуем все сорта: сладковатое «Dunkel», довольно банальное «Lager», терпкое «Spezial», ядреное дрожжевое «Weizen». Останавливаемся на «специальном». Разговор, по русской традиции, перепрыгивает с темы на тему с логикой, непостижимой для западного собеседника. Как обычно, музыканты не очень охотно клюют на профессиональные темы. Они вежливо расспрашивают меня об обстоятельствах, приведших меня в Базель. Моложе меня лет на 10–12, они успели пройти через «советское детство», воспоминаниями о котором охотно делятся. После третьей кружки, которую мы получаем часа через полтора после начала встречи (официант обслуживает нас неприлично медленно), темы становятся более фривольными, начинается обмен рискованными анекдотцами: о музыкантах, евреях, немцах. Политических почти нет – в России слишком скучная политика. Конечно же, речь

заходит и о России, и о женщинах. Пиво сменяют более крепкие напитки: поднимать тосты пивом за объекты наших разговоров просто смешно. Мы расстаемся добрыми друзьями, в убеждении, что непременно еще где-нибудь увидимся. Прощальные рукопожатия спонтанно переходят в объятия, а может, и в лобызания – в зависимости от количества выпитого. А «Либер-танго» – это правда – я буду про себя мурлыкать до конца пребывания в Базеле.

Если путь в Германию и Францию был для меня закрыт, то для перемещений по Швейцарии было лишь одно препятствие – бедня за рабочим столом, занимавшие основную часть времени. Трижды в течение мая – июня я ездил в Берн. Там меня каждый раз подхватывал старый знакомый Стиг Ферстер. Долгие вечера в Штеттлене, в гостеприимном доме Стига и его жены Алис, были насыщены инспирирующими разговорами об истории, в том числе российской, о возможных совместных исследовательских и издательских планах, о будущих встречах в Берне и Челябинске. Стиг живо рассказывал о собственном детстве, о тесте – румынском еврее, прошедшем годы Второй мировой войны в Сибири, среди советских политических ссыльнопоселенцев. Вдохновенно предаваясь воспоминаниям, он, по его словам, не стал бы их публиковать и не взялся бы за проект вроде моего. Такая работа потребовала бы стилистики, в которой он чувствует себя неуверенно. Это признание не мешало ему воздавать хвалу моей работе: советская семейная история, по его убеждению, – это микроистория того, что пережил народ, потерявший десятки миллионов сограждан.

В первый же приезд в Штеттлен я спросил маленькую, смуглую, ироничную Алис с внимательным взглядом и острым языком, как мне следует оценивать бурный поток ранее не всплывавших воспоминаний, навещающих меня теперь даже во сне. Будучи психиатром, Алис не верит в вещи сновидения. Ее материалистическое объяснение происходящего со мной не оставляло места мистике: сны не могут стимулировать воспоминания, но во сне, в процессе обработки того, чем занимался в течение дня, из подкорки может высвободиться имеющееся в наличии, но ранее не востребованное.

В мае и июле я навещал в деревушке Обердорф близ Золотурна, городка со столичным лоском и шестнадцатью тысячами жителей, мою давнюю знакомую Эрику ван Беммелен, изрядно вооруженную интеллектуально и культурно собеседницу. В ее доме, играя на фортепиано или любуясь грандиозным пейзажем с Альпами на горизонте, во время прогулок и увлекательных бесед я отдыхал от работы и черпал силы и наблюдения для ее продолжения. Помимо прочего, Эрика помогла мне облегчить тяжеловесный текст доклада о визуальных источниках (на который затем приехала в Базель – и осталась довольна), а также снабдила литературой о снах.

В начале июля, закончив вторую треть рукописи, я встретился в Цюрихе с бывшим руководителем Восточно-европейского семинара здешнего университета Карстеном Герке и его преемницей Надой Бошковски. Карстен выбрал для встречи подходящий интерьер. Мы сидим в бывшей кучерской харчевне, завсегдаем которой был В. И. Ленин. В двух шагах отсюда, в доме с мемориальной доской в честь «фюрера» русской революции и магазинчиком «Ага» на первом этаже, в витрине которого выставлен бюст Владимира Ильича, выкрашенный наполовину в красный, наполовину в зеленый цвет, расположена его же бывшая квартирка. Карстен – горячий сторонник моего проекта. Мои подходы он приветствует не только как профессиональный историк. Несколько лет назад он уговорил своего отца написать воспоминания, чтобы сохранить семейную историю своих родителей. О неожиданно насыщенных мемуарах отца он впервые рассказал мне еще в 2001 году. Может быть, беседа шестилетней давности подспудно послужила одним из импульсов для работы над моим автобиографическим проектом?..

В тот же серый, дождливый вечер в Цюрих специально для встречи со мной приехала с маленькой дочкой Эва Медер, бывшая сотрудница Карстена. Прогулка в парке и импровизированный китайский ужин под дождем в очередной раз сопровождались профессиональными разговорами. Честно говоря, я начинаю побаиваться: сведения о будущей книжке бегут впереди нее, рождая завышенные ожидания. Соответствовать им будет сложно. За неоправдавшимися читательскими ожиданиями неотвратимо следуют разочарования.

Незадолго до возвращения в Россию я осуществил давнее намерение съездить на юго-запад Швейцарии. Знакомые швейцарцы настаивали на необходимости посетить Люцерн: мол, кто не был в этом городке, не может утверждать, что бывал в Швейцарии. Но Люцерн, в который я ездил еще в начале 90-х, мало говорит русскому уху. Другое дело – Лозанна и Женева. Тем более что поездка через полстраны длится всего 2–2,5 часа. Мне давно хотелось там побывать, да и в письмах из Челябинска мне регулярно напоминали об этом намерении и о необходимости хоть чуть-чуть отдохнуть. А тут обнаружилось одно обстоятельство, облегчившее реализацию моего плана. Директор Франко-российского центра гуманитарных и общественных наук в Москве Валери Познер вызвалась «приютить» меня в Лозанне, если я соберусь приехать. Она не только предоставила мне ночлег, но и организовала напряженную «культурную программу». За прогулкой по старому городу в компании Валери и ее двенадцатилетнего сына Азата последовало посещение музея «сырого» искусства с экспозицией объектов – результатов творчества физически и психически нездоровых людей. Выставку «Collection de l'art brut» было бы полезно периодически посещать всем «нормальным» твор-

цам – художникам, писателям, ученым. Подобные экспозиции освежают взгляд на творчество и побуждают к большей скромности в оценке собственного творческого потенциала. Вечером последовала основательная поездка на пароходике по роскошному Женевскому озеру. Тихая, солнечная погода после нескольких пасмурных дней, чудесные пейзажи со знаменитыми видами и объектами – Шильонским замком, гостиницей в Монтре, в которой жил Владимир Набоков, – все это завораживало и умиротворяло.

А вечером мы долго сидели за бутылочкой доброго «Кот дю Рона». Валери – смею надеяться, отчасти под впечатлением от моего проекта – рассказывала о собственной семейной истории. Изящный русский язык Валери, к моему изумлению, не является ее родным. Эмигранты из России, принадлежавшие к образованной, либеральной элите, Познеры говорили дома по-французски, по-английски, по-немецки. Валери поздно узнала о своих корнях. Место России в истории семьи от нее тщательно скрывали. Узнав о семейном прошлом, она решила не повторять ошибку родителей: занялась изучением русской истории и культуры, виртуозно овладела русским языком и передала его детям.

Ее квартира в Париже наполнена семейными реликвиями – книгами и предметами, принадлежавшими деду, проживавшему во французской столице с 1903 года литератору и общественному деятелю Соломону Владимировичу, и отцу, историку Георгию Соломоновичу Познеру. Переписка деда с О. О. Грузенбергом и П. Н. Милюковым, М. Горьким и М. М. Винавером передана во французские и израильские архивохранилища. Во временном лозаннском пристанище на стене гостиной висит акварельный рисунок, подаренный в сентябре 1927 года на день рождения отцу Валери известным художником «серебряного века» М. Ф. Ларионовым.

Валери провожает меня в Женеву. Мы сидим в старинном вокзальном кафе. Расстаемся ненадолго: через два месяца увидимся в Челябинске. Мир – совсем маленький. Интересно, узнает ли меня Валери? Или к тому времени мой проект изменит меня до неузнаваемости? К моменту нашей встречи в Челябинске я надеялся вчерне закончить работу над первым вариантом манускрипта.

## Исай Рывкин



При взгляде из микроперспективы семейной истории дают сбои и антисемитский тезис о евреях как «хозяевах жизни» в СССР, и юдофильская версия судьбы советских евреев как непрерывной череды страданий и невзгод. Об этом свидетельствует еще одна история – история родного брата моей горьковской бабушки Н. Я. Хазановой, Исаея Яковлевича Рывкина (1901–1970). Сохранилась его от-

печатанная на машинке автобиография, составленная в марте 1943 года и заслуживающая дословного воспроизведения.

#### **АВТОБИОГРАФИЯ**

**ЗАМЕСТИТЕЛЯ КОМАНДУЮЩЕГО 44 АРМИИ ПО ТЫЛУ**

**ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА и/с РЫВКИНА ИСАКА (ТАК В ТЕКСТЕ – И. Н.)**

**ЯКОВЛЕВИЧА**

Родился в 1901 году 14 февраля, в местечке Городцы, Гомельской области. Отец работал в лесной промышленности служащим. Вскоре после моего рождения отец умер. Через три-четыре года мать вторично вышла замуж и переехала на постоянное местожительство в г. Гомель. Отчим /фамилия Лазарев/ в то время работал контролером в местном пароходстве и вскоре по состоянию здоровья должен был от работы отказаться. Дальнейшее существование свое родители построили на отпуске домашних обедов на сторону.

Шести лет меня отдали учиться в еврейскую школу, где проучился неполных три года, затем учился в городском училище, не закончил его и в силу тяжелого материального положения семьи тринадцати лет ушел на заработки.

До октября 1917 года работал в гор. Гомеле в кожевенно-заготовочных мастерских – учеником, а затем – рабочим. В ноябре 1917 года уехал в гор. Казань, поступил работать на кожевенный завод Глинкина и по закрытии этого завода работал в мелких кожевенно-заготовочных мастерских до августа 1919 года. После этого Казанским Городским Комитетом ВЛКСМ был направлен на работу в Казанский Губпродком, последним послан уполномоченным в Ерыкминскую волость, Чистопольского уезда, где работал до апреля 1920 года.

В апреле 1920 года мобилизован Чистопольским Уездным Военкоматом и направлен в 13 запасный полк, гор. Казань, красноармейцем, а через некоторое время был назначен политруком роты в том же полку. В июне в составе дивизионной школы 13 стрелковой дивизии, где я был политруком одной из рот этой школы, убыл в район Себеж, затем в Ленинград, а в сентябре с дивизией убыл на Южный фронт. По расформировании 13 дивизии, в октябре – ноябре 1920 года, школа была передана сводной Заволжской дивизии, где в декабре 1920 года я был отозван в штаб дивизии и назначен врид. предпродкомдива /старый опродкомдив оказался отозванным от дивизии/, а в феврале – марте получил назначение предпродкома артдивизиона и дивизионной школы, затем – уполномоченным Упроддива.

С апреля 1921 года по апрель 1922 года занимал должность Предпродкома 22 Заволжского полка сводной Заволжской дивизии. В апреле 1922 года был откомандирован на Дальний Восток в НРА, где получил

НАЗНАЧЕНИЕ военкома заготовительного района /ст. Оловянная/ и в этой должности состоял до января 1923 года, затем отозван в Упродснаб 5-й армии, где до октября 1924 года занимал разные должности до помначпродотдела.

В октябре 1924 года по расформировании 5-й армии, по требованию штаба погранохраны ОГПУ был направлен в Инспекцию снабжения войск ОГПУ, где до июня 1926 года занимал должность инспектора по снабжению. По моему ходатайству в июне 1926 года был переведен в Закавказье на должность помначотряда по хозяйству, а в январе 1927 года назначен помощником командира 8-го полка ВОГПУ по хозяйству.

С августа 1929 года по октябрь 1930 года работал в отделе снабжения погранвойск ОГПУ Закавказья в должностях: инспектора, начальника отделения.

С октября 1930 года по октябрь 1942 года в войсках ОГПУ-НКВД работал на должностях:

Пом. нач-ка Инспекции снабжения войск ОГПУ /г. Москва/ с октября 1930 года по июнь 1931 года.

Пом. нач-ка Управления погранвойск ОГПУ Средне-Азиатского округа с июня 1931 по апрель 1933 года.

Начальником Орготделения, затем помощником начальника отдела снабжения войск ОГПУ-НКВД СССР /г. Москва/ с апреля 1933 по август 1936 года.

Заместителем начальника Управления /по снабжению/ войск НКВД Московского округа с августа 1936 по апрель 1938 г.

Заместителем нач-ка Управления /по снабжению/ погранвойск НКВД Украинского округа, а затем нач-ком Управления военного снабжения войск НКВД этого же округа с апреля 1938 по июнь 1941 года.

Начальником Управления военного снабжения войск НКВД Ленинградского округа с июня 1941 года по май 1942 года.

Начальником Управления военного снабжения войск НКВД Азербайджанского округа с июня 1942 по октябрь 1942 года.

По возвращении из Ленинграда и лечении в госпитале /операции/ возбудил ходатайство о направлении меня в действующую армию.

В октябре мое ходатайство было удовлетворено и я был назначен в 58 армию на должность Начальника Управления Тыла этой армии, а в начале декабря распоряжением Командующего Северной группы Закавказского фронта назначен на ту же должность в 44 армию, где и работаю по настоящее время.

Член ВКП (б) с июня 1920 года.

Имею одного брата и трех сестер. Брат все время жил и работал в гор. Гомеле в Полеспечатии /где он сейчас, сведений не имею/. Сестры все замужем. Одна сестра за военным. Вторая сестра живет в гор. Горьком, муж ее Хазанов Б. Я. работает в г. Горьком в промкомбинате

начальником финансового отдела. Третья сестра жила в гор. Гомеле /где сейчас, сведений не имею/, замужем за часовых дел мастером – Лазарев И. Г.

Отчим умер в 1921 году. Мать жива, до начала войны жила в г. Гомеле, по непроверенным данным, из Гомеля уехала, куда именно, установить мне не удалось.

Женился в 1925 году. Жена Татьяна Васильевна Шереметьева, рождения 1901 г., имею дочь 12 лет.

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР И/С – РЫВКИН

21 МАРТА 1943 ГОДА

ВЕРНО.

Ст. пом. Нач. 1 отдела УК ГУТ КА

МАЙОР И/С /КУРЕПИН/

23 АПРЕЛЯ 1943 ГОДА

Этот текст отражает впечатляющую, но отнюдь не редкую карьеру еврейского мальчика из бедной семьи. Среди «руководящих работников» НКВД середины 30-х годов этнические евреи были самой большой национальной группой.

«Двенадцать ключевых отделов и управлений НКВД, которые отвечали, среди прочего, за милицию, трудовые лагеря (ГУЛАГ), контрразведку, аресты, „наружное наблюдение“ и экономический саботаж, возглавлялись евреями (все они, за исключением двух, были выходцами из черты оседлости). А Народным комиссаром внутренних дел был Генрих Григорьевич (Енох Гершенович) Ягода» (Слезкин Ю., 286–287).

Успех советских евреев в «органах» не был, конечно, плодом «еврейского заговора». Он отражал радикальность бунта молодых евреев против старого мира.

Другие документы из архива И. Я. Рывкина подтверждают головокружительную успешность его служебной карьеры. В 1944 году он служил начальником тыла 10-й гвардейской армии, с осени того же года – заместителем командующего войсками, командующим тылом Северного фронта ПВО, переименованного в январе 1945 года в Западный фронт ПВО, в 1946 году – начальником управления военного снабжения МВД Львовского округа. В период с 1938 по 1943 год он был награжден юбилейной медалью «XX лет РККА», орденом «Знак Почета», двумя орденами Красной Звезды, орденом Красного Знамени, медалями «За оборону Ленинграда» и «За оборону Кавказа». Весной 1945 года его представили на награждение орденом Ленина, в июне того же года – орденом Отечественной войны I степени. В феврале 1945 года начальство Западного фронта ПВО ходатайствовало о присвоении И. Я. Рывкину очередного воинского звания – генерал-лейтенанта интендантской службы. По окончании войны он

был награжден орденом Ленина, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и рядом юбилейных медалей: «В память 800-летия Москвы», «Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «50 лет Вооруженных Сил СССР», «За воинскую доблесть. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина»; к 50-летию Октябрьской революции было приурочено его награждение медалью «За боевые заслуги».

Автобиографические и прочие личные свидетельства создают иллюзию документальной надежности и соблазняют на повышенное доверие. Особенности автобиографии как исторического источника заслуживают специального рассмотрения, что будет сделано в другом месте. Забегая вперед, ограничусь замечанием, что биографические свидетельства, как и другие эго-документы, являются продуктом отбора и конструирования. Их авторы отсеивают то, что считают второстепенным, следуя собственным представлениям об иерархии событий своей жизни и предполагаемым ожиданиям тех, для кого составляются эго-документы. Помимо прочего, из свидетельств автобиографического характера, как правило, изгоняется все, что может использоваться против автора.

Документы личного архива И. Я. Рывкина отражают специфику автобиографических свидетельств, требующую от исследователя осторожности, интерпретационных усилий и привлечения дополнительных данных. Так, уже первые строки его автобиографии способны вызвать настороженность. Помимо опечатки в имени («Исак» вместо «Исай») есть основания сомневаться в точности даты его рождения. Как уже отмечалось в другом месте, его сестра Н. Я. Хазанова (Ривкина), согласно ее признанию и данным свидетельства о браке, родилась не в ноябре 1901-го, как записано в ее паспорте, а годом ранее. В таком случае И. Я. Рывкин не мог родиться в феврале 1901-го. Наиболее убедительной версией, объясняющей манипуляции брата со своей датой рождения, представляется приращение им к своему возрасту одного года для раннего поступления на службу. В связи с этим, чтобы поддержать младшего брата, когда его карьера резко пошла вверх, Нина могла уменьшить на год свой возраст и превратиться в его младшую сестру. Впрочем, эта гипотеза остается открытой и не может быть ни подтверждена, ни опровергнута: участников этой истории нет в живых, их аутентичных документов начала XX века не сохранилось.

В личном листке (по учету кадров) И. Я. Рывкина, заполненном в апреле 1943 года, энергичное «нет» стоит напротив всех вопросов, положительный ответ на которые мог бы доставить неприятности ему и его близким. В том числе – по поводу родственников за границей и о службе родственников в белых армиях в годы Гражданской войны. Между тем, безупречность его ответов на эти вопросы



вовсе не очевидна. Важной частью семейной истории Исаея Рывкина, наложившей неизгладимый отпечаток на его жизнь, но почти не упомянутой – за ненадобностью – в его автобиографии, являлся «неравный», драматичный брак с дочерью казачьего атамана Татьяной Васильевной Шереметьевой (1901–1969).

На фотоснимке 1905 года, сделанном в фотографии З. Ясуда в Никольске-Уссурийском, запечатлена семья из семи человек: супружеская чета в возрасте около 35 лет и пятеро детей – три девочки и два мальчика от трех до пятнадцати лет от роду. Это семья Василия Филипповича Шереметьева (187?–1930?), атамана станицы Полтавка восточнее Благовещенска, на границе с Китаем. С одиночного, поколенного, в позе сидя, портрета, снятого примерно десятью годами позже, смотрит хорунжий Уссурийского казачьего войска, последнего на территории Российского империи созданного в конце XIX века. Широкоскулое энергичное лицо, лихо торчащие ухоженные усы, на груди – юбилейные награды, левая рука опирается на шашку, поставленную между ног наподобие посоха. В. Ф. Шереметьев, как и прочие российские подданные, и представить себе не мог, как круто переменится его жизнь всего через пару лет.

К революции 1917 года ему было далеко за 40. Едва ли ему, его родне и жителям его станицы пришлось по душе перемены в революционной России. Вряд ли им удалось удержаться в стороне от Гражданской войны, долетевшей и до Дальнего Востока. В отличие от других родственников, перебравшихся после победы Красной Армии в Харбин, а затем большей частью осевших в Австралии и США, он с семьей остался в России.

С начала 20-х годов В. Ф. Шереметьев и его близкие подвергались гонениям – советская власть видела в казачестве неприемлемого классового врага. Враждебность власти не ослабевала, надежды на «нормальное» будущее улетучивались. В 1928 году его сын от второго брака перешел китайскую границу и устроился бухгалтером на Китайско-Восточной железной дороге (КВЖД). Годом позже за ним, преследуемая конным пограничником, последовала и жена с двухмесячным младенцем на руках. Ее спас тонкий лед, остановивший погоню. От волнения она потеряла голос и полгода не могла говорить.

После окончания Второй мировой войны сын В. Ф. Шереметьева против своей воли вернулся в СССР – узником в Минусинский лагерь. Родителей к тому времени уже не было в живых: в 1929 году «лишенец» Василий Филиппович Шереметьев был раскулачен и сослан в Красноярский край. Там, в Канске, в течение года умерли он и его вторая жена.

Исаея Рывкин и Татьяна Шереметьева познакомились в Хабаровске в 1924 году (в автобиографии, в отличие от свидетельства о бра-

ке, значится 1925 год). Согласно свидетельству о браке Т. В. Шереметьева сохранила девичью фамилию. В 1931 году у них родилась дочь Лора.

Мы сидим с Лорой Ивановой (Рывкиной) в гостиной небольшой квартиры на Садовом кольце, в доме по соседству с посольством США. Дочь И. Я. Рывкина считает брак родителей несчастливым и подозревает, что для матери он был вынужденным. Т. В. Шереметьева в пятилетнем возрасте потеряла мать (та умерла от брюшного тифа) и рано ушла из отцовского дома, в котором заправляла мачеха. В 1919 году, окончив гимназию во Владивостоке, она уехала учительницей в сельскую начальную школу. После короткого неудачного брака покинула мужа и жила у старшей сестры Надежды (Анастасии) в Хабаровске.

И. Я. Рывкин и Т. В. Шереметьева, по мнению дочери, не подходили друг другу: они были хорошие люди, но жить им нужно было врозь. Образовательный ценз Татьяны был выше, хотя Исая, несмотря на неоконченный курс городского училища, исключительно грамотно писал и много читал. Т. В. Шереметьевой нравилось положение мужа, которому советская система дала все, чего было лишено большинство граждан. Персональная машина с личным шофером и квартира в 100 м<sup>2</sup>, которые были в их распоряжении в киевский период 1938–1941 годов, были пределом мечтаний даже в кругах сталинской элиты.

Но принять характер работы мужа Татьяна Васильевна не желала. Он работал много, домой возвращался под утро и после короткого сна часам к 11 утра исчезал вновь. В кругу семьи он мог позволить себе провести считанные часы. В семейной жизни не было радости, чему, по убеждению Лоры, в немалой степени способствовала рано овдовевшая и несколько десятилетий проведшая в их семье старшая сестра матери, Н. В. Шереметьева. Будучи человеком холодным, она играла в их доме, по словам Лоры, роль «рупора семейных ссор».

Но были, конечно, и другие причины, вызывавшие угрюмое настроение И. Я. Рывкина. Вероятно, после первых лет революционного романтизма и чувства свободы, которые захватили Исая и подкреплялись его чрезвычайными полномочиями в первой половине 20-х годов, в Закавказье наступило некоторое отрезвление, если не разочарование. В закавказских «органах», находившихся в те годы под началом Л. П. Берия, царила атмосфера восточных интриг. Здесь массовые репрессии начались значительно раньше, чем в центре страны, став, по мнению Йорга Баберовского, репетицией Большого террора. («Средняя Азия и Закавказье стали экспериментальным полигоном, на котором самозванные спасители могли опробовать свои цивилизаторские программы, прежде чем они обрели размах в других регионах империи». Baberowski J., 554.)

В 1930 году, после начала массовых чисток в Закавказье, Исай Яковлевич тщетно просился отпустить его на учебу в Пром-академию, чтобы «привести в систему свои знания»: после короткого пребывания в Москве его направили в Ташкент.

Я смотрю на восьмиугольную фотографию, вероятно, конца 20-х годов, с обрезанными краями. В одном из углов сохранился остаток посвящения: «Милой, слав...» Кому адресовано послание и кто его автор, можно только гадать. На фото запечатлены трое: двое мужчин в военных формах начальника и заместителя начальника областного управления НКВД стоят, слегка наклонившись к сидящей между ними молодой даме. Беззаботно улыбающаяся, круглолицая женщина в светлом костюме и белом берете – Т. В. Шереметьева. Из троих не улыбается только один – И. Я. Рывкин. Рядом с ним стоит его товарищ по работе и друг Мирон Баумфельд, грузинский еврей. Свою дочь Исай назовет Лорой в честь дочери друга.

Во второй половине 30-х годов Мирон исчезнет в репрессивной мясорубке. Его дочь попадет в детский дом. Исай и Татьяна будут безуспешно разыскивать девочку с намерением забрать ее в свою семью. Возможно, в то время и были обрезаны края фотографии, чтобы затруднить идентификацию ее дарителя и получателя.

По переводе в Москву в 1936 году И. Я. Рывкин с семьей поселился в принадлежавшем НКВД огромном сером строении на Лубянке, во дворе знаменитого здания, где теперь расположено Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Две комнаты четырехкомнатной квартиры занимал сосед – дворянин из старых военспецов. Маленькая Лора была желанной гостьей на его половине, где ей позволялось листать старинные художественные альбомы, хранившиеся в книжных шкафах с обширной домашней библиотекой. Она была свидетелем того, как соседа забрали. С того момента в ее душе поселился ужас. Страх объял весь дом, населенный сотрудниками НКВД. Временами из подъезда раздавались крики людей, бросавшихся в пролет лифтовой шахты, чтобы избежать ареста, пыток, клейма «враг народа», позорной смерти.

Неизвестно, что спасло И. Я. Рывкина и его близких от гибели в круговерти репрессий 30-х годов. Лора полагает, что у него был какой-то высокий покровитель, своевременно – и с повышением – направивший его в Киев.

А потом началась война. Т. В. Шереметьеву и девятилетнюю Лору она застала в санаториях под Одессой, И. Я. Рывкина – в Кисловодске. Они должны были встретиться в Ленинграде, куда накануне войны Исай Яковлевич получил новое назначение. Чудом отыскав друг друга, мать и дочь вернулись в Киев. В памяти Лоры остались первые впечатления об украинской столице: дирижабли над городом и встретившаяся знакомая женщина в одном халате – ее жилье и

все имущество были уничтожены бомбежкой. Вместе с управлением военного снабжения войск НКВД Т. В. Шереметьева и Лора выехали в Новосибирск. Поездка длилась 22 дня. Через три дня после их прибытия на новое место Киев пал.

Для И. Я. Рывкина это время было насыщено волнениями за судьбу семьи, а также близких, которых война застала в Белоруссии. Но главное – война сместила все акценты, внесла в жизнь ясность и новый смысл, позволила взять на себя реальную ответственность за жизнь миллионов людей. Неуверенность по поводу того, где друзья, а где враги, исчезла.

Через год ему удалось соединиться с семьей. Расставшись с нею в звании бригадного интенданта, он приехал за родными генерал-майором, которым стал в мае 1942 года. Мужчины в импозантной генеральской форме встречались тогда редко, и Лора гордилась папой, вслед которому оборачивались прохожие. Семья переехала в Баку. По пути к новому месту назначения они проплывали Сталинград, где шли первые бои.

Баку, где они до получения квартиры поселились в гостинице «Интурист», после Новосибирска казался раем – там не было ни холода, ни голода, ни карточек. Вскоре И. Я. Рывкин запросился на фронт. В августе 1943 года он прислал дочери свою фотографию: красивый генерал в безупречно аккуратной форме и до блеска начищенных сапогах элегантно сидит, забросив ногу на ногу, в видавшем виды старинном кресле. На обороте надпись: «Моей курносой от папы. 23/VIII-43 г. Южный фронт».

В мае 1945-го война для И. Я. Рывкина не закончилась. Он был занят снабжением войск НКВД в Вильнюсе, затем – во Львове, население которых Советам не симпатизировало. На чердаке двухэтажного львовского особняка, который в 1946 году занимала его семья и приехавшая в гости мать, З. И. Лазарева, у слухового окна постоянно дежурил пулеметчик: новая власть чувствовала себя на Западной Украине неуютно, в положении захватчика.

В 1945 году у И. Я. Рывкина начались – пока небольшие – неприятности, пришедшие с совершенно неожиданной стороны. Обнаружились первые признаки растущих антиеврейских настроений, которые коснулись и армии. Лица еврейской национальности в высших офицерских чинах стали фигурами нежелательными. Однако сначала Исай Яковлевич, скорее всего, недоумевал по поводу относительно мелкой неудачи, с какими он ранее не встречался. Вместо ордена Отечественной войны I степени, к которому он был представлен в 1945 году, ему вручили орден II степени.

В боевых характеристиках, наградных и аттестационных листах 1943–1945 годов он всегда характеризовался в высшей степени положительно:

«Волевой, с твердым характером командир службы тыла армии.  
<...> Работает много, работать умеет» (23 апр. 1943 г.).

«ГЕНЕРАЛ-МАЙОР РЫВКИН обладает большими организаторскими способностями, быстро ориентируется в обстановке, находчив, волевой руководитель, требователен к себе и подчиненным, скромен в быту, обладает большой усидчивостью и работоспособностью» (27 июня 1943 г.).

«Предан делу ЛЕНИНА – СТАЛИНА и Социалистической Родине. Политически и морально устойчив. Энергичный и решительный генерал. Имеет большой опыт работы в органах снабжения войск» (17, 21 февр., 13 марта 1945 г.).

«...К недостаткам непримирим. Лично сам дисциплинирован и проводит твердую дисциплину в соединениях, частях и аппарате тыла» (24 апр. 1945 г.).

Во всех аттестациях И. Я. Рывкина заключение было одинаковым: занимаемой должности соответствует. И вот в аттестации от 21 июня 1945 года, также положительной и рекомендовавшей использовать его «в центральном аппарате тыла Красной Армии», впервые – и единственный раз – отмечаются его негативные качества:

«Недостатком личных качеств РЫВКИНА является его излишняя мнительность и неуравновешенность в обращении с подчиненными (конец предложения приписан от руки – И. Н.).

Состояние здоровья слабое. Требуется курортного лечения».

Здоровье его действительно было расшатано напряженной работой без регулярного питания и сна до войны и во время нее. В 1942 году он перенес операцию и лечился в связи с застарелой язвой желудка. Поэтому появление этого пункта в аттестационном листе его вряд ли смутило. Внешне все выглядело благополучно. В 1947 году И. Я. Рывкина перевели из Львова в Москву, где он с семьей поселился в двухкомнатной квартире на Кутузовском проспекте, а затем – в трехкомнатной на Котельнической набережной. Но представление на очередное звание генерал-лейтенанта не было удовлетворено, а в 1948 году врачи признали его негодным к дальнейшей службе. В выписке из постановления врачебно-трудовой экспертной комиссии перечислен целый «букет» заболеваний: «хроническая язвенная болезнь с локализацией процесса в двенадцатиперстной кишке с склонностью к частым обострениям. Облитерирующий эндоартериит нижних конечностей. Начальный артериосклероз».

Вынужденный выход в запас, кажется, нанес еще более сокрушительный удар по его здоровью. Медицинская справка, составленная годом позже цитированной выше, расширяет перечень заболеваний: состояние после инфаркта миокарда, кардиосклероз, коронаросклероз, неврастенический синдром.

Уход на пенсию в сорокасемилетнем возрасте оказался для И. Я. Рывкина тяжелой травмой. Тем более что постепенно усиливалось и находило все новые подтверждения подозрение, будто за его вынужденным выходом в запас скрываются иные причины, чем состояние здоровья. Новые веяния задел и близких родственников. В начале 50-х не приняли в аспирантуру Лору, окончившую мединститут с красным дипломом (доступ дочери в ординатуру открыл визит И. Я. Рывкина к начальнику здравотдела – бывшему фронтовику); чуть не выгнали с последнего курса консерватории и из партии племянницу Тамару.

Чувство незаслуженной обиды, ненужности, дезориентации на фоне непонимания, холодности и недовольства со стороны супруги обернулись новой бедой. И. Я. Рывкин бежал от одиночества на ипподром, в гущу здоровых, азартных мужчин; яростно проигрывался на бегах, залезал в долги и вновь проигрывался. Иллюзорное бегство от одиночества только укрепило стену отчуждения между ним и окружающим миром: последовали новые осложнения в семье и охлаждение в отношениях с родственниками, пошатнулся семейный бюджет, прекратились контакты с сослуживцами. В 1960 году Главное управление кадров Министерства обороны СССР будет тщательно взывать к И. Я. Рывкину с просьбой предоставить фотокарточки и справку о боевой деятельности во время войны для альбома маршалов, генералов и адмиралов Великой Отечественной войны. И. Я. Рывкин не пожелает, чтобы представители военкомата и его службы присутствовали на его похоронах (по этой причине его награды остались в семье дочери).

Лора вспоминает об атмосфере тепла и любви в семье Н. Я. и Б. Я. Хазановых – о том, чего так не хватало в доме ее родителей. Вспоминает всегда улыбающегося, находящего доброе слово «дядю Борю»; вышивки, яблочки в тесте, «царское» варенье из крыжовника и прочую вкуснятину «тети Нины», у которой даже за строгостью в отношении детей скрывалась большая любовь. Когда у Лоры в феврале 1953 года родился сын, оба приехали ей на помощь. Н. Я. Хазанова ухаживала за умирающим И. Я. Рывкиным, примчавшись на помощь племяннице. Незадолго до кончины он сказал сестре, что знает о близкой смерти, но не хочет, чтобы дочь заметила его осведомленность на этот счет.

Я видел И. Я. Рывкина всего один раз, летом 1970 года, за несколько месяцев до его кончины. Мы с мамой несколько дней были в Москве, и мама очень волновалась, идя на встречу с дядей: они не виделись около 20 лет после неприятного инцидента в разгар его увлечения скачками. Мне запомнился сутулый, больной, но очень ласковый и все еще красивый старик.

Мы переночевали в его небольшой квартире на Смоленской площади. Полночи он проговорил с мамой. О чем они беседо-


вали, детально реконструировать невозможно. Мама помнит, что он жаловался на одиночество, на усталость от совместного проживания с сестрой жены, на «предательство» супруги в годы послевоенной антисемитской кампании. Некоторые эпизоды из его служебной биографии, о которых не осведомлена его дочь, запомнились мне то ли из его рассказов маме в моем присутствии, то ли из ее пересказов по горячим следам – легкая контузия на Ладожском озере близ блокадного Ленинграда; острый, до потери сознания на улице, приступ язвы желудка после офицерского ужина с молочным поросенком; вызов к И. В. Сталину после того, как И. Я. Рывкин на свой страх и риск отправил груз с теплой одеждой за Урал, в лагерь для советских, а не немецких военнопленных. На прием к Сталину он явился, как было принято, с чемоданчиком с личными вещами первой необходимости: кроме входной двери в кабинете вождя была боковая, за которой дежурил офицер на случай немедленного ареста посетителя. Сталина во время беседы И. Я. Рывкин почти не видел: тот прохаживался у него за спиной, то появляясь, то исчезая. Чем сумел генерал-майор, заместитель начальника управления ГУЛАГа по снабжению убедить генералиссимуса в целесообразности собственного своеволия, мы уже никогда не узнаем. Один обрывок из его рассказов я ясно вспомнил тремя годами позже, во время премьеры лучшего, по-моему, советского телесериала «Семнадцать мгновений весны». В нем был озвучен поразивший меня эпизод о том, как Г. Гиммлер инсценировал покушение на А. Гитлера. Это была точь-в-точь та история, которую рассказал в августе 1970 года И. Я. Рывкин о Л. П. Берия. Оба руководителя спецслужб прикрыли собой тела «вождей», чтобы заслужить их доверие...



Утром я, сидя с ним в обнимку, в восхищении перебирал его боевые награды. За завтраком, который сервировала белесая, престарелая Н. В. Шереметьева, старшая сестра его покойной жены, я не к месту решил проявить чувство юмора: взяв с блюда тонюсенький ломтик хлеба, я посмотрел сквозь него на свет и протянул: «А-а-а, хлеб по-генеральски...» «По-генеральски?!» – Исая Яковлевич недобро сверкнул внезапно помолодевшими глазами в сторону Надежды Васильевны. «Вот что такое хлеб по-генеральски!» – и стал яростно нарезать крупные фронтовые ломти...»

Судьба успешного генерала, участника Гражданской войны, старого коммуниста, персонального пенсионера, человека «системы», выработавшей его и затем от него избавившейся, оказалась гораздо драматичнее, чем можно было судить по его военной автобиографии. Трудно даже представить себе, как жилось тем, кого советское государство изначально избрало объектом преследований или, в лучшем случае, оставило на произвол судьбы.

## Семейные реликвии

 Я надеюсь, что тексты А. С. Пухальской и В. П. Нарского со временем станут семейной реликвией, одним из материальных воплощений семейной памяти. Семейные воспоминания живут благодаря общению с окружающими, и к окружению личности относятся не только люди. Предметы – мебель, объекты семейного обихода, книги, документы, подаренные когда-то милые, но бесполезные вещицы, фотографии – невозможно отделить от личности. Взаимодействие с ними так же важно для человека, как и коммуникация с другими людьми.

Важность предметной среды для функционирования памяти человека в значительной степени связана со спецификой самой способности человека вспоминать, с переменчивостью его индивидуального и коллективного прошлого.

«В противоположность распространенному стереотипу отношения к хранящемуся в памяти прошлому как к тому, что прочно зафиксировано и потому неизменно, в действительности воспоминания податливы и гибки, – подчеркивает английский историк Дэвид Лоуэнталь. – То, что, казалось бы, уже свершилось, продолжает претерпевать постоянные изменения. Превеличивая в памяти те или иные события, мы заново их интерпретируем в свете последующего опыта и сегодняшних потребностей» (Лоуэнталь Д., 325).

Непрерывными переменами в нас самих и в обществах, в которых мы живем, по крайней мере отчасти, объясняется, почему тот или иной предмет вдруг становится для индивида или социальной группы объектом, символизирующим важное и дорогое былое. Поэтому «все реликвии одновременно существуют и в прошлом, и в будущем» (там же, 379).

Зыбкость прошлого, помимо прочего, рождает подспудное беспокойство и желание опереться в воспоминании на нечто неизменное. Реликвия рождает не знание, а ощущение былого, чувство прикосновения к нему. Она воспринимается как точка пересечения прошлого и настоящего. «Это осязаемое чувство позволяет нам убедиться в том, что прошлое, которое мы черпаем из памяти и из хроник, является живой частью настоящего» (там же, 391).

В каждой вещи заложена информация о том, для чего и как она служила, служит или будет служить людям. Предметы других эпох и культур содержат сведения о людях, для которых они предназначены. Эта банальная истина, очевидная для археолога или этнолога, нередко недооценивается историками – исследователями недавнего прошлого, насыщенного письменными источниками. В результате такие феномены, как, скажем, советская эпоха, продол-



жающая материально жить на территории бывшего СССР в виде архитектурных сооружений и бытового интерьера, превращаются в некую абстракцию, в пространство, на котором протекали анонимные процессы, функционировали обезличенные институты, структуры, дискурсы, происходили события, настолько грандиозные, что за ними не видно человеческих лиц.

О последствиях, которыми чревато превращение советской эпохи в полигон для испытания обширного арсенала структуралистских и постструктуралистских методик, эксперт по визуальной культуре Татьяна Дашкова справедливо пишет:

«Подход, продуктивный для исследования, например, средневековой культуры, в отношении советского времени является “сетью” со слишком большими “ячейками” – культура “утекает”, остается структура. А структура и категориальный подход являются слишком простыми формами описания в ситуации, когда еще живы очевидцы и сильна “осязаемая” историческая память. Ведь “дух эпохи” еще реально присутствует, его практически не нужно реконструировать: живы люди (и дай бог им здоровья!), которые могут рассказать, “как это было”, наши дома полны вещей, сохранившихся с тридцатых годов, в альбомах на нас смотрят молодые лица наших и не наших бабушек и дедушек... Невозможно “археологически” относиться к культуре, в которой мы продолжаем жить – пить из граненых рюмочек, хранить лекарства в коробочках из-под довоенных “монпансье”, постоянно видеть эти сумочки, зонтики, перчатки – и при этом говорить с их владельцами на разных языках, не понимая их нежности и привязанности к этим “вещичкам”, а не предметам тоталитарной эпохи» (Дашкова Т., 113).

Предметы семейного обихода обладают не только материальными потребительскими свойствами. Они могут служить важным инструментом формирования, поддержания, переформатирования семейной памяти, символическими вехами автобиографического воспоминания, позволяющими структурировать его, разделяя на «до» и «после». Они могут выступать поводами для активирования припоминания и коммуникации о семейном прошлом.

Домашние предметы редко изначально создаются «на память». Эта роль отводится разве что фотографиям и фотоальбомам, привозимым из поездок сувенирам да подаренным по разным поводам красивым безделушкам. Однако любая вещь может превратиться в семейную реликвию, бережно храниться и передаваться по наследству как источник семейной памяти, как символ прочности родственных уз и непрерывности семейной истории.

Прежде чем стать семейным «сокровищем» буфет, самовар, салатница, книга или письмо выполняют свое прямое назначение. Чтобы получить новое, символическое «наполнение», вещь должна

утратить свою первоначальную функцию, стать «бесполезной»: мебель выходит из моды, самовар или угольный утюг заменяются электроприборами, документы и фотографии устаревают, а затем теряют своего владельца, книга и письмо прочитываются и переживаются.

Обратимся к конкретным примерам. Так, папка Б. Я. Хазанова содержит 72 документа, 40 из которых относятся к 1917–1929 годам – самому «шаткому» времени в жизни обитателей России и СССР. Удостоверения, справки, характеристики этого периода Борис Яковлевич тщательно собирал и бережно хранил: они были важны для подтверждения образовательного статуса, профессиональной квалификации, определения служебного стажа и заработной платы, начисления пенсии. В 1965 году, после его выхода на пенсию, все они разом утратили утилитарную ценность. Такая же судьба ждала документы брата его жены, генерал-майора И. Я. Рывкина. Наградные и аттестационные листы, боевые характеристики, справки, относящиеся преимущественно к 1942–1945 годам, обесмыслились после его выхода в запас, через три года после окончания войны. Хранящиеся в семье Веры Деминой паспортная книжка дореволюционного образца, выданная в мае 1917 года М. А. Нарской, и удостоверение об ее службе в 1926 году в Государственной хоровой академической капелле давным-давно стали бесполезными. Нет больше ни государства, ни учреждения, выдавшего эти документы, ни лица, идентифицированного в них. Адресный блокнот Н. Я. Хазановой стал превращаться в «место памяти», когда напротив фамилий, адресов и телефонов родственников, знакомых и соседей начали появляться сделанные ее рукой пометки – «умерли».

Некоторые домашние предметы сохраняются после смерти их первоначального владельца и передаются по наследству, не теряя своего исходного назначения. Например, комнатный термометр в виде готического замка, 40 лет назад подаренный мне дедом, Б. Я. Хазановым, и украшающий мой кабинет, продолжает исправно показывать температуру и по Цельсию, и по Реомюру. Вышивки Н. Я. Хазановой по-прежнему служат украшением интерьеров моего и родительского жилья в Челябинске, квартир Т. Н. Кузнецовой в Дзержинске и Н. Н. Хсиво в Натании; адресная книжка и блокноты с рецептами выпечки были сохранены ее внучкой, Татьяной Кузнецовой (Корзухиной), вероятно, из утилитарных соображений. В телефонную книгу продолжали заноситься новые фамилии и телефонные номера. С рецептами печений, тортов, пирогов – «минуток», «утопленника», орехового, яблочного, черничного, лимонного, творожного, – которые Нина Яковлевна готовила неподражаемо, жаль было расстаться. Хотя повторить ее достижения в точности, конечно, невозможно.

Бабушка Нина была женщиной с романтической жилкой. Это отразилось даже в записи рецептов. Рецепт «царского» варенья,

одной из вершин ее поваренного искусства, в ее записной книжке сопровождается историей с намеком на благородное происхождение этого кулинарного чуда, которую она не поленилась выписать из журнала «Работница»:

«Не так давно одна наша знакомая, возвращаясь из пригорода с корзиной крыжовника сорта “зеленый финик”, оказалась в автобусе рядом с благообразной старушкой. Старушка долго разглядывала и похвалила ягоды величиной с крупный орех, тронутые коричневой дымкой спелости. Женщины разговорились. Старушка поведала соседке несколько необычный способ приготовления крыжовенного варенья и при этом таинственно добавила: “Такое варенье подавалось к царскому столу”. Мы сварили варенье точно по рецепту. Получилась густая зеленоватая жидкость, полупрозрачная, с утонувшими изумрудными ягодами на дне. А вкус был таков, что после снятия пробы за вечерним чаем решили: грех держать такой рецепт в секрете».

Не исключено, что рецепт приобрел в глазах Н. Я. Хазановой дополнительный «авторитет» благодаря таинственному сообщению «фрейлины». Никто из нас, ее детей и внуков, не готовит этого шедевра, но каждый, кто вспоминает Н. Я. Хазанову, непременно упоминает и о чудесном, ароматном «царском» варенье из зеленого, чуть-чуть недозрелого крыжовника.

Итак, превращение какой-либо вещи в место семейной памяти связано с изменением контекста ее бытования. Как правило, такое изменение начинается с утраты предметом первоначального назначения, с выпадения его из контекста, с превращения в «хлам». Не случайно большинство вещей личного пользования, не разобранные «на память» близкими, после смерти владельца завершает свой век на мусорной свалке.

Из этого следует, что придание предмету статуса семейной реликвии является плодом сознательного, целенаправленного и селективного усилия. Следующий пример наглядно иллюстрирует этот тезис. В 2006 году в моем владении оказался выполненный цветными карандашами на ватманской бумаге осенний лесной пейзаж, нарисованный в детстве моим отцом. В течение десятилетий он украшал стену самой большой, «парадной» комнаты М. А. Нарской и ее семьи в Железнодорожном. Тщательно исполненный, несколько наивный детский рисунок украшен в правом нижнем углу высшей оценкой («отл.»). При раскрытии рамки под ней обнаружился детский альбом. Помимо осеннего лиственного леса в нем оказались незаконченный рисунок сельской околицы, иллюстрация к басне И. А. Крылова «Ворона и лисица», овощной натюрморт, также оцененный на «отлично». Прежде чем поместить альбом в рамку, Мария Александровна выбрала рисунок и крупным твердым почерком на-

писала на оборотной стороне альбома: «Рисунок моего сына Владимира Павловича Нарского. 1928 г. р. Рисовал в 1958 г. Нарская М. А.».

Эта карандашная надпись свидетельствует о решении превратить определенный рисунок сына в «место памяти». Бабушка, конечно, ошиблась с датой: альбом, скорее всего, относится к 1938 году, когда Володе Нарскому было девять-десять лет. Вероятно, альбом был обрамлен в 50-х годах (это объяснило бы ошибку в дате), после того как около двух десятилетий пролежал среди других домашних бумаг.

Иногда создание семейной реликвии сопровождается ее утомительными поисками. Так, в 60-х годах, занявшись исследованием семейной родословной, А. С. Пухальская и А. П. Хазанов без труда получили из архива МГУ фотокопию «дела канцелярии по студенческим делам Императорского Московского университета» Стефана Пухальского. В нем – копии документов за 1906–1908 годы. Среди них свидетельство из Варшавского университета об окончании Первой гимназии в Москве и трех курсов юридического факультета в Варшаве, два заявления С. Пухальского с просьбой о зачислении в Императорский Московский университет, университетское свидетельство о праве проживания в Москве до 1 сентября 1907 года, студенческий «билет для входа в... университет в весеннем полугодии 1907 года». Кроме того, в деле имелись переписка ректора с попечителем Московского учебного округа; временное свидетельство о том, что С. Пухальский «выдержал в Юридической испытательной комиссии при Императорском Московском университете установленное испытание и удостоен 24 мая 1907 года диплома второй степени, каковой будет выдан ему по изготовлении»; наконец, сам диплом.

Семейные предметы, наделенные символическим статусом «места памяти», могут утратить его, если он не поддерживается семейной коммуникацией. Замечено, например, что семейные фотографии переживают, как правило, не более трех-четырех поколений владельцев. Затем от них освобождаются, поскольку сведения об изображенных полностью утрачиваются. Подаренная мне, тринадцатилетнему подростку, фамильная икона, принадлежавшая М. А. Нарской, 20 лет пылилась на шкафу в родительской квартире и была с удручающим меня сегодня легкомыслием подарена мною другу на тридцатитрехлетие.

Утрата семейной реликвии (бывшей) может произойти безболезненно, если никто из семейного сообщества не связывает с нею дорогих воспоминаний. Если же хранитель семейной ценности, по мнению других родственников, распорядился ею несправедливо, возможны и обиды, и конфликты. Так, ни я, ни моя мама долго не могли примириться с тем, что старинный буфет Н. Я. и Б. Я. Хазановых после их смерти нашел последнее пристанище в летнем садовом домике под Дзержинском.

Относительно надежной гарантией сохранения семейных реликвий является их интеграция в домашний интерьер, превращение в своего рода музейные экспонаты. Вещи, специально выставленные на всеобщее обозрение, чаще и естественнее оказываются поводом для семейных рассказов. Рано или поздно любознательные дети начинают расспрашивать их владельцев о происхождении этих предметов. Я надеюсь, что моя младшая дочь Александра и внук Игорь в обозримом будущем станут задавать вопросы о замке-термометре, вышитой картине с изображением летней дачи-усадьбы, о забавной плетеной сумочке-корзинке, с которой Н. Я. Хазанова ходила на рынок за ягодами.

Квартира моих родителей, усердно защищаемая В. П. Нарским от нововведений и перестановок, постепенно превратилась в своеобразный музей советского быта и вкуса 50–70-х годов. Частые гости с удовольствием посещают ее, как бы переносясь на несколько десятилетий назад. Подаренные мелкие бесполезные вещицы-сувениры заполняют все доступные поверхности. Юная девушка, с которой я недолго дружил в конце 70-х, при первом посещении брезгливо сморщила носик: обилие нефункциональных предметов показалось ей жуткой безвкусицей и мещанством.

Специально оборудованный по всем правилам домашний музей я впервые увидел в начале 70-х годов дома у моего челябинского друга детства Игоря Федорова. В гостиной четырехкомнатной квартиры на улице III Интернационала в шкафу под «музей» был отведен застекленный стеллаж, в котором были выставлены личные вещи знаменитых предков и родственников, «трофеи» родителей Игоря, приобретенные во время редких в советское время выездов за пределы «социалистического лагеря» – в Англию, Италию, Египет. Как и положено в музее, прикоснуться к экспонатам было запрещено.

В домашнем музее Жаковых – Федоровых я ребенком наверняка видел, но не запомнил, по-видимому, главную семейную реликвию династии врачей – латунный стетоскоп Петра Захаровича Жакова, прадеда Игоря. На нем выгравированы имена его владельцев-хранителей. Рассказывая об этом предмете, доктор медицинских наук, профессор И. А. Федоров, врач в четвертом поколении не скрывает горечи по поводу того, что его имени не будет на этом семейном «месте памяти». Вследствие сложных семейных отношений «династическая» линия незаслуженно, по его мнению, пойдет в ином направлении. Судьбу стетоскопа Жаковых можно рассматривать как яркую иллюстрацию того, что семейные реликвии могут служить инструментом власти, создания и поддержания иерархии в семье, средством наделения привилегиями, орудием вытеснения на периферию семейного сообщества или за его пределы.

Домашние реликвии выступают в качестве своего рода «маячков» семейного припоминания. Они воспринимаются членами семьи как источник и хранилище памяти о прошлом «родового» коллектива. Предметы «на память» служат поводом для семейной коммуникации о «своей» истории и сохраняют свой статус до тех пор, пока члены семьи ощущают потребность в целостности, прочности и наличии общего, по возможности – долгого и непрерывного прошлого. Домашние святыни – «возбудитель», признак и продукт устойчивой циркуляции семейных историй.

### «Культурный досуг»



Первая любовь – один из многих осколков моего горьковского детства, но, быть может, из числа самых важных. Похоже, первое серьезное увлечение стало неотъемлемой частью моего нынешнего «Я». Во всяком случае, я не вижу препятствий для того, чтобы далее писать автобиографическую линию от первого лица, тем более что теперь я приступаю к фрагменту, который больше других основан не на личных воспоминаниях, а на недавних исследовательских «раскопках». Вместе с Мальчиком Дедушка и Бабушка из литературных героев будут трансформированы в документальных «дедушку» и «бабушку» со строчной буквы.

В моем детстве были, конечно, не только дворовые игры и «война» с девочками. Н. Я. и Б. Я. Хазановы пеклись о моем «культурном досуге». Его неотъемлемыми «медиумами» были радио, телевидение, кино и – значительно в меньшей степени – книги.

Радиоточка с единственным каналом находилась слева от буфета. Здесь примерно на полуметровой высоте висело четырехугольное старое радио с черными, кажется, деревянными боковинами, овальным сводом, динамиком, скрытым за светлой матерчатой сеткой, и черной ручкой для включения-выключения и настройки громкости. Оно почти никогда не выключалось и работало фоном с шести часов утра до полуночи. Радио было предметом тихой ненависти Натальи Корзухиной, приезжавшей с ночевкой из Дзержинска: ранним утром оно будило ее советским гимном.

Радиопрограмма представляла собой смесь новостей, политических и музыкальных передач, литературных постановок, спортивных трансляций. Вот, например, субботняя программа радиопередач за 15 июня 1963 года:

- 07.10 Обзор газет «Горьковская правда».
- 09.10 Пьесы для эстрадного оркестра.
- 11.10 Передача о молодых артистах Большого театра СССР.
- 12.15 «М. И. Калинин». Радиокomпозиция.
- 13.10 Л. Соболев читает сценарий «Родина, корабль, командир».

- 14.00 Радиописьма с завода коммунистического труда.
- 16.10 Передача для детей.
- 17.00 Последние известия из Горького.
- 19.00 Концерт участников художественной самодеятельности химической промышленности Москвы.
- 20.00 «Вечно живой». Страницы из биографии В. И. Ленина.
- 21.40 Отрывки из советских оперетт.
- 22.00 Последние известия.
- 22.30 «По вашим просьбам, товарищи радиослушатели».
- 23.00 Спортивный дневник.
- 23.15 Концерт А. В. Неждановой.  
(Горьковская правда. 1963. 14 июня)

Каждое утро часов в семь раздавался бодрый голос диктора, приглашавшего на утреннюю гимнастику. Под бравурные звуки роля он описывал каждое движение физкультурных упражнений и отмерял ритм. Дедушка осторожно выполнял команды ведущего, пропуская более сложные упражнения. Лет с восьми я составлял ему компанию.

Примерно в этом же возрасте я пристрастился к целенаправленному слушанию радио. Уже дотягиваясь до ручки, прибавлял звук во время утренних детских передач «Пионерская зорька», «Будь готов!», дневных радиопостановок, особенно детективов, но также и детской литературной классики, радиоконcertов – если звучала любимая классическая мелодия или эстрадная песня. По вечерам, лежа в постели, я прислушивался к включенной в ползвук программы «Взрослым о детях».

В середине 60-х радиопрограмма была литературно и музыкально насыщена. Большой удельный вес в ней занимали встречи с писателями («Писатели у микрофона»), творческие вечера артистов или рассказы о них (Е. Лебедев, И. Смоктуновский, А. Райкин и др.), европейская, русская и советская классическая музыка («Концерты классической музыки», «Играет скрипач И. Ойстрах, «Играет С. Рихтер», концерты Л. Клиберна и Г. Вишневской), советская музыкальная эстрада («Это ваши любимые мелодии», «По заявкам радиослушателей», «Эстрадный оркестр Грузии «Опера», «Поет Эдита Пьеха»).

Какое-то время Э. Пьехи было на радио особенно много. «Польская еврейка, родившаяся во Франции и ставшая солисткой ленинградского ансамбля «Дружба», она пела с акцентом: «В етym мирье, в етym горьоде, там гдьe улыци грюстьят о льете...» Очарованные европейским лоском Пьехи, а еще больше – ее всесоюзным успехом, с акцентом запели советские певицы и певцы, намекая на причастность к западным стандартам» (Вайль П., Генис А., 233).

Меня беспокоил не столько ее акцент, сколько необычно низкий тембр голоса. Я регулярно требовал от взрослых объяснений, но они не могли развеять моей тревоги и уверенности, что Пьеха – переодетый мужчина.

Передачи на политические и хозяйственные темы – «Шаги семилетки», «Люди колхозной деревни», «Говорит Пекин», «Говорит Варшава», «Говорит Прага» и прочие – были объектом интереса дедушки Бориса.

Листая горьковские программы радиопередач тех лет, трудно избавиться от ощущения, что во второй половине 60-х уровень «культурных» передач начал понижаться. Программы стали скучнее и менее «музыкальны». Место классической музыки заняла бодрая советская эстрада, Ойстраха и Клиберна потеснила художественная самодеятельность, концерты оперной и балетной музыки уступили место «концертам по заявкам работников торговли» и «спортивные песни и марши». Было ли это общей тенденцией в СССР 60-х годов или местной особенностью, и что за этим стояло – целенаправленная политика в области культуры или вымирание старого культурного поколения с дореволюционной социализацией – судить не берусь.

Два июня моего детства, в 1963 и 1971 годах, прошли под знаком космоса – сферы особых мечтаний советских детей 60-х. С 14 по 20 июня 1963 года радио и другие средства массовой информации были «нашпигованы» сообщениями о полете космических кораблей «Восток-5» и «Восток-6» с В. Ф. Быковским и В. В. Терешковой на борту. К годовщине успешного полета в июне 1964 года был приурочен поток передач и торжественных мероприятий.

Не в пример драматичнее развивалась космическая тема в 1971 году. С 7 июня газеты, радио и телевидение освещали длившийся более трех недель полет Г. Т. Добровольского, С. С. Волкова и В. И. Пацаева на корабле «Союз-11». За две недели они совершили тысячу витков вокруг Земли. К концу месяца этот полет стал частью будней советских граждан, работа космонавтов описывалась средствами информации в менее героических терминах: «шторм космоса» превратился в «вахту в космосе». И вот утром 30 июня, когда радиослушатели (том числе и я), привыкшие к «своим» космонавтам, ожидали сообщения о приземлении «Союза-11», по радио раздался траурный голос Ю. Б. Левитана, медленно зачитавшего сообщение ТАСС о их гибели.

Их полет вновь превратился в «подвиг». Средства массовой информации заполнили официальные сообщения о посмертном присвоении высоких званий и наград, соболезнования, распоряжения о похоронах, об образовании комиссии по выяснению причин смерти. Хотя слухи о разгерметизации корабля при вхождении в плотные слои атмосферы разнеслись молниеносно, официальных объяснений причин катастрофы так и не последовало.



Немало времени, особенно по вечерам, проводилось у телевизора. До 1966 года это было для меня сугубо летнее развлечение, пока родители тоже не приобрели телевизор. С 1957 года до середины 60-х горьковское телевидение имело одну программу (второй канал), в 1965 году появилась вторая (десятый канал). Телевизионная программа, тем не менее, в 60-х годах оставалась значительно скромнее радиопрограммы. На 1 июня 1965 года она предлагала, например, следующие передачи:

**ПЕРВАЯ ПРОГРАММА**

- 17.10 «СЧАСТЬЕ НАШИХ ДЕТЕЙ».
- 18.00 ГОРЬКОВСКИЕ НОВОСТИ. М[ОСКВА].
- 18.20 МИР СЕГОДНЯ.
- 19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «МОРСКОЙ КОТ». М.
- 20.30 ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО БАСКЕТБОЛУ. М.
- 21.30 ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ НОВОСТИ.
- 22.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ В МУЗЫКУ НАШЕГО ВЕКА». МУЗЫКА ВЕНГРИИ.

**ВТОРАЯ ПРОГРАММА**

- 17.10 ДЛЯ ДЕТЕЙ. «Я РИСУЮ МИР». М.
- 17.30 ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ФИЛЬМ «ВО ИМЯ ЖИЗНИ». М.
- 18.00 ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ НОВОСТИ. М.
- 18.20 МИР СЕГОДНЯ. М.
- 19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «КОЛЫБЕЛЬНАЯ». М.  
(ГОРЬКОВСКИЙ РАБОЧИЙ. 1965. 1 ИЮНЯ.)

21 июня 1965 года заместитель председателя областного комитета по радиовещанию и телевидению Н. Громов через газету обратился к горьковским телезрителям с информацией о состоянии и перспективах «голубого экрана». По его данным, в Горьковской области в это время было свыше 220 тысяч телевизоров, у экранов которых собиралось до миллиона зрителей (или почти каждый третий житель области). Ежедневное телевещание составляло всего восемь часов. Отвечая на главную претензию телезрителей к демонстрации художественных фильмов («фильмы показывают редко, старые, неинтересные»), Громов привел такую статистику: за шесть месяцев 1965 года телезрители посмотрели 97 художественных фильмов, то есть один в два дня (в том числе 67 новых и 30 повторов), 77 детских и 101 документальный и научно-популярный фильм. Соглашаясь с некоторыми пунктами зрительской критики, высокий телевизионный начальник ясно обозначил приоритеты телеполитики:

«В некоторых письмах авторы высказывают мнение, что по телевидению должна идти развлекательная программа. С такой точкой зрения согласиться нельзя. Телевидение – ударная идеологическая сила нашей партии. Политическая информация, пропаганда передового опыта различных отраслей народного хозяйства, воспитание высоких моральных качеств со-

ВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА – ВАЖНЕЙШИЕ ЗАДАЧИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ» (ТАМ ЖЕ. 1965. 21 июля).

Вопреки политической риторике горьковский телеэкран середины 60-х годов не был трескуче пропагандистским. Ходульные информационные программы перемежались эстрадными концертами (в том числе сольными концертами Э. Пьехи), «Голубыми огоньками» с артистами и космонавтами, конкурсами КВН, представлениями телевизионного театра миниатюр «13 стульев», детскими и «взрослыми» фильмами, некоторые из которых в программе помечались предупреждением «Детям до 16-ти лет смотреть не рекомендуется». Это были годы кино- и телетриумфа западной кинопродукции, в дозированном количестве проникавшей на советский экран (из того периода смутно помню «Великолепную семерку» и «Брак по-итальянски»), а также популярных социалистических пародий на голливудские фильмы: «Голый дипломат», «Призрак замка Моррисвилль», «Лимонадный Джо».

Из первых осознанных телевизионных впечатлений мне запомнилась первая серия экранизации романа Л. Н. Толстого «Воскресение». Наверное, потому, что в тот вечер по какой-то причине был нарушен обычный режим и я остался у телевизора допоздна. (Может быть, бабушка уснула перед экраном?) Кажется, это был первый случай, когда я, к вящему удовольствию Н. Я. и Б. Я. Хазановых, стал подражать киноактерам. Тонким пронзительным голосом я кричал, воздевая руки, как героиня фильма в зале суда: «Не виновата я! Не виновата!»

Из новостных телеинформаций меня в четырехлетнем возрасте встревожила сцена, связанная с ухудшением отношений с Китаем летом 1963 года: смущенно улыбающийся дипломат растерянно смотрит на свой длинный черный лимузин, обклеенный листовками и окруженный возбужденной толпой.

Дедушка пытался сделать мое «общение» с телевизором более полезным. Однако из информационных и развивающих программ, насколько помню, я признавал только «Клуб кинопутешествий» с ведущим В. А. Шнейдеровым. Спортивные передачи, особенно футбольные чемпионаты, радовали меня возможностью допоздна бегать во дворе, чтобы не мешать дедушке – страстному футбольному болельщику. Гэдээровскую состязательно-развлекательную передачу «Делай с нами, делай, как мы, делай лучше нас» я на дух не переносил.

Из предложений телепрограммы я предпочитал художественные фильмы и телеспектакли. Сейчас, просматривая печатавшиеся тогда газетные программки телевидения, я ловлю себя на том, что, как и в 60-х годах, пытаюсь выловить словосочетание «художественный фильм». В числе первых, произведших на меня столь сильное впечатление, что я вознамерился подробно пересказать его

в Челябинске ближайшему товарищу по детскому саду, был польский фильм «Встреча со шпионом», показанный по телевизору в субботу, 4 июня 1966 года, в 20:20. Это был фильм со стрельбой, погоней и черными очками. Судя по анонсу, его содержание было абсурдным:

«Служба гидроакустики доносит о какой-то неизвестной подлодке. Локатором засечен подозрительный летательный объект. Учитель Матула заявляет органам госбезопасности о том, что кто-то записал его позывные и голос на пленку и передал по радио... А что же дальше? Об этом вы узнаете, если посмотрите фильм "ВСТРЕЧА СО ШПИОНОМ", сценарий для которого создал писатель Ян Литан» (там же. 1965. 17 июля).

Тем не менее, он впечатлил меня так же сильно, как и спектакль Ленинградского государственного академического театра драмы «Встреча» по пьесе Ж. Робера. Кажется, речь шла о разоблачении бывшей узницей концлагеря нацистского преступника. В общем, я взял и этот спектакль в репертуар последующих пересказов.

Дедушка каждый раз милостиво соглашался допустить меня к телеэкрану, чтобы в очередной раз посмотреть «Армию Трясогузки», «Республику ШКИД», «Кавказскую пленницу», «Город мастеров», «Неуловимых мстителей», «Часы капитана Энрико», «Попутного ветра, "Синяя птица"!», «Акваланги на дне», детские сериалы «Капитан Тенкеш», «Невероятные приключения Марика Пегуса», «Тени старого замка». Позднее этот перечень скромных «мыльных опер» пополнился взрослыми многосерийными фильмами «Ставка больше, чем жизнь», «Сага о Форсайтах», «День за днем».

В памяти осела реакция Н. Я. и Б. Я. Хазановых на некоторые совместно просмотренные фильмы: бабушка бурно переживала мучительно долгую смерть главного героя в «Коммунисте» и не могла смотреть «Обыкновенный фашизм» М. Ромма; дедушка мелко трясся от смеха во время просмотра грузинской комедии «Кувшин» и чуть не захлебнулся от беззвучного хохота, когда беспризорник Мамочка в «Республике ШКИД» продемонстрировал свои знания немецкого: «По-немецки цецки-пецки, а по-русски бутерброд» («цецки-пецки» переводятся с идиш как «сиськи-письки»). Оба бурно негодовали по поводу козней работника НКВД в исполнении В. Этуша в отношении главного героя (М. Ульянова) в фильме «Председатель». В общем, домашние телесеансы сопровождались сильными переживаниями.

В памяти горьковское детство ассоциируется с кинотеатром имени Минина на одноименной улице. Это был добротный работавший кинотеатр с двумя залами (один из них – зал хроники) и богатым, еженедельно обновляемым репертуаром, в который одно временно входило до пяти картин. Афишный стенд на фасаде ранней советской постройки всегда был заполнен плакатами с анонсами

текущего и предстоящего репертуаров. Кинотеатр имени Минина был одним из старейших в Горьком. В начале 60-х годов в газетных объявлениях о кинорепертуаре он занимал первое место среди тринадцати кинотеатров города. К началу 70-х, по мере открытия новых кинозалов «Октябрь», «Москва» и «Россия», он постепенно передвинулся на четвертое место.

В кинотеатр имени Минина меня регулярно водили Н. Я. и Б. Я. Хазановы и двоюродные сестры из Дзержинска Татьяна и Наталья Корзухины. С ними я смотрел фильмы «Стряпуха», «Три мушкетера», «Веселые ребята», «Бриллиантовая рука», «Преступник оставляет след», «Маленький беглец», «Даки», «Похищенный». Наиболее ярко запомнился поход с дедушкой в кинотеатр «Октябрь» на фильм «Верная Рука – друг индейцев». Это было во второй половине июня или в начале июля 1968 года. Дедушка заинтриговал меня тем, что я увижу каких-то индейцев, о которых я и понятия не имел (с романами Ф. Купера, Т.-М. Рида и К. Мая я познакомлюсь позже). С первых же кадров фильма, когда на экране появились бандиты в ковбойских одеяниях, я начал приставать к нему с вопросом, не индейцы ли это. Но когда на тревожном музыкальном фоне как из под земли выросли всадники с копьями и луками, с раскрашенными лицами и перьями на головах, у меня аж дыхание перехватило: так вот они какие, индейцы!

На второй неделе июля, когда на Минина начался показ этого фээргэшного вестерна, состоялся мой дебют самостоятельного похода в кино. Тогда же была заложена традиция бесконечных просмотров одного и того же фильма с горьковскими и дзержинскими родственниками и с дворовым приятелями. В ту неделю мы несколько раз бегали с Володей Гречухиным на утренний сеанс, покупали самые дешевые билеты по пять копеек на первый ряд и, задрав головы и затаив дыхание, следили за каждой, уже выученной наизусть, репликой, за каждым движением героев картины.

Настоящая феерия бесчисленных просмотров кинофильмов прихлась на лето 1969 года. За июнь – июль мы с В. Гречухиным и В. Стафеевым помногу раз проделывали маршрут в два квартала по улице Минина от дома 19а к дому 10б, чтобы еще и еще раз посмотреть картины «Бриллиантовая рука», «Миллион лет до нашей эры», «Эксперимент доктора Абста», «Бей первым, Фредди!» Дежурные старушки пропускали нас на киносеансы, не вполне пригодные для десятилетних мальчишек. Вероятно, это была старая традиция, давно вызывавшая бесплодную критику. Еще летом 1965 года по поводу свободного доступа детворы в кинотеатр имени Минина на фильм «Лимонадный Джо» в «Горьковском рабочем» была опубликована карикатура, на которой любознательные дети завязывают глаза дежурной. Рисунку сопровождался подписью:

Нет, ни к чему уловки эти –  
Она не смотрит все равно.  
И вас всегда пропустят, дети,  
Какой бы фильм не шел в кино.  
Что важно для нее? Билетик,  
И полный зал, и сборы касс.  
Напрасно думаете, дети,  
Что эта тетя любит вас...  
(там же. 1965. 5 июля.)

Некоторые фильмы, на которые мы бегали с таким азартом, содержали весьма рискованные эпизоды. На фильм «Миллион лет до нашей эры» заведующий кафедрой иностранных языков мединститута отреагировал остроумным фельетоном «Миллион лет... американского образа жизни». Возмущенный недостоверностью и дурным «западным» душком этой картины, автор особо упомянул «очень хорошеньких девушек» в сверхоткровенных, по советским меркам, нарядах, которые «непрерывно купались в реке и ничуть не боялись ни динозавров, ни мужчин» (там же, 1969, 5 июля).

Увиденное в фильмах тут же интегрировалось в дворовые игры и домашнее поведение. Самодельные луки и неудовлетворенная тоска по кольту (моя мама утолит ее в 1970 году, привезя из Парижа игрушечный барабанный пистолет) были следствием просмотра «Верной Руки...»; имитация смерти с оскаленными зубами и зажатой в правой руке горстью земли – цитатой из фильма «Даки»; попытка долгого «взрослого» поцелуя с одновременным поглаживанием попы партнерши, до слез рассмешившая мою бабушку, которой я продемонстрировал вновь приобретенные навыки – уроком тупой комедии «Бей первым, Фредди!»

Кажется, в то лето впервые с ясностью определился мой будущий профессиональный профиль. Началось с того, что Б. Я. Хазанов прочел мне взволновавшую меня газетную заметку об обнаружении в Средней Азии заметенного песками древнего города. Увидев же на экране в первых кадрах картины «Даки» римскую армию, я не мог сдержать своего восторга и несколько раз повторил, обращаясь к двоюродной сестре: «Вот это я люблю!» – да так громко, что окружающие на меня зашикали.

В обязательную, иногда угнетающую меня программу летнего досуга входили книги. Круг летнего чтения прежде всего определялся обязательной и дополнительной программами по литературе и истории. Читал я для своего возраста медленно, часто отвлекался, терял нить и возвращался назад – иногда намеренно, если прочитанное будило мою фантазию. Однако благодаря организационным усилиям Б. Я. Хазанова, записавшего и сопровождавшего

меня в находившуюся неподалеку детскую библиотеку, и упорству Н. Я. Хазановой, которая неукоснительно соблюдала режим дня с отведенным для обязательного чтения временем, я за лето выполнял значительную часть школьной программы.

Предпочтение отдавалось историческим повестям и романам. Безусловный авторитет в девяти-одиннадцатилетнем возрасте завоевали В. Скотт и М. Твен. За пределами обязательного чтения меня тогда захватывали рассказы А.-К. Дойля. Черные томики серии «Подписные издания» из домашней библиотеки Корзухиных были для меня своего рода «страшным местом»: приключения Шерлока Холмса щекотали нервы, служили инструментом испытания своих способностей преодолеть страх, а также играли роль прикладного пособия для раннеподростковых игр: «Пляшущие человечки», например, открывали головокружительные возможности для создания тайного языка.

Кажется, на летних каникулах после пятого класса я пережил второй в моем детстве конфликт с русской классической литературой. Первый относится к детсадовскому времени: меня смущали развлечения богатырей в «Сказке о мертвой царевне» А. С. Пушкина.

Перед утренней зарею  
Братья дружную толпою  
Выезжают погулять,  
Серых уток пострелять.  
Руку правую потешить,  
Сорочина в поле спешить,  
Иль башку с широких плеч  
У татарина отсечь,  
Или вытравить из леса  
Пятигорского черкеса.

В нашей группе детского сада был мальчик по имени Фарид с непомерно большой «башкой». Я стыдился каждый раз, когда воспитательница без тени сомнения, громко читала нам эти строки.

Второе неприятное столкновение с русской классикой вызвало чтение обязательной для изучения в школе повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба». Образ еврейского шинкаря Янкеля показался мне выписанным с такой неприязнью, что я не на шутку расстроился: я знал, что мой дед – еврей и что его отца тоже звали Янкелем. Мне стало ужасно обидно за доброго и умного дедушку. Я считал его самым надежным и мудрым человеком из всех, кого знал. Дедушка Борис воспринимался мною – и по праву – как самый верный друг.

## Фото и семейная коммуникация



Фото провоцирует разные истории, в том числе о внутри- и межсемейной коммуникации. Потенциал фотографии как средства общения родственников объясняется многообразием ее коммуникативных функций: фотоснимок выступает в качестве документации внешних событий и внутреннего состояния; служит его создателю и обладателю орудием самоидентификации, позволяя лаконично и убедительно рассказать о себе; помогает поддержать его владельцу память о прошлом.

Однако эти потенциальные функции могут реализоваться только в процессе коммуникации. Ее условием является культурная общность, общность «языка» участников коммуникативного взаимодействия:

«Лишь если наличествует интересубъективно сравнимое представление о протекании жизни, о ее общих и типичных фазах и событиях, может быть понято назначение фотографий как документального изображения развития личности. Таким образом, они служат *шифром*, который, правда, рассказывает о жизни личности не много, но все же достаточно, чтобы заполнить пустоты своими ассоциациями. Последние, в свою очередь, ориентируются на собственную жизнь. Поэтому фото служат постоянному сопоставлению и сравнению, они создают связь между своим и чужим. <...> Для того, кто показывает фотографии, существует возможность пользоваться ими как визуальным сокращением. Коммуникация посредством фотографий функционирует благодаря тому, что эти сокращения известны каждому и воспроизводятся при помощи фото при каждом общении» (GUSCHNER S., 234).

«Сверхчувствительными поверхностями коммуникации» (Frizot M., 708) – прежде всего, коммуникации семейной – снимки служили с момента изобретения фотографии. В викторианскую эпоху, когда средние слои стали ощущать ценность индивидуальности и независимости особо остро, обмен открытками и фотографиями – так же, как и краткие взаимные визиты – служил средством поддержания чувства общности без риска утратить собственную автономию. В условиях ослабления семейных традиций и связей, характерного для современного общества, коммуникация с помощью фотографии позволила преодолеть расстояние:

«Фотографии освобождают общение от необходимости присутствия, они обеспечивают виртуальное присутствие. Обмен фотографиями... призван оживить семейную переписку. По крайней мере, портреты на заре фотографии часто заказывались в большом количестве для родственников и дружеского круга... Фотографии – дешевая и простая форма символической интеракции,

ОНИ ОБЛЕГЧАЮТ СООБЩЕНИЯ О ПЕРЕМЕНАХ; БЛАГОДАря ОБМЕНУ ДРУГИЕ ИНФОРМИРУЮТСЯ О ТОМ ИЛИ ИНОМ АКТУАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ, ЧТО В СИТУАЦИИ РЕАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ МОЖЕТ СБИТЬ С ТОЛКУ, ТАК КАК ПЕРЕМЕНЫ ПО ТУ СТОРОНУ ФОТОГРАФИЧЕСКОЙ НЕПРЕРЫВНОСТИ НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ (“Ну ты и вырос!”)» (GUSCHNER S., 233).

Семейная коммуникация с помощью фото имеет множество форм. Это и дарение фотографий и фотоальбомов на день рождения, свадьбу, рождение ребенка; и обмен фотографиями в качестве приложений к письмам или в виде самостоятельных посланий, снабженных посвящениями, поздравлениями и прочей информацией на обороте изображения, а также по случаю предстоящей долгой разлуки между близкими родственниками или любимыми. К семейной фотокоммуникации относятся также различные формы реального контакта, в котором задействованы фотографии. Среди них – совместное листание альбомов во время встречи родственников по поводу какого-либо семейного торжества, сопровождаемое воспоминаниями о совместном прошлом; знакомство детей с семейными фотографиями, организуемое взрослыми, помимо прочего, в просветительских и дидактических целях; демонстрация хозяевами семейных фотографических собраний при первом визите гостей: допуск новых знакомых (в том числе новых родственников) к фотоальбомам – сигнал доверия, симпатии и готовности продолжить контакт.

Исследователи давно заметили, что без дополнительной информации фотографии бесполезны, поскольку многозначны и, следовательно, допускают множество толкований. Их значение резко возрастает, если они снабжены текстами, сообщающими о том, чего не видно на снимке. Надписи на фотографиях могут служить идентификации изображенного события или лица, то есть иметь документальный характер. Они могут содержать посвящение, комментарий или оценку изображенной ситуации или персоны. Наконец, надпись может быть сформулирована в виде реплики, создающей ситуацию общения между сфотографированным индивидом и зрителем.

Очерченные выше функции семейной фотографии, способы и формы семейного общения посредством фото могут быть проиллюстрированы с помощью фотографических собраний, относящихся преимущественно к середине XX века и принадлежащих семьям челябинских Нарских, подмосковных Нарских – Кузнецовых – Деминых и дзержинских Корзухиных и Кузнецовых. Последние унаследовали основную часть фотографий из домашнего собрания Н. Я. и Б. Я. Хазановых.

Большинство фотографий, не предназначенных для дарения и обмена, а сохраненных для личного пользования, к сожалению, не датировано. Некоторые из них помечены надписями, содержащими только дату съемки, или дату и место, или обозначение изображенного события. Так, на обороте групповой и коллективной



фотографий, запечатлевших Б. Я. Хазанова в связи с окончанием городского училища, сделаны пометки «15 мая 1913» и «1913 год. Выпуск городского училища, Быхов» с более поздней припиской «Могилевской губернии (БССР)». Фото, принадлежащее моим родителям, на котором Т. Б. Хазанова в группе молодых людей играет в волейбол, имеет пометку «Дом отдыха Гогрэс. 3 августа 1949 г.» Хранящаяся в Дзержинске профессиональная фотография начала 60-х годов помечена точной информацией, зафиксированной, по-видимому, организацией-заказчиком: «Челябинский гос. театр оперы и балета им. Глинки. “Лебединое озеро”. Зигфрид – арт. Владимир Нарский. Одетта – арт. Лариса Ратенко. Фото С. Гайдукова. Редакция газеты “Горняцкая правда”. г. Коркино». На обороте хранящихся в Челябинске моих подписанных детских фотографий, сделанных в Куйбышеве, Челябинске и Горьком в первой половине 60-х годов, за редкими исключениями, проставлена лишь дата и место съемки.

Такого же рода надписями снабжены фотографии из двухтомного альбома А. С. Пухальской. Как и ее письменные хроники, этот фотоальбом имеет, прежде всего, документальный характер. Два красных фолианта заполнены снимками родственников семей Пухальских и Хазановых по дюжине генеалогических линий. Каждая линия открывается «генеалогическим древом», за которым следуют оригиналы и копии одиночных и групповых фотоснимков, вклеенные в хронологическом порядке, с последней трети XIX столетия до наших дней. Под фотографиями в различных комбинациях подписаны год, место съемки и имена изображенных персон. Работа по сбору уникальной альбомной коллекции фотографий началась в 60-х годах и растянулась на десятилетия.

В отличие от описанных выше случаев в семейных собраниях встречаются снимки для внутрисемейного пользования, тексты к которым, тем не менее, не только идентифицируют, но и комментируют сфотографированное событие. Например, на оборотной стороне фотографий из наследия матери моего отца, М. А. Нарской, запечатлевших спортивные соревнования, в которых участвовал ее будущий муж П. П. Кузовков (Нарский), сделаны такие надписи: «Мужская легкоатлетическая сборная команда Текстильщиков, взявшая первенство союзов по легкой атлетике. 1924 г. 14-го сентября»; «Мужская и женская легкоатлетическая команда Краснопресненского района ф-ки Трехгорной, взявшая первенство по легкой атлетике и получившая знамя 2-х групп текстильщиков. 21/IX – 24 г.» На обороте фото, на котором изображен двадцатилетний Павел Кузовков, пересекающий финишную черту с таким отрывом, что бегущих позади едва можно различить, красуется горделивый комментарий: «Оканчиваю 7х1000 эстафету первым. 21/IX – 24 г. На стадионе Красная Пресня». На всех снимках этой спортивной серии имеется

штамп фотографа: «Фотограф Н. Петров. Смоленский рынок. М. Толстовский 10, кв. 1, тел. 5-93-83».

Однако значительная часть фотографий моих близких родственников была изначально предназначена для семейной коммуникации. Поводом для нескольких из них, в том числе наиболее старых в их семейных собраниях, послужила предстоявшее расставание надолго, если не навсегда. Вот один из снимков, датированный 7 июня 1912 года. Он хранится в альбоме, который принадлежал М. А. Нарской. На фото изображена девушка в учебной форме. На обороте надпись: «Милой Марусе от Нины Соболевой». Фото, скорее всего, было сделано в связи с окончанием Филаретовского епархиального училища и предназначалось для дарения сокурсникам на память – после лет, проведенных вместе, предстояла разлука. Что ожидает впереди, было неизвестно. Возможно, именно Н. Соболева, работая в 20-х годах секретарем то ли у наркома просвещения А. В. Луначарского, то ли у председателя ВЦИК М. И. Калинина, помогала бывшей подруге по училищу, когда у М. А. Нарской начались неприятности в связи с «враждебным» происхождением.

Перед отправкой на фронт в 1915 году Борух Хазанов сфотографировался с сестрами Голдой и Саррой. Он увез собой фотооткрытку, на которой все трое изображены в нарядной, возможно, самой лучшей одежде. На обороте фотографии Голда написала: «24 / 2.1915 года. [На] память дорогому брату от любящих его сестер Голи и Сары в день отъезда и пребывания в Быхове». Справа, на месте для адреса, младшая сестра приписала: «Желаю счастья и скорого свидания. От любящей тебя Сарры». В том же году Б. Я. Хазанов отправил родителям снимок, на котором он снят в военной форме с группой сослуживцев. Фотография подписана: «На добрую и вечную память дорогим родителям. Борис. 19 XIX / IV 15 г. Козлов». В этой подписи обращают на себя внимание два момента. Во-первых, он подписался русским именем, во-вторых, тонкие нюансы русского языка еще были ему недоступны. Его послание двусмысленно: «добрая память» предполагает воспоминание о живом, «вечная память» – об усопшем.

Аналогичные фотографии «на память», преодолевающие расстояние и опасения за будущее, были популярны и в советское время. Массовая миграция, рвавшая семейные узы, и пугающая неопределенность завтрашнего дня позаботились о популярности этого «жанра» семейной коммуникации. В 1942 году четырнадцатилетняя Тамара Хазанова подарила своей двоюродной сестре Лоре Рывкиной, с которой до войны была очень дружна, свою крошечную – 2×3 см – фотокарточку с посвящением «Милой сестренке от капризульки на память». В первой половине 1950 года, в преддверии и начале армейской службы, Владимир Нарский отправил из Сталино целую серию своих фото с такими подписями:

На память дорогой мамуле. Последние дни театральной жизни.  
МАРТ 1950 г. НАРСКИЙ.

МАРТ 1950 г. На память моей милой Виолеттке. Мужайся, бери быка за рога. Твой брат В. НАРСКИЙ.

На память моей милой сестренке. «Всегда вспоминаю тебя только как настоящего человека». г. Белая Церковь. 1 / V-50 г.

Актом дарения в подлинном смысле слова была фотография-послание Натальи Корзухиной, уехавшей в 1970 году на учебу в Челябинск, родителям, праздновавшим в том году двадцатипятилетний юбилей супружества. На обороте художественного фотопортрета очаровательной семнадцатилетней девушки полудетским почерком выведено поздравление:

Мои дорогие мамочка и папочка! Мои милые *молодые!* (без кавычек) Поздравляю вас с вашим огромнейшим юбилеем. Желаю здоровья, бодрости, отличного настроения. Будьте такими же красивыми и счастливыми, как в день “серебряной” свадьбы. Целую, ВАША НАТАША.

Некоторые подаренные на память фото представляют собой акт целенаправленного поддержания связи между поколениями. В июне 1954 года семидесятивосьмилетняя, но все еще красивая З. И. Лазарева разослала из Львова своим разбросанным по всей стране детям, в том числе Н. Я. Хазановой, экземпляры своей «свежей» фотографии с посвящением «На память дорогим детям от мамы». А когда Татьяна Корзухина окончила восьмилетку, Хазановы подарили ей свою первую совместную фотографию с дарственной надписью:

На долгую память дорогой, любимой внучке Танечке. От любящих бабушки и дедушки. Б. Я. и Н. Я. Хазановы. 14 АВГУСТА 1962 г.»

В углу фотографии сделана пометка «снимок с 28 ноября 1922 г.

Возможно, это фото-послание имело дидактический подтекст: девушке, начинавшей новую, почти «взрослую» жизнь, демонстрировался образец счастливого сорокалетнего супружества.

Большая часть фотографий, служивших медиумом межсемейной коммуникации на расстоянии, – это снимки детей. Подписи к ним, сделанные исключительно взрослыми женского пола (матерью, бабушкой), комбинируют информацию о сфотографированном ребенке с конструированием ситуации его виртуального общения с адресатом:

Дорогой тете ТАМАРЕ от Танечки (Танечке 8 мес.) 5 / VIII 47 г. г. Дзержинск.

ТЕТЕ ТАМАРЕ от Танечки. Люби и помни свою племянницу. Дзержинск, 3 / IX-53 г.

ТЕТЕ ВИОЛЕТТЕ и дяде ВОЛОДЕ от племянницы Мариночки (2<sup>1/2</sup> месяца). Горький, 14 / VIII-57 г.

БАБУШКЕ ОТ ВНУЧКИ МАРИНОЧКИ. Ей здесь 2<sup>1/2</sup> месяца. Горький, 14 / VIII-57 г.

БАБУШКЕ МАРИИ ОТ ВНУЧКИ МАРИНЫ. Нам очень нравится елка и нравится жевать яблоко. Куйбышев, декабрь 1957

ДОРОГИМ ТЕТЕ, ДЯДЕ, СЕСТРИЧКАМ КОРЗУЖИНЫМ ОТ ИГОРЕЧКА НАРСКОГО. Мне 4<sup>1/2</sup> месяцев, я с мамой. г. Куйбышев, 18 / VI-[59 г.]

ВЕРОЧКЕ И ТЕТЕ ВИОЛЕТТЕ. «Вот какой я стал, а какой буду...» ИГОРЮ 7 месяцев. Горький, 9 сентября 1959 г.

ИГОРЮ 7 месяцев. На память бабушке от внука. Горький, 9 сентября 1959 г. Мне всего 10 м[есяц]ев. 28 / XI-59 г. г. Куйбышев.

ДОРОГИМ ДЯДЕ, ТЕТЕ, СЕСТРИЧКАМ ОТ ИГОРЕЧКА. Куйбышев, 6 / III-60 г.

На память тете Виолетте и Верочке от Игоря. Ноябрь 1960 г. г. Куйбышев.

На память бабушке Маше от внука Игоря. Ноябрьские праздники 1960 г.г. Куйбышев.

БАБУШКЕ МАНЕ ОТ ВНУКА ИГОРЯ. «Дорогая бабушка, здесь мне 1 год и 10 месяцев, и я страшно зарос, а в парикмахерскую боюсь идти». г. Куйбышев, ноябрь 1960 г.

ДОРОГИМ МАМОЧКЕ И ПАПОЧКЕ ОТ СЫНОЧКА ИГОРЕЧКА. 3 мая 1961 г. г. Горький.

«Мне здесь 2 года 9 месяцев, не смотрите, что я такой маленький, – я большой озорник». Челябинск, ноябрь [1961].

Дорогой бабушке Мане от Игоря. «А я все расту и расту». Челябинск, декабрь 1961 г.

Из этого перечня подписей к детским снимкам можно увидеть, во-первых, что некоторые фотографии рассылались с почти одинаковыми текстами по разным адресам одновременно, чтобы никого не обидеть. Значит, отправитель считал эту рассылку обязательным и важным актом общения. Во-вторых, фотографии – мои и старшей сестры Марины, умершей в младенческом возрасте, – адресованные матери отца и семье его сестры, в ряде случаев содержат более пространственные подписи. Вероятно, таким образом отправивший их должен был компенсировать недостаток общения с ними. Кроме того, учитывая некоторые шероховатости в отношениях с М. А. Нарской, Т. Б. Хазанова с помощью детских фотографий подспудно пыталась подчеркнуть свою лояльность к семье мужа. Это предположение отчасти подтверждается сопроводительными текстами к некоторым другим фотоизображениям. «На память маме от дочери Тамары» – стоит на обороте фотографии из Горького, подписанной 14 августа 1957 года. А на обратной стороне куйбышевской фотографии, изображающей семью В. П. Нарского с приехавшей в гости М. А. Нарской, в октябре того же года начертано: «Вот таким семейным кругом мы и живем».

Среди семейных фотографий в собрании М. А. Нарской и ее дочери В. П. Кузнецовой одиночных снимков невестки почти нет. Зато здесь много фотографий сына за 1950–1962 годы. В этот сложный период становления профессиональной и личной жизни ему не хватало сестры и матери, которая была для него важным жизненным

ориентиром. Вот эти послания, отчасти озорные и дурашливые, как и фотографии, которые были ими украшены:

МАРТ 1950. МОЕЙ МАТЕРИ: «Я ГОРД, ЧТО ЯВЛЯЮСЬ МАЛЕНЬКИМ ВИНТИКОМ БОЛЬШОГО МЕХАНИЗМА АРМИИ». ТВОЙ СОЛДАТ В. НАРСКИЙ».

ПРИВЕТ ОТ СОЛДАТ. ПОЗДРАВЛЯЕМ С НОВЫМ ГОДОМ, ЖЕЛАЕМ УДАЧИ.

БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ, ДЕКАБРЬ 1950 Г. (НА ФОТО В. П. НАРСКИЙ СНЯТ СО СВОИМ ДРУГОМ И. В. КУЗНЕЦОВЫМ – И. Н.).

МОИМ ДОРОГИМ МАМОНЬКЕ И СЕСТРИЧКЕ. ХОТЬ И ДАЛЕКО ОТ ВАС, НО ВСЕГДА С ВАМИ.

ПОДПИСЬ. АПРЕЛЬ 1952 Г.

НА ПАМЯТЬ МОЕЙ ДОРОГОЙ СЕСТРУЛЕ ГУТЕНЕ. НЕ ЗАБЫВАЙ СВОЕГО КОЛОБРОДА.

ПОДПИСЬ.

ВЯТКА, АВГУСТ 1955 Г., ГАСТРОЛИ БЕЛОРУССКОГО Т[ЕАТ]РА.

МОИМ ДОРОГИМ ДАЛЕКИМ МОСКВИЧКАМ МАМОЧКЕ И СЕСТРЕНКЕ. СТАЛИНО, ЯНВАРЬ 1956 Г.

ДОРОГОЙ МАМУЛЕ ОТ СТАРШИХ ДЕТЕЙ. ЯЛТА, 23.07.56 Г.

МАМУЛЕ ПРИВЕТ С КАВКАЗА ОТ СЫНА. Г. ОРДЖОНИКИДЗЕ, АВГУСТ 1957 Г.

Немало среди шутивно подписанных фотографий, присланных В. П. Нарским матери, снимков из балетных партий, документирующих его профессиональные успехи:

ДОРОГОЙ МАМУЛЕ ОТ СТРАСТНОГО «ГУСАРА». ЧАРДАШ, «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». ДЕКАБРЬ 1956 Г., КУЙБЫШЕВ.

НА ПАМЯТЬ СЕСТРЕНКЕ И МАМЕ. «СТРЕЛЯЙ В РЕВОЛЮЦИЮ». САША. «ПОСЛЕДНИЙ БАЛ».

ОКТАБРЬ 1961 Г. ЧЕЛЯБИНСК.

ОТ СЫНА-ГРЕШНИКА ЧЕРТОВСКИЙ ПРИВЕТ.

КУЙБЫШЕВ, ДЕКАБРЬ 1957 Г. (НА ФОТО ИЗОБРАЖЕН САТИР В «ВАЛЬПУРГИВНОЙ НОЧИ» ИЗ ОПЕРЫ «ФАУСТ» – И. Н.).

Наибольшее количество фотографий родственников в семейном альбоме М. Б. Корзухиной, посвященном Нарским, – фотоснимки младшей сестры, Т. Б. Хазановой, и ее мужа, подаренные или присланные в Горький и Дзержинск между 1946 и 1962 годами. Это было время начала самостоятельной жизни Тамары – учебы в Ленинграде, работы в Сталино, Куйбышеве и Челябинске, замужества и рождения детей. Фотографические послания Тамары – обращения к старшей сестре Мире и родителям. Они содержат смесь посвящений, информации о профессиональных достижениях, восторженных, не без патетики, комментариев по поводу избранной профессии, самооценок, ожиданий. Судя по сохранившимся фотографиям, адресатом посланий является преимущественно Мира. Впрочем, не исключено, что фотокарточки-дубликаты, отправленные родителям, после их смерти были изъяты из семейного собрания. На одном из снимков сделана запись, свидетельствующая, что он был создан для коммуникации: «два портрета, две открытки».

Фотографии должны были преодолеть расстояние между членами дружной семьи, болезненно переживающими вынужденную разлуку. Фото были призваны утешить, поддержать, создать иллюзию присутствия:

Горький, 8 / I-46 г.

Дорогая сестричка!

Это я сфотографировалась в оперетте «Коломбина». Ну что поделаешь, если твоя сестра такая сумасбродная. Но посмотри на эту карточку, и ты поймешь, что никакая другая специальность вне области искусства меня не удовлетворит.

Мирочка! Прошу тебя хранить эту карточку как память о моем вступлении на поприще искусства.

Дорогая сестричка!

Решила сегодня написать тебе это фото. Оно от 1947 г. Сегодня 14/VII-1950 г. Много воды утекло. Моя мечта осуществилась. Этот год – последний год моей учебы. Очень рада, что все так кругом хорошо.

Вечно благодарная твоей семье.

Любящая Тамара.

В память о концертах в Ленинграде. Люблю танцевать! Дорогим и любимым родителям от непутевой дочки. Тамара.

Ленинград, 13.03.51 г.

Дорогой сестричке в память о моем отпуске в 1953 г. Надеюсь, что скоро «совсем» большой семьей будем так же весело смеяться.

Твоя любящая Тамара.

г. Горький, 25 / IX-53 г.

Дорогой Мирочке от любящей Тамарочки.

г. Сталино, 10 / II-56 г.

Одно из фото Тамары Хазановой, одновременно посланное родителям и сестре, выбивается из общего числа изображений, на которых она обычно запечатлена в театральном костюме, в гриме и с задорной улыбкой. Возможно, мне так кажется, поскольку я знаю спрятанную за ним историю. Фотография помечена 16 марта 1951 года (через три дня после «Люблю танцевать!») – временем обидного, почти тайного вручения диплома о высшем образовании после нескольких месяцев травли по сфабрикованному обвинению. На фото – двадцатидвухлетняя модно одетая девушка в кокетливо сдвинутой набок шляпе, приталенном пальто, туфлях и перчатках, держащая светлый сверток. Обращенный вдаль взгляд серьезен и печален, быть может, несколько растерян или подавлен – во всяком случае, настолько нетипичен для ее снимков, что в одном из посланий она сочла необходимым дать объяснение. На оборотах двух экземпляров записаны посвящения:

Дорогим маме и папе от Тамары в год окончания консерватории.  
Ленинград. 16.03.51 г.

Дорогой и любимой сестричке Мирочке, Коле и резвушка Танечке от сестры и тети Тамары в год окончания консерватории. Так же внимательно, как и на фото, смотрю на ящик и жду ваших писем.

Ленинград. 16.03.51 г.

Большинство фотографий, присланных в Горький и Дзержинск В. П. Нарским, отражают специфику его профессии. Это постановочные снимки балетных партий, сделанные после спектаклей. Все они относятся к начальному периоду работы в Куйбышеве и Челябинске. Надписи на оборотах – поясняющего характера, часто почти идентичные подписям на фотографиях, посланных им матери. Посвящения носят характер декларации нового семейного статуса:

На память маме и папе. Примите это неудачное изображение Бриена.

САМАРА, ФЕВРАЛЬ 1957 ГОДА.

ЧЕРТОВСКИЙ ПРИВЕТ ОТ ЗЯТЯ-ГРЕШНИКА.

КУЙБЫШЕВ, ДЕКАБРЬ 1957 Г.

МАМЕ И ПАПЕ ОТ ВОЛОДИ. САША И КАТЯ. БАЛЕТ «ПОСЛЕДНИЙ БАЛ».

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА. МАРТ 1962 Г.

Естественно, подписи В. П. Нарского к фотографиям, посланным родственникам жены, более сдержанны, чем к снимкам, отправленным в дом матери. Или в этой сдержанности – следы некоторых трений с родственниками Т. Б. Хазановой?..

Совокупность коммуникативных функций фотографии, по убеждению Пьера Бурдьё, обеспечивают фото важную роль в интеграции семьи. Современные исследователи относятся к этому тезису с осторожностью. Штефан Гушкер, например, справедливо считает, что другие предметы повседневного обихода могут служить инструментом семейной интеграции в большей степени, чем фотографии. Вместе с тем, способность фотографии визуализировать информацию и преодолевать расстояние, и таким образом служить предпосылкой для усиления семейной коммуникации, им также не отрицается:

«Фото могут служить интенсификации контактов, в связи с ситуацией их изготовления они пригодны для взаимного обмена. Они служат подчеркиванию специальных усилий (например, заставляют помнить о заказе дополнительного экземпляра)» (GUSCHNER S., 235).

Фотоснимки не столько интегрируют семью, сколько выражают стремление к ее сплочению и поддержанию целостности. Эта функция фотографии особенно наглядно проявляется в семейном альбоме. Включение фотографий молодоженов или новорожденного в альбом, как и знакомство нового члена семьи с ее семейными фотособраниями, является своеобразным ритуалом введения в коллектив и признанием законного начала новой генеалогической линии.

Фотоальбом интегрирует не семью, а сами фотографии. Он приводит их в систему. Вне зависимости от типа фотоальбома – се-

мейного, событийного, автобиографического – он позволяет его автору и владельцу упорядочить свою жизнь, выстроить свой мир по линейному принципу.

Старейший альбом в семейных фотоархивах моих близких родственников относится приблизительно к 1912 году, времени окончания М. А. Нарской Филаретовского епархиального училища. Альбом малого формата в матерчатом зеленом переплете, под фотокарточки-визитки размером 6×9 см, расположенные с двух сторон пятнадцати толстых картонных листов с золотым обрезом, украшен латунными пряжкой и цветком в стиле «ар нуво». Он хранит неподписанные фотографии родителей М. А. Нарской, начиная с младенческого и детского возраста (то есть с 70-х годов XIX столетия), ее дедушек в повседневном священническом облачении и их жен, а также снимки других, неизвестных потомкам родственников и фотопортреты подруг по училищу. Для моей двоюродной сестры Веры Деминной он – семейная реликвия, свидетельство связи времен, предмет гордости и источник поэтического вдохновения. Среди принадлежащих ей строк есть и такие:

В старинном альбоме старинные лица  
Глядят вдохновенно со старой страницы.  
Приятно увидеть столь девушек юных,  
Еще не узнавших годов, столь безумных.

Ах, их не коснулись в двадцатом столетье  
Ни гром революций, ни бед лихолетье.  
В старинном альбоме глядят со страницы  
И бабушка с няней, и прочие лица.  
Как странно увидеть в том облике нежном  
Родные глаза, что еще безмятежны.  
Достойная пара супругов предстала –  
Прабабушка с мужем пред мною стояла.

В старинные годы – давно это было,  
Забывшие лица судьба мне дарила.  
Они говорили со мною о многом:  
О жизни, любви, нам дарованной Богом.  
В старинном альбоме старинные лица  
Глядят безмятежно со старой страницы...


Наиболее полный, упорядоченный и не тронутый позднейшими вмешательствами альбом с советскими фотографиями 40–60-х годов в кругу моих близких родственников принадлежит М. Б. Корзухиной, старшей сестре моей мамы. Она же является его



составителем, начиная с рубежа 50-х–60-х. Большой альбом, рассчитанный на две фотографии форматом 8,5×11,5 см на каждой странице, переплетен в твердую дерматиновую обложку коричневого цвета с тиснеными лиловыми ирисами. На форзаце – надпись: «Тамарина семья. Родственники». Большинство фотографий-посланий, присланных в Дзержинск и Горький, хранится в нем примерно в том же порядке, в каком приведены выше подписи к ним.

В 2005 году М. Б. Корзухина по причине пошатнувшегося здоровья переехала к старшей дочери, Татьяне. При перевозке ее вещей семейные фотографии, за исключением фотоальбома «Тамарина семья», из соображений экономии веса и объема скарба были изъяты из альбомов и отчасти утрачены. Тетя Мира горько сокрушается по поводу этой потери. Еще бы: фотоальбом больше суммы хранящихся в нем фотографий, которые, вне зависимости от того, подписаны они или нет, превращаются во взаимосвязанные, указывающие друг на друга части целостного послания. Совокупное послание фотоальбома – хронологически выстроенный (авто)биографический рассказ о крепкой семье, счастливом прошлом и успешной жизни.

## Биография и автобиография

 Проблемы, с которыми столкнулись поборники «устной истории», относятся не только к интервью, но и ко всему комплексу эго-документов, в том числе к биографии и автобиографии. Скептическое отношение к биографии как жанру и методу исторического исследования, сомнения в достоверности (авто)биографических свидетельств отразились в отмечаемом многими историками кризисе биографии в XX столетии. В первой половине прошлого века историки уступили этот жанр романистам. Социальные и политические потрясения XX века породили сомнения относительно свободы личности, ее способности «делать» историю и управлять собственной судьбой. Классическая биография «великой» личности в духе XIX столетия, поставляющая примеры для подражания, стала восприниматься как анахронизм. Скепсис в отношении биографизации прошлого как нельзя лучше запечатлелся в победе классической социальной и структурной истории 70-х годов XX века. Вопрос о соотношении структуры и личности и значении последней в историческом процессе был решен в пользу структуры. Действующий в истории человек стал вытесняться социальными процессами, превратившись в зависимую от них марионетку, деградировав до уровня насекомого, тщетно пытающегося вырваться из «паутины» структур. Эта тенденция применительно к 60–70-м годам минувшего века ясно читается в столь, казалось бы, разных историографических явлениях, как французская школа «Анналов», Билефельдская

школа социальной истории в ФРГ, клиометрия в США и пронизанная верой во всемогущество исторического прогресса историография в СССР. Попытки американских историков того периода спасти биографию с помощью психоаналитических подходов оказались малоэффективными: личность была изолирована от среды, без чего историческая биография утрачивает смысл.

Лишь в 80-х годах XX века неожиданные исторические перемены планетарного масштаба актуализировали в гуманитарных и социальных науках вопрос о взаимодействии личности и общества, индивида и структуры. В историографию стали возвращаться человек и микроструктуры повседневности, восприятия и опыта. В этой связи биография получила новый шанс на существование, о чем свидетельствует ее растущая популярность в последние годы.

Усиление интереса к биографии в историческом цехе в последнюю четверть века сопровождается переосмыслением ее возможностей и отказом от ряда клише классической исторической биографии XIX века, в первую очередь – от представления об объективности, якобы естественной хронологической последовательности, единстве и целостности человеческой жизни, рассказываемой для поучения современников и потомков. Убеждение в том, что биографическое описание отмечено печатью непосредственности и «подлинности», оценивается ныне как «биографическая иллюзия». Являясь результатом многих интеллектуальных и научных операций, биографический рассказ, по мнению современных исследователей, принадлежит к числу наиболее трудных жанров историографии.

Понимание субъективности и конструктивистского характера биографии и автобиографии сопровождалось растущим осознанием историчности и относительной молодости этих феноменов. Потребность рассказывать о жизненном пути светского человека возникла в период между поздним средневековьем и концом XVIII века в связи с процессами дифференциации и индивидуализации европейских обществ, с ростом социальной мобильности населения и обострением конфессиональных конфликтов, с усилением административных аппаратов и их нарастающим стремлением поставить общество под свой контроль.

С ослаблением и распадом сословных структур обнаружилось, что за сходным настоящим людей может скрываться разное прошлое. Рост социальной подвижности в условиях неокрепших государственных инстанций контроля над обществом создавал беспрецедентные возможности для манипулирования личной идентичностью. До 80-х годов XIX столетия в Европе можно было без труда изменить свои персональные данные – достаточно было знать место и дату рождения того, за кого хотелось себя выдать, чтобы получить соответствующее свидетельство о рождении. (Такое положение дел

впечатляюще отражает книга Н.-З. Дэвис «Возвращение Мартина Гера» и снятый по ее мотивам фильм «Соммерсби».)

Столь нестабильная ситуация порождает неуверенность «благопристойной» части общества по поводу «подлинности» окружающих, а также любопытство в отношении оберегаемых индивидуум личными тайн.

«Индивидуализм, которым был отмечен [XIX] век, достиг кульминации в неокантианстве господ и, одновременно, в открытии Пастером микробов, разрушающих организм. Если перенести биологическую модель Пастера на социальный организм, контроль над индивидуумом становится необходимым для выживания общества.

Одновременно страх перед повреждением собственного «я» и его тайн пробудил огромное желание расшифровать личность, запрятанную в другом человеке, и вторгнуться в его интимную сферу. На этой невысказанной тяге основывался снобизм инкогнито, из нее в конце века выросла страсть писать анонимные письма и подглядывать, и она объясняет «изобретение» сыщика, распутывающего следы. Еще в большей степени, чем Артур Конан Дойль, об этой новой склонности свидетельствует Гастон Леру: у него полиция интересуется не выявлением виновного, а его идентичностью или ее сокрытием» (Corvin A., 444).

В конце XIX века благодаря успехам техники проблема опасного для общества сокрытия идентичности, по крайней мере, в Западной Европе, была успешно решена. Более распространенными методами оказались физиономическая антропометрия А. Бертийона и постепенно вытеснившая ее по причине процедурной простоты дактилоскопия У. Гершеля – Ф. Гальтона. Но и с фотографией, особенно во Франции, связывались большие надежды на персональную идентификацию. Так, французская полиция с 1876 года стала использовать фотографию для установления личности.

Параллельно, не без усилий государства, победила успокоительная концепция индивидуальной жизни как целенаправленного линейного движения с началом, этапами и концом. Непременной частью делопроизводственных материалов стали бумаги с хронологически упорядоченными персональными данными. Усложнение общественных структур, неопределенность настоящего и будущего, одиночество индивида и необходимость управлять собой изнутри способствовали, в конечном счете, созданию концепции жизненного пути как наделенной смыслом целостности.

Научная рефлексия по поводу происхождения (авто)биографии способствовала, в свою очередь, переосмыслению этого феномена и его функций. Биография и автобиография рассматриваются ныне как форма размышлений человека о чужом и собственном

опыте, как способ осмысления времени, пространства и брэнности существования, как сеть метафор, упорядочиваемых и наделяемых смыслом в момент написания и чтения.

(Авто)биография служит определению и поддержанию человеческой идентичности и, одновременно, сохранению целостности и преемственности социальной группы и общества. Автобиография – это всегда попытка осветить собственное «Я», понять свое отличие от других, свою особость в потоке времени и синхронизировать свою жизнь с жизнью социального окружения. Не случайно автобиографические тексты возникли в рамках религиозных движений пиетизма и пуританизма, в связи с принадлежностью конкретного лица к группе верующих, разделяющих коллективные представления о «правильном» ведении жизни. В отличие от мемуаров, в которых личное является поводом для описания исторического контекста, в автобиографии главным героем является индивидуум.

С усложнением общества возникает и утверждается новый тип человеческой памяти – автобиографическая, отличающаяся от памяти эпизодической. По определению нейропсихолога Ганса Марковича и социолога Гаральда Вельцера, автобиографическая память представляет собой «био-психо-социальную инстанцию, которая создает реле между индивидуумом и средой, между субъектом и культурой» (Markowitsch H. J., Welzer H., 259–260). Она выполняет те же функции, что и автобиографические тексты.

«Автобиографическая память позволяет не только маркировать воспоминания как *наши* – она образует временную оценочную матрицу нашего “я”, с помощью которой мы можем измерить, в чем и как мы изменились, а в чем и насколько остались прежними. И она предлагает выравнивающую матрицу в отношении определения, оценки и суждения о нашей личности, которые непрестанно практикует наше окружение. Кто не испытал бы легкой, а может, и тягостной растерянности, если бы кто-нибудь в удивлении воскликнул: “Ну и изменился же ты”? Желание преемственности не является только индивидуальным; без континуитета в самоопределении своих членов не смогли бы функционировать группа и общество, потому что взаимодействие – эта центральная категория человеческой техники существования – обеспечено лишь в том случае, если люди сегодня наверняка те же, какими они были вчера и какими будут и завтра» (там же, 260).

Есть основания предполагать, что популярность биографии и автобиографии нарастает в обществе в периоды завершения серьезных социальных и политических трансформаций, когда вчерашние события вдруг начинают восприниматься как необратимое прошлое. В таких ситуациях возникает настоятельная потребность

в подведении итогов и определении своего места в изменившейся среде, жгучее желание осмыслить перемены и добиться согласия между ожиданиями внешней среды и собственными мироощущениями. Такая потребность имеет социокультурный аналог и на микроуровне индивидуальных перемен: желание рассказать о своей жизни возникает, как правило, во второй половине жизни, в связи с недвусмысленными симптомами старения.

Склонность к созданию письменного или устного автобиографического повествования может драматично обостриться также в связи с кризисом идентичности, обусловленным резкими переменами в жизни и восприятию себя индивидом, которые не обязательно связаны с утратой социальных позиций вследствие старения:

«Если заявленная статусная принадлежность или предвосхищенное развитие карьеры кажутся проблематичными из-за резких ролевых конфликтов, очевидных разочарований или простой неудачливости, индивид ощущает потребность в саморефлексии по поводу своей жизни» (Bude H., 19).

Современные исследователи исходят из тезиса, что правдивость (авто)биографии иллюзорна, поскольку биографический и автобиографический тексты неизбежно основаны на отборе, искажениях, манипуляциях и умолчаниях. Предложения по обеспечению контроля над исследовательским процессом при работе с текстами этого жанра многообразны. По мнению Жака Ле Гоффа и Сары Ванессы Лозего, биография должна более других исторических подходов ориентироваться на создание эффекта реальности и диалог между автором и читателем – усилия, считавшиеся ранее prerogative литераторов.

«Конечно, “эффекты реальности” историка зависят не только от его стиля, от его владения пером, – пишет Ж. Ле Гофф в предисловии к биографии Людовика Святого. – Скорее, он должен настолько хорошо знать источники и эпоху, в которой живет его герой, чтобы быть в состоянии с помощью “подходящего демонтажа” освободить из источника и разговорить ключевые “эффекты реальности”. Проще говоря, он должен быть в состоянии отшелушить эти источники и вытащить на поверхность то, что представляется убедительной исторической действительностью» (Le Goff J., 6).

Диалог автора с читателем, по мнению Сары В. Лозего, основывается на том, что «обе стороны, биографы и реципиенты, полагают знанием об определенных общепринятых, коллективно-культурно заданных формах производства правды, о привычных и общественно санкционированных (коммуникативных) техниках проверки на подлинность истории жизни, своей или другого человека, о техниках, которыми автор (авто)биографии должен владеть, что-

бы в глазах читателей придать необходимую достоверность тому, что они рассказывают о себе или о ком-то другом» (Losego S. V., 38–39).

Пьер Бурдьё видел выход из ловушки «биографической иллюзии» в интерпретации биографических событий как перемещений человека в социальном пространстве: жизненный путь, согласно его концепции, можно понять, конструируя сменяющие друг друга состояния социального поля, по которому он проходит. Современная биография, считал он, невозможна вне анализа объективных отношений, объединяющих актера с другими актерами, действующими на этом же поле.

«Попытка постичь жизнь как единственную в своем роде и самодостаточную череду последовательных событий, без иных скреплений, кроме субъекта, постоянство которого, безусловно, состоит только в его имени, почти так же абсурдна, как попытка объяснить линию метро, не учитывая общую подземную транспортную сеть, то есть матрицу объективных связей между различными станциями» (BOURDIEU P. PRAKTISCHE VERNUNFT, 80).

Для Марко Эрдхайма центральной задачей автора и читателя биографии является рефлексивное самопознание через опыт описываемой персоны. Если участники биографической интерпретации не готовы к познанию самих себя, если биография для них – внешняя и чужая материя, (авто)биографическое исследование деградирует и для автора, и для читателя до уровня подсматривания в замочную скважину.

«Нужно сплетничать не столько о других, сколько о самом себе, – пишет он. – Тем самым сплетня приобретает новое измерение, она становится самокритичной предпосылкой к лучшему пониманию других. В таком случае речь пойдет уже не о том, чтобы обесценить, исключить других и на основе этой стратегии выстроить собственную власть, а о том, чтобы узнать в чужом собственное, а в собственном – чужое» (ERDHEIM M., 188).


Еще накануне нового бума последних лет вокруг жанра исторической биографии историки связывали с ней надежды на преодоление недостатков социальной и структурной истории 60–70-х годов XX века. В биографии видели возможность оживить ограниченную реальность, поставившуюся этими направлениями историографии, репрезентировать историческую действительность, которая сложнее любой сконструированной ученым структуры. Биографический подход, казалось, в состоянии пролить свет на проблему человеческой свободы и ответственности, поскольку в центре его интереса – действующий и ошибающийся человек.

Возможно, биографии действительно удастся заполнить пустоты, зияющие между личностью и обществом, в традиционно контрастном представлении об этих феноменах. Быть может, она

сможет показать, как пространство и время принимают конкретную форму в жизни людей. (Авто)биографический подход, наверное, лучше других в состоянии продемонстрировать, как нормативные системы – всегда отмеченные неизбежными противоречиями – функционируют на микроуровне человеческих решений и поступков.

Сложности (авто)биографических попыток осмысления прошлого, определения настоящего и предугадывания будущего весьма красноречивы, как и проблемы интерпретации биографического и автобиографического рассказа. Они как нельзя лучше иллюстрируют тезис, которым начиналась эта повествовательная линия: трудно найти свойство, более присущее человеку и менее поддающееся изучению, чем память.

### Последние штрихи

 К моменту нашей встречи с Валери в Челябинске я надеялся вчерне закончить работу над первым вариантом манускрипта. Книга так захватила меня, что на следующий день по возвращении из Швейцарии я сел за рабочий стол, не дожидаясь физической и культурной акклиматизации. Работа, правда, шла медленнее, чем в Базеле. Внешние обстоятельства не позволяли максимально сосредоточиться, да и усталость после трех месяцев изматывающего труда, видно, давала о себе знать. Как бы то ни было, с 1 по 18 августа 2007 года была завершена работа над третьей главой, написаны заключение и пропущенный в Швейцарии сюжет о советском быте, материалы для которого остались в Челябинске. Рукопись выросла еще на полсотни страниц.

При этом обнаружилась необходимость новых структурных перестановок: «швейцарский период» работы над проектом никак не хотел уместиться в одно эссе, как предполагалось раньше. В итоге были написаны три фрагмента, которые должны были полностью заполнить «дневниковую» линию третьей главы. (Забегая вперед, скажу, что затем эти фрагменты были преобразованы в два, чтобы освободить место для пунктирного повествования о работе над рукописью в период между возвращением из Базеля и передачей рукописи в издательство. Сюжет о «последних штрихах» в этой книге, тот самый, с которым сейчас знакомится читатель, будет вчерне написан в последнюю очередь, в середине января 2008 года. С чем была связана частичная реорганизация третьей главы, читатель узнает чуть позже.)

Итак, рукопись в целом была завершена. Начинался новый этап: подготовка текста для презентации первым читателям, которыми должны были, в первую очередь, стать ныне здравствующие лица, запечатленные на страницах будущей книги. Другими сло-

вами, набирать и править текст. Эта работа началась 13–16 августа, когда были набраны пять файлов, имеющих прямое отношение к горьковским Хазановым и дзержинским Корзухиным. Первыми читательницами предстояло стать моей маме и ее старшей сестре. Несколько дней августа Т. Б. Нарская собиралась провести в Дзержинске, где и произошло первое чтение фрагментов будущей книги. С 24 августа в течение десяти дней набор был продолжен. Количество обработанных файлов возросло до двенадцати, а круг читателей расширен: с 6 по 9 сентября я собирался по делам в Москву и решил воспользоваться оказией, чтобы передать А. С. Пухальской (Басе) и дочери И. Я. Рывкина Л. И. Ивановой тексты, основанные на интервью с ними.

Лишь в начале ноября, после большого перерыва, я наконец приступил к систематической и последовательной компьютерной обработке рукописи. 18 ноября была завершена работа над первой частью, 11–28 декабря набрана вторая часть, долгие новогодне-рождественские каникулы ушли на обработку третьей части. Поздним вечером 12 января 2008 года я поставил точку (вернее, многоточие) в последнем предложении заключения. Оставалась работа над «Последними штрихами», которая будет завершена в последнюю очередь, только перед отправкой манускрипта издателю. Это естественно: продолжается сбор реакций на рукопись, а значит – и работа над текстом, и ведение исследовательского дневника.

Самое время объяснить, как в книге образовались «Последние штрихи». Вернувшись из Базеля, я не собирался вести дневник. Казалось, больше рефлексировать не о чем, важных для будущей книги событий не предвиделось. Но оказалось, что я ошибался. Первые же реакции читателей заставили меня насторожиться, а затем, по мере того как реакции множились, я понял, что пройти мимо темы столкновения людей со своей историей, кем-то выпрошенной, а затем обработанной и изложенной, не удастся. Я возобновил ведение дневника. Наблюдение за реакциями людей, читающих свою семейную историю, оказалось захватывающе интересным и весьма поучительным.

Честно говоря, первые читательские отклики меня расстроили и заставили призадуматься о публикации этой рукописи. Самой первой, невольной читательницей одного из фрагментов книги оказалась моя жена. Не успевая набрать необходимые файлы для отправки в Дзержинск, я в середине августа обратился к ней с просьбой напечатать фрагмент «Корзухины». Выполнив ее, Маргарита была растеряна и расстроена. Текст ей совершенно не понравился: слишком простой, совсем не в моем стиле, какой-то разговорный, «кухонный». Мы договорились тогда, что для вынесения окончательного вердикта этот «текстик», как и другие, нужно будет прочитать



в общем контексте, а я, несколько раздосадованный, про себя решил, что жена не увидит рукописи, пока я не закончу работу над ней. Это «принципиальное» решение означало некоторую задержку в работе: признаться, я надеялся, что Рита поможет мне набирать тексты, как это было на фазе завершения предыдущей книги.

Вернувшись из Дзержинска, мама принесла мне исправления в текстах, сделанные тетей Мирой. По ее словам, им обоим было интересно, многие детали из биографии их отца были им неизвестны. В общем, все очень понравилось. Правда, энтузиазма в ее голосе я не услышал. Из расспросов мне показалось, что Таню, старшую дочь Миры Борисовны, прочитанные ею фрагменты не впечатлили, а у самой М. Б. Корзухиной имелись существенные замечания к тексту о Корзухиных. Открыв написанные ею на отдельных листочках комментарии, я пришел в еще большее уныние. Наряду с дельными уточнениями в датах и фактах в записках тети Миры содержались замечания к некоторым фразам и оценкам. В частности, она предложила мне переформулировать прямую цитату из интервью с ее младшей дочерью, Натальей Хсиво, касающуюся отношений с отцом, Н. Н. Корзухиным. «Коля был вспыльчивым и жестоким, но не зверем и монстром, которым он у тебя выглядит», – писала она.

Здесь необходимо небольшое отступление. Тексты интервью, собранные мною за последние два с половиной года, превышают весь объем этой книги. Я изначально не хотел злоупотреблять их цитированием. Живая обыденная речь – не литературный текст, и в письменном зафиксированном виде она чаще всего выглядит довольно коряво. Я предпочитал мало-мальски литературно обрабатывать и давать почерпнутую из интервью информацию от лица автора, так как не ставил перед собой задачу основательного лингвистического анализа устных рассказов, превышающую пределы моей компетенции. И все же трудно было преодолеть соблазн и не воспользоваться в ряде случаев сочной прямой речью из интервью. После предложения тети Миры цензурно обработать цитату, не раскавычивая ее, которым я воспользоваться не мог, я почти полностью изъясил из текста цитирование устных историй, за исключением немногих случаев, которые просились в текст и не встретили возражений со стороны интервьюентов.

Кроме предложения снять нежелательный негатив в образе покойного супруга, Мира Борисовна прислала довольно много полезной информации о карьере старшей дочери. По стилистике эти сведения, правда, напоминали текст канцелярской положительной характеристики советского времени. В несколько препарированном виде они вошли в книгу. Коррективы, предложенные М. Б. Корзухиной, в очередной раз вернули меня к банальной мысли, которую, тем не менее, организатор интервью обязан брать в расчет: рассказчик

конструирует свое прошлое из сегодняшнего дня, и на его историю влияют многие актуальные обстоятельства, в том числе «дипломатические». Конечно, М. Б. Корзухина хотела, чтобы в положительном образе ее дочерей был некий баланс, тем более что она по состоянию здоровья живет у старшей из них. Политкорректность должна быть соблюдена, никаких намеков на предпочтение, отдаваемое родителями – пусть десятилетия назад – младшему ребенку, в семейной истории быть не должно. Что ж, учтем на будущее.

В начале сентября эти же и вновь набранные тексты, в том числе о различных формах семейной коммуникации, читали мои родители. 10 сентября оба разговаривали со мной по телефону. Наряду с положительными откликами прозвучали предложения, вызвавшие у меня смешанные чувства. И мама, и папа попросили убрать из текста несколько фраз, почерпнутых из интервью с ними. Аргументы были одного порядка: не так поймут, возможны осложнения в моей карьере...

Я опять вынужден забежать вперед. В начале ноября 2007 года я переправил августовско-сентябрьские файлы в Израиль, Наталье Хсиво. 12 ноября она перезвонила мне. На нее, от природы очень впечатлительную и тонко чувствующую, тексты произвели сокрушительное впечатление. Сильнее всего было чувство утраты, невозможности вернуться туда, в детство и молодость, к друзьям и дорогим старикам. Как я понимаю, у Наташи эта ностальгия отчасти была усилена жизнью вдали от тех мест, в которых она выросла. Ей, уехавшей из России еще до распада СССР, трудно понять, что и я живу в другой стране и меня не меньше, чем ее, тяготит невосполнимость утрат.

Во время телефонного разговора Наташа уточнила и поправила кое-что из прочитанного. Эти поправки тоже были связаны с нежеланием резких суждений. Ее муж Борис, прочтя в тексте о Корзухиных пассаж о том, что за его увольнением из консерватории могли скрываться антисемитские мотивы, дрогнув, стал вспоминать, что среди уволенных был кто-то из русских... «Что за интеллигентские штучки? – полушутя кричал я в трубку. – Чего вам неудобно? Кого вы боитесь обидеть?» Скрепя сердце, я кое-что вымарывал или смягчал в набранном тексте, а про себя думал: это нормально, люди борются за то, чтобы остаться в истории социально приемлемыми и не создавать неудобства другим ныне живущим. В своих историях они не хотели оставить место двусмысленности и лазейкам для их последующего переписывания.

Вскоре после первых, несколько настораживающих реакций на будущую книгу со стороны ее персонажей от них же начали приходиться отклики, о которых я не мог и мечтать и которые, честно говоря, застали меня врасплох. В моем исследовательском дневнике за 16 сентября значится следующее:

«Звонок мамы: И. Я. вызвали не к Берии, а к Сталину. Две двери – если помилует – обратно, если нет – в боковую. Визит – с чემоданчиком. Разговаривал с собеседником, прохаживаясь у него за спиной, то появляясь, то исчезая.

О ПОКУШЕНИИ НА ПРОГУЛОЧНОМ КАТЕРЕ ЗНАЛА И БАБУШКА!

3 СЕНТЯБРЯ, КОГДА Я ЕЕ СПРОСИЛ – НИЧЕГО НЕ ПОМНИЛА. ТЕПЕРЬ, ПРОЧИТАВ МОЙ ТЕКСТ – ВСПОМНИЛА!»

Обилие восклицательных знаков в записи выдает мое эмоциональное возбуждение в момент телефонного разговора. «И. Я.» – это Исай Яковлевич Рывкин, мамин дядя. В начале сентября я заканчивал набор текстов для передачи в Москве его дочери, Л. И. Ивановой, и поинтересовался у пришедшей в гости мамы, о чем они говорили ночью в августе 1970 года дома у отставного генерала. В сюжете о нем в моей рукописи фигурировал его вызов к Берия после самочинной отправки теплой одежды в лагерь бывших советских военнопленных... Мама только пожала плечами – она ничего не помнила. Чтение эпизода «Исая Рывкин» активизировало ее память: она вспомнила разговор с ним в деталях, судя по очень достоверному описанию известной из многих источников манере Сталина прохаживаться за спиной собеседника.

В октябре – ноябре мы несколько раз перезванивались с Натальей Хсиво, у которой чтение фрагментов рукописи тоже вызвало лавину воспоминаний. К сожалению, она не зафиксировала их и в момент наших разговоров уже не могла воспроизвести в полном объеме. Но некоторые ценные детали она мне все же подкинула. От нее я узнал, что в подвале Хазановых хранились труды Сталина и ранний Солженицын; что И. Я. Рывкин время от времени приезжал к сестре в Горький («на блинчики», по словам моей мамы) и рассказывал – Наташа слышала это своими ушами – о грабежах винных складов в Германии советскими солдатами, которым начальство заказывало отборные, коллекционные вина; о планах Исаия Яковлевича непременно оставить после себя воспоминания и о его нежелании общаться с ветеранами, взявшими на себя функцию официальных рассказчиков о войне.

Разговоры с Натальей меня окрылили. Она дала почитать мои тексты своей подруге детства и молодости Фаине Бортник, и та вспомнила, как однажды ночевала в горьковской квартире Хазановых. Значит, мое описание квартиры достаточно точно. Саму Наташу удивило обилие страхов, которые жили в Мальчике. Она его помнит как красивую куколку с длинными ресницами, которую хотелось обнимать и целовать...

В перерывах между обработкой рукописи происходили и другие важные для будущей книги события. 25 августа после празднования дня рождения моей жены давнишний приятель Олег

Бровкин сообщил, что тремя неделями раньше умер от рака Вадим Никулин, мой ровесник и товарищ по дворовым играм. Эта новость меня чрезвычайно расстроила и взволновала. Помимо человеческого сострадания меня сверлило чувство, что герои моей книги – они же потенциальные читатели – уходят в небытие. Надо, чтобы Вадим, с которым мы, правда, не очень близко общались, остался в моей книге. По этой же «мемориальной» причине осенью 2007 года в тексты вошли Н. М. Зоркая, Д. А. Пригов, К. Н. Бочкарев, О. Н. Кен.

В последний день августа по давней традиции ректор ЮУрГУ встречается с коллективом. После официальной части я в компании моего друга Бориса Ровного оказываюсь на банкете ректоратско-деканатского начальства по случаю начала учебного года. Вдоль столов движется президент университета Г. П. Вяткин, приветствует коллег, пожимает руки. Очередь доходит и до меня. Вот, говорю, заканчиваю книгу, героями которой оказался и он, и его жена Г. М. Борейко, и их покойный ныне сын Андрей. Герман Платонович удивлен и тронут. Он выражает живой интерес и желание почитать книгу. Сделаем, Герман Платонович!

После банкета у Бориса и у меня удачно образовался свободный час до следующих встреч. Не спеша прогуливаемся по тихой улице Сони Кривой, под тронутыми первыми осенними красками деревьями, сквозь листву которых пригревает остывающее солнце. Опять рассказываю про проект, точнее – про исследовательский дневник. Борис полуслушает замечает, что я сейчас опасен, в общении со мной нужно держать ухо востро: мало ли что я захочу зафиксировать в книге. То же самое в Базеле мне говорил Йорн Хаппель. В ответ я смеюсь не без доли самодовольства, с чувством всемогущего творца, который мог бы воспользоваться фразой одного из героев фильма М. Захарова: «Теперь тут все от меня зависит».

28–29 сентября в Челябинске состоялась организованная Центром культурно-исторических исследований международная конференция «Образы в истории, история в образах: визуальные источники по истории России XX века», к которой я и мои сотрудницы давно готовились. Было очень приятно вновь увидеть старых знакомых, собравшихся со всей России – от Калининграда до Иркутска, а также из Германии, Швейцарии и Швеции: Валери Познер, Мальте Рольфа (с ним мы на протяжении полугодия до этого встречались в Москве, Базеле, Берлине и под Тверью, радуясь, что «шарик» такой маленький), Александра Сологубова, Беату Физелер и многих других. Радовали и новые знакомства – с замечательным дуэтом (в том числе вокальным) Константином Лидиным и Марком Мееровичем из Иркутска, с Андреем Соколовым из Ярославля, Игорем Ермаченко из Петербурга...

Конференция протекала в жарких дискуссиях. Самому мне крепко досталось от коллег. Александр Ватлин задался не новым для

меня вопросом о назначении моего проекта (я выступал о проблемах интерпретации горьковского фото 1966 года). Что же будет – примерно так вопрошал он, – если каждый займется собственной семейной историей: будем писать каждый о своих бабушках, а потом сравнивать, чья круче? И как исследователю визуального избежать опасности видеть на изображении только то, что он и так знает? Оксану Гавришину беспокоила сомнительность контекстуализации фотопроизводства на примере всего одного изображения. Валери посчитала большой натяжкой мое отнесение фотографии, созданной в 1966 году, в разряд пикториальных: одно дело, когда фото создается с помощью техники, требующей долгой выдержки, и совсем другое – щелкнуть студийный кадр, в котором фотографируемый клиент на минутку присаживается в кресло... Ответы на эти вопросы, за которые я благодарен коллегам, читатель найдет в визуальной линии этой книги.

В сентябре и октябре состоялись две короткие поездки в Москву по приглашению Геннадия Бордюгова. Я воспользовался okazjiей, чтобы встретиться с моими старыми интервьюентами в Москве и Железнодорожном, Нижнем Новгороде и Дзержинске, отсканировать или переснять некоторые фотографии и документы, задать уточняющие вопросы. Мелкие, но ценные поправки внесла в файл «Бася и Абрам» их дочь Эля. Татьяна Кузнецова и ее мать, М. Б. Корзухина, которые с интересом читали новые фрагменты, под впечатлением от прочитанного вспомнили ценные детали из жизни Хазановых – например, марки холодильников в их квартире или тот факт, что орден Ленина вместо Б. Я. Хазанова получил его заместитель.

(За три дня дважды перечитав привезенные файлы, М. Б. Корзухина сказала мне, что, кажется, поняла, почему моя жена расстроилась, прочтя фрагмент «Корзухины». Тетя Мира не уверена, что биографическая информация о ней и ее близких может быть интересна постороннему читателю. Но там, где я анализирую более общие явления, я исследовательскому стилю не изменяю. Спасибо за поддержку, тетя Мира!)

В Москве Лора Иванова призналась, что мои тексты по духу точно совпадают с ее воспоминаниями и вызываемыми ими эмоциями. Она даже всплакнула при чтении. Ее муж Феликс дал мне несколько ценных замечаний по порядку награждения военных и поправил некоторые неточности в манускрипте, за что я ему глубоко признателен, как и всем, кто заинтересованно, с готовностью помочь воспринял мою работу.

В последней декаде ноября мы с мамой оказываемся в Париже. В этом городе она была в 1970 году, в разгар советского социализма, и та поездка ее потрясла на всю жизнь. Воспоминания о ней – одна из излюбленных тем мамы. Я обещал свозить ее в прошлое, и вот мы

в нем. Тогда, в 1970-м, ее приезд во Францию совпал со смертью Шарля де Голля, теперь – с кончиной Мориса Бежара, балеты которого она видела 37 лет назад...

Мы гуляем по «ее» Парижу, который ненавязчиво становится «моим». Мы не были так долго наедине друг с другом – почти 35 лет. Между бесконечными экскурсиями, поездками и многочасовыми прогулками по городу, которые моя семидесятидевятiletняя мама, к моей радости, выдерживает гораздо легче меня, мы отдыхаем в гостиничном номере. Лежа на кровати, я читаю ей первую часть моей книги. Мама слушает с неподдельным интересом. Я открылся для нее с новой стороны, считает она. От нее я выслушиваю откровенные истории или детали историй, которых не знал. Немногие из них по возвращении в Челябинск будут интегрированы в рукопись.

В качестве новогоднего подарка мама получила от меня фотоальбом «Мамин Париж». Первый опыт собственноручного изготовления событийного фотоальбома заставил еще раз призадуматься о работе организатора, создателя и пользователя фотографий.

За первую неделю января 2008 года родители буквально проглотили первые две части книги, внося мелкие поправки. Папа перечитал и те тексты, которые я набирал в августе – сентябре, в том числе несколько из третьей части манускрипта. В разъятом виде они понравились ему больше, чем включенные в книгу. Слишком много счастливого горьковского детства и размышлений о фотографии, которые, может быть, заинтересуют фотографов, – таков его вердикт. Я вяло парирую: книга построена так, что ее можно читать выборочно, на любой вкус. И он еще не видел третьей части, введения и заключения. Подождем с окончательной «резюмацией»...

Настает пора расширить круг читателей рукописи, набор которой завершен 14 января. К читателям-родственникам нужно подключить друзей и коллег-историков, мнение которых мне особенно важно. Бегло вычитанная, рукопись отправляется на суд Юлии Хмелевской и Бориса Ровного. Так издавна повелось, что они – первые читатели моих крупных сочинений. Для меня важен их критический взгляд на мою работу, который всегда шел на пользу делу.

Так было и на этот раз. Более месяца в феврале и марте я работал над их замечаниями, прежде всего, над предложениями дотошной Юли, снабдившей меня кое-какой литературой и испещрившей рукопись дельными пометками. Борис высказал несколько ценных предложений более общего свойства. Помимо совета снять несколько банальностей, которых мой «замысленный» взгляд был уже не в силах разглядеть, он посоветовал во введении решить проблему разнородности потенциального читательского круга: очевидная, по его мнению, нестыковка семейно-мемуарного, повседневного дискурса с дискурсом теоретическим требует в начале

книги дать некоторые инструкции по поводу «технологии» чтения книги и объяснить, какому читателю какой материал адресуется в первую очередь.

Для «последних штрихов» в работе над рукописью плодотворными были и реакции других читателей – моих родителей, М. Б. Корзухиной и Л. И. Ивановой, которым я привез рукопись в конце января 2008 года во время короткой поездки в Москву и Дзержинск, Натальи Хсиво, которой я отправил текст в Израиль. В Челябинске фрагменты, посвященные школе и «сильным женщинам», прочитала И. Ф. Бородаенко, вздохнув с облегчением по поводу того, что теперь истории А. Д. Захаровой и Г. Е. Погудиной рассказаны именно так, как ей хотелось бы. По мере чтения рукописи, к моему удовольствию, кардинально менялась оценка моего труда у моей жены.

Я радовался не только ряду уточнений, способных усилить «эффект реальности» книги, но и ощутимой эмоциональной встряске, вызванной у моих корреспондентов чтением манускрипта. В один из январских вечеров, дочитав рукопись, позвонил папа. В голосе его звучали слезы. Наверное, сказал он, он мог бы остаться в середине 50-х годов в Москве. И тогда не стал бы инвалидом. Но он не жалеет: останься он в столице, у него не было бы такой жены и такого сына. «Спасибо!» – многократно повторил он. Что ты, папа! Это тебе спасибо. Я рад, что работал не зря. Через пару дней, прочитав книгу, расплакалась мама... Жаль, что здесь невозможно воспроизвести хотя бы часть откликов первых читателей манускрипта, не взрывая рамок этого фрагмента. Скажу только, что они меня вдохновили на завершение работы, за что я сердечно благодарен всем январско-мартовским читателям.

А работы над рукописью в феврале – марте было еще достаточно. За это время были сделаны библиографические списки, подобраны и подвергнуты первичной обработке изображения для вклеек в книгу, составлены подписи к ним, получены разрешения на опубликование приведенных в рукописи фрагментов писем и других частных текстов ныне здравствующих персон. Необходимость уложиться в график и издать книгу к июлю 2008 года, к юбилею моих родителей, задала работе бешеный темп. К счастью, организационно-технических препятствий или задержек на пути превращения рукописи в конечный продукт не последовало: в феврале П. Б. Рабин подтвердил и реализовал свою готовность финансировать книгу, мой одноклассник и друг детства А. Ю. Данилов, прочитав рукопись, взял на себя ее художественное оформление, И. Н. Козырева, с которой мы давно сотрудничаем в издательских проектах, взялась за редактирование текста, издатель книги М. В. Загидуллина – за корректуру. Александр Данилов после решающей встречи с П. Б. Рабиным и М. В. Загидуллиной сказал мне: «Ты создал себе замечательный

памятник, и никаких препятствий для его отливки, кажется, нет». Дай Бог, Саша, дай Бог!.. Только если это и памятник, то всем тем, кто выступает героями этой книги. Помимо прочего, без их помощи, благожелательного отношения, внимания, заинтересованности, открытости и терпения ее бы не было.

Кажется, я заплатил за создание этой книги дорогую цену. Я заметил, что с осени 2007 года мне перестал сниться Горький, воспоминания иссякли и утратили первоначальную яркость. Силясь вызвать в памяти эпизоды из горьковского детства, о которых рассказано в книге, я в первую очередь вспоминаю обстоятельства, в которых эти сцены были записаны. В то время как у ее живых героев рукопись вызывает каскады воспоминаний, моя память окаменела, создав семейное «место памяти» – эту книгу.

Пожалуй, работа над большим книжным текстом – самая увлекательная часть исследовательского проекта, оказывающая на автора мощное воздействие: он работает над текстом, текст – над ним; поставив точку, автор выходит из-за рабочего стола другим.

## Нарские



Трудно даже представить себе, как жилось тем, кого советское государство изначально избрало объектом преследований или, в лучшем случае, оставило на произвол судьбы. К миллионам семей, оказавшихся за бортом советской системы и тяжело приспособившихся к недружелюбному режиму, можно отнести и московских Нарских.

Откуда они происходили, определить затруднительно. Как и у большинства семей «неблагородного» происхождения, не ведших «по долгу службы» письменных дворянских генеалогий и не фигурировавших поименно в государственных, корпоративных или семейных актах, следы Нарских прослеживаются лишь до середины XIX века, до пятого колена. Это, как правило, максимальный предел семейной памяти, хранимой устной традицией. С детства я знал как о существовании под Москвой города Нарофоминска, реки Нары и Нарских озер, так и о том, что какой-то Нарский, считавшийся предком моей бабушки, Марии Александровны, был вывезен с Украины за выдающиеся вокальные данные. Подростком, обнаружив в географическом указателе к многотомной истории России С. М. Соловьева Нарский уезд, переданный Иваном Калитой сыну, я сконструировал легенду о «княжеском» происхождении рода. Согласно ей «князь» Нарские якобы бежали в Литву от немилости и несправедливости московских князей, а через несколько веков, обеднев, утратив благородный статус и «забыв» о славном прошлом своего рода, по иронии судьбы вернулись в родные места. Эта легенда тридцатью годами



позже несколько раз возвращалась ко мне во время интервьюирования московских и подмосковных родственников.

Согласно неуточненному местному преданию село Нара-Фоминское Верейского уезда Московской губернии образовалось после слияния сел Нарского и Фоминского, фамилии обитателей которых соответствовали их топонимическим названиям. Так что сосредоточение Нарских в Москве и Подмосковье вполне объяснимо.

С другой стороны, Нарские как носители редкой фамилии встречаются и в Польше. Польские Нарские не оставили следов ни в четырехтомном «Польском биографическом индексе», содержащем сведения о 88,5 тысячах персоналий, ни в сорокачетырехтомном «Польском биографическом словаре», издающемся в Польше с 1935 года. Зато о двух Нарских имеются сведения в польской юбилейной «Книге поляков – участников Октябрьской революции 1917–1920 гг.», изданной в Варшаве в 1967 году. Один из них, Ксаверий Станиславович Нарский (1896–1937), родившийся в Варшаве и получивший неполное среднее образование, с 1913 года действовал в боевых организациях польской социал-демократии. В качестве агитатора и начальника политотделов различных дивизий Красной Армии он участвовал в 1918–1919 годах в Гражданской войне; в 1920–1921 годах нелегально работал в Литве в пользу Советской России; участвовал в 1922 году в XI съезде РКП(б). Затем К. С. Нарский был партийным и советским работником, пока его не арестовали и не расстреляли по сфабрикованному обвинению. В начале 30-х годов он работал в Магнитогорске. Кажется, его сын был в 50-х годах известным в Челябинске психиатром. Другой из упомянутых в юбилейном справочнике – Бруно Йозефович Янишевский-Нарский (1893–?), также родился и учился в Варшаве, с 1917 года был членом польской социал-демократии и агитатором в Красной Армии в 1919-м. О профессоре-экономисте Сигизмунде Нарском из Торуньского университета, не скрывавшем в 70-х годах прошлого века своей антикоммунистической позиции, уже упоминалось в другом месте. Состоят ли польские Нарские в родстве с московскими, выяснить не удалось. Впрочем, это не столь уж важно. В конце концов, моей целью было не выяснение генеалогий, а реконструкция обозримых семейных историй.

В годы перестройки московские Нарские стали объектом журналистского внимания. Точнее – потомки одного из них, Владимира Алексеевича Нарского, родного дяди Марии Александровны Нарской, матери моего отца. Проект, целью которого было выяснение судьбы репрессированного священника, в силу обстоятельств остался незавершенным. Однако проводившие расследование журналисты утверждали, что все московские Нарские состоят между собой в родстве. Эта уверенность, кажется, не вполне оправданна. Родственники подмосковных священников Нарских ничего не знали,

например, об известном московском философе, профессоре из МГУ И. С. Нарском, хотя бережно поддерживали родственные связи как некий противовес ущемлениям со стороны государства.

Вероятно, наиболее достоверной версией о происхождении подмосковных священников Нарских является та, что хранила устная традиция их отпрысков. Согласно ей их предок, вероятно, крепостной крестьянин, отличавшийся замечательным голосом, был в конце XVIII или начале XIX века (родившийся в 1868 году отец Владимир называл его прапрадедом) вывезен владельцем-помещиком с Украины и устроен в Московскую духовную семинарию. М. А. Нарская утверждала, что она, в отличие от большинства светлоглазых Нарских, кареглаза, как основатель их рода. Возможно, в родстве с этим священническим родом состояли В. Нарская, автор опубликованного в 1904 году богато иллюстрированного справочника для молодежи «Швейцария и швейцарцы», пропитанного восхищением политическими и социальными институциями этой страны, и Е. Нарская (Н. П. Шаликова), литератор, путешествовавшая по Швейцарии между 1855 и 1875 годами и также писавшая о ней. Впрочем, московские Нарские XIX – начала XX века принадлежали не только к духовному сословию. Судя по адресным справочникам рубежа веков, были среди них и потомственные почетные граждане, и купцы.

Относительно надежные, хотя и отрывочные сведения берут начало с трех братьев Нарских – Александра, Владимира и Сергея, сыновей священника Алексея Нарского. Наиболее полны сведения о среднем брате, Владимире. Информации о нем больше, чем об остальных братьях, поскольку он стал жертвой Большого террора. В третьей книге мартиролога «Бутовский полигон» есть следующие строки:

«Нарский Владимир Алексеевич, 1868 г. р., родился в с. Лукино Серпуховского р-она Московской обл., русский, из семьи священника, в/п, образование среднее (духовная семинария), не работал, бывш. настоятель Никольской церкви в с. Ермолино Подольского р-она Московской обл. проживал: Московская обл., Солнечногорский р-н, дер. Саврасово, частная квартира.

Арестован 23 февраля 1938 г.

Тройкой при УНКВД СССР по МО от 23 марта 1938 г. по обвинению в антисоветской агитации назначена высшая мера наказания – расстрел. Приговор приведен в исполнение 7 апреля 1938 г. Реабилитирован 7 июня 1965 г.» (Бутовский полигон, 113).

Из церковной листовки перестроечных времен, посвященной В. Нарскому, можно почерпнуть некоторые дополнительные детали его биографии и гибели. Он служил священником в Ермолино, в десяти километрах от места будущей гибели, с 1891 по 1929 год. Одновременно был законоучителем и заведующим трех церковно-приходских школ – в селах Ермолино, Дадылдино и в деревне Потапово.

Имел шесть сыновей и шесть дочерей. В 1929 году ослеп и был отчислен «за штат», а в следующем году его раскулачили. Обстоятельства гибели В. Нарского отражают хаос, царивший на Бутовском полигоне НКВД, где в 30–50-х годах, по самым скромным подсчетам, было расстреляно не менее 20 тысяч человек, в том числе бесчисленное число священнослужителей. В течение недели после расстрела дело В. А. Нарского было пересмотрено, и приговор оставили в силе. Уже расстрелянный священник был приговорен к расстрелу повторно.

О существовании В. А. Нарского я впервые услышал осенью 1976 года. Как-то раз на имя моего отца пришло письмо, автор которого собирал информацию о Владимире Нарском и готов был в обмен на сведения о нем поделиться известными ему данными. Отец, за отсутствием каких-либо знаний об интересующей автора письма персоне, переадресовал журналиста-расследователя к М. А. Нарской. Дальнейшая судьба этого расследования ни мне, ни моим родственникам не известна.

Зато, познакомившись с московской двоюродно-троюродной сестрой моего папы Еленой Алексеевной Нарской, родной внучкой Владимира Алексеевича по отцовской линии и Александра Алексеевича – по материнской, я узнал многое, не отложившееся в официальной документации.

В. А. Нарский в первой половине 90-х годов XIX столетия женился на Анне Дмитриевне Воздвиженской (1869–1946), дочери священника Никольской церкви в Ермолино. В послужном списке тестя за 1891 год значится следующее:

«Священник Дмитрий Степанович Воздвиженский, 56 лет, родился в Московской губернии, из духовного звания, сын священника, обучился в Спасовифанской духовной семинарии наукам словесным, философским и богословским, языкам латинскому и греческому. По окончании в оной семинарии курса наук с аттестатом второго разряда уволен в епархиальное ведомство.

По резолюции Его Высокопреосвященства Филарета, Митрополита Московского и Коломенского Преосвященным Алексием, Епископом Дмитровским, Викарием Московским произведен в Священники Волоколамского уезда в Георгиевской, что в погосте Георгиевском, на реке Ламе, церкви, грамоту имеет (от 21 июля 1857 г. – *И. Н.*).

Проходил должность наставника и законоучителя в сельском приходском Георгиевском училище. По закрытии училища до 1862 года занимал должность законоучителя в земской Андреевской школе.

За построение храма награжден набедренником.

Всемилоостивейше награжден бархотною фиолетовою скуфьею.

Высокопреосвященнейшим Макарием, Митрополитом Московским и Коломенским, переведен (в 1884 году – *И. Н.*) во Священника к Никола-

евской, на настоящее место, церкви. Указ имеет. Проходил должность законоучителя в Шаболовском земском училище. Вдов.

В семействе у него дети: Петр, 29 лет, состоит священником города Москвы при Воскресенской, что в Императорском Екатерининском богадельном доме, церкви. Николай, 27 лет, состоит псаломщиком города Москвы, при Троицкой на Шаболовке церкви. Василий, 23 лет, обучается в Московской Академии на третьем курсе, на своем содержании. Анна, 22 лет, находится при отце» (ЦИАМ, ф. 203, оп. 763, д. 24, л. 18 об.).

(Василий Воздвиженский после ареста В. А. Нарского сменяет его в качестве настоятеля Николаевской церкви в Ермолино.)

Анна Дмитриевна Нарская (Воздвиженская) рано потеряла мать и до 14 лет воспитывалась в доме дяди. На плечах маленькой, хрупкой женщины, которая в течение менее 20 лет родила 12 детей и даже, по семейному преданию, представлялась к награждению орденом «Мать-героиня», лежало небогатое хозяйство, хлебосольный дом, отстроенный в 1904 году, дети. Оставшиеся в живых родственники Владимира Нарского с неудовольствием отмечают неточность информации в церковной «листочке»: в 1918 году от нужды в детский дом при Донском монастыре было отправлено не пятеро, а только трое его детей, и то лишь потому, что одна из старших дочерей Владимира была там воспитательницей.

Младшая дочь В. А. Нарского Евдокия Владимировна и его внучка Елена Алексеевна (обе сохранили девичьи фамилии) с удовольствием вспоминают, какой гостеприимной и дружной была многодетная семья Владимира Нарского, весельчака, любившего детей и шутку, перекрестившего и перевенчавшего многочисленную родню. Благодаря удачным бракам Нарские состояли в родстве со старинными священническими родами Василевских, Воздвиженских, Протопоповых, Турбинных, Хатунцевых. Браки вне церковной среды были редкостью. Когда три дочери В. А. и А. Д. Нарских вышли замуж за трех братьев-уланов Хорьковых, родители плакали из-за того, что молодожены обошлись без венчания.

Родня из Москвы, с Большой Молчановки, где подле церкви Николы На курьих ножках стояли четыре дома, в которых жили родившиеся между собой священнические семьи Василевских, Воздвиженских и Нарских, часто наезжала в Ермолино, а «ермаши» ездили к московским родственникам. «Господа Нарские идут», – говорили местные крестьяне, увидев большую компанию, двигавшуюся от железнодорожной станции к дому отца Владимира. Когда Нарские, обладавшие музыкальным слухом и хорошими голосами, садились на лавочку в палисаднике возле дома и начинали петь, дачники и деревенская молодежь собирались на пригорочке послушать их многоголосие. Как установила петербургская родственница Нарских, в их

репертуаре, представляющем собой гибрид устной семейной традиции и своеобразных фамильных реликвий, было более 180 песен – русских народных, ямщицких, студенческих, городских.

Коллективизация в одночасье положила конец этой идиллии. В 1930 году Нарских выселили из Ермолино, отняв дом и все хозяйство – корову, недавно купленную лошадь, овец, кур. Сталинский террор лишил большое семейство не только главы, но и привычного культурного окружения из «бывших». Елена Алексеевна Нарская вспоминает, как у них дома собирались старые специалисты, работавшие с ее отцом в НИИ тяжелого машиностроения. «Настоящая интеллигенция, с совечьей не сравнить», – подчеркивает она. Все они сгнули в 30-е годы.

Братья отца Владимира, Александр и Сергей, также имели многодетные семьи. У Сергея, о котором известно очень мало, родилось 11 детей, трое из которых еще живы. Он был единственным из братьев и сестер Нарских, кто выбрал светский образ жизни. Сергей работал телеграфистом на железнодорожной станции в Ясногорске и, в отличие от многих Нарских, долгожителей, проживших более 80–90 лет, умер в шестидесятилетнем возрасте от рака желудка.

Александр Алексеевич Нарский (186? – ранее 1917), возможно, не планировал духовную карьеру. На одном из фото в альбоме дочери он запечатлен примерно в двадцатипятилетнем возрасте в светской одежде и с бритым лицом. Первая из сохранившихся фотографий запечатлела его в одеянии священника в возрасте около 30 лет вместе с молодой женой. Судя по фотопортрету, разница в их возрасте достигала восьми – десяти лет. Его супруга, Надежда Васильевна Протопопова (1871?–1944), происходила из семьи священника. Она родила мужу семерых детей, из которых двое умерли в младенчестве, а третий, маленький Михаил, погиб во время неосторожной игры с детьми соседа, священника В. Остроумова.

Семья жила сначала в деревне Судаково Подольского уезда Московской губернии (входившей в состав имения одного из богатейших русских купцов Викула Елисеевича Морозова), где А. А. Нарский служил в церкви. Как-то ночью, когда Нарские по доброте душевной приютили нищего, их двухэтажный дом сгорел. Получив за него страховку, они перебрались в село Заозерье близ Павлова Посада, на берегу Святого озера, якобы образовавшегося на месте церкви, провалившейся под землю в XIII веке, во время татарского нашествия. Здесь отец Александр служил вместе с В. Остроумовым в церкви, отстроенной в честь Рождества Христова в 1871 году. Он умер, по-видимому, во время Первой мировой войны (на последнем общем семейном фото в альбоме М. А. Нарской его старшей дочери, родившейся в 1894 году, около 20 лет) от дизентерии или тифа, заразившись от больного, которого причащал.

М. А. Нарская вспоминала его как доброго, отзывчивого бессребреника. Приход, в котором он служил, был беднее, чем у среднего брата или у Воздвиженских, служивших в Елоховской церкви в Москве. Но, возможно, бедность семьи усугублялась другим обстоятельством. «Он был очень хороший, но когда выпьет – нехороший», – говорит мой отец, дословно воспроизводя манеру изъясняться М. А. Нарской. «Что значит нехороший?» – настораживаюсь я. «Ну, он становился агрессивным, не мог остановиться, выйти из запоя», – смущенно поясняет папа.

Его рано овдовевшую жену внуки вспоминают как рукодельницу и мудрую женщину. К ней приходили за советом, она лечила травами, заговаривала от змеиных укусов, гадала по руке, стегала одеяла, очень хорошо пекла («На уровне Нины Яковлевны», – поясняет папа). После смерти мужа она продолжала жить в Заозерье. Хотя во время коллективизации у нее отняли часть сада, дом остался за ней. Ее не выселили благодаря старшей дочери, матери моего отца: местные активисты-комсомольцы в прошлом были учениками М. А. Нарской.

О ней и ее муже, П. П. Кузовкове (Нарском), было рассказано в другом месте. Их сын и мой отец, Владимир Павлович, – один из немногих Нарских, получивших высшее образование и достигших вершин профессиональной карьеры в 40–60-х годах XX века. Большинство «советских» Нарских его поколения приобрело вузовское образование в провинции, почему-то преимущественно на Украине, кое-кто достиг кандидатских степеней.

Но некоторым, как младшей дочери М. А. Нарской и П. П. Кузовкова Виолетте Павловне Кузнецовой (Нарской), неразлучно жившей в Железнодорожном с матерью до ее смерти, всю жизнь пришлось бороться за существование. Кем только ей не пришлось работать: рабочим по обточке снарядов для «катюш» во время войны, поваром в заводской столовой, механиком по ремонту клавишных инструментов, почтальоном, сортировщиком и оператором почтовой связи, санитаркой... Ее дочь, Вера Владимировна Демина (Кузнецова), разнообразием способностей и интересов пошла в бабушку, Марию Александровну: музыкальная, с хорошим слухом и голосом, поэтическим и художественным даром, она после 30 лет овладела секретами иконописи и народных росписей и успешно преподает живопись в художественной школе.

Погожим октябрьским днем 2006 года я прощаюсь со своей старшей собеседницей, девяностопятилетней Евдокией Владимировной Нарской, отец и муж которой в 1937–1938 годах были репрессированы по 58-й статье. Она до сих пор обходится без лекарств, прибегая только к помощи лечебных трав. «Тетя Дуся» впервые будет зимовать в Москве. В ее доме в Ермолино хранятся фотографии семьи отца Вла-


димира и копии протоколов его допросов. «Если не буду жива – покажут», – спокойно говорит она. Говор у нее энергичный, с характерным интонированием, как у всех Нарских старшего поколения.

Полная лишений жизнь только закалила ее веру. С конца 50-х она 28 лет трудилась бухгалтером, просвирней и певчей в церкви, где когда-то служил ее отец. Местный священник даже хотел написать о ней как о примере для подражания. «Раньше не пропускала ни одну службу», – с удовольствием признается она. На прощание Евдокия Владимировна желает моим близким «взаимопонимания, уважения, кротости и всепрощения». Благословляет в дорогу: «Храни вас Господь!»

Большинство нынешних московских и подмосковных Нарских – потомки Владимира Алексеевича. У его 12 сыновей и дочерей родилось 20 детей, 29 внуков и 32 правнука. Многие его родственники, включая тестя Д. С. Воздвиженского, похоронены на кладбище в Ермолино. Дружность семьи, вероятно, в значительной степени поддерживалась усилиями жены отца Владимира, Анны Дмитриевны. Ее дочь, Е. В. Нарская, во всяком случае, вспоминает, что с родственниками матери семья В. А. Нарского общалась больше, чем с семьями его братьев.

Но и большую, дружную семью Владимира Алексеевича постигла участь, типичная для родственных уз в современном мире: его правнуки почти не знают друг друга. Универсальные тенденции ослабления семейных связей были подстегнуты драматичными коллизиями советского времени. Советскую эпоху можно уподобить мощному блендеру: она «рубилa в капусту» социальные группы, перемешивала население, раскидывала членов семей и приготавливала экзотические семейные «салаты» и «коктейли».

## Устная семейная традиция

 Домашние святыни – «возбудитель», признак и продукт устойчивой циркуляции семейных историй. Обычно семейные предания, если и складываются, то бытуют в более подвижной, изменчивой и аморфной форме устного рассказа. В том, что устная семейная традиция гораздо более распространена, чем письменная, нет ничего удивительного. Она более доступна и кажется менее трудоемкой. Действительно, далеко не каждый достаточно владеет пером, чтобы решиться создать обширный связный текст. Кроме того, воспоминание, особенно письменное, требует избытка свободного времени, досуга, не обремененного материальными и прочими проблемами. Словом, предаваться воспоминаниям – привилегия здоровых и состоятельных стариков, каких на свете раз-два и обчелся. Но даже

если таковые и нашлись бы в представительном количестве, на пути их возникло бы труднопреодолимое препятствие – барьер в виде поколенческого конфликта. Пожилые люди с их воспоминаниями, как правило, не воспринимаются серьезно более молодыми поколениями. К тому же в реальности старость сопровождается растущими проблемами физического здоровья, прежде всего ослаблением зрения, что ограничивает возможность работы с текстами – как чтения, так и, тем более, их написания.

В российском контексте общие препятствия усугубляются еще и местной спецификой. Во-первых, советские граждане в течение десятилетий жили под присмотром пристрастного, склонного к подозрительности и насилию государства, стремившегося установить монополию на толкование прошлого. Ведение дневников и даже переписки в советское время, особенно в сталинский период, было занятием небезопасным. Во-вторых, старость в России не предоставляет беззаботного досуга. Она обременена горькой необходимостью думать о хлебе насущном, а также другими, более приятными заботами – например, необходимостью возиться с внуками. Кроме того, из-за низкой продолжительности жизни в современной России старость относительно коротка и болезненна. Это еще один немаловажный ограничитель возможностей неспешно предаваться воспоминаниям в собственное удовольствие.

Впрочем, обозначенные факторы, неблагоприятные для письменной семейной традиции, влияют также на формирование и поддержание ее устного аналога. Как известно, советское население старших поколений не только не записывало своих воспоминаний – оно молчало о собственном прошлом. В западной историографии это молчание зачастую рассматривается с психоаналитической точки зрения как травматическое явление:

«Там, где речь идет о влиянии на жертвы, наиболее влиятельные исследования, по крайней мере, в англоязычном мире, продвигаются на широком поле психоаналитической традиции. Ее метафоры заимствованы из медицины: там речь идет о травме и исцелении, молчание часто считается признаком расстройства, а речь, если она структурирована и управляема, – формой терапии. Свидетельствование же, хоть и вызывает боль, рассматривается как возрождение» (MERRIDALE C., 443).

Современные исследователи, однако, все чаще склоняются к мнению, что молчание в СССР было не результатом травмы, а осознанной стратегией с политическим подтекстом: от способности скрывать свои тайны зависела успешность собственной карьеры и безопасность близких.

Изустная семейная память в России XX столетия существовала на нелегальном положении, циркулировала стесненно, редко



облекалась в форму пространного рассказа, артикулировалась бегло, с опаской, «скороговоркой». Ее нелегальный статус естественным образом придавал ей характер стратегии несогласия и сопротивления.

Несколько лет назад пожилой профессор-историк из оренбургских казаков рассказал мне историю, которая наглядно иллюстрирует функционирование альтернативной устной традиции в СССР сталинского времени. Поскольку я не записал ее сразу, ограничусь кратким и весьма приблизительным пересказом. Его отец в начале 30-х годов был осужден на трехлетний срок по абсурдному обвинению в растрате колхозного имущества и принудительно строил Магнитку. После его возвращения с лагерных работ станичники часто просили его: «Петро, расскажи, как там оно было!» И Петро каждый раз с удовольствием, в красках, рассказывал следующую историю.

В его лагере был пожилой цыган, красивый, благообразный, с зычным голосом. Начальство предложило ему выступить перед зеками в поддержку «займа первой пятилетки», причем сам он отчислять деньги на заем не принуждался – до его освобождения оставались считанные недели. Цыган согласился и в назначенное время выступил на огромном плацу перед собравшимися солагерниками с короткой речью примерно такого содержания: «Граждане заключенные! Мы все как один должны подписаться на заем первой пятилетки. Мы должны всемерно крепить Советскую власть и ставить ее на нужные рельсы. И вот когда мы достаточно укрепим Советскую власть и поставим ее на правильные рельсы, мы подтолкнем ее и скажем: “Катись к е... матери”!» Плац грохнул дружным хохотом, а цыган получил новый срок.

Станичники, недавно пережившие разорившую их коллективизацию, с наслаждением слушали этот анекдот, который наверняка в разных вариантах гулял по лагерному миру и приобрел в их глазах особый авторитет благодаря гулаговскому прошлому земляка, якобы очевидца озвучиваемой им истории. Она сплывала слушателей, укрепляла их единомыслие и оппозицию безжалостному режиму.

Аналогичную работу осуществляют и устные семейные предания. Они интегрируют семью, обеспечивают осознание преемственности и общности, маркируют особость по отношению к окружающему миру. Не всякий рассказ-воспоминание является семейной традицией, а только успешный – встречающий всеобщее признание общающихся родственников и потому регулярно повторяемый и передаваемый. Сомнение, как-то высказанное мне А. С. Пухальской по поводу востребованности ее трудов над семейной хроникой, и горечь М. Б. Корзухиной, рассказы которой о прошлом семьи не вызвали интереса у внучки, проистекают из одного источника: из стремления превратить историю семьи в продолжающую жить семейную традицию.

Желание продлить семейную память вопреки всем препятствиям, на которые она наталкивалась в СССР, порой приобретает острый, почти экзистенциальный характер. Летом 1964 года, за несколько недель до смерти, отец моего папы, П. П. Кузовков, зная о скором неотвратимом конце, вызвал сына к себе, под Москву. Он поведал ему о том, о чем никогда не рассказывал – и потому, что ушел из семьи, когда сыну было всего шесть лет, и потому, что раньше говорить об этом было опасно. Он рассказывал, по словам папы, «страшные вещи»: о том, как во время Гражданской войны ходил с продотрядом по Кубани (за участие в разовой реквизиционной кампании полагалась награда – 80 кг крупчатки); как участвовал в расстреле селян – причем описывал экзекуции с натуралистическими деталями; почему в 1934 году спешно уехал в Сибирь. Прощаясь с сыном, Павел Павлович просил его не приезжать на похороны, а ограничиться телеграммой о соболезновании: он хотел, чтобы сын запомнил его живым. Мой отец вернулся из этой поездки в подавленном состоянии и в течение десятилетий не рассказывал мне ничего – да я и не спрашивал – за исключением одного эпизода, комичного, абсурдного и рискованного одновременно: о том, как дед «чуть не убил» Сталина.

В Гражданскую войну П. П. Кузовков молодым парнишкой оказался под Царицыном. Как известно, для «красных» ситуация в этом районе складывалась из рук вон плохо. Фронт пребывал в состоянии хаоса, и за процветающую там «партизанщину» были ответственны его «гражданские» руководители во главе с И. В. Сталиным. Так вот, однажды расположившийся на привале отряд, в котором служил П. П. Кузовков, услышал перестрелку. Вскоре бойцы увидели тачанку с отстреливающимся возницей, за которой гналась «красная» конница. Отдыхавшие красноармейцы включились в погоню, во время которой один из них нагнал тачанку, ударил нагайкой по шее сидевшего в ней человека и вырвал у него самовзводный пистолет. Недоразумение тут же прояснилось. Единственному пострадавшему в этом инциденте – пассажиру тачанки, высокому начальнику из РВС Южного фронта, который принял красноармейцев за белых и открыл по ним огонь, – перевязали шею. У бойца потребовали вернуть пистолет. Тот отказался – оружие было добыто в бою. Павел, участвовавший в перестрелке, подошел к будущему «вождю», который с замотанной шеей смотрелся, наверное, не очень импозантно, и спросил: «Что, шея-то болит?» История оканчивается очаровательной фразой: «А Сталин ему ничего не сказал».

Этот рассказ вполне может претендовать на статус семейного предания челябинских Нарских: он неоднократно повторялся, шлифовался, приобрел отточенную форму и рассказывался не только домашним. В. П. Нарский, долго не решавшийся рассказать его посторонним, в 2001 году поведал эту историю одному из студентов ЧелГУ

И. Дрогушеву – участнику интервьюирования челябинцев в рамках незавершенного проекта «Память народа», инициированного местным предпринимателем П. Б. Рабиным.

Устная семейная память в состоянии оказывать терапевтическое действие. Навещая родных в пермской деревне Хлопуши, муж старшей маминой сестры Н. Н. Корзухин уединялся с братом Григорием за баней. Там они предавались воспоминаниям – вероятно, о детстве и раскулачивании, пили медовую брагу домашней выделки и плакали. Н. Я. Хазанова, напротив, в последние годы жизни была лишена возможности разделить с кем-либо свое былое. Как вспоминает ее внучка Наталья Хсиво (Корзухина), бабушка, чувствовавшая себя разбитой и одинокой после смерти мужа, часто сидела на диване, молча вспоминала свою жизнь и тихо плакала.

Формы устной коммуникации по поводу прошлого не отличаются большим разнообразием. Как представляется на основе интервью, которые я брал в семьях родственников, наиболее распространены и, по-видимому, особо эффективны рассказы дедушек и бабушек о своей молодости. Часто эти истории оказываются достоянием внуков раньше, чем становятся известны супругам и детям рассказчиков. Наиболее организованной формой повествования является рассказ на сон грядущий вместо вечерней сказки. Так создавали и поддерживали устную семейную традицию А. И. Булгакова, а затем А. П. Хазанов. С точки зрения детской психологии, это наиболее успешная форма передачи информации. Во сне происходит глубокая обработка увиденного и услышанного за день, причем особое значение приобретает сказанное перед сном.

Но рассказ внукам может быть и менее организованным, и даже спонтанным – во время прогулки или после совместно увиденного фильма. Адресатом таких рассказов Н. Я. и Б. Я. Хазановых был я сам.

Другой формой, более типичной для больших, дружных и часто собирающихся семей, в которых каждый имеет домашнее имя или прозвище, являются воспоминания во время праздничных застолий. Так поддерживалась семейная память «ермашей» – многолетней семьи священника В. А. Нарского – и многочисленных родственников, регулярно собиравшихся у него в подмосковном селе Ермолино. Свидетелем подобных бесед я неоднократно бывал и в Москве, в кругу Хазановых – Немировских.

То, что запоминается сильнее и вспоминается чаще, имеет больше шансов войти в круг семейных преданий. Согласно данным психологов и социологов, кодировка информации в мозгу зависит от внимания к текущим событиям, степень которого влияет на скорость ее последующего «скачивания», а также от силы эмоционального переживания в момент события и последующего припоминания. В этой связи автобиографическая память имеет так на-

зываемый пик воспоминаний, который относится к периоду жизни между 15 и 25 годами.

«Эта фаза жизни отмечена переломами и собиранием опыта. Вне зависимости от того, болезненны они или радостны, они интенсивны и поэтому конструируют во многих биографиях уникальный горизонт переживаний. Таким образом, этим воспоминаниям предоставляется особо стабильное место в автобиографической памяти» (GUSCHNER S., 279).

Не удивительно, что для советских людей, родившихся в 20-х годах – в моем случае это мои родители и их сестры, – наиболее яркие воспоминания связаны с войной и победой, а также с началом самостоятельной жизни во второй половине 40-х годов.

Однако и события, лежащие за пределами пятнадцатидвадцатипятилетнего возраста, также могут составлять часть семейной традиции. Для советских людей, воспитанных на канонах русской литературной классики, «золотым веком» было «счастливое детство». Как уже неоднократно упоминалось, значительную часть советской интеллигенции составляли евреи. О предполагаемых московских внуках Тевье-молочника Юрий Слезкин тонко подметил:

«В воспоминаниях дочерей Голд обязательно есть детство – счастливое детство и счастливое отрочество 1930-х годов. Они обожают своих нянюшек и своих родителей (но не всегда любили дедушек и бабушек – если предположить, что Тевье тихо доживал свой век в новой квартире дочери). Они любили своих друзей и учителей. Они брали уроки фортепиано, боготворили знаменитых теноров и знали всех до одного актеров Малого театра. Они зачитывались романами XIX века и жили жизнью своих героев. Их воспоминания о праздновании Нового года восходят к рождественской ностальгии дворянских мемуаров, а их описания летней жизни на даче воспроизводят набоковские картины утраченного помещичьего рая» (Слезкин Ю., 331).

Истории из детства моей мамы и ее сестры Миры точно соответствуют этому описанию – с поправкой на провинциальный культурный формат. В них непременно присутствуют елки, изготовление елочных игрушек и маскарадных костюмов, посещение театра и балетной студии, восхищение школьными учителями и родителями. И напрочь отсутствуют дедушки и бабушки. Т. Б. Нарская вспоминает, что единственный раз посетив в Быхове мать отца, она упала в обморок от страха и отвращения, когда та поцеловала ее беззубым ртом. А для М. Б. Корзухиной мать ее мамы, Зельда Ицкова Лазарева, которая любила читать, но никогда не рассказывала о своих родителях, братьях и сестрах, была просто «бабой Женей». Не случайно информация о старших Хазановых в семейных хрониках А. С. Пухальской отмечена наибольшим лаконизмом.

Отсутствие внятных воспоминаний о дореволюционных еврейских корнях своей семьи подтверждается и опубликованными воспоминаниями: «...ничего, до ужаса ничего не знаю. Какие там корни, какая генеалогия, не знаю даже имени-отчества своей бабушки, которая долго жила с нами, умерла, когда я сама была замужем» (Орлова Р., 13).

В русских семейных преданиях, особенно в семьях, пострадавших от советского режима, дореволюционным корням, напротив, придается особое значение. Для потомков расстрелянного священника В. А. Нарского стержень такого рода воспоминаний – хлебосольные и ласковые дед и его жена, А. Д. Воздвиженская; для отпрысков его брата, А. А. Нарского, умершего еще до революции, – его вдова, бабушка Н. В. Протопопова.

Организаторы, собиратели и исследователи современных школьных сочинений о семейных историях из «Мемориала» обратили внимание на то, что потомки раскулаченных крестьян в деталях вспоминают коллективизацию, точнее – отнятое у семьи имущество. Это правда. Так, Володя Гречухин точно знает – и я уверен, это будут знать и его потомки, – что у его раскулаченного прадеда, отца Л. И. Гречухина (1901–1984), были две лошади и корова, а родители его бабушки, А. Е. Лелюхиной (1904–1982), имели до коллективизации в Саратовской губернии 12 верблюдов. О составе отнятого во время коллективизации имущества, несмотря на преклонный возраст, помнит и Евдокия Владимировна Нарская, дочь расстрелянного священника.

Семейные рассказы, даже если они посвящены бедам и несправедливым обидам, всегда являются повествованием о победах и преодолении: «Что бы они ни пережили и ни потеряли – в этом отношении между ветеранами войны, бывшими узниками лагерей и пережившими голодные бедствия почти не было различий, – их сообщения были историями успешной борьбы за выживание» (Merridale С., 445). Попытки интерпретировать воспоминания советских граждан, переживших войну в подростковом или активном взрослом возрасте, с помощью классификации, предложенной Хейденем Уайтом для профессиональных исторических текстов, скорее всего, окажутся малоэффективными. Среди устных воспоминаний о жизни в сталинском СССР трудно найти Трагедию как рассказ о падении протагониста и потрясении мира без надежды на спасение, как и Комедию, в которой «надежда воспринимается как временный триумф человека над его миром посредством случайного примирения с силами, которые действуют в социальном и естественном мирах» (Уайт Х., 28), или Сатиру, иронически взвращающую на человеческие надежды и возможности. Все семейные рассказы о былом, услышанные мною за последние три года, относятся, в терминологии Х. Уайта, к разряду Романа как «драмы триумфа добра над злом» (там же).

Так, в воспоминаниях В. П. Нарского и его сестры, В. П. Кузнецовой, часто и подробно воспроизводится эпизод о небывало удачном походе за грибами за 15 километров от Ивантеевки в 1940 году. Они напали в тот раз на такое количество белых, что сначала пришлось избавиться от других уже собранных грибов, а затем – и от ножек белых. Их отец, П. П. Кузовков, насобирал огромную, семиведерную бельевую корзину, дети – каждый по двухведерной корзине одних шляпок белых. С этого грибного «улова» – постоянно голодавшие дети помнят все, что касается еды, до мелочей – они засушили два килограмма, замариновали три трехлитровые банки и нажарили большую сковородку. Даже в часто вспоминаемом Виолеттой Павловой случае, когда они тяжело, без денег, истощенные от голода, с братом и мамой в первый год войны пробирались по Подмосковию от Железнодорожного до Ивантеевки, к отцу, есть счастливый конец – сытный ужин и сон в тепле.

В. В. Гречухин в воспоминаниях о деде выделяет сюжет, в котором тому удается перехитрить кроважидное государство во время Большого террора. Л. И. Гречухину, хорошо владевшему немецким языком, необходимым в годы сталинской индустриализации для работы с техническими документами, директор Балахнинского бумажного комбината как-то намекнул, чтобы он опоздал на работу на пять минут. Гречухин понял подсказку. Его уволили с работы за опоздание, и он смог переждать волну террора, в то время как спасший его начальник вскоре был арестован и бесследно исчез.

Конечно, фамильные предания рассказываются в различном стиле в зависимости от индивидуальных особенностей рассказчиков. Проведя интервью со своими друзьями детства, я могу себе представить, что, например, Сергей Мотовилов будет рассказывать внукам о прошлом связно и выразительно, с налетом книжности, в то время как рассказ Вадима Бойцова будет причудливо петлять, поддерживаемый фразами «Честно, серьезно!», «Честно, правда!», «Было, помню!»

И все же семейные (авто)биографические рассказы роднят общие черты. Все они являются плодом творческого акта, целеустремленного, трудоемкого, отсеивающего все якобы второстепенное. «Надо фильтровать!» – шутливо заметила Лидия Конинина, когда я включил диктофон, чтобы проинтервьюировать ее и ее мужа, моих одноклассников. «Не надо, я потом отфильтрую!» – в тон ей ответил я. За этой легкой словесной игрой скрывается глубокий смысл. Оба – и интервьюент, и интервьюер – конструируют прошлое.

«История, – пишет Ханс Магнус Энценсбергер, – это вымысел, для которого реальность лишь поставляет сырой материал. Это, однако, не произвольная фантазия, и тот интерес, который она вызывает, коренится в интересах рассказчика» (цит. по: Портелли А., 203).

Рассказчики досконально знают правила, по которым они строят повествование. В их основе лежит хронологический принцип, с зачином, развитием, апогеем и развязкой. Когда я сказал М. Б. Корзухиной, что ничего не знаю о ее покойном муже, и сходу задал вопрос о годе его рождения, она с едва уловимым оттенком раздражения, задетая моей некомпетентностью в сфере биографической стилистики, начала так: «Ну, с чего начинают?». И стала рассказывать о родителях Н. Н. Корзухина.

Строгость порядка изложения не означает, однако, строгости в его содержании. Важные события в жизни человека, наиболее часто припоминаемые и рассказываемые, подвержены видоизменениям. Каждый вызов воспоминания в процессе рассказа ведет к его новому сохранению, причем вместе с ним запоминается и контекст ситуации, в которой рассказывалось о прошлом. В результате воспоминание «дописывается», обогащается нюансами, подправляется. Обсуждение воспоминаний с другими участниками мемориальной семейной коммуникации ведет к их стандартизации и взаимообогащению. Поскольку механизмы обработки когда-то увиденного наяву и воображенного пересекаются, человек легко интегрирует в личные воспоминания прочитанное, услышанное, воображенное, увиденное во сне.

С этой особенностью семейной памяти я неоднократно сталкивался во время повторных интервью. Тетя Мира, которая однажды спонтанно рассказала мне об одной романтической истории из собственной молодости, упомянула о звонке ее отца, Б. Я. Хазанова. Он решил поддержать дочь в трудную минуту, когда ее невинный роман был недостойным образом предан огласке. Спустя полтора года после первого рассказа мне она вспомнила этот эпизод в другом контексте, в связи с моим вопросом о возможных любовных похождениях бабушки. В результате в его телефонном разговоре с ней появилась новая фраза: «Кто не влюблялся? Это у всех бывает». Вспомнилась ли она в новых обстоятельствах или подразумевалась самим его звонком, не имеет принципиального значения: в воспоминаниях смысл важнее события.

Мой папа часто рассказывает, что, вернувшись из армии в Москву, он отказался от приглашения на работу в Большой театр. Он не хотел работать в театре, в котором царила атмосфера интриг – так объясняет он свое решение. Эта версия семейного предания демонстрировала его принципиальность и бескомпромиссность. В семидесятичетырехлетнем возрасте он поведал эту историю челябинскому интервьюеру-студенту в иной интерпретации. Мать его ближайшего друга, деликатнейшая Клавдия Васильевна Кузнецова, которая до середины 40-х годов работала помощником коменданта Большого театра (ее попросили написать заявление об увольнении, когда ее

дочь вышла замуж за американца), отговорила Владимира Нарского, пришедшего к ней за советом: «Ни в коем случае, я знаю Ваш язык. Там все комнаты прослушиваются: Вас арестуют в первый же день».

Подвижность и изменчивость устного семейного предания не снижает его значения для исследователя. Скорее, наоборот: оно, пожалуй, как никакой другой источник позволяет проникнуть в загадку восприятия прошлого историческим актером, приоткрывая завесу над превращением события в человеческий опыт и в объект групповой, в том числе и семейной, коммуникации. Семейная память ходит разными путями.

## Дерево



Дедушка Борис воспринимался мною – и по праву – как самый верный друг. По мере того как я подрастал, он уделял мне все больше времени, словно бы боясь чего-то не успеть сделать, показать, рассказать. В конце каждого лета он тяжело прощался со мной, возможно, сомневаясь, что мы увидимся в следующем году.

Рассказы о его дореволюционном детстве, о досоветской и советской молодости наполнялись деталями, а также предметами – и не только теми, что доставались из среднего ящика буфета, но и вещами потерянными, украденными, утраченными, которые я, тем не менее, живо себе представлял. Вот, например, карманные часы в яйцеобразном чугунном корпусе на кожаном ремешке, срезанные у деда карманником в московском зоопарке, а вот – когда-то украшавшая его рабочий стол лампа в виде пролетария с факелом в руке и с надписью на цоколе «Imitate labores meos» («Подражай моим трудам»). Интересно, откуда ему был известен перевод? В курс начального городского училища латынь не входила. Может быть, он из любознательности поинтересовался смыслом гравировки у одного из более образованных коллег – старых «спецов»?

Лето 1972 года, последнее, проведенное мною в Горьком, было необычным во многих отношениях, в том числе – интенсивностью поддержки Б. Я. Хазановым моего интереса к «старине». Он всячески поощрял мою детскую страсть к коллекционированию старинных монет и металлических иконок. А перед самым отъездом из Горького за год до моих последних летних каникул у Хазановых случилось событие, укрепившее мою уверенность в том, что я буду заниматься прошлым. Б. Я. Хазанов посильно участвовал в этой истории и изо всех сил выказывал мне сочувствие и поддержку.

Как-то раз в конце августа 1971 года, возвращаясь с ним из детской библиотеки, я заметил в окне одного из неказистых частных домов по нечетной стороне улицы Минина выставленные на подоконник парные бронзовые подсвечники. Я остановился и долго лю-



бывался ими. В груди замирало и екало, наверное, как у азартного охотника, почуявшего добычу. Нет наркотика лучше адреналина!

Дедушка предложил мне отнести книги домой, а затем вернуться, зайти к обитателям квартиры и рассмотреть захватывающие дух предметы поближе, расспросить владельцев об их происхождении. Так мы и сделали. Из-за робости я долго топтался на пороге, прежде чем мы позвонили в дверь. Нам открыла светлоглазая седая старушка, которая без всякого удивления, с удовольствиемпустила нас в дом. Пройдя через темные сени и войдя в комнату, я обмер от неожиданности: на стенах тикала дюжина диковинных часов, помещение было плотно заставлено старинной мебелью, фарфоровой и хрустальной посудой, бронзовыми статуэтками и подсвечниками, десятками причудливых безделушек. Не квартира – музей!

Как оказалось, это было временное пристанище местного собирателя и реставратора старины Василия Петровича Серебрякова. В доме 18а на улице Минина, где проживали он и его жена, в то время шел капитальный ремонт. Хозяин всего этого богатства был в отъезде до сентября, поэтому после беглого осмотра его сокровищ под доброжелательные комментарии его супруги мы договорились встретиться в следующем году. Гостеприимная хозяйка просила заходить без церемоний.

Весь «челябинский сезон» 1971–1972 годов я бредил предстоящей встречей и даже посвятил коллекции В. П. Серебрякова школьное сочинение на свободную тему, вызвав оживленный интерес у учительницы русского языка и литературы А. Д. Захаровой. От нее же я впервые услышал новое слово – «антиквар». Мне мечталось, что коллекционер возьмет меня в «ученики», посвятит в секреты собирательства и реставрации.

Прибыв в Горький на рубеже мая – июня 1972 года, я на следующий же день бросился на розыски коллекционера. С прошлогоднего жилья Серебряковы съехали, но найти их по постоянному адресу труда не составило. Я вздохнул с облегчением, увидев на подоконниках полуподвальной квартиры выставленные напоказ, вровень с асфальтом, без решеток и сигнализации, бронзовые чаши с многоцветной эмалью. (Возможно, именно в этой квартире проживал в 1892–1893 годах Максим Горький, создав здесь первый рассказ о босюках «Емельян Пиляй».)

Но войти внутрь я не решился. На подмогу вновь пришел дедушка. Повторилась прошлогодняя история. Я никак не решался позвонить в дверь с металлической пластиной, на которой была выгравирована фамилия жильца. Дедушка даже начал сердиться.

На этот раз Василий Петрович был дома. Он любезно показал нам свои собрания. Сам он специализировался на фарфоре и бронзе, но попутно, про запас и на обмен, собирал все, что может

представлять интерес для антиквара. Вот бронзовые часы с портретом Екатерины II на фарфоровом циферблате, подаренные императрице. Часы завещаны Эрмитажу. Вот пурпурные богемские бокалы из имения рейхсмаршала Германа Геринга. Над дверью в кабинет – картина-мозаика, выложенная из уральских камней, изображающая Симеона Столпника в пустыне. После смерти владельца она должна достаться Златоустовскому музею. Над массивным рабочим столом в кабинете – медные, латунные, серебряные, бронзовые складни, кресты, наперсные иконки XVIII–XIX веков, вызвавшие во мне зависть начинающего коллекционера.

Василий Петрович перебирает коробочки на столе и в его ящиках. Вот набор миниатюрных павловских замков-сундуков, самый маленький из которых – с булавочную головку, так что разглядеть его и ключик к нему можно только под лупой. А вот китайский резной, ажурный шарик величиной с вишню, со стоящим на нем слоном. Внутри хитроумно сложено еще двенадцать слоников. Если не разгадать головоломку, шарик не закрыть. У меня, с детства питающего особую слабость к миниатюрным предметам, такого рода вещицы вызывают щенячий восторг.

Как собиратель старины В. П. Серебряков оказался в нужное время в нужном месте: трудно представить себе более благодатную для антиквара среду, чем Россия первой половины XX века. Революция, войны, террор, голодные бедствия, карточная система лишили многие предметы их владельцев, превратили их в дешевое средство обмена на вожаделенные продукты питания и откупа от притязаний алчных представителей «родной» и оккупационных властей, в трофеи или бесполезный хлам. К тому же В. П. Серебряков – мастер на все руки. За умеренную плату он ремонтирует все, от велосипеда до часов. Он в состоянии отреставрировать любой предмет, утративший первоначальный вид. С гордостью показывал он нам недавно восстановленный им серебряный чайник начала XIX века, которым мальчишки во дворе играли в футбол.

Да и сам старинный город – идеальное место для антиквара. Горький был буквально «нафарширован» стариной. Володя Гречухин, например, жил с матерью неподалеку от Минина, 19а, в доме на улице Лядова (Большая Печерская, 11), выстроенном в 1882 году А. И. Башкировой, женой мукомола-миллионера. Однажды, когда я без спроса покинул двор и зашел к Володе, он показал мне мраморный умывальник с латунными вентилями крана в виде львиных голов. Помню, в тот момент я внутренне сокрушался, что их нельзя тут же отвернуть и унести домой.

Мы, мальчишки, ощущали себя в Горьком путешественниками, заброшенными на остров сокровищ: повсюду мерещились тайники и клады с несметными богатствами. Эти ощущения не

были пустой детской фантазией. Время от времени по городу разносились слухи об очередной находке при сломе дома или ремонте улицы. Иногда они подтверждались в прессе. Так, на следующий год после моих последних летних горьковских каникул в бывшем особняке пароходчиков Каменских на Верхне-Волжской набережной, в одном квартале от Минина, 19а, во время ремонтных работ был случайно обнаружен тайник с редкой коллекцией русского и европейского фарфора XVIII–XIX веков – гарднеровского, кузнецовского, мейсенского, берлинского, севрского, венского, веджвудского. Летом 1974 года, приехав в Горький на две недели, я имел возможность с завистью разглядывать наиболее ценные предметы из этой находки на музейной выставке...

Встреча с В. П. Серебряковым, на которую я возлагал такие надежды, закончилась горьким разочарованием: Василий Петрович предложил как-нибудь заглянуть к нему, но было ясно, что «когда-нибудь» – это не завтра и даже не на следующей неделе. Больше я его не видел. В конце лета, прожужжав маме все уши про антиквара, обида на которого постепенно улеглась, и про его коллекцию, я уговорил ее посетить коллекционера. Василия Петровича мы не застали. Его жена встретила нас любезно, как и годом раньше, и с радостью показала антикварные сокровища, которые маму, кажется, не впечатлили. (По туманным слухам, В. П. Серебряков в 80-х годах пал жертвой грабителей, ворвавшихся в его квартиру.)

Горечь обиды на антиквара держалась недолго. У меня были важные дела. В то лето я решил покончить с положением троечника и самостоятельно пройти курс математики и физики за пятый и шестой классы – предметы, совершенно мною запущенные. Каждое утро после завтрака я читал параграфы и решал задачи из привезенных в Горький учебников. Первые дни дело двигалось с трудом, я увязал в непонятном материале, терялся, злился, возвращался назад. Самые мудреные для меня места мне помогала расшифровать двоюродная сестра, Татьяна Корзухина, часто приезжавшая из Дзержинска. Она обладала даром как-то очень доступно объяснять сложные вещи. Постепенно материал стал поддаваться, задачки щелкались, как семечки. Растерянность и раздражение сменились чувством победы и полета. Через несколько недель я приобрел твердую уверенность, что с унижениями у классной доски и тройками в дневнике покончено.

Дедушка тихо радовался. Внука не нужно было понукать, подстегивать, принуждать, как несколько лет назад, когда тот упрямылся записать в ежедневник несколько строк о событиях прошедшего дня. Мальчик вырослел.

Приступы «взрослости» случались со мной и прежде. Приезжая в Горький, я с жаром принимался выполнять «факультатив-

ные» школьные задания на лето, но, за исключением чтения книг по списку, выдаваемому учителями истории и литературы, вскоре все мои усилия сходили на нет. Я начинал, например, собирать гербарий, сушил в наполненной песком коробке из-под обуви ветки черемухи и еще какие-то растения. Но вскоре пыл угасал.

Как-то раз по школьному заданию я начал коллекционировать бабочек. Дедушка, как всегда, поддержал «полезное» начинание, снабдил меня коробкой из-под конфет и булавок. Однако накалывание насекомых и пыльца с их крылышек на пальцах вызывали у меня тягостное чувство. Однажды, когда бабочка, вместо того чтобы застыть в коробке, продолжала трепыхаться на булавке, я разразился истерикой. Раненая бабочка была отпущена, коробка ушла на помойку: я понял, что это – не мое. Дедушка не возражал.

Летом 1972 года все было иначе. Это вообще было другое лето, не похожее на прежние. Володя Гречухин все три месяца провел в спортивном лагере, Володя Стафеев не приехал на каникулы. Не было ни шумных дворовых игр, ни походов в кино. Я больше времени проводил дома. К самостоятельным занятиям математикой и физикой присовокупилась помощь по дому: мелкие покупки в магазине, частое развешивание во дворе белья, сложенного горой в желтом тазу с изображением крупных цветов на дне. Долговязый подросток, на голову переросший бабушку, я, кажется, начал испытывать неловкость от положения обожаемого и ублажаемого ребенка.

Наверное, я вдруг почувствовал, как сдает здоровье дорогих мне стариков. Этому способствовало невероятно жаркое лето. Обычно в Горьком летняя жара кратковременна и сопровождается ливнями и грозами. В то лето дождей не было, первую половину июля и почти весь август дневная температура держалась выше 30°C, почва прогрелась до 55–60°C. Среднесуточная температура воздуха превышала норму на 10–15 градусов, содержание влаги в нем упало до 25 процентов, а в отдельные августовские дни – до семи – десяти процентов. Над городом стояло серое марево, с Верхне-Волжской набережной не было видно Волги: горели окрестные торфяники.

Впервые в сознательном возрасте я увидел бабушку больной и беспомощной. Она лежала на диванчике в гостиной, стонала и жадно хватала губами воздух. Чуть ли не ежедневно приезжала «скорая помощь». Врач мерил давление и делал укол, с недоумением косясь на неуместное в интеллигентной советской семье изображение Иисуса Христа на тумбочке в голове дивана – фамильную икону М. А. Нарской, недавно привезенную мною из короткой поездки в Железнодорожный.

Прогулки с дедушкой в этих условиях тоже сошли на нет. Последний раз мы гуляли с ним и приехавшей с гастролей мамой по Откосу. Была середина августа. Когда мы спустились на берег Волги,

стали собираться грозовые тучи. Мы заспешили домой. Я побежал первым, прыгая через две ступени крутой деревянной лестницы. Хлынул ливень. Мама чуть не на себе тащила Б. Я. Хазанова, с костюма и соломенной шляпы которого струилась вода. Через несколько месяцев, когда он тяжело заболел и слег, мама часто сокрушенно вспоминала этот эпизод.

Тем летом я нашел себе еще одно новое занятие. В зарослях зелени с «парадной» стороны дома стоял развесистый клен. Совершенно неспортивный, значительно менее ловкий, чем мои сверстники, я довольно скоро научился проворно взбираться по нему и скрываться в кроне. Отсюда мне было видно улицу и двор, прохожих и соседей. Я подолгу стоял в развилке кряжистых ветвей, прислонившись к стволу, на высоте пяти-шести метров, наслаждаясь одиночеством и скрытостью от посторонних глаз.

Возможно, я и не вспомнил бы об этом дереве, если бы челябинский предприниматель Павел Беньяминович Рабин, поддержавший несколько моих исследовательских и издательских проектов, не рассказал мне об аналогичном детском переживании, зафиксированном затем Юрием Шевелевым:

«Когда мне было немногим более десяти лет, мы с ребятами из самодеятельного кукольного театра гастролировали в окрестных пионерских лагерях и оказались в одном замечательном и странном месте. До сих пор не могу представить, где оно находится. Там была почти сказочная аллея деревьев с короткими стволами и очень густыми зелеными кронами. После спектакля пошли играть в прятки, один по жребию водит, а остальные разбегаются в разные стороны и прячутся кто где. Мне удалось быстро влезть на дерево и незаметно затаиться в его кроне. И вдруг меня охватывает неизъяснимое чувство гармонии со всем миром, ощущение глубочайшего понимания всего, что происходит, всего сущего. Вот мальчик идет искать и не видит ни меня, ни других, а я вижу всех до единого и вижу все сразу. Вижу как будто даже не глазами, а как-то особенно, всем своим существом. Мне кажется, что я все предвижу: что будет происходить, кто когда выскочит, кого найдут, кого застукают... Возникло ни с чем не сравнимое ощущение огромности своих возможностей, огромности самого себя, при том что такая огромность никому – в том числе и мне – не мешает. Это – удивительное чувство, которое запомнилось навсегда. Может, и случилось потом в жизни два-три события, сравнимые по глубине, но подобного острого чувства – такого *мига счастья* – больше мне пережить не удалось. Я был укрыт кроной дерева, никто не мог найти и достать меня, никто мне не мешал, и я никому не мешал, но все видел, все знал, все понимал...» (Шевелев Ю., 28).

По мнению детских психологов, в склонности младших подростков забираться на деревья и оттуда незаметно наблюдать за окружающими, нет ничего загадочного: «...дети-наблюдатели присваивают роль активного – познающего и действующего – субъекта, а взрослым оставляют роль познаваемого объекта, на который можно при желании воздействовать» (Осорина М. В., 164). Человек, сидящий на дереве, выделяет себя из внешней среды и противопоставляет себя ей. Он остро ощущает свою «особость» и автономность, он способен почувствовать себя «властелином мира».

Я упоминаю об этом не для того, чтобы «разоблачить» эксклюзивность детского переживания Павла Рабина. Каждый человек ищет историю, способную лаконично и убедительно объяснить ему самого себя, собрать воедино свои разрозненные ипостаси – многообразные, часто конфликтующие друг с другом возрастные, профессиональные, приватные, публичные социальные роли: «нельзя, кажется, долго жить, что-то испытав, если испытанное остается без всякой истории» (Фриш М., 207).

В моем случае сидение на дереве не сопровождалось, насколько я помню, пронзительным экзистенциальным чувством. Место уединения было для меня доступно в любой момент, оно не казалось «странным», я точно знал, «где оно находится». «Общение» с деревом было повседневным и ритуальным, оно служило сладкому одиночеству и, не в последнюю очередь, питало чувство победы. Ловкий взлет на клен был «спортивным» достижением, которое я с гордостью демонстрировал домочадцам. На дереве хорошо, покойно думалось о многом, в том числе – это я отчетливо помню – и о том, что детство кончается.

Последнюю декаду августа 1972 года я провел на даче у школьного друга Игоря Федорова. Мы бездельничали, бултыхались в озере, катались на велосипедах и лодке, бродили по окрестностям. Игорь Петрович Жаков и его жена Христина Ивановна, занятые домашними хлопотами, нам не докучали. В один из последних дачных вечеров я в одиночестве меланхолично наблюдал предосенний закат. Мне представилось, что висевшее над багровым светилом розовое, очертаниями напоминавшее медведя облако – то же самое, которым мы большой компанией родственников, традиционно собиравшейся в Горьком в конце лета, недавно любовались на Откосе. Кажется, я даже всплакнул. В этот момент я ясно осознал, что расстаюсь с детством, прощаюсь с Горьким, прощаюсь с прошлым. По прошествии лет и десятилетий это оказалось иллюзией. Прошлое не желает оставлять меня: горьковское, летнее детство крепко сидит во мне, вновь и вновь растревоживая воспоминаниями.

## Фото, автобиография и память



Совокупное послание фотоальбома – хронологически выстроенный (авто)биографический рассказ о крепкой семье, счастливом прошлом и успешной жизни. Семейный альбом – место встречи трех взаимосвязанных феноменов: во-первых, биологической способности и социальной потребности человека вспоминать; во-вторых, автобиографического конструирования собственного «Я» через линейное связывание прошлого, настоящего и будущего; наконец, в-третьих, фотографической практики как инструмента удержания «прекрасного мгновения» для рассказа об удавшейся жизни. Взаимосвязь припоминания и автобиографии очевидна. В конце концов, человеческая особь превращается в индивида благодаря автобиографической памяти.

«Память – это то, что вообще отличает человеческий ум от ума других приматов и прочих млекопитающих. Точнее сказать, автобиографическая память делает человека человеком, то есть способность сказать “я” и подразумевать при этом одну-единственную в своем роде личность, у которой есть особая история жизни, осознанное настоящее и ожидаемое будущее. В более абстрактной формулировке, автобиографическая память предоставляет ему возможность поместить личное существование в пространственно-временную целостность и оглядываться на былое, которое предшествовало настоящему. Очевидно, что эта способность к “ментальным путешествиями во времени” (Эндел Тулвинг) обеспечивает ориентирование в будущих действиях. Тем самым пережитое и познанное может использоваться для оформления и планирования будущего» (Markowitsch H. J., Welzer H., II).

Формирование личности может быть описано как поступательная «достройка» экспериментальной, семантической и эпизодической памяти ребенка памятью автобиографической. «Чувство времени, сознание и память образуют триаду, которая составляет ядро нашей личности и одновременно создает основу для формирования культурной памяти» (там же, 234). Автобиографическое воспоминание, таким образом, представляется наиболее сложной формой памяти.

Автобиографическая память является не столько индивидуальным достижением человеческого мозга, сколько социальным продуктом современности. Место человека в прежних обществах определялось происхождением. Его автобиографизация стала ответом на усложнение и растущую подвижность современных обществ. Автобиографическая память, которая сегодня воспринимается в качестве естественной принадлежности человека, есть одновременно следствие и предпосылка существования и эффективного функционирования современных социумов.

Как, однако, связана с автобиографической памятью память фотографическая? На первый взгляд, этот вопрос кажется банальным и излишним. Фотографирование как средство сохранить прошлое служит главным аргументом в рекламе фототехники. В этой же плоскости будет лежать ответ любого фотографа – профессионала и любителя – на вопрос о смысле занятия фотоделом. Владимир Набоков, вспоминая свое дореволюционное детство, видел в увлечении «образованного общества» фотографией в поздней Российской империи почти мистическое предчувствие скорого конца: «Как любили сниматься тогда, как пытались задержать уходящее!» (Набоков В., 45).

Взаимоотношения фотографии и памяти – большая тема в истории, социологии и философии фотографии со времен их зарождения и по сей день. Многие теоретики фотографии, прежде всего Вальтер Беньямин, Зигмунд Кракауэр и Ролан Барт, исходили из тезиса о несовместимости фотографии и памяти, о губительности фотоснимков для припоминания. Сама природа памяти и фотографии рассматривается ими как принципиально различная, что и обуславливает их взаимное отталкивание или взаимную подмену.

*«Память не включает ни тотального явления пространства, ни тотального временного протекания события. В сравнении с фотографией, ее записи отрывочны. <...> Какие бы сцены ни вспоминал человек, они значат нечто, что имеет к нему отношение, но он не обязан знать, что они значат. В отношении значения для него они выхолощены. Таким образом, они организуются по принципу, который по существу отличается от принципа фотографии. Фотография охватывает данность как пространственную (или временную) последовательность, а образы памяти сохраняют ее, если она что-то значит. Так как значение не исчерпывается исключительно пространственной или только временной связью, они (образы памяти – И. Н.) не совпадают с фотографическим воспроизведением. Если из перспективы последнего они являются фрагментом – но фрагментом именно потому, что фотография не передает смысла, который они получают и в связи с которым они перестают быть фрагментом, то из их перспективы фотография кажется нагромождением, отчасти составленным из отбросов»* (KRAUCAUER S., 24–25).

В резкой оппозиции обманчивой, «осколочной» памяти целостной «фактичности» фотографии парадоксальным образом воплотилась вера людей XIX – раннего XX века в «правдивость» нового медиума, которую и пытались опровергнуть теоретики фотографии 20–60-х годов. Это доверие к фото оказалось настолько устойчивым, что даже социологи 60-х годов XX столетия, признавшие конструктивистский характер фотографии, основанной на отборе, искажении и манипуляциях, отдавали ей лавры большей достоверности и бо-



лее осознанного обращения с прошлым, чем само индивидуальное воспоминание: «В отличие от собственного припоминания, фотография является целенаправленно применяемым способом сознательного выбора и классификации прошлого» (Castel R., 239). Робер Каstell, один из авторов изданного в 1965 году Пьером Бурдые труда «Не-легитимное искусство», исходил при этом из двух особенностей фотографической символики: «1. Фотография есть изображение отсутствующего предмета в качестве *отсутствующего*. 2. Фотография – результат *сознательного выбора*, сознательной селекции в рамках восприятия» (там же, 238). Тот, кто делает снимок, обладает острым чувством быстротечности времени, дистанции к настоящему, на глазах превращающемуся в прошлое. Для французского социолога фото находится в оппозиции к памяти, но одновременно поддерживает ее. Впрочем, и противопоставление фотографии в работах ранних теоретиков фотографии можно интерпретировать не как вытеснение или подмену одного феномена другим, а как их взаимодополняемость. Приведенное выше высказывание З. Кракауэра, например, может быть истолковано в таком духе: фото бессмысленно без придания ему значения в ходе обработки памятью; память аморфна и фрагментарна без структурирующего воздействия раздражителя, в данном случае – фотографии. Может ли фото, действительно, выступать стимулятором памяти?

Современные почитатели бартовой семиотики, сохраняющие известную веру в тотальность фотоизображения, противостоящую фрагментарности памяти, отвечают на этот вопрос отрицательно.

«Воображение трудится над тем, чтобы достроить образы, почерпнутые из памяти, до некоей условной полноты, – пишет Елена Петровская. – Фотография, напротив, – это память, лишённая забвения, а значит, и самой способности вспоминать. Фотография – время, соединённое с изображением, где настоящее окутано прошедшим; можно сказать, что настоящее прошедшего и есть ее особенное время. Но темпоральность фотографии такова, что снимок словно заранее помещает в прошлое то, что не успело состояться; находясь в беспредельности настоящего – настоящего, создаваемого самим ее восприятием, актуализирующим изображение, – фотография хранит в себе и будущее-в-прошлом. Кажется, что более совершенногоместилища минувшего просто не найти. Но от такого прошлого некуда скрыться, как нечего в нем и искать: вот оно здесь, все без остатка, в нем нет неясности, недосказанности и смысловых затемнений, нет в нем и явных провалов. Прошлое извлечено наружу в своем нечеловеческом охвате. Так помнить невозможно, ибо фотография “запоминает” все подряд. Потому-то в ней

ОТСУТСТВУЕТ ДРУГАЯ ПАМЯТЬ – ПЯМЯТЬ ЭМОЦИЙ, ИЛИ ТО, ЧТО ИСКАЖАЕТ, ЗАТУМАНИВАЕТ, ПОРТИТ, НО И ПРОЯСНЯЕТ ПРОШЛЫЕ СОБЫТИЯ» (ПЕТРОВСКАЯ Е., 9).

Вместе с тем, признавая, что «фотографии – это фрагменты историй и никогда – сами истории...» (Hirsch M., 83), исследователи в последние годы все решительнее смещают акцент с различий между фотографией и памятью на их общность, обнаруживая обескураживающие совпадения в структуре, функциях и истории восприятия обоих феноменов.

«АВТОБИОГРАФИЯ И ЭГО-ПОРТРЕТ, КАК И ФОТОГРАФИЯ, ОТТАЛКИВАЮТСЯ ОТ ДОПУЩЕНИЯ О ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНОМ НАЛИЧИИ У НИХ РЕФЕРЕНТНОЙ БАЗЫ И ИХ ТЕСНОЙ СВЯЗИ С РЕАЛЬНОСТЬЮ, ЧТО МАСКИРУЕТ ИХ ОПОСРЕДОВАННЫЙ И СКОНСТРУИРОВАННЫЙ ХАРАКТЕР. ИЛЛЮЗИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ И ПОЛНОТЫ “СЕБЯ” УВЕКОВЕЧИВАЕТСЯ КАК ФОТОГРАФИЧЕСКИМИ МЕДИУМАМИ, ТАК И АВТОБИОГРАФИЧЕСКИМИ АКТАМИ, И ОБЕ ФОРМЫ ЭТОГО ЗАБЛУЖДЕНИЯ ИСХОДЯТ ИЗ ПОЛНОГО И НАМЕРЕННОГО СОКРЫТИЯ ПРОЦЕССА РЕПРЕЗЕНТАЦИИ. И АВТОБИОГРАФИЯ, И ПОРТРЕТ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ ТАКЖЕ ФРАГМЕНТАРНОЙ СТРУКТУРОЙ И НЕПОЛНОТОЙ, КОТОРЫЕ ЛИШЬ ЧАСТИЧНО КОМПЕНСИРУЮТСЯ НАРРАТИВОМ И КОНВЕНЦИОНАЛЬНЫМИ СВЯЗЯМИ» (Hirsch M., 83–84).

Сопоставляя фотографию и автобиографическую литературу, Сюзанна Блазеевски констатирует, что оба медиума в равной степени могут не только сохранить воспоминание, но и изменить, исказить, подавить и вытеснить его. Память и фотографическое изображение в равной степени фрагментарны, непоследовательны, субъективны и ненадежны в качестве базиса для «объективного», фактического знания о человеческом «Я». Они отмечены «общим парадоксальным отношением к действительности и вымыслу» (Blazejewski S., 103). Правдивость фотоснимка и автобиографии столь же иллюзорны, как и использование ими «достоверности» своего инструментария для обслуживания возросшей потребности современного человека построить и защитить свое «Я», найти и стабилизировать свое место в постоянно меняющемся мире.

Способность фото и автобиографической памяти создавать вторую реальность в значительной степени объясняется общностью структуры автобиографии и фотоальбома.

«ПОМИМО ЭТОГО АМБИВАЛЕНТНОГО ОТНОШЕНИЯ К РЕАЛЬНОСТИ, АВТОБИОГРАФИЮ И ФОТОГРАФИКУ ОБЪЕДИНЯЕТ, КАК МОЖНО УСТАНОВИТЬ НА ОСНОВЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ НАБЛЮДЕНИЙ О СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ДЛЯ ЭТИХ МЕДИУМОВ РОЛИ ПАМЯТИ, ОБЩАЯ ФРАГМЕНТАРНАЯ БАЗОВАЯ СТРУКТУРА, ОБУСЛОВЛЕННАЯ В ПЕРВОМ СЛУЧАЕ ОТРЫВОЧНОСТЬЮ ОБРАЗОВ В ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПАМЯТИ, ВО ВТОРОМ – ТЕХНИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ. ОДНОВРЕМЕННО ЭТА БАЗОВАЯ СТРУКТУРА ПОЗВОЛЯЕТ СОЗДАТЬ (ПРАВДА, ЛИШЬ КАЖУЩУЮСЯ) НЕПРЕРЫВНОСТЬ РАССКАЗА: В ЛИТЕРАТУРНОЙ АВТОБИО-

ГРАФИИ – БЛАГОДАРИ ДРОБНОСТИ ПИСАТЕЛЬСКОГО ПРОЦЕССА, А В ФОТОГРАФИИ – С ПОМОЩЬЮ УПОРЯДОЧЕННОГО ПОДБОРА ОТДЕЛЬНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ В СЕМЕЙНОМ АЛЬБОМЕ» (ТАМ ЖЕ, 104).

Сходство структур и функций автобиографии и фотографии не дает, однако, ответа на вопрос, как фотоизображение влияет на процессы припоминания. Чтобы разобраться в нем, необходимо представить себе структуру и механизмы действия автобиографической памяти, что сегодня, благодаря достижениям нейропсихологии мозга, социологии и других наук о человеке, легче сделать, чем в 30-е или 60-е годы минувшего века.

«АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ СЛОЖНЫ, НО ОНИ СТРУКТУРИРОВАНЫ. ПРИ ЭТОМ МОЖНО РАЗЛИЧИТЬ РАЗНЫЕ УРОВНИ АВТОБИОГРАФИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ, КОТОРЫЕ ИЕРАРХИЧЕСКИ СВЯЗАНЫ. ОТДЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ ВКЛЮЧЕНЫ В ВЫШЕСТОЯЩИЕ СТРУКТУРЫ. НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ НАХОДИТСЯ ЗНАНИЕ О ПЕРИОДАХ ЖИЗНИ (БОЛЕЕ ПРОТЯЖЕННЫЕ ОТРЕЗКИ ВРЕМЕНИ, ДЛЯЩИЕСЯ ГОДЫ И ДЕСЯТИЛЕТИЯ). ЭТОТ МЕТА-УРОВЕНЬ ВОСПОМИНАНИЯ (СКРЕПЛЯЮЩАЯ СТРУКТУРА) ОБРАЗУЕТСЯ ДОЛГОСРОЧНЫМИ ИНТЕРВАЛАМИ, ЗАПОЛНЕННЫМИ КАКОЙ-ЛИБО ТЕМОЙ ЖИЗНИ. ЭТО – ЭТАПЫ ЖИЗНИ. ОНИ МОГУТ ПЕРЕСЕКАТЬСЯ, ТАК КАК СЮДА ОТНОСЯТСЯ КАК ЧАСТНЫЕ (ОТНОСИТЕЛЬНО ДЛИТЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ), ТАК И, НАПРИМЕР, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЭТАПЫ (ПОЛУЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, РАБОТА ПО ПРОФЕССИИ). НА СРЕДНЕМ УРОВНЕ СОХРАНЯЮТСЯ СОБЫТИЯ В ЦЕЛОМ (БОЛЕЕ ДЛИТЕЛЬНЫЕ ЭПИЗОДЫ, СУММА ОТДЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ). ВНУТРИ ЭТОЙ СТРУКТУРЫ ЖИЗНЕННЫХ ТЕМ ОТКЛАДЫВАЮТСЯ БОЛЕЕ МЕЛКИЕ И КРАТКОСРОЧНЫЕ СОБЫТИЯ, ЕЖЕДНЕВНО ПОВТОРЯЮЩАЯСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИЛИ ДЕЙСТВИЯ, КОТОРЫЕ, ХОТЯ И СОСТОЯТ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ РЕГУЛЯРНО ПОВТОРЯЮЩИХСЯ ПОСТУПКОВ, ВОСПРИНИМАЮТСЯ КАК ЯКОБЫ СОВОКУПНАЯ АКТИВНОСТЬ (ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КУРС, ОТПУСК И Т. Д.). ОНИ ОХВАТЫВАЮТ НЕДЕЛИ И МЕСЯЦЫ. НИЗШИЙ УРОВЕНЬ СОДЕРЖИТ ЗНАНИЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ, ОТДЕЛЬНЫХ ЭПИЗОДАХ (ОТ СЕКУНД ДО ЧАСОВ). ЭТА ПЛОСКОСТЬ ВКЛЮЧАЕТ МГНОВЕННЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ, ПЕРЕЖИВАНИЯ И СОБЫТИЯ» (GUSCHNER S., 272).

Основанные на наблюдениях американских нейрологов представления Штефана Гушкера об иерархических структурах автобиографических воспоминаний находят подтверждение у Ганса Марковича и Гаральда Вельцера, различающих автобиографическую память и более простые формы памяти, в том числе эпизодическую, которая формируется у ребенка в полуторагодовалом-трехлетнем возрасте.

Для понимания воздействия фотографии на процессы памяти особо ценно выделение низшего, с точки зрения иерархии, уровня воспоминаний – более стабильных, интенсивных и детализированных запасов «фотографической» памяти. Доступ к воспоминаниям происходит через эту «низшую» сферу, хотя в автобиографическом повествовании, как правило, задействованы все уровни

памяти. Но для припоминания, для «пробуждения» памяти наиболее важен уровень отдельных событий, «моментальных снимков», в то время как более высокие структуры позволяют не «освежить» воспоминания, а связать их в определенную последовательность.

Исследуя фотоальбомы и сопровождающие комментарии их обладателей, П. В. Романов и Е. Р. Ярская-Смирнова констатируют: «“Все снесено, а вот эти ворота остались...” – эта нарративная кода стала для нас метафорой работы памяти: фотоальбом как красное крыльцо, как ворота, которые память пощадила, а все, что мы увидим внутри, – это аккуратно разложенные по полочкам образы и надписи, составляющие визуальный ландшафт коллективной автобиографии» (Романов П. В., Ярская-Смирнова Е. Р., 156–157).

Воздействие фотографии на работу памяти, вероятно, сродни действию звуков или запахов, которые вызывают каскад воспоминаний, поднимающихся от нижнего уровня к верхним: «В таких случаях активность воспоминаний состоит в поиске ближайшего “вышестоящего” эпизода, находящегося в связи с этим детальным знанием» (Guschker S., 272).

Фото воздействует на память аналогичным образом:

«Воспоминание по сути связано с переживанием, потому что припоминаемые картины всегда являются остатком опыта. Фотография высвобождает явления из контекста опыта... и делает их воспроизводимыми. Неизбежная временная последовательность переживаний и воспоминаний содействует тому, что воспоминания представляют собой композицию чувств, телесных ощущений, мыслей и определений смысла. В этот процесс между восприятием и памятью вмешиваются фотографии. Фото вновь вызывают психические процессы, пережитые во время съемки. Воспоминания сохраняются в виде образов (образная память), но сенсорные возможности человека, его способность замечать и выражать, ограничены. Визуальные события сохраняются частично и в искаженном виде. Но с помощью фото человек преодолевает границы своей памяти... Обычно образы из памяти при новом воспоминании озвучиваются и сообщаются с помощью освоенных структур рассказа. Воспоминанию с помощью фотографии не нужен этот, словесный, окольный путь. Таким образом, фотоснимки прямо ведут к образному воспоминанию» (там же, 274).

Фотографии могут не только провоцировать припоминание, но и направлять процессы памяти. Фотоизображения вызывают ассоциации, поскольку позволяют – прежде всего, участнику когда-то запечатленной фотографической ситуации – «увидеть», вспомнить события, предметы, детали, не изображенные на фотографии. Фото могут вызывать спонтанные, неожиданно яркие и подробные припоминания. Дискретность фотографических собраний, например, в

фотоальбоме, побуждает их обладателей и зрителей заполнять пробелы, указывающие на скрытые смыслы и тем самым наделяющие фото дополнительным, повышенным значением.

Наряду с ассоциативным припоминанием фото могут обслуживать и целенаправленное, «стратегическое», длительное погружение в прошлое. Фото, как и прочие предметы из былого, позволяют их обладателю поместить то или иное воспоминание в контекст определенного места и времени и, что еще важнее, самому перенестись в этот контекст. Другими словами, целенаправленное и повторяющееся возвращение их владельца к одним и тем же фотоснимкам обеспечивает более устойчивые и интенсивные воспоминания о связанных с ними ситуациях, превращая прошлое в «архипелаг» образов, на которых фиксируется память индивида. Возможно, этим отчасти объясняется преимущественный интерес человека к тем фотографиям, на которых изображен он сам.

Поскольку фотографии обычно фиксируют особые случаи и состояния, «приподнимающие» над буднями, они способны регулировать процессы не только припоминания, но и забывания.

«Смысл забывания состоит в том, чтобы вычеркнуть обыденно повторяющиеся вещи, а также произвести отсеивание событий, которые угрожают стабильности “я”. Фотоснимок одновременно является актом стирания. Сохранение и стирание объединяются в одном жесте» (там же, 280).

Сохранение через стирание как феномен, характерный и для фотографии, и для биографии – тезис, к которому Елена Петровская подводит с иной стороны, через бартовскую идею встречи прошлого, настоящего и будущего в фотографии. Рассматривающий фотографию знает, что изображенного на ней нет и никогда не будет.

«Пишущий (авто)биографию распоряжается одними следами, которые стирают событие, но одновременно (в превращенной форме) его продлевают. <...> Сохранять через стирание – вот тот биографический урок, который преподносит фотография. При том что на самом фото (в отличие от памяти) никогда не стираются черты, обладая поистине гиперреальной четкостью. Сохранять через стирание не значит надеяться “вновь обрести”... Это значит удерживать саму невозможность встречи как то, что является ее непременным, ближайшим условием. Утрата, не предполагающая обретения, как обещание обретения. Короче, самое фотография» (Петровская Е., 140).

Воспоминание с помощью фотографии, как и всякое другое, зависит от ситуации того «сегодня», из которого происходит его «скачивание». «Дыры» между снимками семейного альбома могут заполняться разными историями, которые, в зависимости от настроения зрителя, могут варьироваться. С возрастом может меняться

ся смысл и повышаться или утрачиваться значение того или иного фото и связанных с ним событий. По словам одного из ведущих специалистов «чтения» фотографий Виктора Берджина, «созерцание фотографии по истечении некоторого периода времени может привести к фрустрации; образ, который некогда доставлял удовольствие и радость, десятилетия спустя превратился в вуаль, за которую нам хочется заглянуть» (цит. по: Hirsch M., 107).

Именно так произошло со мной и с фотопортретом, выполненным в августе 1966 года Александром Александровичем Головановым. После недолгой фазы интенсивного и заинтересованного рассматривания фотографии вслед за ее изготовлением она в течение десятилетий была не востребована и оставалась без истории, чтобы затем стать «дверью» в долгое путешествие по прошлому. Плодом странствий по времени стало конструирование не одного, а множества повествований, в совокупности выросших до размеров книги. В результате все изменилось – и прошлое, и я сам. И перемены продолжают. Вновь и вновь я возвращаюсь к фото 1966 года.



## О ЧЕМ ЭТА КНИГА?

Для тех, кому некогда

---

Нельзя видеть себя самого, вот в чем дело, истории видны только со стороны... отсюда наша жажда историй.

*Макс Фриш*

У фотографии один недостаток: невозможно повторение.

*Поль Терау*

Если «посторонний» читатель не только почерпнет из книги что-то полезное для себя, но и посопереживает ее действующим лицам, узнает кое-что о себе самом, я смогу с удовлетворением констатировать, что эффект проекта превзошел мои ожидания. Однако я скорее склонен предполагать, что первой «нормальной» реакцией потенциального читателя при пролистывании этой книги, попавшей в его руки случайно или вследствие профессионального интереса к одной из тем, перечисленных в названии, будет недоуменное пожимание плечами. Действительно, большинство встречающихся на ее страницах имен для него – звук пустой. Ее персонажи – люди, не прославившиеся «великими» делами, не оставившие заметного следа в истории. В общем – «обычные», «нормальные» люди. Зачем писать и читать о них?

К осознанию скромных исходных условий для успеха данного проекта присоединяется информированность о технологии работы с чужими книжными текстами, привычной для коллег-гуманитариев. Бедняги измучены необходимостью из профессиональной надобности читать много и, чаще всего, без удовольствия. Поэтому дело обычно ограничивается знакомством с введением и заключением, после чего охота погружаться в текст, как правило, отпадает. Учитывая эту распространенную традицию (и реакцию), я посчитал целесообразным завершить книгу коротким объяснением с читателем-«незнакомцем» по поводу ее содержания и назначения. Кто-то прочтет его и этим ограничится (и слава Богу: меньше поводов сетовать на «занудного» автора, самоуверенно претендующего на чужое внимание и время), кто-то обратится к отдельным заинтересовавшим его сюжетам, кто-то рискнет прочесть всю книгу.

Как следует ее воспринимать? Как определить ее «жанр»? Наверное, ее, прежде всего, можно рассматривать как личное свидетельство современника, и она может быть любопытна для тех, кого привлекают эго-документы как источник для изучения восприятия



и поведения, эмоций и поступков, представлений и опыта людей определенной эпохи.

*«Общим критерием всех текстов, которые могут быть обозначены как эго-документы, – пишет авторитетный эксперт по источникам личного происхождения Винфрид Шульце, – должно быть наличие высказываний или фрагментов высказываний, которые – пусть в рудиментарной или скрытой форме – дают справку о добровольном или вынужденном самовосприятии человека в его семье, общине, стране или социальном слое, или отражают его отношение к этим системам и к их изменениям. Они должны оправдывать индивидуальное человеческое поведение, раскрывать страхи, излагать знания, освещать ценностные представления, отражать жизненный опыт и ожидания» (SCHULZE W., 28).*

Эта книга является эго-документом в двух смыслах. Во-первых, она отчасти выполнена в жанре автобиографии, во-вторых, – представляет собой собрание семейных историй, преимущественно основанных на интервью с ее живыми героями, и на домашних архивах, хранящих личные документы, письма, воспоминания и фотографии.

Правда, автобиографические зарисовки здесь нарушают традиционную, линейную и целостную, хронологически упорядоченную конструкцию. В ней отсутствует период в жизни центрального «героя», обычно наиболее благоприятный для «скачивания» из памяти – так называемая «вершина воспоминаний», отрезок между 15 и 25 годами. Из книги сознательно исключены два важнейших для любого индивида жизненных этапа автора: молодость (от 15 до 30 лет) и, по определению Хосе Ортеги-и-Гассета, «век инициатив» (30–45 лет). Сюжеты о детстве обрываются в начале 70-х, на рубеже 13–14 лет, и перемежаются основанными на «полевом дневнике» исследователя описаниями начала «облачения властью» (этот период жизни испанский философ связывает с возрастом между 45 и 60 годами).

Непосредственное соседство двух столь разных, отделенных друг от друга тридцатилетним барьером временных «отрезков» – советских 60-х и постсоветского рубежа тысячелетий – организовано по прихоти автора для свободного перемещения между двумя пластами времени. Конечно, автобиография получилась куца – писать воспоминания в неполные пятьдесят – неприлично рано. Впрочем, на вопрос о том, сколько лет составляют человеческую жизнь, ответа не существует.

(Здесь необходимо предупредить тех, кто захочет использовать мое повествование о детстве в качестве аутентичного материала для изучения детской психологии. Все факты, изложенные в соответствующей линии, почерпнуты из собственной памяти и из

интервью со сверстниками и старшими родственниками. Однако написанию текстов о детстве предшествовало чтение литературы по психологии детства. Размышления над нею отчасти спровоцировали процессы припоминания, отчасти повлияли на вопросы, заданные интервьюентам, отчасти оказались матрицей для конструирования детских воспоминаний, ощущений, поступков. Тот, кто легковерно воспримет тексты о моем детстве как «незамутненный источник», спутает причину и следствие.)

Книга содержит дюжину непритязательных, рядовых семейных историй. Они могут, тем не менее, вызвать интерес и сопереживание у тех, кого занимает вопрос, как на индивидуальном микроуровне протекала жизнь «нации, погубившей в течение полувека почти шестьдесят миллионов душ во имя собственного плотоядного государства» (Бродский И., 45). Эти семейные истории подтверждают хорошо известный факт, что катаклизмы советского времени чувствительно затронули каждого обитателя СССР, порушили семейные связи, перемешали население, породили странные родственные альянсы. Прослеженные на семейном уровне, эти процессы впечатляют значительно больше, чем сухие статистические выкладки, где за шести-, семи- или восьмизначными цифрами человек и его страдания превращаются в анонимную абстракцию.

Все семьи, истории которых здесь представлены, были самым непосредственным образом задеты мировыми войнами, коллективизацией, сталинским террором, Холокостом. В результате возникли причудливые семейные союзы представителей этнословных групп, редко соприкасавшихся до революции 1917 года. Бедные мещане-евреи Хазановы и Рывкины породнились с богатыми купцами-евреями Гезенцевыми, польскими дворянами-католиками Пухальскими, русскими православными священниками Булгаковыми и Нарскими, уссурийскими казаками Шереметьевыми, уральскими крестьянами Корзухиными.

Новые семьи не были плодом идиллической дружбы народов и торжества интернационализма. Их возникновение и существование осложнялись культурными предрассудками, порождавшими внутри- и межсемейные конфликты и напряженность. Вряд ли поповны Агния Ивановна Булгакова и Мария Александровна Нарская пришли в восторг от браков их детей с отпрысками иудеев. Трудно представить себе радость казачьего атамана Василия Филипповича Шереметьева по поводу того, что его дочь вышла замуж за чекиста-еврея Исаю Яковлевича Рывкина, или родительское благословение пермского крестьянина Николая Максимовича Корзухина на женитьбу сына на городской девушке-еврейке.

Обнаруживается, что в большинстве случаев семейная память в современной России простирается лишь до рубежа XIX–XX

веков, реже – до середины XIX века, в исключительно редких случаях (как у дворян Пухальских) – до конца XVIII столетия. За «краткостью» коллективной памяти семьи и ненадежностью хранимого ею знания о родстве дальше поколения дедов скрывается универсальная для XX века тенденция к драматичному росту социальной подвижности и падению значения родственных связей. В СССР она была отягощена вынужденным молчанием о дореволюционных корнях семьи: досоветское время было официально превращено в мрачную предысторию героического настоящего и светлого будущего, а способность семьи оберегать (в том числе от своих младших членов) тайны происхождения и досоветского существования часто была залогом выживания.

Эту книгу позволительно интерпретировать не только как автобиографический эго-документ и семейное расследование, но и как «фототекст» – авторскую комбинацию фотографии и текста, раздвигающую границы обоих медиумов. Причем фотография в «фототексте» не служит иллюстрацией, и в этой связи ее визуальное присутствие в тексте не обязательно: «Произведение является “фототекстом” и тогда, когда фотография выступает “только” поводом для текста или изгнана в паратекст» (Blazejewski S., 58). Именно с этим феноменом встречается читатель в данном случае. Детский фотопортрет 1966 года представляется поводом для автобиографических воспоминаний, основой для исследовательских размышлений о возможностях использования изображений в качестве исторического источника, объектом прикладных усилий по расшифровке «послания», закодированного в семейном фото.

Анализ конкретного случая показывает удивительную жизнестойкость представлений об идеальной семье и семейных ценностях, запечатленных в семейных фотоснимках вопреки – а может быть, именно благодаря – радикальному ослаблению семейных связей на протяжении столетия между серединой XIX и XX веков. С момента изобретения фотографии в 1839 году и по крайней мере до массового развития фотолюбительства в 50–60-х годах XX века иконография частного фотопортрета в России оставалась почти неизменной. «Неподвижность» приватной фотографии в самый бурный период социальных потрясений, поставивших под сомнение жизнеспособность института семьи, можно истолковать как своего рода символическое сопротивление динамичным переменам.

Консерватизм постановочного студийного фотопортрета отчасти объясняется и тем, что на фото проецировались старые, «дофотографические» каноны и представления о «благородной» телесности.

«Людей 1839 года нельзя упрекать за то, что они с их представлениями об “образе” были застигнуты фотографией врасплох.

С точки зрения духовной истории они были плохо подготовлены

к “ИЗОБРАЖЕНИЮ ИЗ МАШИНЫ”. <...> ИЗ ПЕРСПЕКТИВЫ ИСТОРИИ ДУХА ФОТОГРАФИЯ БЫЛА ПЛОДОМ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ, А ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ФОТОГРАФИЯ – ЛИШЬ ИНКУБАТОРОМ, КОТОРЫЙ ДАЛ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫЖИТЬ НЕДОНОСКУ» (РАВЕК К., 239).

Не случайно Пьер Бурдьё почти через 130 лет после изобретения фотографии был убежден, что современные семейные фото по-прежнему указывают на статус фотографируемых и на внутрисемейные иерархии.

Конечно, в эпоху, когда массированное распространение изобразительной информации позволяет говорить о визуальном загрязнении окружающей среды, историку все труднее игнорировать изображение как важный исторический источник. Вместе с тем, историка-исследователя следует предостеречь от чрезмерного оптимизма в отношении визуальных источников и имеющихся методик их анализа. Ни одна методическая матрица не в состоянии заменить внимательного и неторопливого взгляда. Никакие теоретические изыски не заменят дифференцированного подхода к конкретным объектам, несравненно более трудоемкого, чем их иконографический, иконологический, психоаналитический или семиотический анализ вне исторического контекста. Семейные истории интереснее семейных фотографий, которые без рассказа остаются недоступными для чужака. При анализе изображений, особенно фотоснимков, историка подстерегает опасность видеть только то, что он и без того знает и хочет лишь подтвердить. Впрочем, с такой ситуацией он постоянно сталкивается и при работе с привычными, вербальными источниками. Поэтому для избежания подобной ловушки ему следует воспользоваться стратегиями, отработанными в отношении текстов.

Другими словами, историк должен комбинировать различные подходы к анализу изображений, исходя из конкретной исследовательской ситуации. Ему полезно отдавать себе отчет, что изображение многозначно и всегда открыто для различных интерпретаций; что именно он, наблюдающий субъект, определяет, для чего данный объект является источником. Исследователю стоит помнить, что выдвигаемые им на основе визуальных свидетельств гипотезы в отношении внутреннего мира исторических актеров остаются гипотезами, к которым сам он должен относиться осторожно. Скрамность в оценке историком своей интерпретации визуального источника, как и любого другого, настоятельно необходима. Его толкование осуществляется из переменчивого сегодня и, таким образом, зависит от внутреннего состояния наблюдающего: от его сиюминутных забот, личных интересов и опыта. Историка ждут разочарование и отчаяние, если он откажется признать, что его интерпретация изображения не может претендовать ни на славу единственной допустимой, ни на статус окончательной и совершенной.

Пример горьковского фото 1966 года наглядно показывает, что фотография способна не только провоцировать исследовательское любопытство, но и предоставить дополнительную, пусть гипотетическую информацию о людях, участвовавших в ее производстве. Вместе с тем многообразные гипотезы можно сцементировать трудно опровержимым тезисом: основная «весть» фотоснимка состоит в объяснении собственной жизни, в придании ей смысла, в конструировании ясного вектора из прошлого в настоящее, а из нынешнего дня – в день завтрашний. «Фотографии – как пунктир на морской карте: он показывает проделанный путь. Куда лежит дорога, что еще предстоит, им не предопределено. Но путешествие получает направление. Точно так же жизнь обретает вектор и последовательность с помощью фотографий. Тем самым предстоящее становится менее бесконечным, менее открытым, менее угрожающим» (Guschker S., 410).

Титул этого «произведения» я рискнул снабдить подзаголовком «автобио-историко-графический роман», вопреки своему принципиальному согласию с мнением замечательного ученого Л. Е. Кертмана, что историк – это неудавшийся писатель. Дерзкий подзаголовок – прежде всего сигнал читателю, что перед ним не научная монография. Скорее, это беллетристика, причудливое сплетение автобиографических, справочных и исследовательских эссе, выстроенных в определенные линии. Кроме того, нет оснований рассматривать эту книгу как строгое, академическое исследование, так как в ней есть допущения, позволяющие усомниться в ее соответствии «научным стандартам». Может ли, например, исследователь интервьюировать близких родственников, использовать историю собственной семьи в качестве основы для изучения общих проблем семейной истории, выступать не только в качестве субъекта, но и объекта аналитических процедур, комбинировать факты с вымыслом семейных преданий и авторских фантазий? Все эти вопросы остаются открытыми, и ответы на них, данные в этой книге, лежат на моей совести.

И все же, почему я дерзнул присвоить этому тексту «жанр романа»? В художественной литературе статус романа приписывается произведению большой формы о судьбе героя в столкновении с внешним миром. В этой книге есть элементы «канонического» романа – друзья, враги, любовь, встречи и расставания. В ней читатель найдет немало линий противостояния и конфликтов. Прежде всего – это столкновение между ребенком, даже не задумывающимся о том, что он живет в «лучшей в мире» стране, и зрелым мужчиной, обладающим, помимо прочего, знанием о том, что случилось с этим ребенком и этой страной. Это – столкновение между настоящим, в котором живет автор книги, и прошлым, в которое ему вернуться не дано.

Конечно, книга сознательно пропитана духом субъективизма, местами провокативно заостренного. Иначе и быть не могло. Шестидесятые годы минувшего века – это мое время, СССР – мое место, советская история – моя история, к которой я не могу относиться бесстрастно и «объективно». Свое «советское детство» я сконструировал по законам жанра: в нем, как во многих российских воспоминаниях XIX–XX веков, преобладает летнее, беззаботное время и присутствуют неперменные нянюшки, заботливые близкие, верные друзья и первая любовь. Спору нет, я во многом остаюсь пленником культуры, в которой вырос и от которой не желаю отрезаться.

Означает ли это мою явную или тайную, сознательную или неосознаваемую защиту «тоталитарного» советского детства, конструкта, созданного советским режимом для оболванивания доверчивых детей и контроля над простодушными взрослыми? В советском детстве, как и в любом другом, было, конечно, намешано многое, и элементов несвободы, особенно в государственных образовательных институтах, имелось в избытке. Но сводить его на этом основании к изобретенной взрослыми тоталитарной конструкции было бы досадным упрощением. Оно абсолютизировало бы всеисилие государства, переоценивало бы власть взрослых и игнорировало бы сложность и многослойность реальной жизни, в которой «каждый человек берет в дорогу столько для своего существования и счастья, сколько ему отмерено возможностями его времени – с субъективной точки зрения одинаково много» (Goehrke С., I, 16). В конце концов, не зная самоощущений исторических актеров в их конкретной пространственно-временной ситуации, понять исторический процесс невозможно. А поскольку в жизни одновременно происходит множество событий, вытягивание одной-единственной причинно-следственной цепочки неизбежно грозит всеупрощающей редукцией. Даже в «объективно» самом скверном положении индивиду может быть уютно и покойно, пока он молод и способен любить.

В этой книге очевиден конфликт не только между настоящим и прошлым. Важная конфронтационная линия, спровоцировавшая ее написание и запечатленная в ней, пролегает между настоящим и будущим. Читателю нетрудно догадаться, что мною двигали не только аргументы научного любопытства. В конечном итоге, эта книга сродни поступкам папиного отца, П. П. Нарского (Кузовкова), который перед бегством в Сибирь в 1934 году посетил с детьми профессионального фотографа, и родителей моей матери, Б. Я. и Н. Я. Хазановых, которые отвели семилетнего внука в фотоателье для создания «послания» ему и другим близким родственникам в виде «фотокарточки на память». Разве что моя «весть» потомкам более пространна и менее закамouflирована.

Прошлое и будущее зависит от настоящего, от угла зрения, настроений и вопросов исследователя, от его страхов и ожиданий. В этом смысле данная книга – отражение моего нынешнего самочувствия. Лет пять назад мне и в голову не пришло бы писать ее, пятью годами позже она была бы иной. Помимо прочих оснований, мною двигал страх забыть то, что пока вспоминалось так ярко и стало в процессе написания ощущаться еще острее. Психологи мозга различают две модели описания процессов, происходящих с памятью по мере старения человека. «Оптимисты» считают, что индивидуальная память сохраняет свой потенциал до старости, стремительно убывая в возрасте между 60 и 90 годами. «Пессимисты», которым я склонен доверять больше, полагают, что ослабление памяти начинается примерно с двадцатипятилетнего возраста и протекает с индивидуальными особенностями и разной скоростью. Береженого Бог бережет. Быть может, нескромно подводить итоги и писать автобиографические заметки, не достигнув преклонного возраста. Но мне не удалось удержаться от соблазна сделать это сейчас, будучи в «твердой» памяти.

Напомню определение романа, предложенное Хейденом Уайтом для классификации исторических нарративов XIX века: «Роман в своей основе есть драма самоидентификации, символизируемой выходом героя за пределы мира чувственного опыта, победой над ним и финальным освобождением от него» (Уайт Х., 28). В начале книги я упоминал, что проект развивался параллельно с нарастающим ощущением неуютности настоящего и был вариантом бегства из сегодня. Обе «напасти» какое-то время поддерживали друг друга. Однако в конце концов работа над манускриптом подействовала на меня благотворно. Мне удалось зафиксировать момент собирания идентичностей, возвращения к себе, узнавания себя в Мальчике из летнего Горького. Это произошло при написании сюжета «Первая любовь». «Драма самоидентификации» благополучно разрешилась, как и положено в романе.

Эксперты в области процессов памяти подчеркивают хрупкость автобиографического «Я» современного человека, терзаемого требованиями, которые предъявляют к нему многочисленные и нередко конфликтующие между собой социальные роли – профессиональная и личная, публичная и приватная. Положение индивида осложняется переменами в нем самом и в его окружающих, которых (как и самого себя) человек должен неустанно убеждать в том, что они имеют дело с одним и тем же лицом. При этом он должен проявлять «правильные», ожидаемые от него реакции на различные ситуации и проблемы. Его эмоции должны быть «приличествующими» его возрасту. В этой связи закономерен вопрос, «делается ли все это на протяжении жизни на самом деле одним и тем

же, неизменным “я”, или это в действительности множественное “я”, которое пластично движется по всем ролям и фазам жизни и кажется равным себе, обладает идентичностью только потому, что и другие изменяются одновременно с ним» (Markowitsch H. J., Welzer H., 216).

В собирании воедино человеческой идентичности решающую роль играет автобиографическая память: «Она интегрирует множественное “я”, совершая чудесную работу, заставляя казаться личности вечно неизменной именно потому, что она постоянно изменяется» (там же). Именно такую работу проделал со мною автобиографический проект. Конструируя свое прошлое, я придал устойчивость и целостность своему «Я», обеспечив себя значимым резервом прошлого, надежным «тылом», на который можно опереться в путешествии из настоящего в будущее.

Эта тема – тема работы над проектом и его работы над автором – еще одна линия столкновения в этом «романе». Исследование, описанное здесь от замысла до первых откликов слушателей и читателей на его результаты, – один из главных героев книги. Это, по-моему, достаточное оправдание для подзаголовка «автобио-историко-графический роман».

Нельзя не упомянуть, наконец, о главном противоборстве, происходящем на страницах этой книги. Недаром Владимир Набоков утверждал, что «в произведениях писательского искусства настоящая борьба ведется не между героями романа, а между романистом и читателем» (Набоков В., 195). Работа с «капризным» автором, своевольно меняющим свои роли, возраст и место действия, требует от читателя особых и целенаправленных усилий. Биографические и автобиографические тексты таят и для автора, и для читателя те же соблазны, что и производство и распространение сплетен, слухов и пересудов. По мнению Марко Эрдхайма, злорадное выискивание и рассказывание сведений о третьем лице выполняет жизненно важные для индивида и коллектива социальные функции. Пересуды обеспечивают поддержание единства группы – будь то научная школа, политическая группировка, секта или любое другое объединение – за счет того, что она ищет и находит людей в близком окружении, которых могла бы исключить из своих рядов. Сплетня выступает средством социального контроля, представляя собой «разговор полицейских без исполнительной власти» (Erdheim M., 183). Ведь в сплетне фигурирует вина, тайна и разоблачение. Кроме того, пересуды служат инструментом социальной гигиены, позволяя избавиться от чувства зависти и ненависти.

Идеализация или, напротив, стигматизация героя или группы в (авто)биографическом тексте выполняют те же функции, что и «пустые» пересуды. Цензура со стороны автора и читателя мо-



жет служить самооправданию и поддержанию целостности своей группы за счет третьих лиц.

«Если читать конкретные истории и сопоставлять их со своей, то это – увлекательные путешествия в дотолу неведомые области, художественные произведения, позволяющие по-новому заглянуть в психику. Если же нет готовности к самопознанию, очищающая работа рушится, и конкретные истории снова превращаются в обычную сплетню» (там же, 188).

В ходе работы над рукописью мне приходилось задаваться теми же вопросами, которые заботили Марианну Хирш при исследовании фамильных фотоальбомов:

«Одной из основных характеристик семейного взгляда является то, что он осуществляется внутри закрытого круга. Что произойдет, если этот круг расширится, вобрав в себя других зрителей и читателей? <...> Какое отношение мои читатели имеют к образам моей семьи? Как найти тот взгляд, который будет посредником между оберегаемым кругом семьи и публичностью научного анализа? Какова этика и политика такого “выставления напоказ”, такого публичного чтения образов, которые обрели свой смысл в сфере частного и личного?» (Hirsch M., 107).

Мне остается надеяться, что я не допустил бестактностей в отношении своих героев, доверивших мне личные секреты, и полагаться на готовность читателя к сотрудничеству, к сопереживанию, к «примерке» на себя рассказанных здесь историй.

Создавая эту книгу, я тем самым творил, в конечном счете, «место памяти» – мир, в котором живут и будут продолжать жить дорогие и важные для меня люди. В этом мире нет места смерти. Горьковские Хазановы будут по-прежнему переживать за своих детей и внуков, по-соседски навещать Алексеевых и враждовать-соседствовать с Гречухиными. Их внук будет каждое лето навещать Горький, с упоением носиться по двору и округе в компании Володи Гречухина и других соседских детей. В августе в квартире Хазановых на улице Минина, 19а, будут собираться близкие родственники – Корзухины и Нарские. По коридорам челябинской школы № 121 будут спешить на уроки Антонина Дмитриевна, Анна Антоновна, Мария Исааковна. В Челябинске, во дворе дома 41 на проспекте Ленина, будут играть в «войнушку» и «лесенку» мальчишки 1957–1961 годов рождения. На сцене местного театра оперы и балета будут выходить на поклон к рукоплещущей публике Ирина Сараметова и Лариса Ратенко, Владимир Постников и Владимир Нарский, Галина Борейко и Клара Малышева, Юрий Сидоров и Михаил Щукин. Зимними вечерами, пока дома нет взрослых, няня будет тихо молиться, стоя на коленях у окна, обращенного на восток. А позже, после репетиции, на краешек моей кровати присядет мама и ласково потреплет по щеке. Все так и будет.

Никто никогда не умрет. Вот только чувство утраты, которую не восполнить ни фотографией, ни текстом, не проходит.

Пока я строил свой мир, он заново лепил меня. Быть может, знающие меня люди, прочтя книгу, взглянут на меня по-другому. Не исключено, что, встретившись с прочитавшими ее давними знакомыми, я должен буду начать разговор с фразы: «Разрешите представиться...»



## СПИСОК ЦИТИРУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

---

- Ассман, Я. Культурная память : Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности / Я. Ассман.– М., 2004.
- Барт, Р. Camera lucida. Комментарий к фотографии / Р. Барт.– М., 1997.
- Беньямин, В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. Избранные эссе / В. Беньямин.– М., 1996.
- Бергер, П. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания / П. Бергер, Т. Лукман.– М., 1995.
- Борисов, В. Г. Директор и художник / В. Г. Борисов // Челябинский рабочий.– 1989.– 14 мая.
- Бродский, И. Поклониться тени. Эссе / И. Бродский.– СПб., 2001.
- Бунимович, Д. З. Практическая фотография / Д. З. Бунимович.– М., 1966.
- Бутовский полигон. 1937–1938 гг. Книга памяти жертв политических репрессий.– Вып. 3.– М., 1999.
- Вайль, П. 60-е. Мир советского человека. 3-е изд. / П. Вайль, А. Генис.– М., 2001.
- Вайнштейн, О. Денди : мода, литература, стиль жизни. 2-е изд. / О. Вайнштейн.– М., 2006.
- Вивег, М. Лучшие годы – псу под хвост / М. Вивег.– М., 2003.
- Вишневский, А. Серп и рубль : Консервативная модернизация в СССР / А. Вишневский.– М., 1998.
- Гинзбург, К. Приметы : Уликовая парадигма и ее корни / К. Гинзбург // Мифы–эмблемы–приметы: Морфология и история : сб. ст.– М., 2004. – С. 189–241.
- Гражданин мира или пленник территории? К проблеме идентичности современного человека : Сб. материалов.– М., 2006.
- Дашкова, Т. «Я храню твоё фото...» Советская культура 1930-х годов : взгляд из 1990-х / Т. Дашкова // Неприкосн. запас.– 2001.– № 2 (16).– С. 112–116.
- М. Дмитриев. В фокусе времени.– Н. Новгород, 1996.
- А. О. Карелин. Творческое наследие нижегородского художника и фотографа.– Н. Новгород, 1994.
- Келли, К. «Школьный вальс»: повседневная жизнь советской школы в постсталинское время / К. Келли // Антропологический форум.– 2004.– № 1.– С. 104–155.
- Козлова, Н. Советские люди. Сцены из истории / Н. Козлова.– М., 2005.
- Лебина, Н. Б. Энциклопедия банальностей : Советская повседневность : Контуры, символы, знаки / Н. Б. Лебина.– СПб., 2006.
- Левада, Ю. А. Поколения XX века : Возможности исследования / Ю. А. Левада // Отцы и дети : Поколенческий анализ современной России.– М., 2005.– С. 39–60.
- Лоуэнталь, Д. Прошлое – чужая страна / Д. Лоуэнталь.– СПб., 2004.
- Макин, А. Французское завещание / А. Макин // Иностран. лит.– 1996.– № 12.– С. 18–127.
- Михалкович, В. И. Поэтика фотографии / В. И. Михалкович, В. Т. Стигнеев.– М., 1990.
- Морозов, С. А. Творческая фотография / С. А. Морозов.– М., 1985.
- Набоков, В. Другие берега : роман / В. Набоков.– М., 2004.
- Нижегородская фотография. Город, люди, события. 1843 – 1917.– Н. Новгород, 2006.
- Нижний Новгород : путеводитель.– Н. Новгород, 2005.
- Новейший самоучитель по изучению общественных и художественных танцев. Руководство для учащихся танцам и учителей танцевания.– СПб., 1884.
- Ожегов, С. И. Словарь русского языка / С. И. Ожегов.– М., 1970.
- Осорина, М. В. Секретный мир детей в пространстве мира взрослых. Изд. 3-е / М. В. Осорина.– СПб., 2004.

- Петровская, Е. Фото(био)графия : к постановке проблемы / Е. Петровская // Авто-био-графии : к вопросу о методе : тетради по аналитической антропологии. № 1.– М., 2001.
- Петровская, Е. Непроявленное. Очерки по философии фотографии / Е. Петровская.– М., 2002.
- Портелли, А. Смерть Луиджи Трастулли. Память и событие : хрестом. по устной истории / А. Портелли.– СПб., 2003.– С. 202–230.
- Родченко, А. М. Статьи. Воспоминания. Автобиографические записки. Письма / А. М. Родченко.– М., 1982.
- Романов, П. Ландшафты памяти : опыт прочтения фотоальбомов / Визуальная антропология : новые взгляды на социальную реальность / П. Романов, Е. Ярская-Смирнова.– Саратов, 2007.– С. 146–168.
- Слезкин, Ю. Эра Меркурия : евреи в современном мире / Ю. Слезкин.– М., 2005.
- Уайт, Х. Метаистория : историч. воображение в Европе XIX века / Х. Уайт.– Екатеринбург, 2002.
- Усманова, А. Визуальные исследования как исследовательская парадигма [Электронный ресурс] / А. Усманова.– Режим доступа : [http:// ihtik.lib.ru/philosarticles\\_21dec2006\\_608.rar](http://ihtik.lib.ru/philosarticles_21dec2006_608.rar)
- Усманова, А. Научение видению : к вопросу методологии анализа фильма / А. Усманова // Визуальная антропология : новые взгляды на социальную реальность.– Саратов, 2007.– С. 183–205.
- Фицпатрик, Ш. Повседневный сталинизм. Социальная история Советской России в 30-е годы : город / Ш. Фицпатрик.– М., 2001.
- Фриш, М. Назову себя Гантенбайн / М. Фриш // Избр. произведения : в 3 т. Т. 2.– М., 1991.
- Хальбвакс, М. Социальные рамки памяти / М. Хальбвакс.– М., 2007.
- Хмелевская, Ю. Ю. О меморизации истории и историзации памяти / Ю. Ю. Хмелевская // Век памяти, память века : опыт обращения с прошлым в XX столетии.– Челябинск, 2004– С. 7–20.
- Хорев, М. М. «Мастерская обязательного художника...» / М. М. Хорев // Нижегород. рабочий.– 1990.– 9 окт.
- Хорев, М. М. Первая государственная... / М. М. Хорев // Нижегород. предприниматель.– 1998 – № 1. – С. 36.
- Хорев, М. М. Пионер нижегородской фотографии / М. М. Хорев // Горьков. правда.– 1984. – 12 авг.
- Хорев, М. М. Письмо из 37-го года / М. М. Хорев // Ленин. смена.– 1988.– 20 авг.
- Хорев, М. М. Письмо, которое не выдавалось / М. М. Хорев // Горьков. правда.– 1990.– 30 июня – 1 июля.
- Шанин, Т. История поколений и поколенческая история / Т. Шанин // Отцы и дети : поколенческий анализ современной России.– М., 2005.– С. 17–38.
- Шевелев, Ю. Недалекое прошлое. Павел Рабин : анатомия приватизации / Ю. Шевелев.– Челябинск, 2005.
- Эрикссон, Э. Детство и общество / Э. Эрикссон.– СПб., 1996.
- Assmann, A. Erinnerungsorte und Gedächtnislandschaften / Loewy H., Moltmann B. (Hg.). Erlebnis – Gedächtnis – Sinn. Authentische und konstruierte Erinnerung. Frankfurt/ M.; N. Y., 1996. S. 13–29.
- Baberowski, J. Der Feind ist überall. Stalinismus im Kaukasus. München, 2003.
- Bausinger, H. Typisch deutsch. Wie typisch sind die Deutschen? 3. Aufl. München, 2002.
- Berger, P., Luckmann, T. Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. Eine Theorie der Wissenssoziologie. Frankfurt/M., 1998.

- Blazejewski, S. Bild und Text – Photographie in autobiographischer Literatur. Margueri Duras' "L'Amant" und Michael Ondaatjes "Running in the Family". Saarbrücken, 2002.
- Boehm, G. Zu einer Hermeneutik des Bildes / H. G. Gadamer, G. Boehm. Seminar : Die Hermeneutik und Wissenschaft. Frankfurt/M., 1978. S. 444–471.
- Bourdieu, P. (Hg.). Eine illegitime Kunst. Die sozialen Gebrauchsweisen der Photographie. Frankfurt/M., 1983.
- Bourdieu, P. Praktische Vernunft. Zur Theorie des Handelns. Frankfurt/M., 1998.
- Bourdieu, P. Rede und Antwort. Frankfurt/M., 1992.
- Bourdieu, P. Soziologische Fragen. Frankfurt/M., 1993.
- Bourdieu, P. Zur Soziologie der symbolischen Formen. 6. Aufl. Frankfurt/M., 1977.
- Bude, H. Die biographische Relevanz der Generation / M. Kohli, M. Szydlik (Hg.). Generationen in Familie und Gesellschaft. Opladen, 2000.
- Budgoll, E. Der Schnappschuß. Familie, Reise, Sport. Frankfurt/M., 1984.
- Burke, P. Augenzeugenschaft. Bilder als historische Quellen. Berlin, 2003.
- Cassirer, E. Versuch über den Menschen. Einführung in eine Philosophie der Kultur. Hamburg, 1996.
- Castel, R. Bilder und Phantasiebilder / P. Bourdieu (Hg.). Eine illegitime Kunst. Die sozialen Gebrauchsweisen der Photographie. Frankfurt/M., 1983. S. 235–265.
- Corbin, A. Kulissen / Ph. Ariès, G. Duby (Hg.). Geschichte des privaten Lebens. Bd. 4: Von der Revolution zum Großen Krieg. Frankfurt/M., 1992.
- Elias, N. Über die Zeit. Arbeiten zur Wissenssoziologie II. Frankfurt/M., 1994.
- Erdheim, M. Klatsch und Tratsch / Die Rückkehr der Biografien. Berlin, 2002. S. 179–189.
- Flusser, V. Für eine Philosophie der Fotografie. 8. Aufl. Göttingen, 1997.
- Flusser, V. Kommunikologie. Frankfurt/M., 1998.
- Frizot, M. (Hg.). Neue Geschichte der Fotografie. Köln, 1998.
- Gessen, M. Esther und Rusja. Wie meine Großmütter Hitlers Krieg und Stalins Frieden überlebten. München, 2005.
- Goehrke, C. Russischer Alltag. Eine Geschichte in neun Zeitbildern. Bd. 1: Die Vormoderne. Zürich, 2003.
- Guschker, S. Bilderwelt und Lebenswirklichkeit: eine soziologisch Studie über die Rolle privater Fotos für die Sinnhaftigkeit des eigenen Lebens. Frankfurt/M. u. a., 2002.
- Gusdorf, G. Voraussetzungen und Grenzen der Autobiographie / G. Niggel (Hg.). Die Autobiographie. Zu Form und Geschichte einer literarischen Gattung. Wege der Forschung. Darmstadt, 1989. Bd. 565. S. 121–147.
- Hägele, U. Visual Anthropology oder Visuelle Kulturwissenschaft? Überlegungen zu Aspekten volkskundlicher Fotografie / I. Ziehe, U. Hägele (Hg.). Fotografien vom Alltag – Fotografien als Alltag. Münster, 2004.
- Hardtwig, W. Der Historiker und die Bilder. Überlegungen zu Francis Haskell // Geschichte und Gesellschaft. 1998. H. 2. S. 305–322.
- Hirsch, M. Family Frames: Photography, Narrative and Postmemory. Cambridge MA, 2002.
- Hoffmann, D. Private Fotos als Geschichtsquelle // Fotogeschichte. Beiträge zur Geschichte und Ästhetik der Fotografie. 1982. H. 6. S. 49–58.
- Jäger, J. Photographie: Bilder der Neuzeit. Eine Einführung in die Historische Bildforschung. Tübingen, 2000.
- Kemp, W. Theorie der Fotografie. Bd. 2: 1912–1945. München, 1999; Bd. 3: 1945–1980. München, 1983.
- Kofman, S. Freud – Der Fotoapparat / H. Wolf (Hg.). Paradigma Fotografie. Fotokritik am Ende des fotografischen Zeitalters. Bd. 1. Frankfurt/M., 2002. S. 60–66.
- Kracauer, S. Das ornament der Masse. Essays. Frankfurt/M., 1963.

- Le Goff, J. Ludwig der Heilige. Stuttgart, 2000.
- Losego, S.V. Überlegungen zur "Biographie" / BIOS, 2002. № 15. H. 1. S. 24–46.
- Markowitsch, H.J., Welzer H. Das autobiographische Gedächtnis. Hirnorganische Grundlagen und biosoziale Entwicklung. Stuttgart, 2005.
- Merridale, C. Steinerne Nächte. Leiden und Sterben in Russland. München, 2001.
- Mitchell, W. J. T. Was ist das Bild? / V. Bohn (Hg.). Bildlichkeit. Internationale Beiträge zur Poetik. Frankfurt/M., 1990. S. 17–68.
- Niethammer, L. (Hg.). Lebenserfahrung und kollektives Gedächtnis. Die Praxis der "oral history". Frankfurt/M., 1980.
- Nippertey, T. Kulturgeschichte, Sozialgeschichte, Historische Anthtopologie / Schieder W., Gräubig K. (Hg.) Theorieprobleme der Geschichtswissenschaft. Darmstadt, 1977. S. 286–310.
- Panofsky, E. Ikonographie und Ikonologie / E. Kaemmering (Hg.). Ikonographie und Ikonologie. Theorien – Entwicklung – Probleme. Bildende Kunst als Zeichensystem. Bd. 1. 6. Aufl. Köln, 1994.
- Pawek, K. Das Bild aus der Maschine. Skandal und Triumph der Photographie. Olten, 1968.
- Plato, A. von. Zeitzeugen und die historische Zunft. Erinnerung, kommunikative Tradierung und kollektives Gedächtnis in der qualitativen Geschichtswissenschaft – ein Problemaufriss // BIOS. 2000. № 13. H. 1. S. 5–29.
- Pott, Ph. Zu Hause nie allein. "Kommunales" Wohnen / M. Rütters, C. Scheide (Hg.). Moskau. Menschen, Mythen, Orte. Köln u. a. 2003. S. 92–99.
- Roeck, B. Das historische Auge. Kunstwerke als Zeugen ihrer Zeit. Von der Renaissance zur Revolution. Göttingen, 2004.
- Rutschky, M. Schneider. Sieben Seiten Lektüre eines anonymen Fotoalbums // Fotogeschichte. 1988. № 27. S. 40–53.
- Schlögel, K. Promenade in Jalta und andere Städtebilder. München; Wien, 2001.
- Schulze, G. Die Erlebnisgesellschaft. Kultursoziologie der Gegenwart. Frankfurt/M., 1995.
- Schulze, W. (Hg.). Ego-Dokumente: Annäherung an den Menschen in der Geschichte (Selbstzeugnisse der Neuzeit. Quellen und Darstellungen zur Sozial- und Erfahrungsgeschichte. Bd. 2). Berlin, 1996.
- Sontag, S. Über Fotografie. 2. Aufl. München; Wien, 1978.
- Starl, T. In Prisma des Fortschritts. Zur Fotografie des 19. Jahrhunderts. Marburg, 1991.
- Walter, C. Bilder erzählen! Positionen inszenierter Fotografie. Weimar, 2002.
- Wenders, W. Einmal: Bilder und Geschichten. 2. Aufl. Frankfurt/M., 1995.
- Wiegand, W. (Hg.). Die Wahrheit der Fotografie. Klassische Bekenntnisse zu einer neuen Kunst. Frankfurt/M., 1981.

## ТЕМАТИЧЕСКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ<sup>1</sup>

---

### Российско-советская повседневность

- Безгин, В. Б. Крестьянская повседневность (традиции конца XIX – начала XX века) / В. Б. Безгин. – Тамбов, 2004.
- Бойм, С. Общие места : мифология повседневной жизни / С. Бойм. – М., 2002.
- Брусиловская, Л. Б. Культура повседневности в эпоху «оттепели» : метаморфозы стиля / Л. Б. Брусиловская. – М., 2001.
- Вайль, П. 60-е. Мир советского человека. 3-е изд. / П. Вайль, А. Генис. – М., 2001.
- Вайнштейн, О. Денди : мода, литература, стиль жизни. 2-е изд. / О. Вайнштейн. – М., 2006.
- Давыдов, А. Ю. Нелегальное снабжение российского населения и власть. 1917–1921 гг. / А. Ю. Давыдов. – СПб., 2002.
- Журавлев, С. В. «Маленькие люди» и «большая история». Иностранцы московского Электрозавода в советском обществе 1920–1930-х гг. / С. В. Журавлев. – М., 2000.
- Зубкова, Е. Ю. Послевоенное советское общество : политика и повседневность. 1945–1953 / Е. Ю. Зубкова. – М., 1999.
- История повседневности : сб. ст. – СПб., 2003.
- Киршин, В. Частная жизнь. Очерки частной жизни пермяков 1955–2001 / В. Киршин. – Пермь, 2003.
- Козлова, Н. Н. Горизонты повседневности советской эпохи : голоса из хора / Н. Н. Козлова. – М., 1996.
- Козлова, Н. Советские люди. Сцены из истории / Н. Козлова. – М., 2005.
- Культура и власть в условиях коммуникационной революции XX века : сб. ст. – М., 2002.
- Куратов, О. В. Хроника русского быта. 1950–1990 гг. / О. В. Куратов. – М., 2004.
- Лебина, Н. Б. Повседневная жизнь советского города : нормы и аномалии. 1920-е – 1930-е годы / Н. Б. Лебина. – СПб., 1999.
- Лебина, Н. Б. Энциклопедия банальностей : советская повседневность : контуры, символы, знаки / Н. Б. Лебина. – СПб., 2006.
- Лебина, Н. Б. Обыватель и реформы / Н. Б. Лебина, А. Н. Чистиков. – СПб., 2003.
- Миронов, Б. Н. Социальная история России (XVIII – начало XX века) Т. 1–2 / Б. Н. Миронов. – СПб., 2003.
- Мокиенко, В. М. Толковый словарь языка «Совдепии» / В. М. Мокиенко, Т. Г. Никитина. – СПб., 1998.
- Нарский, И. В. Жизнь в катастрофе : Будни населения Урала в 1917–1922 гг. / И. В. Нарский. – М., 2001.
- Нормы и ценности повседневной жизни : становление социалистического образа жизни в России, 1920-е – 1930-е годы : сб. ст. – СПб., 2000.
- Объяснять обыкновенное. Повседневность как текст по-американски и по-русски : сб. ст. – М., 2004.
- Осокина, Е. А. За фасадом «сталинского изобилия» : распределение и рынок в снабжении населения в годы индустриализации. 1927–1940 / Е. А. Осокина. – М., 1998.
- Паперный, В. Культура Два / В. Паперный. – М., 1996.

<sup>1</sup> В связи с обилием литературы библиографические подборки по темам не претендуют на полноту и служат исключительно для ориентирования в самом первом приближении. В списки включены только монографии и сборники статей.



- Патрушев, В. Д. Жизнь горожанина (1965–1998) / В. Д. Патрушев.– М., 2000.
- Похлебкин, В. Кухня века / В. Похлебкин.– М., 2000.
- Сенявский, А. С. Российский город в 1960-е – 1980-е годы / А. С. Сенявский.– М., 1995.
- Славкин, В. Памятник неизвестному стилиге / В. Славкин.– М., 1996.
- Утехин, И. Очерки коммунального быта / И. Утехин.– М., 2001.
- Фицпатрик, Ш. Повседневный сталинизм. Социальная история Советской России в 30-е годы : город / Ш. Фицпатрик.– М., 2001.
- Фицпатрик, Ш. Сталинические крестьяне. Социальная история Советской России в 30-е годы : деревня / Ш. Фицпатрик.– М., 2001.
- Cerf, C. et. al. (Ed.). *Small Fires : Letters From the Soviet People to Ogonyok Magazine, 1987–1990.* N. Y., 1990.
- Crowley, D., Reid S. (Ed.). *Socialist Spaces : Sites of Everyday Life in the Eastern Bloc.* N. Y., 2002.
- Eaton, K. *Daily Life in the Soviet Union.* Westport, 2004.
- Goehrke, C. *Russischer Alltag. Eine Geschichte in neun Zeitbildern.* Bd. 1–3. Zürich, 2003–2005.
- Gronow, J. *Caviar with Champagne: Common Luxury and the Ideals of the Good Life in Stalin's Russia.* Oxford, 2003.
- Fisher, L. *Survival in Russia: Chaos and Hope in Everyday Life.* Boulder, 1993.
- Fitzpatrick, S. *The Cultural Front: Power and Culture in Revolutionary Russia.* Ithaca, 1992.
- Gessen, M. *Esther und Rusja. Wie meine Großmütter Hitlers Krieg und Stalins Frieden überlebten.* München; Wien, 2005.
- Hessler, J. *A Social History of Soviet Trade: Trade Policy, Retail Practices, and Consumption, 1917–1953.* Princeton; N. Y., 2004.
- Hoffmann, D. (Ed.). *Stalinism: the Essential Readings.* Blackwell, 2003.
- Humphrey, C. *The Unmaking of Soviet Life: Everyday Economies After Socialism.* Ithaca, 2002.
- Kelly, C., Lovell S. (Eds.). *Russian Literature, Modernism and the Visual Arts.* N. Y., 2000.
- Kotkin, S. *Magnetic Mountain. Stalinism as a Civilization.* Berkeley et al., 1995.
- Ledeneva, A. *Russia's Economy of Favours: Blat, Networking and Informal Exchanges.* Cambridge, 1998.
- Lonkila, M. *Social Networks in Post-Soviet Russia: Continuity and Change in the Everyday Life of St. Petersburg Teachers.* Helsinki, 1999.
- Lovell, S. *The Russian reading revolution: print culture in the Soviet and post-Soviet eras.* N. Y., 2000.
- Lovell, S. et al. (Eds.). *Bribery and Blat in Russia: Negotiating Reciprocity From the Middle Ages to the 1990s.* Houndmills et al., 2000.
- Lovell, S., Menzel, B. (Eds.). *Reading for Entertainment in Contemporary Russia : Post-Soviet Popular Literature in Historical Perspective.* München, 2005.
- Mandel, R., Humphrey, C. (Eds.) *Markets and Moralities : Ethnographies of Postsocialism.* Oxford; N. Y., 2002.
- Meier, R., Meier, K. *Sowjetrealität der siebziger Jahre. Szenen und Analysen.* Zürich, 1980.
- Merridale, C. *Night of Stone. Death and and Memory in Russia.* London, 2000.
- Obertreis, J. *Tränen des Sozialismus. Wohnen in Leningrad zwischen Alltag und Utopie 1917–1937.* Köln u. a., 2004.
- Petrone K. *Life Has Become More Joyous, Comrades : Celebrations in the Time of Stalin.* Bloomington, 2000.
- Richards, S. *Epics of Everyday Life: Encounters in a Changing Russia.* N. Y., 1991.
- Rüthers, M., Scheide, C. (Hg.). *Moskau, Menschen, Mythen, Orte.* Köln, 2003.
- Scheide, C. *Kinder, Küche, Kommunismus: das Wechselverhältnis zwischen sowjetischem Frauentag und Frauenpolitik von 1921 bis 1930 am Beispiel Moskauer Arbeiterinnen.* Zürich, 2002.

Scherbakova, I. Nur ein Wunder konnte uns retten. Leben und Überleben unter Stalins Terror. Frankfurt/M., 2000.

Wladimirow, L. Die Russen privat. So lebt man heute in der Sowjetunion. Wien, 1969.

### (Советское) детство

Арьес, Ф. Ребенок и семейная жизнь при Старом порядке / Ф. Арьес.– Екатеринбург, 1999.

Бим-Бад, Б. М. Педагогическая антропология : концептуальные основания и международный контекст / Б. М. Бим-Бад, Г. Б. Корнетов, В. Я. Мясников.– М., 2002.

Богданов, В. В. История школьных вещей / В. В. Богданов.– СПб., 2003.

Бойм, С. Общие места : мифология повседневной жизни / С. Бойм.– М., 2002.

Бродский, И. Меньше единицы : избр. эссе / И. Бродский.– М., 1999.

Выготский, Л. Собр. соч. Т. 1-2 / Л. Выготский – М., 1982.

Детский поэтический фольклор : антология.– СПб., 1997.

Дольто, Ф. На стороне ребенка / Ф. Дольто.– СПб., 1997.

Кон, И. С. Ребенок и общество : (Историко-этнографическая перспектива) / И. С. Кон.– М., 1998.

Мид, М. Культура и мир детства : Избр. произведения. / М. Мид.– М., 1988.

Мир детства : сб. ст.– М., 2007.

Моль, А. Половая жизнь ребенка / А. Моль. – М., 1994.

Осорина, М. В. Секретный мир детей в пространстве мира взрослых. 3-е изд. / М. В. Осорина. – СПб., 2004.

Пиаже, Ж. Речь и мышление ребенка / Ж. Пиаже.– М. ; Л., 1932.

Пиаже, Ж. Избранные психологические труды / Ж. Пиаже. – М., 1969.

Природа ребенка в зеркале автобиографии. – М., 1998.

Русский школьный фольклор. – М., 1998.

Сальникова, А. А. Российское детство в XX веке : история, теория и практика исследования / А. А. Сальникова. – Казань, 2007.

Холл, С. Очерки по изучению ребенка / С. Холл. – Б. м., 1925.

Чередникова, М. П. Советская русская детская мифология в контексте фактов традиционной культуры и детской психологии / М. П. Чередникова. – М., 1995.

Эриксон, Э. Детство и общество / Э. Эриксон. – СПб., 1996.

Bach, U. Kollektiverziehung als moralische Erziehung in der sowjetischen Schule 1956–1976. Berlin, 1986.

Brine, J. et al. (Eds.). Home, School, and Leisure in the Soviet Union. Boston, 1980.

Behnken, I. et al. Stadt und Quartier als Lebensraum von Kindern. Jugendlichen und ihren Pädagogen. Eine historisch-interkulturelle Studie. Wiesbaden-Leiden 1900 bis 1980. Wiesbaden, 1983.

Behnken, I. (Hg.) Stadtgesellschaft und Kindheit im Prozess der Zivilisation. Opladen, 1990.

Borries, B. von et al. (Hg.). Kindheit in der Geschichte. 19. und 20. Jahrhundert – Unterrichtsentwürfe, Quellen und Materialien. Düsseldorf, 1985.

Bronfenbrenner, U. Zwei Welten Kinder in USA und UdSSR. Stuttgart, 1972.

Bruhns, K. Kindheit in der Stadt. München, 1985.

Collin, A.R. A History of Children. A Socio-Cultural Survey Across Millenia. Westport, 2001.

Eklöf, B., Holmes L., Kaplan V. (Eds.). Educational Reform in Post-Soviet Russia: Legacies and Prospects. London, 2005.

Elschenbroich, D. Kinder werden nicht geboren. Studien zur Entstehung der Kindheit. Bensheim, 1980.

Fass, P. (Ed.). Encyclopedia of Children and Childhood in History and Society. Vol. 1 – 3. N. Y., 2004.

- George, A. (Ed.) *The Making of the Soviet Citizen: Character Formation and Civic Training in Soviet Education*. N. Y., 1987.
- Harms, G. et al. *Kinder und Jugendlichen in der Großstadt*. Berlin, 1984.
- Hart, R. *Children's Experience of Place: A Developmental Study*. N. Y., 1978.
- Harwin, J. *Children of the Russian State, 1917–1995*. Aldershot, 1996.
- Heywood, C. *A History of Childhood. Children and Childhood in the West from Medieval to Modern Times*. Cambridge, 2001.
- James, A., Prout, A. *Constructing and Reconstructing Childhood*. London, N. Y., 1980.
- Kelly, C. *Comrade Pavlik. The Rise and Fall of a Soviet Boy Hero*. London, 2005.
- Kelly, C. *Children's World: Growing Up in Russia, 1890–1991*. New Haven, 2007.
- Levin, D. *Leisure and Pleasure of Soviet Children*. London, 1966.
- Levin, D. *Soviet Education Today*. N. Y., 1966.
- McLaren, P. *Schooling as a Ritual Performance: Towards a Political Economy of Educational Symbols and Gestures*. London, 1993.
- Muchow, M., Muchow, H.H. *Der Lebensraum des Großstadtkindes*. Weinheim; München, 1998.
- O'Dell, F. *Socialization through Children's Literature. The Soviet Example*. N. Y., 1978.
- Peek, R. *Kindliche Erfahrungsräume zwischen Familie und Öffentlichkeit*. Münster, N. Y., 1995.
- Preuss-Lausitz, U. et al. (Hg.) *Kriegskinder – Konsumkinder – Krisenkinder. Zur Sozialisationsgeschichte seit dem Zweiten Weltkrieg*. Weinheim; München, 1989.
- Raleigh, D. (Ed.) *Russia's Sputnik Generation: Soviet Baby Boomers Talk About Their Lives*. Bloomington, 2006.
- Zinnecker, J. *Stadtkids, Kinderleben zwischen Straße und Schule*. Weinheim; München, 2001.

### (Советские) евреи

- Гэфтер, М. Эхо холокоста и русский Еврейский вопрос / М. Гэфтер. – М., 1995.
- Джонсон, П. История евреев / П. Джонсон. – М., 2006.
- Евреи и русская революция : материалы и исслед. – М., 1999.
- Еврейский антифашистский комитет в СССР, 1941–1948 : док. история. – М., 1996.
- Костырченко, Г. В. Тайная политика Сталина. Власть и антисемитизм / Г. В. Костырченко. – М., 2001.
- Полустертые следы : Российские школьники о еврейских судьбах : из работ участников все-российского исторического конкурса старшеклассников «Человек в истории России – XX век». – М., 2006.
- Слезкин, Ю. Эра Меркурия : евреи в современном мире / Ю. Слезкин. – М., 2005.
- Солженицын, А. И. Двести лет вместе. Т. 1–2 / А. И. Солженицын. – М., 2002.
- Степанов, С. А. Черная сотня в России (1905–1914 гг.) / С. А. Степанов. – М., 1992.
- Фотография на память. – М.; Иерусалим, 2006.
- Шульгин, В. В. «Что нам в них не нравится...» Об антисемитизме в России / В. В. Шульгин. – М., 1992.
- Czermak, G. *Christen gegen Juden. Geschichte einer Verfolgung. Von der Antike bis zum Holocaust, von 1945 bis heute*. Hamburg, 1997.
- Gessen, M. *Esther und Rusja. Wie meine Großmütter Hitlers Krieg und Stalins Frieden überlebten*. München, 2005.
- Gitelman, Z. *A Century of Ambivalence: The Jews of Russia and the Soviet Union, 1881 to the Present*. Bloomington, 2 Expanded edition, 2001.
- Gitelman, Z., Ro'i, Y. (Eds.). *Revolution, Repression, and Revival: The Soviet Jewish Experience*. N. Y., 2007.

- Haumann, H. Geschichte der Ostjuden, München 1999 (5. Aufl.).
- Hausleitner, M., Katz, M. (Hg.). Juden und Antisemitismus im östlichen Europa. Berlin, 1995.
- Hilbert, R. Die Vernichtung der europäischen Juden. Die Gesamtgeschichte des Holocaust. Berlin, 1992.
- Hundert, G. D. Bacon, G.C. The Jews in Poland and Russia. Bibliographical Essays. Bloomington, 1984.
- Kagedan, A. L. Soviet Zion. The Quest for a Russian Jewish Homeland. Houndmills; London, 1994.
- Levin, N. The Jews in the Soviet Union since 1917. Paradox of Survival. Vol. 1–2. N. Y.; London, 1988.
- Lustiger, A. Rotbuch: Stalin und die Juden. Die tragische Geschichte des Jüdischen Antifaschistischen Komitees und der sowjetischen Juden. Berlin, 1998.
- Margolina, S. Das Ende der Lügen: Russland und die Juden im 20. Jahrhundert. Berlin, 1992.
- Messmer, M. Sowjetischer und postkommunistischer Antisemitismus. Entwicklungen in Russland, der Ukraine und Litauen. Konstanz, 1997.
- Rohrbacher, S., Schmidt M. Judenbilder. Kulturgeschichte antijüdischer Mythen und antisemitischer Vorurteile. Hamburg, 1991.
- Ro'i, Y. Jews and Jewish Life in Russia and the Soviet Union. N. Y., 1995.
- Vetter, M. Antisemiten und Bolschewiki. Zum Verhältnis von Sowjetsystem und Judenfeindschaft 1917–1939. Berlin, 1995.

### Нижний Новгород – Горький – Нижний Новгород

- Евреи Нижнего Новгорода. (Вып. 1). Н. Новгород, 1993; (Вып. 2). Н. Новгород, 1995. Т. 1; (Вып. 3). Н. Новгород, 1995. Т. 2; (Вып. IV): Н. Новгород, 1997; (Вып. V): Н. Новгород, 1999; (Вып. VI): Н. Новгород, 2005.
- Записки краеведов. Горький, 1973, 1975, 1977, 1979, 1983, 1985, 1988; Н. Новгород, 2002.
- А. О. Карелин. Творческое наследие нижегородского художника и фотографа.– Н. Новгород, 1994.
- М. Дмитриев. В фокусе времени.– Н. Новгород, 1996.
- Мельников, А. П. Очерки бытовой истории Нижегородской ярмарки : столетие Нижегородской ярмарки (1817–1917). 2-е изд. / А. П. Мельников.– Н. Новгород, 1993.
- Морозов, С. А. Фотограф-художник Максим Дмитриев. 1858–1948 / С. А. Морозов.– М., 1960.
- Нижегородская фотография. Город, люди, события. 1843–1917.– Н. Новгород, 2006.
- Нижегородский край в словаре Брокгауза и Эфрона.– Н. Новгород, 2000.
- Нижний Новгород : путеводитель.– Н. Новгород, 2005.
- Одним дыханием со страной.– Горький, 1987.
- Смирнов, Д. Н. Картинки нижегородского быта XIX века / Д. Н. Смирнов.– Горький, 1948.
- Смирнов, Д. Н. Очерки жизни и быта нижегородцев XVII–XVIII века / Д. Н. Смирнов.– Горький, 1971.
- Смирнов, Д. Н. Очерки жизни и быта нижегородцев в начале XX века (1900–1916 годы) / Д. Н. Смирнов.– Н. Новгород, 2001.
- Стрелков, Е. Нижегородские прогулки. 2-е изд. / Е. Стрелков.– Н. Новгород, 2006.
- Трухманов, А. Полвека в культуре (Воспоминания о работниках культуры и искусства, о событиях нашей эпохи, о времени и о себе) / А. Трухманов.– Н. Новгород, 2003.
- Фотографии М. П. Дмитриева : кат.– Горький, 1959.
- Küntzel, K. Von Nižnij Novgorod zu Gor'kij. Metamorphosen einer russischen Provinzstadt. Die Entwicklung der Stadt von den 1890er bis zu den 1930er Jahren. Stuttgart, 2001.
- Schlögel, K. Promenade in Jalta und andere Städtebilder. München; Wien, 2001.

## (Советская) семейная история

- Лаврентьева, Е. В. Бабушка, Grand-mère, Grandmother... : Воспоминания внуков и внучек о бабушках, знаменитых и не очень с винтажными фотографиями XIX–XX веков / Е. В. Лаврентьева.– М., 2008.
- Макин, А. Французское завещание / А. Макин // Иностран. лит. – 1996. – № 12. – С. 18–127.
- Молкина, О. И. Над нами Красный крест. Петербургская семья на фоне XX века / О. И. Молкина.– СПб., 2007.
- Ольчак-Роникер, И. В саду памяти / И. Ольчак-Роникер.– М., 2006.
- Отцы и дети : поколенческий анализ современной России : сб. ст.– М., 2005.
- Судьбы людей : Россия – XX в. Биографии семей как объект социологического исследования.– М., 1996.
- Улановская, Н. История одной семьи / Н. Улановская, М. Улановская.– Н. У., 1982.
- Шихеева-Гайстер, И. Семейная хроника времен культа личности, 1925–1953 / И. Шихеева-Гайстер.– М., 1998.
- Полустертые следы : Российские школьники о еврейских судьбах : из работ участников всерос. историч. конкурса старшеклассников «Человек в истории Россия – XX век».– М., 2006.
- Цена победы : российские школьники о войне : сб. работ победителей V и VI Всерос. конкурсов историч. исслед. работ старшеклассников «Человек в истории Россия – XX век».– М., 2005.
- Человек в истории. Россия – XX век : сб. работ победителей всерос. конкурсов историч. исслед. работ старшеклассников. Вып. 1. – М., 2001; Вып. 2.– М., 2002; Вып. 3.– М., 2003; Вып. 4.– М., 2004; Вып. 5.– М., 2005; Вып. 6.– М., 2006; Вып. 7.– М., 2007.
- Breckner, R. et al. (Ed.). Biographies and the Division of Europe. Experience, Action and Change on the “Eastern Side”. Opladen, 2000.
- Dische, I. Großmama packt aus. 7. Aufl. Hamburg, 2006.
- Eisenstadt, S. N. From Generation to Generation: Age Groups and Social Structure. N. Y., 1971.
- Geiger, H. K. The Family in Soviet Russia. Cambridge, 1968.
- Gessen, M. Esther und Rusja. Wie meine Großmütter Hitlers Krieg und Stalins Frieden überlebten. München, 2005.
- Gestrich, A. Geschichte der Familie im 19. und 20. Jahrhundert. München, 1999.
- Habermas, R. Frauen und Männer des Bürgertums. Eine Familiengeschichte (1750–1850). Göttingen, 2000.
- Helker, R., Lennsen C. DerTschchow-Clan. Geschichte einer deutsch-russischen Künstlerfamilie. Berlin, 2001.
- Kohli, M., Scydlik M. (Hg.). Generationen in Familie und Gesellschaft. Opladen, 2000.
- White, R. Remembering Ahanagan. Storytelling in a Family’s Past. N. Y., 1998.

Конструирование реальности: память, идентичность,  
(авто)биография

- Авто-био-графии : к вопросу о методе : тетради по аналитической антропологии.– М., 2001.
- Анкерсмит, Ф. Нарративная логика. Семантический анализ языка историков / Ф. Анкерсмит.– М., 2003.
- Анкерсмит, Ф. Р. Возвышенный исторический опыт / Ф. Р. Анкерсмит.– М., 2007.
- Ассман, Я. Культурная память : письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности / Я. Ассман. – М., 2004.

- Белановский, С. А. Глубокое интервью / С. А. Белановский.– М., 2001.
- Бергер, П. Социальное конструирование реальности : трактат по социологии знания / П. Бергер, Т. Лукман. – М., 1995.
- Бурдьё, П. Практический смысл / П. Бурдьё. – СПб. ; М., 2001.
- Век памяти, память века : опыт обращения с прошлым в XX столетии : сб. ст.– Челябинск, 2004.
- Гинзбург, К. Мифы – эмблемы – приметы : морфология и история : сб. ст. / К. Гинзбург– М., 2004.
- Гражданин мира или пленник территории? К проблеме идентичности современного человека : сб. ст. – М., 2006.
- История и память : историческая культура Европы до начала Нового времени : сб. ст.– М., 2006.
- История через личность : историческая биография сегодня : сб. ст.– М., 2005.
- Йетс, Ф. Искусство памяти / Ф. Йетс.– СПб., 1997.
- Культура исторической памяти : сб. ст.– Петрозаводск, 2002.
- Культура исторической памяти. Невостребованный опыт : сб. ст.– Петрозаводск, 2003.
- Лоуэн, А. Язык тела / А. Лоуэн.– СПб., 1997.
- Лоуэнталь, Д. Прошлое – чужая страна / Д. Лоуэнталь.– СПб., 2004.
- Малышева, С. Ю. Советская праздничная культура в провинции : пространство, символы, исторические мифы (1917–1927) / С. Ю. Малышева.– Казань, 2005.
- Образы прошлого и коллективная идентичность в Европе до начала Нового времени : сб. ст.– М., 2003.
- Нуркова, В. В. Совершенное продолжается : психология автобиографической памяти личности / В. В. Нуркова.– М., 2000.
- Оптимизм памяти. Ленинград 70-х. – СПб., 2002.
- Память о войне 60 лет спустя – Россия, Германия, Европа. Спец. вып. журн. «Неприкосновенный запас» : дебаты о политике и культуре.– 2005.– № 2-3 (40–41).
- Плаггенборг, Ш. Революция и культура. Культурные ориентиры в период между Октябрьской революцией и эпохой сталинизма / Ш. Плаггенборг. – СПб., 2000.
- Рикер, П. Время и рассказ / П. Рикер.– М. ; СПб., 2000.
- Рикер, П. Память, история, забвение / П. Рикер.– М., 2004.
- Советское богатство : ст. о культуре, литературе и кино : к 60-летию Ханса Гюнтера.– СПб., 2002.
- Сотворение человека. Человек. Память. Текст : сб. ст.– Казань, 2000.
- Томпсон, П. Голос прошлого : устная история / П. Томпсон.– М., 2003.
- Уайт, Х. Метаистория : историческое воображение в Европе XIX века / Х. Уайт. – Екатеринбург, 2002.
- Хальбвакс, М. Социальные рамки памяти / М. Хальбвакс.– М., 2007.
- Хаттон, П. Х. История как искусство памяти / П. Х. Хаттон.– СПб., 2003.
- Хрестоматия по устной истории.– СПб., 2003.
- Шютц, А. Избранное : Мир, светящийся смыслом / А. Шютц.– М., 2004.
- Элиас, Н. О процессе цивилизации. Социогенетические и психогенетические исследования. Т. 1–2 / Н. Элиас.– М. ; СПб., 2001.
- Assmann, A. (Hg.). Identitäten. Frankfurt/M., 1998.
- Assmann, A. (Hg.). Erinnerungsräume. Formen und Wandel des kulturellen Gedächtnisses. München, 1999.
- Assmann, A., Harth,,D. (Hg.). Mnemosine. Formen und Funktionen der kulturellen Erinnerung. Frankfurt/M., 1991.

- Assmann, J., Hölscher T. (Hg.). Kultur und Gedächtnis. Frankfurt/M., 1988.
- Die Rückkehr der Biografien. Berlin, 2002.
- Boym, S. The Future of Nostalgia. N. Y., 2001.
- Dülmen, R. van. Die Entdeckung des Individuums 1500–1800. Europäische Geschichte. Frankfurt/M., 1997.
- Fentress, J., Wickham, Ch. Social Memory. Oxford, 1992.
- Grimm, R., Jost, H. (Hg.). Vom Anderen und vom Selbst. Beiträge zu Fragen der Biographie und Autobiographie. Königstein/Ts., 1982.
- Henige, D. P. Oral Historiography. N. Y., 1982.
- Hirsch, M. Family Frames: Photography, Narrative and Postmemory. Cambridge MA, 2002.
- Irwin-Zarecka, I. Frames of Remembrance. The Dynamics of Collective Memory. New Brunswick, 1994.
- Jüttemann, G., Thomae, H. (Hg.). Biographische Methoden in den Humanwissenschaften. Weinheim, 1998.
- Kämpfer, F. Propaganda. Politische Bilder im 20. Jahrhundert, bildkundliche Essays. Hamburg, 1997.
- Keller, B. Rekonstruktion der Vergangenheit. Vom Umgang der «Kriegsgeneration» mit Lebenserinnerungen. Opladen, 1996.
- Kohli, M. (Hg.). Soziologie des Lebenslaufs. Darmstadt, 1978.
- Kohli, M., Robert, G. (Hg.). Biographie und Wirklichkeit. Stuttgart, 1984.
- Koselleck, R. Zeitschichten. Frankfurt/M., 2000.
- Kotre, J.N. White Gloves : How We Create Ourselves Through Memory. N. Y., 1995.
- Langenohl, A. Erinnerung und Modernisierung. Die öffentliche Rekonstruktion politischer Kollektivität am Beispiel des neuen Rußlands. Göttingen, 2000.
- Lehmann, A. Erzählstruktur und Lebenslauf. Autobiographische Untersuchungen. Frankfurt/M.; N. Y., 1983.
- Loewy, H., Moltmann, B. (Hg.). Erlebnis – Gedächtnis – Sinn. Authentische und konstruierte Erinnerung. Frankfurt/M.; N. Y., 1996.
- Markowitsch, H.J., Welzer, H. Das autobiographische Gedächtnis. Hirnorganische Grundlagen und biosoziale Entwicklung. Stuttgart, 2005.
- Merridale, C. Night of Stone. Death and Memory in Russia. London, 2000.
- Neisser, U., Fivush, R. (Ed.). The Remembering Self. Construction and Accuracy in the Selfnarrative. Cambridge, 1994.
- Niethammer, L. Kollektive Identität. Heimliche Quellen einer unheimlichen Konjunktur. Reinbek, 2000.
- Niethammer, L. (Hg.). Lebenserfahrung und kollektives Gedächtnis. Die Praxis der «oral history». Frankfurt/M., 1980.
- Niggel, G. (Hg.). Die Autobiographie. Zu Form und geschichte einer literarischen Gattung. Darmstadt, 1970.
- Oexle, O. G. (Hg.). Memoria als Kultur. Göttingen, 1995.
- Passerini, L. (Ed.). Memory and Totalitarianism. International Yearbook of Oral History and Life Stories. Vol. 1. Oxford, 1992.
- Rolf, M. Das sowjetische Massenfest. Hamburg, 2006.
- Ross, B. Remembering the Personal Past: Descriptions of Autobiographical Memory. N. Y., 1991.
- Rüsen, J. Grundzüge einer Historik. Bd. 1–3. Göttingen, 1983–1989.
- Sackmann, R., Wingens M. (Hg.). Strukturen des Lebenslaufs. Weinheim, 2001.
- Scheuer, H. Biographie. Studien zur Funktion und zum Wandel einer biographischen Gattung vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Stuttgart, 1979.
- Schudson, M. Memory Distortion: How Minds, Brains and Societies Reconstruct the Past. Cam-

bridge, Mass., 1995.

Schulze, W. (Hg.). Ego-Dokumente: Annäherung an den Menschen in der Geschichte (Selbstzeugnisse der Neuzeit. Quellen und Darstellungen zur Sozial- und Erfahrungsgeschichte. Bd. 2). Berlin, 1996.

Schütze, F. Das narrative Interview. Kurs der Fernuniversität. Hagen, 1986.

Sennett, R. The Corrosion of Character. N. Y., 1998.

Watson, R. (Ed.). Memory, History, and Opposition Under State Socialism. Santa Fe, NM, 1994.

Welzer, H. Das kommunikative Gedächtnis. Eine Theorie der Erinnerung. München, 2002.

White, H.C. Identity and Control. Princeton, 1992.

## Исследования и репрезентации (фото)изображений

Баксендолл, М. Узоры интенции. Об историческом толковании картин / М. Баксендолл.– М., 2003.

Барт, Р. Camera lucida. Комментарий к фотографии / Р. Барт.– М., 1997.

Беньямин, В. Проведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости : избр. эссе / В. Беньямин.– М., 1996.

Бродецкий, А. Я. Внеязычное общение в жизни и в искусстве : азбука молчания / А. Я. Бродецкий.– М., 2000.

Вартанов, А. С. Фотография: документ и образ / А. С. Вартанов.– М., 1983.

Визуальная антропология : новые взгляды на социальную реальность : сб. ст.– Саратов, 2007.

Визуальные аспекты культуры : сб. ст.– Ижевск, 2005.

Вторая реальность : сб. ст. по проблемам фотографии и фотожурналистики.– СПб., 1999.

Голомшток, И. Тоталитарное искусство / И. Голомшток.– М., 1994.

Крейдин, Г. Е. Невербальная семиотика / Г. Е. Крейдин.– М., 2002.

Лаврентьева, Е. В. Семейный альбом : Фотографии и письма 100 лет назад / Е. В. Лаврентьева.– М., 2005.

Лаврентьева, Е. В. Бабушка, Grand-mère, Grandmother... : Воспоминания внуков и внучек о бабушках, знаменитых и не очень с винтажными фотографиями XIX–XX веков / Е. В. Лаврентьева.– М., 2008.

Лаврентьева, Е. В. «Хорошо было жить на даче...» : Дачная и усадебная жизнь в фотографиях и воспоминаниях / Е. В. Лаврентьева.– М., 2008.

Мельшиор-Бонне, С. История зеркала / С. Мельшиор-Бонне.– М., 2006.

Михалкович, В. И. Поэтика фотографии / В. И. Михалкович, В. Т. Стигнеев.– М., 1990.

Морозов, С. А. Русская художественная фотография / С. А. Морозов.– М., 1960.

Морозов, С. А. Искусство видеть : очерки по истории фотографии стран мира / С. А. Морозов.– М., 1963.

Морозов, С. А. Творческая фотография / С. А. Морозов.– М., 1985.

Никитин, В. А. Рассказы о фотографах и фотографиях / В. А. Никитин.– Л., 1991.

Очевидная история : Проблемы визуальной истории России XX столетия : сб. ст.– Челябинск, 2008.

Петровская, Е. Непроявленное. Очерки по философии фотографии / Е. Петровская.– М., 2002.

Петровская, Е. Антифотография / Е. Петровская.– М., 2003.

Родченко, А. М. Статьи. Воспоминания. Автобиографические записки. Письма / А. М. Родченко.– М., 1982.

Савчук, В. В. Философия фотографии / В. В. Савчук.– СПб., 2005.

Сергеев, Ю. Н. Фотография на память. Фотографы Невского проспекта. 1850–1950 / Ю. Н. Сергеев.– СПб., 2003.

Фотография на память.– М. ; Иерусалим, 2006.



- Челябинская область в фотографиях. Т. 1 : 1900–1920. Челябинск, 2000; Т. 2 : 1920–1940. Челябинск, 2001; Т. 3 : 1940–1960. Челябинск, 2002; Т. 4 : 1960–1980. Челябинск, 2003; Т. 5 : 1980–2000. Челябинск, 2004.
- Ямпольский, М. Наблюдатель. Очерки истории видения / М. Ямпольский.– М., 2000.
- Янковская, Г. А. Искусство, деньги и политика : художник в годы позднего сталинизма / Г. А. Янковская.– Пермь, 2007.
- Agitation zum Glück. Sowjetische Kunst der Stalinzeit. Bremen, 1994.
- Altrichter, H. (Hg.). Bilder erzählen Geschichte. Freiburg/Breisgau, 1995.
- Beitl K., Plöckinger, V. (Hg.). Forschungsfeld Familienfotografie: Beiträge der Volkskunde/europäischer Ethnologie zu einem populären Bildmedium. Wien u.a., 2001.
- Blazejewski, S. Bild und Text – Photographie in autobiographischer Literatur. Würzburg, 2002.
- Boehm, G. Was ist ein Bild? München, 1994.
- Bohn, V. (Hg.). Bildlichkeit. Internationale Beiträge zur Poetik. Frankfurt/M., 1990.
- Bonnel, V.E. Iconography of Power. Soviet Political Posters under Lenin and Stalin. Berkeley; L.A., 1997.
- Bourdieu, P. Eine illegitime Kunst: die sozialen Brauchweise der Photographie. Frankfurt/M., 1981.
- Brauchitsch, B. von. Kleine Geschichte der Fotografie. Stuttgart, 2002.
- Bryson, N., Holly, M., Moxey, K. (Eds.). Visual Theory. Cambridge, 1991.
- Budgoll, E. Der Schnappschuß. Familie, Reise, Sport. Frankfurt/M., 1984.
- Burgin, V. (Ed.). Thinking Photography. London, 1982.
- Burke, P. Eyewitnessing: The Uses of Images as Historical Evidence. London, 2001.
- Burns, S. Sleeping Beauty: Memorial Photography in America. Altadena, 1990.
- Cassidy, B. (Ed.). Iconography at the Cross-Roads. Princeton, 1993.
- Chalfen, R. Snapshot Versions of Life: Explorations of Home Made Photography. Bowling Green, 1987.
- Chalfen, R. Turning Leaves. The Photograph Collection of Two Japanese-American Families. Albuquerque, 1991.
- Coe, B., Gates, P. The Snapshot Photograph. The Rise of Popular Photography 1888–1939. London, 1977.
- Collier, J. Visual Anthropology: Photography as a Research Method. N. Y., 1967.
- Diekmann, S. Mythologie der Fotografie: Abriß zur Diskursgeschichte eines Mediums. München, 2003.
- Dobrenko, E., Naiman, E. (Eds.). The Landscape of Stalinism : the Art and Ideology of Soviet Space. Washington, 2003.
- Flusser, V. Für eine Philosophie der Fotografie. 8. Aufl. Göttingen, 1997.
- Freund, G. Photographie und Gesellschaft. Hamburg, 1983.
- Frizot, M. (Hg.). Neue Geschichte der Fotografie. Köln, 1998.
- Gombrich, E. Art and Illusion. London, 1960.
- Green, J. (Ed.). The Snapshot. N. Y., 1974.
- Guiber, H. Phantom-Bild. Über Photographie. Leipzig, 1993.
- Guschker, S. Bilderwelt und Lebenswirklichkeit: eine soziologische Studie über Rolle privater Fotos für die Sinnhaftigkeit des eigenen Lebens. Frankfurt/M. u.a., 2002.
- Hardtwig, H. (Hg.). Sehenlernen. Kritik und Weiterarbeit am Konzept Visueller Kommunikation. Köln, 1976.
- Haskell, F. History and its Images. New Haven, 1993.
- Henny, L.M. Theory and Practice of Visual Sociology. London, 1986.
- Hirsch, J. Family Photographs. Content, Meaning, and Effect. N. Y.; Oxford, 1981.
- Hirsch, M. Family Frames: Photography, Narrative and Postmemory. Cambridge MA, 2002.
- Jäger, J. Photographie: Bilder der Neuzeit. Einführung in die Historische Bildforschung. Tübingen, 2000.

- Kaemmering, E. (Hg.) Ikonographie und Ikonologie. Theorien – Entwicklung – Probleme. Bildende Kunst als Zeichensystem. Bd. 1. Köln, 1987.
- Kemp, W. (Hg.) Theorie der Fotografie. 3 Bde. München, 1979–1988.
- Kesting, M. Die Diktatur der Photographie. Von der Nachahmung der Kunst bis zu ihrer Überwältigung. München; Zürich, 1980.
- King, G. Say «Cheese»! The Snapshot as Art and Social History. London, 1986.
- Kracauer, S. Das Ornament der Masse. Frankfurt/M., 1963.
- Maas, E. Die goldenen Jahre der Photoalben. Fundgrube und Spiegel von gestern. Köln, 1977.
- Mitchell, W. J. T. Picture Theory: Essays on Visual and Verbal Interpretation. Chicago, 1994.
- Newhall, B. Geschichte der Photographie. München, 1998.
- Oexle, O. G. (Hg.). Der Blick auf die Bilder. Kunstgeschichte und Geschichte im Gespräch. Göttingen, 1997.
- Panofski, E. Studien zur Ikonologie. Köln, 1980.
- Pawek, K. Das Bild aus der Maschine: Skandal und Triumph der Photographie. Olten u. a., 1968.
- Pohlmann, U. (Hg.). Eine neue Kunst? Eine andere Natur : Fotografie und Malerei im 19. Jahrhundert. München, 2004.
- Roeck, B. Das historische Auge. Kunstwerke als Zeugen ihrer Zeit. Göttingen, 2004.
- Rosenstone, R. A. Visions of the Past. Cambridge, Mass., 1995.
- Ruchartz, J. Licht und Wahrheit: eine Mediumgeschichte der fotografischer Projektion. München, 2003.
- Ruphalwis, J. Soziologie und Fotografie. Grundlage zu einem Handbuch für optisch-visuelle Kommunikation und Sozialwissenschaften. Hamburg, 1994.
- Sachs-Hombach, K., Rehkämpfer, K. (Hg.). Bild – Bildwahrnehmung – Bildverarbeitung. Interdisziplinäre Beiträge zur Bildwissenschaft. Wiesbaden, 1998.
- Schlögel, K. Im Raum lesen wir die Zeit. Über Zivilisationsgeschichte und Geopolitik. München; Wien, 2003.
- Schuster, M. Fotopsychologie. Lächeln für die Ewigkeit. Berlin, 1996.
- Silverman, K. The Threshold of the Visible World. N. Y., 1996.
- Sontag, S. Über Fotografie. München, 2002.
- Spence, J. Putting Myself in the Picture : A Political, Personal and Photographic Autobiography. Seattle, 1988.
- Spence, J., Holland, P. (Eds.). Family Snaps : The Meaning of Domestic Photography. London, 1991.
- Starl, T. Im Prisma des Fortschritt: zur Fotografie des 19. Jahrhunderts. Marburg, 2001.
- Trachtenberg, A. (Ed.). Classic Essays on Photography. New Haven, 1980.
- Trumble, A. A Brief History of the Smile. N. Y., 2004.
- Volk, A. (Hg.). Vom Bild zum Text : Die Photographiebetrachtung als Quelle sozialwissenschaftlicher Erkenntnis. Zürich, 1996.
- Wagner, J. (Ed.). Images of Information. Still Photography in the Social Sciences. Beverly Hills, 1979.
- Walter, C. Bilder erzählen! Positionen inszenierter Fotografie. Weimar, 2002.
- Wiegand, W. (Hg.). Die Wahrheit der Fotografie. Klassische Bekenntnisse zu einer neuen Kunst. Frankfurt/M., 1981.
- Wolf, H. (Hg.). Paradigma Fotografie. Fotokritik am Ende des fotografischen Zeitalters. Frankfurt/M., 2002.
- Wolf, H. (Hg.). Diskurs der Fotografie. Fotokritik am Ende des fotografischen Zeitalters. Frankfurt/M., 2003.
- Ziehe, I., Hägele, U. (Hg.). Fotografie vom Alltag – Fotografie als Alltag. Münster, 2003.



## ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ<sup>2</sup>

---

- Авакумов А. 194.  
Аввакум 26.  
Августин Блаженный 326.  
Агафонов С. Л. 26.  
Агронин М. 96.  
Аденауэр К. 265.  
Адорно Т. (279).  
Аймермахер К. 172.  
Алеврас Н. Н. 176.  
Александр I 24.  
Алексеев И. Т. 96, 338.  
Алексеев Р. Е. 27.  
Алексеева В. П. 96, 178, 338, 364.  
Алексеева Н. 178, 364.  
Альтрихтер Х. 36.  
Альфред Эдинбургский 50.  
Альхайм Х. 118, 121, 171, 172.  
Андерсен Г. Х. 11.  
Андреев Л. А. 53, 345, 353.  
Андреева Т. А. 38.  
Андряшин Е. 189.  
Анкерсмит Ф. (331).  
Антонов В. 263.  
Апулей 236.  
Ариес Ф. 241.  
Ассман А. (182).  
Ассман Я. (327), 328.  
Аст Ф. 59.  
Бабаджания А. А. 27.  
Баберовски Й. 115, 117, 121, 122, 143,  
169, 172, 341, (401).  
Бабынин Н. Я. 351, 352.  
Бабынина Е. Н. 352.  
Байрау Д. 142, 145, 146.  
Бакин А. И. 160.  
Баксендолл М. 207.  
Балакирев М. А. 26.  
Бальзак О. де 242.  
Барт Р. (55), (85–86), (87), 88,  
110, 164, 277, 280, 471.  
Баузингер Г. (230).  
Баумфельд М. 402.  
Башкиров В. Я. 48.  
Башкирова А. И. 465.  
Бежар М. 445.  
Бейлин В. 219.  
Беляев Д. 375.  
Бем Г. (277).  
Беммелен Э. Ван 121, 335, 393.  
Беньямин В. 108, (109), (110–111), (113),  
140, 280, 421.  
Бергер П. (138), (328).  
Берджин В. 477.  
Берия Л. П. 401, 406, 442.  
Берк П. (59), (60), (84), 85, 146, 181, 204,  
(205–206), (207), 208, (230), 239.  
Берлет В. 262.  
Берловиц Ш. 388.  
Бернар С. 370.  
Бертйон А. 434.  
Бетанкур А. А. 24.  
Битов А. Г. 122.  
Блазеевски С. 279, (280), (473–474), (482).  
Боборыкин В. Д. 126.  
Бойм С. 342.  
Бойцов В. Е. 176, 281, 288, 292, 293, 294,  
299, 461.  
Бокановский А. 106.  
Бокановский Я. 106.  
Бокановская Л. 106.  
Бокановская Х. 106.  
Бордюгов Г. А. 142, 444.  
Борейко Г. 217, 219, 443, 488.  
Борисов В. И. 263.  
Борисов В. Г. (307).  
Бородаенко И. Ф. 286, 287, 300, 304,  
305, 446.  
Бортник Ф. 442  
Бочкарев К. Н. 40, 443.  
Бошковски Н. 394.  
Брежнев Л. И. 274, 275, 307, 349.  
Бровкин О. А. 281, 433.  
Бродский И. А. 107, (108), (233), 258,  
(272), 287, (325), (326), (481).

<sup>2</sup>Цифры в скобках обозначают страницы, на которых цитируется указанная персона.

- Брон З. 136.  
Брунел И. К. 33, 34.  
Бугаев В. 66.  
Бугров Н. А. 25.  
Будголл Э (140).  
Буде Х. (233), (436).  
Булгаков С. 343.  
Булгакова А. И. 247, 343, 348,  
(351–353), (354), (355–356), 458, 481.  
Бунимович Д. З. 11, (321).  
Бунин И. А. 53.  
Бурдые П. (15), 16, (36), 108, 111, (112),  
(113), 114, 243, (259),  
(269), 319, 341, (350),  
390, 430, (437), 472, 483.  
Буркхардт Я. 203, 339.  
Быковский В. Ф. 415.  
Ваганова А. Я. 225.  
Вайль П. (258–259), (376), (414).  
Вайнштейн А. С. 156.  
Вайнштейн О. 375.  
Валицки А. 147, 148.  
Вальт А. 264, 265, 266, 267.  
Вальт М. 264, 265, 266, 267.  
Вальт Ф. см. Маргалер Ф. А.  
Вальтер К. (57).  
Варбург А. 58, 59.  
Васильев В. 194.  
Ватлин А. 443.  
Вдовин А. 219.  
Вебер К. 389.  
Вельцер Г. (326), (328–329), (330),  
(435), (470), (471), 474, (486–487).  
Вендерс В. (11), (56).  
Вивег М. (148), (175).  
Виганд В. (83).  
Винавер М.М. 395.  
Виноградов Н. Б. 294.  
Виноградский В. 145.  
Витте С. Ю. 104.  
Вишневская Г. П. 414.  
Вишневская Т. 219.  
Вишневский Г. 219.  
Вишневский А. (310).  
Воздвиженская А. Д. 450, 451, 454, 460.  
Воздвиженский В. Д. 451.  
Воздвижнский Д. С. 450, 451, 454.  
Волков С. С. 415.  
Волова Х. 75.  
Вольгемут М. см. Вальт М.  
Ворбс Р. 146, 212, 390.  
Ворбс У. 146, 212, 390.  
Воскресенская Л. В. 218, 219.  
Воскресенский А. 189, 215.  
Высоцкий В. С. 151.  
Вяткин А. Г. 215.  
Вяткин Г. П. 40, 219, 443.  
Гаврилов М. 177, 189.  
Гавришина О. 444.  
Гагаев М. Н. 66, 156, 161.  
Галин Л. Л. 52, 53.  
Гегель Г. В. Ф. 117, 202.  
Гезенцвей А. 345.  
Гезенцвей Ф. А. 106, 344, 345, 346, 347.  
Гезенцвей Х. А. 345.  
Гейман А. 219.  
Гекен-Хайндль У. 285.  
Генис А. (258–259), (376), (414).  
Гердер И. Г. 202.  
Геринг Г. 465.  
Герке К. 394, (485).  
Гершель У. 434.  
Гессен М. 234, (272).  
Гества К. 146, 341.  
Гете И. В. 261, 339.  
Гибер Э. (325).  
Гиммлер Г. 406.  
Гитлер А. 406.  
Гинзбург К. 33, 36.  
Глинка М. И. 25.  
Гоголь Н. В. 28, 421.  
Голованов А. А. 95, 155, 157, 158, 160,  
161, 244, 249, 283, 477.  
Голованов А. Ф. 155.  
Голованов В. А. 155, 283.  
Голль Ш. де 445.  
Гольбейн Ганс Младший 339.  
Гольцев И. А. 27.  
Голышев А.И. 303.  
Горбачев М.С. 381.  
Горький М. 25, 26, 28, 29, 53, 158, 395, 464.  
Грай А.П. 268.  
Графов Д. Г. 95, 248, 284.  
Гречухин В. В. 12, 23, 41, 62, 66, 93, 97,  
118, 125, 126, 127, 151, 178, 214, 236,  
237, 249, 281, 361, 363, 364, 365, 366,  
367, 419, 460, 461, 466, 467, 488.  
Гречухин В. Л. 67, 249.

- Гречухин Л. И. 67, 97, 98, 460, 461.  
Гречухина Г. Е. см. Лелюхина Г. Е.  
Громов Н. 416.  
Гроссман И. 53.  
Грузенберг О. О. 395.  
Грузинский Г. А. 50.  
Гумб К. 341.  
Гуревич А. Б. (300).  
Гусдорф Д. 14, (15).  
Гусман И. Б. 27.  
Гушкер Шт. (31), (137), (138), (139), (140),  
(141), (162), (163–164), (165), (166),  
(167), (168), (278), 288, (318), (329),  
(422–423), 430, (431), (459), (474),  
(475), (476), (484).  
Гюго В. 242.  
Давиньон А. Я. 49.  
Дадишкилиани О. М. 216, 218, 219.  
Даль В. И. 28.  
Данилов А. Ю. 95, 281, 296, 298, 303,  
446.  
Даниэль У. 36.  
Даниэль Ю. 11.  
Даньков А. И. 301.  
Данькова А. П. 301.  
Даутов Н. К. 218.  
Дашкова Т. (234), (408).  
Декарт Р. 330.  
Демина В. В. 91, 246, 409, 431, 453.  
Деминова Г. А. 65, 248, 282.  
Дербенев В. 189.  
Дехтерев Б. 154.  
Диккенс Ч. 370.  
Диккерт Р. 379.  
Дише И. 235.  
Дмитриев М. П. (52), 53, 54, 57, 58, 65,  
156, 157, (158), 160, 161.  
Добровольский Г. Т. 415.  
Добролюбов Н. А. 26.  
Добронравов Н. 212.  
Добрынина В. М. 287.  
Дойль А. К. 48, 242, 423, 434.  
Домрачев А. 219.  
Достоевский Ф. М. 148.  
Драгунский В. 180.  
Дрогушев И. 458.  
Дэвис Н.-З. 434.  
Дюрер А. 372.  
Евтушенко Е. А. 100.  
Егер Й. (33 34), (237), 238.  
Екатерина II 24, 465.  
Елистратов Г. Д. 316.  
Ермаченко И. О. 443.  
Жаков И. П. 295, 296, 470.  
Жаков П. З. 412.  
Жакова Х. И. 295, 470.  
Журавлев С. В. 37.  
Загидуллина М. В. 446.  
Зайдель М. 255.  
Зак И. А. 218.  
Замахин Ю. Н. 65.  
Захаревич В. 255.  
Захаров В. 250.  
Захаров М. А. 443.  
Захарова А. Д. 197, 298, (299), 300, 446,  
464.  
Зель А. Н. 95.  
Золя Э. 242.  
Зонтаг С. 11, 108, 109, (110), (111–112),  
(141), (318 319).  
Зорин И. 188.  
Зоркая Н. М. 142, 443.  
Зубкова Е. Ю. 14.  
Иван Грозный 26.  
Иван Калита 447.  
Иванов Л. 189.  
Иванов Ф. А. 94, 246.  
Иванова Л. И. 94, 246, 310, 401, 425,  
439, 442, 444, 446.  
Истмен Д. 317.  
Кабалевский Д. Б. 27.  
Каверинский М. М. 226.  
Каганович Ю. М. 159.  
Казанцев А. 192.  
Калиостро Д. 339.  
Калинин М. И. 413, 425.  
Каменев Л. Б. 48.  
Каравак Л. 28.  
Карелин А. О. 50, 51, 52, 53, 57, 65, 156,  
161.  
Карелин Е. 189.  
Карр Э. (19).  
Кассирер Э. (15).  
Кастель Р. (472).  
Кафка Ф. 110.  
Кегель И. де 172.  
Келли К. (259).  
Кемп В. (86), (277).

- Кен О. Н. 143, 443.  
Кертман Л. Е. 484.  
Кесслер Б. 390.  
Кизеветтер Г. И. 24.  
Кириллова А. А. 287, 299, (300), 301, 302, 304, 305.  
Киров С. М. 222, 346.  
Кириш И.С. 377.  
Киселев А. 256.  
Клиберн Л. 414.  
Климо А. фон 169.  
Клинов В. 12, 151, 184, 288.  
Кляйн В. 263, 266, 268.  
Ковин В. Н. 284.  
Козин Н. А. 50.  
Козлова Н. Н. (269–270 ), (384).  
Козырева И. Н. 446.  
Конинина Л. Л. 281, 461.  
Корбен А. 242, (434).  
Корзухин Н. М. 130, 481.  
Корзухин Н. Н. 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 275, 281, 311, 400, 458, 462.  
Корзухина М. Б. 39, 129, 130, 131, 133, 134, (235), 247, 249, 250, 275, 281, 282, 286, 311, 312, (315), 232, 238, 428, 432, (440), 441, 444, 446, 456, 459, 462.  
Корзухина Н. Н. см. Хсиво Н. Н.  
Корзухина Т. Н. см. Кузнецова Т. Н.  
Короленко В. Г. 26, 53.  
Кортаев В. 282.  
Космодемьянская З. 297.  
Костринская Б. И. 234.  
Косыгин А. Н. 274.  
Кофман С. (242).  
Кох Р. 117.  
Кракауэр З. 11, 108, (110), 113, (471).  
Криворучский В. С. 149, 219, 220, 374.  
Крупская Н. К. 221.  
Круткин В. 204.  
Крылов И. А. 410.  
Кудрик Р. Н. 254.  
Кудрин М. Т. 161.  
Кузаев Н. М. 161.  
Кузнецов В. Ф. 134.  
Кузнецов И. В. 93, 94, 145, 225, 226, 247, 428.  
Кузнецова В. П. 91, 316, 427, 453, 461.  
Кузнецова И. В. 134, 136.  
Кузнецова К. В. (462).  
Кузнецова Т. Н. 133, 247, 249, 250, 323, 409, 419, 426, 444, 467.  
Кузовков П. В. 223.  
Кузовков П. П. 92, 185, 221, 222, 223, 314, 316, 424, 453, 457, 458, 461, 485.  
Кулибин И. П. 27, 48.  
Купер Ф. 419.  
Куприн А. И. 48.  
Купцынов Б. 212.  
Купцынова Н. 212.  
Курбе Г. 54.  
Курепин Н. Х. 156, 161.  
Курило О. 171.  
Кьеркегор С. (141), (210).  
Кэрролл Л. 242.  
Лаврентьева Е. 398.  
Лавров С. 189, 215.  
Лазарев Г. Г. 80.  
Лазарев И. Г. 398.  
Лазарева З. И. 103, 403, 426, 459.  
Лакан Ж. 84.  
Лампрехт К. 203.  
Ларионов М. Ф. 395.  
Лебедев Е. 414.  
Лебина Н. Б. (375).  
Левада Ю. А. (232).  
Левин М. 143.  
Левитан Ю. Б. 415.  
Ле Гофф Ж. (436).  
Лейбовский Д. С. 53.  
Лелюхина Г. Е. 67, 97, 99, 460.  
Ленин В. И. 48, 221, 255, 289, 304, 380, 394, 404, 414.  
Лернер (Пономарева) З. Ф. 98.  
Лернер И. 98.  
Лернер М. И. 98.  
Леру Г. 343.  
Лидин К. Л. 443.  
Липай Д. 188.  
Литан Я. 418.  
Лиш А. 332.  
Лозего С. В. (14), 436, (437).  
Лорд А. 208.  
Лоуэнталь Д. (407).  
Лукман Т. (138), (328).  
Луначарский А. В. 221, 425.  
Мавлютова Р. А. 254, 297.  
Май К. 419.  
Макаренко А. С. 319.

- Макин А. 121, 234, (371).  
Маковский К. Е. 53.  
Максимова Е. 194.  
Малышева К. 219, 488.  
Мамонтов С. И. 25.  
Маресьев А. П. 90.  
Маркарьяц М. А. 194.  
Маркарьянц Н. С. 194, 226.  
Маркович Г. 326, (328–329), (330),  
(435), (470), (471), 474, (486–487).  
Маркс А. Ф. 48.  
Маркс К. (117), 242, 261.  
Марталер Ф. А. 145, 262, 263, 264, 266,  
267, 268, 285, 338, 391.  
Мартин А. 341.  
Марцинковская Г. 219.  
Марцинковский И. 219.  
Медер Э. 394.  
Медик Х. 237.  
Меерович М. Г. 443.  
Мельников-Печерский П. И. 26.  
Мергель Т. 388.  
Меркушев А. Г. 219.  
Меркушева Г. Т. 219.  
Мерридейл К. (270), (455), (460).  
Мид Д. Г. 233.  
Микулин В. П. 321.  
Милешина П. П. 131, 132.  
Милюков П. Н. 395.  
Минин К. 26, 46, 251.15.  
Митчелл У. (30), (203).  
Митяев О. 212.  
Михалкович В. И. (55), (56).  
Михоэлс С. М. 100, 106.  
Мишле Ж. - 203.  
Мокеев И. 52.  
Молкина О. 234.  
Молодчик А. В. 95.  
Морелли Д. 33.  
Морозов В. Е. 453.  
Морозов С. А. (51), (54), (141).  
Мотовилов С. В. 189, 213, 281, 308, 461.  
Набоков В. В. 11, (15), (19), (197), 395,  
(471), (487).  
Нагорная О. Ю. 14, 39, 90, 142, 341.  
Наполеон 339.  
Нарская В. 449.  
Нарская Е (Шаликова Н. П.) 449.  
Нарская Е. А. 89, 90, 246, 450, 451, (452).  
Нарская Е. В. 281, (316), 451, 453, 454, 460.  
Нарская Л. Б. 90, 316.  
Нарская Л. В. 212.  
Нарская М. А. 89, 154, 221, 222, 223,  
233, 313, 315, 316, 409, 410, 411, 424,  
427, 430, 449, 450, 453, 467, 481.  
Нарская Т. Б. 135, 183, 218, 219, 220,  
224, 225, 227, 228, 275, 311, 312,  
424, 425, 427, 428, 429, 430, 439, 460.  
Нарский А. 449.  
Нарский А. А. 452, 453, 460.  
Нарский В. А. 80, 223, 313, 316, 448,  
449, 450, 451, 452, 454, 458, 459, 460.  
Нарский В. П. 129, 183, 215, 219, 221,  
223, 224, 225, 226, 227, 228, 275, 312,  
313, (314), 315, 316, (358–359),  
(359–360), 407, 411, 412, 424, 425, 430,  
453, 457, 461, 463, 488.  
Нарский И. В. 20, 209, 427.  
Нарский И. С. 147, 148, 449.  
Нарский (Насберг) К. С. 92, 448.  
Нарский П. П. см. Кузовков П. П.  
Нарский С. 148, 448.  
Нарский С. А. 449, 452.  
Нежданова А. В. 414.  
Некрасов Н. А. 104.  
Некрасов Н. В. 305.  
Немировский С. Ю. 147.  
Немировский Ю. Р. 245.  
Неруда П. 345.  
Нижинская М. Ф. 223.  
Нижинский В. Ф. 223.  
Никитин В. А. 95.  
Никич-Криличевский Г. (145).  
Николай I 24, 26.  
Николай II 26, 315.  
Никон 26.  
Никонова О. Ю. 39, 142.  
Никулин В. 188, 251, 443.  
Ниппердей Т. 207.  
Нисенбаум А. 239.  
Нитхаммер Л. (379–380), 386.  
Ниценко В. С. 306.  
Ничивилева А. С. 191, 194, 197, 220.  
Нора П. 331, 379.  
Носаева (Погосян) Е. 281, (286–287),  
(289–291), (291–292), 296, (297–298),  
(301).  
Носаева З. П. 290.



- Ностиц Г. И. 54.  
Оберлендер А. 121.  
Ожегов С. И. 29.  
Ойстрах И. 414, 415.  
Олеарий А. 102.  
Ольчак-Роникер И. 235.  
Орлова Р. 460.  
Ортега-и-Гассет Х. 480.  
Осадчая А. 219.  
Осорина М. В. (182), 197, (198),  
199 (200), (201–202), 284, (469).  
Остер П. (325).  
Остроумов В. 452.  
Павек К. (83), (244), (482–483).  
Павел I 296.  
Пановски Э. (58), (59), (60), 83, 87, 207,  
208, 276.  
Паперны В. 117.  
Парацельс 339.  
Пассерон Ж. -К. 16.  
Пастер Л. 434.  
Пахмутова А. Н. 211.  
Пацаев В. И. 415.  
Перцовский Л. П. 345.  
Песков Е. М. 27.  
Петр I 28.  
Петров А. П. 27.  
Петров Н. 425.  
Петровская Е. (86), (87), (275–276),  
(280), (472–473), (476).  
Пешкова Е. 159.  
Пиаже Ж. 197.  
Пикар Ж. 340.  
Плавинская И. И. 256, 262.  
Плампер Я. 146, 369.  
Планк М. 117.  
Плато А. фон (382), (383–384).  
Платтер Т. 339.  
Погудина Г. Е. 304, (305), (306), (307),  
446.  
Пожарская С. Ю. 65.  
Познер В. 394, 443.  
Познер Г. С. 394.  
Познер С. В. 394.  
Полевой Б. Н. 90.  
Попов С. Г. 27.  
Попова Е. В. 343, 347, 353, 354.  
Портелли А. (383), (385–386), (461).  
Постников А. В. 215, 226.  
Постников В. 216, 217, 218, 219, 488.  
Постникова Л. 219.  
Пост-Политаки Л. Н. 352.  
Потт Ф. (309).  
Прессер Я. 378, 379.  
Престли Э. 375.  
Пригов А. Д. (145), 443.  
Прокудин-Горский С. М. 210.  
Протопопова Н. В. 91, 222, 316, 452, 460.  
Прохоров М. 144.  
Пухальская А. С. 29, 63, 64, 90, 92,  
147, 152, 245, 247, 323, 338, 343, 344,  
346, 347, 348, 349, 350, 351, 356,  
(357–358), 360, 407, 411, 424, 439, 456,  
459.  
Пухальский С. Ю. (С. О.) 343, 344, 354,  
356, 411.  
Пухальский Ю. И. 344.  
Пушкин А. С. 28, 104, 421.  
Пъеха Э. 414, 415, 417.  
Пьяццолла А. 391, 392.  
Рабин П. Б. 285, 446, 458, (468), 469.  
Райкин А. 414.  
Рассел Ш. Э. (325).  
Ратенко Л. 219, 424, 488.  
Рек Б. (60), 146, (1750, 181, (203), 205,  
(206–207), 208, (278–279), 288, (372),  
(373).  
Рембо А. 242.  
Репин И. Е. 23.  
Ривкина Н. Я. см. Хазанова Н. Я.  
Рид Т.-М. 419.  
Рип Ч. 59.  
Рихерс Ю. 346, 389, 391.  
Рихтер С. 414.  
Ричард III 251.  
Робер Ж. 151, 418.  
Робинсон Г. П. 57.  
Ровный Б. И. 39, 95, 285, 334, 443, 445.  
Родченко А. М. (55).  
Рожин В. 189.  
Рольф М. 117, 121, 169, 341, 443.  
Романов П. В. 204, (475).  
Ромм М. 418.  
Рукавишников М. 25.  
Ручки М. 163.  
Рывкин И. Я. 70, 94, 107, 246, 310, 395,  
(396–398), 399, 400, 401, 402, 403, 404,  
405, 409, 442, 481.

- Рывкин (Ривкин) Я. 80.  
 Рывкина Л. И. см. Иванова Л. И.  
 Рютерс М. 342.  
 Савицкий А. 345.  
 Савицкий М. 345.  
 Сальникова А. А. 234, (235).  
 Самуэльсон Л. 143.  
 Сараметова И. 219, 488.  
 Свердлов Я. М. 155.  
 Свердловы М. И. 302, 303.  
 Светличная С. 151.  
 Свиридов Г. В. 27.  
 Семенов М. 189.  
 Семенов-Тянь-Шанский П. П. 54.  
 Семпрун Х. (175).  
 Серебряков В. П. 464, 465, 466.  
 Серов А. Н. 26.  
 Сибиряков И. В. 337.  
 Сидоров Ю. 215, 216, 219, 488.  
 Сизиков И. 189.  
 Силонов В. 219.  
 Силонов С. 189, 215.  
 Симеон Столпник 465.  
 Симонова О. И. 66, 95.  
 Синявский А. 11.  
 Сироткин Д. В. 25.  
 Скотт В. 421.  
 Скрыбин А. Н. 190, 191.  
 Слезкин Ю. (195), (106), (108), (234),  
 (235), (398), (459).  
 Смоктуновский И. 414.  
 Соболев Л. 413.  
 Соболева Н. 425.  
 Соколов А. Б. 443.  
 Соколов Б. 142.  
 Солженицын А. И. 275, 381, 442.  
 Соловьев С. М. 447.  
 Сологубов А. М. 170, 181, (208 211), 443.  
 Соринсон С. Н. 69.  
 Сталин И. В. 104, 107, 190, 226, 266, 275,  
 305, 319, 370, 384, 404, 406, 442, 456,  
 457.  
 Стафеев В. 364, 365, 366, 367, 419, 467.  
 Степанов П. Т. 313.  
 Степанова Н. 219.  
 Стигнеев В. Т. (55), (56).  
 Стрекопытов А. М. 80.  
 Строганов Г. 28.  
 Суржикова Н. В. 285.  
 Суринов В. В. 285.  
 Тайхман К. 172, 341.  
 Таксиль Л. 104.  
 Тарковский А. 11.  
 Твен М. 421.  
 Терешкова В. В. 415.  
 Терау П. (479).  
 Тимашев Н. 374.  
 Тимашук Л. 108.  
 Тицнер М. 49.  
 Толстой Л. Н. 74, 417.  
 Траба Р. 145, 147.  
 Грамбл Э. 146, 370, 371.  
 Трифионов Ю. В. 122.  
 Троицкий А. И. 28.  
 Троицкий Л. М. 228.  
 Тулвинг Э. (470).  
 Тэй Д. 251.  
 Уайт Х. (460), (486).  
 Улыбышев А. Д. 23.  
 Ульянов М. 418.  
 Уманская И. И. 303.  
 Уортман Р. 341.  
 Усманова А. 32, (88).  
 Успенский И. Н. 53.  
 Устюгов В. А. 93, 284.  
 Фадеев А. А. 299.  
 Федоров А. Б. 295.  
 Федоров И. А. 281, 286, 287, 288, 295,  
 296, 298, 299, 303, 412, 469.  
 Федоров Ф. Г. 161.  
 Федорова Э. И. 295.  
 Фейербах Л. 117.  
 Ферстер С. 119, 341, 393.  
 Физелер Б. 142, 146, 147, 171, 390, 443.  
 Фист Д. 341.  
 Фицпартик Ш. 37, (310).  
 Флюссер В. 108 (109), 110, (111), (175),  
 (176).  
 Флягин В. С. 66.  
 Фокин А. А. 284.  
 Фрейд З. 33, 83, 242, 329.  
 Фридман М. М. 96.  
 Фридрих Великий 117, 171.  
 Фризо М. (422).  
 Фриш М. (11), (170), (175), (231), (235),  
 (469), 479).  
 Фройнд Г. 108, 109, 110.  
 Фуггер Я. 372.

- Хагемайстер М. 340.  
Хазанов А. П. 63, 107, 245, 343, 344, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 357, 358, 411, 458.  
Хазанов Б. Я. 35, 39, 67, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 99, 100, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 118, 129, 131, 132, 135, 155, 161, 180, 213, 234, 235, 246, 247, 249, 250, 271, (272), 273, 274, 275, 282, 285, 286, 311, 312, 315, 323, 344, 349, 369, 381, 388, 390, 397, 405, 409, 410, 411, 413, 417, 419, 420, 423, 424, 425, 444, 458, 462, 463, 468, 485.  
Хазанов П. Я. 82, 103, 105, 106, 344, 345, 346, 347, 358.  
Хазанов Я. П. 75, 103.  
Хазанова Г. Я. 106.  
Хазанова М. Б. см. Корзухина М. Б.  
Хазанова Н. Л. 257.  
Хазанова Н. Я. 38, 39, 67, 80, 81, 82, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 118, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 180, 190, 193, 213, 246, 247, 249, 257, 272, 273, 274, 275, 282, 285, 288, 310, 311, 312, 315, 323, 369, 377, 395, 399, 405, 409, 411, 412, 413, 417, 419, 420, 423, 426, 458, 485.  
Хазанова Т. Б. см. Нарская Т. Б.  
Хазанова Э. А. 245.  
Хаймпель Г. 37.  
Хальбвакс М. (327), 328, 331.  
Халпель Й. 211, 253, (332), 334, 387, 443.  
Хардтвиг В. 243, (244).  
Харитонов А. Е. 27.  
Харламов В. А. 65.  
Хаулетт Р. 33.  
Хауманн Х. 211, 340, 341, 388, 391.  
Хачатурян А. И. 27.  
Хейзинга Й. (19), (203).  
Хельбек Й. 121, 144, 369.  
Хирш М. (242), (473).  
Хмелевская Ю. Ю. 14, 35, 38, 40, 142, 176, (331), (381–382), 445.  
Хобсбаум Э. (308).  
Хорев М. М. (49), (51), (52), 65, (158), (159), (160), 247, 248, 249, 293.  
Хоффманн Д. 237.  
Хренников Т. Н. 27.  
Хрипков М. А. 52, 155, 156, 161.  
Хрущев Н. С. 69, 274, 275, 290, 307, 381.  
Хсиво Б. А. 135.  
Хсиво М. Б. 135, 136.  
Хсиво П. Б. 135, 136.  
Хсиво Н. Н. 132, 134, 135, 281, 409, 413, 419, 440, 441, 442, 446, 458.  
Хэгле У. 32.  
Цейтлин М. Д. 225.  
Целлер М. 118, 246.  
Цинк А. 389.  
Цфасман А. Б. 170.  
Чайковский П. И. 194.  
Черепанова Р. С. 214.  
Чернышевский Н. Г. 26, 148.  
Черняева Т. 145.  
Чигорин М. 28.  
Чуковский К. И. 70.  
Чурсина Л. Г. 263.  
Шайде К. 142, 211, 340, 388.  
Шаляпин Ф. И. 25, 53.  
Шанин Т. 143, 145, (232), 247, 251, 252.  
Шаттенберг С. 121.  
Шевелев Ю. П. (468).  
Шевчук Б. 47, 124, 368.  
Шелохаев В. В. 64, 253.  
Шенк Б. 146.  
Шереметьев В. Ф. 400, 481.  
Шереметьева Т. В. 224, 398, 400, 401, 402, 403.  
Шереметьева Н. В. 401, 406.  
Шестаков А. Л. 40.  
Шиллер Ф. 261.  
Ширле И. 38, 146.  
Шихов В. 292.  
Шишкин И. И. 212.  
Шлегель К. (25), (29).  
Шнитке А. Г. 27.  
Шостакович Д. Д. 27.  
Шоуб Б. 242.  
Шпрингер А. 203.  
Штарк А. 388.  
Штарль Т. (141), (239), (240), 241.  
Шуберт Ф. 80.  
Шульце В. (480).  
Шульце Г. (140), (318).  
Шульце Вессель М. 145, 146.  
Щедрин Р. К. 27.  
Щедрова К. П. 190, 193.  
Щукин М. 219, 488.

Шютц А. 16, 138, (325), 328.

Эйнштейн А. 117.

Эко У. 88.

Эли М. 342.

Элиас Н. (182).

Энценбергер Х. М. (461).

Эразм Роттердамский 339.

Эрдхайм М. (437), (487), (488).

Эренбург И. Г. 381.

Эрикссон Э. 197, (198).

Эрнст Х. (19).

Этуш В. 418.

Эшпай А. Я. 27.

Ягода Г. Г. 398.

Янишевский-Нарский Б. Й. 92, 448.

Янсон Т. 11.

Ярская-Смирнова Е. Р. 204, (475).

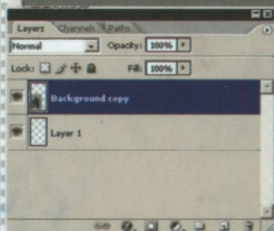
Ясуд З. 400.

**И. В. Нарский**  
**ФОТОКАРТОЧКА НА ПАМЯТЬ:**  
**Семейные истории, фотографические**  
**послания и советское детство**  
**(Автобио-историко-графический роман)**

*Редактор И. Н. Козырева*  
*Художник А. Ю. Данилов*  
*Корректор М. В. Загидуллина*

Издание подготовлено в «StudioDivan»  
Адрес: [www.studiodivan.ru](http://www.studiodivan.ru)  
[design@studiodivan.ru](mailto:design@studiodivan.ru)  
Подписано в печать 12.05.08.  
Бумага для ВХИ Краснокамской  
бумажной фабрики «Гознак».  
Формат 60×100/16  
Гарнитура Charter  
Печать офсетная  
Усл. печ. л. 32,57  
Тираж 1500 экз. Заказ № 1450.

ООО «Энциклопедия»  
Адрес: 454084, г. Челябинск, пр. Победы, 160  
тел.: (351) 235-42-27  
Отпечатано с готовых файлов заказчика в ОАО «ИПК «Звезда»  
614990, г. Пермь, ГСП-131, ул. Дружбы, 34



ISBN 5-91274-028-5



9 785912 740282